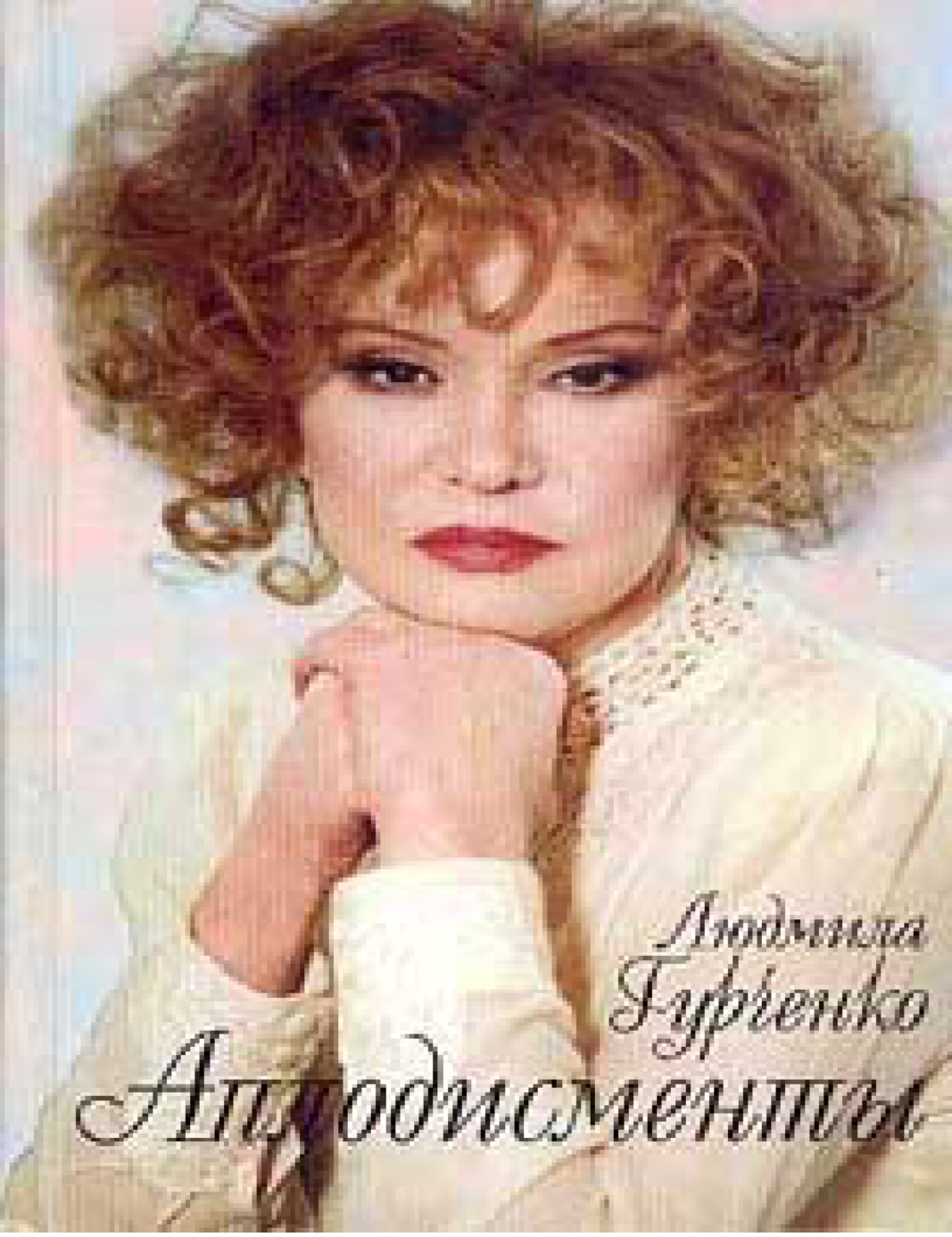
Людмила
Гурченко
Аплодисменты

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Книга, которую читатель держит в руках, — это не просто история девочки, ставшей знаменитостью, это история уникальной личности во всей сложности и противоречивости ее духовной жизни. Все было на тернистом пути актрисы: и отчаяние, и разочарования, и надежды, и вновь отчаяние.

Это был тяжелый путь, но кто знает, имели бы мы теперь такую актрису и такую личность, как Людмила Гурченко, не будь этого трудного, но настоящего пути к настоящей славе?

- Людмила Гурченко
  - Предисловие
  - ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МОЕ ВЗРОСЛОЕ ДЕТСТВО
    - МОЕ ВЗРОСЛОЕ ДЕТСТВО
    - АВТОБИОГРАФИЯ
    - ПРЕКРАСНОЕ ВРЕМЯ
    - ВОЙНА
    - ВАЛИ
    - ГРАБИЛОВКА
    - КАЗНИ
    - СКАЗЕНКИ
    - ПРОРУБЬ
    - МЕНКА
    - «АЛЛЕС НОРМАЛЕС»
    - ПИР
    - ГОВОРИТ МОСКВА
    - «НАДО ВЫДЕЛИТЬСЯ»
    - ДЕВУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ
    - ШАУШПИЛЛЕР
    - КЛАД
    - БАЗАР
    - БЕЗ «ДЕЛА»
    - НАШИ ПРИШЛИ
    - «ВТОРЫЕ НЕМЦЫ»
    - ДЯДЯ ВАСЯ
    - ОБЛАВА
    - ПЕТЕР
    - ШИПОВНИК
    - КУКОЛКИ
    - ПЕНИЦИЛЛИН
    - НОВАЯ ЖИЗНЬ
    - ВЫСШЕЕ ЧУВСТВО

- ПИСЬМО ОТ ПАПЫ
- СИМАНОВЩИНА
- «РАЙЕЛЕНОВКА»
- МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
- РЕМЕСЛЕННОЕ N 11
- ПЕРВЫЙ ЗАРАБОТОК
- ПАПА ВЕРНУЛСЯ
- БЛЕСТЯЩЕЕ «ПЛАТТИКА»
- БИБЛИоТИКА
- ДЕРЕВНЯ
- ФЕКЛА
- КОНЦЕРТ В ДЕРЕВНЕ
- СОВСЕМ БЕЗНАДЕЖНО
- РАБОТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
- УЧИТЕЛЬНИЦА
- ДОВЕРИЕ
- «ДАВАЙ ДАЛЬШИЙ»
- «ПАПА»
- В МОСКВУ

○ ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!

- НАЧАЛСЯ РАБОЧИЙ ДЕНЬ
- НАШ ПОЕЗД ПРИБЫВАЕТ
- ЭКЗАМЕНЫ
- АРБАТСКАЯ ГАЛАНТЕРЕЯ
- САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ ПОРА
- ЛЕНИНГРАД
- ВЕЛИКИЙ АРТИСТ
- ПРОЩАЙ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
- «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ»
- «Я ВАМ ПЕСЕНКУ СПОЮ ПРО ПЯТЬ МИНУТ»

○ ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ВЫСШИЕ КУРСЫ

- ОПЯТЬ ПРЕМЬЕРА
- АХ, КАК ХОТЕЛОСЬ ЛЮБИТЬ!
- ЧТО ТАКОЕ ЖЕНЩИНА?
- ДВА ГОДА ЖИЗНИ…
- МОРЕ ЛЮБВИ
- ГЛАВНОЕ — ПОНЯТЬ, ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО
- ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ СВЕТ
- НАЗНАЧЕНИЕ
- ВРЕМЯ ГРЕЗ
- АПЛОДИСМЕНТЫ, УСПЕХ, СЛЕЗЫ И «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ»
- ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ
- Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ

- НЕ БЫЛО ТАКОГО ИМЕНИ
- ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ ДЕЛОВОЙ И АКТРИСЫ
- 1973-й…

○ ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ХАРАКТЕР ПОРТИТСЯ
- ГЛАВНАЯ ПРОФЕССИЯ
- СИРЕНЕВЫЕ СУМЕРКИ
- НА РАБОТУ!

○ ЧАСТЬ ПЯТАЯ. БАЛЕТ ЖИЗНИ
- ИНТЕРЕСНО. ВСЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО.
- САД ЭРМИТАЖ
- УТРЕННИЙ ВИЗИТ
- ЛИДА
- ЧИСТЫЕ ПРУДЫ
- «ИНДЕПЕНДЕНС»

Людмила Гурченко
Аплодисменты

Предисловие

Первая часть этой книги родилась несколько раньше, родилась из устных рассказов — замечательных, тонких, глубоких.

Мы тогда снимались в «Сибириаде», и не проходило вечера, чтобы, собравшись у кого-нибудь в номере, мы не уговаривали Людмилу Марковну рассказать про отца.

После каждой исполненной в лицах истории оставалось печальное чувство, что действо уже кончилось. Вот тогда-то и родилась идея книги. Я тоже горячо ее поддерживал, но был уверен, что, перенесенная на бумагу, история маленькой девочки в большой войне потеряет свое обаяние, сама по себе превратится в беллетристику.

С той поры прошло время, и мы вновь встретились с Людмилой Марковной уже на съемках «Пяти вечеров». Я как-то забыл о тех наших разговорах, связанных с идеей написания книги, но однажды Гурченко принесла с собой на репетицию несколько тетрадок, неровно исписанных шариковой ручкой. Шумно иронизируя над собой, тем самым пряча смущение, она наконец сказала, что это начало ее книги, но тетрадок она никому не даст: у нее, мол, плохой почерк и много помарок, но если мы очень хотим, то можем послушать — она почитает сама.

Я, признаться, несколько смутился: придется что-то говорить, огорчать не хочется (да и невыгодно — нужно репетировать), а ничего путного, даже вполовину адекватного ее рассказам, от рукописи я не ждал. Но когда Люся стала читать, меня поразило то, что я не почувствовал никакой литературности, никакого, даже скрытого, желания быть или хотя бы казаться писательницей. Это был живой, льющийся, полный юмора, легкости и в то же время драматизма рассказ.

«А не попал ли я просто под обаяние ее личности? — думал я. — Ведь все-таки мы слушаем Люсю, она блистательная актриса, материал ее близок». Но когда через некоторое время Людмила Марковна дала мне первому (чем я очень горжусь) прочесть свою рукопись, которую она, как сама говорила, перепечатала одним пальцем, я понял, что не обаяние ее личности приковывало мое внимание, а сила ее человеческого таланта.

И, читая эти листки с перечеркнутыми строчками, вписанными словами, я невольно сопоставлял эту маленькую девочку и эту знаменитую актрису, ту ее жизнь и теперешнюю, зримо представлял, что между двумя этими жизнями было. Эта книга не просто история девочки, которая выросла и стала

знаменитостью. Это история уникальной личности во всей сложности и противоречивости ее духовной жизни.

Так что же она такое, эта Людмила Гурченко?..

Мне было тогда лет тринадцать, и больше всего на свете я любил открывать двери, когда к старшему брату собирались гости. Я до сих пор не могу понять, почему я это так любил, все равно никакой надежды, что мне позволят посидеть со взрослыми, не было, но, наверное, то, что можно хоть на мгновение прикоснуться к празднику старших, посмотреть, кто пришел, что принес, заставляло меня вздрагивать при каждом звонке и сломя голову нестись открывать.

Вот так однажды я открыл дверь Людмиле Гурченко. У брата было уже много народу, смеялись, гремела музыка, а передо мной стояла живая Гурченко. Закутанная в шубу, в туфлях на высоком каблуке, с инструментом, похожим на мандолину, в руках, она постояла на пороге, поняла, что со мной не о чем говорить, и прошла туда, откуда доносились голоса. Ее встретили воплем, хохотом, аплодисментами, а я так и остался стоять, ослепленный видением, к которому никак не был готов. Я думал, что Гурченко будет петь, не зря ведь с мандолиной пришла, но она не пела, более того, вскоре все с шумом собрались куда-то в другое место, толкаясь, оделись и ушли. А через минуту их голоса доносились уже с улицы.

Вряд ли Людмила Марковна помнит этот эпизод. Да и зачем ей было его помнить? В тот период первой волны ее фантастической популярности улыбкам, рукопожатиям, поцелуям не было конца. Это, думаю, ошеломляло, радовало, утомляло, а самое главное — казалось, что никогда не будет ничего другого, впереди долгая счастливая жизнь, полная побед и удовольствий. Проснувшись однажды знаменитой, сразу после выхода на экран фильма Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь», она мгновенно, как и подобает настоящей актрисе, легко и естественно почувствовала себя в этих предлагаемых обстоятельствах. Но настоящая ли это была слава? И могла ли такая слава затуманить сознание, ослепить, лишить реального представления о мире и о себе в этом мире? Могла, и еще как могла! Сладкие минуты стремительного признания обернулись долгими годами расплаты за такую стремительность. Все было на этом тяжелом пути: и отчаяния, и разочарования, и надежды, и вновь отчаяния, но самое главное — была работа. Нет, не та, желанная, актерская, ее-то как раз довольно долго и не было, но была работа духовная, было постоянное строительство себя, по камешку, по кирпичику. Вот тогда, я думаю, Гурченко поняла, что человек не хозяин своего таланта, он только проводник его, его слуга, и никакие

блага жизни, никакая слава не смогут, не должны заставить использовать талант только для достижения их.

Да, это был тяжелый путь, но кто знает, имели бы мы теперь такую актрису и такую личность, как Людмила Гурченко, не будь этого трудного, но настоящего пути к настоящей славе?

Как зрители, которые воспринимают личность Людмилы Гурченко по-разному, только не равнодушно, так и читатели с первого же момента выхода в свет ее книги «Мое взрослое детство» обрушились на автора, кто — обожанием и восторгом, кто — раздражением и сарказмом. Однако, вне зависимости от точек зрения, стало ясно одно: книга Людмилы Гурченко — это явление! И явление, может быть, не столь литературное (на это автор и не претендовал), сколько явление человеческое, гражданское, личностное.

Сто тысяч экземпляров разлетелись в считанные мгновения, а вскоре посыпались письма: «Что было дальше?» — спрашивали читатели. «Как жилось?» «Что думалось?» «Как выжилось?»

Ответом на эти вопросы и стала книга, которую вы держите в руках. Это легкий, летящий монолог актрисы. Иногда он веселый, и тогда перед нами возникает образ Людмилы Гурченко, давно знакомый нам по комедиям прошлых лет, иногда — горький, и мы узнаем Гурченко и ее тему в фильмах более позднего времени. Но какая бы интонация ни звучала в ее словах, незыблемыми в них всегда остаются прямота, честность и удивительная безжалостность к себе. Такая обезоруживающая самоирония делает книгу еще более обаятельной и помогает читателю, ощутив доверительную интонацию, поверить автору до конца, ибо если он доверяет себя читателю, то и читатель отвечает автору тем же. Во всяком случае, так должно быть.

Я не буду пересказывать содержание книги, не буду останавливать внимание на особенно нравящихся мне страницах, скажу только одно: о ком или о чем бы ни шла речь — будь то история поступления во ВГИК или отношения с маленькой дочкой Машей, отец Марк Гаврилович или точные, емкие детали времени — во всем, за каждой строчкой огромная, всепобеждающая, бесконечная любовь к своему Отечеству, живая в него вера! И именно эта вера и эта любовь помогли Гурченко пронести свою сущность сквозь все испытания славой и бесславием, помогли ей сохранить свое лицо. И лицо это узнаваемо во всем, за что бы она ни бралась! Узнаете вы его и в этой книге.

Н. С. Михалков

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МОЕ ВЗРОСЛОЕ ДЕТСТВО

МОЕ ВЗРОСЛОЕ ДЕТСТВО

Я хочу попытаться рассказать о своем отце. Человеке сильном и слабом, веселом и трагичном, умном от природы и почти совсем неграмотном в сегодняшнем понимании слова «образование». Из прожитых семидесяти пяти своих лет сорок пять папа жил в городе, но так и не научился говорить грамотно. Город и цивилизация его как бы не коснулись.

Люди, которые хоть раз общались с ним, встретив меня через время, всегда задавали один вопрос: «А как твой папа? Ну расскажи про своего папу… Ну пожалуйста!»

И я рассказывала. Они смеялись, поражались его неожиданным поступкам, его речи, ему… Я не могла им сказать, что его уже нет, что с 17 июня 1973 года я мечусь и нигде, ни в чем не могу найти покоя. Только в работе, которой, к счастью, загружена в последние годы без перерыва. Я знаю, что надо отдохнуть, но боюсь этого. Ведь тогда у меня будет свободное время, и опять на меня обрушится тоска, боль, пустота…

Ведь нет больше моего папы!

Папа прошел через всю мою и мамину жизнь, наполнив ее радостью, юмором, уверенностью, что мы с мамой — прекрасны.

АВТОБИОГРАФИЯ

Папа часто и с удовольствием рассказывал о себе. Я попробую воспроизвести его речь, как можно точнее, потому что без этой речи нет моего папы.

Мой папа, Марк Гаврилович Гурченко, родился в деревне Дунаевщина Рославльского района Смоленской области. Он родился в 1898 году, но всем говорил, что в 1899-м.

— Марк, — ехидно спрашивала мама, — ну зачем ты врешь? Ты же по паспорту 1898 года… Ну что тебе дает один год?

— Не нада, Леличка, не выводи меня. — Обычно горячий и невыдержанный, папа, когда речь заходила о его возрасте, сразу притихал и всегда терпеливо объяснял маме: — От человек, ну што ты скажешь… Я ж тибе гаварив, што — тыща восемьсот девяноста восьмой год при царской служби служив последний год. А я у царский служби не служив! Значит! Што выходить? А? А-а!!! То-та. Былван есть былван. Да зачем мне врать, галава ты. Я ж увесь як на ладони… Да-а, у девять лет я вже батрачил. Пас у пумещика Людаговськага лошадей. Солнце усходить, и я встаю… Раз заснув, а лошыди — у клевер. И вокурат у етый самый мумент пумещик проежжав… поля проверяв. Он меня соннага пугою (кнутом) як потянить… Во було дела-а. Я ускочив: «Пан, бейте сами, только батьке не гаварите… Батька меня насмерть зашибеть…»

А когда, пригнав лошадей, прийшов у хату — батька бив… та што там гаварить, бив и пригаваривав: «Учись, сынок, жить, мать твою в триста богов…» Да-а, батька меня вже здороваго бив… Ну, правда, було за што. Раз — мне уже тада лет двадцать було — усю ночь с хлопцыми у суседний Сморкачевки с девками гуляли. А у четыре утра вже у поле выходить нада… Приплевся пьяный, а тут вже усе меня ждуть — стоять кала хаты: батька, матка, браты, Иван да Мишка, а Егор ще маленький був, у хати спав… Батька з топором на меня вдеть. Матка бросилась на него — он ее вдарив. Она об землю!.. Усе вскипело у меня за мать. Батька ее часто бив… У глазах враз усе потемнело, вже не помню, што и як — но пошев прямо на батьку…

«А-а-а! На радного отца руку подняв? Ну, держися…» Побежав батька у хату, а з хаты выходить з ружьем… Целить прямо в меня… Стою. Увесь похолодев, зубы стиснув, сам — ни з места… «Ну, — думаю, — усе, Марк, отжил ты свой век». И батька стрельнув… Осечка, брат… А ружье новое було, осечки не давало. Усе стояли белые, як мел…

«Ну, долго жить будешь, сукин сын. Моли бога, сынок…» —

Вдарив об землю ружье и пошел у степ. Да-а. Вот и скажи, што бога нет. Новое ружье — и осечка! Не-е, якая-то сила есь… Вон я вже и батьку своего пережив, хай земля ему будить пухум…

… Да-а, ну дальший — у революции служив. Побили усех пумещикув к… матери, та што там гаварить. Да-а, ну а потом, значить, бросили меня з групою наших хлопцев на ето, як его… раскулачивание… Ну а в меня характер, сам знаешь, а када выпью… Та што там гаварить — одним словум, молодой, гар-рячий… Аднаго кулака так прижав — насилу ребяты оттащили от греха подальший… «Не, Марк, так круто нельзя, нада полегчий». Да он же хлеб прячить, а люди с голоду пухнуть… «Полегчий»… Да-а, ну, словум, ето дело не для меня…

А у ето самое время вокурат усе наши деревенские хлопцы в город подалися, многие подалися. У город, у шахты, у рабочий класс. Ну и я з ими.

И вот у Кривом Рагу, на руднике, десять лет забойщикум быв. Там, братва, такие драки были… куда там… Деревенские хлопцы такого зроду не видали. Там меня, наверна, и щас многие помнять. Да-а… А особенно етый брат, — показывал папа на женщину, если в компании слушателей находилась такая. А если женщин не было, то смотрел на маму. — Та што там гаварить… У те годы «етага брата» у меня було… сотни. Ну и любили ж они меня, э-э-э-эх!!! — и, тут же быстро оглянувшись, нежно позвав: «Крошка!» (папа стал маму так ласково называть, когда вес ее приблизился к ста килограммам), и убедившись, что мама не слышала ничего, с удовольствием продолжал и все вырастал и вырастал в глазах мужчин-слушателей.

… — Да-а, ну, значить, дальший… да, забыв. У деревни, я, ще хлопцем, веселив девок на двухрядной гармони. А у Кривом Рагу дело пошло чуковней (шустрей). Перешов уже на трехрядный быян, та што там… Ни адна свадьба без меня не обходилась. И меня усе любили с дорогою душою, ну и я к усем по ласке.

Да-а, так вот, значит, дальший. А дальший — у тридцать втором году — меня высунули в интеллигенцию… Тада много способных хлопцев посылали на высшее образование. Меня в Харькивський муздраминститут. Он тада вокурат стояв на Бурсацким спуски. Выдержав я етый институт усего два года. Во где, братва, испытав я исключительный голод и позор. Та што там, мамыньки родныи… Ну, образование у меня што? — четыре класса поповський школы, ну, немнога техникума у Кривом Рагу. А тут тибе и политэкономия, и «Капитал» Маркса… Куда мне усе ета…

Иногда в компании своих коллег-баянистов, рассказывая о периоде жизни в муздраминституте, папа мог вдруг

процитировать наизусть «изречения», которые он запомнил на лекциях. Их он произносил подчеркнуто «литературно», даже букву "г" говорил твердо, как москвичи: «Да, братва, жисть есть борьба. Маркс он тибе не дурак, такую, брат, багатую книжку наскородив… А жить ув общистви и быть свободным от общиства никак нельзя, братва. Во какое дело», — чем озадачивал всех своих дружков.

— Да-а, вволю тада нада мной посмеялися городские хлопцы. За што, правда, бывали неоднократно христосованы мною, пока усе не попритихли… Та я и сам чую — ну куда мне за ими, отстаю. Да я ноты одни полгода вчив. А там и теория, и гармония… Выйду до доски, лицом стану, путаюся — усе смеются; спиною стану, усе штаны у латках — смеются. На мне усе трусится, еле здержуюсь… Стипендия — гроши, кишки трищать, одеть нема чего… Хоть «караул» кричи… Да-а…

… И тут вокурат устроився я ув одной школи детям на переменках играть. У раз — десять рублей! А?? Ага! — вижу, дело пошло чуковней. И тут смотрю — секретарь комсомольский организации… такая крепкая, цыцохи большие, глаза прия-атныи… Ну я ей и гаварю: «Будь ласка, барышня, памагите мне детей организувать». Так нежно ей гаварю, ну, словум, подлажу до ней… «Ну конечно, пожалуйста, дядя Гриша», — так интеллигентно отвечаить. А меня тогда Гришую звали. А то, говорять, што ета у тибя за имя — Марк? Нерусское ета имя… Ну як же не русское? Як же не русское, када я родився 23 апреля, на день святога Марка. Так меня Маркую и назвали… Да у меня усе братья: Иван, Мишка, Егор, батька Гаврила Семенович, мать Федора Ивановна — усе русские, да уся деревня русские… У нас других зроду не було…

… Да, так вот ета самая комсомольский секретарь гаварить мне: «Дядя Гриша, с удовольствием помогу вам, только расскажите, научите, пожалуйста…».

… Вот я и навчив на свою голову. Вже тридцать лет вчу… Ета ж и была Лялюша. Ну, Леля. Елена Александровна Симонова. Люсина мать.

Это была моя мама. Тогда она училась в девятом классе. Мама была 1917 года рождения. И папа хоть на год, но сокращал этот трагический для него возрастной разрыв…

ПРЕКРАСНОЕ ВРЕМЯ

Так получилось, что я родилась, и мама школу не закончила. Она стала работать вместе с папой. Мама помогала папе-баянисту проводить массовки и утренники в школах, вечера и праздники на заводах и фабриках. Она стала успешно осваивать профессию массовика.

Потому можно сказать, что я родилась в «музыкальной» семье. А точнее — я родилась в музыкальное время. Для меня жизнь до войны — это музыка!

Каждый день новые песни, новые мелодии. Они звучали по радио и на улицах; с утра, когда папа разучивал «новый» репертуар; вечером, когда приходили гости; у соседей на пластинках. Песни и мелодии я схватывала на лету. Я их чисто пела, еще не научившись говорить.

Папа и мама работали в Харьковском Дворце пионеров. Это был новый красивый Дворец. Он находился на площади имени Тевелева. В большом мраморном зале посередине стоял квадратный аквариум. Там плавали необыкновенные красные пушистые рыбки.

В перерывах между массовками мы с папой бежали к аквариуму: «Дочурка! Якеи рыбки! Я ще таких зроду не видев. Якая прелесь… божья рыба…» Мама всегда портила ему настроение: «Марк, ты хоть рот закрой. Сорок лет на пороге… Хуже Люси… хи-хи-хи». — «Леличка, ну яких сорок? Ще нема сорок, зачем человеку зря набавлять?» И папа, взяв меня на руки, посылал в мамину спину: «Во — яга! Мамыньки родныи… Ну? Ета ж чистая НКВД! Ничего, дочурочка, зато папусик в тибя самый лучий!»

Ну, конечно, самый лучший! Самый необыкновенный! Я обнимала его, прижимала его голову к своей. Мне было его жалко.

Имя свое я получила за два часа до рождения. Испуганный папа отвез маму в роддом, что был на Пушкинской улице, а сам «на нервной почве» побежал в кино. Тогда на экранах с огромным успехом шел американский приключенческий фильм «Акулы Нью-Йорка». В картине было множество дотоле невиданных, неправдоподобных трюков, погонь, выстрелов… Герой фильма, красавец Алан, совершает чудеса — спускается по канату с самолета на крышу несущегося поезда, в котором увозят его похищенную возлюбленную, прелестную Люси. После сеанса потрясенный папа примчался в роддом и срочно передал маме записку: «Лель! Детка моя! Если в меня будить орел, назовем

Алан. Если девычка, хай будить Люси».

Как только я родилась, мама облегченно вздохнула. Первой ее мыслью было: «Слава богу, что девочка, а то был бы Алан Маркович…» У нас во дворе женщина после очередного заграничного фильма назвала своего сына Джоном. Мама говорила, что весь двор хохотал. Джон Иванович Рыбак! Джон Рыбак! Бедный мальчик.

Но в загсе папе сказали, что такого имени, Люси, в России нет. Есть Людмила. Это старое славянское имя. Означает — «людям мила». А дома называйте как хотите — Люся, Люси… И зачитали папе целый список самых модных в то время имен: Кима, Ноябрина, Искра, Владлена, Сталина, Марклена, Октябрина, Мюда…

— Як ето Мюда?..

— Международный юношеский день.

— Гм… не-е, давайте лучий Людмила… «Людям мила»… ето мне подходить… ето значит, что усе люди будуть до ней по ласке. Давай пиши! Хай дочурка у меня будить Людмилкую.

Из роддома меня привезли на извозчике. Такси в Харькове в 1935 году были еще редкостью. Привезли в нашу маленькую комнатку в большом доме по Мордвиновскому переулку, N 17. С этой комнатой у меня связаны самые светлые и прекрасные воспоминания в жизни.

Комната была подвальной, с одним окном. Я видела в окно только ноги прохожих. Мне было интересно определять по обуви и юбкам своих соседей. Прямо под окном стоял стол. Слева — буфет. В буфете на верхней полке в вазе постоянно лежали конфеты. Я их получала за свои «выступления».

А выступала я перед всеми, кто попадал к нам в дом. Папа тут же усаживал гостя.

— Ну куда, куда ты бежишь? Ну чиво? Сядь, передохни! Галава ты… Усех дел не переделаишь. Щас тибе моя дочурка концертик устругнеть.

И начиналось! Папа ставил стул посередине комнаты, я быстро вскарабкивалась на него, руки назад, глаза широко открыты, улыбка самая веселая. Я все делала так, как учил меня папа: «Дочурка, глаза распрастри ширей, весело влыбайсь и дуй свое!» Начинала я со стихотворения:

Жук-рогач, жук-рогач —
Самый первый силач;
У него, у жука,
На головушке — рога!

При этих словах полагалось приставить к вискам два указательных пальца.

Гость вежливо улыбался: «Очень мило, очень мило», — и собирался уходить. «Куда ты? Не-е, брат, ще тока начало! Давай, дочурчинка, песенку з чечеточкую!» Это означало, что в конце песни, какой бы она ни была, надо дать «кусок» чечетки. Я хлопала себя почти одновременно по груди, коленям и, выбросив ногу вперед, а руки в стороны, громко выкрикивала: «Х-х-ха!!».

Эх, Андрюша, нам ли быть в печали,
Возьми гармонь, играй на все лады,
Так играй, чтоб горы заплясали,
Чтоб зашумели зеленые сады!

Папа на баяне — «тари-дари, дари-дам!»

И я свое — «х-х-ха!»

После этого гость обязательно смеялся. Больше всех радовался и подыгрывал мне папа: «Не, актрисую будить, точно. Ето як закон! Усе песни на лету береть, як зверь. Ну, вокурат актриса!»

И человек, который к нам заходил на минуточку, уже через четверть часа под папиным обаянием и натиском совершенно забывал, куда и зачем он шел, почему он оказался у нас, и, конечно, оставался… Папа выразительно смотрел на маму. Мама бежала в магазин. А я продолжала свое выступление.

… Домой человек уходил лишь поздно вечером, держась за стенки, хвалил маму, восхищался «дочуркой», прославлял папу — щедрую русскую душу — и благодарил, благодарил. Папа был счастлив.

Кто бы к нам ни приходил, начиналось так: «Ну, девки, давай скорее на стол, человек у гостях. Лялюша! Давай шевелися чуковней! Штоб усе було як на Первое мая!»

У нас в доме все праздники были как Первое мая. Для меня праздник Первое мая был самым веселым. Папа шел на демонстрации впереди колонны с баяном, весь в белом, брезентовые туфли начищались мелом. Мама, в белой юбке, в белой майке и в белом берете, дирижировала хором. Пели все! И я не помню грустных людей, грустных лиц до войны. Я не помню ни одного немолодого лица. Как будто до войны все были молодыми. Молодой папа, молодая мама, молодые все! И я с ними — счастливая, радостная и, как мне внушил мой папа, «совершенно исключительная».

В левом углу от двери в нашей комнате стояла знаменитая двухспальная кровать с никелированными спинками и шариками,

которые я постоянно откручивала. Эта кровать служила моим родителям около тридцати лет, до 1969 года. В тот год они переехали ко мне в Москву. Кровать осталась в Харькове, а им пришлось купить современную тахту, которую папа проклинал и благоговейно вспоминал ту незабываемую кровать с сеткой и периной. А может, он тайно вздыхал по тому времени, когда был молодым, сильным…

У папы было очень много друзей. Особенно до войны. «Друзья» — это те, с которыми его связывало дело, баян, профессия. «Кровенные друзья» — это те, с которыми он говорил о профессии за столом. Раз вместе поднимали рюмки — значит, этот друг становился «кровенным», то есть кровным. Без друзей о водке в доме не было и речи. Но стоило папе сесть за стол с «кровенным» — вступал в силу его характер: как это так, чтобы кто-то оказался сильнее его? Чтобы он кому-нибудь уступил?

Были среди друзей и подруги. «Ухажерки». Те, которые ему нравились, за которыми он ухаживал. Одинокие женщины, которых он утешал или словом, или тихонько похлопывал их ниже спины, так чтобы — не дай бог! — нее увидела мама. А я все видела и никогда своего папочку не выдавала. Папа всю жизнь до старости пользовался большим успехом у женщин.

Он был прекрасно сложен, выше среднего роста. Очень сильный и чрезвычайно легкий в движениях. Танцевал пластично и любое па брал с ходу. У папы были синие глаза, темные вьющиеся волосы и открытый, теплый взгляд. Но самым прекрасным в нем была улыбка! Когда он улыбался — улыбались все! Если представить себе то время, те моды, моего папу с лучезарной улыбкой да еще с баяном в руках… Да ни одна женщина не могла устоять!

Были у него и бесконечные поклонники. После работы около нашего окна его уже поджидали несколько человек.

Я смотрела на маму: чем кончится? Или папа их пригласит в дом, и я буду выступать, или он даст им денег, и они уйдут. И тогда я не буду выступать, а буду слушать сказку.

А один поклонник был непьющий. Он входил, здоровался, глядя неотрывно на папу, садился на диван и клал на колени кепку. Папа сидел напротив, на нашей кровати с шариками, и играл для него. Для таких «настоящих» ценителей музыки папа безукоризненно играл «репертуар», усвоенный еще в муздраминституте: два марша — «Привет музыкантам» и «Старые друзья», танго «Брызги шампанского», польку-бабочку и «Турецкий марш» Моцарта. Этот поклонник все прослушивал, благодарил, прощался, все так же неотрывно глядя на папу, и уходил.

— Что ему от тебя надо, Марк? Ну раз послушал, ну два… Сколько можно? Черте что!

— Леличка, он тибе мешаить? Хай человек слушаить… И мне тренировка…

Среди поклонников были и нищие. Они знали все его маршруты и поджидали папу на дороге. Все знали его по имени и отчеству. Еще бы! Щедрее никто не одаривал! Папа останавливался, разговаривал с ними, расспрашивал. Ему все было интересно.

До войны каждое утро в нашей маленькой комнатке раздавался стук в окно. В форточку просовывалась голова растрепанного человека. У него в горле была резинка, а на кадыке железка с дыркой, из которой вылетал свист. Он был калека. Звали его Андрей. Я не могла к нему привыкнуть. При виде его всегда забивалась в угол.

— Да ты не бойсь его, дочурка. Ета хороший человек. Людям усем нада памагать… Ты даешь, и тибе бог дась… Во, моя детка…

Этот Андрей приходил к нашему окну каждый день, как на работу. Постучит, подождет, а потом хрипит: «Марк Гаврилович! Здравия желаем…»

— Иди, — ядовито говорила мама, — твой дружок пришел…

— Полегчий, полегчий, девка, на поворотах, а то быстро у меня схватишь. — И, широко улыбаясь, вырвав у мамы деньги, направлялся к окну. Деньги всегда были у мамы. Папа их моментально тратил или безвозмездно отдавал «взаймы». Андрей мне не нравился. Тут я была на маминой стороне. Такой нахальный, неприятный человек, а папа с ним так…

Этот калека всегда сидел на углу Рымарской и нашего Мордвиновского переулка. Около того здания, с которым у меня потом будет так много связано…

При вступлении немцев в Харьков в этом здании была сперва немецкая ремонтная часть, затем — немецкий госпиталь. Когда Красная Армия в первый раз освободила Харьков, в нем был наш красноармейский госпиталь. Потом немцы вновь взяли Харьков. Опять в этом здании разместился немецкий госпиталь. И, наконец, 1 сентября 1943 года оно стало моей школой N 6. В этой школе я проучилась все десять лет.

ВОЙНА

Было так весело и празднично. Было лето. Наш детский сад на лето переехал в Ольшаны, под Харьковом. На всех праздниках в садике я пела, на Новый год была Снегурочкой. Воспитательница говорила папе и маме: «Ваша Люся должна стать актрисой». — «Да! Ета ув обязательном пырядке. Так и будить!» — заверял ее папа. Я была влюблена в мальчика Семочку. На сохранившихся фотографиях мы с мим везде рядом.

И вдруг родители срочно увозят нас в Харьков. Еще утром мы были в лесу на прогулке. Нарвали ромашек и сиреневых колокольчиков. А вечером уже оказались дома, и увядший букет лежал на диване… Все оборвалось мгновенно, неожиданно.

Всего пять с половиной лет я прожила «до войны»… Так мало!

«Война, война, война… Сталин, Россия… фашизм, Гитлер… СССР, Родина…» — слышалось отовсюду.

Что такое война? Почему они ее боятся? Мне было очень любопытно — что такое «пострадало от бомбежки?» Как это выглядит?

После бомбежки мы с папой пошли в город.

— Марк, не бери Люсю. Там могут быть убитые. Зачем ребенку видеть это?

— Ребеныk, Леля, хай знаить и видить усе. И хорошее и плохое. Усе своими глазами. Жисть есть жисть, моя детка.

Мы пошли в центр, на площадь Тевелева. Во Дворец пионеров попала бомба. Середина здания, там, где был центральный вход, разрушена. Окна выбиты. А как же красные пушистые рыбки? Где они? Успели их спасти?

Городской пассаж, что напротив Дворца, был разрушен совершенно, и даже кое-где еще шел дым.

«Да, усе чисто знесли, зравняли з землею… ах ты мамыньки родныи…»

Я так любила ходить в пассаж с мамой! Мне он запомнился как сказочный дворец! Много-много света! И сверкают треугольные флакончики одеколонов: «Ай-Петри», «Жигули», «Кармен»…, их много, бесчисленное количество. И мама счастливая, как на Первое мая!

А теперь — бугристая, еще горячая груда кирпичей…

От Дворца мы пошли по Сумской улице к нашему дому. Около ресторана «Люкс» лежала раненая женщина. Других, более пострадавших, наверное, уже увезли в больницу. Она лежала на правом боку. Левое плечо у нее было раздроблено, и цветастая

кофточка вдавилась внутрь. Широкая белая юбка от ветра поднималась. На ноге, повыше колена, осколком вырвало кусок мяса. От ветра юбка закрыла лицо и видны были только белые трусики. «Товарищи! Кто-нибудь, пожалуйста, поправьте юбку… Как стыдно… Товарищи, дорогие товарищи, пожалуйста… Так стыдно…» — твердила она монотонно. Лицо у нее было совсем серое. Она даже не стонала. Неужели ей не больно? Почему она не кричит? Почему она говорит «товарищи, товарищи»?

На своем месте, около моей будущей школы, сидел Андрей, склонив на грудь лохматую голову. Перед ним лежала на тротуаре его потертая кожаная кепка. Его убило осколком в спину. Он так естественно сидел, что никто и не подумал, что он мертв. Сидит нищий и сидит… Андрей был первым человеком в моей жизни, которого я увидела неживым. Как это? Был — и больше нет…

«Усе, Лель, Андрей нам усем приказав долго жить… Усю спину ему разворотило. Хай земля ему будет пухом. Эх, браток…»

Папа ушел на фронт добровольцем. В первые дни войны его возраст считался непризывным. Тогда мне папа казался молодым и здоровым. Только много позже я узнала от мамы, что он был инвалидом. После работы на шахте у него на животе были две грыжи. Операция не помогла. Он всю жизнь носил бандаж, который сильно вминался в живот с двух сторон. Ему нельзя было поднимать тяжести. Но я помню, как он то и дело поднимал тяжелые вещи (один только баян весил 12 килограммов). После той шахты у него всю жизнь был сильный кашель. Когда он кашлял или смеялся, он всегда придерживал живот.

Папа ушел на фронт. Мы с мамой остались в Харькове. Филармония, за которой числились родители, имела строгий лимит на эвакуацию. В первую очередь эвакуировали заводы, фабрики, предприятия… а филармония и, тем более, нештатные работники — позже. Так мы и просидели с мамой на переполненном вокзале с чемоданами и мешками. А потом вернулись домой.

Маме было двадцать четыре года. Она ничего не умела без папы, всего боялась. Когда папа уходил на войну, она была совсем потерянной и все время плакала:

— Марк, как же нам быть? Что же делать, Марк? А? Не оставляй нас… Я боюсь…

— Не бойсь Лялюша, не бойсь… Ты девка умная, чуковная… Што ж, детка, сделаишь… Жисть есть жисть… Дочурочка тебе поможить… А я не могу больший ждать… Пойду добровольно защищать Родину! Ну, с богум…

Папа ушел и унес с собой баян. А вместе с ним унес самые

прекрасные песни, самый светлый праздник — Первое мая, самое лучшее в жизни время. Время — «до войны».

ВАЛИ

24 октября 1941 года в Харьков вошли немцы. В городе как будто все вымерло. Только по булыжной мостовой Клочковской улицы шли немецкие войска, ехали машины, танки, орудия. Не было ни выстрелов, ни шума. Жители группками осторожно спускались вниз по Клочковской, чтобы поближе разглядеть: какие же они, немцы?

Немцы шли, ехали молча. Никакой радости, никакого ликования по поводу взятия крупного города не было. Все холодно, четко, равнодушно. На жителей не смотрели. Мы разглядывали их дымчато-серую форму, лица, погоны. У некоторых под подбородками висели железные кресты. Впервые увидели и немецкие танки, тоже с крестами.

Несколько дней было затишье. Вообще не чувствовалось, что вошли враги.

Началось все позже.

Началось с того, что собрали всех жителей нашего дома, оставшихся в оккупации, и приказали освободить дом. «Здесь будет расквартировываться немецкая часть». Первый раз я услышала немецкую речь. Немецкий офицер был немолодой, говорил вежливо. А вот переводчиком… — как же это? Вот это да! Из нашего дома — Илья?!

— Илья, мам, смотри, дядя Илья! Ты видишь, мама? — дернула я маму за платье, пытаясь развернуть ее к себе. Мне нужно было заглянуть ей в лицо. Мама меня сильно ударила, испуганно оглянулась на жителей нашего дома и шепотом приказала, чтобы я никогда больше не болтала глупостей.

— А то нас убьют… поняла?

Наш дом распался. Кто куда. Разбрелись по разным квартирам. Мы с мамой попали в четырехэтажный дом, в квартиру на четвертом этаже. Этот дом стоял по тому же Мордвиновскому переулку, только ближе к Рымарской. Из окон нашего жилища, из комнаты соседки видна была слева, внизу, Клочковская, а справа, вверху — Рымарская. Крутой, горбатенький Мордвиновский переулок соединял эти две параллельные улицы. Нашей соседкой по квартире оказалась женщина с ребенком. Девочку звали Зоя Мартыненко. Мать у Зои была большая, кривоногая, с лицом, побитым оспой. Она с утра уходила, а девочка целыми днями сидела одна «под замком». У Зои Мартыненко был очень хороший слух. От нее первой я услышала немецкую песню: «О, танненбаум, о, танненбаум. Ви грюн зинд дайне блетер…» Она пела в комнате «под замком», а я

слушала и запоминала в коридоре. Песне ее научил немец, который стоял у них на квартире, пока их с матерью не подселили к нам. Что означают эти слова, я так и не узнала.

Главным же персонажем нашего нового дома была женщина двадцати девяти лет — Валентина Сергеевна Радченко — Вали! Так она себя называла. Она родилась в украинском городе Волчанске. В Харькове все говорят с украинским акцентом. У Вали был такой чудовищный акцент, что его чувствовала даже я. Чтобы услышать ее речь, нужно все гласные и звонкие согласные произносить буквально, не редуцировать, то есть «войська», «пирожки» и т.д…

Никогда еще в своей жизни я не встречала более экстравагантной дамы! Как сказал бы мой папа, в ней наверняка было что-то «артистическое».

Вали была высокого роста, с длинными ногами, приятным лицом и голубыми глазами. Ее роскошные пышные волосы стали предметом моей зависти. С детства меня регулярно стригли под машинку, оставляя один чубчик. Волосы Вали красила. Однажды, намазав их перекисью, она прилегла и заснула. А проснувшись, прибежала к нам в ужасе: волосы на той стороне, что была прижата подушкой, превратились в липкую массу, кисель. И отвалились прямо на наших глазах.

Но Вали была бы не Вали, если бы не придумала выхода. Наутро волосы были зачесаны слева направо и прекрасно закрыли плешь около уха. Она их собрала и заколола розовым бантиком. У нее везде были бантики: та платьях, на занавесках, на абажуре. Я на всю жизнь полюбила бантики.

За ночь Вали сшила себе шляпку из коричневого бархата и оторочила ее кусками рыжей лисы. Я была в восторге. Вали мне казалась волшебницей. Эта шляпка, надетая набекрень, не только прикрывала отвалившиеся волосы, но как нельзя лучше сочеталась с ее плюшевым пальто — коричневым, с тигровыми брызгами. Сзади пальто было расклешено. При ходьбе фалды метались из стороны в сторону. У меня аж дух захватывало. Походка у Вали была подпрыгивающая. Голову она держала высоко. Когда она шла по улице, на нее оглядывались все. Тогда было модно подкладывать плечики. У нас было так много этих ватных треугольников, что мы даже топили ими железную печку. А тетя Валя делала такие высокие плечи… Шея просто утопала в них… Шик!

Туфли она пошила из коврика. «Леля! Как тебе мои ковровые туфельки? Хо-хо!»

И опять она — чудо! Женщина сама себе сшила не платье, не пальто… Туфли! К старой подметке и истрепанному кожаному

верху туфель она пришила покрытие из ковра! Вот это мастерица!

С отъездом папы образовалась пустота. Я не могла найти себе места. Все люди казались мне скучными и пресными. И, конечно, я по уши влюбилась в тетю Валю. Я ходила за ней как тень. Я изучала все предметы в ее комнате. Сколько там было диковинного! Кровать с железными спинками причудливой формы. На спинках — на голубом небе с дымчатыми облаками летят розовые ангелы с белыми цветочными венками на голове! Царская кровать! Иногда мне разрешалось на ней полежать. Но предварительно тетя Валя накрывала ее старым одеялом: «Ложиться на чужую постель, доця, негигиенично, запомни это на всю жизнь».

Она вскоре сообщила маме: «Наша доця будет артисткой, Леля. У меня глаз набитый. Я ведь тоже артистка… О! Если бы не война… Хо-хо!»

На стенах у нее висели фотографии актрис немого кино и цветные открытки, на которых изображены были любовные парочки. Они висели вперемежку с веерами из перьев и боа. У тети Вали была даже приплетная коса. О ней я тайно мечтала. Вот бы пройтись по улице с такой длинной косой!

… Я рассматривала открытки. Тетя Валя ходила по комнате, перебирая свои бесчисленные флаконч ики, и напевала вальс Штрауса. Я была от счастья на седьмом небе! Мне грезились сказочные феерии. Я вся в белом, в розовых перьях, с золотом. Или я — вся в черном с пушистой белой муфтой. И музыка, музыка, музыка!

— Тетя Валя? Какие же красивые тети у вас висят!

— Тети? Хо-хо! Это не тети, доця. Это все я!

Ничего общего с тетей Валей эти дамочки с черными челками и с продолговатыми лицами не имели. Но, боясь потерять ее дружбу, боясь ее обозлить или обидеть, я робко говорила:

— Ой, тетя Валя, вы в жизни лучше…

— А что же ты хочешь, доця? Это же мастерство! Такая, доця, профэссия. Это ведь характерные роли…

Тетя Валя явно имела отношение к театру. Она произносила такие «артистические» слова, как «мастерство», «профэссия», «роли»…

ГРАБИЛОВКА

— Марк! Гостей мы приняли «як люди», а назавтра совсем нет денег.

— Возьми в соседки.

— А дальше что?

— А ничего. Што дальший? Што бох пошлет. И не нада меня, Леличка, копирувать, добром прошу тибя, уважь.

Утром стук в дверь: «Марк Гаврилович! Не откажите. Отыграйте у нас на свадьбе».

— Лель! Што я тибе гаварив? Деньги сами в руки идуть… За мною не пропадешь! За хорошим мужум и чулинда жена…

Так мы и жили до войны. Сегодняшним днем. Перед самой войной мама удивлялась: «Ты знаешь, Марк, сегодня Маковецкие несли из магазина мешок соли. Зачем им столько соли? Что солить? Идиотизм какой-то…»

Как часто мама теперь говорила про эту соль. Смысл ранее непонятных слов «на черный день» стал доходить до нас. Каждый день становился все чернее и чернее.

Наше новое жилище на четвертом этаже состояло из двух просторных комнат. Первая была с балконом. Наша половина выходила на большой квадратный двор. А половина тети Вали и Мартыненко — на Мордвиновский переулок.

Балкон на всю жизнь стал для меня символом холода. Если в доме есть балкон, значит, в нем холодно. После нашей маленькой темной комнатушки эти две светлые комнаты казались огромными залами. Я и сейчас боюсь больших комнат. Это не значит, что я думаю о войне. Просто холод с детства пронзал меня так глубоко, что я чувствую его намного раньше, чем он наступает.

В эту квартиру перекочевала и кровать с шариками. И стол. И буфет, в котором по-прежнему стояла ваза. Теперь она была покрыта пылью.

Выпал снег. Начались холода. Постепенно все, что составляет человеческий организм, перестроилось на волну: «хочу есть», «как и где достать поесть», «не умереть с голоду».

В городе самым ходовым стало слово «грабиловка». Что это такое? Если бомба попадала в склад с продуктами, люди, вооружившись мешками и ведрами, толкая и обгоняя друг друга, бежали «грабить». Многие не возвращались. Немцы расстреливали тех, кто замешкался и не успел скрыться. Люди хватали все подряд, что близко лежало, не нюхая, не читая надписей на ящиках. Лишь бы добыть что-то и поскорее унести

домой.

Мама всегда боялась. Но страх, что я совсем ослабею от голода, заставлял ее пересиливать себя и тоже оказываться в этой толпе… Я стояла у парадного и ждала маму. А вдруг с ней что-то случится и я останусь одна? Невозможно так долго ждать…

Я увидела ее, как только она появилась из-за угла Клочковской. Она медленно поднималась вверх по нашему крутому переулку. На спине мама несла, согнувшись, тяжелый ящик. Я побежала ей навстречу. Я так была счастлива, что она жива, что она вернулась! И вдруг из парадного ей преграждает путь мужчина без пальто и шапки, толкает ее; ящик падает на землю. Я вижу, как мама умоляюще протянула к нему руки. Еще быстрее бегу вниз. Мужчина здоровенный. Эх! Был бы сейчас мой сильный папа! Он бы его одним ударом сбил с ног. И вдруг я как закричу: «Мамочка! Не бойся! Вон наш папа уже бежит!» Вырвалось у меня это. Вырвалось — и все! Мужчина воровато оглянулся, схватил банки, которые высыпались из ящика, и быстро исчез в подъезде. Я успела его рассмотреть. Вблизи он не казался таким огромным. Он был черный, волосатый, похоже, что армянин.

Вдвоем мы еле-еле подняли этот ящик. Такую тяжесть моя худенькая (тогда еще худенькая) мама могла поднять и нести только в состоянии необычайного возбуждения.

Уже около дома, когда мы поняли, что ящик наш, мы с нетерпением фантазировали: ну, что же там, в этих банках. Наверное мясо! Ну, что еще хранят в таких банках? Пришла тетя Валя. Дома, как назло, не было консервного ножа. Мы пробили гвоздем в банке дырку и стали нюхать… Это оказалась томатная паста для борщей. Не мясо, но все же…

… Мы увидели из окна, как что-то горело в районе кондитерской фабрики. После бомбежки в городе было очень дымно и пахло гарью.

— По-моему, горит КАФОК, — сказала мама. (Так сокращенно называли кондитерскую фабрику). Внизу, по переулку, уже беспорядочно бегали жители с ведрами, мешками и корзинами. — Пойду. Ты — к тете Вале.

Я представляла, как мама несет мне из КАФОКа любимую шоколадную «бомбу». До войны не было ни одного праздника, чтобы папочка не принес мне шоколадной «бомбы». У нас была постоянная игра:

— А что я принес дочурке?

— Конфеты!

— Не-а…

— Пирожное!

— Не-а…

— Зефир!

— Ну, дочурка, давай думай чуковней!

— Бомбу!

— Пр-равильна! Усе чисто соображаить…

Сначала надо было снять с этого круглого шоколадного мячика золотую бумажку.

— Та-ак, знимим золото и…

— Разобьем!

— Исключительна правильна!

Главный сюрприз — внутри «бомбы». Там могли быть деревянные матрешки, кувшинчики, сердечки. Всегда неожиданность, но обязательно радость. Жалко, что после войны в кондитерских магазинах уже не было шоколадных «бомб». Наверное, потому, что люди знали, что такое бомба. С этой бомбой слово «игра» не сочеталось.

С КАФОКа мама принесла ведро коричневой горькой массы — патоки. Если ей удавалось что-то раздобыть, она была просто счастлива.

На этот раз она пришла вся оборванная, в саже. Молча поставила ведро и сразу пошла к тете Вале. Я тут же залезла в ведро языком. Ой! Это даже повкуснее шоколадной «бомбы»! Какая хорошая мама, целое ведро!

А чего это она сразу к тете Вале направилась? Даже ни слова мне не сказала? Надо подслушать. Я тихонько подкралась к тети Валиной двери.

— Орут, кричат. Люди прямо из огня ящики вытаскивают, а ящики в руках горят. Я не смогла. Стою, меня швыряют во все стороны. Вдруг как обвалится этаж! Все бросились в другую сторону, кричат! Кого-то засыпало, придавило… Вдруг: «Сюда! Сюда! Здесь патока!» Ой, Валя! Представляешь — стоит внизу чан, прямо в пол встроен, ну, представляешь… Такой большой! Да больше, чем твоя комната, только круглый, как пруд. Сзади толкают, торопят. Немцы вот-вот. Свалиться в него можно в два счета… Господи! Валя… Только я об этом подумала… Дядька напротив меня — тянул целую выварку и вдруг упал вместе с ней, она его перетянула… Упал, и его тут же засосало… А все продолжали набирать ведра, тазы, и я тоже. До сих пор все внутри трясется! Не могу… Как жить? Люсю жалко. Детство называется.

Мы съели патоку. Это было такое лакомство в ту страшную зиму 1942 года!

После этой грабиловки моя мама подпоясывала пальто

папиным ремешком. Все пуговицы на пальто были вырваны «с мясом». Пуговиц не было, ниток не было, иголок не было… Так ходили многие женщины.

В 1975 году я снималась в фильме «Двадцать дней без войны», играла Нину Николаевну. Шубка у меня была подпоясана таким же ремешком, какой был у мамы. Кто-то из съемочной группы заметил: «Братцы! Потрясающе! Смотрите — на фотографиях тех лет женщины вот именно с такими ремешками. Это прелестно! Это очень женственно. Подумать только — война, а мода свое берет!»

Я хотела рассказать тогда, откуда появилась эта «мода», но для того, чтобы при этом быть убедительной, мне нужно было бы целиком уйти в атмосферу моего детства… При одной мысли об этом времени мне стало холодно, одиноко и страшно.

За окном солнце. Я актриса. Снимаюсь. В журналах печатают мои фотографии и статьи обо мне. Все прекрасно! Но глубоко в душе есть холодный тайник. И я боюсь его открыть. Я его открою. Только не сейчас. В самой трудной и обнаженной сцене он мне понадобится.

Потому я и сказала тогда: «Друзья мои, женщина всегда остается женщиной! Во все времена. Кстати, сейчас в последнем французском журнале дорогие шубейки подпоясаны кожаными кушаками. А? Намотаем на ус… Ах-ах-ах…».

Играя роль Нины Николаевны, я напряженно жила жизнью моей молодой мамы. Как она была беззащитна! Как она была беспомощна! Как жаждала любви, моя мама!

КАЗНИ

На каждом доме немцы вывешивали приказы-объявления. В них говорилось, что в такое-то время всем здоровым и больным, с детьми, независимо от возраста, собраться там-то. За невыполнение приказа — расстрел.

Главным местом всех событий в городе был наш Благовещенский базар. Здесь немцы вешали, здесь устраивали «показательные» казни, расстрелы.

Жители города сотнями шли со всех концов на базар. Образовывался плотный круг. Впереди — обязательно дети, чтоб маленьким все было видно. Внутри круга — деревянная виселица со спущенными веревками. На земле несколько простых домашних скамеек или деревянных ящиков. Дети должны были видеть и запоминать с детства, что воровать нельзя, что поджогом заниматься нельзя. А если ты помогаешь партизанам, то смотри, что за это тебе будет…

Из темных машин выводили в нижнем белье мужчин с дощечками на груди: «Вор», «Поджигатель», «Партизан».

Тех, кто «Вор» и «Поджигатель», подводили к виселице, вталкивали на скамейку и, не дав опомниться, выбивали скамейку из-под ног.

Операция «Партизан» была самая длинная, изуверская и… «торжественная». Самого слова «партизан» немцы боялись патологически. Мужчин в городе было очень мало. Но и те немногие прятались по домам. Выходили только ночью. Носили в дом воду. Выполняли тяжелые работы для семьи. К январю-февралю 1942 года в каждом мужчине немцам чудился партизан. К казни «партизан» немцы готовились, тщательно режиссировали это «зрелище».

Опять же из машин очень медленно выводили нескольких человек в нижнем белье со связанными руками. Они стояли на трескучем морозе так долго, что это казалось вечностью…

Сначала длинный приговор читали по-немецки. Потом так же длинно переводчик читал этот приговор по-русски с украинскими словами вперемежку. Пар вырывался у него изо рта, замерзал и превращался в сосульки. Они висели на бровях, на усах, на носу. Клубы пара поднимались над толпой и застывали. А люди в нижнем белье и босиком стояли и стояли…

И один раз приговоренный к казни через повешение не выдержал и крикнул: «Давай, сука! Чего тянешь?»

Толпа загудела. Защелкали автоматы. И вдруг над толпой раздался высокий голос: «Сыночки ж мои роднэньки! Быйтэ их,

гадив! Мий сыночок на хронти…»

Она еще что-то кричала, но ее уже отталкивали в сторону. Раздалась автоматная очередь. Все смолкло. Стояла тишина…

Как только казнь была совершена, немцы быстро, прикладами в спину, разгоняли людей. Они боялись всяких бунтов, выступлений масс.

Я не могла смотреть, как выбивают скамейку, и человек беспомощно бьется… Первый раз я еще ничего не знала. Я не знала, что такое «казнь через повешение». И смотрела на все с интересом. Тогда мне стало нехорошо. Что-то снизу поднялось к горлу, поплыло перед глазами. Чуть не упала. Потом я уже все знала… Я боялась повторения того состояния. Я уткнулась лицом в мамин живот, но вдруг почувствовала, как что-то холодное и острое впивается мне в подбородок. Резким движением мое лицо было развернуто к виселице. Смотри! Запоминай Эти красивые гибкие плетки, похожие на театральный стек, мне часто потом приходилось видеть. Их носили офицеры.

Тогда мне было шесть лет. Я все впитывала и ничего не забыла. Я даже разучилась плакать. На это не было сил. Тогда я росла и взрослела не по дням, а по часам.

Посередине комнаты стояла железная печка. Мы сожгли всю деревянную мебель. Мама завидовала тем, у кого была деревянная кровать. А наша железная — не горит. Тепла от печки хватало ненадолго… И опять холод, холод… Из окон дуло. Из щелей балкона дуло. С внутренней стороны окна были сантиметров на десять покрыты льдом. На ночь мы затыкали щели полотенцем или тряпкой, и на утро их уже было не оторвать. Вода в ведре покрывалась за ночь коркой льда. Целыми днями мы лежали с мамой в одежде, набросив на себя все, вплоть до ковровых дорожек. Тулились ближе друг к другу, чтобы согреться, и молчали. Говорить не было сил. Каждый тихо лежал и думал о своем. Я думала о папе…

… Вот мы идем с папой по Сумской улице. Папа покупает все, что мне хочется. А я все время задаю ему вопросы: «А что это? А кто это?» И он с удовольствием отвечает. На ходу перевоплощается в продавцов, животных, милиционеров — в тех, кто меня интересовал. И так нам весело, так интересно… «Якая умныя девычка! Исключительно допытливая».

Один раз я его сильно озадачила. Увидев издали нашего знакомого, папа мне сказал:

— Дочурка! Хто ета? Познай. Во-онин идеть…

— Папусик, почему ты говоришь «вонин»? Надо говорить «вон он», понимаешь? Ты неправильно говоришь, папа.

— Лель! Ты скажи на милысть, такая соплюшка и вже заметила.

А через время:

— Лель! Ета ж скока Люси тогда було? Года четыре? Ну да, четыре года. И вже раднога отца вчила. Та што там гаварить… Во ребеныk!

В детстве я тайно страдала, что папа так неграмотно говорил. Был даже в моей жизни позорный период, когда я его стеснялась. Правда, это длилось недолго. Как мне теперь стыдно за тот период!

Чем старше я становилась, тем все больше и больше задумывалась, как могло произойти, что два этих совершенно разных человека — мои отец и мать — могли прожить вместе всю жизнь…

В разные годы своей жизни я приставала к маме с одним и тем же вопросом:

— Ну как ты — умная, из интеллигентной семьи — могла

выйти за папу? Ну, скажи, мам, неужели ты не слышала, как он говорит, какой у него характер? Ведь это же сразу видно. А? Ну, мам, ну скажи…

— Ну, видела… — всегда неохотно отвечала мама.

— Ну и что же? Скажи, мам! Мне это очень нужно… пожалуйста!

— Не знаю… вот так… Ах, ну зачем тебе это? Этого не объяснишь.

Люди тянулись к нему. Везде он был в центре внимания. Не успеешь прийти с папой в незнакомое общество, как вскоре около него компания, шутки, смех. Услышав веселье, со всех сторон присоединялись и другие. «Ну когда успел? Что за человек?» — тихо жаловалась мама, хотя я видела, что ей это приятно.

Многие пользовались его добротой, многие его обманывали.

— Лель! Сегодня видев Удава.

— Он тебе деньги отдал?

— Да не-е, он, як увидев меня, зразу голову — брык униз, мол, на земле шо-та ищить… А я думаю — дай перейду на другую сторону от греха подальше. Не, Лель! Он не оддась — ето дело пиши пропало… Он же за копейку з церкви спрыгнить.

«Удавом» папа прозвал своего коллегу, баяниста дядю Сеню. Это прозвище дядя Сеня получил за скупость, за то, что много и жадно ел. Мы с мамой смеялись до слез, когда за столом папа показывал Удава во время обеда: «Во жреть! Мамыньки родныи, не успеишь у сторону голову отвесть — на столе вже ничегинька нима! Тока блысь — и кругом чисто! Ну скажи на милысть, жреть, як удав».

Удав да Удав. А что зовут Семеном, все забыли, даже его жена. Она жаловалась маме: «Все проедаем… Точно твой Марк назвал Удавом».

Папа многим давал прозвища. Был Паштетик — тоже баянист. Маленький, толстенький, рыхлый. На закуску любил больше всего паштет и называл его любовно — паштетик. «Леля! А паштетик для меня будет?» — «Да ты сам як паштетик. Такой увесь мякенький, прямо як баба… Ну, давай, Паштетик, садися чуковней…»

Был и Пароходик. Баянист дядя Шура. Прозвище получил за то, что его лицо как-то странно выдавалось вперед и напоминало нос парохода. Но дядя Шура был хороший и добрый человек, и папа его называл Пароходик.

«Ну, Паштетик, Пароходик! Давайте — за честь, за дружбу!» Это был знаменитый и постоянный папин тост. Многие запомнили этот тост и Марка Гавриловича… Какие бы витиеватые и остроумные речи ни произносились за столом, папа всегда

терпеливо дожидался конца, а потом вежливо заключал оратора: «Ну, так, значить, за честь, за дружбу?» О чем бы ни был предыдущий тост, папин «за честь, за дружбу» подходил ко всему и как бы ставил нужную точку.

Когда папочке было уже семьдесят лет, он жил в Москве. У него и здесь были друзья-пенсионеры. Они тоже имели прозвища. Был Чугун. Папа его прозвал так за крепкое сложение, да к тому же тот всю свою жизнь проработал на чугунолитейном заводе. Второй — Партизан. Во время войны он был в партизанском отряде. Чугун и Партизан — два опрятных старичка с собачками, осторожно стучали три раза в дверь. Они боялись маму и потому не звонили, чтобы не причинять беспокойства. А когда мама открывала им, они испуганно и ласково спрашивали ее: «Марк Гаврилович выйдет вечером гулять? Без него… скучно. Передайте, что мы его ждем в садике…»

Удав, Паштетик, Пароходик, Чугун, Партизан… Все ждали папу. Ждали его рассказов. Он умел в «историях» перемежать грустное и трагическое с неожиданными юмористическими отступлениями. «Ето — штоб дать людям передых». Папа интуитивно точно режиссировал свои приукрашенные импровизации и держал всех в крайнем напряжении.

Самые яркие мои впечатления детства — папины сказки. Сказенки. Придя с работы домой, папа снимал свой баян с плеч, ставил его на стул и шел мыться. Мама шла по длинному коридору на коммунальную кухню готовить ужин. А я была в ожидании, когда же папа скажет: «Ну дочурка, якую тибе сегодня рассказать сказенку? Веселую или жалостливую?»

Вопрос этот он задавал каждый вечер. Одновременно происходила отрепетированная мизансцена: папа ложился на нашу кровать с шариками, а я торопливо усаживалась ему на грудь, чтобы тут же бодро воскликнуть:

— Жалостливую!

— Для дочурки ув обязательном пырядки! — И начиналось…

Папа знал три сказки, но они всегда были новыми. Он их называл «Вогниво», «Медуза горгона». Много позже эти сказки — «Огниво» и «О Медузе горгоне и храбром Персее» — я прочла. Они мне показались серыми и скучными по сравнению с цветной, яркой папиной интерпретацией.

А третий сюжет был самый волнующий. «Вольный». Тут что хотел, то и говорил. Заворачивал в любую сторону. Сюжет про бедную девочку, которую выгнали из дома. При помощи волшебных сил она скоро становилась большой, богатой и красивой. И вот пришло время выбирать себе жениха. Этого момента я ждала, аж дух замирал. По-папиному все женихи

должны были выстроиться в длинный ряд и ждать, кому же принцесса-красавица отдаст предпочтение.

— Ходить она ат аднаго да другога… И никого не хочить обидеть… И етый парень краси-ивый, здаро-овый, но идеть она дальший. И враз остановилася. Глаза в землю опускаить и гаварить: «А ета мой муж!» И одеваить ему на палец кольцо! Усе у драгоценных каменнях. И выбрала она, дочурочка, высокага, чернявага, маладога орла! Глаза блестять як у цыгана, нос горбом, зубы, як мел, вусы, як у Буденнага… А он ей и отвечаить: «Спасибо тибе, барышня, буду служить тибе верую и правдую!»

И я себя представляла той бедной девочкой, которая становится принцессой, и втайне грезила, какой же он будет, этот высокий, чернявый… Это папа с детства нарисовал мне идеальный портрет героя. Бедный папа. Он и не представлял тогда, сколько ошибок и разочарований предстояло мне испытать впоследствии. Сначала в поисках этого «высокага, чернявага», а потом уж и после встречи с ним…

Папа делал все, чтобы я его любила больше, чем маму.

— Эх, дочурочка, було ета у тридцать шестом гаду. Мы з мамою у санатории работали, под Чугуевом. Да-а, иду я вокурат з работы… Вечереить. Смотрю, ах, ты ж мамыньки мои родныи! Стоить моя дочурка кала заборчика, як сиротка, одна… качаится. Тибе ще тока десять месяцев було. А ета твоя мать усе твои грязныи пеленки у мешок поклала, пувесила мешок тибе на плечо, а ты ще ходить не вмела… Она тибя и прихилила до заборчика… «Уходи, куда хочешь! Надоело мне тибя кормить и твои пеленки стирать. Уходи у лес з глаз долов!» А папусик твой тут як тут! Увидев свою дочурочку, узяв на руки и горька заплакав, што мою клюкувку, мою богиньку так мать родная обижаить… Чуть ребенка з дому не выгнула…

Мы с папой принимались плакать вместе. По-моему, ему даже нравилось наблюдать за тем, как я плачу…

Входила с ужином мама. Тут же понимала, про что шла речь. А я, прижавшись к своему защитнику, холодно смотрела на нее. Я представляла, как она меня, такую маленькую и беззащитную, прогоняла в лес…

— Марк, ну что ты болтаешь? Ведь это была шутка! Ты ведь сам предложил: «Давай, Лель, ты выгоняй, а я буду спасать»… Забыл? А теперь ребенка настраиваешь против меня. Обязательно тебе нужно быть лучше всех. Черт-те что!..

С папой надо было уметь подбирать слова. Но в тех случаях, когда его открыто разоблачали, он смеялся добродушно и тут же переводил разговор на другую тему.

— Эх ты, галава! Глянь, як дочурка реагируить… Я плачу, она

враз плачить, аж борода (подбородок) трусится… Ну вокурат, як в меня. Я смеюся, и моя дочурочка тут тибе влыбается. Не, Лель, актрисую будить! Ето як закон.

— Ну зачем ты это так безапелляционно утверждаешь, Марк? Надо быть реальным. Люся девочка неглупая, но она некрасивая. Подумаешь, плачет и смеется! Кто этого не умеет? Хи-хи-хи…

Тут моя неприязнь к маме вырастала с невероятной силой.

— Втикай, пока не схватила… А то щас встану… — И папа чуть приподнимался на локтях…

Маму тут же как ветром сдувало.

— То-та! Во с кем, дочурочка, я живу! Чистая яга! Сама ничегинька не вмеить… Иголку и ту в руках держать не вмеить… Я ей профессию у руки дав, на дорогу жизни вывив… У-ух, якой неблагодарный человек… Во невлюддя, чистая атбайла…

Я узнала от папы происхождение слова «отбайло». Оказывается, в шахте так называли отбитую породу, которая за ненужностью выбрасывается.

— Не плачь, моя ластушка! — говорил он мне и посылал маме далеко, на коммунальную кухню: — Моя дочурочка ще погремить. Тада увидишь! Успомнишь, что гаварив Марк. Дай мне господь бог дожить до етага! Тока штоб фамилию не изменила, штоб усе знали: ето дочурка Марка Гавриловича Гурченко…

Мы лежали с мамой. Есть совсем не хотелось… Почему папа должен «дожить»? Он будет жить всегда. Почему я должна сменить фамилию? У меня всегда будет папина фамилия. Я так близко слышала папин голос…

Интересно, о чем сейчас думала мама?

ПРОРУБЬ

Мамины скупые рассказы об оккупации глубоко врезались в мою память. Стали как будто моими собственными. И теперь, рассказывая, я вдруг ловлю себя на том, что воспроизвожу точную мамину интонацию: «Ох, знаете, в зиму 1942 года самым страшным было утро. Ночью спишь. А утром надо начинать жить. А как жить? Что есть? Чем топить? Что пить? Колонки в городе замерзли. Водопровод разрушен. Воду брали прямо из проруби в нашей речке Лопани. Ужас…»

Сейчас, когда я как бы заново проживаю те дни… Да, действительно, ужас. А тогда это была моя естественная жизнь. Довоенная — короткая и радостная — кончилась. И началась другая. К ней я скоро привыкла. Я и не думала, какая у меня жизнь — хорошая или плохая. Я знала и исполняла свои обязанности. Моя главная обязанность была — принести воды. А мама доставала топливо. Она шла в сад Шевченко, рубила сучья, ветки, сухие корни. Корней было много от вырванных при бомбежке деревьев. Корни горели хорошо. После взрывов мама ходила по развалинам в поисках «деревянного». Из разрушенных домов люди выносили все, что горит. Никому не нужными оставались на земле причудливые бронзовые люстры, мраморные головки, большие фарфоровые вазы… За полбуханки черного хлеба на базаре можно было выменять золотые часы. Такие вещи за бесценок отдавали люди, не сумевшие приспособиться к жестокому времени. Когда уже нечего было продавать, они тихо умирали в нетопленых квартирах.

У нас в доме, на втором этаже, жила старенькая женщина с дочкой или внучкой, не знаю. Девчушку немцы угнали в Германию. Ей было лет восемнадцать. (Я помню, что мама долгое время боялась выходить на улицу. Всех молодых женщин угоняли в Германию. Когда она выходила, то надвигала платок на лоб и лицо пачкала сажей.) Мама говорила, что часто видела старушку на базаре. Та продавала дорогие вещи. Старушка заболела и умерла, а пока ее хоронили, из квартиры успели вынести все ее вещи, даже книги — на растопку. Висела только люстра с бусиками, стоял железный остов кровати и в углу бронзовый человек держал факел.

Процветал тот, кто принял железную логику — или ты, или тебя. Эти люди будто вынырнули из-под земли. Одни работали у немцев. Другие открывали лавочки, кафе. А самые страшные стали полицаями. Их боялись больше, чем немцев. Если полицай кого-то невзлюбит… Все! Полицаю достаточно намекнуть немцу,

что ты связан с партизанами… И тогда — конец!

Люди боялись друг друга. Разговаривали шепотом, с оглядкой. О делах на фронте — единственном, что волновало всех, — боялись заикнуться.

Когда я спускалась с ведрами по нашему переулку на Клочковскую, уже издали видела огромную черную очередь за водой. Черной она казалась на белом снегу.

Уже в наше, мирное, время в Москве, по телевизору, я часто вижу репортажи о рыболовах. Все они сидят нелепо близко друг к другу. И у каждого своя личная лунка. А в 1942 году у нас в Харькове была одна на сотни людей. Я забываю, что рассуждаю так уже в то время, когда все здоровы, сыты и даже в метре друг от друга ставят рекорды по ловле рыбы! Как это все — и зима, и рекорды, и прорубь, и люди — не похоже на ту зиму, страшную, голодную зиму сорок второго! Люди еле-еле двигались, экономили силы. А лед в Лопани был такой толстый, зловещий. Его не пробьешь…

Стою в очереди закутанная с ног до головы. Торчит один нос. Руки и ноги замерзают, едва только выходишь из дома. А еще идти до проруби. А еще стоять… А люди в очереди серые, мрачные. И ни одного слова. Прямо гробовое молчание. И дети сурово стоят. И тоже молчат. И так хочется с кем-нибудь поговорить! Чтобы не хотелось есть, чтобы не хотелось спать…

У каждого палка или кочерга — отталкивать трупы. Немцы зимой трупы сбрасывали в Лопань. Течением их сносило сюда. Иногда они застревали около проруби. Воду обязательно кипятили. И попробуй забудь эту кочергу! Никто не даст. Все так смотрели на этого несчастного, как будто он — причина всех бед.

Сначала я всегда набирала два полных ведра. Это не те привычные эмалированные ведра конусом с прочной полукруглой и гладкой ручкой. Такими мы перед войной запастись не успели. Под ведра приспосабливались большие железные банки, похожие на бидон, с отрезанным горлышком. А в пробитые по бокам дырки продевалась проволока, перевитая несколько раз. Она нещадно врезалась в закоченевшие ладони. Но воду я должна была принести домой. Так хотелось порадовать маму! Сделаю десять шагов и понимаю — не смогу, не донесу. Начинаю потихоньку отливать. Иду — отолью. Еще иду — еще отолью. Несу окоченевшими руками проклятые ведра, считаю шаги: «Папа на фронте, ему трудно… всем трудно… маме трудно… Я донесу, я должна донести! Немного, но донесу.»

И вдруг: «Айн момент, киндер! Ком, ком, гер! Шнель, шнель!» Немец отдает твою воду коню…

Домой идти? Выстоять еще раз очередь?.. Нет сил, ну нет же

сил.

Вода нужна, и я поворачиваю назад, к проруби.

МЕНКА

Мама разложила на кровати папин габардиновый серый макинтош и свое темно-синее шевиотовое пальто с большим котиковым воротником.

Вот мама! Я думала, что она уже все продала. Сама ходит мерзнет, а пальто лежит. Ей всего жалко… Всегда она так.

— Ах, Вали, купили перед самой войной… Марк говорил: «Зимой будешь ходить в самом модном»…

Папа всегда заставлял примерять нас обновки. Он так любовался нами, особенно мною, своей дочуркой. В тот жаркий день даже в нашей подвальной комнатке было душно. Но мама «подчинилась» и надела новое зимнее пальто.

— Во, Лялюша! Тибе твой любимый муж, Марк Гаврилович, сделав подарок от чистага серца. Будишь ходить, як пава. Правда, ты етага не стоишь, ну ладно, хай вже так будить…

И чтобы у мамы не упало настроение, он тут же сам надел свой макинтош и фетровую шляпу.

— Лель, глянь! Я як прохвессор… ну, пока не загаварю…

Папе очень нравилось произносить: инженер, доктор, профессор.

— А? Я такога ще зроду не носив… Бувало, у диревни батька лапти сплететь, а мать новые штаны пошиить, да новые онучи… Та што там! Иду и света божжага не вижу! В усе лужи заглядаю! А щас в меня вже «макинтош». Э-э-эх! Лялюша! — И сделав вдруг высокий прыжок, изогнувшись приземлился на полусогнутые ноги, положил маме голову на грудь и повел ее по комнате, напевая танго «Я возвращаю вам портрет».

Это танго он в то время разучивал на баяне. Когда папа разучивал «новую вещь», мы с мамой сидели на кухне. Мы боялись попасться ему на глаза. Разучивать «новую вещь» было для него пыткой. Ноты папа читал плохо. Шевелил беспомощно ртом, вид у него был растерянный и жалкий. Я слушала и мучалась: «Ну что он так долго не может запомнить, тут ведь так просто». В часы работы над «новой вещью» он пересыпал каждую ноту такими «ласковыми» словами, какие мог придумать только мой папа. Таких больше не услышишь нигде. Иногда он на басах не менял гармоний, а четко отбивал ритм на одном месте. Но преклонялся перед талантливыми коллегами, восхищался ими.

Это было уже после войны. Папа и мама опять работали во Дворце пионеров. Дворец тогда находился на Сумской улице. (А сейчас в этом здании со львами у входа Дворец бракосочетания).

Массовика, баяниста и детей из самодеятельных кружков Дворца пионеров пригласили на Харьковское радио. Нужно было сделать запись под рубрикой «Разучивание на массовке во время праздника новой песни». Мама меня поставила перед самым микрофоном. Как только папа заиграл, а мы запели, режиссер передачи и звукорежиссер стали о чем-то шушукаться. Через десять минут пришел другой баянист. Выяснил у папы тональность. Играл чисто, профессионально. Я глубоко дышала, чтобы скрыть слезы. Щипало в носу. Мама смотрела на меня жалко и растерянно. А папа вместо того, чтобы тут же исчезнуть, сидел и восхищенно смотрел на баяниста. «Ну, брат… куда мне! Ты настоящий талант. Играешь прямо, як зверь! Быян у тебя слабоват… Можа, возьмешь мой? Мой лучий…»

У папы был лучший инструмент в городе. Баяно-аккордеон итальянских мастеров — братьев Грозио. «Фрателли Грозио», — с удовольствием читал папа на баяне незнакомые иностранные слова. Баян переливался белыми и красными камнями… На солнце и при ярком свете так горел, что собирал вокруг себя народ. «Я если не игрою, так быянум беру, — и тут же демонстрировал четыре регистра, четыре звучания заграничного инструмента. — Хочишь — быян, а хочишь — аккордионум з розливом будить, война, и флейта, и концертина». К нам домой приходили делегации — посмотреть инструмент. Папа был счастлив!

Но разве тогда, на радиозаписи, в баяне было дело? Ну зачем, зачем он его предлагал баянисту? А тот еще играл на нем и хвалил баян… Почему, почему ты, папочка, сразу не ушел?

Я первая выскочила из радиокомитета, добежала до сада Шевченко… И там, в кустах, горько плакала. Как мне было больно и горько за своего папу! Но чем я могла ему помочь? Сказать: «Папа, здесь надо менять бас, здесь уже другая гармония. Нельзя, папочка милый, играть на двух парах басов. Папа, так уже сейчас играть нельзя…»

Но неизвестно, чем все это могло кончиться. Он мог и баян «об землю вдарить», и пустить в тебя «что под руку попало». Или мог заплакать: «Дочурочка, дорогенькая! Ета правда, быян — ета не мое дело… Мне бы земельку, садик. Не нада, дочурочка, над папусиком, не нада. Он тибя „на двух парах басов“ выкормив, вивчив, дав образование. А мы з Лелюю и так свой век доживем, на двух парах…»

… Леля! За пальто и этот раскошный макинтош на базаре тебе дадут копейки. Это же не люди! У тебя же доця! Новое дело! Чего ты боишься? Все ходят! Да, это риск! Да, сейчас вся наша

жизнь — риск! Пойдешь, а доцю оставишь со мной… Рассчитаемся потом…

Речь шла о менке. Так назывались походы женщин в деревни для обмена вещей на хлеб, сало, муку.

У меня до войны были санки со спинкой, как стульчик. Мама взяла их с собой. Вот и саночки «дочурочкины» пригодились. Меня в них катала нянька Маруся. Папа всегда хвастал, что «мы до войны жили як буржуи… У Люси до садика была нянька». Маруся была из деревни. Прожила у нас недолго. Теперь я понимаю, что она просто влюбилась в папу. Ну и с ней пришлось расстаться… У мамы потом часто вырывалось: «А Маруся?» — «Э-э, кума, куда поехала. Што успомнила…» — На этом моменте папа не любил долго останавливаться. Важно, что нянька была, а «што там и як — ета усе не важно. Корочий, жисть есть жисть».

Рано утром, когда я еще спала, мама с двумя женщинами из нашего дома ушла на менку.

— Доця! Вставай! Мамки нет. Будем жить с тобой вдвоем. Только Вали надо слушать. Ясно? Придумаем что-нибудь шикарное! Хо-хо! Доця!

«АЛЛЕС НОРМАЛЕС»

Я все время наблюдала за тетей Валей. Чем же она живет? На грабиловку не ходит. На менку не ходит. Несколько раз я ее видела в коридоре. Она уже откуда-то возвращалась. В сером платке, в жалких старых фетровых ботах, совсем ненакрашенная. Может, заболела? У мамы спросить? «Не твое дело…» И никак нельзя ничего пронюхать. Прямо какая-то загадка, тайна…

Через некоторое время из ее комнаты доносился вальс Штрауса. Тетя Валя, переодевшись, на ходу расчесывала волосы, выходила на кухню и ставила на керосинку голубой чайник.

Вот же необыкновенная женщина! Минуту назад она была жалкая, стертая, а сейчас роскошная, неузнаваемая! На ней широкие расклешеные брюки ярко-синего цвета. Вали перешила их из японского атласного халата. По бокам, вдоль бедер, — два зеленых с желтым попугая на ветках. Шик!

— Как твои дела, Валь?

— О! У меня все «аллес нормалес»… Хо-хо!

О чем они с мамой так непонятно говорят? Ах…

И когда мы остались одни, тетя Валя под секретом посвятила меня в свое «дело». На базаре у деревенских теток она покупала нитки. Дома тетя Валя долго и терпеливо разматывала огромные и спутанные мотки. Потом аккуратно выстругивала из дерева палочки. И на эти палочки на специальной машинке наматывала нитки. Получалась катушка, но без дырки посередине, глухая. На базаре нитки раскупали в момент. Так вот чем занималась тетя Валя!

Когда я стала помогать ей распутывать слежавшиеся мотки, я убедилась, что у тети Вали не такой уж легкий хлеб. Я тогда была поражена ее терпением. А когда я сама несколько часов провела за этим скучным, нудным занятием, я стала более внимательно следить за тетей Валей. Нет-нет! Она совсем не такая избалованная, как я думала. А перед самым возвращением мамы с менки тетя Валя мне раскрыла самый важный секрет.

— А теперь главное, доця! Смотри и запоминай! На эту палочку мы незаметно наматываем тряпочку. Потом красиво прикрываем все это дело нитками… Что мы имеем, доця? Мы имеем то, что нам надо. Экономим нитки и увеличиваем количество катушек. «Аллес нормалес», доця! Тебе ясно, доця?

Ну что же тут неясного? Что за тетя Валя! Такое придумать! Ведь все так просто. А сколько прибыли. Это тебе не моя мама — правильно говорил папа: «Ничегинька не вмеить». А тетя Валя — талант, актриса!

С ней было так интересно! Я часами могла смотреть, как она расчесывает свои волосы. А когда у нее было хорошее настроение, как она сама говорила: "Сегодня, доця, у меня все «аллес нормалес», что по-русски означает «жизнь прекрасна», — это были самые яркие дни в зиму и начало весны 1942 года. Тогда мне даже разрешалось померить косу. Я ее оборачивала вокруг головы. Чубчик и коса… Я, счастливая, улыбалась своему отражению в зеркале. Мне даже не мешало отсутствие двух передних зубов. Я примеряла разноцветные боа. Я обмахивалась черным пушистым веером. Если тетя Валя выходила на кухню, я тут же пудрила свой нос ее огромной голубой пуховкой… Ну а если мне еще разрешалось полежать на кровати с ангелами на спинках… О! Я лежала, «як принцесса», и мечтала: когда вырасту, у меня будет кровать с ангелами, много перьев и боа, абажур с бантом, много разноцветных флакончиков, и еще очень, очень многого хотелось…

У тети Вали я научилась кроить «на глаз». Без выкроек. Тетя Валя положит перед собой «материю», чик-чик — и уже через пятнадцать минут идет примерка. А я тут наготове. Держу ножницы, мел, сантиметр. Готова предвосхитить и выполнить малейшее ее желание. Да, действительно, «аллес нормалес»! И мы обе в упоении мурлыкали «Большой вальс»…

ПИР

Ночью я услышала мамин голос. Она громко смеялась. Я встала и пошла к тете Вале. Мама отсутствовала больше двух недель. Они, пока ходили по деревням, спали где попало, одетые, нерасчесанные. У нее на голове образовался колтун, расчесать который нельзя было никакими силами, и тете Вале пришлось его выстричь.

— Санки иногда приходилось тащить по земле… Снег тает, — весело рассказывала мама. Она опять была счастлива, как на Первое мая!

Стоял уже март. Весна. Значит, не будет больше холодов!

Я бросилась к маме.

— Уже все знаю. Тетя Валя мне все рассказала. Ты хорошо себя вела. Я довольна. Я привезла тебе вкусного. Сейчас помоюсь и будем кушать.

Ну никакой романтики! Все прозаично, деловито. Вот был бы на ее месте папа! Вот это был бы спектакль! Но папы нет…

На столе лежал большой круглый пшеничный хлеб, крутые яйца, мед. Пир!!! Мы сидели у тети Вали за столом. Мы смотрели на еду и боялись притронуться.

— Ешь, Люся, не бойся, это все наше, — сказала мама. Мы ели медленно, чтобы запомнить этот день. Когда еще такое будет? Стола у нас не было. Мы его сожгли. Все важные события и праздники отмечались у тети Вали.

Мама рассказывала про менку. Она считала, что ей повезло. Правда, в деревню она еле дошла. Истерла в кровь ноги… И к ночи оказалась одна в лесу…

— Такой страх! Лес. Тишина. Стемнело мгновенно. Нам посоветовали идти поодиночке, чтобы не испугать хозяев. Все-таки, когда видят, что женщина одна, не так боятся впускать. Стою, Валя, в лесу со своими санками и думаю: ну хоть бы бомба упала! Потом прошла еще, вдруг слышу собачий лай. Как брошусь бежать! Как будто за мной гонятся. Откуда только силы взялись? И как в сказке, Валь! Хатка чистенькая, беленькая стоит, из трубы дым. Только бы пустили! Хозяева молодые, муж и жена… Пустили, обогрели. Я как заплачу! Истерика началась. Не могла поверить, что тепло, что рядом добрые люди, — все время ждала от них чего-то плохого. Знаешь, в деревне совсем другие люди, чем здесь, в городе. Держалась-держалась и не выдержала, Валь! Ела я яичницу с салом и все время думала, как бы Люсе спрятать. А потом соображаю: пропадет ведь… И опять ем, ем, ем. Они на меня все смотрели, смотрели. Спрашивали: есть ли дети? Я

сказала, что есть дочка. «А у нас нэма дитэй! Нэ послав бог…» Жаль, говорю, а сама думаю: ну и слава богу, что не послал, знали бы вы, как дети в городе мрут. Да! Немцев они почти не видели. В те хаты, что стоят около леса, немцы не заходят, боятся партизан. Так что война их почти не коснулась. Расспрашивали… Ну я так, кое-что рассказала.

За папин макинтош и свое шевиотовое пальто мама привезла мешок муки, сало и бидончик меду.

Моя мама не любит вспоминать те страшные годы оккупации. А особенно грабиловку, менку… У нее сразу портится настроение. Она становится мрачной, замкнутой. А мне так нужно узнать некоторые подробности. Я к ней и так, и сяк. Но не вытянешь ничего. Говорит, что немцы вошли в Харьков 24 октября 1941 года, а ушли навсегда 23 августа 1943 года. Так это же всем известно!

Тогда я ей сама начинаю рассказывать в надежде, что она меня поправит, подскажет! Я ей рассказываю про нее же, а она только хмуро бурчит в ответ односложно: "Ну? Ну? Ну так… Ну… Ну было… И это было. Точно так и было. Так. Да нет, я ждала, чтобы упала бомба, ждала — понимаешь? Это не объяснишь… Ну? Да, они на меня смотрели как на ненормальную. Я одна съела две огромные сковороды с салом… Вали? Ох, Вали, Вали… Интересно, жива она еще? Она на пять лет старше меня. Ей сейчас шестьдесят семь. Вали тогда тоже подрубала (подъела) подходяще. Ах, Люся… Зачем тебе все это ворошить? Как вспомнишь — жить не хочется. Жизнь — это сложная штука…

ГОВОРИТ МОСКВА

На Сумской улице немцы открыли кинотеатр. В театре имени Шевченко заработала оперетта. Дворец пионеров на площади Тевелева отремонтировали. Теперь это здание было «только для немцев». Значит немцы в Харькове устраивались надолго.

Пришла весна. Мы открыли окна и балкон, он выходил во двор того здания, которое потом стало моей школой.

А сейчас в этом здании расположилась немецкая ремонтная часть. Во двор въезжали машины, разгружали ящики, металлические детали, гусеницы.

Всем женщинам нашего и соседнего домов было приказано утром собраться. Для чего — не сообщалось. Но за неподчинение приказу — расстрел. А вдруг опять будут угонять в Германию? Мы не спали всю ночь.

Утром я вместе с другими детьми бежала за строем наших мам. Они скрылись внутри здания. А мы спрятались за ящиками и подсматривали в окна. Там была и мама, и тетя Валя, и мать Зои Мартыненко. Других помню только в лицо.

Окно на первом этаже распахнулось. Из него высунулась улыбающаяся тетя Валя: «Доця! Ты где? Скорее сюда!» «Люся! Не бойся!» — это уже мамин голос. Я подбежала к окну и схватила на лету серый узел: «Доця! Все половые тряпки из дома неси… скоро! Одна нога здесь, другая — там!»

В узле было два новых байковых халата. В таких ходили раненые в немецких госпиталях. Женщин собрали для того, чтобы они вымыли полы, вычистили здание. А тетя Валя сообразила, что халаты могут пригодиться. Полы можно помыть тряпками.

Свой халат она выгодно продала на базаре. А мне из халата пошили курточку на «молнии» и шаровары с большим запасом внизу — «на вырост».

Я мигом слетала на четвертый этаж, собрала все тряпки — и обратно. Окно было открыто. И, подбегая, я услышала немецкую песню. Ее пели по радио. Как давно я не слыхала радио! Да и было ли это когда?

Тихо влезла на ящик, всунулась в окно и наткнулась прямо на немца, который подпевал и дирижировал себе:

— О, киндер! Вас ист леус? Во ист мутер?

Мама произнесла сдавленным голосом:

— Пан, ист майн киндер… — В школе мама учила немецкий язык.

Он посмотрел на ворох тряпок у меня в руках и все понял. Взял у меня тряпки и бросил их маме, погрозив ей пальцем. Все

время он улыбался.

Комната на первом этаже была самой большой в здании. Когда я уже училась, здесь был спортивный зал, потом столовая.

Тогда в этой комнате стояли спинки и сетки кроватей, ящики, чемоданы. Одна кровать была покрыта серым одеялом. Я подумала, что она принадлежит немцу. А музыка раздавалась из большого приемника, стоявшего на ящике рядом с кроватью.

Немца звали Карл. Он был денщиком у командира этой части. Наше знакомство состоялось в тот день, когда он не наказал маму. Первый раз я видела тогда «другого» немца. Немец, а хороший…

Я осмелела. Решила: мама и тетя Валя моют полы, немец слушает концерт и следит за их работой, а я пройдусь по двору — может, найду что-нибудь, что пригодится в доме…

Папа все нес в дом. И железки, и дощечки, и гвоздики — «усе у доми хай будить при всякий случай». У него было огромное количество пилок, молотков, напильников, рашпилей.

Папа меня учил: «Як идешь по улице, смотри униз на землю. Можа, якая провылка или гвоздок, попадеть — усе неси у дом, моя птичка. У хозяйстви згодится, усе нада иметь при всякий случай…»

В доме папа постоянно что-то пилил, строгал, тесал. И непременно в комнате или в том месте, где его заставала идея что-то смастерить. И желание сделать квартиру уютной у мамы постепенно пропадало. Придет папа с новой идеей — и все сначала…

А я так и ходила по улицам, глядя вниз. Мои карманы вечно были набиты ржавыми гвоздями, винтиками, проволокой. Не было ни одной свалки, мимо которой я равнодушно могла бы пройти. Все развалины вокруг были мною тщательно обследованы.

В этом дворе не нашлось ничего такого, что могло бы пригодиться в хозяйстве.

Немецкая музыка уже кончилась. По радио говорил мужской голос — наверное, немецкие известия. Сижу под окном на ящике и жду своих. Потом «затрыкал» приемник — музыка, речь, хор, марш: немец что-то искал.

— Тс-с… Ком, ком, рус панинка, Москау. Тс-с, Москау… «Говорит Москва. От Советского Информбюро…» — И на весь двор полилась из окон русская речь.

Я поднялась и заглянула в окно. Женщины стояли в углу, сбившись в кучу. «Левитан, Левитан, Фрося, держись, не плачь, а то он поймет…» — донеслось из-за угла. Левитан говорил что-то

очень важное. Лица у женщин были посветлевшие, торжественные, в глазах стояли слезы.

«На фронтах… оставили город… несут потери…»

Немец улыбался. Он радовался, что преподнес «сюрприз» русским «панинкам». Он улыбался даже; тогда, когда красивый голос произнес: «Победа будет за нами! Смерть фашистским захватчикам!»

После «Левитана» начался концерт Краснознаменного ансамбля. Немецкие офицеры шли по школьному коридору. А когда услышали нашу песню, засмеялись: «О, рус, Катюша… Катюша!» И пошли, чеканя шаг… А хор пел:

Бей винтовка,
Метко, ловко
Без пощады по врагу!

«НАДО ВЫДЕЛИТЬСЯ»

Я стояла на балконе и часами наблюдала за жизнью немецкой части. Утром они делали зарядку, бегали по кругу. Через год я поступила в школу. На уроках физподготовки я бегала по этому же кругу десять лет.

Потом всю часть выстраивали, читали приказы, распоряжения. Половина немцев уезжала до обеда. Возвращались грязные, в грязной спецодежде, опять выгружали из машин металлические части, детали. Ели они три раза в день из котелков, прямо во дворе. Там же стоял большой котел на колесах.

Вечером немцы пели, обнявшись и раскачиваясь из стороны в сторону. Они очень бурно и громко смеялись. Смешно им было все. Иначе откуда столько смеха? Тогда я впервые услышала звук губной гармошки, и не могла понять и разглядеть, что же издает такой неполноценный звук.

Вдруг один немец понес свой котелок куда-то в сторону. Куда? Я так свесилась с балкона, что чуть не свалилась… И увидела как он выливает из своего котелка суп в кастрюльку подбежавшей к нему девочки. Я скатилась с четвертого этажа и понеслась туда, где только что видела девочку. Там стояла толпа детей с кастрюлями.

Проход на территорию части был закрыт железными трубами, но кто-то в одном месте их раздвинул. Через эту лазейку можно было проникнуть во двор, поближе к котлу на колесах. Можно поискать того «доброго» немца, который включил приемник…

Вечером я уже была в толпе детей. Для первого раза взяла самую маленькую кастрюльку.

Папа мне говорил с детства: «Ничего не бойся, дочурка. Не стесняйся. Дуй свое. Актриса должна „выделиться“. Хай усе молчать, ждуть, а ты „выделись“ ув обязательном порядке… Ето, дочурочка, такая профессия, детка моя…»

Долго стоять молча, выпрашивать жалким взглядом? Нет. Надо заработать! Надо «выделиться». А как хочется есть! А какой запах! Я и сейчас его ощущаю. Густой фасолевый суп!

От ожидания чего-то неизвестного всю меня трясло. Я не знала, что сейчас сделаю. Но что-то сделаю. Это точно.

Немцы получили ужин. Стали есть. Смолкли разговоры. Только аппетитное чавканье…

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой,

Выходила на берег Катюша,
На высокий берег, на крутой!

Голос мой дрожал. Я давно не пела во все горло. А мне так необходимо было сейчас петь! Петь! Петь!

С разных концов двора раздались нестройные аплодисменты. И этого было предостаточно… Ах так? Так нате вам еще! Только спокойно!

Ду грюнст нихт нур цур зоммерцайт,
Нейн, аух им винтер, венн эс шнайт,
О, таннэнбаум, о, таннэнбаум,
Ви грюн зинд дайнэ блэттэр…

Несколько немцев подошли к железным трубам, чтобы посмотреть на русскую девочку, которая хоть и неправильно, но пела на их языке…

Домой я принесла полную, до краев, кастрюльку вкусного, жирного фасолевого супа! Ничего! Завтра возьму кастрюльку побольше!

Мы втроем съели этот суп. Я знала, что теперь я маму голодной не оставлю. Я тоже вышла на работу.

Вскоре при моем появлении немцы оживлялись и называли меня Лючия. Я тоже разобралась: кто злой, кто добрый, а кому лучше на глаза не попадаться. Заметила, что лучше общаться со старыми. Старые — это Тридцать-тридцать пять лет. Молодых было заметно меньше. Может, потому, что это была ремонтная часть. Но молодые были очень злые. Некоторые из них проносили мимо детей котелок и демонстративно выливали суп в бак с мусором.

Того доброго Карла я нашла. Он жил в маленькой комнатке на первом этаже. Окно выходило на Рымарскую улицу, прямо на театр имени Шевченко. Я заглядывала к нему в окно. В комнате Карла стояла та же кровать, покрытая серым одеялом. Рядом тот же приемник и стол. На столе фотография его детей и жены.

— Их хабе драй киндер, Лючия, ферштейст?

— Конечно, понимаю. У тебя трое детей. Что ж тут непонятного?

— Вас? Троэ дэтэй? — И засмеялся оттого, что говорил по-русски…

— А чего ты смеешься? Ты думаешь, что по-нашему смешней, чем ваше «их хабе»?

Незаметно мы учили друг друга говорить. Карл меня — по-

немецки, а я его — по-русски. Я его совсем не боялась. Наоборот, он сам боялся, как бы я на него не рассердилась за что-нибудь. Он ни разу у меня не спросил, где мой отец, чтобы не ставить меня в неловкое положение.

У меня была привычка грызть ногти. Ножницы наши затупились и ногтей «не брали». Да я и так уж привыкла к тому, что ножницы, как и детское белье — носочки, чулочки, резиночки, — естественно ушли из нашей жизни.

Карл острыми, блестящими, кривыми ножницами обрезал мне ногти, а я трясла в воздухе руками и смеялась. Было так непривычно. Руки казались такими легкими… Потом он подарил мне еще эти ножницы. Они служили нам очень долго.

Каждый вечер тогда немцы пели песню «Лили Марлен». Она была и самой новой, и самой «модной» — «шлягером». Надо обязательно выучить! Мотив я схватила быстро — он простой. А слова? Я вслушивалась в незнакомые слова, старалась запомнить их. Карл все понял и помог мне. «Лючия! Ферштейн! Их ферштейн! Вас волен зи?! „Лили Марлен“? Гуд! Яволь!»

И однажды вечером Карл объявил, что Лючия споет «Лили Марлен». Все одобрительно закивали — «Дас ист гуд…»

Я откашлялась и запела:

Фор дем казарме
Фор де гроссен тор
Штейн анле латерне
Унд штайн зе нохуе фор
Алле лойте золен зейн
Ви штийндт айнле латерне штейн
Ви айне Лили Марлен (2 раза)

После освобождения Харькова эту песню уже пели на русском языке. Хоть потом я узнала о чем пела. В переводе «Лили Марлен» звучит так:

У одной казармы, у больших ворот
Мы стояли вместе, освещая вход.
И при этом фонаре стояли мы
С тобой вдвоем, с тобой Лили Марлен (2 раза)

Реакция была самая бурная… Даже «браво». У меня была не только полная кастрюля, налитая прямо из общего котла. Я принесла домой шоколад — коричневые кусочки неправильной формы, как пиленый сахар. А Карл мне вынес целую пачку

сахарина! Тетя Валя с моей мамочкой только недавно о нем мечтали. А я его вот уже в «ручках» держу! Вот так-то, дорогие мои!

Проходя мимо детей, которые выжидательно смотрели, я подумала, что надо действовать, милые, а не ждать с моря погоды. Надо уметь действовать, уметь «выделиться»… А вообще-то за талант платят больше. А я талант. Мне так папа сказал. А папа все знает. Он ведь мой папа.

ДЕВУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ

Летом 1942 года был такой период, когда я стала основным кормильцем. Я гордилась, что слова «Люся принесет обед» воспринимались как нечто само собой разумеющееся. Лето, зелень, солнце, фрукты, базар. И уже совсем другое настроение. Были бомбежки, но реже. К ним привыкли. О смерти не говорили. О зиме вспоминать не хотелось.

В Театре оперетты мы не были. Но однажды ходили в кино. Фильмы шли на немецком языке. Немцы гражданский кинотеатр не посещали. Они не появлялись в тех местах, где собиралось много людей, — боялись партизан.

Мы купили самые дешевые билеты. Это я очень хорошо запомнила. Тетя Валя сказала: «Уж если пошли, то надо сидеть как люди, а не на первом ряду». А мама сказала, что люди сидят и «на первом ряду», и если бы она знала, что билеты такие дорогие, ни за что бы не пошла!

Мы сидели в первом ряду справа от середины экрана. На нас все смотрели. Точнее, смотрели не на нас, а на тетю Валю. Сзади волосы у нее были подвернуты в большой валик. А впереди, открывая красивый лоб, возвышался огромный кок. Такую прическу тогда носили все женщины, даже моя мама. Но как всем им далеко до тети Вали! На ней было крепдешиновое платье — голубое, с розовыми цветочками, с высокими плечами. На груди огромный бант — розовый, без цветочков, прикрепленный с двух сторон к платью. На ногах знаменитые «ковровые туфельки». Я расстроилась за тетю Валю. Такая дама. И в первом ряду. А лично мне было очень приятно сидеть «на первом ряду»: экран рукой подать, никто не мешает. А звучит как? Первый ряд! А не какой-нибудь там последний, задворки. Но тетя Валя умела мгновенно перестраиваться. Пока я за нее переживала, она уже весело острила и шутила с мамой. Тетя Валя чувствовала себя королевой. Довольная сидела в первом ряду, как будто так и надо. «Доця! Улыбнись! Аллес нормалес!» Теперь она уже меня утешает.

О фильме в городе говорили: красота, любовь, танцуют, поют, войны нет, еды у них полно — такая жизнь — закачаешься!

И вдруг вместо фильма показали немецкую кинохронику. В первый раз я увидела Гитлера. Он дергался, неистово кричал, угрожал, выбрасывал руку вперед. За ним — тьма рук: «Хайль!» Гитлер с челкой, с усами.

Пока я сидела, погруженная в «политику», на экране без перерыва началась картина «Девушка моей мечты». И хроника и

картина шли без перевода. Понимай, как хочешь, сочиняй любую историю. Даже интересно.

Мы возвращались домой. Мама сразу же заговорила с тетей Валей про менку, про базар, про сахарин. Как же так? Мы впервые были в кино, слушали музыку, видели актрису, которая пела, прекрасно танцевала… А они опять про свое… Это все мама — ничего ей не интересно.

Ночью мне никто не мешал. Моя душа разрывалась от звуков музыки, новых странных гармоний. Это для меня ново, совсем незнакомо… Но я пойму, я постигну, я одолею! Скорее бы кончилась война. Скорее бы вернулся папа. Скорее бы услышать: «Не, Лель! Дочурка актрисую будить, ув обязательном порядке! Моя дочурочка прогремить!»

Наутро у тети Вали была прическа, как у Марики Рекк. Впереди маленькие колечки, а сзади плыли волны волос по плечам.

Наутро я встала с твердым решением: когда вырасту — обязательно буду сниматься в кино.

ШАУШПИЛЛЕР

Я выучила песню из того фильма: нашла внутри двора дверь, из которой нас выпускали после сеанса, села на ступеньки. И совсем рядом из динамиков полилась музыка.

У меня даже выработался собственный сюжет оригинального фильма. В нем играли тетя Валя в прическе Марики Рекк, мама, папа и я. Когда совсем уж не обойтись, появлялась сама звезда — Марика Рекк!

К этому способу выучивать музыку из нового фильма я прибегала потом всегда, когда не было денег на кино.

У Карла был теперь новый шеф. Настоящий зверь. Он ходил в золотом пенсне, со стеком в руке, точно таким же, который впился мне тогда в подбородок. Стек я рассмотрела совсем близко. Красивая коричневая с горбиками блестящая плетка, сужающаяся к концу и похожая на змеиный хвост.

Детям запретили не только входить на территорию части, но и стоять около железных труб. Карл меня предупредил, что новый шеф «нихт гуд», «Лючия нихт зинген». А я не поверила, пока не попалась. Шеф тихонько подкрался сзади с несколькими солдатами, а потом как закричит — и своим стеком налево, направо. Мне досталось по плечу, сильно, даже кастрюля вывалилась из рук.

Теперь мы знали: если на территории тихо — значит, шеф на месте. Если смех и губная гармошка — значит, можно рискнуть и приблизиться.

Я исполнила песню из кинофильма «Девушка моей мечты». Назло всем! Назло шефу, который ее никогда не услышит… Назло боли в плече! Назло врагам! Я спела ее по-новому! Дома продумала движения, напоминающие танец Марики Рекк, и разложила их на каждую строчку текста песни. А в конце, чтобы добить, должна быть папина «чечеточка» и мое «х-х-ха!»

Слова от прослушиваний сами собой заучились. Значение слов «нахт», «менш» и «аляйн» — знаю. Значит о чем поется? Что ночью люди одни. А «либен» — это очень похоже на русское «любовь». Так что если хорошо пошевелить мозгами, то в песне все очень просто:

Ин дер нахт
Ист дер менш нихт герн аляйне
Ден дас шейнсте ист ди либе им монд шайне,
Я зи виссен, я зи виссен вас их майне,
Айнерзайц унд андерзайц

Унд аусердем…
Х-х-ха!

Я ожидала, что будет переполох, будут кричать ободряющее «браво». Я все нафантазировала…

Все грустно улыбались, вежливо аплодировали и говорили: «Лючия шаушпиллер». Надо будет это слово запомнить. Какие они с новым шефом притихшие стали… Я еще не знала тогда, что фронт приближается и наши войска скоро возьмут Харьков. И Карла нет: сопровождает своего начальника. Если бы Карл слышал, он бы вынес что-нибудь поесть.

Я не знала имени немца, который всегда сидел в стороне один, на все грустно смотрел и ни разу не улыбнулся… Почему? Ведь когда я пела «Му!», смеялись все. «Му!» была самой последней песней, которую я запомнила перед войной. На пластинке ее пели Леонид Утесов со своей дочерью Эдит:

Что-то я тебя, корова,
Толком не пойму.

(Корова отвечает: «Му!»)

Все туманно, все так грустно
Сердцу и уму.
«Му!»
Наклонись же ближе к уху,
Утешай меня, Пеструха,
Очень трудно без участья
Сердцу моему.

Это я пела низким голосом, как Утесов. А дальше вступает высоким голосом Эдит. Коровье «Му!» и резкие смены мужского и женского голосов всех веселили. Этот немец не реагировал никогда.

И вдруг после моего танца из фильма и «чечеточки» в конце он направился прямо ко мне. Я аж съежилась. А вдруг ударит? Кто его знает, чем он дышит? Он подошел, провел рукой по моей стриженой голове. Я еще больше втянула голову в плечи… «Айн момент» — и пошел в здание.

Он вынес что-то завернутое в голубую красивую бумагу, явно несъестное. Тогда что? Я развернула… Ах! Два портрета Марики Рекк! На обратной стороне ноты ее песен.

— Мам, что такое шаушпиллер?

— Не знаю.

— Ты же учила немецкий.

— Этого слова я не знаю. Шпиллен… вообще — играть.

— На чем играть?

— Отстань… откуда я знаю…

— А как ты думаешь, сколько лет Марике Рекк?

— Не знаю.

— Ну, а как ты думаешь?

— Вечно ты со своими глупостями. Точно Марк… По-моему, она моя ровесница. Почему я о ней должна думать? На черта она мне нужна, эта немка?

Ага. Стоп. Маме сейчас двадцать пять лет. А мне в ноябре 1942 года будет семь.

— Мам, двадцать пять минус семь будет восемнадцать9

— Да.

Долго. Очень долго еще ждать.

В 1957 году вышел на экраны фильм «Карнавальная ночь». В нем я сыграла свою первую большую роль в кино. В фильме я пою и танцую. В этом же году у меня была первая поездка за границу. Я была в делегации московских комсомольцев, поехавших в ГДР по приглашению молодежи Большого Берлина.

И надо же, чтоб так совпало: первая поездка — и в Германию… При слове «немец» у меня внутри навсегда засело чувство страха.

Мы жили в гостинице «Адлон» около Бранденбургских ворот. Нам сказали, что в ней останавливался Гитлер. Гитлер, немецкая отрывистая речь — как это далеко… И все равно я боялась что все это будет действовать угнетающе…

… Эти немцы мне незнакомы, хотя и речь та же. Ведь все они в штатском… Нет, вроде не страшно, по-моему, я их не боюсь.

На пресс-конференции рядом со своей фамилией я вдруг услышала слово «шаушпиллер». Чуть не вскрикнула. С нетерпением дождалась конца пресс-конференции, и спросила у переводчика, стараясь быть спокойной: «Простите, что такое „шаушпиллер“? Она ответила: „Шаушпиллер“ по-немецки — это ваша профессия — актриса».

А-а? «Шаушпиллер» — актриса…

КЛАД

Осенью мама опять пошла на менку. Надо делать запасы к зиме. Она понесла мыло. Кто-то в Харькове варил мыло. Чего только про это мыло не говорили… И что его варят из кошек и собак, и такое, что страшно сказать! Будто, когда стемнеет, какие-то люди ловили детей и из них варили холодец и мыло. Правда или нет — никто не знает. Но детей на улицу вечером не выпускали. Это мыло было совсем черного цвета и имело отвратительный запах. Во время мытья я видела страшные картины… Мне жалко было маленьких детей. Я сидела в корыте и с нетерпением ждала, когда же мама перестанет меня нещадно скрести.

Ремонтная часть эвакуировалась. Во дворе сначала валялись деревянные ящики, потом их расхватали на топливо. Долго еще ржавели металлические моторы, гусеницы от танков. Когда я после освобождения училась в школе, у нас проводилась кампания по сбору металлолома, и однажды наш класс в один из воскресников вышел на первое место по району.

Теперь в здании школы был немецкий госпиталь. Проход на территорию заколотили досками. Во дворе гуляли легкораненные. Те, у кого в гипсе рука, нога. Некоторых вывозили на воздух прямо в кроватях на колесиках.

У меня было много свободного времени и никаких занятий. Где только меня не носило целыми днями! Я знала все выходы и входы во дворах, домах, развалинах. Мои глаза постоянно были устремлены вниз. Каждый день я была уверена, что именно сегодня найду кошелек или деньги, случайно выпавшие у кого-то из кармана. Меня преследовала мечта найти клад.

Папа всю жизнь повторял маме, что у него счастливая «планида», что он «найдеть клад ув обязательном порядку!» А мама, как всегда, ехидно хихикала. Но однажды мы с мамой собственными глазами увидели, как папа действительно нашел клад! Прямо как в сказке!

Это случилось после войны, когда я училась в пятом классе. Мы жили в нашей последней харьковской квартире. Во дворе было много семей. Ближайшими соседями, с которыми мы тесно общались, были Соня, Роза, Галина Сергеевна, Шолом и Кляча. Это прозвище дядя Моисей получил от папы. Он ходил, вытянув перед собой, чтобы все видели, руки, согнутые кистями внутрь. Иметь ранение тогда было почетно. Находились такие, кто гиперболизировал свои ранения или притворялся. Кляча на

фронте не был.

— Моська! Другое придумай. Увесь фронт прошов, такога ранения нима, такога не видев! Ну, давай, давай, разогни руку. Смелей! Не бойсь. А то ты на самом деле ходишь, як кляча… — И папа добродушно смеялся, глядя, как Моисей, бубня под нос, быстро скрывался в свой полуподвал.

Я потом расскажу, как мы попали в эту квартиру. Она будет называться «улица Клочковская, 38, кв. 3». «Двор» на Клочковской — как одна семья. Все слышно, все видно в обоих двухэтажных домиках, стоящих друг против друга. Известно все: кто к кому приходит, кто у кого остался ночевать и под утро, крадучись, выбирался из двора. Назавтра об этом говорили вслух. Окна у всех открыты! Весь двор завешан бельем, дорожками, которые выбивали вениками. Пыль столбом!

Главное место сборищ — общественный туалет во дворе, чуть в стороне от домов. Утром очередь, вечером очередь. «Ну что там можно так долго делать, Кляча? Что ты молчишь? Я тебя спрашиваю!» — кричала на весь двор родная сестра Клячи, тетя Соня. Она жила напротив нашей квартиры вместе с мужем и Клячей. Над ней, на втором этаже, жили самые «богатые» во дворе — Виноградские. Отец и мать с утра уходили на базар. У Виноградских было двое мальчиков — Генка двенадцати лет и Ленька — восьми. И вдруг Леньке купили часы! В то время восьмилетний ребенок с часами?! Я даже не знаю, с чем это сравнить сегодня. Может, как иметь личный самолет… И то не было бы такого ажиотажа, какой был тогда в нашем дворе, когда Ленька вышел с большими круглыми часами и сел на «Сонину» скамейку. Этого «бедная» Соня не могла простить «богатым» Виноградским. Братья постоянно изводили Соню: то сбрасывали со второго этажа ей под окна мусор, то швыряли огрызки и косточки. А один раз был такой скандал! Они вылили в ее палисадник все из ночного горшка! Бедная Соня! Она, задыхаясь, на весь двор кричала такое, что наш веселый двор заливался от смеха. «Вы! Свинья. Вы — кусок Гитлер!! Где ты есть? Ленька! Выйди, я на тебя буду смотреть! А! Стыдно! Пойди, ну ты пойди, ты пойди уже одень часы!» — Главную обиду — насчет часов — Соня высказала.

Мы жили напротив Сони, в полуподвальной двухкомнатной квартире. У нас была своя кухня и коридор. Из коридора налево — вход в жилые комнаты, а направо — вход в маленькую темную комнатку, метр шириной и два длиной. Папа обнаружил, что в ней есть трубы. Это оказался слив. И скоро папа соорудил в этой комнатке… уборную. Вот так! У него, единственного во дворе, есть свой «личный» туалет!

— Ну что, Лялюша? Не будешь теперь у в очереди з Сонькою и з Розкою стоять? А!! А ты говоришь, Марк — идиот!.. Марк — настыящий хызяин, а за хорошим мужум и чулинда жена. Теперь мы, як буржуи, я теперь кум королю, Терещенки сват!

Но на «туалете» папа не остановился.

— Лель! Ты знаешь, кола труб земля з одной стороны податливая… а з другой — хоть ломом бей. Там што-та есь. Буду копать дальший…

Папа открыл, что эти трубы ведут в помещение, похожее на подвал. С другой стороны дома была лестница, ведущая на второй этаж, так этот подвал находился как раз под ней. В него можно было попасть из «туалета» по прорытому ходу только согнувшись. Там было холодно и сыро. «Хорошо, здесь погреб будить. Будем на зиму усе солить… Не, Лель, тут хто-та побывав… Якая земля мякинькая. Ета неспроста… Буду ще копать…»

Он копал каждый день. Мы боялись смотреть на него, чтобы не засмеяться «под горячую руку». Не знали, что отвечать людям, которые приходили к нему. Не скажешь ведь: «Марк Гаврилович вас принять не может. Он как раз сейчас ищет клад».

И вдруг мы с мамой услышали откуда-то издалека чужой хриплый голос, срывающийся «на петуха». Мы испуганно смотрели друг на друга. Что случилось? Было такое ощущение, что папа попал в тридевятое царство и ему навстречу вышло чудовище.

— Я же гаварив! Я ж гаварив! Ах ты ж… твою душу, в триста богов… тыща твою матку вовков зъешь! Леля! Дочурка! Што я гаварив? Зови усех, хай знають Марка Гавриловича!

Папа вылез взъерошенный, весь в грязи, сияющий. В руках бережно нес голубую кастрюльку, обмотанную проволокой. В ней лежал тряпичный сверток, пахло прелым. Папа развернул тряпку… Мы увидели пачки денег — керенки. Они рассыпались на наших глазах…

— Лель, як же ета?

— Марк, ты подумай, сколько они в сырости пролежали. В общем, это понятно. Это купеческий район. Кто-нибудь до лучших времен припрятал. Интересно…

На дне кастрюльки находился красный мешочек с серебряными монетами. Были даже с дырочкой посередине. Но в то время они не имели никакой цены. Папа их раздал во дворе и «дочурке играть».

— Да-а, золота нима… Но будить… Ув обязательном порядке будить. Я ще найду. У меня щасливая планида!

Мама с тех пор уже не хихикала. «Знаете, Марк все-таки

очень странный человек… Говорил, что найдет клад, — это в наше-то время! И представьте себе — нашел! Что за человек…» То-то, мамочка!

Папины гены передались и мне. И я мечтала о кладе осенью 1942 года. Но клада я не нашла. Я подружилась с мальчиком Валериком — Вилли. Кто-то переиначил его имя на немецкий манер. Он окликнул меня около разрушенного дома на Рымарской. Мы оба были стрижены наголо, только у меня — чубчик. Он был на два года старше меня, весь в веснушках, и имя Вилли ему подходило так же, как если бы меня назвали Гертрудой.

— Слушай, ты, как тебя?

— А что?

— Хочешь заработать?

— Ну?

— Нужно постоять на шухере.

— А что это?

— Держите меня! Не знает! Постоишь, а если кто идет, свистнешь… Ну?

— Я пою. Свистеть не умею.

— Учись…

— Вот жизнь! Только что ведь ничегошеньки не было! И вдруг такое дело! Интересно!

— А куда идти?

— На базуху.

— А что это?

— Ха! Базар!

— А-а! Только не вечером.

— Даешь дрефака! Нет. Утром. Да с нами не бойсь.

— А еще кто?

— Завтра… Мой братан главный. Его Мордой зовут. А вообще-то, он Толик…

БАЗАР

Из деревни на базар привезли дыни — желтые, пахнущие так, что одуреешь.

Мне нужно было отвлечь на себя внимание двух теток. А за спиной у них потихоньку будут уплывать дыни. Народу много. Тут свистеть надо не переставая. Почему именно у этих теток? Дыни ведь есть не только у них?

Позже я узнала все тонкости. Ребята изучили базар как свои пять пальцев. Они знали всех. И их знали все. Торговки их замечали издали и были на стреме. А эти тетки — из деревни, «перваки». Вот таких и подлавливали.

Было так жарко, что от голода и жары в животе все слиплось, а голова шла кругом. Тетки в белых платках, разморенные и раскрасневшиеся, отсели в тень и стали есть… черный хлеб с салом!

С чего начать? Что делать? Главный — Морда — делает знаки: придумай, разверни их в другую сторону. Какие дыни, когда здесь хлеб с салом! Петь не петь… говорить? А что говорить? Смотрю на теток проникновенно и жалостливо. Кончилось тем, что я их развернула, как хотела. Я им рассказала, что я круглая сирота. Папа на фронте, жив ли он — неизвестно. Мама недавно умерла с голоду. И сама я в это абсолютно верила. Слезы лились у меня по лицу. Сказала, что вот уже два дня ничего не ела. «О-ой такэ малэ, такэ худэ дытя… Бисова вийна… воно вже сырота». Отрезали мне кусок хлеба, кусок сала. Я их вежливо поблагодарила и быстро пошла на ходу давясь, чтобы новые друзья не отобрали.

Штабом были развалины бывшего крытого рынка. Здесь собрались все: Морда, Вилли, Сенчик (Сеня) — других не запомнила — и я. Меня поздравили с «боевым крещением», сказали, что я молодец. У нас было девять дынь. По одной на брата и три на продажу! Сало, дыни, нестерпимая жара… Мне было так плохо, что даже запах дыни стал непереносимым на всю жизнь.

В мае 1979 года наша картина «Сибириада» была на Каннском фестивале. Когда я вошла к себе в номер отеля «Карлтон», на моем столе стояла изящная белая корзина с фруктами. В середине — бежевый ананас, а вокруг — и розовобокие персики, и бледно-желтые яблоки, и фиолетовые сливы, и черешни, прозрачные до косточек, и огромная клубника на золотом бумажном блюдечке. И еще два зеленых мячика — как

теннисные, только поплоще и побольше. Я все попробовала, а эти мячики были мне незнакомы. Попробовать их я не решилась. На званом обеде — смотрю — в самом начале подают эти зеленые мячики. Подмывает спросить, что это, но жду… Сосед слева — директор Каннского фестиваля. Раньше он был крупным оперным импресарио. Несколько раз приглашал в Париж нашу оперную труппу Большого театра. Он нам гордо об этом сообщил. За столом, до обеда, мы с ним вдвоем с успехом исполнили арию Ленского «Я люблю вас, Ольга». Так что, когда подали зеленые мячики, у меня с этим холеным и ухоженным старичком, можно сказать, завязались приятельские отношения. Смотрю он надрезает верхушку этого плода и ложкой начинает вычерпывать его изнутри! Ой! Так это же дыня! Самая обыкновенная дыня-карлица. Он с таким удовольствием ел свой мячик, с таким аппетитом, что у меня даже был порыв подкинуть ему еще и свой. Но я взяла себя в руки. Ведь мы, к сожалению, не дома.

«Мадам Гурченко! Почему вы не едите дыню? Это же „манифик“! Такой дорогой деликатес!»

А зимой мы стащили целый бак самодельного мороженого. Его продавала тетка Поля, грубая, толстая, с красным лицом. От мороза оно иногда было даже синим.

От места, где стояла с мороженым Поля, уже издалека шел запах ванилина. Она проворно вкладывала в железную формочку круглую вафельку на дно. Потом заполняла мороженым и сверху накрывала опять вафелькой. Снизу этой формочки — железная трубочка, внутри которой «ходил» железный карандашик. Он-то и выталкивал кругленькое, обложенное вафлями, ароматное мороженое.

Деньги она прятала в сумку, которая висела у нее прямо на груди. Сколько денег! Так хотелось купить мороженого и … леденцов. Леденцы, маленькие-маленькие — по рублю штука. На немецкую марку — десять штук. А петушок на палочке малинового цвета!

Поля была тетка тертая, знающая все хитрости. Ее не проведешь. Целый день она продавала мороженое, брала деньги, отсчитывала сдачу… И все стоя на одной ноге. Вторая нога беспрерывно шарила по земле и нащупывала запасной бак с мороженым. «Вот здоровая баба! — цедил сквозь зубы Толик-Морда. — И ноги не мерзнут. Ну, не шелохнется, зараза!» Мы целый день так внимательно смотрели на ее ноги, что ночью, как закроешь глаза, так и видишь сразу Полины ноги, обутые в бурки и в чуни. Бурки — это самодельные валенки, простроченные по типу ватника. А чуни — галоши, сделанные из автомобильных

шин, только глубокие, до щиколоток.

Передышка у Поли была только тогда, когда приходил ее муж с очередным запасным баком. Он был такой же отвратительный, только очень маленький и худой, со злыми глазами-щелками.

И все-таки мы подловили момент! Был мороз. Но вокруг мороженого толпа, как летом. Очередей на базаре не было — были толпы. Все орут, толкаются, теснят друг друга. Мы с Вилли орем громче всех: «Куда ты прешься? Стой, как все! А чем ты лучше? Тоже мне „пан“! Да заткнись ты! Что? Что ты сказал? А ну, повтори…»

— Э-э-э!! Смотрите, смотрите! Пацаны мороженое сперли! Вон бегут! Хватайте их!!

Поздно. Мы опять сидели в нашем штабе. Ели прямо руками из бака долгожданное Полино мороженое. Вначале было необыкновенно вкусно. Потом приторно. Потом очень плохо — всем шестерым. Мороженое было на сахарине. Чего только, наверное, Поля в него не пихала… Съешь порцию — не почувствуешь. Но шестерым съесть целый бак на морозе, да на голодный желудок…

После войны я мороженое уже не ела. Подержу, посмотрю, понюхаю — и все.

А вот петушки люблю! Как увижу в городе малиновые петушки на палочке — покупаю. Говорю, что покупаю дочке, а сама только за угол — и тут же откусываю его не спеша, чтобы растянуть удовольствие. И в голову не приходит, что можно купить сразу десять штук. Нет, берешь одного! Как несбыточную мечту, которая вдруг сбылась. Так много радостей было убито в военные годы…

Залпы, обстрелы, бомбежки оживают в памяти…

Мне жаль маму. Жаль, что ее лучшие молодые годы прошли так. А ей жаль, что мое детство — самая веселая и беззаботная пора — прошло так. Но в то время мы часто смеялись, редко плакали, а если плакали — то горько. Мне, вообще, казалось, что я очень хорошо живу, что так и должно быть. Самую маленькую радость я воспринимала как огромное счастливое событие. Когда подросла, тогда начала кое-что понимать, сравнивать…

Знакомство с ребятами было и опасным, и романтичным. Многому меня научило. И хорошему, и плохому. Я знала, что «ракло» лучше, чем «сявка». «Сявка» — это опустившийся, безвольный человек, ничто. А «ракло» — это вор действующий, соображающий. Я научилась воровать. Для этого пользовалась все тем же способом «отвлечения». Рассматриваю себе на прилавке штучный товар прямо перед носом у торговки… Перегнувшись через стол, перебираю правой рукой товар, стоя на цыпочках.

Товар ругаю или хвалю, а левой рукой незаметно первое попавшееся тихо опускаю вниз под прилавок. Смотришь — яблоко или помидор есть.

На базаре дорого стоили кремни для зажигалок. За один камешек можно было купить гору леденцов. Подойду к прилавку, послюнявлю указательный палец и как бы случайно уроню его на разложенные камешки… «Нет, моему папе эти слишком большие» — и отхожу. А на палец два-три камешка и прилипло.

Осенью мама возвратилась после менки. За «то» мыло она привезла мешок фасоли. «Сейчас куплю луку… сварю фасолевый суп… соль у нас еще есть» — сама себе приговаривала мама, перебирая у торговок лук.

— Мама! Пойдем со мной…

Мы отошли… Мама смотрит на меня с тревогой: мол, что случилось, с чего это вдруг «пойдем»? Я ей протянула большую головку синего лука.

— Боже мой, какой ужас! Где ты его взяла?

— А ты его дольше всех в руке держала… А пока ты с теткой говорила…

Мама — хрясть по щеке. Я даже не успела договорить.

Она быстро пошла вперед.

— Какой ужас! Если бы Марк это узнал! Он же никогда и крошки чужой не возьмет. Откуда это у тебя?

Откуда, откуда… Сама уйдет на свою менку — и жди ее. Что оставит, съедается быстро, а потом что? Да что я, одна? Все дети так. Все! Ничего больше не буду ей рассказывать. Я думала, она обрадуется… Вот человек! А папочка такой добрый, он бы меня пожалел, поплакал бы вместе со мной…

Дома мама отошла. Она нудным тоном вычитала мне, какой должна быть девочка, как некрасиво я поступила, в общем — ничего нового. А потом взяла с меня слово, чтобы «это было в первый и в последний раз». Я дала честное слово. Но это было только начало, Я воровала до двенадцати лет. В школе — ручки, перья, тетради. В гостях — сахар, конфеты, печенье. Все копила на «черный» день. В укромном месте я прятала свои запасы. Старые съедала, а новыми пополняла. А потом в одно прекрасное утро все кончилось. Желание воровать исчезло навсегда. Даже как-то скучно стало…

Я всегда долго «созреваю». А потом вдруг — раз! — и полная ясность. Точное решение проблемы. Так и в работе над ролью. Сначала тупик и полная паника. Внутри сам собой происходит процесс «созревания». Я думаю в это время совсем о другом. И вдруг неожиданный просвет! Ага! Есть! Знаю, какая «она»! Знаю,

как я ее поведу…

Так и в дружбе. Со мной много можно «экспериментировать» — подводить, обманывать, крутить, вертеть. Я все терплю, терплю, жду, надеюсь, надеюсь… А потом — раз! И все! Внутри все пусто, все сгорело. И нет больше такой подруги.

А особенно болезненно было в любви. Уж тут-то я почти всегда оставалась сидеть в пепле на развалинах. Всегда сильно мучилась, отдавая этому чувству невосполнимые силы. Максимально «приносила», но и максимально требовала. Выдержать меня, мой «максимализм» трудно, что там говорить… Мне всегда хотелось любить только одного человека.

Теперь жалко огромного заряда энергии, растраченного впустую. Но мой папа говорил: «Жисть есть жисть, моя детка». Все правильно. Я это постигла на своем опыте, не внимая ни чьим советам, какими бы они мудрыми ни были.

БЕЗ «ДЕЛА»

На базар меня мама больше не пускала. А внизу, как назло, свистели мне мои друзья. Я предлагала маме свои услуги, вела себя так образцово, что это требовало какой-нибудь награды. Но мама хитрая. Она делала вид, что ничего не замечает.

А уж если удавалось вырваться! Ух! Я летела на базар, в условных местах находила ребят… и — будь что будет! Не убьет ведь, правда! — гуляла до вечера. Мы купались в Лопани, строили планы — на кого бы «навострить лыжи»!

А дома — экзекуция! Но что меня особенно поражало — мама безошибочно узнавала, что мы купались в Лопани. Курточка сухая, шаровары сухие, голова и трусы сухие, а она знает, что я купалась.

— Я тебе запретила влезать в эту грязную воду.

— Мамочка, дорогая, честное слово! Я не купалась, — говорила я, глядя на нее честными глазами.

— А это за вранье! — следовал очередной удар. А потом стояние на коленях в углу. Лицом к стене. Там у меня было время все спокойно обдумывать, поразмыслить. «Вот придет папа, я ему все расскажу. Как он точно про нее говорил — яга! Ну как она пронюхала, что я купалась?? Ну точно… чистая НКВД»…

А тут и нюхать было нечего. От меня за версту несло болотом. И опять надо меня мыть. И опять — вода, керосин, мыло…

Мама выпускала меня гулять на короткие промежутки. Я стала ходить вокруг госпиталя. Интересно: что едят раненые? Наверное, их хорошо кормят. Дома с утра до вечера была одна фасоль. Так хотелось хлеба!

Проход на территорию был закрыт еще и досками. Я одну доску отодвинула и пролезла в дырку. Меня никто не остановил. Раненые удивленно смотрели на меня: как это я сюда проникла? А может, так и надо? Я немного прошла и остановилась. На кроватях с колесиками лежали двое тяжелораненых — забинтованные голова и грудь. «Киндер, шпрехен зи дойч?» Я показала на конец мизинца. Один тихо засмеялся… В спине, пониже лопатки, я вдруг почувствовала острую боль, аж задохнулась. Кто-то швырнул в меня камешек. Повернулась. На меня, шагах в двадцати, смотрел рыжий немец на костылях, без ноги: «Век раус, шайзе менш… Фарфлюкте…» Я побежала к своей лазейке. Опять надо выбираться вперед головой! Я наполовину пролезла, беспомощно болтала в воздухе ногами, а он все еще громко орал как ненормальный и выкрикивал новые и новые

ругательства. «Заткнись ты! Рыжая кандала, тебя кошка родила!»

Все провалилось. Госпиталь меня больше не интересовал. При воспоминании о нем на душе становилось неприятно и тяжело. На базар мне нельзя. Дела никакого нет. И даже тетя Валя подвела. «Продала» меня маме. Я ей призналась, что, несмотря на честное слово, ворую. Она смеялась, говорила: «Молодец, доця!» А потом взяла и все рассказала маме. Никому нельзя верить. Ничего нельзя рассказывать. Даже тете Вале. Как она потом «к доце» ни подлизывалась, с ней я уже была начеку.

НАШИ ПРИШЛИ

— Люся, ну съешь хоть пару ложек. Возьми себя в руки и съешь… Ну ты же умрешь… Я тебя прошу. И тетя Валя тебя просит. Ради нас, ну дочечка!

Как ни старалась мама, но, кроме фасоли, на зиму больше ничего не запасла. Соль давно кончилась. Фасоль я не могла проглотить. Я лежала целыми днями без движения. Мама металась в поисках еды. Теперь она была бы счастлива, если бы я по-прежнему ходила на базар и подкармливалась самостоятельно, но… ходить я уже не могла.

Время зимы 1942/43 года — единственный черный провал в моей памяти за всю войну. Все помню урывками: темно-темно, а потом просвет. А потом опять темно. Когда бомбы взрывались недалеко, мама говорила: «Господи, вот бы р-раз-и все! Ну нет же сил! Ну нет же сил! Больше не могу…» Я лежала. Мне было безразлично. «Мама, наверное, права. А как же папа? Нет, пусть лучше бомба пролетит…»

Тетя Валя смотрела из наших замерзших окон на двор госпиталя: «Леля! Посмотри, сколько раненых возят… Все новые и новые машины. Наверное, фронт совсем близко…»

По рассказам я знаю, что в Харькове это было страшное время. Беспрестанная бомбежка и перестрелка. Горели немецкие продовольственные склады. А люди сидели дома — так было страшно. Рисковали только самые отчаянные…

Мама сказала, что меня на ноги удалось поставить тушеным мясом — тем самым, о котором мы мечтали. Она все-таки оказалась среди тех, кто рисковал. Но вкуса мяса я не помню.

Я встала на ноги, когда на улицах города было тихо. Ни одного выстрела. Тишина… Эти часы затишья называли временем безвластия. Когда одни войска уже ушли, а другие еще не пришли. Я подошла к балкону. Госпиталя уже не было. На дворе валялись гипсы, бинты, сломанные кровати на колесиках.

Ночью над городом стояло красивое зловещее зарево. Оно уходило высоко в небо. Внизу красное, потом черное, а в небе серое. А в городе, внизу — тихо-тихо. Страшно.

15 февраля 1943 года Красная Армия первый раз освободила город Харьков. Когда уже всюду раздавалось радостное — «наши», — мама меня осторожно вывела по ступенькам с четвертого этажа на Мордвиновский. Целую зиму я не была на улице. Столько людей — все плачут, обнимаются. Мы спустились на Клочковскую. Тут входили войска… Какие они — «наши»? Может кто-нибудь знает папу? А может от него есть письмо? А

вдруг мы сейчас его встретим?

Папа и мама перед войной часто проводили вечера в Доме офицеров. Я запомнила военных высокими, плечистыми и красивыми. Они охотно участвовали во всех маминых аттракционах, шарадах, играх. У нас даже сохранились фотографии, где папа с баяном, а военные с удовольствием смотрят на маму. Ее даже приглашали танцевать. Это я очень хорошо запомнила. Папа был возмущен.

— Як ето так? Прямо при муже идеть з другим и танцуить? И ще влыбается.

— Ну, а что, Марк? Что у меня, на лбу написано, что я твоя жена? Это же моя профессия.

— Якая такая профессия? Я тибе ету профессию сам у руки дав. На ноги тибя поставив. На широкую дорогу жизни тибя вывив… Да ты, як порядочная жена, должна сказать, что так, мол, и так, мол, товарищ дорогой, я на работе, пригласите другую даму. Вот так вот должна отвечать порядочная жена, а ты…

— Ой, Марк, котик ты смешной. Один мне свидание даже назначил… — Но продолжить маме не довелось. После этого случая она всегда помнила, что «правду ему нельзя говорить». За правду она уже однажды свое получила…

… По Клочковской проехало несколько мотоциклов с колясками. В них солдаты в белых маскхалатах, с автоматами наготове. Потом тишина. Потом опять такая же группа мотоциклистов. И только вслед за ними в город вступила армия.

Это были изнуренные, усталые люди. Машин мало. Орудия тянули лошади. 15 февраля… а весна ранняя… И валенки по мокрому снегу: хлюп-хлюп. Ничего заправского, довоенного…

Выдавали предателей. Выдавали полицаев, — тех, кто не успел уйти за немецкой армией. Чинили «самосуд» сами жители. Расстреливали пленных немцев. Трупы их валялись всюду… Совершенно голые… только на головах шапочки с козырьками… Сапоги, шинели, даже нижнее белье люди с дракой, с озверением вырывали друг у друга.

Рядом, совсем близко, я видела, как расстреливали пленного немецкого летчика. Это было в самый первый день прихода «наших». Его вывели из ворот дома, следующего от нашего Мордвиновского, 17, где я родилась. Там до сих пор остались следы пуль…

— Еще пленный! Сюда! Вон! Ведут! Сюда-а! — Около дома сразу образовалась толпа…

— Смотри… летчик… совсем молодой — перешептывались

между собой. Пленный был очень высокий, очень бледный, с голубыми глазами, со светлыми волосами. Шинель его была в саже. В толпе шептали, будто бы его спрятала в дымоходе какая-то женщина… Но ее уже расстреляли… Это еще больше разжигало любопытство к этому молодому пленному… Он шел с поднятыми руками, заглядывая в глаза всем, кто на него смотрел… Его вели трое наших. Немец шел в середине. Впереди самый старший, в белой плащ-палатке с обветренным и приятным открытым лицом.

Пленного приставили к кирпичной стене…

— Давай его фрица! Давай гада! Солдатик, родимый, отомсти! — кричали в толпе… И опять дети стояли впереди. Мы уже так выстраивались сами. Мы должны стоять близко и все запоминать. На всю жизнь…

Старший ткнул в грудь пленного. Тот прижался к кирпичной стене. Раздалась автоматная очередь… Он все еще пытливо заглядывал всем в глаза… Смотрел прямо в глаза… Чего он так открыто смотрел…?

Потом он стал медленно оседать… Толпа с гиком накинулась на него… Через несколько минут он был голый…

Наутро его кто-то перевернул на живот и прикрыл тело марлей…

«ВТОРЫЕ НЕМЦЫ»

"Это было при «первых немцах», а это было при «вторых немцах» — выражения знакомы всем тем, кто пережил войну в Харькове.

«Первые немцы» навсегда ушли. Пришли наши. Но бои за город продолжались. Немцы стояли на окраине Харькова, в районе Холодной горы. Нашим город пробыл около двух недель. В течение этих двух недель во дворе у нас был красноармейский госпиталь. Беспрерывно возили тяжелораненых. Женщины-медсестры развешивали рядами бинты. А наутро от мороза и ветра бинты торчали колом во все стороны.

Мне все время казалось, что война, немцы — это только сегодня. А вот завтра будет прекрасное утро. Я проснусь — и будет Первое мая. Веселый папа с баяном. И мама, вся в белом, будет смотреть счастливыми и странными глазами на папу.

Но наши отступали. Пришли «вторые немцы». У тети Валиных окон мы опять заняли свой наблюдательный пункт. Опять на Клочковской та же картина. Только входят немцы уже из центра, от площади Тевелева.

… По нашему переулку, под нами, несколько красноармейцев в зелено-желтых плащ-палатках перебегали от двора к двору. Они направлялись к Рымарской. А с Клочковской короткими автоматными очередями стреляли «вторые немцы». Их еще не было видно из нашего окна. Вокруг из окон выглядывали люди. Все следили… Откуда-то раздалось: «Налево! За угол налево!»

Красноармейцы скрылись налево за углом, по направлению к опере… Мама сказала: «Хоть бы успели до сада Шевченко, там все-таки деревья». А тетя Валя сказала: «А что деревья? Ведь сейчас зима…» А я подумала: «Почему на них не белые халаты, а пятнистые?»

«Леля! Леля! Скорей! Совсем, а-а! Совсем другие войська… и форма».

«Вторые немцы» шли, тесно прижавшись друг к другу, шеренгой от тротуара до тротуара. Они разряжали автоматы в малейший звук, в движение, в окна, в двери, вбок, вверх, в стороны…

Это были отборные войска СС. Отрывисто-лающая речь, черная форма и особенно отчеканенный «Хайль» — ничего похожего на «первых немцев».

Звук кованых сапог раздавался всюду. На следующий день он раздался и на нашей каменной лестнице. Сначала внизу, потом на третьем этаже. Мы все собрались на кухне и ждали.

Немцы вошли четко. Двое остались у наружных дверей. Двое прошли по комнатам, потом на кухню. Оба очень молодые, совершенно одинаковые, с мертвыми, бесцветными глазами. Я стояла перед мамой, упираясь затылком в ее худой, провалившийся живот. Они с ног до головы обшарили всех взрослых. Я смотрела на них со страхом, но и с огромным интересом. Что это за люди? Вроде люди… и не люди…

Эти двое между собой громко переговорили, потом что-то крикнули тем, кто стоял у входа. Услышали такой же громкий и четкий ответ, одновременно повернулись кругом и так же четко, чеканя шаг, вышли из нашей квартиры, оставив двери настежь.

Их действия, поведение произвели впечатление отрепетированного спектакля. Дочь и мать Мартыненко, тетя Валя, мама и я не двинулись с места, пока не услышали их шаги этажом ниже.

Все бросились по комнатам. А я осталась на кухне. Мне нужно было отдышаться, сообразить: что это? И страшно, и одновременно мучило любопытство: «Смогу ли я так же четко пройтись и без остановки развернуться кругом, а потом так же четко пойти в другую сторону? А? Смогу? Ладно, потом попробую, не сейчас».

Пошла посмотреть, что они у нас в комнате наделали. И вдруг перед самой нашей дверью резко развернулась кругом, да еще пристукнула ногой об ногу. От выскочившей из комнаты мамы получила такую затрещину, такого «тэвхаля», как говорил папа, что в глазах темно стало. Тут я и успокоилась. И на маму не обиделась. Мама права. Но ведь я и сама этого не хотела! Так получилось.

Когда папочка вернулся с войны, я его изводила, заставляя все время командовать мне: «На-пра-ава», «Нале-ева», «Шагом арш», «Кру — у-гом». Я со счастливой улыбкой исполняла команды. Мне так хотелось быть мальчиком…

Все подушки, перины были вспороты штыками. Всюду открытые ящики и дверцы. Везде перья. Так же было и у тети Вали, и у Мартыненко.

— Валя! Это же чистейший идиотизм! Искать в перине партизан. Причем здесь подушки?

— Доця! Аккуратно собирай все перья, чтоб ни одно не пропало.

Немцы увели из нашего дома двух последних пожилых мужчин. Они действительно повсюду искали партизан или раненых красноармейцев, не успевших скрыться.

ДЯДЯ ВАСЯ

«Вторые немцы» объявили комендантский час. Нельзя появляться на улице после шести вечера — расстрел на месте. За время оккупации было столько приказов, столько распоряжений и угроз, что бдительность у людей ослабла. Но когда после приказа о комендантском часе на следующее же утро на улице были убитые, стало ясно, что «вторые немцы» приказы приводят в исполнение. И после шести вечера город был мертвым. Только редкие выстрелы. Только звук железных подков.

Зато утром, чуть свет, начиналась жизнь. Но какая! Люди как будто наверстывали за вечер. Все выныривали из своих домов и бежали на базар! Там все: еда, одежда, деньги, надежда — жизнь!

Мы с мамой тоже спешили на базар. Теперь мама торговала табаком. Нас выручил папин товарищ — баянист дядя Вася. Я его до войны не видела у нас в доме. Наверное, он у папы был не «кровенный», а просто товарищ.

— Всех поили, кормили… Куда все делись? Исчезли. А дядя Вася помог. Кто мог подумать? Встретила его на базаре. Голос мой не узнал, Валь, по руке узнал, улыбнулся: «Здравствуй, Леличка».

— Леля! Как это по руке? Он что — гадает? Ты меня с ним познакомь…

— Да нет, Валя, он баянист, слепой.

Дядя Вася был огромным, мощным человеком. Ходил в маленьких черных очках, с палкой. Рядом с ним было все маленьким: и баян, и его жена. Она его постоянно сопровождала и тихо шелестела своим добрым голосом: «Вася, тут ступенька, не спеши, дорогой, не спеши. Мы успеем…» Дядя Вася был слепым от рождения. Со стороны было так забавно — огромный человечище с маленьким баяном и маленькой женщиной.

Он тогда нас с мамой спас. Его жена торговала на базаре табаком. А дядя Вася играл на баяне в маленькой пивной. Они одолжили маме денег на табак. Табак мама купила оптом — полмешка. А продавали мы с ней его в розницу — на стаканы. Стаканы выбирали самые маленькие.

А табак мама смачивала водой, чтобы он разбухал. Один раз нам подсунули вместо табака полмешка мякины. Мама плакала, мы не знали, что предпринять, кому мстить, кому жаловаться. Ей дали «дельный» совет: если в горле дерет, значит, это табак, если нет — значит, нет. Мама научилась курить.

С утра я честно стояла рядом с мамой, старательно исполняла все мамины «дела». А потом молча смотрела на нее с

мольбой в глазах. «Ладно, иди, только не долго…»

У меня было много дел. Сначала я шла по молочному ряду, старалась «напробоваться» сметаны, молока… Для виду со мной всегда пустая банка или кружка. Иначе не дадут попробовать. А так: не нравится — вот и не беру. Потом по штучным рядам. А потом, «на закуску», — в пивную к дяде Васе. Он был такой добрый, как папа. Придешь к нему, всегда что-нибудь сунет: или петушка, или кусочек белого сахара. У них не было своих детей. Дядя Вася меня очень любил.

Пивная была маленькая, всего на три столика. Содержал ее пожилой цыган, дядя Коля. Его жена и трое детей пели около пивной и зазывали прохожих посетить их «кафе». Это слово было в моде. Кафе считалось шиком. На всех пивных и кафе висели разноцветные самодельные вывески. Дяди Васина пивная называлась «Споем, цыгане». Пивная пользовалась успехом. Народу всегда было много, даже стояли. Звучала песня «Мой костер в тумане светит», пользовалась успехом «Люба-Любашка»:

Нет на свете краше нашей Любы,
Черны косы обвивают стан,
Как кораллы, розовые губы,
А в глазах у Любушки — туман…

Я иногда пристраивалась к ним и подпевала с огромным удовольствием.

Неподалеку сидел старичок. Он продавал порошки. Низким красивым голосом все время повторял одно и то же: «Не забудьте — от-ы клопов-ы, блох-ы, крыс-ы, мышей…» Когда я его передразнивала, он не сердился, а смеялся громче всех: «Действительно смешно, детка, ах, господи, до чего же я дожил! А знаешь, детка, когда вы все поете, я твой голос сразу узнаю. Без тебя уже нет той гармонии. Не так звучит».

Как он красиво говорит: «Гармония!» Вроде бы простое слово — от слова «гармонь». Баян. Ясно. Но как звучит — гармония! Я знаю, о какой песне он говорил. Я в ней «нашла» красивые подголоски. И сама влюблена была в мелодию цыганской песни:

Эх, бирюзовые, золоты колечики,
Ой, да раскатилися тихо по лужку,
Ты ушла, и твои плечики
Скрылися в ночную тьму.
Ай, да по зеленой травушке-муравушке,
Ой, да не собрать растерянных колец,

Не сыскать любви — забавушки,
Видно, счастью тут конец…

Дядя Вася так красиво играл! С переборами, с вариациями. «Хорош гармонист, хоть и слепой», — говорили посетители. Мой папочка так играть не умел. А дядя Вася играл «як зверь». Это точно.

У моих друзей — Толика, Валерика, Сени — появилась другая девочка. Всю зиму я болела, потом мама меня на базар не пускала — вот и занято мое место. Но это была родная сестра Толика. Она подросла. Я гордо проходила мимо, а душу грызла ревность. Девочку я рассматривала издали. Ничего особенного. Две толстые косички. Вместо лент веревочки.

Тоже мне! Мне бы такие косы. Да я бы их накрутила колечками, как у Марики Рекк, в крайнем случае, раздобыла бы два малиновых банта! На базаре продавали ленты из парашютного шелка. Все ядовитого цвета: голубого — «вырви глаз», оранжевого с желтым отливом — «алая роза». Но мне больше всего нравились малиновые ленты. Такой необыкновенный цвет… Мне с ребятами было куда веселее. Но ведь она сестра, а я чужая. Эх, если бы у меня был старший брат! Но все-таки легче оттого, что сестра, а не посторонняя девочка. Что ж, прощайте, Морда, Вилли, Сенчак. На базаре мне уже все знакомо. Я и в одиночку не пропаду.

В 1964 году я работала в театре «Современник». Тогда театр находился на площади Маяковского. После репетиции сказали на проходной, что меня вот уже два часа дожидается какой-то человек. Навстречу мне шел большой мужчина с черной бородой. Я его раньше никогда не видела.

— Здравствуйте, Людмила!

— Зд-дравствуйте…

— Наверное, вы меня не узнаете?

— Нет, извините, нет,

— Как бы это… Неудобно сказать… Да мы с вами когда-то воровали.

Я прямо шарахнулась от него. «Современник» в то время был самым популярным театром в Москве. Артистов немного. Все «личности». Атмосфера самая интеллигентная и интеллектуальная. В каждом углу читаются редкие стихи. Речь перемежается такими новыми, модными тогда словами: «экзистенциализм», «коммуникабельность»… Я репетирую Ростана «Сирано де Бержерак», борюсь со своим «харьковским

диалектом», успешно, вот уже полгода, выращиваю в себе «голубую кровь» — и на тебе! Какой-то ненормальный. «Мы с вами, — говорит, — когда-то воровали». Такое ляпнуть!

Ну всегда, всегда со мной не так, как с людьми.

— Вы что, товарищ? Что вы говорите? Вы меня с кем-то путаете. — И быстро ухожу. Он меня догоняет. Весь красный, ему тоже очень неловко. Но хоть не нахал.

— Людмила… ну это… вот черт… в Харькове. Война, базар, мороженое. Всякое то-се… Ну? — И шепотом добавил:

— Ну, Толик я, — и еще тише: Мордой звали…

— То-олик! Ой, ну, конечно, конечно! Прекрасно все помню! Еще бы! Вас не узнать, вы такой большой…

— А я вас в кино сразу узнал, хотя вы тоже изменились. Всем говорю, что вас знаю, — никто не верит. Не скажешь же, что воровали в детстве… Все хотел вас повидать, да не решался. А сегодня думаю: а, чем черт не шутит? Принял для храбрости, и вот…

Мы зашли в ресторан «Пекин».

Толик стал горным инженером. В Москве был проездом с Севера.

Вспоминали далекое и такое родное прошлое. Уже громко, не оглядываясь по сторонам, называли все своими словами. Нас связывали особые узы братства, которые объединяли всех, кто перенес войну в Харькове.

Мы с удовольствием говорили на «военном» харьковском жаргоне. И ни один человек рядом не смог бы нас понять.

ОБЛАВА

Из тети Валиных окон мы смотрели вниз, на наш переулок. Было шесть часов. А мама с базара все не возвращалась. Мы знали, что это значит.

Недавно убили дядю Васю. К вечеру за ним всегда приходила его жена. Они шли домой через весь город от Благовещенского базара, через центр, до Юмовской. В тот день она опоздала. Пивную закрыли, и дядя Вася пошел домой один. Его настиг проклятый комендантский час. Я представила дядю Васю: большой, в черных очках, с баяном и палкой в руке, растерявшийся и беспомощный…

«Единственный бескорыстный человек… так всегда с хорошими людьми», — сокрушалась мама. Мы с мамой и женой дяди Васи искали его, у всех о нем расспрашивали. Но где его найдешь, к кому обращаться… Это ведь комендантский час… Какое-то время мы не видели на базаре жены дяди Васи. А когда пришли ее навестить, в их комнате уже жила другая семья.

На диване, где раньше спал дядя Вася, сидели две девочки. Нам сказали, что жена дяди Васи умерла. Вот какое горе…

А теперь было шесть часов, и не было мамы.

С утра мы вместе продавали табак. Потом я, как всегда, пошла по своим делам. Везде все было по-старому. Лишь в пивной уже не было дяди Васи. На его месте стоял другой музыкант, только играл он не на баяне, а на скрипке. Подметки к ботинкам у него были привязаны веревкой. Очень худой, заросший, жалкий, говорили про него, что до войны он в Харькове «гремел», а теперь вот сильно пьет и к вечеру совсем не может играть. Фамилии его я не запомнила. К нему обращались: «Род-д-ной, ударь по душе!». Скрипку я так близко видела и слышала тогда впервые. Но играл он! Точно, бил по душе. Очень пронзительно… И становилось одиноко и страшно.

Мне всегда больно слышать соло скрипки. Я люблю хор скрипок в оркестре, они уносят душу высоко-высоко, хочется плакать и любить. А когда играет солист, какой бы он ни был — талантливый и импозантный, в сюртуке и в крахмальном жабо, — чем внимательнее я вслушиваюсь в его игру, тем яснее вижу ботинки, обвязанные веревкой, тем дальше уходят звуки этого нынешнего музыканта, — ее заглушают кричащие, выворачивающие душу импровизации талантливого пьяного скрипача.

После войны я посмотрела фильм «Петербургская ночь». В нем через всю картину идет спор, состязание двух музыкантов —

талантливого и способного. Актер Добронравов играл талантливого скрипача. Я была поражена необыкновенным его сходством с тем скрипачом из пивной. Такая же отрешенность от мира, как будто на свете есть только музыка и больше ничего… Я смотрела фильм несколько раз. Меня преследовала необычная музыка Кабалевского, особенно тема «Погорельцы». А когда в 1965 году я снималась в фильме «Рабочий поселок» с Леной Добронравовой, как же я влюбленно на нее смотрела и думала: «Дорогая Лена! Ты даже не представляешь, что ты для меня. Ты — дочь актера Добронравова. А он — щемящая музыка Кабалевского, которая заставляет вспоминать того скрипача из пивной цыгана Коли, где рыдают пьяные посетители и просят „род-д-дного“ „ударить по душе“… А вокруг война, бой за жизнь, за хлеб и мое взрослое детство…»

Сначала я невзлюбила того скрипача — за дядю Васю. Да ведь он здесь ни при чем. Он даже не знал дядю Васю, нашего спасителя. Это хозяин пивной — он тут же нашел замену дяде Васе. Хоть бы выждал немного…

Папа мне на всю жизнь передал эту свою жалость к людям. По-папиному, любовь — это жалость. У нас дома спрашивали: «Ты меня жалеешь?» Значит, «ты меня любишь?». Никогда в доме у нас не было этого проклятого равнодушия. Папа перед людьми был распахнут, открыт. Он говорил, что обижать его — «ета грех…»

— Когда ты ушла с базара? — спросила тетя Валя.

— Давно, мамы на месте не было. Вот я и прибежала домой, чтобы быть пораньше…

— Ну, что же могло случиться с Лелей? Облавы не было? Ты не спрашивала?

— Нет, не было. Точно.

«Вторые немцы» придумывали все новые и новые жестокие расправы. Мало-мальски подозрительных вешали прямо на балконах! Лютовали полицаи. Особенно те, что вернулись в город со «вторыми немцами». И немцы любовались, когда полицаи расстреливали своих же. Теперь начались облавы. Они устраивались в самых людных местах. В основном, — на базаре.

Определенный участок людного места немцы потихоньку окружали кольцом. А потом по команде вдруг начинали сужать кольцо, оттирая людей от прилавков, швыряя «товар» на землю. Прикладами в спину все ближе и ближе сталкивали людей друг к другу. Боже мой, какая же это была паника! Душераздирающие, протяжные крики — «Мамочки!», «Господи!», «Помоги-ите!» «Ра-ту-уйтэ!» — перемежались с отрывистыми немецкими: «Шнель!»,

«Век!», «Шайзе!», «Фарфлюктер!».

А когда кольцо было сжато так, что люди стояли вплотную друг к другу, немцы разрывали кольцо с одной стороны… А с противоположной стороны этого кольца выпускали овчарок. Все крики сливались в одно жуткое: «О-о-о!».

И наступала на мгновение тишина. Как будто все одновременно переводили дыхание.

Проклятые умные дрессированные животные справлялись уже сами. Они гнали толпу перепуганных и ничего не соображающих людей в точном направлении — к черным закрытым машинам — «душегубкам».

Машины набивали людьми, и они отъезжали. Тех счастливцев, которые в машину не поместились, отпускали. Часто случалось так, что мать в машине, а дочь осталась на воле! Оставшиеся на свободе проклинали потом эту свободу всю жизнь.

В эти душегубки впускали выхлопные газы. И пока машина доезжала до окраины города — люди в ней задыхались. Потом их сбрасывали в ямы и засыпали землей. А зимой — в Лопань. Это и была «облава». Так она проходила в нашем Харькове, на Благовещенском базаре. А на следующий день по городу шли слухи, что в Харькове действуют партизаны. Облава — это как бы месть немцев за действия партизан.

Со временем харьковчане изучили технику облав, как свои пять пальцев. Стоило черной машине или немцу с овчаркой появиться на базаре, тут же по рядам, как по телефону, передавалось сначала тихо, а потом все громче и громче и, наконец, криком: «Облава!», «Облава!». Весь базар сразу приходил в хаотическое движение. Иногда мероприятие у немцев срывалось. Но чаще попадались нерасторопные деревенские тетки, которые, ничего не соображая и боясь расстаться с мешком, добровольно бежали к черным машинам…

Мы с тетей Валей увидели маму. Она шла с Рымарской вниз, к нашему дому. Рядом с ней шла незнакомая женщина, чуть сзади — мужчина. Все трое с ног до головы были в белом, как будто вываляны в мелу. Все несли на спине по мешку.

— Где-то грабили муку… — сказала тетя Валя, свесившись из окна. Когда они были уже почти у нашего дома, раздалось громкое «Хенде хох!». С противоположной стороны улицы к ним шел немец с автоматом наготове. Все трое поставили мешки, подняли руки, повернулись и пошли опять вверх, к Рымарской.

В нашем переулке «опоздавших» никогда не расстреливали. Машины, которые увозили убитых, не могли проехать по нашему крутому, горбатому Мордвиновскому. Убивали внизу — на

Клочковской или наверху — на Рымарской.

Сколько раз я видела, как ведут людей с поднятыми руками на расстрел. Но сейчас вели мою маму! Это было неправдоподобно, как сон. Вот я же на нее смотрю, это ведь моя мама, и… не верю.

«Хоть бы взглянула на меня, мамочка!»

Она ни разу не посмотрела на нас. Все трое шли с поднятыми руками, за ними шел патруль, направив автоматы им в спины.

Внизу, у парадного, остались три мешка муки. Из окон, по обеим сторонам улицы, на эти мешки смотрели горящими глазами. Но выйти на улицу никто не решался. Очень близко раздалась короткая автоматная очередь — одна, сейчас будет еще две…

Потом мы услышали топот и увидели бегущих к дому маму и незнакомую женщину. Мы с тетей Валей бросились им навстречу, слетели с четвертого этажа и схватили мешок муки. На всех этажах в приоткрытых дверях стояли жильцы нашего дома.

— Леля! Что случилось?

— Потом, Валя, потом! Какая радость… Неслыханно, негаданно. Мучица! У нас мучица!

Женщина на всю ночь осталась у нас. Мама предложила ей устроиться на диване, но она сидела в коридоре, обняв мешок с мукой, как подушку, и все плакала и плакала. Громко, навзрыд… А мама… Как будто не ее вели только что на расстрел. Она возбужденно рассказывала тете Вале, как и что было.

На базаре в машину забрали нескольких молодых женщин и мужчин, довезли их до гастронома на Сумской. Он и сейчас там, этот гастроном, около театра Шевченко. Под гастрономом, в подвале, продовольственные склады. Людей заставили грузить мешки с мукой. Когда они нагрузили полную машину, женщины стали просить за работу немного муки. Из немцев были шофер, солдат и небольшого чина офицер. Они разрешили взять муку — «шнель, шнель» — стали показывать на часы. Мама говорила, что она на радости совершенно забыла про комендантский час и помертвела, когда увидела патруль.

— Валя! Патруль около самого парадного! Мне было так жалко муку… Ведут, а я все думаю: ну кому же она достанется? Доходим до театра, а машина еще стоит, представляешь? Я бросилась к шоферу, к офицеру! Ведь мы нагрузили полную машину! Что я говорила — не знаю! На немецком, на русском… Офицер переговорил с патрулем, тот, сволочь, ни в какую. Шофер говорит про детей, я кричу: «Кляйне киндер кранк…» Нас вот с нею отпустил, а того дядьку… Да не плачьте вы! — сказала она женщине в коридоре. — И мука цела, и мы живы-здоровы…

Какая мама боевая стала. Год назад ходила на менку и так же плакала, как эта, в коридоре. А теперь вон какая! Смеется.

На следующий день в нашем переулке только и говорили, что кому-то досталось столько муки! Соседей мама одарила мукой, чтобы они не затаили злобы. Она стала героем дня.

Утром целой группой — я, мама, тетя Валя, мать Зои Мартыненко и тетя Фрося — все пошли к гастроному.

— Вот смотрите, здесь мы грузили, вот еще следы от машины, от муки… А вот тут мы умоляли нас отпустить. Два часа грузили, все болит…

— Мам!

— Что тебе? Потом… не до тебя.

Я узнала того дядьку. Об этом я и хотела сказать маме. Это был «армянин», который в самом начале войны отбирал у нее ящик с банками. Я тогда еще крикнула: «Мама! Не бойся! Папа бежит!» Как же мама его не узнала?

ПЕТЕР

Мы спаслись от душегубки. Когда собаки погнали толпу, мама сильно толкнула меня в спину. Я упала на землю, она накрыла меня собой. Все бежали рядом, совсем у лица, спотыкались о наши ноги, ругались, падали и опять бежали. А когда побежали и мы, мама, стиснув больно мою руку, задыхаясь на бегу, говорила: «Главное — опоздать… собак не бойся… кусают тех, кто паникует. Это не смертельно, главное — опоздать…»

Мы опоздали. Но я видела совсем близко, как черно и страшно было в машине без окон. Как люди, тесно прижатые друг к Другу, с искаженными от ужаса лицами смотрели из машины, хватали последний глоток свежего воздуха. Они вбегали по доскам в машину… была видна спина, но, оказавшись в машине, человек тут же разворачивался лицом. Так и мелькали: спина — лицо, спина — лицо… Такие разные люди, разные лица… А один пожилой седой дяденька даже улыбался. Я подумала, что это и есть, наверное, сумасшедший. Таких я еще никогда не видела. Но что такое сумасшедший — меня очень интересовало. И, увидев каждое неестественное проявление человеком своих чувств, я гадала: «С умом» он или «без ума»? Ну как можно улыбаться, попав в душегубку?

Меня трясло, хотелось быстрее домой. А мама сообразила — вдруг удастся спасти табак!? Но, когда мы, «свободные», прибежали на наше место в торговом табачном ряду, мешок с табаком уже исчез.

Я всегда останавливаюсь на улице, если вижу драку, пьяных, катастрофы. Во время войны мне ежедневно доводилось видеть у людей самые обнаженные человеческие проявления. Я видела глаза, в которых были страх и ужас смерти, желание убить, счастье, что не умер. Все эмоции, страсти у людей в войну были обнажены. Я с детства так привыкла к сильным потрясениям, что желание проникнуть вглубь, пусть даже в самые неприглядные области человеческих отношений, стало навсегда для меня необходимостью. Я не могу пройти мимо скандала. Стою в сторонке и «провожу» через себя все, что вижу и слышу. Потом долго раздумываю, кто прав, а кто нет и почему. Может, они давно уже помирились, а я все хожу и анализирую, почему человек не сумел себя сдержать, почему он так неприлично громко кричал, отчего становится неприятным и уродливым. Почему он потерял контроль над собой — ведь вокруг же люди. А как бы я на его месте?

Сейчас другое время. И совсем, мне кажется, другие люди. У некоторых эмоции ушли внутрь, вглубь, трудно бывает понять, что у человека на уме, потому что на языке у него совсем другие. Я тоже очень изменилась — куда делось открытое бурлящее веселье, щедрая, заражающая всех вокруг «папина» радость… Иногда они прорываются, но пугают тех, кто меня не знает близко. И радуют «своих». И все-таки самый неисчерпаемый источник эмоций, страстей, неоднозначных открытых характеров для меня — в той войне, в моем незабываемом взрослом детстве.

С годами все отстоялось, отложилось в душе и в сердце, а потом преломилось на экране. Я видела таких измученных женщин в жизни, как Мария Плещеева в фильме «Рабочий поселок». Когда все, казалось бы, потеряно, нет никакой надежды на свете и все-таки где-то глубоко есть еще внутренний базис, и она распрямляется, она снова живет!..

Как много было рядом таких внешне грубых, колких, яростных и человечных, как Шура Соловьева из фильма «Дорога на Рюбецаль»! И характер, и одежда, и жаргонная речь — все из моего военного детства. А в фильме «Вторая попытка Виктора Крохина» — Любовь Крохина. В ней я попыталась сыграть открытый характер, все вытолкнуть наружу, ничего не приукрашивая, — как было в войну, почти без подтекстов. А если есть второй план — то шит белыми нитками, и тогда человек становится еще ранимее, еще привлекательнее… Попробовала быть, как мой папа, — он бы сейчас совсем не смог приспособиться, он был человеком «того» необыкновенного времени… Я на экране также слепо и глупо люблю своего сына, как папа любил меня. Унижая отчима моего сына также, как папа порой унижал маму. И от этого любовь героини получилась мощной, необъятной, как у моего папы. В фильме ненавижу открыто, люблю открыто, говорю то, что думаю, с открытой душой, открытым сердцем. Пою тоже громко.

Моя мама с каждым днем набирала силу. Теперь папа не узнал бы ее. Теперь уже тетя Валя прислушивалась к маме, соглашалась во всем. После той облавы мама больше не торговала табаком.

Они с тетей Валей устроились работать в кафе. Это было не кафе, а как бы культурная пивная. По сравнению с темной дяди Васиной пивнушкой она была просторная, светлая, стояла в выгодном месте — на углу Бурсацкого спуска, как раз напротив входа на базар. В кафе — десять-пятнадцать столиков. Из еды — всегда мой любимый винегрет, яичница и борщ. Подавали самогон-шнапс и пиво.

Мама отвечала за чистоту в зале, на кухне и в подсобных помещениях. А тетя Валя резала, чистила овощи и мыла посуду. Была там и повариха. Очень тощая. Она ни с кем не сходилась близко, ни с кем не разговаривала, как немая. Вот если бы я была поваром, я бы целый день все пробовала и пробовала и обязательно бы поправилась! А она… Фи!

Тетя Валя чистила все сырое, а все вареное разделывала непременно сама повариха, чтобы продукты во время разделки не ели. Контроль за продуктами был строжайший. Кафе содержали двое — мужчина и женщина, но не муж и жена. Он стоял у прилавка, разливал пиво и самогон, а она разносила еду и выпивку за столики. Когда они подсчитывали выручку, всегда крепко ругались. На окнах кафе вывели белой известью: «Кафе Надежды Юрченко и Матвея Горбатых». Мужчина был мало чем примечателен. Главной была она. Такую отвратительную злюку редко встретишь. На лице, кроме раздражения, ничего. Между собой мама с тетей Валей называли ее Шваброй — за то, что она все время кричала маме: «А ты шваброй, шваброй!»

В зал выходить категорически запрещалось всем, кто работал на кухне. А в зале каждый день происходили такие интересные события! Звучала музыка! Пели душещипательные песни!

Его звали Петер. Он играл на аккордеоне и пел. Аккордеон был самым модным тогда инструментом. Когда я услышала, как поет и играет Петер, я «заболела». Вот вернется с фронта мой папа, купит аккордеон для «любимой дочурки», и я тоже буду петь и играть! Но я пойду еще дальше! В самых эмоциональных местах песни буду отбивать чечеточку! А? Все одновременно — и петь, и играть, и танцевать! Вот это будет номер! Он будет. Обязательно!

А пока я ходила каждый день к маме в кафе. Я ждала Петера. Он был очень красивый. На редкость. Высокий, изящный, артистичный, элегантный… Одет в коричнево-бежевой гамме: клетчатый пиджак с накладными карманами и хлястиком сзади, брюки коричневые, в широкую бежевую полоску. Волосы светлые, длинные, волной — совсем не по моде, но это придавало его лицу загадочность и «романтичность». А глаза большие, печальные…

В кафе он появлялся шумно. Своим голосом перекрывал голоса посетителей. Входил всегда с одной и той же фразой: «Та чево там!» Над этой фразой я часто раздумывала. Что она означает? Может, «чего нам бояться»? Он ее произносил часто. Смысл слов «та чево там» всегда был разным. Когда он входил в кафе, все ждали от него чего-то, все притихали, улыбались…

При Петере постоянно находился его болельщик — человек маленького роста, с внешностью, о которой всегда говорят

«стертая». Ходил человек постоянно в поношенном, засаленном плаще, а на голове — немецкая солдатская шапочка с козырьком. Как только Петер роскошно входил в кафе, тут же с аккордеоном шустренько прошмыгивал человек. И пока Петер здоровался, раскланивался, посылал Швабре воздушные поцелуи, человек готовил аккордеон «к работе». Он его вынимал из черного футляра, ставил на стул и прикрывал зеленой суконкой.

У моего папы тоже была такая подстилка, только не суконная, а плюшевая, мягкая, и не зеленого цвета, а бордового. Он ее называл «бархамоткой». Папа подкладывал ее под баян на колени, чтобы брюки не протирались. А когда «быян отдыхав», он «етую бархамоткую» прикрывал его — чтобы «инструмент не пылився».

Человек быстро сделав приготовления, незаметно уходил в дальний угол и там тихонько сидел, никак себя не проявляя.

С утра в кафе были, в основном, наши. Те, кто удачно торговал. Здесь заключались торговые сделки. Часто две сцепившиеся руки разбивала чья-то третья. Бродяг и пьяниц сюда не пускали. Тут собирался «деловой цвет» нашего базара.

А днем появлялись и немцы, большей частью младший офицерский чин. И если входил более старший по званию, то младший по чину вскакивал и после «хайль» торопливо расплачивался и исчезал.

Когда в кафе входили немцы, все менялось. Притихала русская речь. Но вдруг с еще большей силой гремело: «Та чево там!» — и вступали звуки аккордеона. Про таких смелых мой папа говорил: «Ему хоп хрен по диревни! Ну ничогинька не боится». Немцы немели от такой наглости… А может, так и надо? Сам черт не поймет этих русских… И они начинали с повышенным вниманием слушать песни на русском языке. Как прекрасно пел Петер! У него был густой драматический баритон. После песни немцы иногда протягивали Петеру крупные немецкие купюры.

И вот тут-то как из-под земли выныривал «стертый» человечек. Он собирал деньги в немецкую шапочку, подобострастно и угодливо улыбался, благодарил по-русски, по-немецки. Потом подсаживался поближе к немецкому столику и переводил то, о чем пел Петер.

У меня было свое место, свой наблюдательный пункт. Напротив зала — маленькая комнатка для мытья посуды. И если там присесть на перевернутую кастрюлю, то из-под прилавка просматривалось все, что происходило в кафе. Главное, вести себя незаметно, не бросаться Швабре в глаза, чтобы не выгнала. Иногда затекали руки и ноги от неудобной позы, но я часами

могла сидеть, опустив голову вниз, чтобы ничего не пропустить. Ведь там, в зале, пел Петер.

За окном гармоника
И сиянье месяца
Только знаю, милая,
Никогда не встретимся…

Пейте, пойте в юности,
Бейте в жизнь без промаха,
Все равно любимая,
Отцветет черемуха…

В глазах Петера блестели слезы. Иногда они даже скатывались по щекам. И тогда я в своем углу плакала вместе с ним. Мне было жалко любимую, черемуху, которая обязательно отцветет. Было очень жалко себя, что сижу тут на кастрюле в углу и пропадаю напрасно. Ведь никто не знает, что я тоже пою. Если бы мне только разрешили! Я бы всех «разжалобила». У меня бы тоже все плакали…

Зато дома, перед нашим шкафом с «волнистым» зеркалом, я выбирала самый «выгодный ракурс» — так, чтобы глаза попали «в волну» и стали в три раза больше, а нос стал «носиком» — в три раза меньше. И уже тогда пела про любимую и про черемуху, пока слезы и сопли не заливали все лицо. А потом довольная собой, усталая и счастливая, шла на улицу гулять или в кафе… к Петеру.

Когда Петер заканчивал «Черемуху», все аплодировали. А он стоял, еще не раскланиваясь: «Шмага, прошу!» Подбегал человечек с белым носовым платком на ладони, как на блюдце. Петер утрированно, драматично вытирал глаза, передавал опять платок человечку и только после этого встряхивался, улыбался всем: мол, «я опять здесь, с вами, дорогие мои…» Улыбался он очень добро и искренне. Рот у Петера был большой. Когда он улыбался, видны были все зубы. А справа блестела металлическая фикса — крик моды!

— Леля! Запомни! Мужчина бэз фиксы — это не мужчина, — это я слышала когда-то от тети Вали.

Я теперь с ней согласна. Как красиво фикса блестит у Петера, аж глаза режет. Вскоре во рту у тети Вали тоже появилась фикса. Как же я ей завидовала!

… У Петера, как у каждого эстрадного артиста, был свой «конек», своя «коронка» — свой коронный номер. Он его «давал» под конец. Его-то я и ждала.

После длинных переливов на аккордеоне, после медленного

вступления-размышления шло неожиданно бодренькое: «умпа-умпа, умпа-умпа…». Так красиво, когда вдруг из мелкой дрожи-тремоло — в темп, из грусти — в радость, без перехода:

Чубчик, чубчик, чубчик кучерявый,
Да развевайся, чубчик на ветру.
Раньше, чубчик, я тебя любила,
А теперь забыть я не могу.

Сдвинешь шапку, бывало, на затылок,
Пойдешь гулять и днем и вечерком.
А из-под шапки чубчик так и вьется,
Да так и вьется чубчик на ветру.

Придет зима, настанет лето,
В садах деревья быстро зацветут,
А мне, бедному, бедному мальчонке,
Цепями руки и ноги закуют…
А мне, бе-е-едному, бедному мальчонке,
Цепями руки и ноги закуют.

Ну! Восторг! Все наперебой зовут Петера к своим столикам. Но человечек всех опережал: «Артист очень устал, граждане… нужен отдых… вам развлечение, а ему работа…»

Как я поняла, что человечек переводил немцам смысл песен? Именно по «Чубчику». Нагнувшись к немцу, он что-то шептал. А немец, кивая, трогал себя за волосы и повторял: «Чубчи, чубчи — дас ист гут! Шнапс, битте, Петер, браво! Шнапс!» Часто Петер, немецкий офицер и человечек с аккордеоном уходили из кафе вместе, в обнимку…

А когда Петер входил к нам на кухню — это был праздник. По-моему, в него были влюблены все женщины. Даже Швабра и та вся млела. Петер обладал редким обаянием. От него исходила какая-то сверхъестественная сила. Вокруг него было магическое поле. Я наблюдала за всеми — он всех обезоруживал. У тети Вали готовилось ее чудодейственное перевоплощение: с утра — в платке, бледная; к приходу Петера — прическа, губы, бантики, «туфельки». На груди — кружевной передник, прикрытый сверху клеенчатым. А вдруг зайдет Петер — клеенчатый передник — хоп — и пожалуйста, кружевной. Хо-хо! Шик! И Швабра пошире подрисовывала свой узкий рот помадой. И мама преображалась — она ничего не делала специально, но вся светилась изнутри и хорошела. И я понимала, что она-таки может понравиться…

Ну а я по уши была влюблена в Петера. Он мне даже снился.

С утра я уже считала время, когда же я наконец увижу его. Когда он входил в кухню, я бросала на него отрепетированный перед зеркалом «загадочный» взгляд. Такой взгляд был у Марики Рекк в фильме. Ведь именно после этого взгляда следует поцелуй. Значит, в этом взгляде есть сила.

Для всех у Петера была шутка, доброе слово, анекдот. Меня он трепал по стриженой голове. Ничего обиднее для меня не могло быть. Я резко вырывалась и, чтобы не выдавать себя, начинала кружиться и запевала «под него» «Чубчик». Но и тут меня ждал провал — я до четырнадцати лет сильно шепелявила, а в восемь — особенно. И, как назло, в песне все слова были с шипящими! И получалось: «щубщик, кущерявый». Я опять настойчиво бросала на Петера свой томный, загадочный взгляд — может, с первого раза до него не дошло? Наверное, он не понимает «моего чувства», надо ему помочь. "Что с тобой, киндер? А? Может, тебя кто-то обидел? Ты скажи… Мы его! Ах ты, мой «щубщик, кущерявый». — И, подмигнув женщинам, Петер выходил в зал. Доносилось: «Та чево там! Шмага! Инструмент! Дайте в руки мне гармонь!»..

Я стояла оглушенная. Какой стыд, как больно… Значит, мой взгляд не загадочный, значит, я просто жалка! Меня жалеют, надо мной посмеиваются, а я так люблю! Ночью, в постели, отвернувшись от мамы, я тихо и горько плакала. Я уговаривала себя, что больше никогда не буду никого любить, чтобы так не страдать. «Не любить никого, никогда, ни за что».

Был август 1943 года. Все шло своим чередом. Петер пел свои песни, кричал: «Шмага! Инструмент! Дайте в руки мне гармонь!..»

Все повторяли его «Та чево там», человечек «готовил» аккордеон, собирал деньги в шапочку, переводил немцам то, о чем пел Петер… Кафе процветало вовсю!

… Как обычно, Петер зашел на кухню, был весел, попробовал того-сего, посвистел и как бы невзначай сказал маме: «Скоро в Харькове будут наши, поняла?» И быстро вышел в зал. «Та чево там!..» Его приветствовали, пошла «Черемуха»…

А я ведь все слышала. Я следила за каждым его шагом, ревновала к тете Вале, к маме, даже к Швабре. Дома мама ничего не сказала тете Вале, только: «Валь, знаешь, а странный все-таки этот Петер…» А ведь секретов между ними вроде не было.

Вскоре начались бои за Харьков. Кафе закрылось. Петер исчез. Немцы наспех проводили последние казни.

Среди «партизан» я вдруг увидела того «стертого» человечка… Он был так избит, что узнать его было трудно. Я обратила на него внимание потому, что он стоял чуть в стороне от других приговоренных и был в брюках, а не в белье. Он

смотрел в землю, на груди висела дощечка «Партизан». Петера среди них не было.

На нашей Клочковской, на Бурсацком спуске, на Благовещенском базаре еще долго вспоминали Петера, пели его песни и всем рассказывали, что «вот же как оказалось: этот Петер — ну, такой красивый парень с аккордеоном, и тот, что рядом с ним — ну, в немецкой шапке, на самом деле были советскими разведчиками. Под самым носом у фрицев…»

Немцы, отступая, взорвали Дворец пионеров — главный свой штаб. Но в Харькове пронесся слух, что Дворец взорвали партизаны в тот момент, когда у немцев там было заседание.

«Наверняка Петер, — подумала я, — конечно, Петер, кто же еще…»

ШИПОВНИК

Была у меня до Петера еще одна влюбленность. Но влюбленность другого рода — «братская» или «сестринская»… Была потребность кого-то опекать, постоянно кем-то восхищаться. Маме было не до меня. Жива, здорова, не болею — это главное. А что там у меня внутри — этим никто не интересовался. Маме я была непонятна. А если и понятна, то сильной схожестью с папой, которая ее раздражала. «Оба идиоты», — вырывалось у нее. Я искала себе объект, на который могла бы обрушить шквал чувств. Они мне раздирали душу и рвались наружу. Тетя Валя не выдержала моей любви, мама ей ближе. Мои друзья по базару нашли уже другую девочку. А единственного человека, который меня понимал, интересовался всем во мне и испытывал еще большую, чем я, потребность себя отдавать и заставлять себя любить, — моего папы — со мной не было.

И вот в начале лета 1943 года, а может, и весной я отправилась по улицам в поисках «объекта счастья»! На мне было новое платье — первое платье с тех пор, как началась война. Мама купила на базаре большую кофту из тонкой шерсти — бордовую с мелкими черными полосками. Из нее тетя Валя сшила мне платье к маминому дню рождения. День рождения мамы отметили моим новым платьем. А я сама сделала из папиного довоенного галстука — голубого с желтыми цветочками — три бантика! И пришила их на месте пуговиц. Сразу три бантика! 18 мая 1943 года моей маме исполнилось двадцать шесть лет.

Значит, это было весной. Я шла в новом платье, в старых ботинках по Рымарской, по Бурсацкому, по Клочковской и от счастья, как говорил папа, «света божжага не видела».

Тогда были первые бантики… Ничего с собой не могу поделать и сейчас — вижу платье, не нужное в данный момент, но вдруг замечаю на нем бантик… «Я куплю. Спасибо.» — И заплатив за покупку, не торгуясь, прижимая ее к сердцу, счастливая, бегу скорей домой.

Никого не встретив, но вполне довольная своим видом, я уже подходила к нашему парадному, как вдруг прямо напротив нашего дома, во дворе, увидела просто сказочную картинку. Девочка моего возраста держала в руке красивую деревянную стрелочку с изогнутой рукояткой и бросала мальчику деревянные кружочки-кольца. Он их ловил на такую же стрелочку и опять бросал кольца девочке. Двигались они уверенно, и видно было, что эта игра («серсо») для них привычна.

Кто это? Я вроде всех знаю. Как я могла их просмотреть? Кто

же это? Тихонько перешла улицу и подкралась к кирпичной тумбе. Недавно в этот забор попал снаряд. Доски разнесли на топливо. Остались кирпичные полуразрушенные тумбы. Двор оголился, и с улицы было видно все, что происходило во дворе.

Я стала пристально разглядывать и изучать незнакомую пару. На девочке было легкое розовое платье. Юбка пышная, в сборку. А под ней — еще одна, более темного розового цвета. Рукав фонариком. Пояс завязывался сзади большим бантом. Лицо замечательное! Оно казалось бледно-розовым. Наверное от того, что в косах, завернутых бубликами, были огромные банты — ярко-малиновые! Бублики были продолговатые и все время колотили девочку по плечам. Каждый удар их отдавался у меня в сердце… Все, все! Отпускаю косы. Хватит подчиняться маме! Перестаю стричь голову под машинку. Да еще как стригут… полосами…

Такая красивая девочка. Кто она? Как ее зовут?

Да, еще мальчик. Мальчик в синей матроске, в коротких штанишках, колено аккуратно перебинтовано. Наверное, просто царапина, ведь он же бегает…

Я нахально вошла во двор, хоть все во мне дрожало от волнения. Ну не убьют же они меня, правда? А если не захотят общаться, так не очень-то и хотелось, подумаешь, «паны»… Они меня увидели, продолжали еще бросать свои кольца, но уже более скованно и смущенно, иногда поглядывая в мою сторону.

А потом пошептались и собрались уходить.

— Простите, почему я вас раньше не видела?

— Мы только что переехали. В наш дом попала бомба.

Девочка так тепло и по-дружески это сказала, что у меня прошло волнение и показалось, что я ее знаю очень давно. Вот он, вот он, «объект»! Нашелся совсем рядом. А я ходила далеко от дома, искала.

В это время я услышала женский голос: «Лара! Юра! Я вас жду!» Они вежливо кивнули мне и побежали в дом. Парадное было рядом и я услышала: «Обедать — и мертвый час. Устали, мои маленькие котята». Вот какая мама: «обедать», «котята», «маленькие»… Хоть бы мне так кто-нибудь сказал! А с чего это «мертвый час» среди бела дня? А! Ну да! Как до войны у нас в детском саду… после обеда мы спали. Но тогда мы были маленькими. А сейчас уже восьмой год. Тю!

Лара и Юра были близнецами. Я еще долго пристраивалась к ним во дворе. Потом они пригласили меня в дом. Но сначала я познакомилась с их мамой. Впервые я увидела ее во дворе и была поражена, какая она некрасивая и старая. Я не помню ее отчества. Звали ее Клавдия. Клавдия ходила в очках, сильно уменьшающих

глаза, и все время, без передышки, курила длинные папиросы. Косы такого же цвета, как у Лары, были закручены прямо на ушах, как рога у барана. Однажды утром я увидела, как она заплетала свои косы. Оказалось, что у нее были огромные уши — просто как два больших вареника. Так вот почему она накручивает «барана»…

Их папу я видела всего несколько раз. Он работал где-то у немцев. Возвращался только к комендантскому часу. Он тоже ходил в очках, немолодой, с неприятным голосом. Ну как же у таких старых и некрасивых родителей могут быть чудные дети? Может, ее мама была и не такая старая, но по сравнению с моей мамой… Ведь моей только-только исполнилось двадцать шесть лет, а Клавдии — лет сорок с чем-нибудь.

У них была двухкомнатная квартира с темной передней. В ней готовили обед на примусе. Один раз я предложила Лариной маме принести воды. И пока она не успела отказаться, я схватила ведро — и на ближайшую колонку. А что? Подумаешь, мне нетрудно. Зато ближе познакомлюсь с такой интересной семьей.

И познакомилась. У них было все: и большой стол со множеством стульев, и зеркальный диван с валиками, и большой фикус, и, главное, черное пианино! Люди, имеющие фикус и пианино, считались богатыми. А мне они казались самыми счастливыми на свете.

В углу, за большим диваном, — детский уголок. До войны мне папа тоже покупал игрушки. Но таких у меня не было. Это была нормальная жилая комната, только игрушечная. Посередине столик, а вокруг чинно сидели в своих креслах куклы и мишки разной величины. Стоял настоящий гардероб с зеркальцем. На диванчике сидел целлулоидный пупс в сарафане. А на деревянной кровати, покрытой желтым кружевным покрывалом, возлежала кукла с закрывающимися глазами. Таких игрушек я не видела больше никогда! Что-то внутри куклы испортилось, и если раньше она кричала «а-а-а» после каждого переворота вниз головой, то теперь только через два на третий. В руки игрушки брать не разрешалось. Все можно было смотреть на расстоянии. Куклу очень редко «демонстрировала» сама Клавдия.

Мое единственное платье с бантиками мама носить каждый день не разрешала. Платье только «на выход»! А куда выходить? Мы «выходили» лишь на базар. Платье «на выход», шаровары «на вырост». Вот я и ходила в жару все в тех же шароварах и курточке на «молнии», которую мне перешили из немецкого байкового серого халата. А молнию заклинило навеки. Я каждое утро, сцепив зубы от обиды, с трудом просовывала голову в узкий ворот. Да еще шаровары на веревке… Резинки уже давно

кончились. Нужно было уметь виртуозно завязывать узел на шароварах, а то в экстренней момент его могло так «заесть», что о последствиях лучше и не думать. Тут же сразу перекошенное лицо мамы: «Какой позор! Все дети как дети, а ты…» А что у меня все на веревках, а у других детей, как у Лары, все на резиночках, да еще с кружавчиками, — попробуй ей скажи. «Дети как дети…» Пусть Лара попробует так завязать узел!

Руки у меня вечно были в ссадинах и подозрительных розовых пятнах. Я их постоянно прятала за спину или в карманы. Так что ничего удивительного или обидного не было в том, что Клавдия не разрешала мне трогать игрушки. Даже лучше, пусть трогает сама, а я буду смотреть. Зато пальцем надавлю клавиши пианино и, оглянувшись, быстренько его закрою. Вот интересно!…

А вторая комната была детской. Их дом стоял на самом крутом месте нашего переулка, на «горбе», и для того чтобы войти в детскую, надо было опуститься на три ступеньки вниз. Так необычно! Мне очень нравилось. Детская была неудобной, продолговатой, как школьный пенал. Одна кровать с никелированными спинками справа от окна, другая — точно такая же — слева. У каждого двухэтажная белая тумбочка, у каждого свой коврик на стене и перед кроватью. Вся мебель и стены белого цвета.

Я влюбилась в этот дом, во все белое, во все чистое, в Лару; сильно переживала, когда Лара и Юра дрались. Ну зачем они снова сцепились, им ведь так хорошо…

Дома я долго разглядывала себя в зеркало. Намочив водой чубчик, я укладывала его то в одну, то в другую сторону. Я фантазировала: в конце концов когда-то волосы вырастут, можно будет их подкрасить, как это делает тетя Валя, и тогда они будут, как у Лары. Мне так хотелось походить на нее! И уж совсем втайне я мечтала о том, что если у меня будут дети, когда я вырасту, я их обязательно назову Юра и Лара. И хорошо, если бы они были тоже близнецами. «Отмучиться» — так сразу!

Мама как-то жаловалась тете Вале, что роды — это мучение, что она не хотела иметь ребенка, что это Марк заставил, что она хотела учиться, а он… Вот так. Если бы не мой. папочка, меня бы сейчас и на свете не было.

Клавдия говорила, что, как только Ларочка подрастет, она обязательно будет учиться музыке. «Играть на рояле для девочки необходимо. Это красиво и благородно». Ларочка нечисто пела и играла «собачий вальс». Но мне нравилось. Мне все в ней нравилось.

Я так старалась «быть на уровне», так следила за собой,

чтобы, не дай бог, не вырвалось одно из моих «словечек». Тогда мне запретят дружить с Ларой. Я готова была носить воду, мыть посуду, выносить мусор, лишь бы смотреть на Лару, на игрушечную комнату, слушать «собачий вальс»… Близнецы были старше меня на полгода, но мне они казались маленькими детьми… Действительно, «маленькие котята». И мне нужно было их «опекать»! Постепенно я теряла свою индивидуальность.

И один раз я сказала, что слышала, как "вы Клавдия, напевали «Осень», и если вам нравится… это моя мама тоже любит… можно ли, я спою для вас «Осень»?

— С удовольствием послушаю тебя, голубушка…

Из всего моего репертуара «Осень» — самое подходящее, что прозвучало бы достойно в этом доме. Меня прорвало! Как будто джина выпустили из бутылки! Я пела «Осень» с разнообразными оттенками осенней уходящей любви. «Глаза распростерты», руки за спиной. Все, как говорил папа, — «дую свое и ни на кого не обращаю внимания…».

Клавдия смотрела на меня с нескрываемым интересом. Она первый раз так смотрела, будто раньше и не видела меня. Это я заметила и еще изощреннее модулировала голосом.

Когда я спела, лицо Клавдии сразу приняло прежнее бесстрастное выражение. А Лара вдруг расплакалась. Это было так неожиданно и непонятно, что я сделала? Чем я могла ее обидеть?

— Доченька, котеночек, не плачь. Ты тоже скоро будешь учиться играть и тоже будешь петь…

Ах, вот в чем дело! Ну конечно! Я ведь ее могу научить многим-многим песням…

— Ларочка! Я тебя научу петь, не плачь. Я знаю такие песни… Столько!

Пришел с работы их папа.

— Почему плачет Лариса?

Клавдия быстро его отвела в сторону, что-то зашептала, но он еще более громким, ледяным тоном продолжал:

— Я же вас просил не пускать в дом посторонних. Я этого терпеть не могу. Я вас просил.

Меня он видел второй раз. Но было ясно, что еще тогда, с первого раза он запретил меня пускать в дом. Было неловко. Все смотрели в пол. Я ушла.

Я понимала, что это плохой отец. Разве бы мой папа так сделал? Разве он мог обидеть ребенка, девочку? Он бы согрел, накормил… ой, да что об этом говорить, это ведь мой папа!

А Лара хорошая. И я ее обязательно научу петь. И мама у нее неплохая. Ведь у нее глаза сияли, когда я пела. Но я решила

какое-то время к ним не ходить. «Надо людям дать передых».

Вскоре около моего дома меня поджидал Юра. Он сообщил, что у них с Ларой день рождения. Они меня приглашают. «Только мама просила тебя прийти пораньше». Все-таки я молодец! Терпение — великое дело! Значит, они меня любят. Значит, я им нужна.

Теперь — что надеть? Ну, надеть надо платье с бантиками. А вот на голове у меня будет точно такой же малиновый бант из парашютного шелка, как у Лары. А что подарить? Я обшарила всю нашу квартиру, перерыла все ящики с тряпками — ничего нет! Можно попросить у тети Вали перо или веер… Но, во-первых, она не даст, а во-вторых, зачем он Ларе и Юре? Они же не собираются быть артистами.

И тут я увидела, как мы шли с папой и мамой по желтой песочной дорожке, а вокруг много-много цветов… Это было перед войной. Но где? Мы тогда гуляли в Ботаническом саду. Он идет параллельно Клочковской и вниз от сада Шевченко. Папа восхищался цветами, мечтал о собственных розах, о земельке. Он бы выращивал виноград и делал свое вино… а еще лучше бы развести пчел! Папа всегда мечтал по-крупному. А мама напевала песню, которую она с публикой пела на массовках. Папа «приставал» к маме, а она как бы отталкивала его… А сама то и дело с удовольствием к нему прижималась.

Я за ними наблюдала и слушала мамину песню:

В путь-дорожку дальнюю
Я тебя отправлю.
Упадет на яблоньку спелый свет зари.
Эх! Подари мне, сокол,
На прощанье саблю,
Вместе с острой саблей
Пику подари.

Я вслушивалась в слова песни. Я представляла себе, как сокол — «чернявый красавец» из папиной сказки — снимает с себя сначала саблю, потом пику, все оружие отдает своей невесте. И вот так, без всего, едет воевать. А невеста, с острой саблей и пикой, ждет дома жениха с войны.

— Папусик, зачем он ей дарит саблю? Лучше бы подарил кольцо «усе у драгоценных каменнях».

Пока папа соображал, что мне ответить, мама как рассмеется.

Она всегда папе объясняла: про что фильм, хотя смотрели они его вместе, о чем говорили по радио, хоть слушали

одновременно, что пишут в газетах, потому что мама быстро их прочитывала — «блысь, и вже усе знаить». Мама всегда опережала папу, и ему это не очень нравилось. Хотя втайне он ею гордился. «Не-е, она девка чуковная. Когда захочить, усе зможить. Тока лежень большой».

— А, действительно, Марк! Какой идиотизм! Спрашивается, с чем же он поедет воевать, если все оружие невесте подарил? Хорош соколик! Хи-хи-хи…

— Да-а… Так ета ж мыя дочурочка разоблачила. Такой ляпсус у песни нашла. Во ребеныk! — Самое главное, чтобы последнее слово было за ним.

Я часто во время войны видела эту нашу прогулку по Ботаническому саду; слышала запах цветов… И когда в «Осени» я пою:

Наш уголок нам никогда не тесен,
Когда ты в нем, то в нем цветет весна.
Не уходи, еще не спето столько песен,
Еще звенит в гитаре каждая струна… —

я представляю нас троих на желтой песчаной дорожке, а вокруг много-много цветов. И весна!

Рано утром я отправилась в тот Ботанический сад за цветами. Наверное, это и есть детство: город разрушен, а Ботанический сад так и должен благоухать розами и сиренью. Когда я добежала до сада, мне показалось, что я попала совсем не туда. Вся территория была изрыта окопами, траншеями, рвами и лунками от бомб и снарядов. Всюду валялись осколки, каски, колеса, дула орудий, патроны…

Одни патроны мне очень понравились. Я давно их заприметила. Длинные, с зелеными, малиновыми и желтыми головками. Если цветную головку обвязать платочком, то получится матрешка.

Но сейчас мне нужны были цветы. Только их нигде не было. Одна зелень, одни уродливые кусты. Я обошла чудом уцелевший красный кирпичный дом — бывший административный корпус сада, а может, лабораторию, и увидела около ограды куст шиповника с еще сохранившимися розовыми цветочками. Искололась, но обобрала весь куст — до единого цветочка! Дома поставила цветы в ведро. Мамы, к счастью, не было — и к Ларе и Юре.

Они еще спали. Клавдия суетилась в прихожей около керосинки. Задумывался фруктовый торт. Я принесла воду,

почистила яблоки. Потом проснулись дети. На тумбочках их ждали подарки, обвязанные ленточками. Но было решено развернуть сюрпризы при гостях, к двум часам. Все таинственно, загадочно, все так ново и интересно…

Я к ним относилась так искренне и преданно, что ни разу ничего у них не попросила, ничего не украла, хотя очень хотелось и попросить, и было что украсть… Нет! Нет, и все!

Клавдия пошла приводить себя в порядок. Лара и Юра, с бантами на груди, расставляли на столе тарелки, раскладывали по две вилки, по два ножа и по одной большой ложке поперек тарелок. Каждому по бокалу и по салфетке, продернутой через колечко. У нас в доме такого никогда не было. Я все «мотала на ус». Когда вырасту и буду зарабатывать деньги, обязательно папочку буду кормить за столом вот так красиво — с салфетками, бокалами, колечками.

Я тоже побежала домой. Быстро помыла руки, ноги, надела платье с бантиками. Заскочила к тете Вале. Она завязала мне малиновый бант прямо надо лбом — там были самые длинные волосы, и он крепко «сидел». Когда тетя Валя отвернулась, я быстренько попудрилась ее голубой пуховкой. Взяла букет шиповника и осторожно понесла его через дорогу, чтобы не осыпался. Первый раз в жизни я шла к кому-то на день рождения!

Уже в парадном я почувствовала, что все в сборе, так как услышала голоса и дружный одобрительный смех. Ясно, Клавдия демонстрирует куклу с закрывающимися глазами. Потом я зашла в темную переднюю. Кто-то на пианино играл чудесный вальс. Потом я его узнала… После войны, когда папа этот вальс разучивал.

Я стояла с букетом, в красивом платье, с бантом на голове. Я была счастливая, была уверена, что сегодня «выделюсь», буду петь, всем понравлюсь…

— Молодец, Сереженька, умница! А теперь для меня «Жаворонка» Глинки, пожалуйста!

Мне хотелось посмотреть на Сереженьку, и я заглянула в комнату. Из гостей было двое взрослых, мальчик лет десяти и «Сереженька» — детина лет четырнадцати. Целый Сергей, а не «Сереженька».

Клавдия меня увидела, вскочила и быстро вышла в переднюю, закрыв за собой дверь.

— Какая умница, детка, что пришла…

— А как же! У Лары такой праздник!

— Это нам? — Она взяла букет, поморщившись. — Ай-ай-ай, какие колючие… Зачем же столько, деточка?.. — И тут же положила цветы на кухонный стол. Она похвалила «мой вид» и

попросила немного ее «здесь подождать».

Клавдия говорила со мной так, будто мы с ней сегодня не виделись. Вот стоит ведро воды… Я его сама принесла — сегодня. Я ничего не понимала, только подкатывало чувство чего-то недоброго. Вошла Клавдия и опять прикрыла за собой дверь. В комнате было тихо.

В руках у нее была тарелка с яблочным тортом, нож и вилка. Она поставила тарелку на стол, отодвинула букет шиповника, потрепала меня по затылку. Я кивала, улыбалась, а когда увидела нож и вилку, сказала, что могу торт съесть и руками: «Зря вы беспокоитесь». Она вышла к гостям. В передней было темно. Свет шел сверху, из окна в комнате. Я сидела, смотрела в стену и ничего не видела. Даже запаха торта не чувствовала. Обыкновенный пирог. Я вышла… не плакала… все омертвело…

«Тогда» начиналось то, чего я боюсь и сейчас. Все неестественное и фальшивое, вежливые и красивые слова, в которых нет правды и к которым не придерешься, — эти слова расточают каждому, ничего не чувствуя, пока от тебя есть польза, — это все не мое. Я это ненавижу. Если потом на улице я встречала кого-то из этой семьи, то проходила мимо. А они вежливо кивали, здоровались… А потом перестали.

Так случилось, что мы с Ларой учились в одной музыкальной школе, только у разных педагогов. Но уже тогда, в четырнадцать лет, я точно знала, что «научить» петь и играть — невозможно. А «божий дар»?

КУКОЛКИ

Мои «влюбленности» в конечном счете приносили мне только боль. «Надо научиться всегда быть одной, и тогда не придется мучиться и разочаровываться» — так я себе внушала. И на первых порах от этого решения было легко и все получалось. Но только на первых порах. А потом… Проходило время, и я опять не могла жить без людей, без отдачи, без «влюбленности». За это время накапливались силы для любви. И «объект» находился сам собой.

Весной и летом я всегда душевно болею больше, чем зимой. Зимой холодно. Я мерзну. А весной выходишь в мир — солнце, зелень, тепло. И почему-то заливает беспричинная радость. Все вокруг и ты сама насквозь пронизаны фантазией и оптимизмом. И все это обрушивается на «объект», хочешь с ним разделить все это, а «объект» или не понимает тебя, или бессилен выдержать то, что ты ему предлагаешь. Или у него просто другая «группа крови»…

И когда я — в который уже раз! — вновь оставалась на мели, сидела и горько переживала свое очередное поражение. («Все! Это уже точно все! Не-ет, теперь-то это точно конец…»), мой папа плакал со мной и утешал: «Не, дочурочка, не выйдить в тибя, по себе знаю, усе вже знаю… Не выйдить… У нас у деревни гаварять: „Зарекалася ворона г…но клювать…“ От так, детка моя…»

Но если делать сознательный отсчет этой моей перманентной боли, то все началось тогда — летом 1943 года. Те дни, те недели я не вспоминаю, а «ощущаю», как при мысли о травме ощущаешь вдруг физическую боль и страх, что это может повториться.

Теперь я знаю, что такое физическая травма.

В 1976 году, четырнадцатого июня, я стояла на льду, на коньках — на съемке… На съемке! Я была так счастлива, снимаюсь в музыкальной картине и играю параллельно острую драматическую роль, об этом я мечтала. Кончилось, кончилось долгое и изнуряющее время простоя. Работа! Я тебя дождалась, здравствуй! Папочка, дорогой! Как бы ты был счастлив, если бы дождался вместе со мной! Мне так сейчас хорошо, это — почти состояние эйфории. Да, точно — эйфория от счастья.

«Эйфория» кончилась в секунду. Цирковой клоун шутил на льду, упал мне на ногу, и она сломалась. Просто и быстро.

Кажется, что могут умереть все, но не ты. Человек попал в катастрофу, а я — нет, я не попаду…

И моральная травма, и физическая очень похожи. Обе хочешь забыть поскорее, как тяжелый сон. Обе вынуждают вести себя и

жить по-другому. Обе оставляют рубцы. Обе заставляют постоянно задавать себе вопрос: «болит или не болит?», «прошло или не прошло?» И обе, нанося поражение, удар, потом, впоследствии, приносят победу. Травмы заставляют тебя пережить наивысший пик трагедии и счастья! И когда в роли есть хоть намек на подобное — тебе все ясно, потому что у тебя такой «потолок», такой запас перенесенного!

Можно прожить на экране драму, трагедию человека только тогда, когда ты сам пережил в жизни что-то похожее, хоть приблизительно. Рассказать об этом нельзя. То есть рассказать как раз можно, но научиться этому нельзя. Тогда можно «сыграть», но не «прожить». А «играть» — нельзя. Стыдно.

… Тогда, в детстве, я металась со своей травмой. Я еще долго не знала этого загадочного и красивого слова — «травма». Тогда чаще употребляли прозаическое слово — «горе». После «букета шиповника» я помню свое состояние, но сформулировать его могу только сейчас. Это ощущение физической боли в сердце, напрасной затраты душевного порыва, своей ненужности я должна была уладить в себе, найти утешение своими словами. Обязательно!

Я ходила по городу, по излюбленным и изученным развалинам и старалась ни с кем не знакомиться, не общаться. Зашла я и в Ботанический сад. Специально зашла. Чтобы проверить — «болит или не болит», «прошло или не прошло». Еще не прошло… Я бесстрашно смотрела на куст шиповника. На нем не было ни одного цветка! «До свадьбы заживеть, дочурка моя дорогенькая».

Я набрала в карман самых красивых патронов и отправилась домой. Мама с тетей Валей с утра ушли на работу в кафе.

Все, что мама приносила с базара, мы раскладывали на широком мраморном подоконнике и на железной печке, если она не топилась. Свои «игрушки» я тоже расставила на печке. Огрызком карандаша для бровей, который для мамы «оторвала от себя» тетя Валя, я нарисовала глаза, нос и рот на разноцветных головках этих патронов. Каждую обвязала тряпочкой, как платочком. У меня получилось сразу десять кукол. Я расставила их по цветам, как близнецов. Впереди стояли малиновые близнецы — самые красивые. И всем дала имена.

Я с ними возилась целый день. А потом пришла мама с тетей Валей. Когда мама увидела у меня кукол… на плите! Что было! Вначале, тут же, по инерции, удар по физиономии. А потом… И что я хочу взорвать квартиру, и что я использовала весь ее карандаш — где теперь такой достанешь! И, конечно, какая она несчастная, что я такая же, как он, — все тяну из мусорника в

дом. Потом включилась тетя Валя.

— Доця! Ты что, в самом деле? Ты же уже большая! Эти патроны стреляют, и мы можем все погибнуть, доця! Леля! Ты права. Дети — это же тихий ужас! Пусть лучше она ходит с нами… Нет! Новое дело! Это же кому сказать… Товарищи! Приходим домой, а тут остался один пшик…

Куколок своих я вынесла в развалины, поставила их в ряд и с каждой из них попрощалась. Это были трассирующие пули.

За куколок я стояла в углу на коленях — там меня часто забывали. Вначале это наказание казалось обидным и унизительным. А потом я его нашла интересным, даже стремилась к нему. А что? Стоишь себе, смотришь в угол. Колупаешь ногтем стенку. Никто тебя не шпыняет. Ты не лезешь, и к тебе не лезут. И обида постепенно отходит, становится легче. В голову приходят всякие фантазии, видишь разные светлые довоенные «картинки». И когда уже о тебе вспомнили, и пора вставать — с большой неохотой расстаешься со своим особым миром. И приходится изображать на лице обиду, а то моя «зоркая мама» сразу поймет, что стояние в углу — не самое плохое наказание. И, не дай бог, заменит его на что-нибудь новенькое…

Когда моей дочке Маше приходилось стоять в углу, я украдкой за ней наблюдала. Она совсем на меня не похожа. Ни характером, ни внешностью. Она любит петь, но поет нечисто. Удивительно пластична, прекрасное чувство ритма, а поет нечисто! Ну неужели ничего «моего» нет? Не может так быть, так не бывает.

Точно. Когда она стояла в углу, я с удовлетворением замечала знакомые проявления: мой ребенок, счастливый, что его оставили в покое, стоит себе в углу на коленях, колупает стенку ногтем. А через некоторое время из угла даже доносится робкое:

«Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо; пусть всегда будет мама…»

Я не пела. Она явно пошла дальше меня. Вот жалко только, что поет нечисто…

ПЕНИЦИЛЛИН

Опять бои, опять пожары, опять орудийная перестрелка, опять бомбежки… Опять немцы отступают и взрывают все, что невозможно забрать с собой. И опять наготове: с мешками, ведрами и корзинами жители города — все, кто вынес голод, холод, расстрелы, казни, облавы и душегубки.

Тетя Валя выведала, что неподалеку у немцев есть медицинский склад.

— Леля! Представляешь… мы с тобой приносим ящик пенициллина! Ты подумай, как его можно выгодно продать… Леля! Идем. Это самое выгодное дело сейчас.

Слово «пенициллин» только-только появилось на базаре. Раньше — «сахарин, сахарин», а теперь — «пенициллин». Он попадал на базар через немецких солдат, которые тихонько продавали его из своих походных аптечек. На базаре говорили, что «пенициллин» — «это тебе не стрептоцид». Это волшебное средство. Помажешь, и рана прямо на глазах затягивается, выпьешь — туберкулез как рукой снимает. И клялись покупателям, что все это видели собственными глазами.

И мама с тетей Валей пошли в поход за пенициллином. Они ушли вечером. Из окна я видела, как они скрылись в темноте по направлению к Клочковской.

Над городом облака дыма, гари и пыли, безостановочная орудийная пальба. Город дышит огнем и дымом, как живой. Непонятно, откуда и куда стреляют, где наши, где немцы. Нет комендантского часа, и впервые вечером на улице люди. Неразбериха, друг друга не слышно, нужно очень сильно кричать, перекрикивать грохот артиллерии, и все это не пять-десять минут, а бесконечно. И если сейчас перенести себя в ту горящую лаву — то ужас берет, когда представишь, как две маленькие хрупкие женщины бесстрашно пошли в ад за пенициллином.

Они не возвращались очень долго. Ждать их было тяжело и мучительно. Постепенно сковывал страх. В голове роились страшные мысли, перед глазами вставали страшные видения. Вот идет мама с поднятыми руками к виселице… Вот меня отдают в приют для сирот, а папа вернулся с фронта и меня ищет, а я его жду и жду…

Я закрываю окна, несмотря на жару и дым. Оттого, что окна почти всюду забиты фанерой, в комнате темно. От взрывов сотрясается весь дом, как избушка на курьих ножках. Прыгают кровать с шариками, диван и железная печка с обломанной трубой.

Я уже не могу сдержаться и плачу тихо, чтобы не слышать своего голоса, и прошу у мамы прощения. Она мне теперь кажется такой доброй, такой смелой, такой красивой, самой лучшей на свете! «Только бы она осталась жива. Только бы она ко мне вернулась, моя мамочка!» — обращаюсь я к какой-то сверхъестественной силе. Есть же на свете сила, у которой можно попросить спасения моей мамы. «Я ведь не буду больше никогда обманывать. Никогда! Ну, честное слово!»

Вернулись они под утро. Обе обгорели, платья висели клочьями, руки и лица в ссадинах, носы черные, как у кочегаров. Притащили большой ящик. Они были такие возбужденные, как будто вернулись после дня рождения навеселе, подсмеивались друг над другом. «Хохочут себе… а я тут с ума из-за них сходила, плакала. Ей на это наплевать». И опять я постепенно наливалась обидой на маму.

— Леля! Если это действительно тот пенициллин, то мы с тобой обеспечены до конца войны. Аллес нормалес, хо-хо!

«Ага, голубушки, вы еще даже не знаете, что и приволокли…» Я подошла к ящику и попробовала его поднять.

— Доця! Не лезь! А вдруг там что-нибудь взорвется?

— А вы же несли! У вас же не взорвалось…

— Доця! Никогда не сравнивай себя с нами. Ты ребенок! И должна знать свое место… ясно?

Вот уже и тетя Валя заговорила мамиными словами. Они еще похохотали, а потом папиными инструментами стали открывать ящик. Лично мне этот ящик с пенициллином ничего хорошего не обещал. Поесть там нечего, а что они заработают потом — так это же будет потом… Я лежала на кровати и с интересом наблюдала за мамой и тетей Валей. Они сняли с ящика крышку, убрали сначала одну плотную бумагу, потом вторую — прозрачную, шуршащую. Сколько раз уже на этом месте происходила точно такая же сцена, и всегда у них трясутся руки и слышно прерывистое дыхание, и глупые нервные реплики: «Осторожнее», «Не так! Дай я», «Хо-хо!», «Кажется, я знаю, что здесь»…

А потом они стали вынимать четырехугольные пачки желтого и голубого цвета.

— Нет, Валь, это не то. Ты посмотри на дне, дай я…

— Да нет ничего, Леля! Тут одна бумага…

Мама вынула из пачки небольшую бумажную салфетку. На ней были оттиснуты крестики и кружочки.

— А где же пенициллин? — медленно и драматично произнесла тетя Валя. А мама как рассмеется. Как бывало еще при папе. Аж жутко становится от ее смеха.

— Валь, ха-ха-ха-ха, Валь. Не поняла, ха-ха-ха-ха. А я поняла,

ха-ха-ха… Это… Это… Ох, прости душу грешную! Фух! Это… туалетная бумага. Что, немцы пенициллин тебе оставят, а бумагу повезут с собой? Фух…

Кончился у обеих этот истерический смех, это неестественное веселье. Мама затихла и начала плакать. Она плакала редко. Мне было не по себе, когда я видела ее слезы. Я не знала тогда, что мне делать…

Папа плакал очень часто. Трогательно, любил, чтобы его утешали и жалели. Он никогда не скрывал своих слез и не стеснялся их. Плакал открыто и без подготовки. Плакал сразу и так же сразу успокаивался. Он быстро переключал свое внимание на что-то другое. Через десять минут и не поверишь, что этот жизнерадостный человек только что горько плакал. В его глазах начинали светиться игривые искры, он шутил, хорошея и расцветая, глядя на «ухажерок». И готов был к встрече с «кровенными».

Мама плакала одна, она не любила, если к ней подходили с утешением, становилась всегда злой и холодной. Я себя в таких случаях чувствовала лишней и пережидала этот момент.

В этот раз мама плакала не стесняясь. Даже не ушла в другую комнату.

А тетя Валя, чтобы не заплакать вслед за мамой и чтобы себя хоть чем-то утешить, перебирала эти пачки с салфетками, рассуждала о том, что «они, наверное, предназначались для высшего командования, наверное, для генералов — ведь простому солдату такую салфетку не дадут…» Потом взяла себе несколько пачек и поплелась в свою комнату с ангелами, перьями, актерами из немого кино…

Салфетки по своему прямому назначению мы не употребили. Я с удовольствием держала в руках цветные бумажки. Тетя Валя ими очень красиво украсила свои многочисленные полочки, положила под каждый флакончик голубую или желтую салфетку.

А мама долго ничего не могла придумать. Мы пробовали и есть на них, но салфетки были такие нежные и тонкие… Когда мама на них смотрела, у нее всегда портилось настроение. А потом она все их отнесла тете Вале.

Через день после этого «пенициллинового похода» немцы навсегда покинули Харьков. 23 августа 1943 года в наш город пришла Красная Армия. Начиналась новая жизнь!

НОВАЯ ЖИЗНЬ

Это была совершенно другая армия. Не верилось, что за полгода может произойти такое перерождение. По нашей Клочковской к центру города опять шли войска. Наша Красная Армия! Да… Вот это армия! Танки, машины, солдаты в новой форме с иголочки, в скрипучих сапогах. Это вам не валенки по мокрому снегу «хлюп-хлюп», как тогда в феврале. Взрослые говорили, что это наши новые «моторизованные части».

В августе акация не цветет, но второе освобождение Харькова у меня почему-то связано с вкусом и запахом акации. Отовсюду жители несли солдатам большие букеты розовой и белой акации. В Харькове ее очень много.

Она сладкая, особенно розовая. Я знаю. Когда хотелось есть, прекрасно «шла» и акация.

Солнце и запах акации стояли над нашим освобожденным городом. Мне посчастливилось доехать на танке аж до площади Тевелева, прямо на пушке!

Теперь уже никогда не будет комендантского часа, не будут никого казнить, люди перестанут бояться друг друга, теперь погнали немцев! И я скоро пойду в школу и буду учиться! А главное — теперь мой папа сможет нам наконец-то прислать письмо. Ведь теперь вся страна будет знать, что Харьков освобожден!

1 сентября 1943 года я пошла в школу. Ровно за неделю школу почистили, помыли, сформировали классы. Парт не было, досок не было, книжек и тетрадей не было, мела не было, а учеба началась!

Это была украинская школа. Ближайшая русская школа находилась от нас за четыре квартала. А эта, N 6, — во дворе, прямо под балконом. И мы с мамой решили, что я буду учиться в украинской. Все предметы велись на украинском языке. На первых порах я вообще ничего не понимала, что говорит учительница. Многие украинские слова вызывали в классе дружный смех. А потом, со временем, мы разобрались и полюбили этот язык. Требования и правила в школах тогда еще были нестрогими. И уроки я готовила очень редко или вообще не готовила.

Моя мама устроилась в кинотеатр имени Дзержинского работать ведущей «джаз-оркестра», который играл публике перед сеансом. И я после школы — в кино. С собой приводила полкласса. Фильмов было мало. Их так подолгу крутили, что, бывало, один и тот же фильм мы смотрели раз по пятьдесят!

Сколько раз я видела фильм «Аринка», «Иван Грозный», «Истребители», «Два бойца» и, конечно, «Большой вальс»! Вот откуда тетя Валя напевала свои вальсы.

Я знала не только песни из всех этих фильмов, не только все диалоги, от «гм» до «апчхи», — я знала всю закадровую музыку. Она ночами звучала в ушах. Я ворочалась, я не могла заснуть. Ну как можно спать после «Большого вальса»?

Первый раз после этого фильма я поняла, что мама была права, когда говорила папе, что «Люся девочка некрасивая». Да, она права. Все так. Карла Доннер мне показалась такой чудесной! Я поняла несовместимость своих «полетов» и реального отражения в зеркале. На время я даже перестала подходить к нашему «волнистому» зеркалу. Мне было достаточно того, что у меня все пело внутри. Я переносилась в атмосферу вальса, оркестра, скрипок, я была влюблена в «красивого чернявого орла» Штрауса, танцевала с ним в белой шляпе и пела высоким голосом Карлы Доннер.

На уроках класс хохотал, а потом все дружно замирали, глядя на меня. Я просыпалась. «Что случилось? Почему смотрят на меня?» Доносился голос учительницы: «Гурченко! А ну выйдить из класу. Там у коридори соби и доспиваетэ. Шо воно такэ? Стрыбае, спивае…» Я пела… А я и не почувствовала.

И где-то в душе таилась надежда, что еще что-то со мной произойдет, я еще изменюсь, похорошею. Ведь я еще не такая большая. Я не буду такой красивой, как Карла Доннер. Это уж точно. Но я буду красивой, обязательно. По-своему.

Дома меня вообще теперь не бывало. Ведь началась новая жизнь. Нет немцев. Никого не боюсь. Я должна была «схватить» все радости. И кино, и джаз-оркестр, и нужно уже выступать самой. Пора! Но где? Самодеятельности в школе еще не было. А меня распирало, подхлестывало, особенно после очередного фильма. Люди работают, а я гибну, пропадаю. Проходит же время…

Большой госпиталь расположился на Рымарской в помещении бывшего монастыря. Этот монастырь давно уже был мной изучен вдоль и поперек. Знала я здесь все выходы и входы. У меня даже сохранились монастырские трофеи: бронзовая тесьма с кисточками — я ее надевала на лоб, когда танцевала индийский танец из кинофильма «Индийская гробница».

Я пробралась в госпиталь, и очень скоро не могла жить, если после школы на часок не забегу в «свои» палаты. Меня ждали раненые. Я им пела, рассказывала о том, что происходило в городе, выполняла мелкие поручения, веселила их. Самое главное — знать вкусы, желания и мечты «своей публики». Мои раненые

любили песни патриотические, о любви, шуточные. Так я и строила свой репертуар. Меня совершенно не смущало то, что не было аккомпанемента. Да я привыкла без него! Шли в ход руки, ноги, глаза, плечи. Вот где работала фантазия!

Большим успехом пользовалась песня о ленинградском рабочем-гармонисте:

В бою навылет раненный
Скомандовал «Вперед!»..

Потихоньку из соседних келий-палат выходили раненые, вслушивались в песню, вглядывались в меня. А я пела и видела своего папу-гармониста на фронте с баяном… Нянечки и сестры с грелками и бинтами тоже останавливались — все смотрели и слушали. Середины песни не помню. Но в конце кто-то спрашивает у героя-гармониста: «Откуда ты, отчаянный? — он ласково спросил».

И с беспредельной гордостью
Ответил гармонист:
"С Васильевского острова.
С завода «Металлист».

Плакали раненые, плакали старенькие нянечки… Но больше всех в песне нуждались те, кто был ранен тяжело. В эти особые палаты входить не позволялось. Только если разрешит врач или позовет сама сестра. Войдешь в такую палату — коек мало; особенно тихо, особенно чисто, всегда цветы. Все молчат. И я молчу, боюсь нарушить эту тишину. А потом откуда-то из бинтов еле слышное: «Девочка, что-нибудь боевое спой…» — «Сейчас спою…»

Ордена недаром
Да нам страна вручила,
Помнит это каждый наш боец…

В палату для выздоравливающих я иногда, чтобы их взбодрить, входила с криком: «Та чево там!» Как Петер. Тоже имела успех. Сначала все вздрагивали, а потом смеялись и тут же подхватывали веселую интонацию, по которой соскучились.

И шли песни о любви:

Ах, Нина-Нинощка,
Моя блондинощка,
Подруга юности, ты вспомни обо мне…
Моя любимая, незаменимая,
Подруга нежная,
Товарищ по войне…

О любви я пела и шепелявила с особенным подъемом. О любви я знала наибольшее количество песен. Иногда, в разгар исполнения, какой-нибудь молодой раненый как бы невзначай бросал мне вопрос:

— У тебя мама есть?

— Есть.

— А сколько ей лет?

— Ей? Сейчас скажу. По-моему, двадцать четыре года… — специально врала я.

— Ух ты, какая молодая. Ты ее приведи, а?

— Ясно. Я с ней поговорю…

Бедная моя мама! Если бы она все это знала…

Популярны были песни о любви матери к сыну. Их просили спеть самые молодые раненые, почти мальчики. Те, у которых еще не было невест.

В конце могли идти и «Чубчик», и «Бирюзовые, золоты колечики»… Я пела все, что просили. Я хотела, чтобы все улыбались и были счастливыми. И в самом конце моего выступления уже можно было позволить себе все: и «Та чево там!», и спеть что-нибудь такое залихватское, чтобы вставить в финале папину «чечеточку» и мое эффектное, убивающее наповал «х-х-ха!!».

После выступления меня одаривали и раненые и нянечки чем-нибудь вкусным. С едой по-прежнему было очень тяжело.

Я шла домой усталая. Мне нравилось уставать от выступлений. Я чувствовала себя актрисой, которая всю себя отдает людям, без остатка, «Только так можно жить. Только так!»

Успех был, что там говорить. Надо смотреть правде в глаза, чего уж…

ВЫСШЕЕ ЧУВСТВО

Новое неосознанное чувство начинало во мне рождаться именно тогда, в годы войны, когда я пела в госпитале. Я точно знала, что это чувство связано со словом «любовь». Это — любовь. Но к чему? К кому? Номером один для меня была любовь к папе. Для нее — самое большое место в сердце. Она не может смешиваться ни с какой другой любовью.

Любовь номер два — к музыке, к кино, к профессии. А какая же еще любовь? Мои увлечения мальчиками и подружками? Нет, это не то… Это новое чувство начинало вытеснять постепенно все остальные и становиться в один ряд с любовью к папе. А потом я уже не могла понять, где «любовь к папе», а где «это»? Что же это за мучительное чувство? Но почему же, когда я пою:

И с беспредельной гордостью
Ответил гармонист:
"С Васильевского острова,
С завода «Металлист»
С завода «Ме-е-е-таллист!» —

я плачу и ставлю себя на место гармониста, и уже сама переполняюсь беспредельной гордостью?

Почему, когда я пою:

Любимый город может спать спокойно,
И видеть сны, и зеленеть среди весны… —

я хочу любимому измученному Харькову довоенных счастливых дней и готова отдать все, чтобы защитить его, чтобы мой город зеленел среди весны?..

Даже за лирическими строками:

Подарила платочек прекрасный,
Ты такого нигде не найдешь.

Эх, платочек, ты шелковый, красный,
Ты со мною по фронту пойдешь… —

я вижу бой. Убит знаменосец с красным флагом, но флаг нужен, без флага нельзя… и боец, весь израненный, поднимается

и ведет в бой остальных! А в руке у него, как знамя, красный шелковый подаренный платочек. Вот и «прошел по фронту» платочек.

Это чувство, эта непонятная мучительная любовь уводила, уносила меня высоко-высоко. Я была под гипнозом «этого» чувства.

Теперь я знаю, как «это» чувство называется, я знаю, что это за любовь… Это — любовь к Родине! Да, вот так просто. Просто и сложно. Так просто и так сложно, радостно и болезненно располагается она в сердце.

«Это» мне подарил мой папа! Этим чувством он был пронизан насквозь. Он этого и не осознавал. Он весь состоял из этого. Он любил землю. В самом прямом значении слова «земля»: не вообще вселенную, а ту землю, по которой ходил. Он брал ее в руки, пересыпал и целовал ее: «Ах ты ж, моя земелька дорогенькая… Тужилася, кормилица, тужилася… и якеи мне цветики подарила», — так он разговаривал с землей, когда под окном у нас выросли розы необыкновенной красоты. Все цветы: розы, сирень, ландыш, даже березку — он называл одинаково: «цветики». «Пей водичку, земелька… попей, детка…» Я всегда любила слушать, как он разговаривает с землей, с «цветиками», придумывая им все новые и новые ласковые слова…

А как папа любил пение русских хоров! После войны, когда немного пришли в себя, папа взял меня с собой на выступление хора имени Пятницкого. Я не знала, куда мне смотреть — на сцену или на папу. Он слушал с восторгом, со слезами. Громко аплодировал, оглядываясь на публику, призывая ее еще более торжественно приветствовать хор.

— Во, дочурочка, як поють вольно! Голос летит уверх, не застреваить. Горло не зажимають, як у нас ув опири Харькивський. Усе влыбаются, довольные… Эх, птичка моя, як поють!

Как истинно добрый человек, он жалел людей. О врагах не могло быть и речи. Я не помню, чтобы его не любили. Людям он прощал и мелкие грехи и крупные, мама так и не смогла переделать его ни в чем. Он мог подшучивать, но обидеть человека — не помню. Шутки, конечно, были своеобразные, «личные». Папа мог того «кровенного», который отказался выпить с «братвой» «за честь, за дружбу», привязать и напоить. В общем, разное было, особенно до войны, когда «быв ще молодой». Обижал только маму: «Ну, его дело святое. Штоб свое место знала…»

Когда мама и папа переехали ко мне в Москву, то вскоре, если он выходил во двор, к нему отовсюду слетались голуби,

сопровождали его до самого парадного и поджидали на балконе пока он поднимался в лифте на пятый этаж. Они свободно и беспрепятственно ходили по квартире. Везде валялись перья, крошки хлеба, зерна…

— Мам? Когда он успел, вы же недавно здесь…

— Что ты, он так обрадовался, что во дворе голуби. В Харькове все ходил на площадь Тевелева, кормил голубей, хотел приручить. Всю жизнь — кошки, собаки, голуби. Ой, что за человек…

Когда в восьмом классе я учила из «Мертвых душ» «Тройку» — что было с папой! «Ах, ты ж, мамыньки родныи… Якой исключительно русской души етый Гогаль! Бьеть напувал…» И я ему еще и еще раз читала: «Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал? Знать у бойкого народа ты могла только родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровнем-гладнем разметнулась на полсвета…» Он сидел на нашей кровати с шариками, весь светился, и мне казалось, что он становится высоким, могучим, как вся русская земля, и гордым, что родился и живет на этой земле. «Во его талант! Пишить просто, а душу жметь… Эх ты, Гогаль…»

После войны не было ни одного концерта, где бы артист, пионер или ремесленник не читал «Василия Теркина». Папа в ожидании своего выхода сидел за кулисами и, положив подбородок на баян, сосредоточенно слушал стихи Твардовского. «Пап, ты уж должен наизусть это знать. Все реагируют, смеются, а ты сидишь такой грустный. Пап…» — «Ета великая вещь, дочурка. Ета настыящия правда про нашего брата-фронтовика».

Когда папа смотрел военный фильм или фронтовую хронику, он сидел, вытянувшись к экрану, в напряжении все полтора часа. На других картинах смотрел по сторонам, ждал скорее надписи «конец фильма», раздражался: «Лель, чего они смеются, а? Ну, ничегинька смешного, а? Лель!» — «Потом расскажу — дома. Подожди ты, Марк…»

Мама злилась, что он не давал спокойно посмотреть картину, все время давил ее колено. Ну и что же, что давил? Что она не привыкла, что ли? Ведь он же ее любит… Тогда он доволен: «Уся семья у кучки» — и он, и мама, и дочурка, ну и… колено.

Но если это было «оборонное» (военное) кино — тут уже никого не существовало. Он входил в бой, в атаку; на его лице можно было прочесть все: кто кого побеждает, где враг, где горе, где победа. «А победа будить, мы усех на лупаты положим… Русский брат — он терпить, терпить, а потом я-ак вжарить. Та што там гаварить… Усе за Родину пойдем… да я первый…»

Это чувство живет со мной постоянно. Я о нем не думаю. Оно

само напоминает о себе, проявляется неожиданно в самые трудные минуты, когда кажется, вот-вот потеряешь силы, надежду… Оно становится рядом с тобой, вливает в тебя силу. И тогда твердо стоишь на земле.

В 1972 году я была с группой кинематографистов в туристической поездке по Италии — Сорренто, Капри, Неаполь, Рим. Был уже конец поездки. Мы возвращались в Рим, оттуда в Москву. Ехали в большом мягком автобусе. За окном, по обеим сторонам трассы, рос мелкий кустарник. Было начало октября. Трасса называлась «Солнечной», а день был пасмурный, накрапывал дождь. Шофер-итальянец, чтобы нас развлечь, повернул к себе микрофон и запел «Санта-Лючия» — русские, мол, эту-то знают… Он пел и вопросительно поглядывал на нас в зеркало — почему нет никакой реакции. Он не знал, что это кинематографисты…

В это время у меня был один из самых безнадежных периодов в моей жизни. Не было интересной работы, я цеплялась за малейшую возможность — только бы действовать. Плохо было и в личной жизни.

Я сидела погруженная в свои мрачные мысли. Дождь, серость за окном еще больше давили на душу. И вдруг я встала. Почему? Я и не думала вставать… Куда идти? Что я буду сейчас делать? Почему я взяла смелость обратить на себя внимание?

Меня подняла какая-то сверхсила. Я опять была под гипнозом, как в детстве, тогда, в госпитале. Я подошла к водителю, попросила у него микрофон. Я уже ни на кого не смотрела, только на скучный серый пейзаж «Солнечной» трассы.

Ночь коротка,
Спят облака,
И лежит у меня на ладони
Незнакомая ваша рука.

После тревог
Спит городок,
Покидая ваш маленький город,
Я пройду мимо ваших ворот.
Хоть я с вами совсем незнаком
И далеко отсюда мой дом…

Члены делегации кинематографистов смотрели на меня новым, заинтересованным взглядом: что-то в ней мы просмотрели, что-то она так «заглохла», не снимается… Нет, нет,

что-то в ней «свое» есть…

Вася Шукшин смотрел на меня повлажневшими глазами. Смотрел прямо вглубь… Первый раз за всю поездку мы услышали его голос. Он сказал громко:

— Люся, спой ту, которую ты пела по телевизору… Знаешь, какую?

— А-а? Конечно.

Тропинка вьется узенькая
Через сугробы, вдоль плетня.
Я прохожу, а у колодца —
Судачат бабы про меня.
Разговоры, разговоры,
Слово к слову тянется,
Разговоры стихнут скоро,
А любовь останется…

Это чувство наиболее остро проявляется за границей. Твой дом, твоя земля, твоя Родина остались там… А ты здесь. И если в тебе нет этого чувства, нет этой силы, которая дает тебе опору, то тогда ты — один, беззащитен, раним, проваливаешься и спотыкаешься, становишься похож на дом без фундамента…

Фестиваль в Каннах — это самый представительный фестиваль в Европе. На просмотрах фильмов все в смокингах, в роскошных вечерних туалетах. Атмосфера приподнятая, праздничная.

Здесь надо уметь сохранять на лице постоянное гиперболизированное внимание, уметь восхищаться всем и всеми и проявлять бурное веселье по каждому даже незначительному поводу.

Это можно выдержать ну десять, ну тридцать минут. Но не с утра до ночи и не с ночи до утра… Что за люди! Ну врут же друг другу в глаза. Все это понимают и все же очень довольны собой и друг другом.

В общем я скоро сникла, устала. Пойду к себе в номер, отдышусь, полежу, наберусь сил — и опять с самой неотразимой улыбкой, на которую только способна, возвращаюсь в бурлящую и искрящуюся толпу! А внутри так все и воет, как «скорая помощь»: «О-о-о-о!» А ведь прошло только два дня в Каннах. Дома знакомые и не поверят, если вот так честно признаться: «Канны! Париж!» А она — «о-о-о-о»… Подумаешь…

С утра на фестивале уже кипела работа. Около отеля «Карлтон» — в кафе на улице, напротив моря — брали интервью, пили, общались, смеялись, фотографировались; члены нашей

делегации перед фильмами давали интервью. Никита Михалков был на фестивале представлен и как режиссер с внеконкурсным фильмом «Пять вечеров», и как актер, исполнитель большой роли в фильме «Сибириада». Так что он работал за двоих. А мы с молодой актрисой Наташей Андрейченко фотографировались перед вечерней премьерой «Сибириады».

Фотографировала нас репортер из журнала «Париматч» по имени Шанс. Она неплохо говорила по-русски — ее бабушка родилась в России… В 1969 году Шанс была в Москве. Ей не понравилось: русские какие-то мрачные… Никто не смеется…

— Ну что вы, Шанс… Это вы близко не общались с нашими людьми. Ого! Еще как веселятся и смеются.

— Не говорите мне… Я видела. Почему тогда вы не смеетесь? Вот смотрите — все улыбаются, а вы нет.

Наташа Андрейченко испуганно посмотрела на меня и, напрягшись, неестественно хихикнула. А потом рассердилась на себя и нахмурилась.

— Шанс, а над чем смеяться? — А в голове пронеслась папина фраза: «Лель! А чего они смеются? Ведь ничегинька смешнога…» — Мы тут никого еще не знаем. Будет повод — посмеемся…

— Вот, посмотрите. Даже старушка и та смеется… Шанс явно над нами издевалась.

У меня внутри все «пошло». Я оглянулась. В кресле сидела старушка с дрожащей головой, в кружевах и камеях. Красиво… Мутные глаза с длинными ресницами. Обнаженные вставные челюсти говорили о том, что она действительно улыбалась: она тоже была здесь, она тоже на фестивале, она еще жива, она в гуще событий…

— Шанс, когда нам будет по девяносто лет — мы тоже будем улыбаться, — сказала я зло.

Интерес к фильму «Сибириада» был большой. Народу полно.

Да… И меха, и бриллианты, и «бабочки», и смокинги, «звезды» и «звездочки»… И смешанный запах лучших французских духов.

И как будто с другой планеты, из другого мира, полилась с экрана грустная русская песня… И я перестала волноваться, суетиться, улыбаться без причины. Стала спокойной и сильной.

На фестивале нравы жесткие. Не нравится картина — хлоп креслом — и уходят. Кто как хочет, так и поступает. Никого не интересует, что автор фильма сидит в зале. Наша «Сибириада» идет три с половиной часа, а это для французов много. Режиссер-постановщик попросил сделать между первой и второй частями фильма перерыв на пять минут. Это необходимо: они не высидят

без перерыва.

Этого перерыва мы боялись. А вдруг уйдут и не придут? Эти пять минут казались вечностью. Мы смотрели на пустые кресла, боялись взглянуть друг другу в лицо. Все думали об одном и том же.

Вернулись все! Мы облегченно вздохнули, и картина пошла «набирать».

Уже до финала были аплодисменты, а перед концом картины и после они не смолкали и превратились в «скандеж» — как на концерте. И «браво», «браво», «браво»…

Мы кланялись вперед, назад, влево, вправо. Никто не уходил, и мы стояли и кланялись, кланялись… А потом стали обнимать и целовать друг друга…

Эмигранты кричали по-русски: «Молодцы! Мо-лод-цы! Людочка! Мы так счастливы за вас!»

Мы плакали от радости. Смешались звания, регалии, титулы, посты — мы были небольшим русским островком на прекрасной французской земле. Она нас приняла, она почувствовала нашу силу, на ней запахло Русью…

Мы шли вниз по лестнице в сопровождении толпы. Все улыбались искренне, и очень старались понять, рассмотреть: что же это за русские, что же это за загадочная русская душа? В конкурсных картинах других стран на экране — крах, апокалипсис, разрушение, а тут, в «Сибириаде», у русских все наоборот: вот тебе из тьмы-тьмущей эти люди поднимаются, строят, воюют, побеждают, преодолевают, перевыполняют, горят и не сгорают.

Подбегали фоторепортеры, прорываясь сквозь кордон людей в униформе. И вспышки, вспышки…

Шанс приблизилась к нам, но фотоаппарат дрожал в ее руках. Она вытирала слезы большим шейным платком фирмы «Ив сант Ларан» — ее любимой фирмы, у которой она одевалась (это она нам утром сообщила).

— Ну, Шанс, что же вы не смеетесь? Что же вы такая грустная?

— Наташя, Людмиля, я так плакаля. Это так хороше… Я не зналя.

И Наташа Андрейченко, которая только что плакала — я ее за эти слезы еще больше полюбила, — как «залилась» вдруг: басом, громко, заразительно… На весь город Канны!..

ПИСЬМО ОТ ПАПЫ

От папы пришло письмо! Треугольное, солдатское. Папа его прислал на старый адрес. Но нас нашли. И вот какая радость!

— Люся! От папы! Скорее… Валя! От Марка!

Мама торопливо раскрыла треугольник: «Здравствуйте, дорогие дочурка Людмилка и жена Елена Ал.!» Никогда папы не хватало на то, чтобы полностью написать «Александровна» — он спешил вперед, «дальший». «Елена Ал.» — и все. «Пишить вам ваш любимый муж и отец Марк Гаврилович Гурченко. Во первых строках своего письма сообщаю вам, что я живой и здоровый, чего и вам желаю от чиста га серца, с честью служу и защищаю Родину, имею две грамоты. Медали ще нема, но будить у в обязательном порядке… Леля! Детка моя дорогая! Обращаюсь до тебя! Ты мне усе ночи очень подозрительно снисся. Смотри, не сделай, будь ласка, якого ляпсуса! Корочий! Если я приеду з войны, и мне скажуть люди, что в тибя хто-то быв… Ну, Лялюша, ты меня знаешь… Пять братов свинцом налиты — смертью пахнуть! Пиши пропало…»

— Уйди… Уйди! Ты слышишь, что я сказала?

— Мам! А что там про меня?

Она ударила меня и с перекошенным лицом выскочила из комнаты. «Ну все! Приедет папа — я все ему расскажу. Мой папочка письмо прислал, а она…»

Папа писал письма всегда одинаково. Вначале сдержано, «по протоколу», а потом спешил «дальший». И изливал на бумаге свой бурный нелогичный и темпераментный строй мыслей без точек и запятых — только одни восклицательные знаки и многоточия…

Мама плакала у тети Вали. А я сидела на корточках в коридоре и подслушивала. Это было «мое» место. Оттуда хорошо слышно.

— Леля! На черта он тебе нужен? Старый хрыч! Нет! Я бы такого не выдержала… это не на мой характер. Что вы! Товарищи! Чтобы мне угрожали? Хо-хо! Новое дело! Леля! Ты же еще совсем молодая, красивая, здоровая. Да ты еще встретишь в жизни человека…

Ишь, что говорит тетя Валя! «Старый хрыч», «найдешь другого»… Это влияние на маму мне не нравится, надо будет их как-нибудь рассорить…

— Да нет, Валя, ты его совсем не знаешь… да я и сама его не знаю. Он такой… разный, очень разный. Жаль, что ты его не знаешь.

— Перестань, Леля! Написать в письме такое… Хо-хо! Кому прочесть… Товарищи! Да он ненормальный! Лучше бы денег прислал или посылку. Кормилец, муж называется…

— Ну-у… это ты его не знаешь. Это-то он пришлет. Очень жаль, что ты его не видела. Он и не старый. Он очень, очень ничего. Марк красивый.

«Ну, мамочка, ну, родненькая, говори, говори еще так про папу!»

— Эх, Леля! Ты ведь вообще, кроме него, никого не встречала…

— Нет, Валя, это не то. Я понимаю, о чем ты говоришь. Это не то. Марк меня поразил искренностью, размахом. Он человек странный — мама стала тихо и ласково смеяться, — он так за мной ухаживал…

Я затаив дыхание слушала в коридоре, как мама рассказывала тете Вале про папу. Я точно помню, ото было первый раз в жизни — мама так долго, нежно и откровенно говорила про папу.

Я помню яркие детали маминого рассказа. И только потом, со временем, у меня выстроилась история их необыкновенной любви.

После первого папиного письма я стала «изучать» свою маму. Что же она при мне так ругает папу? А без меня так тепло, с любовью говорит о нем. Нет! Не знаю я своей мамы.

СИМАНОВЩИНА

Мамину семью Симоновых папа называл «симановщиной».

Симоновы жили в Москве. Мамин папа, мой дедушка, Александр Прокофьевич Симонов, был директором одной из московских гимназий. Бабушка, Татьяна Ивановна, родом из «столбовых дворян», родила дедушке восьмерых детей. У меня было шестеро дядей: Владимир, Сергей, Юрий, Борис, Александр и Константин. И одна тетя, мамина младшая сестра, Лида. До революции они жили в собственном доме на нынешней улице Огарева. Революции дедушка не принял. А бабушка говорила: «Неужто ты — Симонов! — будешь мужичонков обучать?! Не бывать этому!» И всей семьей они уехали под Смоленск в свое имение, село Барадуличи. Там они вели хозяйство и ждали «перемен». Пережидали. Там мама пошла в школу. Она очень любила своего отца. Он учил маму красиво и грамотно писать. Сам он прекрасно пел и был расстроен, что мама поет нечисто. Так они жили, пока маме не исполнилось восемь лет.

В школе мама была первой по успеваемости, но однажды к ней перед началом уроков подошла учительница. «Погладила меня по голове и сказала, чтобы я шла домой и без матери в школу не приходила. Так странно… Мама никогда в школе не была, всегда папа», — рассказывала мама.

Дедушку выслали в Сибирь, имущество и дом конфисковали. Кое-какие ценные вещи дедушка увез с собой в надежде, что когда устроится, то жену и девочек заберет к себе. Мальчики уже подросли — кто работал, кто учился в других городах.

Но переехать к дедушке не пришлось. Он влюбился в какую-то женщину, она все «прибрала» к рукам. А когда дедушка опомнился, бабушка ему не простила. Как она страдала и переносила свое горе — никто не знал и не ведал. Она была твердой, жесткой и очень гордой.

Бабушка с мамой и тетей Лидой переехали в Харьков, чтобы быть поближе к дяде Сереже, который работал инженером на железной дороге.

Профессии у бабушки не было. Она была только хозяйкой имения и матерью восьмерых детей.

Теперь они снимали маленькую комнатку в небольшом частном домике на окраине Харькова в районе Холодной горы. Бабушка стала работать уборщицей на Харьковском велосипедном заводе. От прежней бабушкиной обстановки осталось несколько медных тазов для варенья с длинными деревянными ручками, иконы, большой письменный стол С

малахитовым чернильным прибором, огромная линейка и старинная гитара с выцветшим бантом, на которой раньше играл дедушка.

Дедушку я видела всего один раз. Он приезжал в Харьков навестить своих детей. Я уже училась в девятом классе. А маме было тридцать пять лет. Дедушка оказался старый, располневший, борода расчесана на две стороны. Я ему пела. Он был доволен, сказал, что музыкальность передается чаще всего через поколение, и что, возможно, у моих детей не будет такой музыкальности. Будто в воду глядел — так оно и есть.

Бабушка стояла все время в углу, за его спиной. Эта встреча состоялась в той маленькой комнатке, где жили тетя Лида и бабушка. Дедушка первый раз видел свою бывшую жену и детей в такой обстановке. Моя мама потом говорила: «Я так любила отца, но я его помнила таким, каким он был тогда. А когда мы встретились, я даже не заплакала. Я почувствовала, что нам ведь и говорить-то не о чем…»

Бабушка, Татьяна Ивановна, была очень степенной, расчетливой и очень набожной. Дети называли ее на «вы»… Так странно — мама и «вы». Детей держали в строгости. Есть — только за столом. За жевание между завтраком и обедом — наказание. Наказание за малейшую провинность. Одежда ежедневная — одежда «по праздникам». Посуда на «каждый день» — посуда для гостей. Еда простая и еда необыкновенная — для гостей. А в сундуках, в нафталине, складывались отрезы, меха, шубы. В погребах — окорока, варенье, колбасы, мед. Все лучшее пряталось на «потом», «на вырост», «на выход». Мама говорила: «Мы ждали праздников как манны небесной».

А потом — бабушка работает уборщицей, мама и Лида ходят в школу, зарплата маленькая, на троих не хватает. Все «с выдачи», во всем строжайшая экономия. У моей мамы было одно пальто — «ув красную клетку… Ходить, бувало, у самый мороз в нем». Одна юбка. Одна кофта. Все перешито из бабушкиных «бывших нарядов». Все размеренно, серо, однообразно.

И вот в эту скучную мамину жизнь ворвался папа! Об этом в нашей семье ходят легенды. Рассказывают все: мама, папа, бабушка, тетя Лида. Все разное и по-разному, но сходятся в одном: «Ну и Марк Гаврилович!»

Когда папа появился со своим баяном в маминой школе, мама училась в девятом классе. Он ее сразу заприметил. Но всем рассказывал, что «она зразу у меня улюбилася… ну, правда, Леля девка була… та што там гаварить… ей усе двадцать можно було дать». И начал папа кормить весь мамин комсомольский комитет… "Бувало, дождуся, пока Леля — комсомольский

секретарь усей школы! ета ж якая величина! — дождуся, пока она проведет свое бюро. Я и гаварю етому бюро: «Девки! А ну, идем усе разом у буфет…» Приметив я, што Леля у буфет не заходить никогда… у вуглу, бувало стоить и хлеб черный есть. А меня як увидить, покраснеить и убежить. Долго меня стеснялася. Э-э, думаю, хороший работник пропадаить. Умная була, грамотно так гаварить, боевито… Словум, надо, думаю, подсобить, подкормить. Усех ее подруг кормив, чтобы и она подпиталась… Мало-помалу стала до меня звыкать. Так вежливо всегда поблагодарить. А подружки те — усе наперебой: «Дядя Гриша, дядя Гриша…» Не-е, у меня нащет Лели у галаве ничего «такого» не було, боже упаси! Я ее жалев. Она помощь у работе мне оказувала, детей организовувала. Вот… «Ето» вже потом вышло, да я етага и не хотев… Да-а… Училася Леля та што там — на одни пятерки! Усем пример, одним словум. И вокурат ее, и еще там девчат з комитета, примирували путевками у дом отдыха на лето у Чугуев… И меня з ими, штоб играть отдыхающим…

«… Он такой странный человек, Марк… Хи-хи-хи. Идем с ним — я с Тамарой, моей школьной подругой, и Марк с нами, по одной мы с ним не ходили. Он вдруг как побелеет, зубами скрипит, глаза страшные. Мы испугались…»

«Тамара до меня.» «Что с вами, дядя Гриша!» Какой я тебе дядя Гриша? Быв дядя Гриша, и нима! В меня имя есть — Марк. Поняла?! Добром тибя прошу, Тамара, уйди з глаз долой, будь ласка, подобру-поздорову…"

"Тамара так испугалась, убежала. Мы стоим вдвоем, народу почти никого, страшно… Всегда такой добрый, веселый — а тут… Таким я его не видела и не представляла. Говорит: «Я тебя, Леличка, люблю… и, корочий, давай уместе жить… больший терпеть не могу. Буду, Леличка, усю жисть тибе служить верую и правдую…»

«Никогда я тибе, крошка моя, етага не гаварив. Штоб Марк Гаврилович такое гаварив? Да я благородный человек, ты сама за мною ходила услед…» — отвечал папа моей маме через тридцать лет.

«Значит, я вру? Значит, ты этого „не гаварив“? Тогда зачем ты свой пиджак топтал в песке и рубашку разорвал в клочья? А? Или этого тоже не было? Ну?!»

«Не, ето було… што було, то було. Я человек честный. Я до тибя по ласке, з усею душою… а ты надо мной смеялася! Як же мне було? Тибя бить? Ще рано, ще ты мне не жена… ну я и давай себя рвать на куски…»

Это так похоже на моего папу. Сначала признался в любви, а потом ему показалось, что он «дал слабину». Мама от

неожиданного его предложения рассмеялась, и папочка мой «пошшел».

«Знаешь, Валя, может, тогда и надо было мне от него отойти, но куда? У мамы моей мрак. А ко мне никто в жизни так не относился, а я уже привыкла, что есть Марк. Потом изучила его характер, обходила углы, чуяла откуда ветер. Всю жизнь как на бочке с порохом. А мама с тетей Лидой еще ничего тогда не знали. Потом узнали… в школу ходить перестала…»

"Мы с бабушкой Таней узнаем, что наша Леля в Чугуеве вышла замуж! — рассказывала тетя Лида. — Наша Леля — замуж! Бабушка Таня об этом и слышать не хотела: «… Ему бы в пару какую-нибудь кухарчонку!… Какой-то подлечу га, провокатор, какой-то недоброкачественный мужичонка хочет увести нашу Лелю! Не бывать этому!» А я Лельку боялась — она меня линейкой била. Все выпытывала — что у нас дома… А Марка я любила, храпчика нашего… Сколько он мне конфет покупал, объедалась, а дома мама не знала, что я у Лельки бываю. И я, понимаешь, ребенок, все рассказала Леле и Марку…

Тетя Лида рассказала папе, что бабушка с сыновьями придут «забирать» Лелю, поэтому папа их поджидал. Но бабушка не пришла. Она это считала ниже своего достоинства и все поручила сыновьям.

"Я усе зделав честь по чести. Стол накрыв, словум, як будущих родичей жду… Идуть… Увидели стол и осеклися. И Леля стоить влыбается — нима к чему придраться. Сели за стол. Я Лелю з собой усадив… Ну, значала усе було, як положено. Браты ети пьют, едять, разговаривають, а на меня никакога внимания, и близко не смотрять. Ну, думаю, держися, Марк. А як подвыпили, тут они и давай мне уголы вставлять. Што мы з Лелюю не пара, што она ще молодая и… поехали, дальший и дальший. А потом мне етый… ну, Борис, гаварить: «Вы поймите, уважаемый, вы не того поля ягода». Ета я, значить, не з ихнега. Тут на мне усе затрусилося, у глазах враз темно. Но я точно поняв, што справлюся з усеми. Уся ета симоновщина росточка небольшога. Для начала я перевернув стол, узяв момент. А браты, пока што да як, — глазами блысь-блысь — я одного по башловке, другога выспитком, третяга по загривку — знай Марка, симановщина! Я када рассержуся — о-о! Тада мне хоп хрен по диревни — ничегинька не боюся… режь-жги меня, ничего не чую — лезу уперед! Да-а… А четвертага нима… Больший усех гаварив, и нима… Ета ж симановщина только на язык острая, а як до дела… та што там гаварить. Одним словум атбайлы… Леля з Лидкою плачуть — не бей Бориса. А Барис етый у шкафи сидить. Вылазь, гаварю, не бойсь. Вылазить, увесь белый, як мел.

«Вы, нас, — гаварить, — Марк Гаврилович, пра-астите, если что не так… мы ва-абще не против…»

Папа мог вдруг прекрасно говорить чисто, без всякого диалекта — чуть ли не по-московски. Это когда он изображал дядю Борю или других своих «антиподов». «Папусик, но почему ты сам так не говоришь, ты ведь умеешь?» — «Не, дочурка, ета он так гаварить, а я гаварю так, як гаварю…»

"Потом етый Борис мой лучий друг быв. Я его по-своему так отхристосовал, што он быв як шалковый, он знаить за што. Ну, а потом дело и до Лелиной мамы дошло. Пришли мы з Лелею, до нее, а они жили аж на Холодной горе, это, считай, як от Смоленска до Брянскага леса… Эх, думал узять машину, подкатить — мол, во як теперь ваша Леля живеть… А до них и дороги ще тогда не було, одни тропки. Заходим у во двор. Леля в дорогом платтики, у шляпи. А ее мать, Татьяна Ивановна, сидить, як царица на крыльце, што-то у тазу перебираить, а у нашу сторону и не смотрить. Ну, я себе дав слово сдержуваться, што бы там ни було. Принесли з собою усего — усе, што тока було у гастрономи, насилу з Лелею донесли. Гаварю:

— Здравия желаем, мама.

— Какая я вам мама? Меня зовут Татьяна Ивановна Симонова.

— Не-е, — гаварю, — ета вы для усех Татьяна Ивановна, а по-нашему православному деревенскому закону — мама. У вашей дочери законный муж, ваш родич, значить, выходить, што вы для меня — мама.

— Это у вас в деревне такой закон, а у нас в Москве такого закона не было…

— Не було, значить, будить, мама…

Смотрю — пошла у хату от греха подальший. Ей вже браты про меня нагаварили… Да-а… И мы з Лелею за нею услед. Леля усе за спиною у меня ховалася… Сидели, гаварили мало-помалу, все було б ничего, но обидела она меня тогда кровно. Я долго болев душою… Гаварить мне: «Вот никогда не думала, что Леля моя выйдет замуж за мужика». Да-а… Леля меня вже изучила — схватилася за меня, Лидка на спине висить. Держать меня — насилу стерпев кровную обиду. От так, моя детка…"

Бабушкины сыновья жили в своих семьях, своей жизнью. Ближе всех к ней была тетя Лида, мама и мой папа. И больше всех своих детей и родственников бабушка любила и уважала Марка Гавриловича. «Это не какой-нибудь подлечуга и провокатор. Жаль, не дал ему господь образования, но человек он удивительно доброкачественный и красивый.»

Придет, бывало, к нам бабушка в гости, папа ее тут же с

дороги за стол. Сядет бабушка на стул — прямая, в чеховской прическе, все чинно, с расстановкой, чай вприкуску. Для начала папа ее подпоит винцом — знал, какое она любила, и всегда держал его про запас. Она раскраснеется, сидит довольная, кокетничает: «Ну, что вы, что вы, Марк Гаврилович, меня так балуете?»

А потом чай из блюдца, а папа — молоко, потому что «чай — ето вода». И начинали — про бога, про шахту, про велосипедный завод и доску Почета, где висела бабушкина фотография, про царя…

«Что вы, Марк Гаврилович, мне все нравится, я всем довольна, но если бы вы знали, как мы жили при царе. Всего вдоволь… и скотина своя, и хозяйство, и поле. Чего только у нас не было…»

«Ну, мам, поехали… А Марк бы при царе батраком быв… Вот он и батрачив бы у вас у поли… Не-е, давайте лучий не будем про ето… Давайте, мама, лучий за честь, за дружбу…»

«РАЙЕЛЕНОВКА»

В Харьков стали возвращаться из эвакуации — и не только харьковчане, но и жители других городов. Всех надо было обеспечить жилплощадью.

На оставшихся в оккупации смотрели косо. Их в первую очередь переселяли из квартир и комнат на этажах в подвалы. Мы ждали своей очереди.

В классе вновь прибывшие объявляли оставшимся при немцах байкот. Я ничего не понимала и мучительно думала: если я столько пережила, столько видела страшного, меня, наоборот, должны понять, пожалеть… Я стала бояться людей, которые смотрели на меня с презрением и пускали вслед: «Овчарочка». Ах, если бы они знали, что такое настоящая немецкая овчарка. Если бы они видели, как овчарка гонит людей прямо на смерть, прямо в душегубку… эти люди бы так не сказали… И только когда на экранах пошли фильмы и хроника, в которых были показаны ужасы, казни и расправы немцев на оккупированных территориях, эта «болезнь» постепенно стала проходить, уходить в прошлое.

Нам с мамой, как никогда раньше, не хватало папы, его силы, его защиты. Мы каждый раз слушали по радио сообщения Совинформбюро. «Скоро… скоро уже вернется наш папочка».

В 1944 году в первый раз в жизни мама отправила меня в пионерлагерь. Он назывался «Райеленовка».

«Райеленовка» находилась в трех километрах от станции, добирались мы туда пешком. Проходили мимо поля, дорога сворачивала вправо, рядом с роскошным яблоневым садом, на который мы совершали налеты, а сторож стрелял в нас солью. И всю жизнь, если в разговоре или песне идет речь о поле или яблоневом саде, я вижу только «то» поле и «тот» сад.

На зеленой поляне стоял большой красивый корпус с колоннами и огромными причудливыми окнами. В нем мы жили. Стекол не было — окна были затянуты простынями: ночью мы мерзли. За главным корпусом шла красивая аллея. Жители «Райеленовки» рассказывали, что это было когда-то графское имение. Несмотря на то, что здесь были жестокие бои, главное здание сохранилось. Был пруд, запущенный — ил по колено. Вокруг пруда росли старые пышные ивы. Купаясь в нем, мы часто резали ноги о ржавые железки, острые осколки. А однажды всем лагерем вытащили со дна зенитку без одного колеса.

Кормили здесь четыре раза в день! Но все время хотелось есть. Сахар давали один раз — утром. Мы по своему усмотрению распределяли его на весь день. Сахар все носили с собой…

никому и в голову не приходило, что его можно оставить на столе. До ужина у меня сахар не доживал никогда.

Была в пионерлагере и музыка. Аккордеонистка, Дина Печенежская, дочь папиного товарища, Андрея Степановича Печенежского, вела у нас художественную самодеятельность.

В доме Печенежских был траур: «вторые немцы» расстреляли их семнадцатилетнего Николая — любимого сына и прекрасного баяниста, который «ще ребенком быв, а вже играв, як зверь».

И теперь Дина, его сестра, тоже играла, «як зверь», и разучивала со мной песни с «жестикуляцией», с увлечением проводила надо мной эксперименты.

Первым моим номером с «жестикуляцией» была песня про Витю Черевичкина — слова неизвестного автора на музыку песни Терентьева «Пусть дни проходят». Для этого нужно было вместе с первыми строками:

Жил в Ростове Витя Черевичкин —

согнуть правую руку в локте, выбросить ее чуть в сторону; взгляд — к зрителям, сидящим справа. На вторую строчку:

В школе он отлично успевал —

все то же самое, но — в левую сторону. Дальше просто поешь:

И в свободный час всегда обычно
Голубей любимых выпускал.

На припеве и голова и руки постепенно устремляются к небу:

Голуби, мои вы милые,
Улетайте в облачную высь…

Дина меня наставляла:

— Люся! Во втором куплете война. Лицо жесткое, руки сжаты в кулаки, хорошо, если в глазах заблестит слеза — это всегда впечатляет. И финал — победа! Лицо радостное, торжественное! А руки — широко-широко! Как будто хочешь обнять весь мир! Ну!

Но не долго эти дни тянулись,
И, разбив фашистских подлых псов,
Красные герои к нам вернулись,

Снова стал свободным наш Ростов.

Я выступала регулярно в концертах нашего лагеря и во всех соседних, лишь бы пригласили. Путевку на первую смену мама достала с трудом, зато путевку на вторую — директор лагеря предложил мне сам за то, что я активно участвую в самодеятельности и отстаиваю честь лагеря.

В каждой смене жгли два пионерских костра: один — в начале смены, другой — на закрытие. Если в концерте на первом костре выступали кто с чем, то на закрытии был целый продуманный спектакль. Я выходила на сцену два, а то и три раза — и все с разными песнями. Тогда мы с Диной вспомнили из довоенных песен — «Эх, Андрюша». Она имела большой успех. Меня даже дразнили «Андрюша! Иди сюда…» Жизнь в лагере была прекрасной! Только мечтать! И ем, и купаюсь в пруду, и хожу в лес, и выступаю на сцене!

Сцену устроили прямо на поляне. Сделана она была из досок. Ноги то и дело проваливались в щели. Стою на сцене и пою! Вот радость! Все дети на меня смотрят с интересом. Когда же удавалось заплакать… да что там говорить…

Пою… а если вижу среди зрителей кого-то, кто мне нравится, — стараюсь! И уж совсем обуревает гордость, когда доходит до исполнения с «жестикуляцией». Ведь до такого еще никто не додумался. Ведь только вслушайтесь, как звучит — «Песня с жестикуляцией».

От «песни с жестикуляцией» до сегодняшнего понимания, что такое «песня», было много открытий. Сколько же я в своей жизни проделала экспериментов, пока не нащупала в себе тот ключик, который что-то открывает, и тогда песня приносит блаженство… Но как найти эти песни? Какие они? Ты исполняешь песню… Она нравится публике, а у тебя не возникает этого «блаженства»… Или ты сам ощущаешь это блаженство, а публика песню не принимает. Как сделать, чтобы ощущения публики и исполнителя совпадали?

После фильма «Карнавальная ночь» зрители воспринимали меня только так: если на экране ты была в легкой музыкальной роли, то будь любезна, давай-ка нам то, чего от тебя ждем, для чего мы сюда пришли. Первые годы после картины я так и делала. Я пела, как в фильме, старалась быть как можно похожее. А потом иссякла. Наступил конец. По-старому уже не получалось. По-новому еще не умела. Не знала, с чего начать…

В кино у меня были длинные, бесконечные годы простоя. Но

не работать я не могла. Я металась. Возраст самый лучший, энергии хоть отбавляй, а работы нет. Нет роли для меня. Куда себя деть? Где найти себе применение?

Весь свой «заряд» и запас нерастраченной энергии я бросила в песню, на эстраду.

Для актера нигде — ни в кино, ни в театре — я не знаю такой широты амплитуды для выявления и утверждения своей личности. Ничто так не закаляет и не оттачивает талант артиста, как эстрада. В кино есть режиссер. Он тебя «выручит» кинематографическими средствами, поможет. В театре можно сыграть роль, можно выйти в массовке, но ты играешь в спектакле — в коллективе.

А на эстраде ты один! Один властелин зала. Ты сам себе и артист, и опора, и голова, и режиссер. Потому что каждый концерт никогда не похож на предыдущий. Он с новыми акцентами, неожиданными реакциями, другой публикой, которая тебе не простит неверного шага, неточной ноты и своих неоправданных надежд. Если ты сумеешь заразить собой зал, принести «свою» атмосферу и повести публику за собой — значит, ты артист эстрады! Ты имеешь право на «соло».

Когда я еще училась в школе, к нам в Харьков приезжал на гастроли Александр Николаевич Вертинский. Выступал он на летней площадке сада имени Шевченко. Народу было битком. Зрители жадно смотрели на своего кумира. Мы, дети и подростки, сидели на деревьях вокруг забора.

Его исполнение, его песни были как будто из другого мира. Их нельзя с чем-то сравнивать. После первой песни «Пред ликом Родины» из зала выкрикивали «Желтый ангел», «Пани Ирен», «Прощальный ужин», «Балерину». Его репертуар знали в зале все. Я боялась шелохнуться, боялась пропустить жест, интонацию. Ничего подобного я не слышала никогда. Все свое, все неповторимое, оригинальное, индивидуальное. И — незабываемое! И даже публика — наша непростая харьковская публика — в единодушном порыве восторженно благодарила артиста. Ах, какие руки в «Балерине»! Они танцевали, как хрупкая и нежная балерина, и плакали, как плакала она ночью в подушку… одна, беззащитная, как «усталая игрушка больших детей». А руки у артиста большие, узловатые, старые…

В ноябре 1965 года в московском Театре эстрады я была на концерте Жака Бреля. Вела его концерт и переводила содержание песен женщина-конферансье. Перевод был лаконичным, и мягко говоря, ничего общего не имел с истинно глубоким смыслом

песен-баллад, написанных самим Жаком Брелем.

"… Он говорит ей: не покидай меня, мне будет без тебя очень плохо, очень… Так что, пожалуйста, не покидай меня, не покидай меня, не покидай меня! — бодро переводила ведущая. Она бросала очаровательную улыбку Брелю и громко стуча каблучками, скрывалась за кулисами.

А Жак Брель, сжавшись от. неловкости, «пережидал». Именно сейчас ему придется за три минуты прожить на сцене «жизнь любви» — ее рождение, ее расцвет и ее трагический конец.

Не уходи… я без тебя умираю!..

Брель пел свои песни подряд — на одном дыхании. На концерте собралась публика, которая никогда не слышала Бреля. Но после третьей-четвертой песни в зале установилась «его атмосфера». В театре царила его личность! Становилось страшно… Как у него болит душа! Как он кричит об этой боли! Как он любит свой народ, свою родину!

Жак Брель умер рано. Он сгорел в 39 лет.

Постепенно я приходила к убеждению, что петь нужно только о том, что у тебя болит или что тебя очень радует.

Когда ты искренне об этом поешь — публика, какая бы она ни была, поймет тебя. Сначала она будет инертной. Это надо не заметить — «гореть» дальше. А потом публика станет с интересом следить за тобой.

Вот тут то и надо не упустить момент. Успеть рассказать о себе, о своей боли, о своей любви. А в перерыве спеть про «Пять минут», «штобы дать людям передых». И опять, и опять песни «с блаженством»… Но оно уже в зале, твое блаженство!

Эти радости и маленькие победы были единственными и бесценными в те годы безработицы. И я бросалась в концерт, как в огонь!

Когда я с 1973 года стала сниматься в фильмах, то все мое время, все мои силы, фантазия и энергия стали принадлежать только кино — моему любимому делу. Выступления в концертах были уже от случая к случаю, только рядом с ролью, которую я сейчас играю, с рассказами о фильме, с фрагментами на экране.

И песни свои сочинять перестала. Когда прежде не было работы в кино, я месяцами вынашивала свой репертуар. Собственные песни я исполняла всегда в конце, когда публика уже пошла за мной, когда я победила ее инерцию.

Но по-настоящему можно работать только в одном деле. Я выбрала кино. Значит, эстрада не будет главным. Ну что ж, за двумя зайцами — не стоит.

Я пробыла еще одну смену в «Райеленовке». Мама приезжала

ко мне, привозила что-нибудь вкусное. Она стала спокойной, была со мной внимательна и заботлива. Я ее очень ждала.

Когда в конце лета я вернулась домой, у нас была уже другая квартира. Мы поселились на улице Клочковской, тридцать восемь, в полуподвале. Это была та самая двухкомнатная квартира, где папа потом найдет клад. В ней я прожила с девяти до семнадцати лет. Из этой квартиры уехала в 1953 году в Москву поступать в институт кинематографии. Я очень люблю эту квартиру, она самая лучшая в мире.

Когда мама привела меня в наше новое жилище, у нее был виноватый и растерянный вид. А мне квартира понравилась. Она напоминала мне ту, нашу полуподвальную комнатку в Мордвиновском переулке. Там я родилась, там прошли светлые, неповторимые дни с моим папой. А с предыдущей квартирой связано только самое горькое — война, голод, холод, немцы, страх.

— Нет, мам, эта квартира лучше! Здесь тепло и хлеб за стенкой. — Магазин «Хліб» был у нас действительно через стенку. — Я буду самой первой занимать очередь за хлебом, не переживай. Скоро папа придет, будет опять весело и легко… ну, мам!

… Мама рассказывала, как они с тетей Валей перетаскивали вдвоем тяжелые вещи — матрасы, перины, диваны…

Я представила себе нашу булыжную мостовую в Мордвиновском переулке, по которой разбросаны перья, ангелочки, веера, фотографии артистов немого кино… кругом все смеются, глядя на тетю Валю с бантиками и попугаями; и они с мамой утешают друг друга…

Тете Вале дали комнату в подвале на другом конце города. Постепенно мы ее потеряли из виду. Как-то после войны она появилась у нас и попросила маму быть свидетелем на суде. На нее подала в суд соседка за то, что к тете Вале ходит мужчина, а она, тетя Валя, не замужем. А как это так? Соседка этого не потерпит! У нее семья, муж.

Я решила послушать, что там происходит… приоткрыла дверь и слышу тети Валин голос: «Товарищи судьи! Ну и что же, что ко мне ходит мужчина? У нее есть муж! Да мой муж-майор геройски пал смертью храбрых, ребенок умер с голоду. Вот… там стоит моя соседка Леля. Вызовите ее. Мы с ней страдали в войну… она подтвердит!»

Мама похолодела от ужаса: какой муж-майор… какой ребенок умер?

Но маму не вызвали. Выступил адвокат и очень сердечно защитил тетю Валю.

Тетю Валю оправдали. Она была благодарна, что мама пришла…

— Валь! Ты бы хоть предупредила про мужа и ребенка. А вдруг у меня бы стали спрашивать? Ты что в самом деле…

— Ах, Леля, я уже совсем не «нормалес», ты извини. Сама не знаю, как это вырвалось. Как-то жаль себя стало… Мой адвокат аж подскочил после этого… Хо-хо-хо! Не ожидал… Вообще, Леля, жизнь — это импровизация.

В фильме «Семейная мелодрама» я играла сорокалетнюю увядшую женщину, на мне был халат с попугаями, на стенах — веера из перьев, боа и портреты артистов. У меня причудливая широкая кровать, в которую я ложусь одна. В фильме я напеваю вальсы Штрауса из «Большого вальса». Моя героиня тоже мечтала в молодости стать актрисой.

Тетя Валя действительно имела отношение к театру. До войны она работала в передвижном театре… Костюмером.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА

Осенью 1944 года в моей жизни произошло знаменательное событие — я поступила в музыкальную школу имени Бетховена.

Папа прислал посылку, в ней «для дочурки» юбочка в складку со шлейками, блестящая крепсатиновая кофточка, рукава фонариком. Мама на меня все это надела, а на голове завязала огромный белый бант. Такую нарядную и привели меня на экзамен в музыкальную школу.

Когда мы появились, в коридоре уже было много детей с родителями. Мы заняли очередь, и я стала изучать детей, гадая, кто на что способен. Прозвенел колокольчик, и нас впустили в экзаменационный зал. За большим столом сидели учителя во главе с директором школы Николаем Николаевичем Хлебниковым. Набирались классы по фортепиано и класс «по охране детского голоса». В него-то я и поступила. На экзамене дети должны были:

1. Что-нибудь спеть.
2. Повторить музыкальную фразу, которую играли на рояле.
3. Отбить в ладоши предлагаемый ритм.

Вот и все. А я так нервничала!

Но что дети пели! — и «В лесу родилась елочка», и «Мы едем, едем, едем в далекие края». А некоторые были такие стеснительные и зажатые, что из них чуть ли не клещами вытягивали «Чижика-пыжика». Я ждала своей очереди. Меня бил озноб от нетерпения и возмущения. Как можно петь такую чушь? Ведь это поют в три года. Есть столько прекрасных сложных песен. В девять лет их пора бы уже знать. Мы с мамой подошли к роялю.

— Что ты нам споешь, девочка?

— А что пожелаете. Могу спеть патриотическую, могу лирическую, о любви — какую скажете. Могу исполнить песню с жестикуляцией…

— С чем?

— С жестикуляцией.

Все оживились.

— Ну-ка, ну-ка, интересно, интересно…

Я откашлялась, как это делают профессиональные певицы, и запела «Про Витю Черевичкина»

Учителя рыдали от смеха, глядя на мою «жестикуляцию».

А я ни на кого не смотрела, «дула свое». А потом, не дав им опомниться, запела самую взрослую песню — «Встретились мы в баре ресторана»: «Где же ты теперь, моя Татьяна, моя любовь и

наши прежние мечты…»

В музыкальную школу меня приняли безоговорочно. Экзамен прошел на «ура!» Но чтобы мама меня похвалила…

— Вот последнюю песню ты зря пела, Люся. Это совсем не детская песня. Надо было тебе сообразить… все шло ничего, а это зря.

— Мам, ну меня же приняли! А ты видела, как все собрались, а ты видела, как все слушали? Нет, ты скажи, ты видела? Ты видела или нет?

— Еще бы не слушать! Так и детей распугаешь.

— А что, петь про «чижика»? Да я, когда даже маленькая была, такого не пела.

— К сожалению, ты этого не пела. Твой папочка учил тебя по-своему. У него все не как у людей. Не знаю, может, так и надо…

Моим педагогом по пению была Матильда Владимировна Тафт. Училась я у нее легко, с удовольствием. Она первая занялась моим воспитанием, моей речью, заставляла меня читать. В начале урока я рассказывала прочитанное своими словами. Два года наш урок по пению всегда начинался с этого. Мне стоило огромных усилий и напряжения следить за своей речью, чтобы не проскользнули лишние словечки — «словесный мусор».

Матильда Владимировна говорила, что песни я пеку «как блины». Дважды она мне никогда ничего не повторяла. Я с ходу запоминала интонацию, краски, дыхание. И еще мы боролись с моей шепелявостью.

А вот по теории музыки дело у меня шло очень плохо. Во-первых, я долго учила ноты. Тут я точно пошла в папу! Тупо смотрела на доску с интервалами, на бемоли, диезы, ключи… Было ужасно скучно. Я совсем не понимала, как писать диктант нотами. Как это нотами записать мелодию? Да я лучше пропою эту мелодию!

Так же безнадежно было с занятиями по фортепьяно. Я училась у Ольги Николаевны Хлебниковой — сестры директора музыкальной школы. Жила она на Рымарской, около сада Шевченко, вместе со своей сестрой. Им обеим было лет по семьдесят. Большая комната перегорожена шкафами на две половины. На половине Ольги Николаевны стоял огромный расстроенный рояль. Как хотелось на нем поиграть! Дома у нас инструмента не было, и я всегда приходила на занятия с невыученными уроками. На дом Ольга Николаевна задавала мне одно и то же задание, и дальше Гедике и Майкопара мы не потянули.

В музыкальной школе меня держали за отличную успеваемость по основному предмету. И дирекции пришлось

закрыть глаза на мои «хвосты». Зато как только концерт или ответственное выступление… «У нас есть замечательная ученица, наша лучшая ученица, она обязательно у вас выступит».

«Просветления» у меня происходили всегда внезапно. Однажды вдруг наступила ясность, как писать нотный диктант. Чтобы проверить себя, я пошла на занятие по теории музыки. Педагог уже давно не видела меня на уроках и была удивлена моим появлением. Я написала диктант. Одна неточность, все остальное правильно! Как же я была довольна! Сообразила! Значит, не болван. Но скоро опять остыла, забросила теорию, до гармонии так и не дошла. Сейчас очень жалею об этом.

А занятия по роялю, несмотря ни на что, мне нравились. Ольга Николаевна меня не ругала. Она понимала, что без инструмента далеко не уедешь, любила меня и даже поила чаем с вареньем. Ее дочь была замужем за певцом — народным артистом СССР Гришко, и Ольга Николаевна этим. очень гордилась. Над диваном висел его портрет. На стенах висели его фотографии в ролях, коричневатые овальные фото господ, одетых в старинное: мужчины в пенсне и манишках, дамы в шляпах с перьями, с голыми плечами и толстыми нитками жемчуга. Под стеклом в шкафу — огромные старинные книги, часы в углу, двухметровой высоты, били через каждые пятнадцать минут. Сама Ольга Николаевна была вся обвешана цепями, в больших серьгах, с часами на груди. Мне все очень нравилось, все у нее было так интересно!

А в конце занятий мы играли в четыре руки. Ольга Николаевна доставала из шкафа потрепанный старинный сборник для игры в четыре руки и торжественно ставила его на пюпитр. Моя задача была легкой. Я играла тему двумя руками через октаву, по одной ноте, и одним пальцем. А на аккомпанементе — Ольга Николаевна. Она брала мощные, красивые аккорды. Я иногда останавливалась, чтобы перевести дух от восторга — так мне нравилась игра в четыре руки!

Начинали мы всегда с одного и того же этюда. Я заметила, что в это время Ольга Николаевна всегда преображалась, молодела и вся светилась.

Я читала ноты медленно; если не могла сходу прочесть, то голосом помогала себе, пока не найду на рояле нужную ноту. Глядя на меня, Ольга Николаевна всегда смеялась.

Но эту мелодию, этот этюд, почему-то подпевать мне категорически запрещалось. Мелодия была очень торжественная, похожая на похоронный марш. Я помню, что в этом толстом потрепанном сборнике, этот этюд шел под номером один.

… Как-то по телевизору шел фильм. У меня были гости, играла музыка, было весело. Кажется, был мой день рождения… И вдруг, сквозь шум веселых голосов и громкую музыку отделилась очень знакомая мелодия. Меня пронзило! Что это за мелодия? Я ее знаю. Но откуда она мне так хорошо знакома? Ну где я ее слышала?

Я оставила гостей и подошла к телевизору. Уже не помню названия картины… фильм о революции, где рабочие и крестьяне свергают самодержавие… на экране эту мелодию торжественно пели люди в белых манишках и пенсне, белогвардейские генералы, с ними рядом стояли женщины с голыми плечами и толстыми нитками жемчуга…

… И вдруг ясно и четко всплыло: Ольга Николаевна слева от меня, с высокой прической, как у моей бабушки… мы играем в четыре руки этюд номер один, и мне категорически запрещается подпевать:

«Боже, царя храни…»

РЕМЕСЛЕННОЕ N 11

Новый 1945 год мы с мамой встречали в ремесленном училище N 11. Одной стороной оно выходило на Клочковскую, а другой — на речку, где через мост стоит огромная Благовещенская церковь.

Ученики ремесленного днем работали у станков, а вечером занимались в кружке художественной самодеятельности, который вела мама. Баянистом был Андрей Степанович Печенежский, отец Дины.

Зима сорок пятого года опять была холодной и голодной. Зарплату в училище мама получала небольшую, зато в те дни, когда были занятия кружка, мы обедали и ужинали. Я высчитывала: вторник, четверг, суббота! Во-первых, поедим, а во-вторых, я присутствовала при разучивании новых песен. Большинство этих песен мы получали от папы с фронта. Он вкладывал в письмо нотную строчку и слова песни.

Мне казалось чудом, что в начале репетиции был немой листочек нот и текста — просто измятый листок, вложенный в треугольное солдатское письмо, а к концу репетиции возникала живая песня.

Одну песню папа просил выделить особо: «Лель! Ета песня на фронте имеить первоклассный успех! Смотри, не проворонь вещь, приподнеси, як следуить быть». Называлась она «Два Максима».

Припев я напевала с утра до вечера:

«Так-так-так», — говорит пулеметчик,
«Так-так-так», — говорит пулемет.

Первыми песни с фронта исполняли в Харькове участники маминого кружка самодеятельности в ремесленном училище N 11.

А кто прислал эти песни с самого фронта, с самой передовой? Мой папа!

На экранах с огромным успехом шел фильм «Здравствуй, Москва!» Кинотеатры переполнены, у билетных касс толкучка. В этом фильме столица впервые мирная, праздничная. Значит, скоро весна, скоро победа. Песню А.Лепина из этого фильма пели все:

Нас улица шумом встречала,
Звенела бульваров листва.

Вступая под свода вокзала,
Шептали мы: «Здравствуй, Москва!»

В мамином кружке эту песню пела девушка с необыкновенно красивым голосом. Настоящее меццо-сопрано. Звали ее Тася. Репетировать она не любила. Отвернется от всех и нехотя поет, глядя в потолок.

А на концерте на сцену ее выталкивали силком. Тася, не доходя до середины, тут же сбоку и останавливалась, вцепившись в темно-синий занавес.

Андрей Степанович с улыбкой переносил стул с середины сцены к ней поближе, как будто так и надо, и играл вступление. А в зале и за кулисами напряженно ждали: запоет или не запоет? Вдруг ее опять «зажмет»?

Что такое «зажмет»? Я этого не понимала. Стоишь на сцене… В зале, за кулисами все на тебя смотрят, ждут. Ты в центре внимания. Вот жизнь! Раскрывайся, как хочешь! А тут — «зажим».

Я тогда решила: голос у Таси прекрасный, но радости она от него не получает. Зрителей не любит. Значит, не актриса.

В кружке у мамы была еще одна девушка с прекрасным голосом — чистое прозрачное колоратурное сопрано. Она была удивительно музыкальной, а когда пела:

Он, нэ свиты, мисячэньку,
Нэ свиты никому,
Тильки свиты милэнькому,
Як идэ до дому, —

зал замирал от восторга. Как она любила петь, любила зрительный зал! Когда пела, становилась красивой, счастливой. Сейчас ее знает вся страна. Это народная артистка СССР Евгения Мирошниченко — солистка Киевского театра оперы и балета.

Вести самодеятельность в училище маме помогала девушка, из которой получился бы «исключительный массовик». Лиду все уважали. Мне она казалась очень красивой и чем-то напоминала маму. Такая же энергичная, жизнерадостная, «видная». Только голос у нее был сиплый. Создавалось впечатление, будто она все время простужена. Как-то Лида рассказала нам, как немцы зимой заставили всех жителей ее села рыть окопы. Началась бомбежка, паника, они с матерью потеряли друг друга. Лида бегала по полю и кричала: «Ма-ма!» Потом она нашла ее убитой… «Наверное, тогда, на морозе, я и сорвала голос».

… В дверь стучит женщина. На ней плащ, весь в глине. Лицо у женщины измученное, видно, что она чем-то очень расстроена. В двери появляется головка девочки. Ей лет четырнадцать-пятнадцать, худенькая, изможденная голодом, блокадой, с большим открытым лбом, с косичками.

— Ты Соня?

— Да…

— Вот, — и женщина протягивает девочке маленький сверток. В нем — скомканные деньги и фотографии детей, Сони и мальчика лет девяти.

Девочка испуганно поднимает глаза на женщину.

— Твою маму в окопах… убили немцы.

Это сцена из фильма «Балтийское небо» по одноименному роману Николая Чуковского. «Балтийское небо» — фильм о летчиках, защищавших небо блокадного Ленинграда от фашистов в годы войны.

На роль Сони было много кинопроб. Но актрисы на экране выглядели здоровыми, упитанными. Кто-то назвал мою фамилию, пошутив насчет «блокадных признаков». Пошутили, но на пробу меня решили пригласить.

Владимир Яковлевич Венгеров, первый режиссер, который поверил в мои драматические способности. Для меня эта проба была важнейшей попыткой сыграть драматическую роль на экране после «Карнавальной ночи» и «Девушки с гитарой».

Я углублялась в атмосферу войны. Вот мою бедную маму ведут на расстрел… Ведь я это пережила. Что я тогда чувствовала? Надо обязательно все еще раз пережить. Еще и еще раз видела поле, бегала по нему и до хрипоты кричала «Мама»… В павильон входила наполненная. Перестала петь и вертеться, училась на глазах у съемочной группы находиться наедине со своим героем.

Роль Сони принесла мне удачу. И пресса обо мне хорошо писала: «По-новому, неожиданно, в драматической роли раскрылась актриса Л.Гурченко». Но инерция после музыкально-комедийных ролей была сильнее, и драматическая роль в «Балтийском небе» мою дальнейшую судьбу в кино не изменила.

Венгеров про меня не забывал, и в 1965 году я снялась у него в фильме «Рабочий поселок» по сценарию Веры Пановой. В пяти эпизодах предстояло сыграть большую человеческую трагедию.

Я знала, что в «Рабочем поселке» не будет кинопроб с другими актрисами. Об этом мне твердо сказал Владимир Яковлевич. И я, счастливая, прискакала на «Ленфильм» не «из роли», а из «другой оперы». Влетела в группу — в малиновом костюме с рыжей лисой. На голове малиновая шапочка с

бантиком, на ногах черные ажурные чулки в розах! Шик!

Когда меня увидел директор картины, он побледнел: "Володя! Через мой труп эта фифа будет сниматься в «Рабочем поселке», — сказал он Венгерову. Это он мне потом сам рассказал.

В гриме и костюме я прошла по декорации, чтобы подготовить себя к роли, к пробе. Голая, убогая комната. В доме горе. Муж Марии не перенес своей трагедии, своей слепоты. Он пьет. И Мария не выдержит: она возьмет сына и уйдет из дома, а муж-инвалид останется одиноким.

— Вы бы подмели… Сейчас актеры придут. А почему вообще сидите в декорации? За что вам деньги платят? — услышала я раздраженный голос директора картины.

— Вы мне?

— Да, да, вам! А кому же? Ох, простите, вот это да! Людмилочка! Дорогая! Простите, я вас не узнал… Ну-у, такого со мной еще не бывало…

Очень была хорошая пресса. Но роли Сони и Марии Плещеевой были только единичными удачами. Чтобы моя судьба в кино изменилась, нужна более крупная, масштабная роль. Но такой, не было еще очень-очень долго.

… Новый 1945 год! Это был первый Новый год, который мы справляли с мамой— с тех пор, как началась война. Когда они были, новогодние праздники, кто их справлял? Не имели понятия. А вот 1945-й был! В ремесленном училище N 11. С настоящей елкой, с танцами и, конечно, с самодеятельностью.

В этот праздничный вечер сразу было ясно, у кого есть родители, а у кого нет. По одежде. Сестры Сусанна и Лаура были одеты нарядно — в шелковые пестрые платья с плечами и шелковые чулки. Пели сестры музыкально, обняв друг друга за талию. Мне нравилась их песня про «Царицу Тамару», которая жила в замке на высокой горе, была очень красивой и долго ждала любви. Я вообще очень любила фильмы и песни про цариц, королев и герцогинь.

Первой на сцену вышла Лида в форме училища. На ногах — грубые черные ботинки на шнурках до щиколоток. Форму она украсила белым воротничком. Лида проникновенно читала стихи К.Симонова «Жди меня». Потом, как всегда, прекрасно пела Женя Мирошниченко. И, как всегда, случился «зажим» у Таси.

По маминому сценарию финал концерта был задуман так: когда Тася поет последний куплет песни «Здравствуй, Москва!», все участники кружка выходят на сцену и подпевают ей. Песню подхватывает весь зал. Выкрикивают лозунги и поздравления: «Победа будет за нами!», «Уничтожим врага в его логове!», «На

Берлин!», «Да здравствует наш вождь и учитель великий Сталин!», «Да здравствует Москва!», «Да здравствует новый, 1945 год!», «Ура-а-а!!»

А у Таси «зажим». Все знали про ее «зажим», но без нее концерт самодеятельности был неполноценным.

Тася стояла на сцене и с большим вниманием рассматривала что-то в зале. За кулисами все нервничали, Лида успокаивала маму. Мама больно вцепилась мне в плечо. Я еле сдерживалась, чтобы не «айкнуть». Андрей Степанович покрылся пятнами, а потом жаловался маме, что у него так кололо сердце, «ну не вздохнуть, не охнуть… так перенервничал, что будь оно все проклято…»

— Начинай прямо с третьего куплета, — шептала мама из-за кулис. Тася все смотрела в одну точку. Потом она тяжело вздохнула. Ее тут же из зала кто-то громко передразнил. Раздался смех.

— Прекратите, или выгоню с вечера! — выскочила из-за кулис Лида.

Тася даже бровью не повела.

— Еще раз, — сказала она Андрею Степановичу. И прекрасно спела всю песню!

Директор училища жал маме руку, благодарил за чуткий подход к детям. Когда мама еще только начинала работать, он просил ее быть внимательной и терпеливой с теми детьми, у которых нет родителей, активно вовлекать их в кружок. Тася была из детского дома. К ней мама относилась особенно нежно: «Тася, у тебя такой чудесный голос! Ты должна петь!»

— Мам! А почему ты мне никогда так не говорила? Вот мой папочка…

— Твой любимый папочка готов сказать, что угодно… лишь бы быть хорошим. У тебя нет такого голоса.

Прав мой папа: «Чужога хвалить, а своего кровнага у грязь топчить».

В тот же вечер Тася объявила, что больше выступать не будет. Прямо так твердо и сказала: «Больше не буду. Не буду больше».

Как много непонятного и загадочного в жизни. С таким голосом — и не петь. Почему? А в музыкальной школе есть дети почти без слуха. Им долбят на рояле одну ноту десять раз. Они из кожи лезут вон, чтобы запеть, — и ничего.

В двенадцать часов ночи торжественно зажгли лампочки на елке. Все обнимались, плакали, поздравляли друг друга.

Начались танцы. Я сидела под елкой, рядом с Андреем Степановичем. Как до войны с папой…

«Нормальных пар» были единицы. Они сразу же становились

объектом повышенного внимания, улыбочек, пошлых острот. Танцевали девушка с девушкой. В перерывах мама проводила игры, аттракционы, чтобы дать отдохнуть баянисту. И это точно, как с папой до войны.

А потом директор училища подошел к маме и сказал, что пора заканчивать вечер. Некоторые ребята уже выпили…

Мальчики сидели на подоконниках. Я пробежалась… Да, действительно, попахивает… И разговоры стали развязнее… Почему они не ходят в кружок самодеятельности? В кружке были только одни девочки. Эх, вы…

Мы с мамой счастливо встретили Новый год! Расходились под утро. Распрощались с Андреем Степановичем. Ему через мост к театру музыкальной комедии. Мальчишки пошли провожать Андрея Степановича до самого дома, чтобы по дороге хулиганы не отобрали баян. А мы с мамой пошли по Клочковской. Ночью на улице было пусто. Снег валил крупными хлопьями. Я ловила их и была счастлива. Под Новый год в Харькове часто потом шел такой снег.

Ночью на улице было непривычно и страшно. Когда мы увидели впереди темную фигуру, мама крепко взяла меня за руку. Фигура странно пошатывалась и медленно приближалась. Это была женщина: в шинели, в черных ботинках до щиколоток. Только что, несколько часов тому назад, она вела концерт, потом весело танцевала:.. Так хотелось расспросить маму, но я знала заранее, что она скажет: «Это не твое дело».

Ну, что же происходит? Тася! Лида! Что же это такое — «жизнь?» Ничего, ничего я не понимала. Ночью не спала, раздумывала над жизнью. Может, взрослые знают что-то такое, чего не знаю я? Может, мне действительно такое рано понимать. Но я ничем не могла оправдать свою любимицу. Я пристально ее разглядывала. Где же та щель, из которой могло произойти «то»? Я не могла ее любить, как раньше. Мне мешало «то».

Меня преследовало видение: вот, я уже взрослая, иду качаюсь… На меня смотрит девочка. Это тоже я, но еще маленькая. Какая же я некрасивая, отталкивающая, чужая… Как мне маленькой стыдно за себя большую… Нет, пусть в жизни мне будет очень тяжело, очень… Но «этого» со мной не произойдет. Никогда.

ПЕРВЫЙ ЗАРАБОТОК

Весной, перед самой Победой, мы с мамой поехали в Лубны. Это недалеко от Харькова. Там было все дешевле, чем у нас на базаре. После трудной зимы мама хотела меня подкормить, поставить на ноги. Мама теперь чаще бывала со мной, даже советовалась, — ведь тети Вали рядом не было. Вот почему и в Лубны мы поехали вместе.

Чего только на базаре в Лубнах не было: и блинчики с мясом и творогом, и вареники с картошкой, и куличи, и соленые красные помидоры… Мы купили целую корзину яиц, курицу, небольшой каравай пшеничного хлеба и две бутылки молока на обратную дорогу.

В вагоне мама подсчитывала, сколько она сэкономила и на сколько в Харькове на базаре все дороже. Ее рука судорожно шныряла за пазуху, где она всегда держала деньги.

Напротив нас сидел чересчур бойкий дядька. Как только мы вошли в вагон, он сразу стал приставать с расспросами: как меня зовут, как зовут маму, где папа, сколько лет маме, сколько лет папе, «Ай-ай-ай! Какой старый папа».

— Сами вы старый.

— Нехорошо так отвечать старшим.

— А вы не задавайте ребенку бестактных вопросов, — отрезала мама.

Долго ехали молча. Поезд часто останавливался. Входили и выходили все новые и новые люди. Зашла и потеснила нас пара — муж и жена. Чем ближе к Харькову, тем теснее и теснее становилось в вагоне. К концу нашего путешествия купе было забито мешками и чемоданами. В пыльном окне садилось желтое солнце. Я подумала, что хорошо бы вернуться домой до наступления темноты. У нас такие продукты, а с вокзала до дома идти не менее часа… страшно.

— Девочка, а сколько тебе лет? Как тебя зовут?

«Начинается…» — подумала я и покосилась на женщину, что потеснила нас.

— В каком ты классе учишься и почему не в школе?

Я посмотрела на маму.

— Так надо, — ответила за меня мама.

— Я еще учусь в музыкальной школе… сразу в двух. Вот, — сказала я, чтобы она не приставала больше к маме.

— Какая умница! Ты играешь? Молодец.

— Вообще, я играю, но больше пою.

— Вот как! Может ты нам споешь? А мы послушаем. Или ты

стесняешься?

Мне услышать, что я «стесняюсь» петь, — ну это… даже и слова не подберу — смешно. Да у меня внутри сразу разлилось такое блаженство от предвкушения того, что сейчас будет… Но, сдерживая себя, вежливо отвечаю:

— Я не стесняюсь. Я спою. Пожалуйста. Что?

— Давай что-нибудь цыганское! — И с верхней полки свесилась курчавая голова молодого парня. Он хитро улыбался, и было видно, что у него нет передних зубов. Я выбирала в памяти самую выгодную песню, а параллельно рисовала картину драки, в которой ему выбили зубы…

Эх! Да бирюзовые, да златы колечики,
Ой, да раскатились тихо по лужку…

Ну и задачу мне подкинул беззубый! По правилам, я всегда в конце пою шуточные, бойкие и цыганские. А тут пришлось в самом начале взять «градус». Ведь в «Бирюзовых колечиках» я уже и плечами по-цыгански подтрясываю, и руками прихлопываю в ритм: «эч-тата, эч-тата», а в конце — мягкая пластичная чечеточка и удары по груди и коленям… Значит, и все остальные песни дальше придется исполнять живее. И посмелее!

Среди пассажиров началось оживление. Меня рассматривали, просили передних пригнуться, чтобы было видно. Самой о репертуаре думать не нужно — только успевай выполнять заказы. А я знала все. Что попросят — то и пою.

В то время и для молодых, и для пожилых — для всех поколений — любимыми были одни и те же песни. Я пела «Землянку», «Два Максима», «Любушку-голубушку», «Шаланды», «Гармониста», «Черемуху», «Синий платочек», «Соловьи», «Офицерский вальс», «Татьяну», «Чубчик»…

Как же слушали люди! Все ждали покоя, мира, тишины, все жили одним — быстрей, быстрей бы кончилась война! Такие разные люди, попавшие случайно в один вагон, суровые и озабоченные, молчавшие на протяжении всего пути, — вдруг услышали песню и засветились, и растаяли, сидели голова к голове, плакали, улыбались…

— Товарищи! — сказал вдруг мужчина, что сидел напротив нас и все время поглядывал на маму. — Мы получили большое удовольствие. А за удовольствие, товарищи, надо платить! Ее отец сражается на поле битвы за нас, товарищи, за свою семью, за нашу Родину! Отблагодарим же, товарищи, и девочку и ее молодую симпатичную мамашу! Кто сколько может, товарищи! — И первый положил на стол красную тридцатку.

Больше всего денег летело сверху. Их кидал беззубый курчавый парень. Наверное, вор. А иначе, где взять столько денег, которые не жалко вот так кидать?

На столике лежала гора купюр. Мама была красная, чуть не плакала.

— Берите, мамаша, не отказывайтесь. Дочка ваша честно заработала. Берите — пригодится.

Мама сидела вцепившись в корзину с яйцами и курицей, и неотрывно смотрела на кучу денег. Тогда мужчина стал сам аккуратно складывать их по тридцаткам, по десяткам…

Поезд подошел к Харькову. Все тепло и уважительно попрощались с нами, как с родными… Последними вышли мы с мамой и тот дядька.

«Не отстанет, — подумала я, — хочет у нас отобрать деньги. Специально затеял этот сбор, чтобы поживиться». Но деньги уже надежно лежали у мамы за пазухой.

— А вас как зовут, дядя?

— Называй просто — дядя Ваня.

— Большое спасибо вам, дядя Ваня.

— Чего работать зря? Слушали — пусть платят… А как твою маму зовут?

Мама сильно толкнула меня в спину. Мы поспешно попрощались и побежали в другую сторону от вокзала, сделали крюк — и домой. Я неслась и на ходу придумывала, куда истрачу эти деньги, — мне очень много нужно было купить.

— Вот, Люся. Здесь шестьсот рублей. Это твои первые заработанные деньги. Видишь ли, я подумала… мы ведь давно не платили за музыкальную школу, вот ты сама за себя и заплатишь. Я думаю, это будет правильно. Завтра же напишу папе письмо на фронт. Он будет плакать…

А через десять лет мне в Москву мама прислала письмо: "Люся! Ты же знаешь папу. Уже весь Харьков в курсе, что ты нам прислала свою первую зарплату: он всех останавливает, всем рассказывает, где ты снимаешься, как будет называться картина, сообщает фамилию режиссера, всем показывает фотографию, где ты с Игорем Ильинским. Я перебегаю на другую сторону улицы, а папа разъясняет тем, кто нас не знает: «А вон то — ее мать».

ПАПА ВЕРНУЛСЯ

Война кончилась.

Была середина сентября. В городе, на Клочковской, в нашем дворе вспыхивали вечеринки. Это возвращались с войны мужья, сыновья, женихи. На всю улицу играл баян, пели, голосили, громко рыдали. На такую вечеринку заходи кто хочет — радость всеобщая. Обиды прощались. В нашем дворе тоже были две такие вечеринки — вернулись мужья.

Почему же до сих пор нет моего папы? Когда же, ну хоть приблизительно, его ждать?

… В дверь сильно стучали. Мама вскочила и побежала на кухню. За время войны я так привыкла спать с мамой, что мне стало холодно и одиноко. Это ощущение я тогда хорошо запомнила. В щели ставен пробивался серый рассвет.

— Кто?

— Лель, ето я! Открывай, не бойсь! Защитник Родины вернулся — Марк Гаврилович, не бойсь!

Послышались звуки открываемых замков: сначала тяжелый железный засов, потом ключ один, потом второй, потом цепочка…

— Та-ак! А хто дома?

— Люся.

— Ага, дочурка дома… А ето хто курив тут?

— Это я…

— Э-э, здорово, кума! Ну, держися!

Я вслушивалась в незнакомый хриплый голос и не чувствовала никакой радости. Было такое ощущение, будто что-то чужое, инородное врывается и разбивает привычный ритм жизни. Вдруг я вижу, как в комнате осторожно, согнувшись, появляется человек в военной форме, с зажигалкой в одной руке и с пистолетом в другой, заглядывает под стол, хотя стол без скатерти, потом под кровать, на которой я сижу, сжавшись в углу, а на меня никакого внимания. Вроде нужно как-то реагировать, что-то сказать, но не могу.

Все эти годы я так ждала папу, столько раз по-разному рисовала себе его приезд с фронта… А теперь все — его голос, и его поза, и серая ночь, и жалкая, испуганная мама — все-все-все не соответствовало чуду, которое я связывала со словом «папа».

Из-под кровати раздался сдавленный голос: «ничего… я усе равно взнаю… Люди — они скажуть… Тогда держися, тысяча вовков тибя зъешь… усех повбиваю… и сам у ДОПР сяду. Ну! Здорово, дочурка!»

Схватил меня на руки, подбросил в воздух: «У-у! Як выросла! Якая богинька стала, моя дочурочка. Усю войну плакав за дочуркую…» И залился горькими слезами, что «мою дочурку, мою клюкувку мать превратила в такога сухаря, в такую сиротку».

— Марк! Так ведь все голодали, да я сама, смотри, еле-еле душа в теле…

— От ты, Леличка, куришь, затумaниваешь, а ребенык аккынчательно отощал, на глазах пропадаить… Ничего, моя ластушка, твой папусик вернулся з Победую, теперь усе наладить! Поезд учера ще пришов, у девять вечера, насилу дождався. Приду, думаю, ноччю, у самый разгар… Сорвалось, ну ничего! — И тут же мне шепнул на ухо: Потом мне усе про нее изложишь, увесь материал.

Это был мой папа! Тот, которого я ждала! Но как же я могла только что не узнать его голоса, пугаться чего-то «чужого». Это мой папа! Его, именно его, мне не хватало все эти четыре года. Теперь я ему все расскажу — все обиды на маму, про все несправедливости, про стояние на коленях в углу — и все-все.

— Ну, Леличка, давай унесем у хату вещи. Што я своей дочурке привез!

В нашем сером и неуютном доме засверкали декоративные вещи. Первым папа вынул бережно завернутое в тряпочку маленькое ручное бронзовое зеркальце — сверху бабочка, снизу ангел, разглядывающий себя в зеркало. Наверное, ангел и поразил папу больше всего.

Каждый подарок он сопровождал историей: «У город вошли без боя. Спали у баронським замку. Такога я ще з роду не видив. Ты бы поглядела, Леля, якая красота. Куда там моему пану у диревни. Озеро, лебиди… Усе стоить, а хозяев нима — как только што вшли. Лежить усе на столах, собаки воють, свинни землю роють, лошыди хрипять. Земля не паханая — прямо плачить земелька. Нашей братве што нада — поесть да выпить. Крепко выпили и спали, а я не спав… Пошев у во двор, поналив усем воды, понакармив усех собак, свинней, а на утро вже усе — ко мне на перебой! Скотина, она же не виноватая… Як увидев ето зеркальце — дай, думаю, дочурочке привезу. Усю жизнь у него глядеть будить и папусика помнить».

Так и есть. Смотрюсь в это зеркало с бабочками и ангелом и вижу папу…

— Лялюша! Про тибя тоже не забыв, — и бросил маме мешок. Ого! Ей большой мешок. А мне? Мама скрылась в другой комнате.

— Тибе, дочурочка, ще веломашину женскую привез. Завтра у багаже з Лелюю возьмем. Прямо на дороге подобрав, сам починив. Не новая, правда, но ездить ще можна. А главное,

дочурка, ты у меня актриса. И я тибе привез главный подарык! Исключительно артистическое платтика. Усе у каменнях… Такое тяжелое, черт. Его вже у самом Берлине старушка на базаре за сахар отдала. Я ей ще и хлеб у придачу — а она аж руки лезить целовать. «Да што вы, мам, якой я пан? — паном меня называить, — берите, еште на здоровье». Так она меня расстроила.

Чтобы увидеть это платье, надо представить себе павлиний хвост, только не из перьев, а из бисера и переливающихся камней. Таким оно было сзади, а впереди платье было короче и висели гирлянды бисера, как на абажуре. К этому платью были еще зеленые атласные туфли на высоком тонком каблуке 35-го размера — «ну вокурат, як у дочурки».

Как же папа мой восхищался! Только он так умел: «Вот ета да! Як я угадав. А сидить платтика — як тут было. Ну, дочурка, ты щас в меня настоящая пава! Утрушкум у во двор оттак, у етым платтике и выйди — усех соседей на лупаты положишь! Во папусик так папусик! Во ето Марк Гаврилович…»

Мы услышали, как в соседней комнате что-то тихо замурлыкала мама. Мама пела редко. Слух у нее был неважный, и она боялась наших насмешек. Она напевала «Осень», и в ее пении чувствовалась особенная, ее собственная радость и тайна. Мы с папой переглянулись — как-то забыли про маму — и вошли к ней. Она испуганно повернулась и вопросительно посмотрела на папу.

На ней было рыжее шерстяное платье, все в замысловатых сборках, с плечиками, на шее большие янтарные бусы, а на плечах чернобурая лисица — предел мечтаний каждой женщины в то время. В руках мама держала коричневую крокодиловую сумку.

— Ну девки, якеи вы в меня. Як на Первое мая! Во ета семья! Вот тибе, Лялюша, и Марк Гаврилович!

Мама собирала на стол все, что было в доме. Мы не переодевались. Папа сказал: «Ета праздник семьи. Хай усе нарядные будуть».

И опять папа полез в мешок. Опять замирает сердце. Опять жду, затаив дыхание. Он вынул что-то белое, тяжелое, состоящее из рожка и станка, на котором кружочек с цифрами. Папа подмигнул мне, приложив рожок к уху и громко, на всю квартиру произнес: «Алле! Елена Александровна! Здравие желаем! З вами говорить ваш любимый муж — Марк Гаврилович Гурченко! Як меня слышите? Не слышу вашега ответа…»

Мама вошла с тарелкой капусты и, счастливая, смотрела на папу.

— Марк, котик, ну зачем нам телефон? Куда нам звонить?

Есть нечего, дров, угля нет, а ты…

— Усе будить, Лялюша! Лишь бы здоровье господь послал. Теперь Марк Гаврилович вернулся! И хлеб будить, и топливо, и телефон. Зато самый лучий — белый! Такога ни в кого ни будить!

Наша голая, серая квартира… Я — в бисерном платье и в атласных туфлях, мама — с лисой на плечах и с тарелкой капусты и папа — в военной солдатской форме с двумя медалями и с белым телефоном…

Сейчас, через время, я смотрю на это со стороны, и мне кажется все необычным, смешным. А тогда все было естественным…

Наступило утро. Уже и выпили, и закусили. Я чувствовала, что мешаю — мама все время заставляла меня то посуду помыть, то занять очередь за хлебом…

Теперь мое место на кровати рядом с мамой навсегда занял папа. Надо было привыкать к новой жизни. Ведь я так о ней мечтала! Ведь наконец-то, наконец-то вернулся с войны мой самый сильный, необыкновенный папа!

БЛЕСТЯЩЕЕ «ПЛАТТИКА»

Меня послали спать в другую комнату, на диван. Я перенесла с собой и свое имущество: бронзовое зеркальце, блестящее платье, атласные туфли, на стенку приколола два портрета Марики Рекк. Но спать не хотелось. Мне нужно было в новом платье пройтись по улице, и чтоб было побольше народу.

— Дочурка, дорогенькая, сходи на базар, купи себе усе, што на глаза попадеть, — сказал папа и дал мне целый ком денег.

Мама тоже пролепетала что-то одобрительное и даже деньги не пересчитала, как будто боялась, что я не уйду. Да мне только это и нужно — выйти на улицу. А базар! Я об этом и не мечтала. Это ведь куда интереснее, чем просто гулять по улице!

Дорога на базар! Сколько раз я ее исходила вдоль и поперек. Как я ее люблю! Сейчас будет поворот на Лопань, где я часами стояла на морозе, чтобы набрать воды из проруби… Прощай навсегда, проклятое время! Мой папа вернулся с победой! И я иду в блестящем «платтике», в атласных туфлях на высоком каблуке, в руке пачка денег, на меня все оглядываются.

Все возбуждены. Все спешат. Сейчас время такое — радостное и неспокойное. Все одеты пестро — от пальто и ватников до ярких цветных халатов и чернобурых лис… На меня реагировали по-разному: «Ух, какое платье», «Чего только не увидишь теперь», «Девочка еще, а одета по-взрослому», «А может это маленькая артистка?» — Это мне больше всего по душе.

Вот и деревянные кладки (мостик) через Лопань. Надо идти осторожно, чтобы каблук не попал в щель между досками. Я иду, напеваю Штрауса высоким голосом, как Карла Доннер, но сейчас ей далеко до меня. Мое платье так блестит! Особенно когда выходишь на солнце. Аж глаза режет!

— Отец привез? Подойди-ка, покажись-ка… — приветствовал меня старичок, который любил, когда я пела с цыганами, и говорил такое красивое слово «гармония». Он и сейчас продавал порошки от клопов, блох, крыс, мышей… — Ну ты молодец, детка. Какая ты красавица! Будешь артисткой? Не раздумала?

— Никогда не раздумаю.

Я пошла «по своим» местам. Первый раз в жизни я ходила по базару с кучей денег. Вот молочные ряды, фруктовые. Мясной ряд! Здесь я раньше редко бывала, чтоб не расстраиваться. Тут продавалась домашняя деревенская колбаса с чесноком. Аппетитный запах от нее стоял уже на улице, а в павильоне!…

Денег у меня полно — со всеми расплачиваюсь, не торгуясь. Мое платье у торговок вызвало переполох. «Откуда? Где такое

достали? Ишь, щеголяет! А деньги то как швыряет! Чтоб соплячке столько денег дать! Живут же — черти…»

Мне все это очень нравилось. Я хожу, фасоню и покупаю все-все. Вот папа! Ну у кого еще есть такой добрый папа?

Я очень хотела сфотографироваться в этом платье. Раньше не было денег, а теперь есть и деньги, и платье сказочной красоты. Я обошла всю площадку, где стояли расписные декорации: из кавказской жизни, из деревенской жизни, из военной — фотография на фоне самолета. Но больше мне подходило полотно, где два лебедя плывут по голубому озеру навстречу друг другу. Между ними сажают человека. Если руки раскинуть в стороны, то получается, что ты держишь лебедей за шеи. Когда я подошла и увидела этот потрескавшийся картон близко… Ну нет! Рядом с моим дорогим платьем… это уже не то, это не солидно. Фотографы все наперебой предлагали свои услуги. Вот что значит платье! Раньше я часами с завистью наблюдала за теми, кто фотографировался, и меня никто не замечал…

Надька Швабра торговала теперь газированной водой, как раз напротив своего бывшего кафе. Ну-ка, попью водички. Интересно, узнает она меня или нет? Надька остолбенела, когда увидела мое платье. Я купила стакан воды с тройным сиропом.

— Спасибо, тетя Надя, — вежливо сказала я. Она изо всех сил вглядывалась в мое лицо, пока я медленно глотала воду. — Сильно сироп разбавляете. — Я поставила стакан и гордо ушла. А Швабра так и осталась стоять с открытым ртом.

Домой я еле-еле плелась. Ноги ныли от каблуков, на пятках волдыри. Стал накрапывать дождь. Я испугалась за платье. Побежала босиком. В одной руке несла туфли и деньги, в другой — мамину еще довоенную кожаную авоську. В ней все смешалось… В банке с медом плавали яйца, помидоры и груши вперемежку с чесноковой колбасой и пирожками с повидлом… Кулек с карамельками и петушками прорвался, и петушок застрял в дырке… а карамельки сыпались… и я их собирала. Сколько всего вкусного! Сейчас всех угощу! Надо бежать быстрее! Ведь дома мой папа! Неужели это правда? Нельзя поверить…

Дома я аккуратно сложила свое «артистическое» платье. Эх, не знала я еще тогда, что очень скоро этого платья уже не будет. Мы продадим его в комиссионном магазине за пятьсот рублей старыми деньгами. Правда, папа тут же спохватится, побежит в магазин, но ему скажут: «Ваше платье через 15 минут после сдачи купила какая-то актриса. Это редкое платье».

Папа до конца жизни переживал, что допустил такой «ляпсус». Какие бы потом у меня ни были платья, папа говорил: «Да ето хорошее платтика, а такога, як папусик тибе подарив,

нема».

Я сама всю жизнь ищу такое, как то, папино.

Первые радости прошли. Мы с папой побывали у всех его друзей-баянистов, оставшихся в живых. Пароходик погиб, дядю Васю убили… Город был разрушен. Массовики и баянисты не требовались. «Голод из голодов» — так говорили про этот послевоенный год.

Первой на базар уплыла моя «веломашина». Несколько раз папа вывозил меня в сад Шевченко учиться ездить. Но сразу у меня не получалось. А папа любил, чтобы все получалось сразу: «Раз, два — и у дамках». А раз сходу не вышло — уже не интересно. Велосипед стоял без дела. На базаре он тоже спросом не пользовался. Мы с папой долго стояли на толкучке. Я все время держала его за руку или сидела на коленях, обняв за шею, — все боялась, что он исчезнет. Мы с ним сильно замерзли — это было уже начало зимы. Папа уговаривал деревенскую тетку с мешками:

— Веломашина у диревни нужна, як воздух, галава ты. Ето ценная вещь. Усе на плечах несуть, надрываются, а ты, як барыня, мешки на машину поклала, она сама и везеть. А ты идешь и тока поплевываешь. Немцы — они тибе не дураки. У каждога в хозяйстви — пажалста тибе — веломашина, а то и две. А мы што, хужий? Вот и у тибя будить… Тибя як звать?

— Груня.

— Эка якое имя! Бери, Груша, ще спасибо скажешь.

Женщина послушно вынула из чулка платочек с деньгами, отсчитала, тяжело вздохнула и отдала папе. Он ей погрузил мешки и показал, как надо идти сбоку велосипеда, чтобы не задевать ногой за педаль.

— Ну, Груша, с богум! Ездий на здоровье…

Она медленно повела машину в одну сторону, а мы быстро пошли в другую, пока тетка не передумала.

На деньги от велосипеда с трудом прожили два дня. Папа не мог разобраться в новой жизни. Его все подводили, обещали, всем он верил, все у него были хорошие люди. Мама его учила, упрекала, что он не деловой.

— Як же не деловой? А веломашину хто продав у самый несезон? А?

— Марк, котик! Ты ее не продал, а подарил. Да, да, просто подарил. Тебе дали втрое дешевле, миленький. — Опять она становилась ехидной. Мне было жалко папу. Он действительно не понимал, что происходит на базаре, что творится вокруг, что ему делать, как ему начать мирную жизнь…

Продажей остальных вещей занялась мама.

— Встретила на базаре твоего Удава. Вот кто практичный человек! Привез отрезы, зажигалки, вокруг него толпа — все нарасхват… Молодец Удав! Марк, ты идиот! Есть нечего, нечего есть! Ты это понимаешь? Кому, к черту, нужны твои зеркала, смокинги и телефоны? У нас в голодовку все это валялось на помойках… Ну иди, иди, продавай свой смокинг! Я посмотрю, кто его купит…

— Полегчий, Лель, не нада, не нада так. Ты же знаешь, я етага не вмею. Купить, продать. Я привез усе, што душа просила. Не нада меня обижать… — И заплакал. Я тут же подбежала, крепко обняла папу и сурово посмотрела на маму. Ей было неловко.

Дошла очередь и до маминой лисы.

— Идем усе в фотографию, и хай фотограф нас усех запечатлить у всем богатом. Ну а потом вже продадим.

Осталась фотография, где мама с лисой, папа в красивом двубортном сером костюме, в руках у мамы аккордеон, который напрокат давал фотограф, папа на фоне своего баяна, а я с чубчиком и с маленькой гармошкой в руках.

Утром папа будил меня в школу:

— Вставай, моя ластушка, нада иттить грызть гранит науки… Ув обязательном порядке нада получать образование, штоб ты не была, як я. Моей богиньке, моей клюкувке, ничегинька нима кушыть. Ах ты ж, в триста богов…

Он давал мне в школу банку каши, которую я съедала на первой же переменке, и, вытирая слезы, стоял около ворот, пока я не скрывалась за углом. Вот счастье! Приду домой, а папа меня ждет!

Папа настойчиво ходил, искал работу, но безуспешно. А не работать он не мог. Он должен был что-то делать — пусть не по специальности, но обязательно работать! И однажды он все-таки ее нашел. Пришел счастливый: «Завтра, прямо з утра, выхожу на работу, Лель. Устроився у библиотики Короленко. И не как-нибудь, а завхозом!» Папе так нравилось слово «завхоз» — заведующий всем хозяйством! Мама осторожно заметила, что это не так просто, можно запутаться в счетах.

— Ну, ето если работать нечестно. А я человек благородный, делу преданный усею душою, што там гаварить. Ну, Леличка, у меня и крошки не пропадеть…

— Ну, смотри, — сказала мама.

А папа мне моргнул:

— Завидуить, дочурка, што мне кругом почет и уважение, што я теперь завхоз.

Какие у папы были обязанности, никто не знал, но только мы с мамой целыми днями помогали ему сортировать книги, которыми были забиты все подвалы библиотеки до самого потолка.

Папа рьяно взялся за запущенное хозяйство. Но разложить книги в стопки, по шкафам было далеко еще не все.

Скоро папа без мамы вообще ничего не соображал. Только и слышалось:

— Лель, а ето куда? Лель, а з етим што делать? И как ты усе помнишь — куда што? Лель, погавари ты з начальством, у тибя ета лучий выходить. Не, дочурочка, мама, як захочить, усе чисто соображаить. Усю библиотеку у порядок привела. Я ще тока название книжки разбираю, успомню пока, а де етый писатель у нас лежить, а мама вже целую гору разобрала. Да што там, галава, одним словум.

Так папа и мама за одну зарплату вдвоем приводили в порядок библиотеку. А голод был все нестерпимее — в тот год был редкий неурожай.

Больше всех не выдерживал и страдал папа. «Ну як же вы терпите? Не могу, аккынчательно присох, кишки трищать».

Мы с мамой за войну привыкли, а папа на фронте не голодал, получал паек. На нас смотрел с любопытством — не жалуемся и смеемся еще.

— Марк, это разве голод? Есть каша, хлеб по карточкам, что ты? Ты бы видел, как мы жили, когда вообще ничего не было — ни еды, ни воды, ни дров. На улице мороз. Хоть ложись и помирай! А это… жить можно.

— Бедная моя дочурочка! Што у жизни пережила, а ще и жизни не видела…

И зародилась у папы мысль поехать в свою родную деревню.

— Лель, там картошка есь. Можа, и мясца привезу.

Мама молчала.

— Нада, Лель, зъездить мне на родину. Сколько лет я у диревни не быв? Ето, считай, года с двадцать восьмога… Грех! И дочурочку свою усем покажу, хай увидить дочурка, где папусик родився. Ще батька мой живеть, брат Егор… Та много ще родичей.

ДЕРЕВНЯ

В деревню папа всем повез подарки. Он взял и свои часы, и свой костюм серый двубортный, который маме жалко было продавать. Но больше всего ее интересовало, кому он подарит черный фрак с атласными лацканами.

— Марк, котик, хочется посмотреть, кто в деревне наденет фрак с хвостом, хи-хи-хи… куда он в нем пойдет? Коров пасти? Хи-хи-хи! Тебе он не нужен, а в деревне… Хи-хи-хи.

— Вот она, дочурка, «симановщина». Ух-х, якая порода вредная!

Всю войну папа мечтал, как мы с ним вдвоем будем выступать: он во фраке, а дочурка в блестящем платье.

Поезд нас довез до Смоленска, потом ехали на другом поезде до Ярославля, потом на попутном грузовике, потом на подводе… и еще пешком десять километров.

Папа то шел быстро, задыхался: «Засхлебаюсь, аккынчательно», то останавливался, преображался, становился незнакомым, жадно смотрел вокруг, плакал…

— Вот ету деревеньку немцы спалили. И людей усех. Эх, дочурка, якая у меня здесь была ухажерка. Феня… такая пава. Ах ты ж, мамыньки родныи…

— Пап! А это еще до мамы было? Да?

Он посмотрел на меня внимательно, в его душе происходила борьба — рассказать или нет?

— Пошли дальший. Давно було, ще я хлопцем быв.

Значит у папы есть от меня тайна…

— Ипыть! Моя же ты дорогенькая. — Мы подошли к речушке. Ипуть — узкая, заросшая, с пробивающимся сквозь грязный талый снег сухим, жалким камышом.

— Як пойдешь удоль Ипыти, то вокурат упрешься у Брянский лес. А там, дочурка, иде начинается лес, там и стоить Дунаевщина.

Когда пришли в Дунаевщину, уже смеркалось. Здесь была одна улица — по обеим сторонам хатки-пятистенки. Улица упиралась в колхозные строения: контору, гумно, амбар. Соседние деревни, как я узнала потом, — Сморкачевка, а через речку Ипуть, на горке — Палым. Радио было только в колхозной конторе, кино показывалось раз в месяц в Палыме.

На улице никого — все в домах. Папин брат Егор писал, что немцы сожгли их старую хату и теперь вот пришлось выстроить новую пятистенку на старом месте. Папа эту хатку узнал сразу.

Он постоял у крыльца, взвалил на плечи деревянный

чемодан, незаметно перекрестился, что-то прошептал и сказал: «Ну пошли, што будить, то и будить». Он взял меня за руку, и мы вошли в сени. В сенях, рядом с нами, замычала корова. Как же они живут совсем рядом с коровой? Мы вошли в избу. В комнате темно. Свет шел из кухни — там стучали посудой. Опять промычала корова, и дверь скрипнула. Я села у входа на лавку.

— Ну, здорово, сынок, здорово, невлюддя. Думал, помру и не свидимся, — раздался голос из темного угла. Тут же из кухни, распахнув полотняные занавески, выскочила женщина с большим животом. За ней следом семенил босиком, в одной короткой рубашке, мальчик лет двух. Женщина бросилась не к нам, а в угол, откуда раздался этот сиплый голос, срывающийся на высокие ноты.

— Батя, батя, успокойтеся. Сейчас я лампу принясу. Ето Марка ваш приехал, Ягор говорил, что Марка с городскою дочкую приедить, — суетилась женщина вокруг «бати», словно боялась его. А к нам и не повернется. Из темноты снова послышался кашель, кряхтение, пересыпаемые крепкими словечками. Я увидела огонек раскуренной трубки. Женщина внесла большую керосиновую лампу. Двигалась она быстро, несмотря на необъятный живот, и так же быстро за ней шлепал мальчик с простертыми руками, хватая ее за юбку,

— Марка, что ты стоишь коло порога? Заходи у хату, садися. Сейчас Ягор придеть. Батя! Марка!.. Батя!.. Марка…

— Батька, прости… прости. Я ж не хотев…

— Сынок… Марка… нима матки. Нима Федоры. — Он закашлялся. — Кашель аккынчательно забив, усе кашляю… скоро помру, сынок.

Папа плакал, обнимал небольшого сухонького старичка с худым лицом и с бородкой клином. «Бородка у моего батьки клинушком, як у Калинина». Дедушка всхлипывал и кашлял. Я была разочарована. Дедушка мне представлялся большим, сильным, с седой бородой, а он вот всего лишь какой…

Я разглядывала дом. Русская печь, с нее еще двое мальчиков лет пяти и трех смотрели на меня. — Это ведь мои двоюродные братья. А за окнами поле, на котором кое-где еще лежал серый снег. За полем черной стеной стоял густой Брянский лес.

Когда я при свете лампы близко увидела лицо женщины, меня словно пригвоздили к месту. Никогда я не видела более красивого и совершенного лица. Вот это да! Настоящая красавица. Не в кино, не в городе, а в глухой деревне, жена папиного брата Егора, мать троих (а скоро и четвертый будет) детей. У нее было все совершенно необыкновенным: и кожа молочно-розовая, и длинная белая коса, и носик с чуткими

ноздрями, и широко поставленные зеленые глаза, и тонкие брови, и чуть припухшие веки — все. Ух, она меня сразила наповал.

Меня дедушка не обнял и не поцеловал, только смотрел колючими глазами. «Больно она в тебя, сынок, тоща. Надо подкормить ету худорбу. Што ето — одни дрябы…»

Я ела с аппетитом картошку с мясом, запивала парным молоком. Потом красивая женщина повела меня в туалет — просто за дом в огород. Светит луна, звезды, отовсюду все видно. Я с мукой на лице сказала, что стесняюсь, что тут все видно.

— А на что смотреть? Что ты свои бельмы вылупила? Давай, шевелися чуковней, — зло сказала красивая женщина. Я решила обращаться к ней как можно реже.

Меня положили спать на большую кровать. Матрац и подушка из соломы кололи лицо и бока. Вся семья спала на печке, полатях, а кровать стояла для красоты. Иногда на ней спали гости. Я лежала и слушала, о чем говорили дедушка и папа. Дедушка высказывал свои обиды — что папа уже и про бога забыл и молитвы небось не вспоминает, и что "ихнюю фамилию Гурченков зменил на Гурченко. А деж делася "в" на конце, спрашую?.."

Папа робко, как мальчик, объяснял, что молитвы в городе никто не читает, но он их не забыл. Он действительно их не забыл. Иногда перед обедом папа, подражая деревенскому попу, нараспев читал: «Оче всех, на тя, господи, уповаем. Ты даешь нам пищу заблаговременно, отвергающего щедрую руку твою, исполняющего всякое животное благоволе-е-ни-е…» Мы с мамой смеялись, а папа пережидал: мол, «вы, девки, смейтесь себе, а я свой долг исполнил, а может, и есть якая-то сила»…

— А насчет фамилии — так это у конце двадцатых годов получав я новый паспорт у шахти. «Як фамилия?» — спрашують. «Гурченков», — отвечаю. Ну, наверна, "в" и не вслышали. Увидев, что фамилия без "в" вже дома, хотев сходить у контору, а потом подумав: живу на Украини — што Гурченков, што Гурченко — один черт.

Пришел дядя Егор — маленький, некрасивый, прыщавый мужичонка-плюгавка… Ну почему так бывает в жизни? Ну как же его можно любить? А жена-красавица все смотрит на него, носится вокруг, «як квочка».

Дедушка тихо говорил о войне, об оккупации, о партизанах, о том, как погиб папин брат Михаил. Эту историю я знала от папы. Дядя Миша был связным партизанского отряда, а в деревне, для немцев, был старостой. Перед самым отступлением немцев дядю Мишу кто-то выдал. Немцы повесили его на глазах у всей деревни. Впереди поставили мать, отца и Егора. «Сожгли хату.

Мать твоя Федора Ивановна, через три дня померла, хай земля ей будить пухом. Усе терпела. И бив я ее здорово, и обижав — усе терпела, а етага не снесла. Вот тут, на етум поли, вокурат шагах у десяти от хаты и повесили Мишку. Вот, сынок».

Они выпили. Дедушка все время пыхтел трубкой и кашлял. Папа бил себя в грудь, клялся найти предателя, говорил, что обыщет и Палым и Сморкачевку, а «его» зарежет и добровольно сядет в ДОПР, но за Мишку отомстит.

Потом говорили по какую-то Феклу — ей дедушка с Егором тоже выстроили новую пятистенку. А Володька уже в армии. Он красивый, здоровый, служит во флоте. Папа опять плакал, говорил, что ему всех жалко, что все так в жизни получилось…

И еще дедушка жаловался на большие налоги. Говорил, что плохой урожай. И даже в Ипуте рыба перевелась, а раньше сколько ее ловили.

ФЕКЛА

Когда я проснулась на следующее утро, папы уже не было. Я попила молока, вышла на крыльцо и встретилась со своим дедушкой Гаврилой Семеновичем. Он курил трубку и смотрел на поле, где стаями летали и громко каркали огромные серые вороны. Жена Егора копала землю, дети бегали вокруг нее. О «туалете» не могло быть и речи. На мой вопрос, где папа, дедушка, не глядя на меня, ответил: «А кто его знает». Та-ак, приехали к «родичам»…

Уже вся деревня знала, что приехал «Марка з городскою дочкую». Женщины приходили посмотреть на меня. Зайдут к жене Егора, якобы по делу, «хочу Марка попросить — хай мне кукушку починить» (часы с кукушкой), говорят с ней, а сами откровенно меня рассматривают.

Под вечер шумно появился папа: сильно навеселе, с целой группой «кровенных». В центре внимания, счастливый и, как говорят, «стоя на хвосте».

Не было мамы, и папа летел по волнам на всех парусах! Разливали самогон «за честь, за дружбу», пели частушки — и папа ярче всех! Он был в своей родной стихии. Правду он говорил, что городская жизнь не для него. Он был такой счастливый, каким я не видела его в городе никогда. Здесь, в деревне, папа был первым человеком, и говорил грамотно, и повидал мир больше всех. «Я, братва, родився, можна сказать, на грани двух веков… Та што там гаварить! Пешком, щитай, прошел три государства — и Россию, и Польшу, и усю Германию. Да-а, братва, Германия тибе не Россия. Усе дома под черепицу узяты, усе аднаго роста, улицы длинные, ровные, як стрела, чистота… У хозяйстви усе есть: и свинни, и гуси, и лошыди… ув одном бароньским замку в озери лебеди плавають — белые, черные. Во красота! А бабы не то, наши лучий. Усе носатые, рыжие, но аккуратные — што да, то да. Идеть — и платтика на ней сидить, и белле шалковое с бархамотками и кружевом. Што ты смотришь? Ты што? Я?? Да божа меня упаси! Штоб я, благородный человек?! Не-е… Да вот тибе крест святой! Э, галава ты, вот послушай, што я тибе гаварю: идеть немка, а ветер ей платтика подымить — ну я и увидев. Ты што? Я — не-е». — И тут же подмаргивал. Все громко смеялись: «Ну, Марка, ну, мужик, вот ето наш, смоленский…»

— А на мою дочурку Людмилку не смотрите, што она сухарек, ета соплюшка ще вам такой концертик устругнеть! Усе чисто вмеить, она в меня: и поеть, и играить, и чечеточку и акробатику. Усе!

Дружки поглядывали на меня, как будто в чем-то передо мной были виноваты, — с жалостью, кисло усмехаясь. И опять с ожиданием — на папу.

В какой раз я уже слышала знаменитый папин рассказ, как маршал Рокоссовский ему лично баян подарил.

— Ну, братва, выступали мы перед самим Рокоссовським! Он з маленькую дочкую в первом ряду сидить. Усе выступають — ничего, а як до мене дошло… щас усе по порядку… Да-а, у начале концерта я аккомпанирую своему солисту Чернухе — ну голос! Як у попа — агромадина голос! Самогон только, зараза, хлещить здорово. Ну, словум, номер проходил хорошо. А во втором отделении я вже один, як солист, играю на маленьких гармоньках. Я ще выступлю тут у вас с дочкую, вы ще увидите, да! Усе гармоньки до единой сделав во етими руками. Ты што? Да я усе чисто вмею — я и столяр, я и плотник, я и буровых дел мастер — усе, што хош — и часы починю, и печку… Да-а, ну вот. Як дошло дело до самой маленькой гармоньки — увесь зал ходором. Успех самый больший! Ну а у конце Рокоссовський лично мне у руки вручив быян. Во етый самый… щас выну з футляру. Во! — «У-у-у», — загудели за столом. Это был баян итальянских мастеров «Фрателли Грозио». — Вот так, братва. — Все с любопытством рассматривали переливающийся инструмент.

Эту историю папа рассказывал до семидесяти пяти лет, каждый раз импровизировал с неожиданными деталями. Мы с мамой иногда выскакивали на кухню, чтобы он не слышал, как мы смеемся. То баян вручал ему лично Рокоссовский, то из всей бригады выделили его одного, и замполит «при усем народе» передал «от самого Рокоссовськаго» личную благодарность, а в подарок — баян. Дочка маршала то фигурировала в рассказе и просила папу подарить ей маленькую гармошку, то он вообще о ней не вспоминал. А однажды получилось, что папа выступал перед Рокоссовским, а баян ему вручил сам Жуков. Когда гости ушли, мама заметила, что «Жуков и Рокоссовский воевали, вообще-то, Марк, котик, на разных фронтах».

— А я што сказав, Жукув? Да, перегнув, Лялюша, а никто и не заметив.

В действительности же дело было так. Папа выступал в военно-прифронтовой концертной бригаде. В день они давали по три-четыре концерта. В грузовик с актерским реквизитом попал снаряд. Там находился и папин баян — тот, с которым он ушел на фронт, довоенный. Уцелел только кожаный мягкий футляр с маленькими гармошками, которые папа всегда держал при себе. Стало известно, что артисты пострадали. А концерты на передовой нужны были, как воздух. Командование фронта

распорядилось достать артистам все, чтобы они могли продолжать работу. И однажды папе вручили черный «Фрателли Грозио» и грамоту за отличное служение Родине и честное отношение к своему долгу. Другой же баян — белый, без камней — «Скандалли» вручили второму баянисту, дяде Сене, которого папа окрестил Удавом. А перед Рокоссовским папа действительно выступал и имел грамоту, подписанную маршалом лично. И если бы папа вокруг этого события не придумал истории — это был бы не он.

Еще пили «за Рокоссовськага», «за Жукува — ета настыящие солдаты… За Мишку, погибшего брата…»

А потом настроение за столом резко изменилось. Папа схватил нож, и все побежали в Сморкачевку, где якобы жил человек, который предал дядю Мишу… Папа с ножом в руке кричал: «За мной, братва! За Мишку его — в триста богов, в кровину! — разрежу на куски и сам в ДОПР сяду!»

Сколько раз я слышала раньше про ДОПР, но в этот раз было страшно.

На столе остались следы буйного застолья. Егорова жена убирала и зло бубнила что-то про моего папу. Дедушка курил свою трубку и молчал. Я легла спать. Папы не было всю ночь.

Утром пришла большая некрасивая женщина. Она смотрела на меня очень внимательно, сказала, что видела меня, когда я только родилась, а теперь уже вот какая я большая и очень похожа на папку, а на мамку совсем не похожа.

Эта женщина, Фекла, пригласила меня к себе в дом. Она жила в соседней хате. Наверное, это ей выстроил Егор с дедушкой новую пятистенку. Она почему-то называла дедушку батей. И дедушка, со всеми такой колючий, был к ней как-то особенно ласков. Наверное она тоже наша родственница… Так почему бы мне к ней не зайти? Дедушка молчит. Егорова жена злится, дети ее меня сторонятся. А Фекла такая добрая, внимательная.

Дома у нее было чисто, уютно. Кругом занавески, вышитые полотенца, все отделано деревенскими самодельными кружевами. На полу много маленьких ковриков — круглых, четырехугольных, треугольных — очень красиво. Я такого больше ни у кого не встречала. Угощала меня Фекла оладышками из крахмала, молоком и все смотрела на меня и смотрела, аж неловко становилось.

— Скоро у Красульки тяленочек будить… Не вчерась, так сягодня… А иде твой папка?

— Та пошел еще вчера в Сморкачевку кого-то резать за дядю Мишу и до сих пор нет…

— Ай-ай-ай! Чаво ж ты молчала? Штоб табе пряпадки забили!

Марка! Он же бешаный, ай-ай-ай! — И пулей выскочила из хаты.

Я осталась одна. Доела, все очень вкусно. И что-то захотелось домой, к маме! Я никогда не скучала без мамы, если со мной был папа. Захотелось плакать. Но папе не до меня, и впервые мне не хватает мамы.

Вечерело. Я сидела в доме дедушки у окна, смотрела на поле, на Брянский лес и ждала папу. Дядя Егор ушел по колхозным делам, дедушка курил и кашлял… слышно было, как в сенях корова хрумкала сеном.

И вдруг дедушка вскочил, сделал крюк по хате и появился, согнувшись, с ружьем… тихо приоткрыл окно и выстрелил.

— Хотел накрыть, вот и не ушла… язви ее в душу… — И побежал из хаты в поле. Так легко побежал, как молодой. Вот и папа мой так же легко бежит, точно как дедушка.

На столе лежала облезлая рыжая лиса, а рядом мертвая курица. Лиса давно воровала в деревне кур, цыплят. Дедушка ее все-таки выследил и теперь опять спокойно, как ни в чем не бывало, пыхтел своей трубкой.

К ночи появился папа. Совершенно трезвый, с синяком под глазом, с оборванным рукавом и очень бледный. Рядом с ним была Фекла и один «кровенный» друг. Фекла рассказывала дедушке, что еле отвела папу от греха… кто-то уже предупредил того человека, и его не оказалось дома.

— Ну, а Марка гаварить: «Я его дождуся, а не придеть, хату спалю». Насилу, батя, усе вместе сладили з ним… вы ж, батя, Марку знаете.

— Умная ты баба, Пекла. — И дедушка и папа Феклу называли почему-то Пеклой. Потом она виновато посмотрела на меня и поспешно ушла.

Я опять засыпала… и опять сквозь сон слышала папины угрозы, но уже не такие страшные, как днем. Да дядя Егор еще сказал, что это не доказано. Только так думают, что «он» выдал Мишку, а кто это знает наверняка?

— Ну ладно, хай живеть, — сказал наконец папа. — Бог, он шельму метить… Не я, так другие доберутся, жисть есть жисть… Ну, дочурочка вже спить, пойду-ка я Андреевне карася загоню…

Странные они все-таки, эти деревенские, и папа тоже. Сами же говорили, что в Ипуте рыба перевелась, а тут караси… И кто такая эта Андреевна?

КОНЦЕРТ В ДЕРЕВНЕ

Утром, очень рано, меня словно кто-то толкнул. Мне не надо было искать папу. Я точно знала, где он.

Когда я открыла дверь, Фекла возилась у плиты. На столе лежал папин заштопанный пиджак и чистая рубашка. Фекла так меня испугалась, что стала быстро шепотом, неразборчиво что-то говорить, из чего я поняла только: «Папка увесь больной…» Я все поняла.

Я выскочила из хаты, сильно хлопнув дверью. Я никого не хотела видеть. Целый день бродила по лесу, сильно замерзла; было страшно одной в темном лесу. Меня искали, кричали совсем близко…

Больше папа меня одну не оставлял. Он водил меня по своей родине, показывал и разрушенное имение пана, и поле, где ребенком пас панских лошадей. Показал небольшое нарядное кладбище, где похоронены были дядя Миша и бабушка Федора Ивановна. «Она тибя нянчила, када ты ще тока родилася, до нас у Харькув приезжала. Просила в Лели: „Дай мне ету девычку, ты ще молодая“. У нее ж одни сыны. Она все думала тябя в Лели забрать, а я штоб до Феклы з Володькую назад вернувсь… Меня за Феклу насильно оддали. Я ее не любив… Время пришло, я вже здорово перегуляв. А она здоровая была — одна воз поднимала — во, зараза, якая была. Ну, а у диревни вокурат такая у хозяйстви и годиться. Батьке з маткою она понравилась. А мне нравилася Феня…»

Одинокие бабы и старушки, оставшиеся после войны без мужской помощи, просили папу печку «перекласть», или забор покосившийся выправить, или залатать крышу… Многие знали его молодым и помнили, что у «Марка золотые руки».

Мы с папой ходили по хатам. Папа был счастливый, что может помочь, подсобить. Бабы меня подкармливали вкусным, охали и ахали — какая же «она в тебя, Марка, сухонькая…» И щупали меня осторожно-осторожно, чтобы я не рассыпалась, как будто я фарфоровая.

Водил меня папа и на деревенские вечеринки. Я и не думала, что в деревне так красиво танцуют. Приближалась Пасха. Папу разрывали на части, везде нужен был баянист. В деревенский танец «Страдания» я влюбилась. Он состоит из двух частей: медленной и быстрой. Взявшись за руки, парень с девушкой с постными лицами делают вялые движения, напоминающие начало краковяка, а потом, неожиданно обнявшись, озорно улыбаясь, быстро-быстро кружатся, положив головы на плечи друг

другу. И опять все сначала… вяло, равнодушно… и так долго-долго. Очень пластично, образно. Такого в городе не увидишь.

Между танцами пели хором. Одна песня мне очень понравилась. Ее пели на несколько голосов. Выяснилось, что это пасхальное песнопение, «Христос воскрес». Но разобрать нельзя было ни одного слова. Мелодию я схватила сразу. Со словами, к кому не обращалась, ничего толком не могла добиться. Оказалось, что «Стос» — это Христос, а «Рыбежай» — это раб божий. Я подумала, что все поют понаслышке, не понимая, о чем поют… просто так пели из поколения в поколение.

— Якой тебе техст?

— Ну, слова, те, что вы поете… только слова.

— А-а, ну давай:

Стос оскреся
Смертю
Смертю пра
Сушаа рыбежай
Бог дарував —

вот и все, что я услышала. Но пели красиво.

А в конце нашего пребывания в деревне мы дали двухчасовой наш с папой знаменитый «концерт».

Так вот для чего он брал с собой фрак! Эх, мама, прозорливая-прозорливая, а здесь и не сообразила…

Для меня этот концерт был очень важным. Если раньше я в одном выступлении только пела или пела и танцевала, или пела и показывала акробатический этюд, то в этом концерте в деревне я впервые должна была все это совместить и еще аккомпанировать папе на баяне во время его соло на маленьких гармошках. Только успевай! Лишь бы хватило духу! Я замирала от предвкушения радости этого вечера…

Папа вышел в черном фраке, в узких черных брюках из дорогого кастора, в белой манишке с черной бабочкой, в черных лаковых туфлях. Красавец! Все на нем выглядело удивительно импозантно. Очень сильно похожий на заграничного киногероя, папа никак не вписывался ни в публику, ни в стены деревенской колхозной конторы, но он ничего этого не замечал, от него так и шли к людям тепло, любовь и добро.

— Дорогие мои земляки! Щас перед вами выступить знакомый усем вам Марк Гаврилович Гурченко з своею дочуркой Людмилою Гурченко! Первым номером нашей программы вы услышите у моем исполнении соло на бьяне!

Папа уселся на край табурета, прямой, красивый. Я за

простыней готовилась к своему ответственному выступлению, раскладывала реквизит и слушала до боли родные звуки марша «Привет музыкантам».

— Почему, дорогие мои земляки, не слышу аплодисментов? Артиста нада приветствувать! Ето ему приливаить силу!

Послышались робкие аплодисменты. Аплодировала молодежь. Они в кино бывают, читают — знают, что значит «аплодисменты». За ними уже и бабы с мужиками, смущаясь и радуясь по-детски, начали хлопать в ладоши…

— Другое дело, земляки! Чуковней, чуковней — не стесняйтесь! Мелодекламация — исполняить актриса Людмила Гурченко! Аккомпанируить на быяне Марк Гаврилович! Не слышу аплодисмента… А-а! Во ето другое дело! — И шепотом мне: — Побольше драматизму, дочурка, ну давай, вжарь, як следуить… З богум.

И я, окрыленная папой и аплодисментами, начала драматическую мелодекламацию на мотив «Крутится, вертится шар голубой».

Лесом, полями, дорогой прямой
Парень идет на побывку домой.
Ранили парня — да что ж за беда?
Сердце играет, и кровь молода.
Скоро он будет в отцовском дому,
Выйдут родные навстречу ему.
Станет его поджидать у ворот
Та, о которой он песни поет.
Выйдет навстречу родимая мать.
«Как же, сыночек, тебя принимать?»
……
Парень подходит. Нигде ничего…
Горькое горе встречает его…
…….
Все поразграбили, хату сожгли,
А Настю, невесту, с собой увели.

Слушатели всхлипывали, громко сморкались. Все, о чем я читала, было для них понятным, знакомым, пережитым…

— А щас моя дочурка исполнить танцы республик! Гопак — танец Украины.

Я быстро забежала за простыню, надела на голову венок из бумажных цветов… Потом папа объявил «Танец Грузии — лезгинка». (Я надевала на голову косынку, завязывала узлом сбоку, чтобы болтались концы). Ударным, последним танцем был

татарский «Чок якши». Зрители должны повторять хором: «Чок якши!» Но папа сказал: «Тута бабы етага не потянуть… Давай без народу — одна». И я в маминой довоенной тюбетейке с удовольствием танцевала комичный танец «Чок якши».

Бабы и мужики аплодировали уже без напоминаний. Им понравилось. В конторе стало весело, все раскрепостились…

— А щас Марк Гаврилович исполнить «Паппури на тему советских песен». И не на быяне, земляки, а… щас узнаете. Такога вы ще не видели. Аккомпонирует мне на быяне уже знакомая усем моя дочурка Людмилка.

Это был папин коронный номер. Я только скромно играла на басах: умпа-умпа, умпа-умпа, или вальс: умпа-па-умпа-па. Мне нужно было подыгрывать папе, делать вид, будто я все вижу в первый раз, и удивляться, смеяться, следить, затаив дыхание… А следить было за чем! Папа играл на семи гармошках! Он постепенно вынимал все меньшую и меньшую. Футляр пустел и пустел. На каждой гармошке шел короткий музыкальный номер. Самая маленькая была с тремя клавишами, со спичечный коробок. Растянешь гармошку — «до», сдвинешь мехи — «ре». Три клавиши — шесть нот. К этой гармошке публика уже накалена. Нетерпеливое ожидание — неужели еще одна? Куда ж меньше? Папа смотрел на стол, где выстроились уже шесть «отработанных» инструментов, потом — в «кулисы», потом искал на полу, потом вопросительно смотрел на меня — я растерянно поднимала плечи. Зал проделывал то же самое. Все крутили головами, переговаривались громким шепотом. А папа, что-то наконец вспомнив, смотрел в один боковой карман… Нет! Во второй — нет… «Что же делать?» — говорило его растерянное лицо. И вдруг, сообразив, хлопнул себя по нагрудному карману фрака, подморгнув глазом залу, под общий одобрительный рев, вынимал малютку-гармошку вместе с носовым платком! Успех!.. «Та што там гаварить…»

— Лирические и патриотические песни наших композиторов. Поеть Людмила Гурченко!

Песни принимались с душой, а после исполнения «Давай закурим!» в задних рядах даже закурили.

В завершение я спела «Два Максима». А в конце песни вместо слов «так-так-так», — говорит пулемет" я выбивала звук пулемета чечеткой. И тут же следовал мой ударный номер.

— Акробатический этюд! У том же самом исполнении! Мастер на все руки — моя дочурка Людмилка! Ну, бабы, держитеся…

В это время я за простыней надела прямо на платье полосатые шаровары и вальсом выпорхнула на акробатический

номер. Что творилось в зале! Когда я сделала мостик, женщины вскочили, выкрикивая: «Марка! Угомони дочку! Она ж в тебя луснить напополам…» А папа играл вальс «Дунайские волны» и подмигивал — еще не то, мол, будет. Папа сиял!

В этот вечер папа был необыкновенно обаятельным. Я понимала маму, понимала, почему она его всегда прощала. Я вот все время старалась не забывать про обиду на папу, но у меня ничего не получалось. Я смотрела на него, и лицо мое помимо желания расплывалось в улыбке. А как же после этого сердиться? Это ж совсем глупо.

После концерта были танцы. Папа играл, а я с видом взрослой, опытной актрисы — одна бровь вверх, другая вниз — устало улыбалась публике.

Когда я стану актрисой, то обязательно буду и петь, и танцевать, и играть, и чечетку, и акробатику… Как сегодня. Ах, какое необыкновенное счастье — быть актрисой!

Моя мечта все сыграть в одной роли осуществилась через тридцать лет, в 1978 году в телевизионной программе «Бенефис». Здесь все мои героини поют, танцуют и, как каждая женщина, мечтают о любви! Готовая, в гриме, я входила в павильон, включали фонограмму … разливалась музыка — блаженство! И я неслась на крыльях навстречу своей осуществившейся мечте! Кто назвал этот жанр легким? Почему он неуважаем и к нему нет должного внимания? После «Карнавальной ночи» я долгие годы была актрисой несерьезной — «актрисулькой» легкого жанра. Я на себе испытала эту второсортность… Но какой же он легкий, если актеров этого жанра можно сосчитать по пальцам, а режиссеров — и того меньше? В легком жанре нужно обладать всем: здесь нужны и музыкальность, и пластичность, и ощущение тончайших нюансов в ритме, тональностях, оркестровках. Этими качествами актер и режиссер легкого жанра должны обладать плюс к тому, чем обладают режиссеры и актеры, работающие в «трудном» жанре.

Если это такой легкий жанр, то почему драматические актеры так редко бывают интересны в нем? Сейчас этот жанр в моде. Нет ни одного театра, где бы не ставили мюзиклы. Почему же так мало интересных открытий? Потому что для легкого жанра надо родиться! Если актер под чужую фонограмму открывает рот, то он только синхронно артикулирует, а поет и рвется наружу чья-то другая талантливая и эмоциональная душа. Если танец навязан актеру, то сразу заметно, что он не танцует, а работает. А работы в легком жанре не должно быть видно. Именно в этом смысле он действительно «легкий».

Теперь мне вроде простили старые грехи — принадлежность к легкому жанру. Недавно в одной статье, где разбирались мои последние драматические роли, проскользнула мысль: теперь, мол, она имеет право повалять дурака и побалагурить в «Бенефисе». Рядом с такими серьезными ролями это можно себе позволить… Нет, для меня это не так. Мой любимый легкий жанр меня всегда обновлял и делал счастливой, несмотря на результаты.

И тогда, в деревне, после концерта, мы с папой были так счастливы — мы два часа «держали» зал!

По Дунаевщине мой папа прошел могучим ураганом. Его никто и ничто не сдерживало, и он «выступал» во всю свою силу! Было все: и радость, и слезы, и безудержное загульное застолье, и тяжкое похмелье, и концерт во фраке, и воспоминания, и «кровенные», и батька, и поминки, и Фекла, и нож, и драки. Деревня словно бы вздрогнула, всколыхнулась, словно обновилась…

Нас провожали всей Дунаевщиной. Все несли гостинцы «для Марки и его дочки от городской бабы»…

Но больше всех хлопотала Фекла: «Для Люськи, для Лели. — А потом увидит меня, покраснеет: — Для твоей мамки». Провожала нас до самого поезда. Десять километров пешком несла на себе самое тяжелое. Папе не дала: «У папки твоего живот увесь рваный…»

Всю жизнь папа втайне страдал за Феклу и за сына Володю. Всю жизнь им помогал… Когда я была с папой в деревне, Володя служил на флоте — он на восемь лет старше меня. Я его увидела позже… Он похож на папу, только нос с горбинкой, как у Феклы. После армии Володя стал шахтером в Дзержинске. Он и сейчас там живет.

Когда папа умер, Володя приехал на похороны со своим старшим сыном. Мы стояли рядом, такие разные, но очень родные. А напротив стояла «Ляксандровна» — так называл Володя мою маму. Я все время смотрела на Володины руки — большие, сильные, точно как у папы, и, точно как у папы, на них были черные точки от угля…

Став взрослым, он все понял, простил отца. Но разве можно было его не простить? Ведь это же был папа… Он был таким. Вот и все.

Фекла так никогда больше и не вышла замуж, все ждала своего «Марку».

Мы стояли последний раз вокруг «Марки»: я, Володя, мама… и молчали…

«Спи спокойно, дорогой папа, — сказал, наконец, Володя. —

Хай земля тебе будить пухум…» Первый раз в моей жизни папу при мне еще кто-то называл папой…

Тогда, в 1946 году, когда мы возвращались домой в Харьков, папа меня попросил: «Не нада, дочурка, не гавари Лели… Ты же ее знаешь, не пойметь, начнеть вырабатывать себе разное…» — И заплакал. Я опять его сильно любила, даже еще сильнее.

СОВСЕМ БЕЗНАДЕЖНО

Вернулся раненый Паштетик, он сильно хромал. Паштетик работал в пивной на базаре, зарабатывал неплохо. Он предложил папе тоже поработать в пивной, чтобы продержаться, но мама об этом и слышать не хотела.

В доме у нас было совсем безнадежно. Кончилась деревенская картошка, кончилась мука, папа метался по городу, от дружка к дружку, по учреждениям, но работы по специальности все не было. И вскоре папа, провожая меня в школу, шепнул, чтобы я его нашла на базаре в пивной: «Нада, дочурка, мне подсобить. Тока маме ни звуку». После школы я прямиком — по Рымарской через Бурсацкий, на базар — к папе!

… Скоро в пивной появились постоянные клиенты — папины и мои поклонники. Все желали угостить баяниста. Буфетчик наливал клиенту водку, а папе воды. Папа весело чокался, говорил свое «за честь, за дружбу», а вечером получал деньги за водку, которую не пил. Зато холодной воды ему приходилось выпивать больше литра за вечер. «Вот баянист, какой здоровый, черт! Как пьет! И не пьяный», — удивлялись посетители, и папин авторитет еще больше вырастал.

Мои походы к папе держались в строгом секрете от мамы. Если бы от этом узнала Матильда Владимировна?! Да меня бы с позором выгнали из обеих школ… А я бегу без оглядки к папочке в пивнушку, которую он называл солидно — буфетом. «Да работаю щас временно ув одном буфете… Скоро вже будить настыящая работа». Настоящей работы еще долго не было, но жить нам стало немного легче.

Я пела, а клиенты, бывшие фронтовики, большей частью, израненные, потерявшие родных, теплели, оттаивали, начинали вспоминать… У буфетчика — больше заказов, папа чаще пил холодную воду, а мне сыпались деньжата и очередной заказ:

Как-то на вокзале молча мы стояли,
Будто мы попали в сказку или сон.
У билетной кассы, в затемненном зале,
Кто-то пел чудесно под аккордеон.
… И когда умолкла ария Надира,
Мы спросили: «Кто он, этот молодец?»
Нам ответил рядом голос пассажира:
"Вот он в гимнастерке, раненый боец.

(Папа на басах: па-па-па-па).

Обыкновенный русский человек,
Каких у нас в России миллионы.
Обыкновенный русский человек,
Надевший молча каску и погоны,
Любитель петь, шутник неугомонный,
Обыкновенный русский человек".

У нас в доме появились новые «кровенные» друзья, рьяные папины поклонники. Один — без руки, другой был танкистом, горел в танке — половина лица обожженная. А третий, такой красивый, голубоглазый, совсем молодой, — на коляске, без ног. Валентин. Подъедет, ни на кого не смотрит, глаза вниз — ни «здрасте», ни «до свидания»: «Марк Гаврилович у себя?» Проезжает прямо в комнату — хоп — на стул вместе с коляской и смотрит влюбленными глазами на папу. А маме было приказано принимать всех вежливо и быть «поласковее, полегчий з людьми, якеи пострадали за Родину». Начиналась любимая песня. Пел ее папа:

Майскими короткими ночами,
Отгремев, закончились бои.
Где же вы теперь, друзья-однополчане,
Тех боев и спутники мои?
Если ты случайно неженатый…

Валентин жениться не успел… Танкиста жена бросила… А у того, что без руки, все умерли в оккупацию…

Этот день я в жизни никогда не забуду! Маме сообщили, что меня видели в пивнушке. Сначала был жестокий скандал. «Какой ужас! Какой позор! Больше так жить невозможно!» Она возьмет меня и уйдет из дома, а папа пусть остается со своими сявками и бродягами. — «Это то, что тебе надо!» А ей хватит всю жизнь страдать. «И ребенка тянет за собой!» Ах, какая она несчастная!… Папа стоял, виновато опустив голову.

И вот в самый разгар скандала появляется вся «кровенная» троица с выпивкой, садятся по своим местам, и пошло «За честь, за дружбу», «За Марка Гавриловича!», «За Родину!», «За Сталина!», «Где же вы теперь, друзья-однополчане?»… И выпивки не хватило. Водки в доме не было. Деньги лежали в шифоньере под замком, а ключ был у мамы.

— Лялюша, подкинь деньжат…

— У меня денег нет.

— Лялюша полегчий, полегчий… ты ж меня знаешь. Прошу по-хорошему: сходи у магазин. У меня у доми мои кровенные друзья.

— Нашли себе пристанище! Вон пусть идут на базар, в пивнушку, «кровенные».

О чем мама думает? Как она отвечает? Разве с папой так можно? Да еще при людях, да когда он в таком состоянии… Что сейчас будет?!

— Значит, не дашь?

— Нет.

— Та-ак. Где мои пять братов, свинцом налиты — смертю пахнуть? — спросил папа, оглядывая свою огромную пятерню. — Я ДОПРа не боюсь… Ну, сама напросилася!

В маму полетели бутылки, стаканы, тарелки… Мы выскочили в коридор, но потом я не выдержала, опять заглянула в комнату — меня-то папа не тронет. На ходу перевернув стол, он подскочил к шкафу, одним ударом пробил фанерную дверцу (она аж запищала, бедная). Папина рука осталась там, внутри шкафа, он с силой рванул ее, и дверца открылась.

Папа десять лет был забойщиком в шахте. Уголь тогда рубили вручную, и папины руки были необыкновенно сильны. Один раз он на спор пробил дубовый стол. Потом две недели не мог играть. Очень любил быть победителем в спорах.

Папа вырвал руку, взглянул в зеркало. Белые страшные глаза попали в «волну», стали вдвое больше. Белое лицо. На лбу черные слипшиеся кольца волос… Даже «кровенные» притихли и перестали подначивать папу: «Ну-ка покажи ей…»

Мы с мамой побежали к тете Фросе. Она теперь жила в такой же квартире, как и мы, только подальше на Клочковской. Мы часто к ней ходили. Тетя Фрося папу знала с моего рождения.

… Мама точно рассчитала, когда пора возвращаться домой. Она шла очень быстро, победоносно напевая, заранее предвкушая наслаждение от того, как папа сейчас будет просить прощения. Я еле поспевала за ней и не знала, как мне вести себя: кого винить, кого жалеть, на чьей стороне быть…

Папа сидел посередине комнаты на стуле без спинки, вокруг — битая посуда, стол перевернут, руки у папы в засохшей крови…

Как только нас увидел, обхватил голову руками и зарыдал. Каждый раз у меня сердце разрывалось от жалости к нему. А мама стояла с неприступным видом и с тайным удовлетворением слушала: «Лялюша, дорогенькая, прости меня, прошу от чистага серца, бога ради… Я ж тибя усегда честь по чести прошу — когда

я пьяный, будь ласка, не иди супротив меня, подражай мне, а то будешь бедная. Я ж тогда делаюсь… убить могу. Дочурочка, моя ластушка, скажи хоть ты ей, ты ж меня знаешь. Я ж ДОПРа не боюсь».

… Я вижу, что рядом с разбитой посудой лежат папины инструменты: напильник, ножовка, молоток.

Я смотрю на шифоньер. На месте безобразной дырки в дверце папа аккуратно выпилил овальную рамочку. А с внутренней стороны приклеил фотографию, снятую в Берлине. Стоит мой папа на лужайке, на фоне знаменитого «баронськага» замка, в черном фраке, в белой манишке, в руках «Фрателли Грозио», а на лице — лучистая, добрая «папина» улыбка!

РАБОТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Впервые после войны папа опять стал баянистом. Наконец-то начал работать по специальности. Это был санаторий для ослабленных детей, больных дистрофией. Он находился тут же, в городе, на улице Чайковского. Занимались с детьми воспитатели-учителя. Вместе с папой устроилась сюда работать и мама.

Этот санаторий Чайковского был первым этапом в нашей жизни, после которого мы стали лучше жить. Папа и мама словно помолодели. И каждый раз счастливые шли на работу. К детям! Как до войны. Даже не верилось, что невзгоды, мытарства, огорчения позади.

Папа, взвалив баян на плечо, громко, чтобы все слышали во дворе, говорил: «Ну, я пошел у санаторию к дитям, они меня вже ждуть…»

«Дядя Мара пришел!» — кричали дети, обступая папу. Он снимал с плеча баян, а они аккуратно снимали с баяна чехол, «готовили инструмент к работе» и смотрели в ожидании на дядю Мару.

Меня тоже устроили в санаторий. Мама работала за мою путевку. Как мне прекрасно жилось в санатории на Чайковского! Хожу в школу, делаю уроки! Чисто, красиво! Ем четыре раза в день! В санатории нам читают вслух интересные книги: «Четвертую высоту» — про Гулю Королеву, сказы Бажова, книги Аркадия Гайдара, «Детство» Горького, больше всего я любила «Голубую чашку» Гайдара.

Однажды наша воспитательница почувствовала себя плохо. Чтобы не сорвать мероприятие, то есть «чтение вслух», она попросила почитать детям мою маму.

— Пусть это лучше сделает Марк Гаврилович, засмеявшись чему-то, сказала мама. Я-то знаю чему… Она хотела подшутить над ним, чтобы они были «в расчете».

— Дядя Мара! Пусть дядя Мара! — закричали дети.

— А што я, не змогу? Да пыжаласта, бога ради. А ну, ребяты! Стройно, усе разом в зал — шагом арш!..

Все дружно и дисциплинированно пошли в зал. И, обращаясь к маме и к обслуживающему персоналу, папа сказал:

— Тока штоб из вас — никаго!

Уже и ужин накрыли. А за дверью папин голос, дружный детский смех или вдруг такая тишина, что слышно собственное дыхание. Дети слушали папу часа три. Никто не просился выйти в туалет или попить воды. Расходились бесшумно, мыли руки, тихо садились за столы.

— Марк Гаврилович! Что вы там с детьми сделали? Их не узнать.

— А ничего. Жить их вчил. Батьку з мамкой уметь уважать. Про то, як батрачил у помещика, когда быв ще таким, як они… ну, про войну… И сказенку одну «про вогниво». А больший ничегинька.

Я так гордилась, когда дети спрашивали у меня: «Ну когда придет дядя Мара?»

В 1948 году папа и мама поступили на постоянную работу в харьковский Дворец пионеров. В нем они проработали двадцать лет.

Мама поставила спектакль с песнями и танцами «Царевна-лягушка». Роль царевича играла очень талантливая и музыкальная девочка — Неля Легезо. А я играла царевну-лягушку. Спектакль состоялся прямо во дворе санатория. Вот тут-то и пригодилось мое блестящее павлинье платье.

В то время у нас в доме жили кот Мурат и собака — приблудный дворняжка Тобик. «Исключительная собака! Умный, як зверь. Мы з Лелюю ще только собираемся в санаторию, а Тобик — блысь — вже нема! Приходим у санаторию — а мой Тобик вже сидить коло ворот и нас ждеть… Язык высулупить и смееться. Во собака! Через увесь город дорогу у санаторию знаить…»

Тобика дети гладили, кормили, играли с ним…

И вот, в первом действии этой пьесы я (еще лягушка), с ног до головы накрыта разрисованной плащ-палаткой, прыгаю на четвереньках и, держа в руке стрелу, говорю: «Ква-ква, Иван-Царевич, не отдам, не отдам… Ква-ква, Иван-Царевич, не отдам, не отдам…» Все слушают, но интереснее всех моему папе. Сидит, открыв рот, боясь пропустить вступление к арии царевича…

«И вдруг, перескакивая театральную площадку, довольный, помахивая хвостом, из кустов выходит наш Тобик… Мы все помертвели — рассказывала мама — подходит к Люсе и прямо ей в лицо мордой…»

«А я как закричу! Я ведь под плащ-палаткой, вижу только землю… и вдруг под нее залезает собачья морда. Я вскочила. Все как захохочут!..» — «Тобик! Тобик! Иди сюда! Молодец, Тобик!»

А бедный папа чуть не плакал. «Ну, чего вы, дети? Ну, успокойтеся! Ничегинька смешного! Что вы, на самом деле? Он же Люсю взнав… Ето ж исключительно умный собака… эх! Ну, не повезло нам, дочурочка… ладно… что бог не делаить, усе к лучшему… Зато щас, у во втором действии, ты як выйдешь у блестящем платтику — усе рты поразинуть… Ну давай, приготовься, не тушуйсь… Усех положишь на лупаты…»

Так и было. Я как вышла в этом платье, — а на солнце оно

так горело, что глаза болели, — смотрели только на мое платье… Ария царевича, финальный дуэт никого не интересовали. Да еще рядом с моим платьем марлевые самодельные костюмы царевича…

… На следующую смену спектакль возобновили. Тобика закрыли дома. Я выступала уже в марлевом платье и в картонном кокошнике, покрытом блестками из бумаги от конфет. В этом костюме сохранились фотографии.

Это началось с детства. Саморежиссура. Я заранее, наперед отгадывала будущую атмосферу события и под нее организовывала свой внешний вид и внутренний настрой. Долгое время это происходило стихийно, подсознательно… А потом стало необходимым, естественным и закономерным. Как в работе над ролью, так и в повседневной жизни. Я замечала: если я одета в длинное — у меня и походка, и пластика, и голос, и рост, и улыбка, и возраст, и строй мыслей — одни. Если я одета в строгий деловой костюм — другие. Если на мне широкое и бесформенное — третьи. Если я в узком и коротком — четвертые. Иногда главное в костюме, в поведении решает периферическая деталь — ну… ширина проймы рукава, например.

Несколько раз я делала «ляпсус» и была одета не в «атмосфере», и меня уносило совсем в другую сторону. Я «разочаровывала». Стала учиться на своем горьком опыте и извлекать выводы. Есть женщины, актрисы, — всегда ровные, приятные, красивые. От того, что они надевают красивый, необычный наряд, они становятся еще красивее, но остаются узнаваемыми. У меня все труднее. Я совершенно, тотально меняюсь. Становлюсь новой сама для себя. И это новое вводит меня в азартную игру. Я вдруг боюсь себя. И мне нужно огромное напряжение всего организма, максимальный контроль за собой, чтобы это новое не «занесло», чтобы не повторять ошибок. Невероятно трудно вернуть к себе потерянный интерес.

Если в роли до мельчайших подробностей разработан костюм, прическа, если в них точно угадано время — то и походка, и пластика, и голос, и рост, и улыбка, и возраст, и строй мыслей — все приходит само, независимо от меня. Я уже свое главное предугадала. И тогда мне совершенно неважно, красивая я или некрасивая, молодая или старая. Тогда «работает» характер персонажа — человек.

Ну, а того платья, «артистического платтика» уже не было. К тому времени у меня дома его перемеряли почти все девочки из класса. Ажиотаж вокруг платья прошел…

Я сама всю жизнь ищу такое, как то, папино.

Сколько ребят в те радостные веселые массовки познакомились с «тетей Лелей и дядей Марой». Одно поколение сменялось другим, и бывшие дети потом приводили во Дворец своих детей все к тем же «тете Леле и дяде Маре». И папа каждую массовку играл, как первую в жизни: всегда дольше, чем полагалось по времени, — столько, «скока дети захотять». Когда мама загадывала загадки, он шепотом детям подсказывал ответы. Или, пораженный смекалистым ребенком, выкрикивал: «Во ета парень, во ета галава», «якая чуковная девычка, як моя дочурка».

Папа гордился тем, что их с мамой в городе все знали.

— Та што там гаварить… як иду з быяном по городу, усе з окон выглядають: «Здрасте, Марк Гаврилович! Здрасте, дядя Мара!» Усе — и дети, и взрослые. Ну а як же? Хорошага человека видать зразу… А ее — не-е, Лелю не любять, боже храни, — бояться… ну и уважають. Што правда, то правда. Работник она не плохой… Што да, то усегда да… я ж не против.

Но работа держалась на маме. Если надо было быстро решать, папа примолкал. А когда все уже было обдумано и осуществлено, папа говорил свое последнее «решающее» слово и был собой очень доволен. Он прекрасно понимал, что это сделала мама, но ведь он муж, мужчина… Мы ему подыгрывали, и, улыбаясь, переглядывались с мамой…

Во Дворце мама вела урок бальных танцев. Они были очень модными. Танго, фокстрот и линда были категорически запрещены. Мы разучивали падеграс, миньон, падепатинер. В начале мы с мамой исполняли показательный танец, а потом девочки и мальчики парами повторяли движения.

В кружке мне очень нравился Вова Серебрийский — высокий, чернявый, и фамилия такая «дорогая» — Серебрийский, а не какая-нибудь Гурченко. Меня он никогда не приглашал танцевать. Вова танцевал с разными девочками, никому не отдавая предпочтения, но в него были влюблены все. Мама догадывалась, что Вова мне нравится. Это просто было написано у меня на лице. Иногда она нас насильно соединяла для показательного танца.

«А сейчас Вова и Люся покажут, как нужно вести даму за руку и как правильно держать голову…»

Я, покраснев, счастливая, с готовностью выскакивала в круг, а Вова шел медленно, с тоскующим выражением на лице. А после танца уходил от меня ускоренным шагом. Хотелось плакать… Ну почему я ему не нравлюсь? Я ведь и пою, и танцую, а теперь уже и на аккордеоне научилась играть…

Жизнь с каждым днем становилась все светлее и интереснее. В ней столько всего нового!

В двенадцать лет я впервые попала в оперу в наш

Харьковский оперный театр имени Лысенко на Рымарской улице. Его отремонтировали, восстановили после войны. Это был школьный культпоход. Шла опера «Чио-чио-сан». Сидели мы на последних рядах амфитеатра. На сцене пели. Может, стыдно об этом говорить, но я все время ждала, когда же они заговорят. Потом я инстинктивно догадалась, что, наверное, это и есть «опера». И начала вслушиваться в музыку и в слова. Пели на украинском языке, но к языку я привыкла в украинской школе. Меня выбивало и смешило то, что певица, исполняющая партию Баттерфляй, на высоких нотах вдруг резко скашивала рот вбок. Может, так легче звуку вырываться наружу, а звуку вон сколько нужно — какой большой зал, «якая агромадина…» Вот, оказывается, о чем мне говорила Матильда Владимировна: «Ты в опере не будешь петь, у тебя голос не оперного масштаба…» Я слушала, смотрела Чио-чио-сан, и быть на ее месте мне не хотелось.

На экранах шел фильм «Глинка». Композитора играл Борис Чирков, Керн — Кира Головко, а Пушкина — Петр Алейников. Лучшего Пушкина и не представишь. Алейников удивительно тонко, по-своему, в нескольких эпизодах показал великого поэта. Таким Пушкин мог быть. Все внутри… только странные, больные, всепонимающие, всепрощающие и восхищенные красотой Керн, глаза. Глаза Пушкина — Алейникова. Я страдала, когда в зале при его появлении начинался дружный смех: «Ваня Курский — Пушкин! Ха-ха-ха…» А я вот не видела еще тогда «Большую жизнь», для меня Алейников — Пушкин. И когда побежала позже на «Большую жизнь», то опять меня поразил Алейников в роли Вани Курского абсолютной несхожестью с Пушкиным. Всегда восхищалась Алейниковым — ни одного шва в роли… все так естественно и просто, а ведь совсем рядом трещит камера, и много посторонних людей в павильоне… Когда после «Карнавальной ночи» я перестраивалась на драматические роли, я еще долго слышала от зрителей: «А вот Леночка Крылова из „Карнавальной ночи“…» Как трудно побороть инерцию зрителей, режиссеров…

В фильме «Глинка» меня поразил, смял, вскружил «Вальс-фантазия». Я плакала… Но как можно сочинять такую щемящую, такую пронзительную музыку? Гений, Глинка — гений.

Сейчас по телевидению, в лекциях-концертах, можно все узнать о композиторах. В 1948-1949 годах были только кино и радио. Гений Глинка — я почувствовала, я не повторяла ничьих цитат. Тогда я впервые слышала его музыку.

После фильма «Глинка» я зачастила к тете Лиде, маминой сестре, добираться к которой нужно было через Южный вокзал.

Дорога долго шла по железнодорожным шпалам. Я пела «Вальс-фантазию» и ритмически точно танцевала. Особенно красиво раскладывалась синкопированная часть вальса. Вот чудесно! Никого нет! Пою во все горло, ноги синхронно раскладывают звуки по шпалам, руки взлетают, пальцы отщелкивают ритм, в глазах — счастливые слезы.

Потом я влюбилась в американскую актрису Жанетт Мак-Доналд. На экранах шли фильмы с ее участием: «Роз-Мари», «Таинственный беглец», «Двойная игра» и «Спринг Тайм» — что значит «Весенние дни». Этот фильм мне больше всех нравился. Неизменный партнер Жанетт Мак-Доналд — красавец Эдди Нельсон. Ну то, что я наизусть знала всю музыку из всех картин «от и до» — это «як закон». Но актриса… Жанетт Мак-Доналд была моим идеалом во всех отношениях — голос, внешность, мимика, «игра», ослепительная улыбка — все неотразимо!

Перед лентами с ее участием шел титр: «Этот фильм взят в качестве трофея после разгрома немецко-фашистских захватчиков». И после этого грозного известия начиналась такая розовая, безоблачная жизнь, с музыкой, перьями, пудреными париками, шляпами, кринолинами и кружевами… Все так соскучились по красоте, по музыке, что смотрели этот фильм по десятку раз. А я еще больше.

По сюжету в картине «Спринг Тайм» композитор специально для актрисы-певицы пишет русскую оперу «Царица». Этот эпизод идет в финале картины. И Жанетт Мак-Доналд, одетая в русский блестящий сарафан, только с голой спиной, на голове сверкающий кокошник с нитками жемчуга под подбородком, поет с героем Эдди Нельсоном, который изображает русского боярина в собольей шапке. Дуэт! Русская царица и русский боярин. Жанетт Мак-Доналд и Эдди Нельсон. Ну ничего в них русского нет, ну ни капельки… Но дуэт! Какая непревзойденная музыка! Какая мелодия… Да, вот же пишут заграничные композиторы… Дуэт очень мощно написан — действует на всех! Такая вдруг в нем Русь, русская широта. Американцы подметили все удивительно…

Да, этот «Спринг Тайм» я, действительно, буду помнить всю жизнь. Так бывает. Происходит в жизни событие. А со временем при одном воспоминании о нем хочется исчезнуть, раствориться, потому, что нет прощения, нет оправдания…

Влюбленная в Жанетт и Эдди (как мы, девочки, между собой называли американских кинозвезд), одуревшая от музыки, я решила поделиться своей переполненностью с мамой и папой. С мамой и папой. Вы заметили? В четырнадцать-пятнадцать лет мне стала ближе мама. Мы с полуслова понимали друг друга. У нее

прекрасное чувство юмора. Тогда я уже поняла, что мой папа «не сахар». Я все явственнее слышала его речь, видела его необразованность. В общем, это был как раз тот период, когда мне было стыдно за него. Тогда-то я и расспрашивала маму: как такое могло случиться, что она вышла за него замуж?..

Я над ним тихонько подсмеивалась, слегка копировала и передразнивала. Но «тихонько» и «слегка». Потому что боялась его. А если честно, то единственный человек, которого я боялась в жизни, — так это мой папа. Боялась по-разному. В детстве — за то, что он, не дай бог, маму будет любить больше, чем меня. В 14-15 лет боялась сказать что-то резкое о его недостатках. А уже потом боялась — вдруг кто-то его обидит! Или что-то с ним случится, и ему будет больно.

Итак, мы с мамой и папой пошли на «Спринг Тайм».

Титр «Фильм взят в качестве трофея» шел в полнейшей тишине. Шел долго, чтобы все успели прочесть. Титры с названием фильма, с фамилиями актеров, сопровождающиеся бравурной музыкальной увертюрой, были отрезаны, но не совсем, потому что с конца музыкальной увертюры начиналось действие фильма. Неожиданно из тишины на экран сиреной врывалась музыка — как если бы кто-то небрежно поставил пластинку, и иголка, проехавшись до самой середины, остановилась. На самом крещендо! В этом месте зал вздрагивал.

— А мамыньки! Чего они так глушать? Лель?

Все! Началось! Я тут же пересела к маме. На экране замелькали субтитры.

— Лель, што он щас сказал?

— Что он ее любит.

— А она?

— Что у нее муж, но она тоже его любит.

— Ить ты, якая порхавка (поганка)!

— Да ты смотри, Марк, смотри, тут все о любви.

Рядом люди зашикали. Я думала, лопну от негодования и раздражения. Моя любимая картина, любимая музыка, любимая актриса. Скорее бы конец, скорее. Ну как мама терпит? Я не могу, не могу… И любимый мой дуэт меня уже не волновал.

Домой мы шли — я впереди, они сзади. О чем родители шептались, я не слушала. Я не хотела ни есть, ни спать — ничего.

В тот период я вообще была противной девчонкой. В моде у меня был очередной «отрепетированный» взгляд. Не только загадочно-интригующий, но и высокомерный: брови вверх, нижняя челюсть слегка выдвинута вперед. При этом я покачиваю головой взад-вперед, мол, что скажете-с? Ужасно вспомнить… Как же папа меня копировал! Как же он не любил меня такой!

Дома папа примиряюще сказал: «Дурочка, чего ты на самом деле? Нервы на такую ерунду. Актриса ета неплохая, и поеть неплохо. Я же согласный».

— Марк, ты скажи Люсе насчет музыки. Вспомни, ты мне по дороге говорил.

— А-а-а-а, ету музыку я слыхав. — Я посмотрела на него «своим взглядом».

— Да, да, дочурка, слыхав.

— Ты «слыхав»? Да что ты вообще «слыхав»? Ты еще скажи, что «ета актриса не чуковная, и на аккордевончике не играить, и плохо чечеточку бьеть…» Он «слыхав»! Да это фильм американский! Понимаешь ты! Дремучий человек! Он «слыхав»…

Я была противной девчонкой. Но в тот вечер наверняка была отвратительна! По всем законам и существу папиного взрывного и стихийного характера я сейчас буду сильно бита. Все вокруг: и мама, и мебель — полетят во все стороны. Что ж, я готова! Мне не страшно ничего! Я удовлетворена, что, наконец-то, в полную силу сказала громко то, что думаю. В школе и вокруг тогда была мода, течение — говорить правду в глаза. Все, без утайки. Вот я и не отстала от «течения». Но с папой никогда ничего не предугадаешь. Он стоял с беспомощной улыбкой, глядя в пол. Потом улыбка исчезла, и он стал смотреть мне в глаза. Долго-долго. Ни одна жилка на лице не дрогнула. Он меня не рассматривал, будто видит в первый раз. Нет. Он смотрел на меня спокойно. Но какая же борьба, какая силища, какие жернова ворочались внутри…

— Ето ты на роднога отца? Спасибо, спасибо, дочурка. Уважила. Ну, бог с тобой…

Голос у него совсем пропал, чужой, незнакомый. Медленными, шаркающими шагами он пошел через комнату, коридор, кухню… Засуетились кот Мурат и собака Тобик, обрадовались, что любимый хозяин выведет их гулять. Открылась массивная дверная щеколда, и папа вышел во двор.

Этот взгляд меня преследует всю жизнь. Мне никогда еще, ни в одной роли не удавалось достичь того состояния душевной борьбы, когда лицо внешне спокойно, а взгляд может перевернуть, сломать, уничтожить.

Я встретила этот взгляд. Через много лет. В фильме, довольно среднем, — «Отверженные». Жан Габен смотрит таким взглядом на … куклу, единственное, что осталось от его Козетты. Прошла жизнь, осталось одиночество, старость и неживая игрушка…

— Люся… Это… это… с папой так нельзя… это самый запрещенный… самый болевой, нет, ты сделала… он не

переживет. Папа беззащитный человек. Когда я была молодая — у меня было так. А потом я увидела — э, нет, так нельзя. Он бывает грубым… он не как другие — вежливо и красиво, а за спиной … нет, он весь на ладони, он чистый человек. Ты еще потом поймешь… преданность… понимаешь? Он предан по-настоящему.

— А Фекла? А Володька? А?

— Ты знаешь, что это для него, может быть, самая большая трагедия? Я даже боюсь лишний раз произнести слово «деревня»… а! Ты ведь этого не можешь еще…

— А то, что он настраивал меня против тебя? А? Для всех мать — это все! А что он делал? Как ты тут скажешь, интересно?

— Знаешь, это шутки, и вообще это наше личное… Я на это не обращала внимания. Ведь ты же все поняла. А ему так хотелось. Ты же знаешь, что он на меня и «былван» и «ворона» и «атбайла»… Это все только языком, ля-ля-ля… А как чуть-чуть что-нибудь — он защитник. Я знаю, где он не справится… Папины недостатки нельзя подчеркивать. Двадцать лет разницы. У нас никогда ничего не было злобного. Ни у меня к нему, ни у него… «Леличка, ты же хозяйка, ты же мать, на тибе же усе держиться… ты же усему галава. Мы ж без тебя сироты», — и начинает плакать. Ты же знаешь папу. Люди талантливые — слабые, они не могут существовать без помощи, без разумного совета, без… ну, базиса, что ли… Да если бы папе дать все то, что он делает для тебя. Он бы, может, горы свернул. Если бы направить его талант… в свое время. Ах… Даже в работе у нас. Все считают себя умнее, талантливее, а приглашают на массовку папу! Ты же замечала? А? Нет в них… ну… в нем есть жизнь! Радость отдать себя целиком! В нем есть движение жизни… Наверное, это и есть любовь, я не знаю, какая-то психическая любовь к людям, к ребенку. Ты жила свободно, всегда с нами наравне, воспринимала все движения жизни — те же, что и мы. Пусть это, может, и неправильно… — такое взрослое, что ли детство, но у нас уж так… Он сказал — умру, но у Люси будет «какое ни на есть само высшее образувание…» Иди извинись перед папой.

Но папа со мной был вежлив и холоден очень долго. Это было мучительное время для нас обоих. А потом любовь, проверенная временем, конфликтами и жестокой правдой, вспыхнула с новой силой и — на всю жизнь. Теперь я завидую маме. Она мне кажется самым счастливым человеком — она так интересно прожила свою жизнь рядом с таким самобытным и неповторимым человеком. Больше я никогда такого не встречала.

Вместо репродуктора из черного картона, который хрипел, папа купил новый. Я слушала радио целыми днями. Делаю уроки,

работает радио… и вдруг! Как током ударило… да нет, не может быть. По нашему, советскому радио звучит музыка из американского фильма — «Спринг Тайм». Это был период полной изоляции от мира капитализма, период жестокой «холодной» войны и вдруг — музыка из американского фильма! Включаю радио на полную громкость: по квартире полилась музыка дуэта из оперы «Царица», но вот послышалась и незнакомая мелодия. Может, я ошиблась? Ага, вот опять знакомый кусок, как раз финал дуэта. Все до единой ноты, точно, я знаю. Ну, ну, ну, говорите, что сейчас исполняли, ну…

— Мы передавали в исполнении симфонического оркестра Пятую симфонию Петра Ильича Чайковского. Дирижировал Мелик-Пашаев.

Мир перевернулся, когда мне купили проигрыватель «Урал», я бегала по городу в поисках «Вальса-фантазии» и Пятой симфонии Чайковского. Продавали много пластинок с ариями из оперетт, с лирическими песнями, с комическими эстрадными сценками, с художественным свистом. Но этих пластинок еще в продаже не было. А когда они у меня наконец-то появились, я досконально изучила Пятую симфонию и поняла, что любовный дуэт собран из второй части и финала симфонии. Вот тебе и опера «Царица»! После этого открытия на душе было неприятно… Как-то стыдно за Жанетт Мак-Доналд… за себя… стыдно было перед папочкой. Ведь он точно слышал эту симфонию, когда учился в муздраминституте. Только это было так давно. Но слышал он ее точно. Конечно, он мог забыть, как называется музыка, откуда она. А я ему не поверила.

Но тот семейный поход на «Спринг Тайм» уничтожил мой эгоистический, примитивный максимализм, все поставил на свои места.

Когда я училась в институте кинематографии, я узнала, что Жанетт Мак-Доналд — опереточная актриса, успешно снимавшаяся в тридцатые годы, очень хорошая, но не выдающаяся и не глубокая. Ну что ж, времена, взгляды, вкусы меняются. Ни к одной из этих картин не написано музыки специально, кроме оперетты «Роз-Мари». Потом, в разное время, я слышала эти знакомые мелодии. Все они были из разных эпох, разных стилей — окрошка. Но это все потом.

А нашим советским любимым композитором был всегда Исаак Дунаевский! Что ни песня, что ни мелодия — все поют! А какая музыка в фильмах! Я особенно любила «Веселые ребята» и «Цирк». Именно в конце сороковых годов опять на экраны вышли фильмы с участием Любови Орловой и музыкой Дунаевского. Эти картины мы не пропускали. Сколько же у меня было фотографий

Орловой! А сколько вообще было фотографий… Мы тратили деньги вместо завтраков «на артистов», бежали после школы на базар и покупали еще и еще, обменивались: «За Дину Дурбин даю четырех Нельсонов, а ты мне обещала Серову».

Позже, в Москве, папа жаловался моей московской подруге Наде: «Надь, ты тока подумай, у школи, вокурат после войны, есть нима чего, а она етих актеров накупить… Усе стены позаклеить ими, и усе новые и новые, новые и новые… Усех и не запомнишь у лицо, а она и усе фильмы знаить, и биографию каждого знаить, и усю музыку з фильмов етих поеть… — во, брат, з детства так було…»

Я так любила дома оставаться одна. Накину на себя, как Любовь Орлова в «Веселых ребятах», кружевное покрывало с кровати — подарок тети Вали — подойду к нашему волнистому зеркалу… ну так, чтобы глаза были большими, а носик маленьким… И пою!

А на кухне варится борщ на керосинке. Мама просила последить за ним. Но о каком борще можно сейчас помнить?

По кухне летают лопухи копоти, меня ждет скандал с мамой, но я ведь этого еще не знаю. Я пою на всю квартиру, намазав губы маминой бордовой помадой:

Я вся горю, не пойму отчего,
Сердце, ну как же мне быть?

А с другой стороны нашего много видевшего шкафа с овальной рамочкой мне как будто аккомпанирует мой папа в черном фраке на своем сверкающем «Фрателли Грозио».

Он мне улыбается своей доброй, родной и подбадривающей улыбкой.

УЧИТЕЛЬНИЦА

Школу я начала ощущать только с пятого класса. 1 сентября 1947 года директор школы привела к нам молоденькую учительницу и сказала: «Диты! З цього року класным кэривныком у вас будэ наша нова вчытелька Клара Абрамивна Аронова. И цэ вже назавжды».

Все учителя у нас были в возрасте — и вдруг такая молодая! Как же она будет с нами справляться? В нашем классе, самом трудном, который гремел на всю школу, ни один классный руководитель не задерживался. Мы не успевали даже к нему привыкнуть и уже наперед относились к новым с иронией и усмешками.

Когда директриса вышла и Клара Абрамовна осталась одна, она внимательно на всех посмотрела. Мы тоже нахально и бесцеремонно ее разглядывали.

Ей было 23 года. Небольшого роста, с темно-рыжими волосами. Прическа еще довоенная — впереди кок, сзади валик. В шерстяной кофте, в широкую красную и синюю полоску, в темной узкой юбке. В этом наряде она ходила постоянно. Ее полосатую кофту мы прозвали «зеброй». Мы так привыкли к этой «зебре», что, когда однажды, на праздник 8 Марта, она пришла в синем шерстяном платье с двумя карманами — один на груди, другой с противоположной стороны на бедре — урок был сорван. Она и сама себя чувствовала неловко, и на следующий день снова была в «зебре». Все успокоились.

Учителя одевались очень скромно. Все их вещи мы знали наперечет. Они ютились в маленьких комнатках нескончаемых коридоров коммунальных квартир. Наша новенькая сняла угол у хозяйки дома, рядом со школой.

В ней многое располагало к нашим «шуточкам»: и чуть кривоватые ноги, и постоянный насморк. Она все время вынимала из кармана платок, отвернувшись от класса, тихо сморкалась, и чуть гнусавым голосом продолжала вести урок. И самое главное — она грассировала. "Р" получалось у нее раскатистым и веселым. А нам больше ничего и не надо было.

— Здг-г-гавствуйте, ученицы!

— Здг-г-гавствуйте, — точно в ее интонации ответила я. В классе «га-га-га!» — то, что надо! Герой дня!

— Как твоя фамилия?

— Гурчэнко.

— Гугчэнко, выйдите из класса.

Надо же — такая удача! И в моей фамилии есть буква "р".

Класс наш, послевоенный, разношерстный, многонациональный, распущенный класс — еще громче: «Га-га-га!»

— Выйти из класса? С удовольствием! Спасибо, что отпустили. У меня билеты в кино.

— У кого еще билеты в кино? Пожалуйста, вы свободны. — Несколько самых смелых вышли вместе со мной. Но в кино идти что-то не хотелось. Разошлись по домам.

Такая была наша первая встреча с новой учительницей. Учителя в школе в войну и первые послевоенные годы были, за очень редким исключением, безликие и равнодушные. Учебники распределялись один на пятерых, тетрадей, перьев не хватало. Мужчины-учителя на фронте. В нашей школе преподавали только женщины. Мужчина был один — истопник, старичок.

Историю вела приятная женщина лет тридцати пяти. Она ходила неизменно в одном и том же эпонжевом костюме в большую зеленую с белым клетку. Когда она «излагала» новый материал, весь класс следил пальцем по учебнику и хором исправлял, если она ошибалась. Историчка закатывала глаза к небу. «Боже мой! Кошмар! Это же ужас один!» — постоянное ее восклицание. По-русски она говорила с сильным украинским акцентом, как тетя Валя. Если кто-то на уроке неспокойно сидел, замечание делалось всегда одной и той же фразой: «Ну што ты вертисся, как виртуоз?»

Муж у нее был военный. После уроков он приезжал за ней на мотоцикле. Мотоцикл в то время — роскошь! Мы, высунувшись из окна, смотрели с любопытством, как наша «историчка» аккуратно устраивалась позади мужа так, чтобы не было видно ее сиреневого трико, когда она заносила на сиденье ногу. Но это ей не удавалось. Мы сначала тихо хихикали, а когда мотоцикл отъезжал — улюлюкали всласть во все горло.

Наш класс увлекался «Спартаком» Джованьоли. Книгу передавали друг другу, она прошлась по всему классу. В «Спартаке» есть глава «Куртизанка Эвтибида». Мы поняли, что куртизанка — это что-то нечистое, но толком объяснить никто не мог. Предварительно посовещавшись, решили задать этот вопрос историчке. Она ответила с ходу: «Шо? Куртызанка? Это партызанка». А может, так и есть? Ведь Эвтибида действительно пробралась в лагерь к Спартаку. Тогда почему бы Джованьоли не назвать главу: «Партизанка Эвтибида?» Нет, тут что-то не то.

У нашей преподавательницы по физике за несколько лет на лабораторных занятиях не получался ни один опыт. Вечно все взрывалось, загоралось. Вся одежда была на ней в дырочках от кислоты. Мы старались во время опытов отойти подальше от нее, от этих взрывчатых колбочек. Хорошо горел на ее опытах только

сухой спирт. И то его экономили. Он был, как и многое, дефицитом. Что такое физика, мы начали понимать только в восьмом классе.

… Вопрос о куртизанке решили задать физичке. Все равно очередной опыт не получился. Есть время. Почему бы не поговорить?

— Куртызанка? А чому мени цэ питання? Це ж нэ мае видношення до физыки. А що видповила вам вчыттэлька з истории?

— Она сказала, что «куртизанка» — это партизанка…

— А у вас сумлиння? Вона — вчытэль! А вчытэль для вас повинэн бути авторитэтною людыною… — хлопнула дверью и ушла.

Теперь очередь дошла до новой учительницы.

— Куртизанка? — Она игриво усмехнулась. — Это женщина легкого, если хотите, непристойного поведения. А почему вас это интересует? А! В романе «Спартак»? Прекрасно, что вы читаете. Всегда нужно понимать значение слова. Не стесняйтесь, всегда спрашивайте.

Класс был удовлетворен.

Клара Абрамовна вела у нас русский и литературу. При ней мы начали читать, ходить в театр, были в Харьковском музее изобразительных искусств, где висела копия картины «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Она приходила домой к ученикам, когда мы болели, если надо было помочь по своему предмету. Это было ново и непривычно.

А когда мне исполнилось 13 лет, она была у меня на дне рождения. Папа играл на баяне, мы пели. Я танцевала и исполняла «мелодекламацию». Наша учительница была веселой и очаровательной. Правда, потом меня отчитала за слишком «взрослый» танец из фильма «Индийская гробница».

Клара Абрамовна беззаветно любила свой предмет. Это мы видели, чувствовали. Ее обижать было грешно. Мы полюбили русскую литературу через ее любовь к книге, к языку. Она восхищалась русским языком. Ее любимыми поэтами были Пушкин и Маяковский. Когда она наизусть читала «Медного всадника» и поэму «Владимир Ильич Ленин» — она отворачивалась и прикладывала платок к глазам. Я тоже плакала, глядя на учительницу. Я чувствовала, как искренна ее любовь к своей профессии.

Впервые я тогда поняла, что в школу ходить интересно.

А когда после десятого класса расставались с этой маленькой талантливой женщиной, мы еще не знали, как часто придется ее вспоминать — когда говорим, пишем, читаем.

Мы были ее первыми выпускниками. Какую же целину подняла эта хрупкая «молода вчытэлька»!

В институте кинематографии первым общеобразовательным предметом было сочинение. Я нервничала в ожидании, когда дадут темы сочинений. Три темы были написаны на доске, и я сразу успокоилась, почувствовала уверенность. Я могла писать на любую из них.

Написала на экзаменационном листке:

В.В. Маяковский "Образ Ленина в поэме «Владимир Ильич Ленин».

В фильме «Дневник директора школы» я играю Инну Сергеевну, небольшую роль учительницы, которая не любит детей. Вот тут-то и припомнились и равнодушный взгляд, и «деловой вид», собранная походка, и безапелляционный тон наших учительниц по истории, физике.

Одна все время ходила с большой хозяйственной сумкой, из которой выглядывали макароны, сыпалась мука. Другая сидела все переменки не в учительской, а в буфете, и перед началом урока вечно жевала.

В роли Инны Сергеевны я хожу с авоськами, в которых лежат апельсины. Сижу в буфете, жалуюсь на учеников, я, — «на своем месте». Все новшества и отсебятины нового директора мне не по душе. Я сижу крепко, и он мне не страшен.

— Я здесь была и буду… и вас пересижу.

Я это сказала точно, с той же жесткой интонацией, как учитель, который учит, но не любит детей.

ДОВЕРИЕ

Я все время повторяю слово «впервые». А чем его заменить, если в жизни все когда-то происходит в первый раз? А потом начинается время ошибок, повторов… Опыт и воля сами по себе не приходят.

К десятому классу, после первого равнодушия друг к другу, мы стали самыми близкими людьми с моей одноклассницей Милой Гитштейн, как будто до десятого класса мы и знакомы не были. Почему так случилось? Не было ни толчка, ни случая к нашему сближению, да, наверное, просто время пришло.

Мы даже родились в один день — 12 ноября 1935 года. «Сестры одним словум, ето неспроста и в один год и, вокурат, в один день… Не, Милашка, якая-то сила есть», — говорил потом мой папа. У меня не было сестры, а мне еще в детстве хотелось иметь сестру или брата. И она стала мне действительно родной, «як сестра». Моя мама ее называла «Милкинс», а папа «Милашкую». Когда он гладил ее по голове, то говорил: «Ого! Якой волос у Милашки, як у ведмедя. А у Люськи, як у горобца».

В отношениях между нами было что-то особенное, точнее всего, пожалуй, здесь слово «доверие». Что-то такое, когда на расстоянии чувствуешь, что тебе не врут, и ты ничего не боишься, не сжимаешься в комок, не оглядываешься назад и дышишь свободно. Тогда отношения ни от чего не зависят, не колеблются, потому что они — главное, а все остальное — второстепенное.

Школы до 1954 года были раздельными. На вечера к нам приглашали мальчиков из 58-й школы, тоже украинской. Это было целым событием!

Папа категорически запрещал мне общаться с мальчиками, а тем более дружить. В «ету дружбу» он не верил. Да и дружбы-то такой раньше не было. Девочка рядом с мальчиком на улице — все оглядываются.

«Ето усе, дочурка, пустое дело. Сперва нада вывчиться, получить образувание — ув обязательном порядке, а там сама себе жениха выберешь. От увидишь, женихов ще в тибя будить… До Киева… не переставишь… Я вот не слухав своего батьку, гуляв з девками…»

После папиных образных выражений я представляла длинную вереницу женихов. Но вереницы не было. Появился один. И то один на двоих. Толик.

После школьного вечера Толик провожал нас домой — он посередине, а мы с Милочкой по сторонам.

Потом Толик провожал нас не только после школьных

вечеров. Сначала — меня, затем Милу. Ее родители за мальчиков не ругали. Когда мы втроем спускались по Мордвиновскому на нашу Клочковскую и я видела издали выглядывающих из-за угла папу или маму, я уже не хотела ни провожаний Толика, ничего на свете. Я незаметно переходила поближе к Милочке и шла рядом с ней.

О чем мы говорили с Толиком? Он, в основном, молчал. Единственное, что мы о нем знали, — это что он занимался фехтованием. Тарахтели без умолку мы с Милочкой… читали модные стишки дуэтом:

Она: Позвольте познакомиться, ведь я совсем один.
Я: Ну, что вы пристаете к гражданке, гражданин?
Она: Вы очень мне понравились…
Я: Отстаньте — я прошу!
Она: Скажите ваше имя… скажите!
Я: Не скажу… гм… Лена
Она: Я вас люблю, пойдемте в ЗАГС,
И мы распишемся сейчас.

Сцена 2.
Я: О, ты меня не любишь, ругаешь, обижаешь.
Она: Я вам теперь не муж.
Я: А я вам — ха! — не жена!

У всех троих бурный восторг. Толику было с нами весело. Он не пропускал ни одной встречи. На свидания мы приходили всегда раньше, прятались за деревом. Когда появлялся Толик, еще пережидали несколько минут, а потом уж выходили, извинялись, что опоздали, и так каждый раз.

Сговорившись, мы с Милочкой начинали ему петь в оба уха:

Я: Сколько вам лет? Дайте ответ.
Она: Сорок.
Я: Ну что вы!
Она: Честное слово.
Я: Вам тридцати еще нет…

Эту песню исполняла Клавдия Шульженко. Мы называли это «песнями про старичков». Подумать только, тридцать лет! Нет, нам никогда не будет тридцать! С большим удовольствием Милочка с Толиком слушали мои пародии и подражания Шульженко, Бернесу, Утесову и его дочери Эдит. Мы с Милой были счастливы. Вот и мы уже взрослые.

Папа настоятельно просил прекратить «ету тройку», но встречи и провожания продолжались. И однажды, когда мы возвращались с очередной прогулки, папа вышел нам навстречу. Я знала, чем это пахнет.

Толик поспешно потряс нам по-товарищески руки и тут же нырнул в первый попавшийся двор. Мы с Милой пошли. Она сразу защебетала, стала ласково «заговаривать зубы», а папа сухо ответил: «Идите, идите уперед».

У ворот стояла мама в ватнике, накинутом на халат, испуганная и бледная.

— Марк!..

— Утикай, — прошипел папа и полез в карман пиджака. — Ну, девки, я вас миром просил, по ласке, прекратить ету тройку… терпение лопнуло. Я за себя вже не отвечаю. Ну!! — И, с театральным ужасом на лице, вынул из кармана деревянную скалку, которой мама раскатывала тесто.

— Люся!! — закричала Милочка. Я ее быстро схватила за руку, и мы рванули через наш двор, через полисадник тети Сони, через ветхую деревянную ограду в соседний двор. Папа вслед за нами легко преодолел забор, а под мамой забор рассыпался. «Так и нада — кушай меньший». Мы с Милой еще успели и посмеяться…

И вдруг Мила исчезла. Только что мы были рядом, и вот не успела я оглянуться на маму, а Милы уже нет! И папа остановился. Он даже забыл, зачем за нами гнался, — сам вошел в игру.

— Лель! А де она? Де Милашка? Люська война, а Милашка… Як сквозь землю…

— Марк Гаврилович! Простите нас, мы больше не будем, — раздался жалкий, тоненький голосок откуда-то действительно из-под земли.

— Милашка! А де ты?

— Я боюсь…

Она сидела в канализационном люке.

— Да што ты на самом деле, галава, давай вылазь.

— Я боюсь, Марк Гаврилович.

— Я ж пошутив, у меня и в руках ничегинька нима, — оправдывался папа. Он сам был испуган.

Ох и получил папа от мамы! «Ну, Марк, тебе завтра влетит! Да Мила такого в жизни не видела. Разве ее отец устроит такое? Миша ведь нормальный человек. Ну, завтра держись, Марк, котик, хи-хи-хи-хи…»

Но дядя Миша ни о чем не узнал. Ведь это же была моя умная подруга Милочка. И папа считал ее своей родной и наставлял так

же, как и меня. Даже когда мы стали совсем взрослыми, папа не разрешал ни ей, ни мне приходить домой после одиннадцати вечера. У нас теперь у самих дочки, а папа… как папа.

Как только папа перебрался ко мне в Москву, он в тот же вечер прорубил в стенах дырки, вбил петли и стал закрывать двери моей квартиры на ночь тяжелым железным ломом. Ключам он не доверял. У него и в Москве было, «як у Харькиви». Я уехала в экспедицию, а в гости ко мне приехала Мила. Если она возвращалась позже одиннадцати, ждала за дверью, пока папа долго, нарочно медленно, открывал замки, и выслушивала: «Ну, аде можна так долга ходить? Якеи такеи подруги? Якеи дела можна делать до двенадцати часов ночи? Ну, посидела, ну, поточила лясы… — и домой. Я же жду ее, не сплю… нервничаю».

— Марк Гаврилович, у меня же есть ключи. Не надо закрывать двери на железку.

— Ить ты якая! Ето ж тибе не Харькув, ета, брат, столица. Сколька народу разнага. Не, детка моя, добро надо беречь.

Я всегда отпугивала людей, когда повзрослела. Особенно раньше. Я не понимала, в чем дело. Те, кто чаще со мной встречался и узнавал получше, почти всегда в последствии становились моими друзьями, товарищами, подругами. Ну а те, кто видел всего один раз, — отворачивались. И я терпела в жизни неудачи. Но самые болезненные переживания были в работе.

Я поздно поняла, что папины наставления нужно было оставить в семнадцать лет. Но так уж случилось, что они во мне всю жизнь — и я с первой минуты нового знакомства начинала «выделяться». Если тебя приглашают на роль, то первый этап — встреча с режиссером. У меня долгое время этот этап был первым и последним. «Что это с ней? И в институте, говорят, играла неплохо, да и в картине про ночь вроде нормальный человек», — читала я на недоуменном лице режиссера. Он как-то извинительно, с потухшими глазами со мной прощался — и больше мы не виделись.

Я ничего не понимала. Решила попробовать, как другие. Прихожу, держусь изо всех сил, молчу, не «выделяюсь», смотрю на партнеров, беру с них пример. А потом выйду с репетиции в коридор студии, да как побегу! Ни с того ни с сего. И бегу, пока не устану. Тут-то уж режиссер меня не видит… Кое-как начала дотягивать до проб.

А с одним очень известным режиссером я даже кинопробы прошла. Он мне письмо прислал: «Надо будет поискать грим, и сделаем еще одну пробу». Но на этой «еще одной» меня и понесло. Режиссер — интеллигентный, сдержанный человек, один

из самых интереснейших в стране режиссеров… а я как пошла! И кручусь, и верчусь, и наигрываю, и анекдотик, и шаржи, и пою, и копирую, и пару харьковских жаргонных словечек, и чечеточку. Опять тот же недоуменный взгляд: «Что это с ней? Все вроде бы нормально…» И взял другую актрису.

Роли, которые я играла, пройдя кинопробы, можно сосчитать по пальцам. А чаще на роль попадала случайно: или срочно нужна актриса, а ее в городе нет и долго не будет, или актриса заболела, или режиссер меня видел в другой картине и берет без проб на эпизод.

Я все внимательнее и серьезнее следила за собой, старалась вести себя сдержанно. Но почему так? Актер на пробе умен, тактичен, говорит мало — больше слушает. И кажется, что он владеет тайной, которая раскроется потом на съемках, а в готовом фильме выясняется, что в пробе-то и был его потолок. Роль получается ровная, гладкая, без неожиданностей, поворотов, без внутренней эксцентрики. Хотя все правильно, не придерешься, а ведь в жизни все так неожиданно! Только что-то наметишь — и все вверх тормашками! В жизни ничего нельзя отрепетировать. В кино же почему-то принимаешь условности, видишь красивую мизансцену в фильме о производстве — молчишь.., а кино вроде искусство, наиболее приближенное к жизни. Как играть — гладко и ровно? Или рисковать, как бывает с тобой в жизни? Если рисковать, опять страх: ведь тебя не примут, и опять в глазах будет: «Что это с ней?»

Ну кто же меня со всеми моими потрохами примет? Со всей моей эклектикой и «чечеточками»? Ведь это надо принять, полюбить, а иначе меня просто нет…

… Я первый раз стояла без палки. Фильм «Мама», на съемках которого я получила травму, я закончила с гипсом, на костылях. В картине «Обратная связь» не сделала ни одного шага — только сижу и стою на здоровой левой ноге. Во «Второй попытке Виктора Крохина» я уже делала два-три шага, незаметно опираясь на стол.

И вот новая роль.

Здесь, в картине, долго переносили сроки съемок — ждали, когда я начну ходить. В этой группе я еще никого не знала, с палкой стыдно как-то было приезжать. И вот я первый раз стою без опоры.

Травма была ровно год назад, я потеряла форму, чувствую себя совершенно беспомощной. В ноге сидят шесть шурупов и титановая пластинка — они держат осколки сломанной ноги, и я думаю о них постоянно.

Нога болит нестерпимо. А мне сейчас нужно быть победоносной, эксцентричной, разбитной и завлекательной. Мой

партнер моложе меня на десять лет. Я его еще юношей видела на экране, а мне тогда было двадцать семь лет. Тогда я вообще не снималась. Теперь ему тридцать, он сильный, красивый, здоровый. Нам сейчас предстоит дуэль-состязание, мы должны вот-вот сойтись в сцене и подняться на самую высокую ноту, попасть в «жанр».

Нет сил ничего доказывать, нет желания. Такая разбитая, хочется скорее лечь. Сколько можно доказывать? На пробе доказываешь, на репетиции, на концерте, в интервью, в жизни — все доказываешь, доказываешь, доказываешь. Ну нет же сил… Что делать, как уйти от неминуемой сцены?

Стою за домом. Меня никто не видит. Отсюда я пойду на камеру, навстречу роли, партнеру, людям, которые мне потом станут родными, навстречу режиссеру, который заставит меня писать про папу и мое детство… Ой, ну не могу… ну нет же сил…

— Ты прекрасна, ты самая красивая. Ты все можешь, все. Не думай об этом, пусть твоя героиня хромает. Это даже интересно. За двадцать лет с человеком бог знает что может произойти, а тем более с ней. Ты моложе выглядишь, чем он. Посмотри, у него уже и складки у рта, и лоб… Ты не бойся, дави его. Возьми его и задави — ты же актриса! Раскрепостись, делай, что хочешь. Захочешь закружиться — кружись, отвернись от камеры, смотри в камеру — что хочешь. Для этой сцены мне пленки не жалко. Ну, дорогая моя, помни, что ты самая прекрасная, самая красивая… Ну, давай, милая моя, красавица моя… Я тебе доверяю полностью — делай что хочешь, в любую сторону, — говорил, отходя все дальше и дальше, режиссер.

Какой он красивый, как прекрасно улыбается. Какие красивые люди живут на земле! Я посмотрела на себя в деревенское окошко. Свет падал мягко, теней под глазами не было. А я вроде сейчас действительно ничего, вполне, а? Ведь он прав — я и пою, и играю! Почему я все время в себе копаюсь, сомневаюсь? Что это со мной? На улице жарко, а по спине, между лопатками, поползла ледяная струйка. Вот и во рту пересохло, вот уже и забил озноб. Началась знакомая трясучка — уже сигналит мой актерский профессионализм моему разбитому больному организму, что он уже готов: «Давай, подбирай свои „дрябы“ и мышцы, пошли в бой!» Сейчас, сейчас, подождите. Я сейчас соберусь. Сейчас сцена эксцентрическая, комедийная, а потом, в конце «она» раскроется в драматической ситуации, но это потом. Вот такая моя героиня — Тая. Я вспоминаю, что кумиром Таи мы с режиссером решили сделать звезду пятидесятых годов Лолиту Торрес.

— Мотор!

Сердцу больно, уходи, довольно,
Мы чужие, обо мне забудь.
Нет, не надо — ни руки, ни взгляда…

И я уже иду навстречу молодому партнеру и вижу его складки у рта и лоб в морщинках, и мне от этого легче… На ходу, шаг от шага, чувствую, что делаюсь изящнее, стройней и моложе.

А почему я не хромаю? Ведь это мы обговорили, это интересно, как сказал режиссер. Но нога совершенно не болит. Она здоровая. Первый раз не болит за этот мучительный год. Но все, уже поздно. Начинается сцена. Партнер заглянул мне глубоко в глаза, а дальше — уже не я, уже кто-то другой. Никогда, ни на одной, самой подробной репетиции так полнокровно не узнаешь партнера и себя, как после слова «мотор», «горячим» способом. Тут видно все. Ничем не прикроешься. Это самое мощное и высокое напряжение всех твоих актерских и человеческих ресурсов. У нас — в драматических ролях, драматической картине — пошел дуэт из мюзикла! Все, что мы говорили на фонограмме звучит как музыка! Без специальных подстроек и мучительных, болтливых, изматывающих репетиций, мы с ходу попали в жанр этой необычайной драматической картины, спели сцену «в яблочко». И стало ясно, почему двадцать лет назад эти, теперь уже повзрослевшие герои фильма, полюбили друг друга на всю жизнь. В предыдущей серии дуэт юных талантливых артистов уже сыграл наши роли. Вот этот наш дубль и стоит в картине «Сибириада».

… Я сразу осунулась, сильно захромала и, держась за забор, пошла опять туда, где меня никто не видит.

— Эй, ты, Коза, ну, как тебе твой партнер?

— Ой, что вы, Никита Сергеевич, по-моему, хорошо… Получилось вроде.

— А-а… нравится! Эх ты, такую роль на Козу променяла.

Я двинула плечами, сутулая, сникшая… Я его больше не стеснялась, он сейчас так много узнал про меня, а я про него, как будто мы долгие годы знали друг друга.

— А-а, Коза, не поверила мне, вот и ножку сломала. Теперь будешь верить? А?

— Теперь не знаю. Б-буду… — сказала я не совсем уверенно.

Режиссерам я уже не верила. Обещали всегда очень много. Сколько раз я слышала, что для меня нужно специально писать сценарий. «Вот у меня сейчас будет готов сценарий, там такая для вас работа, Людмила. Я вам буду звонить. Готовьтесь». И все. И молчок.

Мне кажется из всех профессий в кино профессия режиссера — самая вибрирующая. Режиссеры — самые неверные люди. Я время от времени анализировала причины. В общем, так оно и должно быть. Если в центре фильма человек, который не побуждает режиссера к фантазии, к новому, к сверхсилам, если режиссер в него не влюблен и не восхищается им, то снимать фильм трудно, иногда невозможно. Потому режиссер и меняет в своих картинах актеров, объект, остывает к предыдущим, которых он снимал, и результаты от этого не становятся хуже. Просто этот режиссер работает вот так. Но мне ближе такой, который заранее знает, что и в следующей работе он будет вместе со своими проверенными друзьями-единомышленниками, и они его не подведут. Я с удовольствием иду на фильмы Данелии потому, что обязательно увижу там Евгения Леонова; на фильмы Панфилова потому, что увижу там Инну Чурикову. Они — единомышленники. Происходит взаимное обогащение, а выигрывает от этого фильма, искусство.

Наверное, я сама во многом виновата — слишком поздно начала понимать, что к чему, многих отпугнула своей невыдержанностью, но мне не пришлось работать постоянно с одним режиссером. Кончалась картина, и опять я не знала, что будет завтра, какому режиссеру захочется пригласить меня… Опять все с начала: сдерживать себя, играть что-то, тебе не свойственное, и думать об одном: «Скорей бы в кадр». Боли от встреч с режиссерами у меня было предостаточно. И я решила: режиссер пообещал — прекрасно! Поблагодарила. И забыла. Лучше не верить, а потом быть приятно удивленной.

И вот 1976 год. Я снимаюсь на Рижской студии. Вечером в гостиницу звонок из Москвы: «Здравствуйте, это Михалков. Что вы делаете летом? Вы читали Чехова — „Платонов“? Там есть роль генеральши. Я ее готовлю для вас. Вы мне нужны будете совершенно свободной. У меня репетиционный период. Обязательно. Мы с вами договорились. Я вам буду звонить».

А накануне в рижском Доме кино я посмотрела «Рабу любви». Я была под большим впечатлением от картины, от Елены Соловей, от художника Адабашьяна, от режиссера Никиты Михалкова. И надо же! На следующий день он сам звонит. Как правило, всегда звонят ассистенты, реже, вторые режиссеры. Но сам режиссер… Очень, очень редко.

Я порадовалась, порадовалась, и «закрыла клапан», чтобы потом не расстраиваться. И больше никаких звонков. Ни слуху ни духу. Правильно. Чудес не бывает. Я к этому привыкла. И начала сниматься в совместной постановке — «Мосфильм», Румыния, Франция — в мюзикле «Мама».

Опять звонок домой:

— Это Михалков. Я был в больнице. Срочно начинаю пробы. Надо поискать грим, костюмы. Давайте приезжайте завтра на студию.

— Я не могу. Я уже снимаюсь в «Маме».

— В какой маме?

— Ну, фильм так называется…

— Нет, вы серьезно?

— Фильм так называется — «Мама». Это мюзикл по сказке «Волк и семеро козлят». Я играю Козу.

— Козу?!

— Ну так в сценарии…

— Слушайте, что вы говорите? Какая коза? Я же вас просил освободить лето! Я же на вас писал роль!

— Я вам не поверила, я не верю режиссерам…

Так захотелось плакать! Неужели он говорит правду? Неужели он действительно писал для меня роль?

Пробы по «Платонову» — «Неоконченная пьеса для механического пианино» — мы с Михалковым провели. Директора картины «Мама» и «Механическое пианино» уже договорились о моей занятости… И тут я получила тяжелую травму. Все остановилось.

Да, такую роль на Козу променяла!

Через два года, рано, часов в восемь, неожиданный звонок:

— Это Михалков. Привет, Коза. — Голос в восемь утра бодрый, энергичный. Наверное, Михалков уже пробежал десять километров, как это было на съемках «Сибириады», — вся группа еще только просыпается, а он уже пробежал, позавтракал, сидит и читает газету.

— Я сейчас между двумя сериями «Обломова» хочу попробовать снять в короткий срок картину, у меня есть до зимы три месяца. «Пять вечеров» Володина знаешь? Мне нужны артисты, которые быстро сумеют войти в роль. Ищу, ищу актера, сам бы хотел сыграть, но думаю, нет, не смогу — снимать и играть… Но очень хочется. Вообще играть очень хочется, но Ильина не буду. Сыграю Тимофеева… Ладно, Коза! Не суетись, ближе к делу. Что у тебя со временем?

— Я свободна, — сказала я не моргнув глазом. И в тот же вечер прервала переговоры с группой, где уже была намечена проба, а режиссера еще и в глаза не видела… Звонили ассистенты…

«Пять вечеров». Тамара Васильевна. Роль, состоящая из цитат, сыгранная и другими, и мной в предыдущих фильмах. Уже давно

драматурги и сценаристы разнесли пьесу Володина по частям, по репликам. Она появилась в 1957 году. Сколько раз я сама на экране говорила, как Тамара Сергеевна: «Все парами, парами, а я все одна и одна». Сколько я сыграла одиноких женщин, и сколько раз мне на экране говорили партнеры: «Выходи за меня…»

Что мне делать с этой ролью? Ведь в Тамаре Васильевне все играно-переиграно, и очень хорошими актрисами.

Нужно попытаться, не мудрствуя, поближе быть к пьесе, постараться реставрировать роль, не стесняясь повтора, если это на благо образу, если это искренне. Наверное, нужно попытаться не рыдать, не плакать, избежать напрашивающихся сантиментов. Тамара семнадцать лет живет одна, она так уже привыкла, она забыла, что это вообще такое — любовь. В бесформенном халате, в бигуди, серая, безликая, непонятно, сколько ей лет — тридцать, сорок, пятьдесят… Ее виду никто не удивляется — все давно привыкли. Это очень важно. В первой встрече с Ильиным она будет неприятной, даже отталкивающей — ведь она давно уже не видит себя со стороны, она уже давно не женщина, все умерло. Работа, племянник, дом, телевизор, железные бигуди, железный голос, «лет сто не танцевала»… Больше ничего от третьего вечера мы о ней не знаем. Но Ильина она рьяно, по-сумасшедшему разыскивает… Это еще не любовь, это только проснувшаяся память о прошлом, о том, какой она была прежде. Она еще железная, хотя внешне и изменилась к лучшему. Надо будет поменять вязаную бесформенную шапку на кокетливый, глупый берет… она уже и одеваться не умеет, и в этом особая безнадежность. И пусть она говорит Тимофееву: «Я ведь, в сущности, живу одна. На работе хорошо. Все время чувствуешь себя нужной людям. А вот в праздники плохо. Все парами, парами, а я все одна и одна». (Последнюю фразу режиссер разрешил не говорить). Да! Так пусть она этот монолог говорит оптимистично и бодро — ни в коем случае не плакать и не жалеть себя. Это еще пронзительней, когда человек не видит себя со стороны и не понимает, как он трагически одинок. Пусть после этого монолога зрителю захочется сказать ей: «Дорогая, ну что ты бодришься? Ведь ты так наивно прикрываешься». А потом уже, потеряв «его», опять, еще раз, она обмякнет, уйдет в «железо». И вот тут надо играть любовь. Тамара уже слабая, потому что опять любит. Чувство к Ильину просыпается с новой силой, и на глазах возрождается никуда не ушедшая, приглушенная, нерастраченная женственность. Это слабая, нежная, хрупкая девочка с морщинками на душе. Она дождалась своего счастья…

Перед съемками начались репетиции. Их я боялась как огня. Но Михалков про меня давно уже все понял. На репетициях я

тарахтела без умолку. Рассказывала анекдотики, копировала и шаржировала, хихикала и пела на разные голоса, рассказывала про папу, крутилась и вертелась, забыв, что мне сорок два… А к роли нет-нет да и вернемся. Почитаем, прослезимся… полюбуюсь на Любшина… и опять меня режиссер отпускал на свободу!

А к съемкам все внутри — лежит на местах. Тронь струну — и весь аккорд ответит! На съемках — ни нервов, ни репетиций, ни выяснений отношений между героями — уже все выяснено. По движению брови, по скошенному рту режиссера я знала, куда мне повернуть. В самых трудных сценах Михалков подходил и молча брал меня за плечи: «Ну, ты все поняла». От этого доверия появлялись новые силы, и я играла сцену. Мы с режиссером уже были в актерской упряжке в «Сибириаде». Он знает, что такое находиться с другой стороны камеры, поэтому он чувствует актера и верит ему.

В павильоне абсолютная тишина. Все передвигаются бесшумно и только по делу. Идут синхронные съемки. Между членами группы самые теплые отношения. На меня смотрят, последние поправки со светом, сейчас начнется сцена… Саша Адабашьян здесь. Интересно, как он себя чувствует после вчерашней трудной сцены? Саша не актер, он сценарист и художник картины «Пять вечеров», но я Тимофеева представляю именно таким. Любшин еще не готов, он поправляет грим. Вчера «горячим способом» сыграли с Сашей эпизод. Ни он, ни я не знали, как повернется сцена, — режиссер нас пустил, значит, так надо — даже вчерашняя странная рваная сцена. Как интересно стало смотреть на Сашу и подстраиваться на ходу. Что за человек Тимофеев? Любит он Ильина или не любит? Защищать Тамаре Ильина или нет? Прислушиваюсь к мельчайшим обертонам в интонации Тимофеева!.. Верила, верила, и стоп! — опять не верю… Вся сцена переворачивается, и за что я потом благодарю его — не понимаю. И все же все точно, как бы и в жизни было. Потом, когда снимусь в этой сцене, нужно будет показать свои харьковские фотографии, которые я выбрала и принесла. Завтра они должны висеть на стенах комнаты Тамары — завтра будет сниматься финал.

Мне не стыдно здесь, на съемочной площадке, рассказывать, как мой папа говорил мне в детстве: «Дуй свое, дочурка, надо выделиться. Иди уперед, моя богинька, моя клюкувка…»

Мне не стыдно воспроизвести папину неграмотную речь. Да, папа для меня — это моя боль, моя радость, моя гордость.

Кажется меня первый раз приняли со всеми моими потрохами, эклектикой и «чечеточкой».

— Богинька, клюкувка, иди на место в кадр, — тепло

обращается ко мне оператор Лебешев.

— Мотор! — шепотом говорит Михалков, и я иду в кадр, в счастливый финал роли…

«ДАВАЙ ДАЛЬШИЙ»

Мой дорогой и любимый папа остепенился поздно. В 1952 году, после сердечного приступа, врач сказал ему: «Если будете курить и выпивать — умрете». Наутро папа проснулся и навсегда забыл, что он когда-то занимался таким «сознательным убийством своего организьма — ето ж якая дурысть!» С того дня как отрезало! Папа начал тщательно следить за своим здоровьем.

«Самое главное у жизни — питание». Ел он только полезное: творог, молоко в неограниченном количестве, мясо кролика, очень любил арбуз. В гостях он просил молока, в ресторанах угощал других. За чужой счет есть и пить считал неприличным. От икры морщился, но ел, потому что это полезно. Рыбу жевал равнодушно, мясо отдавал маме.

Когда папа узнал, что от сахара развивается склероз, он тут же перешел на мед. Если кто-нибудь убеждал папу, что от того или иного продукта он помолодеет и в него вольются сверхсилы, в которые он очень верил, — он мог съесть что угодно.

В 1963 году я снималась в Риге в фильме «Укротители велосипедов». Папе было шестьдесят пять лет. Я привезла ему трех огромных жирных угрей. Я всегда привозила ему деликатесы и диковинки: или кокосовый орех, или ананас, или самый модный костюм, или ручку, в которой чернила то прикрывали дамочку, то обнажали. Я знала, что он будет всем показывать, демонстрировать, хвалиться. Пойдут шутки, выдумки, начнут рождаться новые папины истории… Он будет в своей стихии.

— Ето што за гадюк ты привезла, дочурка? И вот ето люди добровольно едять? А мамыньки. Не, я не… Хай Леля. Она зъесть. Она усе зъесть. — И ушел в комнату, явно разочарованный моим сюрпризом. А во дворе ждут, чем он сегодня похвастает, — дочь ведь приехала!

— Сейчас, подожди, — сказала мама, заметив мое огорчение, и пошла к папе в комнату.

— Да? Ето точно? А што же вы мне не гаварите? Штоб етых гадюк никто не ев!! — И тут же понес демонстрировать угрей во двор.

— Что ты ему сказала?

— Не важно. Сказала, что в этой «гадюке» есть самые нужные ему витамины…

У нас в доме — и в Москве, и в Харькове — лежали пачки трав и лекарств от всех болезней и на все случаи жизни.

— Лель! Мне сказали, як ревматизм лечить. Пойди купи литр

керосину, я щас приду.

Из магазина папа принес пачек сто швейных иголок, развернул их и высыпал на стол. Мама, хоть и давно ничему не удивлялась, смотрела с тревогой.

— Чего ты? Да мне один авторитетный человек сказал… Ты лучий слушый: нада у етый керосин кинуть во етый металл, закопать у землю, хай иглы лежать у керосине полгода… А потом мажь себе сустав — и ревматизма як не бувало. Вот так, детка моя. Чисто народное лекарство.

— Марк! Уже больше полгода прошло… где же твой керосин? Хи-хи-хи…

— Ах ты ж, мамыньки, совсем забыв.

Пошел во двор, выкопал бутыль. Керосин стал рыжего цвета. Иголки растворились, но не до конца — от них кверху поднималась дрожащая паутина, словно от затонувшего корабля, который пролежал на дне океана сто лет.

— Лель! Давай ты первая. В тебя ноги болять, а?

— Нет, Марк, котик, тебе советовали, ты и лечись…

Папа без охоты помазал себе колени, локти и пошел на работу… «Товарищи, очень пахнет керосином, как бы не было пожара, здесь же дети». Бедный папа прибежал домой, сбросил с себя одежду, всю в рыжих пятнах. «Хай оно сгорить! Який позор!» И отнес рыжую бутыль Соне.

А как папа следил за своей внешностью! Каждый месяц мама восстановителем убирала его седину, и как бы то ни было, но выглядел он лучше мамы. Всегда хорошо одет, подтянут, строен, легок. Ему шли модные вещи, и он с удовольствием их носил. Пользовался успехом у женщин. Мама уже считалась у него пожилой. Ему семьдесят, а маме пятьдесят! Человек, который давал ему пятьдесят пять, папе уже не нравился: «У него глаз злой… не-е, он недобрый к людям». — «А сколько же ты хочешь, Марк-котик?» — «А пятьдесят четыре!»

У папы по-прежнему были дружки. Но после того, как сам перестал курить и выпивать, стал получать удовольствие от того, что поил других, а сам, чокнувшись «за честь, за дружбу», пил «Березовскую» — харьковскую минеральную воду. Потом совал другу в карман деньги на такси и, удовлетворенный, все убирал со стола сам, чтобы не сердить маму.

Но увлечения его стали еще сильнее и азартнее, чем раньше. Он постоянно «шел вперед», ему было интересно «завтра», а не «вчера».

— Леля, ето вже прошло, иди уперед, назад не оглядайсь. Допустила ляпсус, сделай вывод — и иди дальший… От так,

детка моя. Давай дальший, займись новым делом.

Они с мамой проводили массовку за городом. У хозяйки папа увидел два роскошных фикуса.

— Лель! Давай купим фикус у дом! Якая прелесть!

Фикусы тогда стояли в залах и считались богатым украшением интерьера.

— Лель, давай! Увесь Дворец ахнить! У во Дворце такого нима, а в нас будить!

Но мама не захотела категорически.

Папа разбудил меня рано, и мы тихо вышли из дома.

— Ета лежень хай ще спыть. Увесь мир можить проспать. Все вже на роботу пошли, и Сонька з базару пришла, а она як барыня…

Обычно папа уже в шесть часов утра поливал из шланга двор, цветы в нашем палисаднике и громко разговаривал со всеми соседями на самые щекотливые темы. Во дворе стоял смех. А потом он пускал в окно струю холодной воды, прямо на кровать с шариками, где блаженно и сладко спала мама, — будил ее. Так начинался день…

Но в то утро мама осталась спать, а мы в поезде поехали за город. Оказывается, папа уже давно сговорился с той хозяйкой, и она его ждала. За сто пятьдесят рублей (старыми) мы купили огромный фикус в деревянной кадке.

До станции фикус дотащили еле-еле. А что будет дальше?

В поезд фикус не влезал. Обломалось несколько листьев, и папа, расстроенный, держал их в руках «при всякий случай». Фикус был объектом всеобщего внимания и восхищения: «Какое красивое растение!», «Ценная штука», «Где достали?», «Вот живут люди». Папа сиял.

В трамвай дерево не входило, и мы тащили его через базар по Клочковской до самого вокзала. Папа нес фикус на плече, а я изо всех сил поддерживала его локоть. На нас все оглядывались.

— Щас, дочурка, увидишь, як она бельмы вылупить… А я своего добився. Як поставлю на своем, так и будить. Як же ты мне помогаешь, мой сухарек, моя ластушка дорогенькая!

Я же готова была лопнуть от счастья, хоть и руки затекли, и шея онемела.

Через месяц фикус стал желтеть. Потом начали опадать листья. Потом остался один ствол.

Мама была очень довольна.

— Што же я не так сделав? Я ж за ним, як за ребенкум, ухаживав, поливав исправно, — жаловался папа интеллигентному старичку из Дворца — старичок этот вел ботанический кружок.

— И как вы его поливали, Марк Гаврилович?

— Ну як… Литровую банку утрушком, полбанки вечером. Думаю, лист толстый — хай пьеть.

— Ну, так вы же его, голубчик, загубили. Нельзя столько жидкости, сгноили растение.

Горевал папа, торжествовала мама, а потом: «Ладно, пошли дальший».

И вскоре у нас в доме появилась клетка с двумя красивыми птичками.

— Лель! Не сердися! Щас на базаре они мне так пели! Выбрав самых лучих! Щас споють. Што за птица, прямо прелесть!

Но птички дома так ни разу и не запели. Он их и уговаривал, и угощал сладкой водой с вареньем, и щебетал перед ними. На ночь закрывал клетку черной тряпкой, а утром, как советовали, быстро срывал ее с клетки, надеясь, что они тут же запоют… Но птицы, нахохлившись, ближе садились друг к другу и… молчали.

— Марк, да тебе подсунули других! Показали певчих, а дали этих! Понимаешь ты? Ну зачем нам еще птицы! И кукуй с ними… одна грязь от них…

Мама опять была на коне. А папа виновато уходил в другую комнату и начинал тщательно чистить клетку. В это время птицы свободно летали по комнате. За ними жадно наблюдал наш кот Мурат. А папа следил за Муратом. Но однажды папа задержался на кухне, и от птичек остались только пух и перья. А кот Мурат на целую неделю исчез из дома.

— Лель! Давай сделаем свое вино. Паштетик меня угостил своим вином. Во вкусное! Прямо прелесь!

— Давай, — лениво сказала мама.

Папа притащил в дом бутыль на пять ведер. И все с тем же неослабевающим энтузиазмом, с горящими глазами.

— Ну, теперь усе ахнуть! У Марка свое вино! — Насыпал в бутыль вишен, много-много сахару и стал ждать. Как придет с работы, поставит баян на кухне и тут же бежит в комнату проверять вино.

— Лель! Уже бродить! Попробуй, укусно як. Ето ж прямо прелесь! — И закрывал наглухо бутыль огромной пробкой. — Лель! Хай себе бродить, а зимой усех буду угощать.

Бутыль взорвалась неожиданно, как бомба! Мы ужинали на кухне.

— Ах ты ж, мамыньки родныи, погибло вино!

По всей комнате: на кровати, на полу, на столе и стульях валялись черные вишни. А по стенам и потолку разливались. красные струи, как после побоища.

— Эх, гаварили мне, што не нада пробкою — хай воздух

выходить, не послухав, боявся, што аромат увесь улетить. Во дурак.

— Хи-хи-хи… так закон же не писан, — сказала мама, боясь произнести слово «дурак». Во-первых, она знала, что за это бывает, а потом, папа был так искренне потрясен…

Долго он ничего не приносил в дом и «пошел дальший» втайне от мамы. Потом она узнала, что папа потихоньку стал сам делать баян. Не маленькие гармошки, а настоящий пятирядный баян — от начала до конца. Не сразу, но получилось. Он ходил к знакомым мастерам — смотрел, а потом ночами мастерил и мастерил. Проснешься ночью, а свет в комнате горит — папа еще не спит, работает. Среди тишины вдруг он так начинал костерить какую-нибудь несчастную дощечку или пластинку целлулоида, что мы с мамой прятали лица в подушку, чтобы до него не донесся наш смех… Что он говорил? Вот этого не могу описать. Это неописуемо! В этом — весь мой папа, о котором что бы ни рассказывала, а тем более ни описывала, — доносишь всего лишь половину или треть, а вернее — совсем не то… Эх, папу надо было видеть, слышать, знать. Баян получился прекрасный! Мама притихла. Потом папа нашел клад в голубой кастрюльке. Мама совсем притихла.

А потом папа решил посадить в нашем саду розы. Пошел в Ботанический сад, тот самый, где я рвала шиповник, договорился с садовником, все расспросил, все разузнал. «Теперь я навчился. Усе взнаю досконально, а потом вже делаю! Жисть есть жисть». И в нашем палисаднике размером два на четыре метра расцвели розы необыкновенной красоты. Мама замолчала, даже улыбалась, когда приходили к нам во двор полюбоваться папиными розами. Он обнес палисадник колючей проволокой и был «исключительно счастливый», если люди говорили, как само собой разумеющееся: «А-а! Это в том дворе, где баянист с розами живет?» Мама, глядя на то, как папа поливает розы, все чаще напевала «Осень». Папа ведь знал, что розы — мамины любимые цветы.

А когда я уже училась в десятом классе, папа купил себе фотоаппарат «Киев». Это было самое интересное его увлечение.

Папа долго изучал «внутренности» «Киева», но разобрался только с помощью мамы, которая расшифровала инструкцию по пользованию фотоаппаратом. Потом папа долго то засвечивал пленку, то путал закрепитель с проявителем, или щелкал, забыв снять с объектива крышку. фотографии были хрупкие, жалкие, скатывались в трубку.

Он все-таки овладел этим искусством! Но каждый раз, когда мы с ним проявляли фотографии, удивлялся, как в первый раз: «Як его от якой-то водицы на свет выходить люди, лес — усе на

свете?» На фотографии уходила половина папиной зарплаты. Он всех снимал бесплатно, карточки дарил пачками. За ним ходила толпа детей.

Папа снимал всех сотрудников Дворца — у входа, где по обеим сторонам парадной лестницы сидели два огромных льва. А мама была главной папиной моделью. Она сидела и на скамейках, и на стульях, и на траве, и под елкой, и с баяном, и выглядывала из-за деревьев, и склоняла голову к гипсовому дискоболу, и счастливая выходила из воды, и даже, под папиным нажимом, садилась на льва. Как же она терпеливо переносила папину железную режиссуру, не допускающую никакой отсебятины и импровизации. Потому он меня и не любил фотографировать — я уже постепенно выходила из-под его влияния… А мама, наоборот, все больше и больше становилась похожей на папу. Он ее подавлял. И в конце концов она скрепя сердце ему терпеливо подчинялась.

«Распрастрите глаза поширей, пыжалста! Влыбайсь веселей! Ну! Три-чечирнадцать!» — и все: дети, старики, соседи, сотрудники, «кровенные», дамочки, ухажерки — все на папиных фотографиях весело и жизнерадостно улыбались.

Благодаря аппарату у папы появилась возможность беспрепятственно знакомиться с теми женщинами, которые ему нравились. На фотографиях они сидели или на траве, или на скамейке, или выглядывали на пол-корпуса из-за дерева. А фон — или клумба с бюстом посередине, или олень с ветвистыми рогами, или девушка с веслом, или мускулистый дискобол с занесенным ввысь диском. Все фотографии обязательно на фоне какого-нибудь произведения искусства.

— Марк, котик, что-то у тебя очень много карточек этой дамочки… Вообще-то очень приятная дамочка, но почему-то я ее не помню. Кто это, интересно, а?

— Да видела ты ее, Лель… Ничего, абсолютно ничегинька хорошага. Я и сам ее не знаю — вот тибе крест святой! Напросилася. Ну а если человек просить, разве я могу отказать? Ты ж меня знаешь, я ж человек благородный. Лель! Да я могу ей фотографии и не давать. Як ты скажешь, крошка.

Он никогда не был, как все. Он и не мог, как все. В нем бурлила и кипела кровь до тех пор, пока он не находил возможности «выделиться».

Когда вышла на экраны «Карнавальная ночь», папа и мама стали в Харькове едва ли не самыми популярными людьми. Папе — радость! Если он в центре событий, если он объект внимания — его хлебом не корми, только дай рассказать про меня, про «концертик в деревне», про чечеточку, про аккордеончик. Он

работал перед публикой, как артист, — преображался, перевоплощался, отбивал чечеточку, которой и меня когда-то учил…

А мама наоборот. Она перестала ходить на работу пешком, только — на трамвае, отвернувшись от всех: стала носить темные очки, что возмущало папу. «Ты гордися, а не ховайся! Ето наша дочурка, наша з тобою гордость». Мама ругала папу за то, что он раздаривает всем мои фотографии. Он дарил их со своей личной подписью.

В тот год я приехала к родителям на зимние студенческие каникулы. По дороге с вокзала мама сказала мне, что в моей комнате папа сделал ремонт по своему собственному вкусу. Она просила быть сдержанной и не подавать вида, если мне не понравится, чтобы не огорчать его: «Он так старался к твоему приезду…»

Комнату свою я не узнала. На стенах сидели птички с длинными хвостами. На потолке — подводное царство. Вокруг люстры — кружочком, друг за дружкой — плавали пушистые золотые рыбки, точно такие, как в довоенном Дворце пионеров в мраморном бассейне. В четырех углах потолка сидели морские чудовища с многочисленными щупальцами, похожие на Медузу Горгону. А с потолка на стены свешивались длинные ветвистые водоросли — все в розово-зеленой гамме.

Мама тихонько сжимала мою руку, а папа с надеждой заглядывал мне в глаза.

«Ну, як твой папусик встречаить актрису? Поработали на славу, што там гаварить… Я такое, дочурка, только у бароньским замку видев, а теперь и в нас дома вже такое. А. дочуринка?»

У папы был «кровенный» дружок-маляр по фамилии Беспорточный. «Етый Анатолий Беспорточный — настыящий художник — нарисуить тибе што хошь». Сколько же этот Беспорточный попил у папы «за честь, за дружбу»! У него болела совесть, и он постоянно предлагал папе свои услуги. «Спасибо, друг, спасибо. Ще придеть время».

И вот это время пришло. Я смотрела, натужно улыбаясь, благодарила папу, но через несколько дней перешла в другую комнату — там, якобы, светлее. Папа все понял, и через месяц мама мне написала в Москву, что Беспорточный все перекрасил заново и теперь у нас нормально, как у людей. Как у людей. С серебряными накатами, готовыми трафаретами. Как у всех. Побелкой занималась мама. Папа к ремонту интерес потерял — он не мог «как все».

Даже когда в 1972 году он лежал со вторым инфарктом в больнице, а я приехала из Ленинграда, где снималась в фильме

«Табачный капитан», папа попросил, чтобы я пришла к нему в самом красивом и модном платье. Уже вся палата и больница знали, что он «отец актрисы».

Я пришла к папе с розами. В палате лежали еще шестеро старичков и пожилых мужчин. Пахло лекарствами…

Как странно, неужели папа — мой папа, мой сильный, неистощимый папа, может умереть! Сейчас он совершенно другой. Предельно экономный в движениях, взгляд помутневших глаз мудрый, сосредоточенный, трагичный. Таким я его не могла и представить…

Как так получается, что крепкие, жизнерадостные люди в старости становятся немощными и жалкими? Куда же уходит сила? Как это несправедливо! Нет! Мой папа не может быть старым и слабым. Это все временно. А на душе так пасмурно, безнадежно и горько… Как я буду жить без него? Чем?

Папа пошевелил губами. Я поняла, что надо к нему нагнуться, он хочет сказать что-то, чтобы никто не слышал.

«Дочурка, сделай што-нибудь артистическое». И еле-еле кивнул головой, мол, «не стесняйсь»…

Мне тридцать шесть лет. Я в мини-платье с люриксом — самом модном, сижу около смертельно больного папы, кругом такие же еле живые старые люди. И сейчас вот, мгновенно, должна «сделать что-то артистическое» — ведь все чего-то от меня ждут, ведь я актриса, и папа наверняка уже намекнул, заверил, а я, ничего не продемонстрировав, уйду?

— Дорогие мои товарищи, друзья! Я вам очень благодарна за внимание к моему дорогому папе, за то, что уважаете и понимаете друг друга… Я уверена, что скоро вы все поправитесь и вернетесь к вашим женам, детям, внучатам. Как я вам благодарна! — Я искоса взглянула на папу — он доволен, но этого, кажется, для него маловато. Ну что же, ради моего папочки я всегда была готова на все… — Может, я вам что-нибудь спою?

— Людочка! Мы стеснялись Вас попросить, но вот Вы какая хорошая. Споете для нас про пять минут…

«Пять минут». «Карнавальная ночь». Прошло пятнадцать лет, а больные старые люди просят «Пять минут». Может, это еще не срок для удачной, полюбившсйся людям веселой комедии?

Прошло немало лет после выхода картины на экран. Я уже снялась более чем в пятидесяти фильмах, во многих из них пела. В чем сила и успех картины? Почему эта комедия до сих пор живет?

… 1956 год. Я перешла на третий курс института кинематографии. Мне двадцать лет.

На роль Леночки Крыловой в фильме «Карнавальная ночь» пробовалось много актрис. На пробе я исполнила песню Лолиты Торрес из фильма «Возраст любви». Все говорили, что я на нее похожа, и мне это нравилось. Я так ее копировала, что, если закроешь глаза, не отличишь, кто поет — Лолита Торрес или я. Это всех приводило в восторг, а меня еще больше.

Но кинопробы я не прошла. Обо мне на худсовете не было и речи. Роль Леночки начала другая актриса.

… Я шла подпрыгивающей походкой по коридору студии «Мосфильма» в огромной широченной юбке, затянутая в талии так, что Лолите Торрес и не снилось. Голова моя, в колечках и с челочкой, была чуть ли не вдвое больше талии. В моде были нижние юбки. Если другие девочки носили одну, то я — сразу две, да такие накрахмаленные, что лучше не садиться… И я весь день была на ногах. Вечером еле-еле доплеталась до общежития — пешком, троллейбусом, электричкой — и падала замертво. Зато фасон держала целый день!

Я шла по коридору студии «Мосфильма». На лице у меня было написано: «Все хочу, все могу, всех люблю, все нравятся». Навстречу шел Иван Александрович Пырьев. Я еще больше завихляла, еще выше задрала подбородок. Пырьев поднял голову, увидел меня, поморщился, а потом лицо его заинтересованно подсобралось, как будто он увидел диковинного зверька.

— Стойте. — Он развернул меня к свету. — Я вас где-то видел.

— Я пробовалась в «Карнавальной ночи».

— А-а, вспомнил. Вы пели…

— Из «Возраста любви». Сама! — Тут же добавила я, боясь, вдруг он подумает, что я пела под чужую фонограмму.

— Пела хорошо. А зачем ты так гримасничаешь?

— Ну…

Мы еще постояли, глядя друг на друга. Я нервно переминалась с ноги на ногу, а Пырьев очень серьезно и внимательно глядел на меня.

— А ну, пойдем.

Быстрым шагом он устремился вперед, а я вприпрыжку за ним. Мы пришли в третий павильон. Здесь стояла маленькая декорация радиоузла — сцены, где Гриша Кольцов признается Леночке Крыловой в любви. Съемок не было. Снова срочно искали актрису на роль Леночки. Почему расстались с актрисой, принятой на роль раньше, — так и не знаю. В павильоне почти никого не было. Пырьев подошел к главному оператору: «Вот актриса. Ты сними ее получше. Поработай над портретом — и будет человек».

Вот так я, негаданно и неслыханно, попала в картину, где не прошла пробы…

Для меня кинопроба — заведомый провал. И какое счастье, что последние годы я снималась без проб: «Обратная связь», «Вторая попытка Виктора Крохина», «Красавец мужчина», «Остров в океане», «Сибириада», «Пять вечеров».

На следующий день я стояла перед камерой в своей серой юбке и клетчатой кофте. Костюмы еще не успели перешить на меня. Снималась декорация радиоузла. Юрий Белов играл роль Гриши Кольцова. Ему было двадцать пять лет.

«Что это у нее под глазами черно, как у негра в желудке после черного кофе?» — громко сказал главный оператор. Все: «Ха-ха-ха».

Я знала, что меня нелегко снимать. У папы и мамы под глазами были тени и припухлости, они передались и мне.

Вот это группка! Вот это я попала! Хотелось плакать. Я никому не нравлюсь. Меня не принимают. А я ведь еще ни одного слова не сказала — пока только ставили свет…

«Дуй свое, дочурка, иди уперед, не тушуйсь, усех положишь на лупаты — ето як закон!»

Главный оператор своей репликой сбил мою готовность, и я начала «с нуля»: мягко сказала свою первую фразу, улыбнулась…

— Вы извините, что я сказал про черноту. Это шутка — немного неудачная. А вы — актриса. Меня зовут Аркадий Николаевич Кольцатый.

— А меня — Люся.

И мы навсегда стали большими друзьями.

«Карнавальная ночь» была экспериментом для всех членов группы. Сценарий Б.Ласкина и В.Полякова несколько лет никого на студии не мог заинтересовать и валялся по ящикам — теперь он в работе! Режиссер Э.Рязанов сделал первую художественную картину — до этого он работал в документальном кино. Игорь Ильинский снимался в кино после длительного перерыва. А мы с Юрием Беловым впервые попали на главные роли.

И в самом сюжете фильма — тоже эксперимент. Если учесть, что музыкальных фильмов тогда почти не было, удачных — тем более, а джаз (в картине — новая музыка, новые джазовые оркестровки), мягко говоря, не поощрялся… то понятно, почему эта тема (победа нового над старым) в фильме была близка всему коллективу. Мы искренне и азартно высмеивали надоевшее старое и косное. И, конечно, главную партию здесь вел по-настоящему смешно, ярко и неповторимо И. Ильинский. Для всех нас эта картина была важным этапом в жизни. Собрались люди молодые, любящие музыку, шутки, юмор, умеющие искренне

радоваться жизни. Вот эта наша общая радость, свет, желание победить опостылевшее старое и льются с экрана к зрителям… Картины никто не ждал, она не рекламировалась. Просто вышла 28 Декабря — под Новый год.

Шефствовал над «Карнавальной ночью» И. А. Пырьев — тогда художественный руководитель студии «Мосфильм». Он-то и уговорил и вдохновил Э.Рязанова на эту музыкальную комедийную картину. Иван Александрович смотрел каждый отснятый эпизод и, если он был неудачным, заставлял переснимать. Так «кабинет Огурцова» — первая встреча с Огурцовым-Ильинским — был переснят трижды, пока не получилось. Иван Александрович давал важные советы о ритме и темпе комедии, сам прослушивал музыку А. Я. Лепина. В кабинете Пырьева Лепин показывал свои песни, а я их пела. Анатолий Яковлевич написал такую замечательную песню о любви! Но Пырьев прослушал ее и сказал: «Песня очень хорошая, но не для этого фильма. А музыку не бросайте, используйте». Тема этой песни звучит в музыкальном номере «Танец с зонтиками».

Впервые картина была снята в интерьерах, а не в павильоне. Было лето. Театры разъехались на гастроли. И добрая половина фильма делалась в коридорах и фойе Театра Советской Армии. И дешево и быстро. Там же пересняли и объект «радиоузел», в котором я участвовала в свой первый съемочный день в этой группе.

«Карнавальную ночь» завершили в рекордный по тем временам срок — за пять месяцев.

Многое было впервые. Звукооператор Виктор Зорин записал меня в «Песне о хорошем настроении» отдельно от оркестра. Сбежались смотреть все работники звукоцеха. В тонзале оркестром дирижировал Эдди Рознер, а я пела под простейший наушник, слушая оркестр, а поддерживала меня и вдохновляла музыкальный редактор Раиса Александровна Лукина.

Эксперимент был во всем. «Карнавальная ночь» получилась удачной по всем компонентам: сценарий, режиссер, композитор, оператор, звукооператор, оркестровки Юрия Саульского, актеры. У всех в творчестве — пик. Й так получилось, что у Б. Ласкина и В. Полякова — это лучший сценарий, снятый в кино. У Э. Рязанова — самая оптимистичная и живучая музыкальная картина. У Л.Лепина — самая популярная музыка. У Игоря Ильинского — самая большая в кино удача после «Волги-Волги». У нас с Юрием Беловым после «Карнавальной ночи» началась биография в кино.

Сценарий был написан на Игоря Ильинского. У него была

острая и гротесковая роль. На ней держался фильм. У нас с Ю.Беловым — роли голубые, подсобные, в них все решала наша собственная индивидуальность. В «Карнавальной ночи» у Юрия Белова, как ни в какой другой картине, проявился его редкий трагикомический талант.

… Я смотрю на фотографии мамы, папы, свои. И невольно улыбаюсь и чувствую острую щемящую ностальгию по тому неповторимому времени. Мне никогда не было скучно и неинтересно дома с моими родителями. Всегда что-то новое и обязательно радостное — «дальший и дальший». В нашем доме была удивительная здоровая атмосфера. Все — и плохое, и хорошее, и страшное — все открыто! Никто не стеснялся быть слабым. Если кому-то плохо — прекращались шутки, и все силы, вся нежность и любовь переносились на того, кому тяжело. А потом опять шли «дальший». Я выросла в странной, сумбурной, бессистемной и, может, неразумной, но чистой, доброй, широкой и абсолютно иррациональной семье. Огромная моя страсть, стать актрисой, непрестанно подогревалась папой. Он в меня верил. Я к своей мечте шла прямо, без сомнений и раздумий, вбирая в себя все необходимое.

Такой я и пришла прямо на экран. Искренней, верящей в добро, жизнерадостной, полной сил, с желанием непременно «выделиться». Какое счастье я испытала, когда в черном платье, с белой муфточкой пела «Песню о хорошем настроении»! Ведь именно об этом я мечтала в те голодные и страшные вечера в детстве, когда мы с тетей Валей в упоении, среди боа и вееров, мурлыкали мелодии из «Большого вальса»…

«Карнавальная ночь» — это итог моей двадцатилетней жизни с родителями. И больше я такой не была. Никогда. Потому что на следующий же день после выхода картины на экраны, на меня обрушилась слава. Но об этом позже…

«ПАПА»

Реальная жизнь была посередине. Папа существовал над ней. Постоянная эксцентричность, чудачество, сознательное оглупление себя — при этом зоркое наблюдение за произведенным эффектом… Шутки «свои», независимые остроты и розыгрыши, даже увлечения — все, чтобы создать вокруг себя веселую, здоровую жизнь. Все грустное и горькое папа развеивал и гнал от людей, от себя, и от нас с мамой. После огорчения никто не мог успокоить так, как папа.

— «Ето усе временное, дочурка. Главное — береги здоровье. Не допускай до нервной системы. „Ето“ вже прошло. Смотри уперед и себя береги на завтра.» — И становилось легче. А действительно, неприятность, она же пройдет.

Повседневной жизнью руководила мама. А папа «выступал» редко. Только в самые поворотные моменты в жизни нашей семьи. Выступал мудро, умно и веско.

В 1969 году маме осталось несколько лет до пенсии, но папа решил: «Леля! Щас мы у самом разгаре (успехе). Нам нада щас, и только щас, уходить з работы. Наше время вже кончилося. Уходить нада раньший, пока тибе не сделали намек. Хай у людей будить добрая память про нас. Ты вже не та, он як располэлася. Ну ладно, не в етом дело. Мне што? Я играв и играю. А ты у кругу стоишь… Не, дочурка, послушай, она мне гаварить на массовке: „Товарищ баянист, играйте помедленнее, пожалуйста“. Ето ж кому сказать! Радному мужу гаварить: „Товарищ баянист!“ Усе ж дети знають, што мы твои мать и отец. Ей, значить, помедленней, а она еле ходить… А детям як? Ето ж дети, ребяты — скорые, чуковные. Сегодня помедленней, а завтра што делать товарищу баянисту? Не, Лель, не, детка, крошка моя ненаглядная, ето больно, но ето жисть. Мы с тобой честно усю жисть проработали, а теперь надо ехать у Москву. К дочурке. Теперь дочурка — наша главная опора. И ей надо по хозяйству и з Машую помочь. Будем переезжать у Москву».

И в сентябре 1969 года они переехали.

Папа трагически переживал то, что я не снимаюсь.

— Ничегинька не понимаю. Танцуить, поеть, на аккордевончике и на пианини играить. Хочишь драму — заплачить, хочишь — комедию. И дома садить. Усе работают, а она не. Дочурка, ты мне што-то не договариваешь. Наверно, ты допустила якой-то крупный ляпсус, и за ето тибя не беруть у кино".

— Да нет, папа, нет же.

— Ну а тогда у чем же дело? Чем ты хужий?

А я и сама не знаю. У него были на все свои ответы.

Объясняешь ему, что нет роли…

— Як ето для тибя нет роли, когда ты усе вмеишь?

Что прошла мода…

— Якая такая мода? Як талант, то усегда у моди.

Что другая тематика…

— Так нада пойти у студию, подсказать им тематику.

Что для музыкальных девушек я уже постарела…

— Лель! Што она гаварить?! Да ты, дочурка, як прибодрисся, да подкрасисся — тибе як семнадцять!

А в драматической роли меня не видят…

— А ты сделай так, штоб увидели. Скажи: дайте я вам зыграю любую драматическую роль. И режиссер тогда глаза распрастреть! Во як нада — боевито!

Мой папа был так далек от сложной и запутанной жизни на студии! Я ничего не могла ему объяснить. Доведет меня до слез, закроюсь в своей комнате и уже не рада, что родители переехали. Я так надеялась, что будет легче. Привыкла одна…

Мама все понимала и очень меня поддерживала, но и папу защищала: «Ты его тоже пойми. Он ведь страдает. И по-своему прав».

Папа внимательно следил за всеми актрисами, о которых писали в газетах и журналах, не пропускал их фильмов, пытался сам во всем разобраться.

В то время мне очень нравилась одна актриса — самая популярная и очень красивая. Все ее роли были интересные, она казалась не по годам умной. А лицо — как на полотнах Ботичелли. Я могла долго, не отрываясь, смотреть на ее чудесное лицо.

— Папа, сегодня к нам придет самая красивая актриса!

Папа приоделся и стал ждать. Когда она пришла, он с ней поздоровался и пошел в другую комнату. А мы сидели у меня, разговаривали, смеялись, я ей пела свои песни. Потом я вошла к папе и спросила:

— Ну, как тебе, пап? Правда, она чудесная?

— Хто? Вот ста девычка? Ето она и есь?

Он ждал большую русскую красавицу с косой. А эта очаровательная молодая женщина была хрупкой, высокой, стройной, в коротеньком платьице и никак не походила в его представлении на кинозвезду.

Папа замялся, а потом, чтобы меня не огорчить, неуверенно сказал:

— Не-е, она приятная… Лицо востроватое. И глаза як стекло.

Когда он успел все разглядеть? Он же ее видел мимоходом, здороваясь. Я потом более внимательно смотрела на нее. Глаза распахнутые, необычные — очень красивые. А вот подбородок, действительно, «востроватый». Глаз у папы был меткий, все подмечал мгновенно: характеристику давал точную, как реприза в эстраде, — в двух словах. Актрису же с «востроватым» лицом на следующий же день пошел смотреть в кино. Чем-то она ему все же приглянулась. Вставал он очень рано и в кино всегда ходил на первый сеанс, пока мы с мамой еще спали.

— Лель, ну посмотрев я ету девычку. Она неплохо справилася. Хоть она у кино и не танцуить и не поеть. Только гаварить…

— Марк, это замечательная актриса! У нее есть свое лицо. Совсем необязательно ей отбивать чечетку…

— Во-о! Здорово, кума! Куда заехала. Оставь, Леличка, бога ради. Актриса должна уметь усе. На то она и актриса.

В гостях у меня побывала Кира Муратова. Мы с ней вместе учились у Сергея Аполлинариевича Герасимова в институте кинематографии. У нас была объединенная мастерская актеров и режиссеров. Кира была режиссером. Я часто играла на курсе в работах, которые режиссировала она. Мы давно не виделись, и нам было что вспомнить, о чем поговорить.

К нам заглянул папа.

— Извиняюсь, не помешаю?

— Нет, что Вы, наоборот. Люся о Вас так много рассказывала…

— Ето она можить. Про роднога отца нагаварить, чего, можить, и не нада… А ты чечеточку бьешь?

— Что?

— Чечеточку, гаварю, бьешь?

— Н-нет…

— А на аккордевончике играешь?

— Н-нет…

— А Люська усе чисто вмеить. И чечеточку, и на аккордевончике. Ну, я пойду вам чайку поставлю…

— Пап! Так Кира же не актриса. Она режиссер!

— Ах ты, мамыньки родныи! Я вот так близко и не видев женщину, якая режиссер. Я хочу у Вас попросить… Знимите меня у кино! Хай у Харькуви и у деревни меня увидять! Я любую роль могу зыграть — что хошь! Дочурка — она ж в меня!

Кира смотрела на него, и я чувствовала, что папа ей чрезвычайно интересен. И точно. Она сказала, что хотела бы его снять.

— Вы знаете, если только у меня будет картина, мы

обязательно с Вами встретимся. Обязательно…

Но в работе у нее тоже долго не ладилось.

— Лель! Я тебе гаварив, што я ще ув историю попаду! Сегодня до Люси режиссер приходила. Баба такая… ничегинька особеннага. Они з Люсюю уместе в Герасимова вчились. Знаешь, она в меня прямо улюбилася. Гаварить: «Як же ето я раньше з Вами не познакомилася. Такой артист пропадаить».

В 1978 году я снялась в небольшой эпизодической роли в фильме Киры Муратовой «Познавая белый свет».

Она мне показывала отснятый материал. На экране шла сцена знакомства главного героя с характерным, эксцентричным вторым героем. Главный герой называет свое имя и ждет ответа. «А ты чечеточку бьешь?» — неожиданно спрашивает второй герой. В просмотровом зале раздался смех, а на экране этот второй герой стал проделывать замысловатые каскады чечетки…

— Кира! Как здорово! Приглашали балетмейстера? Правильно, ради этого стоит. Прекрасный ход! — Я хохотала от удовольствия, а потом вдруг осеклась и посмотрела на Киру.

— Узнала?

Я заплакала…

Папа собирал вырезки из газет, где было написано обо мне, — и хорошие рецензии и плохие — и аккуратно их подклеивал. Папа не пропускал ни одного моего фильма в повторном прокате. А когда с 1963 по 1966 год я работала в театре «Современник», папа с мамой специально приезжали в Москву, чтобы посмотреть спектакль с моим участием. Где бы папа меня ни видел: в кино, по телевизору, в концерте или слушал по радио, он всегда плакал. В «Современнике», играя на сцене, я каждую минуту чувствовала, что папа сейчас плачет и что в темном зале мелькает его белый платок.

В спектакле «Голый король» по пьесе Евгения Шварца я играла гувернантку. Это острохарактерная роль. Длинный острый нос, черный парик, скрывающий лоб до бровей, вместо глаз — черные точки.

В антракте мама объясняла папе суть пьесы. А в конце спектакля, когда все актеры выходят на поклоны без грима, папа чуть не разрыдался, еле сдержался:

— Лель, што ж ето? Не могли ей роль якую подобрать? Вышла на сцену у самом конце, покланялася, и усе. Не могу, Лель, жалко дочурку…

— Марк! Люся играла одну из интереснейших ролей. Ты что, не узнал Люсю? Она играла смешную гувернантку, ты же смеялся, Марк.

— Вон тую, што с длинным носум? А, мамыньки родныи! Ах,

ты ж моя птичка дорогенькая! Смотри, родную дочурку и не познав… Во, брат…

А меня потом просил, чтобы я больше таких уродов не играла:

— Хай етих уродов другим дають, хай поишуть. А ты в меня красивая, ззящненькая.

В программках, среди действующих лиц, в конце было написано: девушка — Гурченко, прохожая — Гурченко, манекенщица — Гурченко, девушка с монеткой — Гурченко.

— Тибе з етаго театра надо втикать. Тут в тибя ничегинька не выйдить.

Папа первый произнес мои мысли вслух.

Но я ждала. Надеялась на роль… а потом отболело. Я ушла из «Современника». Ушла в никуда. Зато с легким сердцем. А жаль. Большой заряд пропал. Но жизнь в театре меня закалила. Я не жалею, что работала в «Современнике».

Я много ездила по стране с концертами — заработаю денег, приеду в Москву… «Звонили мне?» Папа и мама сразу меняют тему, что-то возбужденно рассказывают, я им подыгрываю, а все втроем думаем об одном: «Не звонили». Ну что ж…

Пойду в комиссионный магазин, куплю тарелку, повешу на стенку и долго на нее смотрю.

— Надо, дочурка, иметь про черный день, а ты на ерунду… Надо копейку беречь. Вон як она достается, вся осунулась.

— Хи-хи-хи, с каких это пор ты, Марк, котик, стал такой бережливый?

— Утикай, я щас з дочуркою разговариваю.

— Папочка, дорогой, а кто первый начал? А бронзовое зеркальце, а бисерное платье?

— Эх, таго платтика никогда не забуду. Ето я тибе настыящий вкус привив. Што да, то да, што там гаварить. А теперь, дочурка, такое время, работы у кино нема, надо придержаться, а ты усе стены тарелками позавалила! Хай воздуху у доме больше будить.

Когда ко мне приходила подруга Надя, папа ее водил по комнате и рассказывал, как экскурсовод:

— Во, Надь, шо она делаить, глянь. Вот за етага пацана учера двадцать рублей улупила!

«Пацан» — это небольшая миниатюра на фарфоре «Павел Первый в детстве со щеглом в руке».

Еще раньше у меня в доме появилась картина, на которой ангел-работник летит строить божий храм. В одной руке у него клещи, в другой молоток. Папа рассматривал картину, удивлялся, что она написана не на полотне, а на дереве.

— Марк Гаврилович, а почему он с клещами и молотком?

— Надь, я сам смотрю на него, смотрю. Думаю, ведь ангел, ведь ще ребеныk, а вже слесырь. — И тут же краем глаза наблюдал за реакцией. С тех пор у нас картина с ангелом так и называлась «Слесарь».

— Марк, — говорила мама во время ремонта, — не разбей «пацана». А «Слесаря» будем перевешивать в другое место?

И никто уже не смеялся. Привыкли.

Надя Мухина папе очень нравилась. Это обаятельная женщина со вздернутым носиком и прелестной улыбкой, по профессии инженер. Она так внимательно слушала папины рассказы, так искренне смеялась, что лучшего собеседника для него и представить было нельзя. В Москве он друзей еще не завел и потому страдал без общения. Кроме того, Надя еще была и «дамочка» в папином вкусе. И он ее ждал…

— Почему Надя до тибя не приходить? Может, она на што-то обиделася?

— Да нет, папа, не выдумывай.

Приходила Надя. Все папины болезни как рукой снимало. Он был здоров, бодр и весел. Угощал Надю чаем, медом, настоятельно советовал пить молоко. И невозможно было поверить, что пятнадцать минут назад он просил маму поставить банки, заварить траву, кряхтел:

— Вот уж точно, не сегодня-завтра помру. Останисся одна, тогда успомнишь Марка. Такого раба больший в тибя не будить. Ну, ты-то одна не задержисся, дай тибе бог счастья. А мне пора на покой…

А сейчас с Надей он был такой молодой и красивый. Мы с мамой старались не делать «акцента» и давали ему полную свободу. А сами сидели на кухне. К нам из комнаты доносились знакомые папины рассказы, которые перемежались взрывами Надиного смеха. Надя так оригинально смеется — ее смех сразу, вдруг, без разгона, надолго повисает на высокой ноте, а потом уже делает разгон: «А-а-а! Ха-ха! Ха-ха-ха!» И папе эти взрывы очень нравились. Он еще круче заворачивал, чтобы почаще слышать Надин смех.

Папа три раза рассказывал ей про Германию, «бароньский» замок, про Рокоссовского, а потом, шепотом — про шахту, про свою буйную молодость, про «етага брата» (кивая в сторону мамы), которого в то время у него сначала были сотни, а потом уточнил — «четыреста штук». И опять: «А-а-а! Ха-ха! Ха-ха-ха!»

— Марк, а почему ты не сообщил Наде, что родился на грани двух веков? Хи-хи-хи…

— А она меня и не спрашивала. Ей ето неважно. Я свой возраст не скрываю. Я родився 23 апреля 1899 года у день святого

Марка. Ето и бог, и люди знають.

Надя собиралась уходить, и папа начинал нервничать.

— Ну чего тибе иттить? Уж ночь на дворе, оставайся в нас. Муж твой у командировки, а ты, як верная жена, — у подруги.

Утром он будил Надю на работу. Готовил чай — уже выбритый, причесанный, свежий. Напевал свою любимую частушку:

Эй, сыпь, кума, ладь,

Кума, дело не подгадь…

А когда Надин муж возвращался с гастролей — он музыкант, и я много работала с ним в концертах, — папа с ним выпивал «за честь, за дружбу». Себе подливал минеральной, ну а Надиному мужу — водочку. Папа ему рассказывал, какая у него верная «спутница жизни», как же она ждала своего муженька.

— Она тут нас усех позамучила… все Юрик, да Юрик, Юрик да Юрик… Прямо жить без тибя, Юрик, не можить.

Юра расплывался в улыбке, таял, чувствовал себя неотразимым, а Надя смотрела на меня с недоумением.

— Когда я говорила «Юрик»? Я его вообще ни разу в жизни Юриком не называла…

— Марк! Что ты болтаешь? Вечно лезешь не в свое дело. Это семья.

— А што я такога сказав? Што верная жена ждала своего мужа? Так ето так и есть. Она была в нас, никуда не ходила. А ему радость. Ты видела, якой он был радый? А? То-то. Надо людям радость делать. Хай усе будить радыми! Ты бы мне лучий банки поставила, а то зразу насыпалася. От не сегодня-завтра помру, тогда успомнишь Марка. Такога раба больший тибе у руки не попадеть…

Многие папины пророчества сбылись. Кроме одного. Не нашла себе мама «такога раба». Она и сейчас разговаривает так, будто папа где-то тут, рядом: «Вот Марк говорит», «Вот папа считает», «Папа этого не любит», и вдруг вспоминает какую-нибудь обиду времен 1936 года, и у нее вырывается: «А вот твой любимый папочка позволяет…» — «Позволял, понимаешь? Прошедшее время, мамочка». Она сразу стихает, уходит в другую комнату. И ищет утешения в Маше. На нее она смотрит с обожанием и нежностью. Я давно уже не понимаю, чья это дочка — моя или мамина. Не дай бог мне сделать Маше резкое замечание. Начинается такая гроза, что лучше и не связываться. Лучше промолчать. Ничего не докажешь и не справишься.

Они очень похожи — моя дочь и моя мама: обе абсолютно лишены тщеславия, предельно скромны в своих желаниях.

— Мам, что тебе привезти?

— Да у меня все есть. Ты себе…

— Маша, что тебе привезти?

— Мам, привези знаешь что… открытки. Ну и жвачку.

У обоих любимое место — кухня. Холодильник — хлоп-хлоп. И мои бесполезные окрики: «Поменьше хлопайте холодильником!» И мамино: «Но мне нужно подсолнечное масло!» А потом из кухни — запах колбаски, шепот и тихое хихиканье.

Мама называет Машу «Рыбуша». А Маша бабушку — «Лялюша». Подружки. У них свои секреты, тайны, денежные расчеты. Я ни во что не посвящаюсь. Теперь я в роли цербера. Как когда-то моя мама. И даже в своих оценках мои самые близкие — мать и дочь — одинаково скупы на похвалы.

— Мам, как тебе моя новая роль?

— Ты знаешь, Люся, ничего. Я бы сказала, вполне прилично.

— Маша, тебе понравился фильм?

— Очень милый фильм. И за тебя, мам, не стыдно.

И не больше. Но иногда мама спохватывается. Ведь папа сейчас на ее месте был бы так возбужден, так бы за меня радовался! Мама вдруг начинает меня «хвалить». Да так неумело… Ее «пафос через силу» потихоньку слабеет, а потом — «блысь — и пусто». И тут мы еще острее чувствуем, что папы больше с нами нет. Изредка маме удается перехватить эстафету папиной заразительности. Она «бывает в ударе». Тогда это незабываемые вечера. Мама сидит в своей любимой позе — локти на коленях, и, глядя в одну точку, без улыбок и реакций, вспоминает такие вещи, что «где же ты, мамочка, была раньше? Почему никогда не рассказывала?»

Мама в тончайших нюансах чувствует жанр трагикомедии. Она связывает папины выражения: «жисть есть жисть», «за копейку з церквы спрыгнить», «за хорошим мужем и чулинда жена» со своим: «Позвольте, в самом деле», «Поверьте — уж кто-кто, а я-то знаю», «Эх, жизнь — это трудная штука»… Ух, как же папа не любил эти ее «выработки»… Она это прекрасно помнит. И от этого мне еще интереснее ее слушать.

Однажды мама увидела из трамвая, как папа шел с хорошенькой медсестрой из пионерского лагеря.

«Я Марка не узнала. Такой незнакомый, раскрасневшийся, такой молодой. А в руках… Люся, ты можешь себе представить папу с авоськой, с угодливой улыбкой? А в другой руке несет сумочку. Наш папа с дамской сумочкой! Я как увидела — думала, умру со смеха! А дома так, между прочим, ему говорю: „Марк, я

сейчас тебя видела около гастронома. Что это ты за сумочку нес? А? Марк, котик?“ Ах, какое у папы было лицо! Какое же я получила удовольствие! Прости душу грешную!…»

Папа никогда не ходил на базар, не знал, что почем. А если и делал покупки, то говорил продавцу: «Давайте усего, што здесь лежить, — зразу на усе деньги». Базар, авоськи, «вочереди — ето дело бабское». Это у него еще с деревни. Я поняла, что мой папочка стареет, когда в первый раз увидела его с авоськой.

Как-то мама заболела. Я была в школе. И папа вынужден был пойти в магазин. "Приходит Марк какой-то растерянный и подавленный. У меня как раз жуткая ангина, температура. Смотрю, выкладывает на стол сто граммов колбасы. Думаю — что это с папой? Уж если он покупает, то все, что надо и не надо. Что-то его мучает. Мне ничего не говорит, а потом: — Леличка, ты прости меня. Я тибя ругав, што ты не хозяйка. Я тока щас поняв, якая ты исключительно расчетливая. Ето ж кому сказать… четыре рубля сто грамм колбасы! Ето ж у трубу вылететь — у два щета… Як же ты справляиссся?

— Как четыре рубля сто грамм?

— Леличка, ты же больная, я и купив тебе самую что ни на есть дорогую. Ты же любишь, аде сала многа.

— И ты заплатил за сто грамм четыре рубля?

— Ну а як же? Даю я ей пять, а она мне рубль сдачи.

— Пойди немедленно в магазин, забери три рубля шестьдесят копеек!

— Да хай оно сгорить, штобы я унижався!

Я вскочила, у меня и температура сразу прошла.

— Я-то продавщицу эту знаю… Ну ладно, не смейтесь…

— А колбаску ты сьела? А, мам?

— А как же! И колбаску съела, и сдачу забрала. Три шестьдесят!

Во время своих «воспоминаний» мама ни разу не переменит своей любимой позы. Сидит спокойная, грузная… и никакой внешней игры. Все через внутреннюю эксцентрику.

Когда родители стали жить в Москве, первым делом папа захотел пойти в Третьяковскую галерею — близко рассмотреть, как Иван Грозный убивает своего сына.

Мы с мамой пустили его вперед, а сами пошли следом. До «Грозного» много залов. И папа, забыв о нас, окунулся в незнакомую, интересную жизнь. Он подходил близко к картинам, читал надписи, отходил, ухмылялся, потирал руки, хмурил брови, улыбался, что-то шептал, искал нас глазами.

Около картины Иванова «Явление Христа народу» нам

пришлось присесть. Папа внимательно и долго изучал каждое лицо. Потом рассмотрел все фрагменты к картине, потом каждый фрагмент искал на картине, потом опять долго смотрел на Христа. Эта загадочная сила интересовала его всю жизнь.

Женский портрет привел его в восторг. Его поразило не лицо, а то, как написаны «бахрамотки», «як насквозь светять, прямо як живые…»

От Васнецова папа был в восторге. То, что раньше он видел в репродукциях, на конфетных обертках и коробках, теперь увидел на больших полотнах на всю стену. Папа любил все масштабное. И это были его любимые сказочные герои.

Около Верещагина «Апофеоз войны» вдруг стал грустный, настроение упало.

— Лель, пошли домой.

— Марк, ты же хотел Грозного посмотреть.

— Вже не могу, устал. Нет, надо посмотреть, а то совесть будет нечистая.

«Иван Грозный» привлекал к себе много посетителей. Картина была под стеклом. Папа это сразу подметил. Смотрел грустно, долго… рассматривал ковер, глаза Грозного.

— От так бы и меня батька тоща, если бы не осечка, дочурка.

Я не знала, что мне делать: или быть рядом с папой, у которого испортилось настроение, или успокаивать маму, которая плакала в соседнем зале. Она даже не замечала, что на нее обращают внимание.

— Шахта, деревня, война… он ведь ничего не видел… не могу… так его жалко. Счастлив, как ребенок. Стыдно, и сердце болит. Фикус, вино, птицы, в деревне не было, а он хотел… Не знаю, что со мной, все время плачу, жалко…

Бедный мой папочка! Всю жизнь он хотел отрастить живот «як у буржуя, у помещика», но никогда не поправлялся.

Мечтал приобрести «летчискую куртку, як у Чкалова», но кожаные куртки не продавались.

Просил маму: «Хай портная-швейка пошиить мне френч з карманами, як у Сталина», но мама считала это нескромным и была категорически против.

И единственное, что он осуществил — приобрел и носил «шляпу у сеточку, як у Хрущева».

На первом этаже музея настроение у папы наладилось.

— Лель, а ето што за куча?

— Где ты видишь кучу, Марк?

— Ну, во ета.

— Марк, котик, это же скульптура из дерева.

Папа подошел ближе:

— Лель! Да ето дидок з сопилкою! Во мастер! Во ето руки! З одного полена вырубив… Як? Ко-нен-ков! Ну, спасибо… Як же ты меня порадовав.

Шли домой через мост, мимо кинотеатра «Ударник». Папа рассуждал об искусстве.

— Ето великое дело. Усе давно повмирали, а я смотрю, што сделали их руки. Ето навеки. Главное у жизни — работа. Ты помрешь, а работа твоя стоить и гаварить людям за тебя.

Когда в 1972 году мы снимали дачу в Шереметьеве, папа увидел в заброшенном сарае доски. На следующее утро он уже мастерил замысловатые скамейки: «для двоих», «для компании», «для одинокага». Его изделия и сейчас украшают двор той дачи. Когда кто-нибудь садится на красивые, прочные скамейки, хозяева с удовольствием комментируют: «Это знаете, в 1972 году нам смастерил Марк Гаврилович. Редкий человек».

«Лель, закрути унученьке волос на бигуны и купи ей новые колгоспы. Мы завтра з ею у фотографию пойдем. Хай ей будить память. Она з дедушкую».

Папа прекрасно знал, что надо говорить «бигуди» и «колготки». Но это были нерусские слова. Несерьезные, глупые; он чувствовал, что из них можно вытянуть смешное. Он их и перевернул на свой лад: бигуны и колгоспы.

Мы долго не могли дать имени карликовому пинчеру, которого я купила папе. По предложению актрисы с «востроватым», лицом мы его назвали Федором. Папа был возмущен!

«Як можно поганить русское имя! Ето грех. Собака есть собака. Эдик! Иди сюда!» — и назвал свою любимую собаку Эдик.

Федя — это русское, а бигуди, колготки…

«Унученька, моя богинька, моя клюкувка. Вот дедушка умреть, а ты ему цветики на могилку принесешь, поплачешь, и дедушке легче станеть». Везде после папы оставался след, память, истории…

«Штобы не сидеть у дочурки на шее», папа против нашего желания устроился работать ночным сторожем. Служебным собакам возил колбасу и сахар, даже в выходные дни. На работе сделал сам всю проводку, заменил все лампочки. Там уже давным-давно работают другие, а папины лампочки все горят. И всем светло!

Он любил меня, свою внученьку Машеньку, обожал своего карликового пинчера — Эдика-Федора… Но больше всех на свете папа любил маму! При ней он был весел, жизнерадостен, любил «кровенных», увлекался «приятными дамочками», но если мамы

не было — на душе у папы был мрак. Когда она задерживалась в городе, у портнихи, он уже нетерпеливо ходил по квартире, по двору, по Клочковской — туда-сюда, туда-сюда. «Ну што швейки так долго делать? Вже три плаття можна пошить… ее А. усе ждуть. Во, якой несознательный человек».

Если мама уезжала в санаторий, он ей писал такие жалостливые письма, что мама, не пробыв до конца срока, возвращалась домой. Да что-то я и не помню, чтобы она ездила по санаториям. По-моему, это было один раз. В 1959 году у меня родилась Маша. И мама приехала в свой отпуск ко мне в Москву. С тех пор она все свои отпуска проводила с нами. Всегда приезжала с полными корзинами. «Усе, усе вези дитям. Дочурке и моей клюкувке унученьке. Они — наша радость. Больший в нас никого на свете нима, Лялюша».

Мы с мамой были так дружны, мне было легко с ней. Вдруг, через неделю приходит срочная телеграмма из Харькова: «Леля, выезжайте немедленно. Марку очень плохо. Соня». Мама сразу почернела, побежала на вокзал и уехала с первым же поездом в Харьков. А через три дня пришло письмо от нее: "Я неслась с вокзала. На ходу выпрыгнула из трамвая, думала, разобьюсь. Ведь у него с сердцем — ты знаешь. Он может в любую минуту… Уже около ворот слышу баян, и папа заливается частушкой. Представляешь? Паштетик в гостях, играют в два баяна. Я как вскочила в комнату! Представляешь, какое у папы лицо, когда его застают врасплох? Я к Соньке — думала, убью ее. «Леля! Я не виновата! Он же вчера болел. Я ему только что банки ставила, а сейчас он уже поет». Все остальное я уже знаю. Я слышу, как тетя Соня говорит: «Он же самасечий! Вы все самасечии! И зачем я его только послушала! И наверху соседи самасечии! Те — просто кусок Гитлер!»

Я вижу своего папу — опять несчастного, больного, слабого. Я слышу, как он говорит: «Лялюша, прости. Я вже не мог дождаться. Аккынчательно без тибя присох. Думав, ты ще не скоро собересся. А ты вже война. Вже и дома. Ах ты ж, крошка моя ненаглядная». И мама уже забыла про телеграмму, про поезд, про трамвай и про то, как она услышала баян и папину любимую частушку:

Эх, сыпь, кума, ладь,
Кума, дело не подгадь!
Ах, сыпала и ладила,
А дело не подгадила!

17 марта 1972 года в ЦДРИ был мой творческий вечер. Процедура эта очень тяжелая и нервозная. Как только актер

решил дать согласие на творческий вечер, ему сразу надо выдавать награду. Еще до результата.

Мало того, что нужно точно наметить программу вечера, все отрепетировать и знать назубок, упросить партнеров прийти на репетиции, освободить их от спектаклей в театрах на этот вечер, еще нужно суметь уговорить авторитетных людей прийти на вечер и сказать несколько теплых слов о тебе. Без этого нельзя. В программе стоят известные фамилии, и в зале их ждут. Кто-то не смог. Кто-то дал согласие, а потом заболел. У кого-то как раз в это время работа в другом городе. У кого-то спектакль, а замены нет. Мы с руководителем ЦДРИ никак не могли уточнить фамилии в программе вечера. Многие хотели сказать обо мне. Пришли только двое. Треть вечера в зале был «лед». «Карнавальная ночь» прошла при гробовом молчании. Смеялись только на экране. Это жутко! Но без «Карнавальной ночи» нельзя!

Потеплело, когда после фрагмента из «Рабочего поселка» я сыграла сцену из мюзикла «Целуй меня, Кэт», где мои куплеты заканчиваются эксцентрическим танцем. Это соединение двух полярных жанров, видимо, понравилось публике. Она поблагодарила сдержанными аплодисментами. После фрагмента из нового фильма «Тень», где я в роли придворной актрисы Юлии Джулии, в зале уже было теплее. А когда на экране прошла сцена Юлии Джулии и Министра финансов, роль которого исполнял З. Гердт, в зале появился интерес, и вечер пошел «набирать»…

В конце программы я пела. Пела знакомые и незнакомые песни, пела свои песни. И даже «Песенку о хорошем настроении» уже приняли. Но наибольший успех вызвала «Маленькая балерина» Вертинского. Я ее сделала по-своему. После песни — секунда молчания — и горячий прием. За смелость, наверное.

Этим творческим отчетом мне нужно было себя проверить — созрела ли я к поединку с московской публикой? Она меня забыла. Она вообще ничего обо мне не знает. А я уже другая. Смогу ли я изменить свое положение? Смогу ли выйти из «второго сорта»?

И я, сцепив зубы, никак внутренне не реагируя на «лед», на прием публики, в абсолютном одиночестве проводила свой вечер. Я видела и любила только своих партнеров, экран и пианиста Давида Ашкенази.

Уже закончилась программа, уже много раз я уходила за кулисы и опять выходила на сцену. Но в зале еще и еще чего-то от меня ждали…

Я подошла опять к микрофону.

— Спасибо. Я счастлива. Здесь, в зале сидят мои родители. — Все зашевелились, а папа, слегка приподнявшись, поклонился;

мама втянула голову в плечи. — Я хочу для них исполнить песню, романс их молодости — «Осень».

Давид Ашкенази начал вступление… Я смотрела в зал. Впервые мелькали два белых платка. Мама плакала вместе с папой.

— Ах ты, моя дочурочка! Якой же я радый, какой же я довольный твоим вечером… Усех положила на лупаты! Правда, одним недовольный. Надо было на сцену и родителей вывесть — нас з Лелею — хай усе видять, хто тибя родив!

… Часто очаровывалась, преклонялась, восхищалась. А потом проходило время — и я удивлялась: неужели этот человек мог меня восхищать?

В институте кинематографии я восхищалась одним человеком. Когда я впервые увидела его в студенческой столовой, у меня чуть поднос не выпал из рук: «Высокий, чернявый сокол». Таких красивых и совершенных людей я видела только в детстве на экране: он пел, играл на гитаре, был умен, неожидан, остроумен и очень популярен среди студенток в институте. Я стеснялась своей провинциальности, была «зажата»; я даже не слышала о существовании того, о чем он смело рассуждал. Он цвел таким буйным и роскошным цветом, что никто вокруг не оставался равнодушным. Всех в себя влюблял. И меня тоже.

Прошло время. Он располнел, поседели виски, поредели зубы. Никто бы не поверил, что не так давно он был неотразим. Очень изменился. А как заговорит — и остроты, и рассказы, и небылицы, и претензии — те же, как будто слышишь все это в том же 1958 году.

А время ушло вперед.

Были в институте и другие. Приезжали из деревни или из небольших провинциальных городков, ходили тихо, стараясь не бросаться в глаза, даже вызывали удивление — почему их вообще приняли в институт кинематографии? За что?

Проходили годы. И они становились лидерами в кино.

Мой папа ничем в искусстве себя не проявлял, а о лидерстве и речи нет. Но тот, кто его узнавал, сразу понимал, что имеет дело с человеком незаурядным, из самой гущи народа.

Есть люди, которые, видя, что собеседник умнее, тут же круто меняют свои убеждения, подстраиваются к другой точке зрения. Они обвивают умного собеседника, как плющом.

Папа никогда не юлил, не был подобострастным, во всем имел личное мнение и все, что думал, говорил открыто. И умные люди восхищались его своеобразной речью, им не мешало

отсутствие у папы эрудиции. Он все компенсировал своей неповторимой самобытностью.

В Москве папа очень скоро сориентировался и больше не задавал мне наивных вопросов «про кинематографию». И верил в меня теперь даже больше, чем раньше.

Весной 1973 года я неожиданно начала сниматься сразу в трех интересных ролях: в фильмах «Дети Ванюшина» и «Открытая книга» — во второстепенных и в главной роли в фильме «Старые стены».

Двенадцатого июня я приехала домой со съемок фильма «Старые стены». Я очень хорошо помню, что это было двенадцатого июня 1973 года, потому что этот день был последним, проведенным с папой. Через пять дней он умер.

С утра он принял горячую ванну, как всегда. Я его накормила, расспросила о работе, о здоровье… Папа был «радый», что я с ним, что я наконец-то приехала.

Он попросил сделать музыку потише.

— Што ето теперь за музыка? Так гремить…

— Папочка, это опера «Иисус Христос».

— Як, опера про бога?

— Да, американская рок-опера.

— Во, што уздумали американцы. И ув опири до бога добралися!

Это его очень заинтересовало. Папа, порозовевший после «бани», в сатиновых трусах до колен, сидел на хрупком старинном диванчике. Над головой висел «слесарь», на руках у него сидел Эдик, на стол я поставила перед ним молоко и мед. Папа жадно слушал эту странную музыку. Я ему говорила, о чем идет речь, и ждала, что ему это вот-вот надоест. А папа все слушал и слушал.

— Уничтожили хорошага человека, як моего брата Мишку… Я етага Иуду на куски бы порезав. Загубили душу христианскую…

Потом он лежал на моей кровати с Эдиком.

— Да! Дочурка, дай я запишу названия картин. Расскажу про твои фильмы Чугуну, Партизану. Память стала не та, усе не то… Так. Есть. Записав. Да-а, што-то я тебе усе хотев сказать. А! Во што. Не те, не те роли ты играешь, дочурка, не те. Усе яких-то… словум, не то. Тибе бы щас хорошую роль — оборонную! Во ето було б дело.

— Да, вот, папа, в этом фильме — «Старые стены» — я играю… не оборонную, правда. Хотя для меня она «оборонная». Не знаю, как играть директора? То ли я делаю?

— Якого директора? Настыящего директора? Ну, дочурка, ето ни к чему. Люди не поверять. Не. Хто режиссер?

— Трегубович. Виктор Иванович.

— Иванович? Значит, наш, смоленский. Як мой брат Иван. Да-а. Я б на его месте не рискнув. Ето, як билет щастливый в игре вытянуть — большой риск. Смелый парень. Сколько ему лет?

— Столько, сколько мне.

— Ну, ще молодой. Хай рискуить.

— Пап, тридцать семь лет — это уже совсем не молодой.

Я рассказала папе, что весь худсовет «Ленфильма» решил, что моя проба лучшая и что все-таки это не моя роль.

Виктор Трегубович сказал членам худсовета:

— Если проба лучшая, значит, эта актриса будет сниматься. Меня не смущает то, что она снималась в комедии. Это даже интересно. Я ее видел в «Рабочем поселке», в пробах…

И я стала директором.

Я всегда пересказывала папе сценарий, делилась с ним сомнениями, возникшими в работе над ролью. Папа, сам того не понимая, мог одной репликой попасть в самую сердцевину роли, одним словом определить ее суть. Так было и тогда, 12 июня 1973 года.

«Тот, што кричить, бьеть по столу, а тибя по плечу шлепаить: „Молодец, голубчик, молодец“, — ето не директор. Не. Такога люди не уважуть. Хочу придти до своего директора с душой нараспашку. Во ето человек.»

Следующим объектом, который должен был сниматься в «Старых стенах», был «кабинет директора фабрики». Этого объекта я больше всего боялась.

Нет-нет, я не стану кричать, не стану бить кулаком по столу и снисходительно хлопать по плечу. Пусть меня не боятся мои работницы, пусть они приходят к своему директору с «душою нараспашку». Пусть мой директор не будет «начальником» в обычном представлений.

Мой директор будет говорить тихо, будет теплым, человечным, верящим в энтузиазм — как мой папа. Он ведь тоже из старых стен. Он тоже — старая гвардия. Рядом с ним выросли новые молодые, которые играют лучше его. Играют, «як звери», но без души, не любя сердцем свою работу, свое дело, детей…

Есть в жизни высокие, непреходящие ценности: вера в энтузиазм, щедрая душа, неравнодушие, любовь к людям, духовность, любовь к Родине.

— Дочурка, як ты считаешь, если ты з етим директором справисся, «народную» дадуть?

— Опять? Я же тебя просила, папа…

— Мне так хочется, дочурка, дожить до «народной». Народная актриса! Значить, ее, дочурка, увесь народ любить…

В МОСКВУ

Я развивалась стихийно. Война, голод, оккупация, трудности способствовали раннему развитию во мне взрослых качеств: быстрой ориентации в обстановке, умению приспособиться к трудностям. А с другой стороны, я была темной и необразованной. Все меня интересовало лишь настолько, насколько это могло быть полезным в моей будущей профессии. Отбор происходил чисто интуитивно: хочу, нравится, люблю… Зачем мне то, что не пригодится в работе?

Было только ликование молодости, беззаботное, самонадеянное. И вдруг — проснулась. Поздно. Школа практически была закончена. Остались последние выпускные экзамены. И что? Математику запустила, химию запустила, физику… С ней, и в самом деле, было безнадежно. И я сейчас поражаюсь, как это маленький приемник ловит весь мир. Мне сто раз объяснят, я вроде уже и поняла, а потом: «Нет, как же — такой маленький, и весь мир?!» Это у меня точно от папы. В багаже — только русская классика. Правда, немного шире, чем в школьной программе.

Времени мало. Но делать что-то надо. У меня же получается то, что нравится, что меня интересует. Значит, надо попробовать себя заставить.

Когда в десятом классе мне купили пианино, я с азартом засела за музыку и в короткий срок одолела программу. В музыкальной школе тогда все были удивлены этому скачку. Могла же для папы за два дня разучить на аккордеоне «Чардаш» Монти, а потом одолеть и сложный вальс Тихонова! «Пальцовка трудная, тут сам черт ногу сламаить! Я не потяну, а моя дочурочка вже играить».

Но это мне интересно. А физика, химия, математика — неинтересны. Эти предметы мне, в сущности, не пригодятся в жизни. Но уже появился азарт: смогу или не смогу?

Села за математику, нащупала то место, откуда начались проблемы. И передо мной поплыли веселые вечера, песенки и наши с Милочкой дуэтики. Папа ведь предупреждал… Постепенно, со скрипом, доходила до истины. Дома не могли поверить, что я сижу ночь над математикой! А мне становилось все яснее и яснее, интереснее и интереснее. Потому что я сама этого достигла!

В девятых-десятых классах математику преподавала нам Евдокия Семеновна — прекрасный педагог, в совершенстве знавшая свой предмет. У нее был такой глаз, каждого ученика она

видела насквозь. Как войдет в класс, мгновенно поймет, кто не знает урока. Я не только боялась посмотреть ей в глаза, но даже в коридоре старалась быстро прошмыгнуть мимо, чтобы она меня не заметила. Казалось, вся моя фигура ей говорила: «Ничего не знаю. Ничего».

На устном экзамене по математике Евдокия Семеновна смотрела на меня тоскливо и безнадежно. Все, кто не любил математику, были для нее людьми неполноценными и вызывали искреннюю жалость.

«Ой, Гурченко, Гурченко, що з вас будэ? У вас по матэматыци у голови тэмна нич… Ну що, будэмо видповидаты, чы натягнэмо тры?»

Я ответила, что хочу «видповидаты».

Новость мгновенно разнеслась по учительской. Больше всех радовалась наша классная руководительница Клара Абрамовна: «Терпение и труд — все перетрут».

И вот устная математика — «пять», а письменная — «три». По инерции… а ведь ее могло и не быть. Но поздно. Многое, очень многое прошло мимо. Всю жизнь потом я чувствовала недостаток знаний. Тогда же, в десятом классе, эта бессистемность образования не представлялась мне трагичной и горькой. То был только первый звонок.

В том же году я поступила в Институт кинематографии на курс народных артистов СССР С. А. Герасимова и Т. Ф. Макаровой. Началась совершенно новая жизнь. Жизнь в новом измерении.

Среди учеников Герасимова я как белая ворона. Я пришла на курс с большим аккордеоном, с желанием на экране петь и танцевать, с мечтой быть только музыкальной артисткой. Обязательно.

Постепенно, исподволь и незаметно, Сергей Апполинариевич и Тамара Федоровна подводили меня к тому, чтобы я стала ученицей их школы — реалистической школы. И в то же время ни в коем случае не оставляла, а, наоборот, развивала свои музыкальные способности. На третьем курсе я сыграла в «Разбойниках» Шиллера свою первую драматическую роль — Амалию. И только после этого начала становиться полноценной ученицей Герасимова.

И вот роли на дипломном курсе: комедийная эксцентрическая — в водевиле, музыкальная роль Кето в оперетте «Кето и Котэ» и драматическая роль Имоджин, которая и поет, и танцует, и играет на рояле в сценической композиции по Драйзеру «Западня».

Именно сейчас, пройдя школу Герасимова, играя театральную

примадонну и кокетливую дамочку в мюзикле «Небесные ласточки» и в водевиле «Соломенная шляпка», играя в «Бенефисе», где мне нужно вдохнуть жизнь в десяток женщин-масок, я ищу точную биографию каждой, стараясь понять причины их внутренней неустроенности, реально стою на земле. А они порхают, кривляются, кокетничают, придумывают себе экстравагантные поступки, за которыми удобно прятать свою боль.

После школы в институте пошли провалы. Не на уроках мастерства, не по другим предметам, даже не в объеме узкой школьной программы — по истории, литературе — нет. Здесь все внешне было пристойно. Но внутри — я-то знаю! — все время я проваливалась, спотыкалась. Чувствуя на лекциях С.А. Герасимова широкий размах его знаний и эрудиции, я понимала, что мне надо необыкновенно много читать; много нового узнать, очистить свою речь, исправить свой вкус, что мне придется постоянно пересматривать и менять свои взгляды на жизнь, на искусство. Я должна была самостоятельно выбираться трудными дорогами из лабиринта запутанных в моем сознании вопросов.

… На школьном выпускном балу все было прекрасно. Утром мы получили свои аттестаты зрелости, уже все знали, успокоились и к вечеру пришли нарядные, торжественные, совсем взрослые. Одета я была роскошно. На мне было ярко-зеленое платье из блестящего китайского шелка с красными бантами. Туфли красные — на них тоже банты, как у мушкетера. Я себе очень нравилась. С косами мы с Милочкой расстались навсегда: у нас обеих была шестимесячная завивка — кудри, как у барашка.

На выпускном вечере был последний концерт школьной самодеятельности. Клара Абрамовна написала литературную композицию по «Евгению Онегину», которая прошла с большим успехом. Юную Татьяну читала Лида Шарапова: «Я к вам пишу…» А Татьяну, повзрослевшую, уже понявшую и разочаровавшуюся в этой суетной светской жизни, — я.

А потом я пела под аккордеон. Он был таким модным инструментом! А если на нем играла девушка, да еще и пела при этом… «Та што там гаварить», — как выражался мой папа, когда не хватало слов…

Вступления и проигрыши я брала аккордами и растягивала мехи своего большого, на три с половиной октавы, аккордеона так, что он разливался на всю школу! А когда начинала петь, переходила только на левую руку — на бас, чтобы не заглушать собственного голоса. Гармонии у меня на басах были красивые, современные, петь «под бас» мне нравилось. Репертуар у меня

был тоже самый современный — из только что нашумевшей итальянской кинокартины «Песни на улицах». В фильме группа певцов ходит по дворам и улицам, исполняя свои прекрасные песни. Весь Харьков пел «Песни на улицах», «О, Мари» — известный неаполитанский романс. На вечере я его тоже пела, в своей интерпретации.

Первый куплет пела «по-итальянски». На итальянском языке я знала слова: больконе, кантаре, воляре, примавера, аморе и гондола, но я так варьировала ими, а между ними вставляла набор междометий в чисто итальянской манере, что все наверняка подумали: вон как шпарит на итальянском!

К своему «итальянскому исполнению» я прибегнула на пробах к фильму-сказке из русско-итальянской жизни «Роман и Франческа».

1960 год. Киностудия имени Довженко. Я пробовалась на роль итальянской девушки Франчески. На маленькой, необычной гитарке мне играл на пробе очень музыкальный человек — Лев Борисович Олевский. Его сначала пригласили быть в картине консультантом по итальянскому быту, но оказалось, что он десять лет прожил в Мексике, а не в Италии. И он, исполняя небольшую роль итальянского партизана, играл в фильме на своей маленькой гитарке — «укулели». На пробе Лев Борисович сыграл вступление к «О, Мари», и я запела… «на чистом итальянском языке»!

Худсовет утвердил меня без разговоров. Нашли, что во мне вообще много итальянского, что у меня тип северной итальянки. А произношение!

Аккордеон был уже не в моде. В моду входила гитара. У киевского мастера я заказала гитару «укулели» и научилась играть на ней.

В фильме очень хорошая музыка и песни украинского композитора А. Белаша на чудесные стихи поэта Дмитра Павлычко. Его стихи на украинском языке невозможно равноценно перевести на русский. В украинском варианте картины песни звучат полнокровнее. На русском языке припев песни о любви выглядит так:

Чайкою в небе любовь моя летает,
К милому в мире любовь моя взывает!
Ищет его, обгоняя года,
Крыльев не сложит своих никогда.

А на украинском:

Чайкою в нэби любов моя литае,
Мылого в свити любов моя шукае,
Ни на хвылыночку крыл нэ склада,
Скрывджена тяжко душа молода…

Слово «скрывджена» в украинском языке очень сильное слово. «Крывда» — ложь, неправда. Ни «лживый», ни «неправдивый» не могут достичь той силы, как «скрывджена».

Фильм «Роман и Франческа» до сих пор имеет много поклонников. В нем есть чистота, наивность, искренность. Я тоже люблю его за музыку и за стихи Д. Павлычко. Десять лет я проучилась в украинской школе и очень полюбила украинский язык.

… И одета была роскошно, и выступила с успехом, и мальчики из 58-й школы были, и Толик со мной и с Милочкой танцевал поочередно. Но настроение почему-то было не праздничное. Что меня ждет? Вот кончится вечер, и прощай, моя школа! Мой тыл, моя опора. Смогу ли я одна выстоять?

Когда на наш запрос в институт кинематографии пришел ответ, в нем было пояснение: на экзамене нужно прочесть басню, стихотворение, отрывок из прозы. Этюд на заданную тему. Необходимо знание основ системы К. С. Станиславского.

В Харьковской библиотеке имени Короленко, той самой, где папа с мамой после войны наводили порядок, я взяла два тома Станиславского. Книга меня: увлекла, и я, как ни странно, поняла все. Даже немного успокоилась. Сделала вывод, что если человек, который собирается стать актером, от природы неглуп и артистичен, то знание этой системы сделает его актером. Обязательно. Пусть не выдающимся, но хорошим сделает. Я даже попробовала читать прозу, постоянно думая о «сверхзадаче» и при этом не теряя «зерна». И… забывала текст прозы, который знала назубок.

Вместе с великими актерами «того» МХАТа, рядом с ними рождалась и великая система. Их система. Она существует и сейчас. Ее изучают во всех театральных вузах. Ее можно при желании взять и изучить. Великая система есть, а великие актеры что-то не рождаются…

… Война, голод, смерть… Разве есть более страшные понятия? А люди вынесли и выжили. Женщины находили выход из безвыходного положения и подпоясывали свои серенькие пальто без пуговиц кожаными ремешками мужей, ушедших на фронт. Рождалась «мода». Голодные, замерзшие музыканты

исполняли симфоническую музыку в роскошных залах ледяного, блокадного Ленинграда. А каким успехом пользовалась оперетта!

Война, голод, горе, симфония, оперетта… Ну как это совместить? А ведь это было! Было! «Всем смертям назло!» А поэзия? А кино? Милое, любимое военное кино! Ты мое детство! А песни? Военные песни… Таких песен больше нет. Есть другие, может, и прекрасные. Но «таких» нет. Сейчас, когда я оглядываюсь в детство, моя самая заветная мечта — спеть песни войны. Заново их прожить, прочувствовать, набраться у них силы, мужества, нежности и любви. Именно песни войны приходили мне на помощь в минуты душевных невзгод. Как тогда в Италии… Как недавно в Америке…

Пришлось спеть, раз в интервью говорю, что начала сниматься в музыкальных фильмах. Сейчас же мы привезли в Америку «Пять вечеров» и «Сибириаду», где у меня роли драматические.

В Америке везде: и по телевидению, и в многочисленных театрах на Бродвее — джаз, поп, рок, соул, авангард, диско — все! Профессионализм исполнения самого высокого класса! Это рождено в Америке. Это их родное. Как родная нам русская речь и советская песня. И как она звучит у нас на Родине, в исполнении наших артистов, так не прозвучит больше нигде. Даже трудно представить себе, чтобы «Валенки», исполняемые Лидией Руслановой, спела бы Элла Фитцджеральд…

В тот момент, когда меня попросили что-нибудь спеть… Эх, если бы ко мне тогда подключить датчики, счетчики и проводочки… Я б не уступила космонавту! Заработал, пришел в движение весь организм! Надо было вычислить ту песню, которую я буду петь без аккомпанемента, в которой бы суть, мелодия и самое главное — моя личная правда! — все совпало.

А в чем моя правда? В чем я могу быть уверенной? В чем моя сила? Когда я не уступаю? В какие минуты? Многие-многие вопросы тогда в одно мгновение слились, сплелись между собой.

Здесь нас щедро принимают. Люди приветливы и искренни в общении с нами. Но это люди с другой психологией, другим образом жизни — своим, непонятным мне. Как я непонятна им! Но ничего враждебного. Это точно.

… Я улыбаюсь, говорю ничего не значащие фразы, вроде «Ох, так сразу…» … «с места в карьер»… «с корабля на бал»… «жаль, нет инструмента» — чтобы продлить время… А мысль внутри бьется, бьется… а видения всплывают и исчезают… И ни одно не задерживается… Бегут, бегут ускоренным темпом, как бобслей… И вдруг — стоп!

«Мам, как ты думаешь, какой он, этот Веселов? Интересно,

правда? И фамилия у него такая веселая — Веселов!»

После освобождения Харькова на всех домах было написано: «Мин не обнаружено — Веселов». Казалось, что один Веселов обыскал и разминировал весь Харьков. Я специально уходила подальше от дома, чтобы прочесть и другие фамилии, но, за очень редким исключением, везде был Веселов. Он был, как родной человек, сильный, за его спиной ничего не страшно.

«Это он нас от мин спас!»

… Но почему память вынула из своих запасов именно это? Я давно живу совсем другой жизнью, а особенно сейчас, здесь, в Америке. О Веселове я ни разу в жизни не вспомнила. Может, было бы все по-другому? Может, память подбросила бы мне в этот момент что-то иное, родись я на десять или на пять лет позже?…

Я сказала, что спою песню времен войны, что я тогда была маленькой…

Слово «война» слегка насторожило… А у меня молнией пролетело — наверное, подумали: «Вот русские, вроде люди как люди… не могут без идеологии…» Но внутри моя правда не ушла. Они спрятали свою настороженность тонко: «О, Людмила, вы такая молодая, война была так давно…» Ну что-то в этом духе. Но я уже улетела далеко-далеко… На свою родную Клочковскую…

Эту песню пел мой папа.

… Майскими короткими ночами,
Отгремев, закончились бои.
Где же вы теперь, друзья-однополчане?
Боевые спутники мои?…

Наши американские хозяева почувствовали, что речь идет не о войне. Что-то сильно мучает нас… Как мы все изменились, посуровели; у веселой и бойкой Людмилы нос покраснел, а между бровями обозначилась складка… Теперь видно, что она родилась где-то там, в том времени, что связано с войной.

Самый пожилой из американцев воевал, был летчиком, встречался на Эльбе с русскими солдатами. Может, потому и занимается он прокатом русских фильмов. А когда перевели слово «однополчане», оживился, потом загрустил. Наверное, тоже подумал: «Где же вы теперь…»

Я обязательно спою песни войны!

… Ехать в Москву я боялась.

Мы с мамой ходили вокруг Харьковского театрального института. Там был набор только на украинское отделение. Мы

кружили около «Стеклянной струи», подходили ближе к институту и опять шли к «Стеклянной струе». Говорили-говорили, решали-решали. А когда решили, оказалось, что мы опоздали, что приемная комиссия работает до пяти. «Приходите завтра». Мы с облегчением вздохнули. Ну что ж, придем завтра… наверное.

Дома мама сообщила папе, что мы решили все-таки подать документы в Харьковский театральный институт. В Москву ехать страшно. «Люся одна, в Москве нет ни родственников, ни знакомых. Столица, огромный город. Люся не выдержит…»

И тут выступил папа!

«Только у Москву! Моя дочурочка не выдержить? Другие могуть, а она не? Чем она хужий? Только у Москву! Без разговорув! Дуй свое, дочурка! Ты ж в меня — кремень. Мы з ею якой концертик у диревни дали? Целых два часа! Та што там гаварить. Одним словум — у Москву! Леля! Немедленно отправляй документ! Моя дочурочка усех положить на лупаты! Ето як закон! И я ще через ее ув историю попаду! Папусик ще будить гордиться своею дочуркою! От тогда ты посмеесся, Леличка! Ну што ты стала, як былван? Давай чуковней, чуковней! Шевелися шевелися, крошка моя ненаглядная! У Москву поедишь, дочурочка, моя ластушка, мой сухарек, моя богинька, моя клюкувка моя дрыбалачка дорогенькая…»

И вот к нашему дому подъехало такси. Меня погрузили — учебники, чемодан, аккордеон.

Подумать только — я еду в Москву!!

Не хотелось, чтобы были проводы. Вдруг не попаду в институт? Приеду обратно. И так все уже знают, что я еду в Москву, — посмеиваются, пожимают плечами… А тетя Соня честно говорит маме, громко, на весь двор: «Леля! Вы с Марком самасечии! Какая из Люси артистка? Там же одни кости!»

До поезда меня провожала мама. «Лель, едь одна. Я ще не здержуся, расплачуся и усе вам испорчу».

Мы тихо тронулись… У ворот стоял мой папа в зеленой полосатой пижаме. У ног его сидели старый кот Мурат с облезшим хвостом и «исключительно умный дворняжка» Тобик. Вот и вся моя семья.

Мы ехали по Клочковской, по нашей булыжной мостовой где я знала каждый камешек, мимо тети Фроси, мимо базара, мимо кафе, в котором пел Петер, мимо ремесленного N 11, мимо кинотеатра имени Дзержинского.

Я уезжала в далекую, неизвестную Москву…

Дорогой мой, любимый папочка!

Ты будешь мной гордиться. Я тебя не подведу. Я все сделаю. Во что бы то ни стало!

Папа стал уже совсем маленьким… Но все стоял и стоял. Только мелькал его белый платок…

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!

Я обращаюсь к зрителям-читателям, которым пришлось по душе «Мое взрослое детство». Я искренне поверила в желание прочесть продолжение «…детства». И, может, порой это продолжение будет невеселым, но так складывалась жизнь, которая предшествовала ролям последнего десятилетия.

1983 г.

НАЧАЛСЯ РАБОЧИЙ ДЕНЬ

Москвичи стонали от жары, а солнце так и шпарило. Своим знакомым я сочувствовала, но про себя думала: жара — ведь это же счастье, «ну прямо прелесь». Намерзлась в летней ленинградской экспедиции, снимаясь в легкой кофточке. Но что же это за летняя экспедиция, если температура воздуха в июне плюс девять! И так полтора месяца. Кончилась только экспедиция — один из этапов картины. Картины «Вокзал для двоих». И сегодня, в Москве, начинаются съемки в павильоне. Сегодня я буду играть сцену объяснения с героем. Он мне скажет: «… Вера, вы прекрасны!» А я ему отвечу: «Знаете, мне таких слов никто никогда не говорил». Сцена сложная, одна из самых важных в картине. Буду беречь силы, никаких лишних эмоций, никакой пустой болтовни.

Как подъеду к «Мосфильму», через проходную пойду сразу влево, в обход, как поется в песне у Ролана Быкова: «Нормальные герои всегда идут в обход». Там всегда народу поменьше.

…А когда-то, высунув язык от восторга, я бежала в самую гущу, в самый эпицентр «Мосфильма», чтобы меня все видели, чтобы произвести впечатление, чтобы «выделиться».

«Не появляйся от нечего делать на студии». «Болей, терпи, жди». «Уважают того, кто знает себе цену». «Главное — сохранить к себе уважение»… Наставления умных людей стали для меня неписаными законами существования в профессии.

В то далекое время, когда не снималась, я, низко наклонив голову, пробегала по студии. Как я боялась, чтобы не спросили из вежливости: «Как дела?» — или еще хуже: «Как настроение?» Мудрый человек останавливался, обнимал меня, заводил в свой кабинет директора картины, а по телефону отвечал: «Позвоните через двадцать минут, я сейчас занят». Чем? Мной? Наверное, у него самого в жизни было немало всяких передряг, и мое состояние неприкаянности было ему знакомо: «Знаешь, девочка, кино — вещь жестокая. Тут каждый проходит суровую проверку на то, что ты в конце концов такое. Нужен сильный характер, железная выдержка. Не выдержать важно, а важно продержаться. Продержаться и не потерять своего лица — вот задача. Потеряешь свое лицо — и нет тебя… Где теперь этот талантливый парень?» — он назвал фамилию актера, который стремительно сделал головокружительный, хотя и краткий, взлет в истории кино. И сгорел. Без остатка. Осталось изображение на пленке. И восторженные статьи о том кратком взлете…

«Мосфильм». Проходная. Непривычное скопление людей —

не студийцев. У них на лицах то особое внимание и осмотрительность, которые бывают у всякого, кто впервые переступает порог студии — загадочной «фабрики грез». Венки, цветы… Опять черная рамка? Женщины в белых халатах пришли из самого «белого дома». «Белый дом» — это склад, большое двухэтажное здание, выкрашенное в белый цвет. Отсюда и такое прозвище. Он находится в самом отдаленном уголке студии. Эти женщины здесь появляются редко. Около «белого дома» есть своя проходная. Сейчас у каждой женщины в руках по нескольку цветков — сложились и разделили букет по-братски. Вот девушки из монтажных. «От рабочих», — написано на венке. В разное время с каждым из них бывала в экспедициях, всех знаю в лицо. А вон — тот, кто однажды сказал молодому режиссеру: «Пожалуйста, не кричите. Мне дважды повторять не надо. Я работал с Михаилом Ильичом Роммом». Про себя я его называла «роммовцем». Сейчас его уверенное, суровое лицо непривычно растерянно. Чья-то смерть всех потрясла. Но кто же? Кто?

— Екатерина Васильевна, здравствуйте, дорогая.

Но по тому, как она сдержанно мне кивнула, я смялась и не решилась спросить «кто». Екатерина Васильевна — костюмер. Недавно мы работали в фильме «Любимая женщина механика Гаврилова». К ней я бросалась после отснятого дубля. Она укутывала меня в теплое пальто и была первым свидетелем моих огорчений и неудач. Костюмы у нее всегда были в отличном порядке. Перед выездом на съемку она доставала помаду и, не глядя на себя в зеркало, машинально проводила ею по губам, неизменно говоря: «Ну что ж, боевая раскраска готова, можем идти на работу». Екатерина Васильевна работала со знаменитым Иваном Пырьевым. «Роммовцы», «пырьевцы»… При них строилась и разрасталась студия. На их памяти здесь заселялись, пустели и вновь заселялись комнаты и кабинеты. Менялись на дверях таблички с именами. На их глазах одно поколение сменялось другим. Они видели, как шустрые молодые начинали с головокружительного успеха и как, столкнувшись с кинематографической суетой, истощенные постоянным нервным возбуждением, приходили в отчаяние и уступали место другим, более шустрым и молодым. Они видели многое.

Бегу в центральный вестибюль. Там всегда выставлена эта проклятая черная рамка. Олег Александрович Агафонов… А — а — а!!! Как же так?! Только вчера жил, звонил, нервничал, горел, добивался, а сегодня: «… от нас ушел работник студии…» Олег Александрович, милый, как же это? Болел, ну кто же не болеет? Но вы… такой большой, красивый, добрый. Знаете, глядя на вас, я почему-то всегда вспоминала Охлопкова из первых картин о

Ленине. Ах, как Вы выхаживали студию и знали ее людей! И теперь вас нет?! Жизнь, бог, судьба!… Черт, дьявол… Не знаю, к кому обращаться… За что вы забираете от нас самых лучших людей? За что в расцвете сил похитили у нас Гагарина, Шукшина, Вампилова, Шпаликова, Высоцкого? Агафонов… Это прекрасное, самое настоящее и дорогое в жизни, чего ничем не возместить, — человечность. Рабочих не обманешь, женщин из «белого дома» не выманишь, «роммовцев» и «пырьевцев» не проведешь, если это не от души, если не от сердца.

Я приблизилась к черной рамке. Какая-то наспех увеличенная фотография. Ну да… смерть без подготовки… Ну при чем тут фотография?! Какая чушь! Умер человек! Вот он, факт. Смерть — самый горький факт жизни. Ведь вокруг жизнь…

— Говорят, он был неизлечимо болен. Сгорел за полгода…

— Сын в армии…

— Нельзя было столько работать. Такой случай, надо было осторожнее…

— Здорово болел… Но какая тяга к жизни!..

— Да, мужик был… Такого у нас на студии давно не было…

Был, был, был. Невозможно! Я изо всех сил сжала кулаки, чтобы физическая боль заглушила беспомощную обиду, чтобы успеть быстро уйти, чтобы не сказать что-нибудь глупое… и бесполезное. Продираясь сквозь толпу балеринок в длинных пачках начала века, я бежала в свою группу, чтобы узнать, состоится ли съемка, — как жить дальше? Эти балерины — из «Анны Павловой». Они такие молодые, весело щебечут себе о том о сем своими сиплыми голосами. Что им…

… Всего лишь год назад, зимой, мы приехали в Ленинград с фильмами нашей студии. Агафонов возглавлял делегацию. Тогда еще и тени его болезни не было. Я приехала всего на один день, а мои картины «Особо важное задание» и «Идеальный муж» были показаны накануне. Пришлось мне к публике выходить перед фильмами, в которых снимались другие актеры. В тот день было четыре выступления, и перед каждым выходом на сцену Олег Александрович извинялся передо мной, да так, что я сама хотела перед ним извиниться: «Да что вы, ничего страшного! Ну, выйду перед другой картиной». — «Нет, это так важно — рассказать о роли именно перед своей картиной. Вы уж простите, что такая путаница с фильмами получилась». А я думала: «Э-э, милый Олег Александрович, если бы это была самая страшная на свете путаница!» Поразительно то, что он не был творческим работником, но всегда чрезвычайно тактично работал с талантливыми людьми. Любил их и прощал им многое. Ему как-то удавалось быть поистине демократичным с подчиненными,

быть внимательным к директорам, администраторам, помрежам, ассистентам, актерам. Тогда, в Ленинграде, на встрече с коллективом Ленинградского фарфорового завода, его лицо и фигура выражали восторг, гордость за нас, за то, что нас так горячо принимают, так искренне любят люди. Сам он речей не держал. Когда его объявляли, неловко склонял голову и тут же, улыбаясь, переводил внимание на нас, вот, мол, главные, смотрите: «Клара Лучко, Константин Рыжов, очаровательная Ирина Алферова, наши режиссеры, операторы. А я, я… да мое имя вам ни о чем не скажет», — казалось, говорило его лицо.

Потом, после выступления, нас кормили вкусным рабочим обедом. Все расслаблялись, хотелось излить душу, посетовать, поговорить. Агафонов слушал всех с вниманием, доброжелательно. «Да нет, — сказал он, — все мы не можем быть великими и главными. Все не могут играть главные роли. Но все могут быть великими и главными в своих небольших, но ответственных ролях».

Впервые я увидела его близко на читке сценария в доме Никиты Михалкова. Я еще подумала: «А этот чего здесь? Теперь и не скажешь, что думаешь. Слова надо будет подбирать». Но к концу чтения я успокоилась. Было что-то удивительно естественное в этом человеке. Он органично и легко вписывался в компанию людей, многих из которых видел впервые. Я заметила, как тонко он задал Никите вопрос по ходу обсуждения сценария. Вопрос — вместо: «Ты знаешь, мой тебе совет», или: «Ты знаешь, я бы на твоем месте», «Не совсем понял, но все же советую»… Никаких советов! Все тоньше, деликатнее. Он как будто ощущал ранимость и «бескожесть» талантливых людей. В тот вечер я открыла для себя интересного человека, и с тех пор стала по-другому смотреть на все, что связано с его именем.

Тот вечер с читкой сценария затянулся. Я незаметно выскользнула и спустилась на лифте вниз, ще меня дожидался муж. Снег валил огромными хлопьями. Наша машина забуксовала и — ни с места. И на улице ни души. Пришлось подождать. Вот раздались веселые голоса: «Ребята, ну, раз, два — взяли!» К машине подошел большой человек, обнял ее огромными руками, слегка толкнул, и машина плавно покатилась к площади Восстания. Муж с интересом посмотрел на большого человека: «Ого, дяденька! Здоров товарищ. Что-то я его никогда не видел. Кто это?» — "Это Агафонов, заместитель генерального директора «Мосфильма».

… Съемка «Вокзала» все же состоялась. И всем было неловко. После панихиды — «мотор», репетиции, споры… А что делать? Есть план работы. У Олега Басилашвили в Ленинграде завтра

спектакль. Обстоятельства, обстоятельства… Планы, планы…

Совпали смены. И в большой гримерной одновременно «работало несколько картин». Собрались актеры разных театров из разных городов. Там, в театрах, их главная жизнь, их заботы и радости. А здесь, на студии, они временные люди. Вот отснимутся и разлетятся по родным местам. Гримеры работают молча, только четче и суровее, чем всегда. Они и я — студийцы.

Мы молчим. Да и кому расскажешь о душевной боли, о потере дорогого человека. Ведь не родственник, не брат, а просто добрый человек, с которым и говорили-то раза два, да и то все больше про дела других.

… А жизнь идет, жизнь продолжается:

— Милый мой, я стреляный воробей. Вот увидишь, тут у него будут аплодисменты.

— Подожди, спектакль пройдет раз десять… пока сырой… тогда увидим…

— Друзья, а вы слышали постановление о новых ставках?

— А у меня восемь рублей.

— Не густо. А вы вообще этим занимаетесь?

— Эстрадой? Я? Нет.

— Тогда чего вам. Как надоел мне весь этот бейсбол!

Ставки, ставки…

— Вчера мне корреспондент говорит: «Расскажите о вашей актерской лаборатории». — «То есть?» — «Ну, как готовится ваш актерский организм к работе?»

— И что ты ответил?

— Что я ответил? Я сказал: «Милая женщина, разве можно рассказывать, как готовится актерский организм к работе? Это, знаете ли, все равно что спросить у сороконожки: „Скажите, вы с какой ноги начинаете ходить?“ Она задумается и не сдвинется с места».

— Ну неужели ни у кого нет «пятерчатки»? Раскалывается голова.

— А моя голова, друзья, проходит, как только я вижу лицо кассира крупным планом. Мое же при этом можно скромно оставить на общем.

— А вы знаете, все-таки Светка ушла от мужа. И все оставила, ни нитки с собой!

— Это мне недоступно. Я помню, моя жена уходила… Тогда я еще нищий был артист. Говорю: «Тань, оставь мне хоть кровать». Прихожу — лампочек нет! Один шкаф с меня ростом. Я его положил на пол плашмя и спал. Прямо как в гробу. Ну чего вы? Ничего смешного…

Жизнь, жизнь идет, жизнь продолжается… А ровно час назад

я стояла у гроба Агафонова и смотрела на его лицо. Странное, изменившееся, озабоченное. В жизни же сутью его доброго облика была улыбка. Тихо играла музыка. Мне казалось, что на его лице застыл немой вопрос, который мучил нас всех: почему так внезапно оборвалась жизнь?

Я стояла между Рязановым и Михалковым.

Рязанов — это первая нашумевшая картина, и вот сейчас — «Вокзал для двоих». Михалков, «Пять вечеров» — одна из моих последних работ — и партнерство в том же «Вокзале». Все трое мы были связаны с этим человеком. И, не сговариваясь, собрались вместе в одно время, выстроились молча друг за другом в длинной очереди тех, кто не мог не отдать последнюю дань любви, уважения Доброму Человеку. Разве мы сняли бы «Пять вечеров» за 26 дней? Когда нормальный съемочный период полнометражного художественного фильма — три с половиной месяца. Тогда, в ноябре 1978 года, Агафонов заходил к нам в павильон к концу смены каждый вечер. Встает в стороне, чтобы не смущать своим появлением, — все же начальник — и с доброй улыбкой смотрит… Это был удивительный синтез творческого и производственного, талантливой режиссуры и талантливого администрирования. Этот заместитель генерального был на редкость смелым и прогрессивным человеком.

… Какой длинный, длинный, бесконечный день. Устала, измучена, но знаю, что не засну. Еще утром, по дороге на «Мосфильм», проезжая мимо кинотеатра «Художественный», отметила, что так и не посмотрела фильм «Дамы приглашают кавалеров». Я люблю Марину Неелову. Пойду на последний сеанс.

Заняла свое место в пятом ряду, третье с краю, закрыла глаза и вытянула ноги… Быстрее бы погасили свет. Быстрее бы начинали.

… И все-таки надо на такой случай в тайнике иметь фотографию, близкую к себе на сегодня, чтобы она хоть отчасти отражала твою суть. Опять чушь лезет в голову… Перед глазами вдруг явственно увидела Агафонова на футбольном поле, с мячом в руке. Откуда такое? А-а! Игорь Гневашев, наш кинематографический фотограф, показал мне этот забавный снимок. Снял в одной из экспедиций, куда, очевидно, приезжал Олег Александрович в командировку по делам студии. И вот Агафонова уже нет. А я сижу в кинотеатре. Опять ударило, пронзило… Ах, черт!

Я оглянулась. Зал уже был почти полон. Какие разные люди! Вот так же они заполняют зал. А потом я выхожу к ним на сцену… «В фильме „Старые стены“ вы играли директора. Как вам кажется, каким должен быть руководитель?» — обязательно получаю

такую записку. Каким должен быть современный руководитель?… Ах, если бы мне сыграть заново эту роль директора! Многое я сыграла бы по-другому. Как много я бы позаимствовала у вас, дорогой Добрый Человек.

«Девушка, какой фильм рекламировали, чтобы знать, на что не ходить?» — спросила соседка. Вот бы режиссер это услышал. Девушка! Меня так часто называют. Со спины — девушка. А на улице за темными очками глаз не видно, только — слишком тяжелый для девушки взгляд. Однажды вечером на улице ко мне долго пристраивался молодой человек. Он и так, и сяк, и оттуда и отсюда, а потом: «Простите, девушка…» — «Какая я вам девушка!» — рявкнула я. Бедный парень с перекошенным лицом отлетел на другую сторону. Мне было неловко. С тех пор на «девушку» решила реагировать спокойно.

Закончился рекламный ролик. В зале стоял приятный гул одобрения. Чувствовалось приподнятое настроение. Интересно… Надо почаще «девушке» окунаться в жизнь.

На экране появилась скульптура Мухиной «Рабочий и колхозница» — эмблема киностудии «Мосфильм». Итак — «Дамы приглашают кавалеров».

Фильм сразу набрал хороший темп. Неелова точна: узнаваемы и поведение, и костюм провинциальной продавщицы. Отлично. До середины. А потом пошло провисание в ритме, в сюжете, и актриса, как бурлак, тянула картину на своих хрупких плечах. Вот-вот, казалось, волны фильма ее накроют. Но нет. Она выныривала. Середину продержала, а к финалу появился «он» — Леонид Куравлев, и в талантливом дуэте они завершили фильм. Неелова — актриса замечательная. Я, как средневековый рыцарь, давший обет, чувствовала себя целиком посвященной и до конца преданной своему актерскому ордену. Меня обуревала гордость за наш заметно выросший актерский легион.

Сеанс кончился. В двенадцатом часу ночи возбужденная толпа, вывалившая из кинотеатра, выглядела одиноко на пустой площади старого Арбата. Мимо мчались редкие машины. Арбат… Когда-то, очень давно, он был моим самым любимым местом в Москве. Вон там, на углу, напротив ресторана «Прага», находилась любимая «Галантерея». Изменился Арбат. Нет уже ни той «Галантереи», ни любимого антикварного магазина. Как многое было уже давно. Очень давно.

Все еще стояла жара. Прекрасная, «ну прямо до слез».

НАШ ПОЕЗД ПРИБЫВАЕТ

Как только поезд набрал скорость, во мне прорвалась неукротимая жажда деятельности. Я стала активно обращать на себя внимание своих спутников. Москвичи — отец, мать и сын — возвращались с юга. После отдыха здоровые, загорелые, но какие-то вялые. Все больше молчком. А меня, ну прямо, разрывало на части поскорее открыть им свою тайну: я еду в Москву! Я буду киноактрисой! Для начала я разложила перед ними на столе свой обильный харьковский провиант. Но женщина заметила, что ужинать «еще вроде бы рано, а обедать, детка, вроде бы уже поздно». Тогда я беру в руки свой большой аккордеон и переставляю его в другое, более устойчивое место. Все-таки инструмент, «дорогая вещь». Мальчик тут же оживился — ого, какой тяжелый. Да, говорю, но я привыкла. Это, можно сказать, моя профессия. Хотя, вообще-то, я больше пою и танцую… Да… А чего стесняться? Тут же, без приглашения, раскрываю футляр. Все проделываю демонстративно, важно, не спеша. И вдруг огорошиваю их отработанным пассажем на басах. Это действует безотказно. «Главное, дочурка, — выходка, а потом они вже усе в тибя у руках!» Так и есть. И пошла из репертуара Рашида Бейбутова «темповая вещь»:

Там, в садах Азербай-джана,
Где айва желтей шафрана,
Ждет меня Зюлейка-ханум.
Станом тоньше кипариса,
И лицом нежней нарцисса,
Гиллю-джан, Зюлейка-ханум…

Ну конечно же, я их расшевелила. А мальчик, мой ровесник, так тот просто остолбенел и смотрел на меня влюбленными глазами. Он-то точно у меня «был у кармани». Насторожил вопрос его мамы: «Что же вы собираетесь на экзамене читать?» — даже не столько вопрос, сколько реакция на мой ответ, когда я сообщила, что приготовила монолог Анны Карениной перед смертью. У женщины было такое вытянутое лицо, она так красноречиво переглянулась с мужем, что если бы это случилось со мной сегодня, то я бы наверняка не спала ночь, мучилась и обдумывала, почему, отчего, зачем и нужно ли вообще мне это читать? А тогда… Боже мой, куда делась та одержимая уверенность? Даже жалко.

Все так же медленно, демонстративно и важно я свернула свой аккордеон. Без всякой помощи уложила его на место. Покрутилась с дорогой сумкой из крокодиловой кожи перед носом тети — мол, да-с, мы хоть и из провинции, но кое-что тоже понимаем-с — и вышла в коридор. Эту сумку, которую папа привез маме из Германии, мне сегодня торжественно вручили в знак моей взрослости и самостоятельности. В ней находилось все: и паспорт, и деньги, и аттестат зрелости с драгоценными тремя пятерками: по физкультуре, поведению и хоровому пению. «Ни у коим рази не отпускай от себя ету торбу. Вышла ув уборную — она при тибе. Ложисся спать — клади ее под голову. Усе твое здесь: и документ, и деньги, и подарык папусика. Береги добро, моя детка».

Странные люди мои соседи! Если я спела веселую «Зюлейку», значит, что ж, я не осилю грустную сцену со слезой? Да я отлично понимаю, что я не Анна Каренина. Но меня интересовал именно драматический накал этой сцены, мучило состояние Анны. Недоверчивое лицо тети меня здорово задело. Скажи мне тогда, что это «недоверчивое лицо» будет первым сигналом моей будущей беды!.. Что мне придется столько лет завоевывать право играть драматические роли. Тогда, в вагоне, я ни за что не поверила бы…

Зажав под мышкой мамину сумку, я стояла в тамбуре и смотрела на мелькающие за окном станции, поселки, поезда, леса… Все, как и у нас под Харьковом. Ничего такого уж нового и примечательного. Интересно, почему мне тогда хотелось покорить моих соседей? Но то, что всегда, еще с детства, мне надо было «усех ув обязательном пырядке положить на лупаты», — это ясно, это «як закон». И все же это был особенный случай.

Для этого нужно вспомнить нашу харьковскую жизнь и обстановку начала пятидесятых годов. Телевизоров не было. Во всяком случае, в Харькове я ни разу ни у кого телевизор не видела. Москву можно было увидеть только в кинохронике (которую мы, дети, смотрели по нескольку раз), в некоторых художественных фильмах и на страницах учебников. Эти картинки Красной площади впечатаны в нашу память на всю жизнь. Открыток с видами Москвы еще не продавали, а то бы мы их обязательно приобрели. В поисках портретов артистов мы с подружками изучили все книжные магазины и знали наизусть все, что лежало на прилавках. Теперь в «Клубе путешественников» Ямайку можно увидеть и рассмотреть подробнее, чем тогда столицу нашей Родины, Москва была далека, загадочна, желанна, вызывала трепет и восторг. Только сейчас до меня дошел смысл

тех наших поговорок, которые мы употребляли, не задумываясь над их истинным смыслом. В них частенько звучало слово «Москва». Откусишь кислое яблоко — и сразу: «Ой-ой-ой, Москву вижу!» Это означало, что Москва так далека, и только при помощи волшебного зелья можно увидеть сказочное царство в тридевятом государстве. Вдруг заплачешь без причины или прикинешься перед учителем обиженным — тебе в ответ: «Э, нет, дружок, Москва слезам не верит». Такой авторитет, как Москва, верит только во что-то важное, серьезное. «Москва слезам не верит, а верит в СССР!» — так у нас звучала эта поговорка. Во как. — верит в СССР! А не вашим хлипким слезам. Москва, Москва!..

Какая она? Как примет? Что за люди живут в ней? Я ехала будто на другую планету. И там должна была решиться моя судьба. Так вот, эти пассажиры были первыми москвичами в моей жизни. Как же мне важно было их рассмотреть, не стушеваться, а произвести неизгладимое впечатление.

Незаметно рядом со мной в тамбуре оказался мальчик, мой попутчик, все с теми же сверкающими глазами. Болтали мы о том о сем, а под конец он нервно выпалил: «Давай в Москве увидимся!» — «Что-что-что-о?» — протянула я лениво и медленно и покраснела от удовольствия. Вот она! Первая победа над москвичом! — «Вообще-то, у меня дел будет теперь по горло, я ведь уже не школьница, ну да ладно, можно и встретиться…» И он тут же сунул в мою руку влажную бумажку с телефоном. Тоже боится своих родителей. Все точно так же, как и у меня дома. И я представила себе, как иду по Москве в своем зеленом с красными бантами платье на свидание с первым москвичом.

Как только мы вошли в купе, его мама спросила: «Наверное, вы сильно волнуетесь?» По лицам соседей я сразу почувствовала, что они что-то говорили обо мне. «Ну, естественно… есть немного, но я уверена, что поступлю!» — «Вот видишь, как надо, а ты…» — сказала она сыну. Не знаю, что за смысл она вкладывала в это «а ты», но по тому, как он шустренько сунул свой телефончик, мне показалось, что она его явно недооценивает.

«Товарищи! Наш поезд прибывает в столицу нашей Родины — город Москву!» — такие слова у каждого человека вызывают волнение. А у меня, ну, так забилось сердце, так перехватило дыхание, а уж когда из репродуктора грянула музыка — я никак не могла сдержать слезы. На перроне я увидела тетю Лиду, мамину сестру. Она как раз была в это время в Москве, в командировке. Мы вышли с ней на площадь Курского вокзала. Я двигалась в каком-то нереальном, заторможенном состоянии, оглядываясь по сторонам, ревниво отмечая столично-

провинциальные контрасты. Метро! О, сколько я о нем слышала! И в хронике видела. И папа рассказывал, как он спускался в шахту под землю… «Так метро, дочурка, щитай, ета и есть культурная шахта». Э, нет, папочка, нет, миленький, метро — это тебе не культурная шахта. Метро — это метро! Я плавно спускалась по эскалатору вниз. Как необычно, как интересно! Как только расположусь, со всеми познакомлюсь, сориентируюсь, первое, что сделаю, — целый день буду кататься в метро!

Доехали мы до станции «Комсомольская». На Ярославском вокзале сели в электричку, сошли в Мамонтовке, где в деревянном домике находилось общежитие ВГИКа. И только здесь с ужасом обнаружили, что в поезде, «под головой», я оставила свою крокодиловую сумку. Вот и вся моя деловитость. Помню интонацию проводника: «Товарищи, наш поезд…» Помню, как душа подпевала торжественной музыке, которая грянула при въезде в Москву и вызвала счастливые слезы… А то, что паспорт, аттестат, деньги остались под подушкой — разве это главное? Жалко было только одного папиного подарка — бронзового зеркальца с ангелом.

На вокзале мы долго искали дежурного. Потом составили подробную опись всех вещей, находящихся в сумке. А потом нам ее вручили — все на месте. Зная мнительность папы и осторожность мамы, я умоляла тетю Лиду не рассказывать об этом дома.

— Лель, ну ето уж точно, дочурку обчистили усю, як липку ободрали. Ета там Лидка, твоя родичка, чего-то недоговариваить. Ты ее, Лель, потруси, як следуить быть, ты ж ето вмеишь. Она тебя аж трусится як боится…

— Марк, котик, не учи меня, пожалуйста, и не преувеличивай. Ведь все в конце концов нашлось. А с Лидой, конечно, я поговорю. Она взрослый человек, должна была первая все проверить. А в общем-то… гм, Марк, чему ты удивляешься? Ведь это же твоя родная дочичка… Ты вспомни, как после войны мы ехали с тобой из пионерского лагеря. Из Рыжова, не помнишь? Хи-хи-хи, пока ты дамочку в тамбуре развлекал, хи-хи-хи, пальто твое и уплыло. А помнишь, в тридцать четвертом году, ты…

— Во, во, навалилася… Ну давай, давай, вырабатуй, давай успомни теперь, што було у тридцать пятом, у тридцать шестом, успомни, як я пив, бив, курив… успомни усех дамочек, давай вырабатуй, вали усе ув одну кучу…

Диалоги родителей я могу продолжать бесконечно. Это живет во мне постоянно. Я их слушаю, сама смеюсь, сама плачу. Что делать! Нет, нет полноценной жизни без папы. Вот и сейчас он

смотрит на меня с портрета того же тридцать пятого года — молодой, красивый и сильный. «Ну, что, дочурка? Як ты? Жисть есть жисть, никуда не денисся. Пиши, пиши людям правду, за меня, за Лелю, за усю нашу семью. Мы честно прожили свою жисть и можем честно смотреть людям у глаза». Бедный, грешный, неповторимый человек. Как мне пусто без тебя! Но жить надо, надо жить. Надо жить и работать, как и при тебе. Как будто ты есть. А ведь ты есть!

… В общежитии жили уже три абитуриентки. И все три — очень красивые девушки. Прыти моей как-то поубавилось. Но когда они с удивлением и интересом стали рассматривать и щупать мой аккордеон, мое настроение, как барометр, немедленно подскочило. Все же козырь у меня есть!

Деньги здесь. Документы здесь. Инструмент здесь. Настроение отличное. Завтра в институт. Узнаю: что? где? когда? А потом… Потом пойду по магазинам, накуплю себе всяких московских украшений и еще много-много других разных разностей. И пойдет жизнь. Самостоятельная. Без надзора. Нет, этим меня не удивишь и не устрашишь. У меня всегда была самостоятельная жизнь. Но эта жизнь совершенно новая. Новые друзья. Новый дом. Новый город. И не просто город, а Москва. Ну что ж, здравствуй, столица! Москва, здравствуй!

ЭКЗАМЕНЫ

Мы подолгу простаивали у доски с объявлениями. По десять раз прошмыгивали туда-сюда мимо секретарши. Изучали обстановку. Выжидали — не появится ли вдруг еще какой-нибудь сногсшибательный конкурент? Когда находишься в своем родном городе, в родной семье, кажется, что ты один такой особенный и избранный. И вдруг в недоумении обнаруживаешь! Э, да я не один — вон их сколько…

Новое здание. Новое общежитие. Новые правила. Новые предметы. Новые течения. Новое время. Все новое. Но неизменным остался один самый главный момент в судьбе — сбудется или нет, быть или не быть, попадешь или провалишься! И пусть мы в пятидесятых приходили другими. Пусть наши лица еще не знали косметики. А красить волосы и выщипывать брови было дурным, очень дурным тоном. Парни с длинными волосами — «тарзаны» — высмеивались в «Крокодиле». Пусть сейчас все наоборот — все естественное кажется противоестественным. Это мода. Она пройдет. Многое изменится, но суть решающего момента не изменится никогда.

Много сложных жизненных ситуаций можно разыграть в кино. Только не придумаешь, не отрепетируешь и не сыграешь с сотней таких разных юношей и девушек их поведение в ожидании часа, который решит дальнейшую судьбу. Тут не подскажешь, не предугадаешь. Если скрытой камерой пронаблюдать эти экстремальные минуты, она может запечатлеть такие «гримасы»… В одну секунду может пропасть голос, свести челюсть, задергаться глаз, начаться истерика или нервный смех. Или же на смену волнению придет депрессия, полное равнодушие. И выживет тот, у кого на роду написано: артист.

Этот приговор будет вынесен сейчас, вот здесь — за простыми белыми дверями, на которых внизу темнеют следы от студенческих ботинок. Здесь сидят известные люди. Их имена знают все. Авторитет их огромен.

Милые великие люди! Вы не должны обидеть нас. Вы должны в нас поверить. Вы будете улыбаться, кивать и одобрять. А на лице каждого абитуриента написано: знаете, я такой… такой необыкновенный. Все говорят, что я талант! Я умею все: знаете, даже ни с того ни с сего могу зарыдать или расхохотаться. Ведь вы меня примете, да? А то как же, как же мне жить?

Оценка судей иногда может быть роковой. Очаровательная девушка принята на актерский факультет института. Она способна. И все же главное в том, что она красива, очаровательна.

Но ее жизнь в кино — до двадцати пяти-двадцати восьми лет. Вместе со свежестью молодости кончается и ее жизнь в кино. Точно как роза, что вянет от мороза. А потом драма.

Красивый молодой человек. Фигура, рост, лицо: анфас, профиль — все преотлично. На него бросаются режиссеры — три, четыре роли за один год. Проходит несколько таких блистательных лет, от поклонниц нет отбоя. И он уже привык, что он таков. Но вот пошли разговоры: дескать, внешность примелькалась, стали известны и привычки, и штампики. А ведь именно они еще совсем недавно очаровывали всех и делали этого молодого актера будущей надеждой. Смотришь, а он в новой картине уже и говорит не своим голосом. Режиссер пошел на хитрость, озвучил его другим актером, чтобы вложить что-то новое, более весомое в его все еще приятную, но уже примелькавшуюся внешность. И актер, не достигнув тридцати двух-тридцати пяти лет…

А вот этот человек… Что он будет играть в кино? Ни фигуры, ни роста, ни профиля… Но незаметно летит время. И исподволь, не броско для постороннего глаза, происходят изменения в молодом актере. Он сумел, сумел схватить и разгадать необъяснимую тайну — главную тайну — как стать актером своего времени!

Принять молодого человека на актерский факультет — какой же нужен тонкий стратегический расчет мастера-учителя! Вложить средства, когда никто пока не видит и не может предугадать в абитуриенте присутствие таланта, и только учитель все вычислил и взялся растить этот талант. И он, этот талант, окупит затраты и сторицей возместит их! Нет для актера высшего счастья, чем встреча с учителем, обладающим такой уникальной интуицией.

Как прекрасно, что я училась именно у такого мастера. Что может быть интересней, чем следовать за мыслями крупного художника! Точные отправные моменты, войдя в кровь и душу, руководят в работе и жизни. И я не задумываюсь, откуда они явились ко мне. Мне уже кажется, что они мои, врожденные. Наверное, это и есть школа. Ведь очень трудно ответить на вопрос: какова ваша школа? Школа — это когда тебе удобно существовать и работать в тех правилах, которыми ты был встречен на пороге своей профессии. И, несмотря на то, что в микроклимат своей школы я вошла не сразу и не просто, — она стала моей! И ни на какие самые модные течения я ее не променяю. В ней все: от эксцентрики до трагедии. А в середине все, что только может существовать в нашей профессии. Только несамостоятельный художник бежит за модой. Он бежит, а она

ведь тоже не стоит на месте. Побеждает тот художник, который никому не подражает, избегает чужих цитат и заимствованных ассоциаций. Побеждает тот, о котором говорят, как о само собой разумеющемся: «Сегодня я смотрю Герасимова». И это может быть произведением только его. И ничьим больше. Я училась у такого художника. Я училась у Герасимова.

Перед главным экзаменом по актерскому мастерству в Институте кинематографии мы сдавали экзамены по истории, литературе, писали сочинение. Спрашивается: за что все десять лет я страдала от одного только приближения урока по арифметике-алгебре-геометрии-тригонометрии! Да таких перебоев в сердце у меня не было, наверное, даже во время бомбежек! Экзамены в институте по так называемым гуманитарным наукам оставили в душе отзвук праздника.

И вот, пока мы сдавали экзамены по общеобразовательным предметам, просочился слушок, что можно, не подавая всех документов, сдавать экзамены только по актерскому мастерству в другие театральные вузы. Куда я могла броситься помимо кино? Конечно же, в оперетту. Все, что шло в нашей харьковской оперетте, я знала наизусть. Последние школьные годы я оттуда месяцами не вылезала. Экзамены в ГИТИСе на курсы оперетты уже заканчивались, и я попала сразу же на последний, третий тур. Пела я «Третью песню Леля» из оперы «Снегурочка» и эффектно прочла басню Сергея Михалкова:

«Красиво ты живешь, любезная сестрица», —

Сказала с завистью в гостях у Крысы Мышь… вложив весь свой гражданский пафос в мораль басни: «А сало — русские едят!» В атмосфере экзаменационной аудитории запахло успехом. Народу было полно. Вокруг комиссии примостились и студенты-старшекурсники и еще какие-то вполне солидные товарищи. В общем, настроение было непринужденным, как в зрительном зале. На вопрос одного из членов комиссии, знаю ли я арию Пепиты из оперетты Дунаевского «Вольный ветер», я на него так посмотрела — одна бровь вверх, другая вниз, — что в аудитории раздался замечательный, подбадривающий смех. Ну почти как в Харькове. Я в своей тарелке! Ну разве мне не было близким и знакомым все то, о чем поет Пепита?

С холоду, с голоду, бывало,
Все голосят в двенадцать голосов.
Я ж не унывала, песни распевала,
Подтянув потуже поясок.

В музыкальном проигрыше тоже не растерялась и «вжарила»

каскадный залихватский танец. Я получила заслуженные аплодисменты, хотя на экзаменах аплодисменты были запрещены. Но что поделаешь, если зрители не могли не отреагировать. Эх, как я потом жалела, что не напросилась на любимый дуэт матросов из того же «Вольного ветра»:

Дили-дили-дили-дили-дили,
Ах, дили-дили-дили-дили-дон,
Мы ли Филиппинами не плыли
В Босто-он.

Так мне нравится этот ритм. Он прекрасно ложился на чечетку, а она на экзамене не помешала бы. Но все равно. Экзамен по мастерству прошел на «ура». ГИТИС был «у кармани».

Ну, что там было еще? А еще попали мы с одной девочкой… Нет, все по порядку. Такие детали не стоит опускать. После моего показа в ГИТИСе ко мне подошел выпускник отделения оперетты и, сложив руки на груди, а голову склонив к плечу, устало, с видом пожилого человека, представился: «Я, видите ли, уже завершаю сие заведение. И мог бы, милая девушка, дать вам пару дельных советов. Если б у вас как-нибудь, ненароком выдалась бы пара минут свободного времечка…» Короче — наука нехитрая, и слепому видно: предлагает свидание. Итак, это уже третье свидание в Москве. Одно в поезде — с мальчиком— попутчиком. Второе — с абитуриентом из Института кинематографии, который поступал на операторский факультет. Он меня все фотографировал, фотографировал… Ну, а я… Ну, а я продемонстрировала столько умопомрачительных выражений лица, что он прямо голову потерял. «Ну, ты талант!» — приговаривал он, щелкая кнопкой своего ФЭДа. Тоже мне, открыл Америку. И вот третье свидание. Но уж, извините. Это не ученичок и не абитуриентик. Это, можно сказать, взрослый мужчина, выпускник. Успех? «Та што там гаварить!» Успех! И у кого? — у Москвичей! Эх, харьковчане, харьковчане, мальчики вы мои милые… Что-то вкуса у вас маловато, и все он у вас, простите за откровенность, какой-то периферийный.

Да… так попали мы, значит, с одной девочкой на второй тур Щукинского училища. О-о, обстановка совершенно не такая, как в ГИТИСе. Куда там, тишина… Поступающих немного. В комиссии ни одного популярного актера. Все хмурые, серьезные, в основном, люди пожилые. Я как произнесла одну фразу — тут же две женщины из комиссии зашептались между собой, зашикали, и все посматривают на меня таким колким, неприязненным взглядом… Что-то им во мне явно не понравилось. Что, что я им

сделала? Чем они недовольны? Я их вижу в первый раз в жизни. Я быстро сообразила, что мои штучки здесь не пройдут. Обстановочка не располагала. Слушали меня внимательно, не останавливали. По ходу чтения басни пару раз улыбнулись, что при такой строгой и чинной атмосфере было уже кое-что. Но я крепко сдерживалась, чтобы меня не занесло. И когда почувствовала, что экзамен подошел к концу, так же чинно и интеллигентно-мягко поклонилась, поблагодарила, извинилась, еще раз поклонилась, долго пятилась к двери и только потом уж повернулась к комиссии спиной. Вдруг меня окликнула одна из «шикающих» женщин: «Девушка, простите, вы из Харькова или из Одессы?» — "Я из Харькова, — ответила я с достоинством и гордостью за свой город, посланцем и патриотом которого я начинала чувствовать себя здесь, в Москве, все больше и больше. «Ну, значит, я была права, — торжественно заявила она своей соседке, а мне бросила: — Вы свободны». К третьему туру меня допустили, но мне было ясно, что там я уже не появлюсь. Что-то там… ну, в общем, я там не та, теряю свободу. Теряю свою индивидуальность. Одна мысль мучила меня: ну, откуда эта женщина из комиссии узнала, что я именно из Харькова?

«Харьковский» вопрос прояснился сам собой — в Институте кинематографии, на экзамене по актерскому мастерству.

Как задумала, так и осуществила: появилась в коридорах института с аккордеоном, в ярко-зеленом платье из китайского шелка. Красный бант — на груди. Красный бант — на поясе. Завитые мелкими колечками волосы. А на ногах — единственные в мире красные туфли в стиле мушкетеров времен кардинала Ришелье: мыс «бульдогом» и весь в дырочках; огромные банты, тоже в дырочках, свисали с обеих сторон до земли. А на толстых каблуках (специально под кожу вкладывались орнаменты из толстого жгута) сидели оригинальные елочки. Эти туфли заказывал мне сам папа. А если заказывал сам папа, то можно быть уверенным, что он для любимой дочурки не пожалел ни денег, ни фантазии. Три вечера подряд папа со своим дружком-сапожником, бывшим баянистом, били друг друга по рукам, спорили, рисовали, сооружали. Каждый вечер папа приносил своему другу выпивку и произносил «за честь, за дружбу». Три дня шло совещание «на высшем уровне». А через две недели туфли торжественно сняли с колодок. И я в них спустилась с Рымарской на Клочковскую. Все продумали, все учли, кроме размера. Опираясь на папу, с вымученной улыбкой, я предстала перед мамой.

— Какой кошмар, Марк! Люся же едет не на «концертик в деревню», а в Москву, понимаешь, в Москву! Это же обувь для

цирка. Да и в цирке я такого не видела, хи-хи-хи.

— Вот то-то и оно! Во ето и главное, што такого ще никто не видев. Етага я и добивавсь. Хай только ув одной моей дочурки такие тухли будуть. Зато як увойдеть у зал — усе и ахнуть. Черт, з номером я крупный ляпсус допустив. Да ну, Лель, ты ж знаешь, он як выпьить — усе чисто з головы долов! Ничего, моя птичка, моя клюкувка, я их сам растяну.

… Дефилировали парами зеленоглазые красавицы с длинными косами из Грузии, скромные девушки из Средней Азии с множеством косичек, черноволосые газели с бархатными глазами и пушистыми ресницами из Армении. Ну, и много наших, приятных и милых русских девушек. Но, если честно, то одета я была ярче и оригинальнее всех. И аккордеон в руках. А все — или с книжечками стихов, или с пустыми руками. И опыт поступления у меня уже кое-какой был. Но столько красивых лиц в одном помещении, «да в одно и то же самое время», — это выбьет из седла кого угодно. Я ходила со своим аккордеоном и все вглядывалась в эти прекрасные лица. Знакомилась и подстраивалась. А сама с тревогой вычисляла: «Ну кто лучше — я или она?»

Переступила порог экзаменационной аудитории. Первый раз в жизни я увидела близко, совсем рядом, знаменитых людей, которых раньше знала только по фильмам. Испытывала истинное потрясение. Голова шла кругом. Перед глазами плыл туман. Я прислонилась к дверному косяку и не могла сдвинуться с места. «Проходите сюда, к столу», — раздался знакомый, до боли родной голос актрисы, которую я знала с детства. Я приблизилась к экзаменаторскому столу…

Тамара Макарова… Самая красивая и самая загадочная киноактриса. Как я любила ее нежные интонации в «Маскараде»! А ведь она даже не догадывается, что я знаю все ее фильмы. А фильм по сказу Бажова «Каменный цветок» выучила наизусть. Как я мечтала сыграть такую роль! Какой у нее там красивый, низкий, завораживающий голос. А сколько у нее в этом фильме необыкновенно красивых нарядові

Сергей Герасимов… «Молодая гвардия». Кто из нас, из молодежи, не смотрел по нескольку раз этот фильм. Кто не плакал и не клялся в душе отомстить врагам за мучения и зверства над молодогвардейцами! Кто не полюбил после этого свою Родину крепче во сто крат. Вот он какой, Сергей Герасимов. Необыкновенно красивый человек. Какой острый, пронзительный взгляд. Он смотрел в самую глубь и, казалось, не замечал моего вызывающего, петушиного, провинциального вида.

Изумительная женщина с доброй, очаровательной улыбкой

задает мне вопросы. Я отвечаю скромно: да и нет. Зеленые глаза красивого человека смеются. В них так и вспыхивают, так и переливаются искорки и огоньки. Мне уже хорошо. Мне легко. Шок миновал. Голова ясная. Нужно выйти на середину аудитории и начинать с басни. Но что это? Кто это такие? Какой ужас! В правом конце стола сидели те две «шикающие» женщины из Щукинского училища. Они смотрели на меня с иронией, как на давно знакомую, которая когда-то в чем-то провинилась, но теперь ее простили и снисходительно «принимают». Они шепнули что-то моему будущему мастеру. У него опять в глазах сверкнули веселые искорки. И он стал задавать вопросы мне сам, явно желая послушать, как я говорю.

— Откуда Вы приехали, откуда родом?

— Шо гарыте?

Легкий смех. А у тех двоих довольный, утрированный хохоток.

— О! А-а! Поняла. Откуда прыехала? Я прыехала с Харькова. Тоже столица… бывшая, — непонятно зачем добавила я с эдаким примитивным, бодреньким провинциальным юморком.

Опять же засмеялись одни зеленые глаза — смеялись отдельно от губ. Это я еще тогда отметила. А потом, на уроках, так ждала этой никому больше не свойственной «отдельности».

— Хотите работать в кино?

— О! Работать… Та шо ш там работать! Та рази ж это работа? Буду актрисой, вот! Работать… Такое скажете…

Свои ответы я намеренно воспроизвожу утрированно. Так заметнее дистанция, явственнее пропасть, через которую мне предстояло перелететь. Но сначала поумнеть, возмужать, отрастить и укрепить крылья для этого восхитительного, страшного и неизведанного перелета.

А эти «шикающие» женщины оказались преподавательницами по речи. Кому, как не им, известны все акценты и диалекты? И кому, как не им предстояло лечить меня от этого «недуга». Я тогда не представляла, что ростовский, харьковский и — простите меня, граждане одесситы, — одесский диалект, в особенности для будущего актера, это, считай, как инвалидность третьей группы.

Это был веселенький экзамен. Папа остался бы доволен своей дочуркой. Все было боевито, как он меня учил: «Ты ж актриса. Хай усе будут як люди, а ты вертись, як черт на блюди. Такая ето профессия». Подробности этого экзамена не опишешь. Он — для устного исполнения с показом.

Когда же секретарша вышла с несколькими экзаменационными листочками и я услышала свою фамилию… О!

Такого счастья не может быть — была первая моя мысль. Наверное, это моя счастливая однофамилица. Но вот второй раз я услышала свою фамилию. Нет, вроде ошибки нет.

«Э-э-э-т-о-о я-а-а…» — и сама не узнала своего голоса, робкого, слабого, незнакомого.

Мне теперь кажется, что это было самое счастливое мгновение в моей жизни! Когда все самое прекрасное, доброе, светлое, чистое, романтическое, оптимистическое слилось воедино и вместилось в одной короткой фразе: я стала студенткой Института кинематографии! Сбылась, сбылась. Сбылась мечта!

АРБАТСКАЯ ГАЛАНТЕРЕЯ

«Харьков. Клочковская, 38, кв. 3. Все экзамены сдала отлично. Я студентка актерского факультета Института кинематографии. Встречайте харьковским. Всем привет. Ваша дочурка Людмилка».

«Ну, Леличка, а што я тебе, крошка моя, гаварив? Ах ты ж дочурочка моя, богинька моя ненаглядная! Якую же ты радысть папусику сделала! Якой же я теперь гордый своею дочуркою. Держись, Лель, ще тока начало!» А мама…

Мама выразила свою радость по-своему. Через много лет. Я как-то спросила у нее, когда у них с папой было самое счастливое время, «только не говори, что до войны».

«Да нет, до войны, конечно, было прекрасно, но папа был такой буйный… Счастливое время? Пожалуй, когда ты поступила в институт». Молча, без аффектации, она сделала все, чтобы я получила желанную профессию. Мама всегда и во всем выдвигала нашего папу вперед, сознательно оставаясь на втором плане. Так бывает в многодетной семье, когда любят и балуют слабого ребенка. А папа был до боли беззащитен. Иногда, в случае необходимости, он мог применить только свою недюжинную физическую силу. Но это ведь от слабости. Они никогда не воевали между собой за первенство. Ну и подавила бы в нем мама то, чем он был прекрасен и неповторим. Ну и стал бы он гладким и ровным, без его чудачеств и «идиотств». Нет, моя мама слишком умна. А папа… нет уж, как он и ни бывал грешен, но уж верная истина — чистому все чисто.

Телеграмму отбила. Место в общежитии забронировала. Документы в институте оформила. Билет в Харьков взяла. До начала учебного года еще целых десять дней. Послезавтра буду в Харькове. Обойду и Сумскую, и Клочковскую, и Рымарскую: и в школу, и ко всем подружкам, и во Дворец пионеров — к сотрудникам папы с мамой. Перед глазами так и поплыли родные лица, радостные встречи… Счастливая, блаженная улыбка не сходила с моего лица. В нашем дворе будет пир, цветы… Папины друзья, мои подружки, соседи будут поздравлять. Дядя Шолом заплачет от радости, а тетя Соня спросит у мамы: «Леля, вы, наверное, там, в Москве, дали кому-то двадцать пять тысяч? Признайтесь, я никому не скажу. Перестаньте, Леля, ну что вы в самом деле. Если уже такую, как Люся, взяли, так что уже теперь в кино можно увидеть?» Нет пророка в своем отечестве. Ведь звезды только на небе. А тут в обыкновенном харьковском дворце — и на тебе, своя «киноактрыса». Ну, знаете…

… Было бы просто грешно не устроить себе разрядки. Это я к

тому, что назрел момент, когда… ну, когда внутри разливается что-то типа «амор, монамур, май лав а-а-а!» — ну понимаете, да? Никакого сопротивления внутри своей совестливой души я не встречала. Это меня еще больше подхлестнуло к свиданию. Только не ясно — с кем? Вот в чем главный вопрос. Даже не вопрос, а неясный момент, которому я так и не нашла определения…

Короче, как только я села на поезд, идущий в Москву, с той самой минуты все — лица, здания — все потеряло свои четкие контуры, смешалось в один гладкий мутноватый круг. Думаю, внутри сама собой началась перестройка, передислокация сил, которые было необходимо собрать и направить на одно-единственное — победить! Так бывает в длительных зарубежных поездках, когда в Москве ночь, а здесь яркий день, когда в Москве минус двадцать, а здесь плюс тридцать. И именно в такой солнечный день, после бессонной ночи в самолете, по четыре-пять встреч, интервью и приемов. И нужно держаться легко, весело, отвечать метко и и остроумно. Ну уж если не остроумно, то хотя бы не глупо. И так десять дней подряд. На первый взгляд, удовольствие — ведь никакой работы нет. Стой себе с рюмкой и тарелкой в руках, улыбайся и восхищайся — ох! ах! Не может быть! Да что вы? Это феноменально! Это экстраординарно!.. Между тем я наблюдала, как сникали люди, как мгновенно опускались углы рта, мутнели глаза, как присаживались, не выдерживая этого «приятного» стояния, калейдоскопа лиц и улыбок, заученных фраз, имен, фамилий и должностей. Для такой работы, как и для актерской, нужно родиться. Меня спасла только моя профессия. И то — придешь ночью в номер, голова гудит, как пивной котел, а у глаз — спазмы от бесконечных улыбок. Смотришь на себя в зеркало, а вежливый оскал не исчезает. Так и засыпаешь с удивительно вежливым лицом…

А потом, через время: «О-о, мадам, хау ду ю ду? Вы помните, как мы с вами интересно поговорили?»

«А-а, энд хау а ю? Ну как же, разве такое забывается?» Что я говорю? Господи боже ты мой! По-моему, я его первый раз в жизни вижу. Спустя какое-то время я была уверена, что это происходило с кем-то другим, а я просто находилась рядом, потому и знаю подробности.

Точно так же спроси меня тогда: как выглядели те люди в поезде? Не помню. Все мое существо — и душа, и сердце, и мысли — шло к достижению цели… Узел развязался, как только я заговорила со своим мастером-учителем. Когда я почувствовала: вот она, истинная важность момента — то, к чему я шла. Тогда и в голове, и на душе стало чисто и ясно. Это состояние я поняла не

так давно. Если я не вижу ничего вокруг, если отвечаю невпопад — значит, иду к какой-то цели. Теперь я учусь внимательно смотреть на все, окружающее меня: на людей, предметы, мизансцены. Тогда, в юности, да и потом долгое время все существовало как бы в дымке, а перед глазами стелился розовый романтический туман.

… Итак, свидание. С кем? С опереточным выпускником? Выслушивать советы старшего товарища? Нет, дружок, ты идешь своей тропинкой, а я пойду — своей. С абитуриентом операторского факультета? Теперь он тоже студент. За пять лет еще наговоримся. Остается мальчик-попутчик из поезда. Человек, далекий от искусства. Вот он мне подходит. Ему будет интересно все, что я буду «артистически» изображать. А если честно, милые вы мои, для меня вы все трое — на одно лицо. Я просто хочу быть взрослой. Я хочу сознавать, что у меня свидание. Свидание-дуэт. Дуэт, а не трио, как в школе: один мальчик и две девочки. А чтобы нравиться и любить? О, нет! Об этом сейчас и речи быть не может. Но поразить, ошеломить, обескуражить — очень, очень хотелось!

Ах, больше всего в тот момент мне хотелось видеть папу и маму. Вот так бы, втроем, сейчас пройтись по Москве, по Красной площади! Я — в середине, а по бокам — мои счастливые родители.

Арбат. Я его уже изучила, когда крутилась около Щукинского училища. Мне очень нравилось такое необычное название — АРБАТ. Ну просто замечательное название. И еще он напоминал мне улицы Харькова… На Арбате я испытывала душевный покой. Не было излишней толчеи, к которой я не привыкла, хотя мне и нравилось многолюдие Москвы. Ведь это и есть столица, а как же! Там я и забрела в арбатскую угловую галантерею. Перво-наперво я купила сумку-кисет с длинным ремешком через плечо. Крик моды. Сумки были коричневые, белые, красные. Какую брать — двух мнений быть не могло. И красная — дермантиновая, блестящая сумка висела через плечо! Харьковчане рухнут! Старческая крокодиловая сумка, с горбами, была заброшена, а потом и вовсе куда-то исчезла. Жаль. Теперь такие сумки — роскошь, даже для миллионеров. Вот тебе и мой деревенский папочка! Привез маме именно такую.

Купила и прикрепила себе на уши клипсы-ромашки. Прошлась по галантерее туда-сюда. Чувствую, что-то еще мучает, созревает… Покупаю еще одни клипсы-ромашки. Подхожу к зеркалу. С двух сторон на волосах прикрепляю по клипсе. Вот теперь другое дело! Опять — туда-сюда, от зеркала к зеркалу. Что-то не то. Чего-то еще не хватает. На мне ярко-зеленое платье

с красными бантами. Красные туфли с бантами. Красная сумка через плечо. Уши и голова усеяны ромашками. А вот личико-то бледноватенькое — яркое обрамление его «забило». Когда папа переехал в Москву, он мне каждое утро говорил: «Дочурка, надо бы личико как-то подбодрить». Он меня любил «в боевой готовности». И с утра мне ласково, нежно говорил: «Сделай с собой что-нибудь, дочурка, не ходи бледненькая. А то ты в меня з утра прямо полууród… Ну, правда, вечером — богиня». Я всегда ему покорно отвечала: «Хорошо, папочка, сейчас подбодрюсь». Первый раз в жизни я купила тогда жидкие румяна. Вышла из арбатской галантереи и быстро заскочила в первую же темную подворотню. Сначала полила румяна себе на губы. На вкус ничего — приятненькая водичка. Потом обильно смочила платок и щедро нарумянила щеки. Новой, неизвестно откуда взявшейся женственной походкой поплыла по Арбату, слегка покачивая бедрами. Никогда больше — ни в «Небесных ласточках», ни в «Сибириаде» — мне не удалось повторить той походки. То была особая, победоносная походка человека, уверенного в том, что в жизни его ждет только счастье, только радость, только успех. Среди прохожих не было ни одного равнодушного. Улыбались все. И даже те, кто очень спешил, все равно оглядывались. И тоже улыбались. У меня же от счастья все внутри ну просто ныло, болело и млело. Я не шла — я несла себя, как дорогую вещь. Смотрите, люди! Вот я! Я иду к вам навстречу! О, сколько же я принесу вам радости! О, как я вас всех люблю! Во всех витринах я краем глаза ловила свое отражение. Ну ей-богу, во мне что-то есть — не такое, как у всех. Что, слишком смело? Так почему же все смотрят на меня явно неравнодушно? Оглядываются, улыбаются. Прав папа, прав: «Уметь выделиться — главное у етый профессии. Ну, что она, шавлюжка, вмеить? Да ничегинька. А ты, моя дочурка, усе чисто вмеишь, что хош добьесся!»

На душе и привольно, и весело. Никакой тревоги. Никаких забот. Внутри разливается мелодия. Потихоньку перехожу на деловой шаг. Очевидно, засела обида за харьковский акцент. Это, видишь ли, «чуть ли не катастрофа!» Ах ты боже ж мой! Да одолею, одолею я ваше «акынье» и «ыканье», дорогие товарищи москвичи! А ну, нашу родную, харьковскую! Ну-ка! Три-чичирнадцать:

Видийшлы в нэпамьять дни полону,
Видгулы за обрием бои.
Слався, Харькив, слався, риднэ мисто,
Из руйины вставший назавжды…
Рьям-та-та-та, ха!!!

Ну-ка, ну-ка, где этот сопливый мальчик из поезда? К нему на свидание идет будущая кинозвезда! Пусть зафиксирует в памяти этот момент! Я спускаюсь по эскалатору. Я снисхожу до него. Захочу — могу его узнать. Захочу — могу пройти мимо. Да и какой он? Что-то серенькое, в общих чертах… А люди, люди-то как на меня все, а? Ой, боже, да вот же он стоит с тремя цветочками. Тоже мне, на четыре мама денег не дала! Маменькин сыночек. С торжествующей улыбкой взрослой женщины я ехала прямо на него. Вот уже и проскочила мимо. А он все стоял и смотрел вверх. Вот это да! Не узнал!

«Эй, что ж это вы старых друзей не признаете?»

Он резко и испуганно развернулся на мой вызывающе громкий пассаж. На лице его была такая сияющая, лучезарная улыбка! Но она продержалась лишь одно мгновение и вдруг исчезла. Нет. Не так. Она зажглась и потухла. Это точнее. Улыбка расцвела на его лице и мгновенно умерла. Вот это то, что надо. Это — точно. Никакого промежуточного состояния. Как в песне: «Вот она была — и нету».

«Вы ч-то, меня не признали? Гм… Можеце меня поздр…»

«Па-ааа-че-му-у… у-у-у-зна-а-л…»

Тю, он еще и заикается.

«Позвольце, что это с вами? Ты что, белены объелся, па-аче-му-каешь?»

Он ткнул мне три своих жалких цветочка и мгновенно, не оглядываясь, бросился бегом вверх по эскалатору. Ну? Что вы скажете? Во слабак! Не выдержал. Все ясно — я просто задавила его своей исключительностью.

Когда я добралась до общежития, было уже темно. Я тихо вошла в кухоньку деревянного домика, зажгла тусклую лампочку и взглянула на себя в зеркало. А-а, мамыньки родные. А это кто? Мои щеки пылали, как два огненных мака с малиновым отливом. Один мак — около носа, другой — на скуле. Проклятые румяна имели свойство со временем «проявляться». Мои губы и зубы были одинаково свекольного цвета, а лицо обрамляли четыре ромашки. Слов нет. Нет слов! Бедный мой семнадцатилетний попутчик, как же он бежал от меня! Это сейчас — приди на свидание девушка с бритым черепом, — думаю, юноша и бровью не поведет.

… Как же я возмущалась своей дочерью в период ее так называемого трудного возраста. Забыв что-то дома, я неожиданно вернулась и застала Машу за моим туалетным столиком. На нем она разложила коробки с засохшим театральным гримом, чудом

сохранившимся со времен моего недолгого пребывания в театре «Современник». О-о-о, какое ко мне повернулось лицо! В ожидании сурового наказания на меня смотрела застывшая в ужасе физиономия предводителя индейского племени в самой что ни на есть праздничной боевой раскраске! А я все со своим жалким лепетом: ты должна быть девочкой скромной, у тебя все свое от природы такое прекрасное, Машенька. Никогда ничего не надо разукрашивать. Ну как же ты надеваешь к шелковой юбке с розовыми цветочками красный свитер. Ты еще надень зеленое пальто с красными сапогами! И откуда у тебя это?

… Нет, мне не пятнадцать. Мне уже почти восемнадцать! Я иду по Арбату в зеленом платье, в красных туфлях, с красной сумкой через плечо, с пылающими щеками-маками… Иду и «света божжага не вижу». Рассказывать неудобно, но вспомнить, ах, как приятно.

Я поступила в высшее учебное заведение, на желанный факультет. Это был этап в жизни — событие. В нашей семье никто не имел высшего образования. Я буду жить и учиться в столице — событие. Все испытания я прошла легко, успешно, как только можно было об этом мечтать. Событие? Безусловно! Так почему же я так ясно вижу свое галантерейно-арбатское гуляние, наивное и смешное, несостоявшееся свидание? Те главные вещи свершились и стали фактами. Я приняла их как факты и пошла «дальший». А «дальший» началась работа, шлифовка вкуса, поиски своего стиля, умение найти «среднее арифметическое» между внешним обликом и внутренними бурями. А это длинный, длинный путь. И на этом пути меня ждали провалы, насмешки, удачи. А потом и подражания. Это такой же путь, такая же работа, как и борьба с моим родным харьковским акцентом.

САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ ПОРА

Школа… Родная школа. Самая счастливая пора. Конечно, десять самых беззаботных лет! Беззаботных? А учеба? В нашей семье — четыре поколения. Папа начал учиться в 1905-м, мама — в 192, 4-м, я — в 1943-м, а наша Машенька — в 1966 году. Блестяще по всем предметам училась только моя мама. Неизвестно, как бы сложилась ее жизнь и кем бы она стала, если бы не встреча с папой. Мама всегда с иронией смотрела на нашу троицу — папу, меня и Машеньку — и любила повторять: «Это у вас, милые мои, все от вашего папочки». Это уж точно. Школьная учеба никогда не была нашей стихией. Из четырех лет сельской церковноприходской школы папа вышел в жизнь, зная в общих чертах лишь закон божий и страх перед попом, который хлестал линейкой деревенских ребят, да еще басню Крылова: «Рак пятится назад, а щука тянить в воду… И сквозь зилезо твонять (из кожи лезут вон), а воз усе не тходить…»

— Марк, котик, ты хоть сам понимаешь, что ты несешь?

— Лель, да я и у глаза етый басни не видев. Мы хорум усе за учителькую повторяли… А бог его знаить, што там и як було на самом деле. В нас же книжек не було… И не нада меня, детка, копировать, богум тебя прошу…

Всю жизнь он страстно любил читать сказки. А в молодости «з шахтерскую братвою одолев самую толстую на тое время книгу» — «Американскую трагедию». В старости с рвением читал газеты и журнал «Наука и жизнь», особенно рубрику «Сделай сам». Вот и весь интеллектуальный запас, который пришел со стороны. Остальное — все свое, неповторимое — от природы. Как же он призывал меня «грызть етый проклятый гранит науки». Он как никто знал, как ему не хватало этого в жизни! У меня же к учебе не было особого рвения. И даже при всем моем стремлении выделиться я, как ни странно, не испытывала никакого восторга за полученную пятерку. Училась честно, без взлетов и драм, спотыкалась и поднималась — как все. Только рьяно отсчитывала, когда же кончится последний, десятый класс? И я стану артисткой! Но все же в душе я мучилась и стыдилась, если получала плохую отметку. И вот пришло время: мы все трое — папа, мама и я — вниманием и любовью окружили «нашаго единственного ребенка» — Машеньку. Все десять лет учебы моей дочери я, не подавая вида, ей искренне сочувствовала. В нашей семье Маша — абсолютно инородное существо: черноглазое, с нежно-розовым лицом инфанты восемнадцатого века. Ей бы носить пышные бальные платья с кринолинами, ездить на

светские балы в каретах. Это было просто написано с детства на ее лице. Рядом с ней мы с папой и мамой выглядели милыми сероглазыми русскими крепостными. Но родилась она в двадцатом веке. Так что пляши под дудку своего времени. Учеба — и моя Маша… Тут даже мой папа растерянно разводил руками: «Лель, а можа, бог даст, девычка ще перерастеть, а?» — «Когда же тут перерастать, Марк, котик, ведь уже седьмой класс». Когда открывались тетради и дневники, где стояли жирные отметки, колющие в самую середину родительского сердца, мы переводили испуганный и беспомощный взгляд на это небесное лицо — о, более очаровательного, безмятежного и женственного безразличия нельзя было себе и представить! С каким облегчением мы вздохнули, когда она наконец-то отучилась и, сияющая, принесла нам свой аттестат, в котором мы любовались тремя пятерками: по физкультуре, поведению и гражданской обороне.

Не так давно ей попался мой пожелтевший аттестат зрелости на украинском языке. Смеялась она до слез: «Ну, милые, что ж вы из меня кровь пили все десять лет?! Ты так со мной говорила, мама, я была уверена, что у тебя минимум серебро. Ну, мамочка, ты меня, родненькая, прямо „на лупаты“, прямо „напувал“…»

«Знаешь, Маша, ты не права. Мы ведь все хотели как лучше. Как ты видишь, твоей маме пятерки были не нужны», — теряя юмор, последнее время все чаще и чаще защищала меня мама. Папы уже нет. Жизнерадостная, сильная, дипломатичная мама потихоньку ослабевает, «расходятся швы». Дочь моя медленно, но набирает силы. Сегодня я еще держусь. А завтра? А завтра посмотрим, что будет завтра.

Нет, в жизни самая беспечная и счастливая пора — институт. Не знаю, как бы это объяснил другой человек, с другим характером, а по мне… Никаких домашних заданий на каждый день. Ну никаких! Поначалу я испытывала даже страх: как же это так? Но к таким новшествам привыкаешь моментально. Экзамены — в конце семестра, аж через полгода! Хочешь — конспектируй лекции педагога, а хочешь — не конспектируй. Сиди на занятиях, делай умный вид, преданно глядя преподавателю в глаза, а мыслями лети себе куда хочешь, в любую сторону. И жди занятий по главным предметам. А главное — о, господи, уже радостное возбуждение только от одних названий: танец, занятия по музыке, пению, по технике движения и акробатике, пантомиме и гимнастике, истории советского и зарубежного кино. И еще один предмет — музыка в кино. Нет, вы только вдумайтесь — музыка в кино! А встречи с нашим мастером Сергеем Апполинариевичем Герасимовым по актерскому мастерству! Его лекции — это

каждый раз ожидание события и обязательно новый рывок к освоению профессии. Так разве ж это не самые счастливые годы жизни? Разве ж не счастье все то, что происходило ежедневно? Оно приносило только радость, никакого насилия над собой. С утра я летела в институт и всеобъемлюще, «тотально» ощущала счастье от точно выбранной профессии.

Кино — магия для всех поколений. И как бы порой ни разочаровывали фильмы, ни обманывали надежд зрителей, люди все равно идут в кино. Идут, надеются и ждут. И, несмотря на то что актером, тем более популярным, становится, ох, как далеко не каждый, молодежь идет, валом валит «в кино», в артисты. Спроси молодого человека: кем ты хочешь стать? И каждый третий ответит: «артистом»!

Так разве нам, пятнадцати юношам и девушкам, приехавшим из разных концов страны, не исключительно повезло? О! О-о! И лучше не продолжать. Потому что все мы, пятнадцать человек, приехали с этим восторженным «о!». И оставались с открытым ртом в таком обалдевшем, экзальтированном состоянии довольно долго, пока каждому из нас в очень мягких тонах не намекнули на слабые места. После мы, конечно, протрезвели, замкнулись на своих недугах, сделали вывод и стали работать над собой. Лично у меня было три недуга. Два — как вирусный грипп, который надо обязательно вылежать: ведь знаешь, что грипп в конце концов пройдет, а вот третий недуг — серьезный, затяжной, похожий на тяжелый костный перелом. Об этих недугах я расскажу.

Начали мы с этюдов. Это, конечно, веселенькое время. Пора открытий нашего интеллекта, полета фантазии, вкуса и воспитания, сообразительности и таланта. В этюде никуда не спрячешься. Тут ты «увесь як на ладони». Ты сам автор этюда. Придумывай любой сюжет, если этюд не на заданную тему. И уж тут каждый хотел всех обойти, выделиться, любым способом вызвать реакцию.

Этюд на заданную тему: вы сидите дома и занимаетесь — уроками, рукоделием, ну, словом, чем хотите. Главное, чтобы ваше занятие было вам близко, удобно и привычно. И вдруг из-за угла появляется мышь. Вот и все. Это — условие этюда. Работайте, фантазируйте. Появляется мышь — что тут такого? Ну ведь, ей-богу, это ерунда. Ерунда? О, об этом можно написать целую «Педагогическую поэму» с анализом азов актерского мастерства. А может быть, и не только азов. Студент приехал из дальней деревни. Приняли его в институт за замечательную русскую красоту, за искренний, чистый и открытый взгляд, за красивый голос, за мощное нутро, которое вроде спит, но если его

раскачаешь, попробуй останови! — за весь этот комплекс качеств, которые отличают русского актера от любого другого. Ну и давай занимайся, живи в этюде тем привычным, родным, чем жил у себя дома. Привнеси новое, свое, самобытное. Ничего подобного. Студент обязательно до того, как увидит мышь, сидит в самой изысканной светской позе, которая «вашему кино» и не снилась. Он сидит с усталым лицом давно ничему не удивляющегося человека. Обязательно с книжкой, изящно изогнув руки и оттопырив мизинчик. Как будто у себя в деревне он только и делал, что, удобно развалясь на софе, читал Байрона. А городские… Перед выходом второго действующего лица, «грызуна», исступленно готовили обед или рьяно стирали белье, то и дело откидывая со лба непослушную прядь, мол, ох уж, эта тяжкая женская доля… Как будто в городе только и делали, что занимались стиркой и хозяйством. А сама такая тоненькая, прозрачная, с нежным «тургеневским» лицом, высоким голосом.

Как же мы все хотели продемонстрировать абсолютно противоположное тому, что было нам дано природой! Мы искусственно расширяли диапазон своих данных. Ребята молниеносно вспрыгивали с диванов на шкафы, изображая испуг, думая об эффектном прыжке, и совершенно забывали о мужской выдержке и хладнокровии. А девушки, вооружившись палками и ножами, бесстрашно шли на врага. Инстинкты, эмоции, бешеная молодость перекрывали дремлющий разум. Как, наверное, интересно было за ними наблюдать мудрым и опытным учителям. Они понимали наши запутанные характеры, которые мы сами же запутывали, стремясь скорее стать взрослыми, оригинальными, необыкновенными. В терпеливом ожидании, незаметно, наши учителя потихоньку нас оформляли и шлифовали. И вдруг иногда кого-то из нас немые рамки этюда сковывали, чьему-то темпераменту уже маловато было «ох» или «ах». И тогда вырывалось громкое и грубо-неграмотное: «Ах, мыша!»

Мышь — существительное женского рода, единственного числа, в конце после шипящей — мягкий знак. Примеры: вещь, брешь, речь. Ошибка грубая. И занятия по мастерству делали крутой поворот. Речь уже шла о важном звене в цепи актерского мастерства — об образовании. Мы испуганно притихали. И каждый сосредоточенно думал: сколько его еще впереди ждет проколов. Вот тебе и «мыша».

Так вот, с этими этюдами и связана моя первая неувязочка. Дело в том, что вся предшествующая жизнь ни разу не могла подсказать мне ни одной темы этюда. Нет, в голове сюжетов уйма, но ни один из них не вписывался в свою новую жизненную обстановку. Ну что взять из военного детства? Я была маленькая

и ничего исключительного в своем детстве не видела. Все так росли в войну. Это сейчас, оглядываясь, понимаешь, как это страшно и несправедливо. Дальше. Сюжет из школьной жизни? Что ж это, хочешь быть взрослой и опять превращаешься в ученичка? А еще что? Сцены из фильмов. Копировать других артистов на курсе умели все. Так вот, как задали нам этот этюд с мышью, сидела я ни жива ни мертва — вдруг вызовут на круг продемонстрировать. И это я? Я, которая ничего не боялась, просят не просят — лезла выступать. В чем же тут дело? Мышь… Мышь… Ну как мне ее испугаться? Я их столько перевидела, этих мышей и крыс, — никакого страха у меня перед ними не было, ну никакого. Что мне крысы, а тем более мыши, если мы, харьковские дети, привычно и спокойно проходили мимо обледеневших трупов повешенных, качающихся неделями на ветру? Сделать вид, что обрадовалась мышке-норушке как старому дружку… Скажут, она с приветом. У меня даже родилась отчаянная мысль — привезти с собой в институт в тряпке какого-нибудь огромного кота, и как только мне зададут вопросик: «Ну, а как ваши дела с мышкой?» — «Мои?» — спрошу я интригующе и как швырну кота на середину аудитории — вот это да! Вот это эффект! Но какой же кот будет час добираться на трамвае, а потом тихо сидеть в тряпках в аудитории и ждать своего звездного часа… Этюды меня здорово подкосили. И только один раз счастливый случай принес успех. Тогда уже кончились немые этюды, и мы сами себе писали тексты, придумывали роли. Однажды на уроке Тамара Федоровна Макарова учила нас есть, интеллигентно манипулируя вилкой и ножом. Почти все мы приехали из деревень и провинциальных городов, выросли в лишениях. Думаю, что не во всех домах была обеденная сервировка — ножи, вилки, салфетки и так далее. А жизнь ведь становилась все лучше и лучше. И такой урок для нас был очень кстати. Ну, а лично я была в восторге от этого урока. Всю жизнь я мечтала есть за большим длинным столом. Еще с детства бабушка — мамина мама, Татьяна Ивановна, — рассказывала мне, как они с дедушкой вдвоем обедали за большим столом, отдельно от детей, как за ними красиво ухаживала прислуга. За столом они обсуждали «планы и бюджет семьи». А в конце обеда обязательно «самоварчик, булочки, бараночки, чаек, сахарок». Но все это слова, теория. Одно дело — слышать, другое — увидеть. И вот я прямо заболела «большим столом» после того, как увидела в одном фильме: «он», в смокинге, с бабочкой, сидит на одном конце стола, «она», в белой пене кружев, метра на три от него, на другом конце. Они переговариваются о том о сем, и так незаметненько в левой ручке — вилочка, в правой — ножичек. И

этих вилочек — сразу несколько штучек, и ножичек тоже не один. Интересно, зачем им двоим столько вилок и ножей? Ведь этого хватило бы на большую семью. У нас в доме я всегда помню один нож и три вилки. И только, кажется, на день рождения папы, когда я была в десятом классе, сотрудники Дворца пионеров подарили нам набор мельхиоровых вилок и ножей. В то время только стали появляться послевоенные мельхиоровые наборы.

Так вот, мы со студенткой Дашей Смирновой, которая очень удачно снялась в фильме «Иван Бровкин», придумали этюд — непринужденная беседа за завтраком. Я должна сказать, что мы работали приборами так сосредоточенно и так правдиво разжевывали хрустящую капусту, что напрочь забыли о написанных репликах и выпаливали из себя что-то такое, что вызывало веселую реакцию. Наш этюд имел успех. Вот тогда бы и сделать вывод, что в кадре самое главное — физическое, целеустремленное действие. А слова сами лягут органично и легко. Но…

И еще был один прокол. На сей раз по общеобразовательному предмету. Тамара Федоровна однажды заметила мне, что я часто морщу гармошкой лоб и хорошо бы за этим следить. Я приобрела маленькое зеркальце и ежеминутно проверяла состояние своего лба. «Ты знаешь, как только у нас в университете прошла первая лекция по политэкономии, — писала мне самая близкая харьковская школьная подруга, — я тут же подумала про тебя. Постарайся не нервничать. Я тебя знаю. Ты сразу ничего не разберешь, но не паникуй. Все постепенно…» Ах, как же хорошо она меня знала. После первой же лекции по политэкономии я взглянула на свой лоб — на нем образовалась такая «трехрядка», что не загладишь ее, не зашлепаешь. Политэкономия… Политика и экономия… Как мне совместить эти два понятия? Что такое для меня тогда, в семнадцать лет, означала политика? Это — папа, который защищал нас от фашистов, чтобы наша страна победила. И еще я знала, что есть война холодная. Война — это ужасно. Но при холодной хоть как-то, но можно жить. А при войне горячей — умираешь. Дальше. Экономия. Экономия — это мама, у которой находились все семейные деньги. Она должна была их экономить на черный день. У меня все логично сходилось: на случай политического бедствия — экономия тут как тут. Но то, что я услышала на первой же лекции… Я была просто потрясена обилием терминов, каждый из которых в отдельности я должна была расшифровывать с помощью словаря. Это непонимание нового языка меня жутко унижало, подчеркивало ограниченность моих возможностей. А ведь, казалось, все при мне: руки, ноги, голова, интуиция, хватка, умишко… То-то и оно, что умишко. Не

схватить умишком этого нового языка. Я отдавала себе ясный отчет — в глазах милого, доброго, сверхумного преподавателя я выгляжу полной идиоткой. Какое у него в глазах было сопереживание! Однажды он меня оставил после лекции: «Может, я могу вам как-то помочь? Вам нужно вытянуть хотя бы на тройку». Я так искренне расплакалась. Просто от его доброты. Он понял мою неприспособленность к такому роду мышления, и терпеливо, простыми словами, как на пальцах, объяснил общие, главные положения этого предмета. И, представьте себе, я потихоньку стала «чуковнеть». Эх, папочка, миленький, это точно — «жисть есть борьба».

Первые учебные съемки. У меня их было мало, но присутствовать, наблюдать мне очень нравилось. Все так интересно, так ново. Одному студенту на крупном плане никак не удавалось заплакать. Режиссер, тоже студент, и уговаривал его, и покрикивал, и сам плакал. А у актера — пусто, нет ничего того самого, нужного. Подходит к актеру оператор, тоже студент, близко подносит к лицу экспонометр, вдруг актер засуетился, испуганно отшатнулся от этого маленького черного прибора: «Вы что, ребята, зачем же так? Не надо, не надо, я сейчас и без него, без этого. Не подносите мне эту штучку… Все, все, я уже сейчас — давайте, я…» «Мотор!» — и слезы не заблестели, а градом полились по щекам. В этих «слезах» самое интересное — таинство актерской природы. Ведь никакими силами молодой человек не мог прийти в нужное состояние. И вдруг от черного приборчика все произошло. Как в анекдоте. Но эта история не из области анекдотов. Она куда сложнее. Все это время непрофессиональный актерский организм болел, соображал, метался, как в бреду. Ну как же мне, здоровому, девятнадцатилетнему, веселому, беззаботному детине, на глазах у всех перестроиться и… это… такое говорили слово… А! «Перевоплотиться и заиграть!» Да сразу попасть в пик, в слезы — настоящие, мужские и искренние. Все, что проделывал с ним режиссер, проникало в его актерский организм еще бессознательно. Режиссер его разминал, месил, топтал, готовил. И вдруг этот черный маленький аппарат в руке оператора сыграл роль катализатора и ударил по сознанию. «Неужели я такой тупой, такой бездарный? Мне уже помогают каким-то прибором. Ага, вот они уже все сговорились. Точно, говорят, в кино всякие махинации с артистами проделывают. Ребята, милые, стойте — я же хороший артист! Я вам сейчас без всяких ваших штучек докажу!» И доказал. Только тогда он еще не осознавал, что это режиссер ему помог. Режиссер его размял, разогрел, подготовил. Это через время актер будет самостоятельно готовить свой организм к таким важным,

сложным сценам. Он будет мучить сам себя, теребить всех вокруг, не спать ночами, а потом: «Мотор!» — и потекут самые счастливые минуты. И… головокружительная пустота от полнейшей потери сил, как, наверное, бывает после восьми раундов в боксе.

Как мы мечтали сниматься! С какой надеждой смотрели в глаза ассистентам режиссера, которые появлялись у нас на этаже. Сейчас это явление частое. В наше время снималось не много картин. А молодость более раннего поколения прошла вообще в безнадежном и мучительном периоде малокартинья.

С какой бело-розовой завистью я смотрела на молодую актрису Аллу Ларионову, о которой говорила вся страна! В десятом классе мы восхищались ее ролью в фильме-былине «Садко».

«Где тебя найти, красавица?» — спрашивал Садко. И мы, девочки, красивым, грудным голосом Аллы Ларионовой отвечали: «Коль захочешь — найдешь». И вдруг фильм «Анна на шее». Успех колоссальный! У всех на языке ее имя. Все в восторге! И вот уже пошли небылицы, легенды. Вот она уже погибла. И мне из Харькова: «Узнай, сообщи, весь Харьков на ногах!» Фильм «Анна на шее» принес ей фантастическую популярность, всеобщее восхищение и любовь. Я была свидетельницей всего лишь нескольких актерских судеб с таким феноменальным взрывом популярности. Алла Ларионова… Волнующий голос, умение быть мягкой и обаятельной. Умение быть на экране естественной. Это так редко. Бывает актриса красива, но лучше бы молчала и только улыбалась. А бывает, лицо красивое, а улыбка противопоказана. В Алле Ларионовой было все. Тогда, будучи студенткой, я еще не знала, что пройдет время, и мы будем работать вместе в концертах, ездить по стране. Я узнаю и полюблю ее как очаровательного и доброжелательнейшего человека, от души радующегося успеху своего коллеги. А это качество совсем бесценное.

Во время ее успеха в фильме «Анна на шее» я была зрителем. Я видела только внешнюю, блестящую сторону успеха — поклонение, цветы, аплодисменты, «охи» и «ахи». Я была среди тех, кто видел только то, что видно. И не предполагала, не представляла ни с какой стороны, что ровно через три года сама окажусь в эпицентре успеха. Но уже не как зритель. А как виновник этого круговорота, этой карусели. Увижу и почувствую все изнутри. Но впереди еще три года.

А сейчас я существую в прекрасной, самой счастливой и беззаботной студенческой поре. Наверное, истинное, скрытое счастье таилось еще и в такой преходящей шутке, как молодость.

Когда живешь только будущим. И мы шли дорогами, которыми никогда не предполагали идти.

Все «прэкрасно»! Если бы не та моя самая затянувшаяся болезнь — безуспешная борьба с харьковским акцентом. С утра до вечера я редуцировала все слова в предложениях, с утра до вечера сидела наедине со своими упражнениями и смотрела на них с мольбою и отчаянием: «Ну, ларчик, ну, откройся, миленький, скажи, в чем твой секрет?» И в отчаянии сотый раз бубнила:

На мели мы лениво налима ловили,
Для меня мы ловили линя.
О любви не меня ли вы мило молили
И в туманы лимана манили меня!

И так десятки раз. Кто, кого, куда манил? И сюжета не понимаешь. И никаких тебе видений, картинок, сценок. Хотя, казалось бы, и лиман, и Лини, и любовь, и туман… Но ничего. Сплошная долбежка. Тупое, бездарное, безнадежное занятие.

Дольше всех на курсе я боролась со своим акцентом. Ну что ж, харьковское — значит, отличное! Отличное от всего остального. Потихоньку в роли я научилась избавляться от этого говорка. Сейчас, если очень захочу, в общем, могу обмануть и в роли, и в быту. Но в роли — это в роли. А в быту не делаю этого. Так бывает: набегаешься за день, и вдруг телефонный звонок. Звонок — это всегда напряжение, всегда неизвестность, потому спрашиваешь отрывисто и сухо: «Да, алло!» И в ответ: «Адну минута-ачку, эта Люда-ачка? Эта Ала-ачка. Прывет с Харькова. Как там твои Марк Гаврылович и тетя Леля?…»

ЛЕНИНГРАД

На втором курсе института мы играли советскую и русскую классику. Наш мастер Сергей Апполинариевич Герасимов начинал снимать свой фильм о целине «Надежда», в котором главную роль исполняла наша сокурсница Зинаида Кириенко. Весь курс на лето уехал в экспедицию на целину. Я осталась в Москве. Ничего в фильме о целине для меня не предполагалось. В то же лето снималась учебная работа по рассказу Чехова «Враги». Женскую роль мои педагоги предназначали для меня, и, обеспечив своих учеников работой, с чистым сердцем уехали на целину. На фото— и кинопробах я держалась как царица, едва шевелила головой. Но я оказалась слишком молодой для этой роли. В последний момент пригласили на мою законную роль профессиональную актрису. Кажется, это был единственный случай в моей жизни, когда не снимали по причине слишком уж молодого возраста. И все же была еще одна. Причина все в той же моей ограниченной провинциальности, когда «все знаем, все можем, и не такое видели». На втором курсе я и сама стала чувствовать в себе раздражающую провинциальную манерность, неестественность. Ах, как важно, как важно это вовремя понять! Когда я «выделялась», я читала в глазах умных людей, что они терпят мой дурной любительский спектакль. Они отводили взгляды, а меня это еще пуще заводило. Взлетала еще выше, до запретной планки позерства и «перевоплощений», как «звезда домашнего разлива», учившаяся на плохих образцах. Сейчас я это так ясно вижу, что даже плакать хочется. Ведь расставаясь с этим набором запретных штучек, я расставалась с юностью.

Мои педагоги вели меня точной дорогой. И потому моей первой ролью была Елена из романа Тургенева «Накануне». Типаж мой был неясным, расплывчатым. Вроде «все можем», но ничего конкретного. Несмотря на свое хрупкое тело, менее всего я напоминала тургеневскую девушку, хотя в глубине души я была чистым, цельным и, к сожалению, гипертрофированно-ранимым человеком. Наверное, так складывалась моя предыдущая жизнь, и вырабатывались черты, внешние проявления, не свойственные мне, но защищающие от внешних ударов. Помучалась я с этой «Еленушкой», но она мне многое открыла в себе же самой.

Ну, а что же делать дальше? Готовить себя к музыкально-развлекательным ролям? Пожалуйста, готовь, мечтай. Только ролей таких нет. И фильмов таких не предвидится. Я уже отвыступала в институтских самодеятельных вечерах с аккордеоном, где вместе с молодым Юрием Чулюкиным и

Евгением Кареловым на музыку Дунаевского из «Цирка» пели: «Спят режиссеры, спят сценаристы… Все они спать должны, но не на работе!» Вот так в нескольких строчках охарактеризован весь тот период малокартинья. Теперь мой аккордеончик вместе с розовыми детскими мечтами тихо лежал в своем коленкоровом футляре, надежно прошитом дратвой моим папой. Реальность диктовала другое поведение, другие мечты. Я стала заметно меньше обезьянничать, пародировать. И книги появились в руках посолиднее. Кончились романчики и детективы. Внутренний инстинкт подсказывал: хочешь жить по-новому — измени образ мыслей, интересов и увлечений. Так я и поступила.

Но в драматических отрывках я не была так выразительна, как в своем излюбленном музыкальном, жизнерадостном жанре. Да и внешность моя требовала тщательной режиссуры, обработки. Трудно было поверить, что девица с беспечным пухленьким лицом может убедить зрителя в правдивости какого-нибудь важного драматического события. Я экспериментировала. Хотелось быть и необыкновенной, потрясающе изысканной и в то же время милой, очаровательной и простой. Вот попробуй соедини это! Приплетную косу я устраивала на затылке то «бубликом», то «восьмеркой», то «авоськой». Лоб открытый и большой — значит, умный. Ума стесняться не будем. Лоб Софьи Ковалевской, а математики — не дураки. Открытый лоб придает драматичность и весомость. Значит: лоб драматический, походка плавная, без виляний, тугой узел волос на затылке, одежда исключительно в строгих тонах! Зеленого ни-ни. Красного чтоб и духу не было! Должна была получиться в моем воображении… как бы это определить… «юная дама», вот! Нет, нет, не молодая женщина, а именно юная дама. Чувствуете разницу?

Заканчивался второй год обучения, а я, единственная на нашем курсе, еще ни разу не стояла на настоящей съемочной площадке. Тамара Федоровна Макарова чувствовала во мне приливы грусти, желание сниматься. Ко мне она всегда относилась с тонким пониманием моего внутреннего хаоса и с верой, что я найду, обязательно найду себя. И когда она стала сниматься в главной роли на студии «Ленфильм» в фильме «Дорога правды», вот тут-то она мне и подсмотрела роль. Агитатор Люся, и возраст мой — 18 лет. Характер решительный, горячий. На экране три небольших появления.

«Красная стрела», Москва-Ленинград. Наступил решающий момент в моей студенческой актерской жизни: я еду в Ленинград! На студию «Ленфильм». В первую картину «Дорога правды». В первую свою роль на экране!

Ехала в купе одна. Вот обида, даже не с кем поговорить о

«кинематографических проблемах». Тогда еще не было такого дорожного ажиотажа. Вагоны мчались в Ленинград полупустые. И нас, даже самых начинающих артистов, размещали в знаменитые ленинградские гостиницы. У вагона меня встретила девушка-помреж: «Вы из ВГИКа? Мы Вас поместим в отеле „Европейская“. Вы не против?» — «О-о, милая, это прэлестно!» — ответила я так, точно всю жизнь останавливалась в «Метрополях», «Савоях», «Националях» и «Грандотелях».

Ах, «Европейская»… Как я запомнила и полюбила твой пыльный запах прошлых веков, в который победоносно врывался современный аромат розового земляничного мыла!

«Встретим», «поместим», «отель», «машина», «помреж»… Что особенного в этих словах? Глаголы и существительные. Но какими же глаголами и существительными можно выразить состояние восторга моей души? Все, все, ну абсолютно все — в первый раз!

Глядя со стороны на гостиницу с таким названием, трудно представить, что в ее бесчисленных коридорах прячутся такие номера, как тот мой, самый первый: кровать, стол, стул, чемодан, помреж и я. И желательно без перемещений. «Простите, что номерок такой скромный, без удобств…» Хе-хе, да разве меня можно было огорчить «туалетом во дворе»? «Знаете, здесь как-то один раз жила Аллочка Ларионова. Вот… Ну, тогда, правда, она только начинала». У-у, после этого сообщения меня и клещами нельзя было вытащить из моего уютного номерка. По совету помрежа завтрак я заказала прямо в номер. По телефону!

«Омлет, ветчина, яйцо всмятку, яйцо по-английски, сыр, масло, кофе, шоколад, чай? А может, вы желаете завтрак „Континенталь“? Так что же? Слушаю Вас!»

«Зна-чит… все хочу, несите все!» Вот чудеса! Вот она, настоящая жизнь актрисы! На столе у меня поднос с чашечками, кувшинчиками и молочниками. Одна в номере — сама себе хозяйка! А завтра иду на съемку!! Хэ, если бы ты, мой папочка, смог сейчас хоть одним глазком взглянуть на свою дочурку! Завтра же полетит в Харьков длиннющее письмо со всеми подробностями. Да, жизнь «прэкрасна»!

…Не так давно я играла эпизод на «Ленфильме». В Москве, на Ленинградском вокзале, посчастливилось схватить билет на «Стрелу». Влетела в купе. Тут же на бочок, чтобы не начались разговоры о «кинематографических проблемах». Спать. Отсняться нужно за один день. Наутро из вагонов выходили невыспавшиеся артисты. Нас встретили помрежи из разных групп, посадили в один большой автобус и развезли по гостиницам. Между приходом «Стрелы» и началом моей съемки — два часа. Именно

то время, которое необходимо, чтобы привести себя в порядок. Кто-то не позвонил администратору гостиницы или позвонил слишком поздно. В подробности не вхожу, но номера пока нет. Хочешь выжить — умей терпеть. Села в уголочек и жду. Новое здание гостиницы уходит в небо, а номеров не хватает. Где там, в каком окошечке меня ждет покой? Ждать и, терпеть я могу теперь бесконечно. Приходишь со съемки в гостиницу: обед в номер — «не положено», ресторан переполнен. Идешь в буфет. Стоишь в длинной очереди. На лице темные очки, чтобы не узнали, — нет сил улыбаться, отвечать, рассказывать — нестерпимо хочется есть…

…"Я не затем пришла сюда, чтобы молчать!" — оказывается, это была моя первая фраза в кино. Об этом мне сказал журналист Валерий Кичин, который недавно посмотрел картину «Дорога правды». Интересно. Именно этого я и хотела — прийти в кино, чтобы не молчать, не плыть по течению, а самой создавать волну. Идти по узкой, непроторенной тропинке, а не по широкой дороге, проложенной кем-то ранее. Но это я сейчас так говорю. Тогда же все эти «умные» слова вмещались в одно емкое образное папино слово — «выделиться»!

Тогда я все еще была в папином плену. И даже во время съемки, когда решительно хватила линейкой об стол, я слышала: «Молодец, дочурка, боевито!» Папа и мама смотрели «Дорогу правды» десять раз. Эта небольшая роль была для моих родителей — радость «агромадная». Они этого не понимали, но думаю, что они уже никогда не были счастливы так, как после того, первого, появления их «дочурки» на большом харьковском экране, да еще лучшего кинотеатра, который стоит на самой главной улице города.

…Здание «Ленфильма» ничем не напоминает киностудию. Здание приспособлено под студию. Постепенно, за счет маленьких комнат, укрупнялись и увеличивались помещения. Как приедешь на студию, обязательно ремонт. Строят что-то новое. Смотришь, а вход уже с другой стороны. И в тех маленьких комнатках с нами знакомились и репетировали большие режиссеры. Там встречали молодого актера душевно, гостеприимно. А главное, с интересом к твоей особе. Это были комнатки «ленфильмовские». И таких больше не было ни на одной студии. На том месте, где теперь в коридоре стенд «Лучшие люди нашей студии», была большая гримерная. Если съемка была утренней, за окнами гримерной было темно и морозно. А в самой гримерной светло-светло. И очень тепло. Столы заставлены флакончиками, тюбиками, пузырьками. Звучали непривычные слова: тон, шиньон, андульсьон, лак-

сандарак. А сколько зеркал! Изучай себя со всех сторон — рассматривай хоть свой профиль, хоть смотри в свой собственный затылок. У каждого гримера свой столик, свое хозяйство. По тому, как убран стол, что на нем стоит, многое угадаешь о мастере-гримере, еще не зная его. Это все равно как хозяйка в доме — талантливая или бездарная. В этой большой гримерной я видела рождение актрисы Ии Саввиной. Ей искали грим. Лично меня искренне огорчило, что такую неприметную девушку берут на «даму». Ничего «дамистого» в ней и в помине не было. Она ни с какой стороны не походила на тех «звезд», в которых я видела свой идеал. А дяденька-гример, такой красивый, солидный — Василий Петрович Ульянов, царство ему небесное, — так суетился вокруг этой неприметной девушки! Улыбался и с такой любовью горячими щипцами выкладывал на ее пепельных волосах волны, андульсьоны, завиточки… И — как чудо — лицо девушки преображалось. Становилось изумительно загадочным, притягательным, чувственным. И в то же время милым и простым. Ой, да вот же она, вот она — «юная дама»! Вот же оно — редчайшее сочетание!

Тогда же, возвращаясь в Москву, мы как-то оказались с Саввиной в одном купе. В ту ночь Саввина обрушила на меня лавину неведомых мне стихов. Меня поразила тонкая игра ее ума, личные, своеобразные суждения о самых, казалось бы, обыкновенных вещах. Я не успевала передохнуть, а она все наваливала и наваливала. Ну, думаю, умная, ну потрясающая, ну Софья Ковалевская! Со временем и видишь, и оцениваешь все по-другому и заново. Действительно, Ия Саввина абсолютно лишена всех внешних признаков «артистического». Она — из редких актрис, умеющих почти не меняя облика, стать изнутри другим человеком. Ее покой — это кажущийся покой. Он волнует, он берет за душу. А ее голос! Сколько в нем тайного, женского. Я вас люблю, «юная дама» моей мечты, актриса, женщина и неожиданный человек.

…После сильного обезболивающего снотворного я с трудом приоткрыла глаза. Но мне казалось, что я еще сплю и мне снится новый сон. Три месяца я просыпалась и видела одни и те же обои с голубыми цветочками. А это мгновенное видение, как вспышка, было из чего-то, увиденного в кино. Кино… Кино… Конечно, кино! Это видение из кино, только в кино оно ярче. Я уже не сплю. Я вспоминаю. Но лежу с закрытыми глазами. Узнала. Когда это было? В 1959 — 1960-м?.. Нет, с той самой «Стрелы» мы ни разу не общались. Сейчас август 1976 года. «Здравствуйте, Ия». — «Моя хорошая, вот ты и проснулась». Я залилась краской, защипало в носу, и вдруг, до хрипоты, именно ей захотелось

пожаловаться, признаться, что я жутко боюсь еще одной операции. И даже не операции, а наркоза. Вместе с наркозом внутри разливается что-то черное, вязкое, медленно затягивает в мрачный склеп. Я все это чувствую, но сознания не теряю. Все вокруг в белом, говорят шепотом, перетирают спиртом свои дрели и отвертки. И дожидаются, когда же наркоз в конце концов начнет действовать. И я тоже — лежу на операционном столе под белой простыней в полном сознании, дожидаюсь, когда же оно от меня улетит. «Товарищи, пожалуйста, не шепчите, говорите нормально. Я ведь все слышу. Я жива, понимаете, я еще жива.»

«Не смогу выдержать еще раз. Помогите мне, Ия, поговорите с ними… Пусть под местным, пусть как угодно, только чтоб сознание, сознание…»

Что такое настоящий артист? — спрашивают зрители. Когда настоящий артист играет шахтера, агронома, учителя, об этой профессии он знает все! «Каждый день доктора Калинниковой». В этом фильме Саввина сыграла врача, прообразом которого был легендарный Гавриил Илизаров. В разговоре с моим врачом она так профессионально жонглировала терминологией: перелом многооскольчатый… винтообразный… да-да, металлоостесинтез… И можно было не сомневаться, что эта актриса про травмы и переломы знает все. В профессии врача она прошла через многое, чтобы на экране не обмануть. Дорогая Ия, мы опять не видимся в нашей суете. Но когда я теряю веру в людей, ты меня заставляешь сказать: остановись в озлоблении. Есть, есть, есть люди. Люди есть! Знаешь, и тогда ты заставила меня открыть тайные шлюзы сил и терпения, неведомые мне самой. И я выдержала тот страх еще раз.

Закономерно и естественно, что именно в Ленинграде я тебя увидела впервые. Работникам этой студии свойственны такт, человечность и интеллигентность, которые вообще отличают настоящего ленинградца. На этой студии прошла большая часть моей жизни в кино. И здесь обо мне знают все. С первых шагов до сегодняшнего дня. Именно Ленинград вспоминал обо мне и вытаскивал меня на свет — не важно, в какой роли, когда казалось, что все уже забыли о моем существовании. Именно «Лен-фильм», как бы почуяв, что я уже вот-вот созрею для нового прыжка, вызывал меня на пробы в интересные, крупные роли, и хоть я порой проваливалась, все равно вызывал и вызывал… и пусть эти роли сыграли другие актрисы, но что-то внутри меня предсказывало: ведь недаром, недаром «Ленфильм» беспокоится обо мне. Стать чемпионом через десяток с лишним лет ни одному спортсмену еще не удавалось. В нашей профессии приобрести «второе дыхание» — это тоже явление не частое, но самое

интересное. Это то время, когда мозг, инстинкты, опыт, терпение и выдержка находятся в полном ладу друг с другом. И подчиняются главной силе — осознанному профессионализму. И ни одна из этих гаек не выскочит и не подведет. Здесь уже «главное, дочурка, береги здоровье, а все остальное приложится». В тот период удачных и неудачных кинопроб еще не было смелого человека, который взял бы на себя ответственность за мое «второе дыхание». Но именно на «Ленфильме» он найдется. Он найдется, и я вздохну «второй раз» в роли директора текстильной фабрики. Но об этом впереди. Все главное, первое, произошло в Ленинграде. И потому в ленинградском Доме кино, через двадцать с лишним лет после моего первого выхода на съемочную площадку «Ленфильма», на премьере картины московской студии «Пять вечеров» режиссер Никита Михалков поставит эксперимент: «Мне бы хотелось уйти от традиции самому представлять свой фильм. Я хочу передать слово, вернее, попросить представить группу и фильм актрису, для которой Ленинград, студия „Ленфильм“… да она сама скажет…» Вот Никита, он всегда так. С ним всегда надо быть начеку. Я даже вздрогнула, из-за чего многие решили, что мы договорились. Ничего подобного. Я вышла на сцену к микрофону. В душе у меня был тот прекрасный и зрелый покой, когда чувствуешь, что любишь по-настоящему. И однажды. Дважды так любить невозможно. Я посмотрела в зал. Все родные, все близкие, все мои. Вот вы и постарели рядом со мной. Вам тогда было столько, сколько мне сейчас. А помните, как я крутилась, вертелась, шумела… «выделялась»… Только бы не расслабиться и не потерять чувство юмора. Их ждет грустная картина «Пять вечеров». Надо сказать что-то несентиментальное. Придумать что-то с юмором, с самоиронией… И немного. Лучше одно. Такое одно, что конкретно и емко расскажет о моей связи с Ленинградом. И сразу представить группу. О себе одну фразу. Одну. Репризную. Чтобы все улыбались. А еще лучше аплодисменты. Но какую? Ну, ну… О, уже что-то крутится, вот-вот… А-ай, будь что будет! «Здравствуй, мой любимый, родной Ленинград! Колыбель революции и моя!»

ВЕЛИКИЙ АРТИСТ

С третьего курса педагогом по речи у нас стала Марина Петровна Ханова. Она прекрасно слышала мой говорок, но как бы не замечала его. Я все жду, когда же она скажет: «Ну что там с вашим гыва-а-рком?» А она молчит и как ни в чем не бывало продолжает урок. Новый педагог нашла нужный ключик. И я еще усиленнее стала работать над своей речью. В короткое время сделала существенный скачок и на экзамене читала рассказ Чехова «Муж». Из этого я сделала вывод: если человек сам понимает свой недостаток и находится на верном пути к его устранению, лучше его не тыркать и не унижать. Лучше «добром, верою и ласкою».

Третий курс — зарубежная классика. Я удобно чувствовала себя в драматических ролях Шиллера, Мериме, Драйзера. Я образовывалась и отесывалась. Все мы росли и менялись. На нашем курсе было несколько талантливых актрис. Я их сразу отметила, еще на приемных экзаменах. Валя Пугачева. Девушка с черной косой, сияющими карими глазами и с таким здоровым румянцем, что щеки на ее смуглом лице казались бордовыми. Мимо нее нельзя было пройти спокойно. Прирожденная Аксинья. Конечно же, она должна была ее играть в фильме. И сыграла бы роль с таким же блеском, как и на курсе, но… Это вечное «но»! Но тогда для Аксиньи она была еще слишком молода. Она успешно дебютировала в фильме «Весна на Заречной улице».

Валя Хмара. Очаровательная и очень тонкая актриса. Наверное, в театре она сделала бы куда больше. Но несколько ее работ на экране замечательны. В фильме «Жажда» она сыграла одну из лучших своих ролей.

По-разному сложились актерские судьбы моих сокурсниц. Но самой мощной из всех — и это было видно невооруженным глазом — была Зина Кириенко. Она прирожденная драматическая актриса. Ее лицо совершенно во всех ракурсах. Никаких изъянов. Такому лицу «большое плавание». Так и случилось. Зинаида Кириенко — одна из ведущих актрис нашего кино. Актриса со стихийным нутром истинно большой актрисы. Но что делает природа! Тонкое, неземное лицо как бы качается на длинной-длинной лебединой шейке. И эта лебяжья шейка вливается в широкие и могучие плечи донской казачки! А? Загадочная русская природа. В Зине удивительно гармонично совмещается абсолютно несовместимое. Не могу себе представить, что Михаил Шолохов написал Наталью, не будучи знаком с Кириенко. Недавно Михаил Ульянов по радио читал главы из «Тихого Дона».

Я видела только Зину. А если бы зрители могли ее увидеть во вгиковских ролях! Мы смотрели на нее, открыв рот, забыв обо всем на свете. От ее лица, освещенного тусклыми студенческими «бебиками», исходило сияние небесной красоты. Это одно из моих сильных институтских впечатлений. Вот она в роли Коломбы Мериме, в драматическом всплеске падает на студенческой площадке у наших ног… Мы близко-близко видим ее лицо. Оно спокойно и трагически прекрасно. «Это же „Венера“ Джорджоне, сама „Венера“, — шепчет Сергей Апполинариевич на ухо Тамаре Федоровне. Зина — Наталья — Венера».

После экзаменов по мастерству о нас расходился слух. И на этажах все чаще появлялись ассистенты режиссеров в поисках молодых талантов. И у меня сразу же после первой картины «Дорога правды» последовала вторая. Я была здорово разочарована, когда впервые увидела себя на экране. И во втором фильме я была уже блондинкой. Как же это не воспользоваться таким чудодейственным средством? Р-раз — и другой человек. Если бы я остановилась перед таким искушением, это была бы не я. И, конечно, я не остановилась.

На занятиях зоркий глаз нашего мастера беспощадно замечал малейшие детали. А уж такие метаморфозы! Когда же мы подводили его, Сергей Апполинариевич легко нас отрезвлял. Он не читал нравоучений, просто в его словах, интонации появлялась обаятельная едкая ирония: «Одна завивает голову, ей бы, к слову сказать, не завивать голову, а развивать… Другая, понимаешь, знаш-кать, из рыжей стала черно-бурой». О! Это про меня, Сергей Апполинариевич, ну что же делать, я же ищу, я же вырабатываю свой стиль!

В новом фильме цвет волос не имел значения. Скорее наоборот. Мне желательно было оставаться прежней, естественной. Роль хоть и небольшая, но по-настоящему драматическая. Фильм об операции на лице. Эту операцию делают моему родному, любимому брату. Снимался фильм как «Доктор Голубев», а на экраны вышел под названием «Сердце бьется вновь». Доктора Голубева играл молодой Слава Тихонов. Он для всех был еще Славой. Теперь даже как-то неудобно называть его этим мальчишеским именем. Но тогда у него еще не было такой широкой популярности. Он был молод и так красив, что все женщины были в него влюблены. И я, разумеется, в первых рядах. Моя роль состояла в том, чтобы с неослабевающим драматизмом, в течение всей картины, считать вслух биение пульса, количество секунд, минут — страдать и крепиться. Вокруг снимались знаменитые артисты, которых я в детстве видела на экране. Я их стеснялась, не «выделялась», а только с огромным

любопытством всматривалась в их поведение перед камерой, слушала актерские истории.

Снимал этот фильм режиссер Абрам Матвеевич Роом. Он мне тогда уже казался очень стареньким. Но после того «Сердца» Абрам Матвеевич еще много сделал и все оставался таким же стареньким, седеньким, с длинными волосиками до плеч и в неизменном сереньком пиджаке. На съемке он пребывал в оригинальном «публичном одиночестве». Он видел то, что никто не видел. Слышал то, чего никто не слышал. Перед командой «Мотор!» он блаженно закрывал глаза, разворачивался спиной к съемочной площадке и дубль воспринимал на слух. В павильоне он беспощадно требовал полнейшей тишины. И в этой тишине раздавался его осипший голос с грассирующим "р": «Та-ак… пошла музыка, му-у-зы-ка… скри-и-ипки, скри-и-ипки… во-т, во-т, она звучит, громко, еще громче, гро-о-омче… Ну! Мо-то-о-о-ор!» И после этого в мертвой тишине торжественно звучал красивый голос маминого любимого артиста Андрея Абрикосова: «Внимание, ввожу палец в сердце, чувствую тромб». В начале съемок после команды «Мотор!» я прыскала от смеха. Но после нескольких «вливаний» успокоилась, осознала, привыкла и полюбила этого «вечно старенького» режиссера с талантливыми странностями. Но вот что меня убивало «напувал»: как это он, не глядя на нас, по слуху, безошибочно отбирал тот, лучший дубль? Как будто он имел еще одну пару глаз на затылке. Сниматься у Абрама Матвеевича Роома мне не пришлось. Но с тех пор я как-то интуитивно стала внимательнее вслушиваться в интонации партнера, в паузы. В диалоге училась принимать реплику и парировать ее, наступать и вовремя отступать. Училась работать параллельно с партнером, не тараща на него глаза, слушая, чувствуя и понимая партнера «спиной». Как Абрам Матвеевич Роом.

…С площади Маяковского я переехала в новое общежитие. Было лето 1956 года. Студенты разъехались на каникулы, и в общежитии было пусто. Вот закончу озвучание фильма «Сердце бьется вновь» и тоже поеду к родителям в Харьков. Как мне тяжело одной без них! Сколькому пришлось научиться. А сколько ошибок совершить из-за моей излишней открытости, порой неуместной доброты! Люди могли получить все что угодно, стоило им только захотеть. Чувствую, что кто-то страдает, я сразу теряла свой не очень-то стойкий душевный покой. И тогда была способна на все. Момент проходил, моя помощь уже была не нужна. А я все так и оставалась стоять со своей готовностью, с простертыми руками. Очень, очень много от папы! Но ведь с ним рядом всегда была мама. Всю жизнь во мне сражаются две

половины: папины эмоции, невыдержанность, заносы и мамина разумная голова, чувство меры. Но побеждает папа. А значит, очередная ошибка. Сколько раз в самых важных, ответственных жизненных моментах чувствую, что начинает заносить, — пора остановиться. И мамина половина шепчет: хватит, пора, делай паузу, ну же!.. И откуда ни возьмись вязкая эмоциональная волна заливает рациональную половину: ну что вы думаете, мы больше ничего не можем? Да это только начало. А ну «вдарь», дочурчинка, як следуить быть!" И все. И теряю. Целиком меня принимают не все. Ну что ж…

Весной 1956 года у меня была кинопроба в музыкальной картине, в роли, о которой я мечтала с детства. Но, как я ни старалась, как я ни мечтала и ни хотела, этого оказалось слишком мало. Эти детские восторженные прыжки — «ах, хочу», «ах, мечтаю», «ах, не могу жить без…» — все это пустой звук.

Актрисы, которые пробовались на роль, сами не пели, а открывали рот под чужую фонограмму. Я пела сама. Это было единственным, что выгодно отличало мою пробу. Но в те времена главным все же была внешность актрисы. Меня плохо снял оператор, кажется, начинающий. А ведь это жанр, где не только актеру нужна музыкальность, ощущение пластики и понимание особой жанровой красоты музыкального фильма. Очевидно, оператор этим не обладал. Иначе бы он увидел мою неуемную радость существования в музыке. Костюм случайный, проба наспех. Кто-то видел меня в студенческом концерте с аккордеоном. Вот и пригласили. Пригласили, но не полюбили. Не поняли. И не утвердили. Я погоревала-погоревала и еще усиленнее углубилась в драматическую роль в «Сердце». А потом весенние экзамены и остальные заботы заслонили неприятности с этой кинопробой.

И все-таки в этом фильме я снималась. Это случай. Произошел справедливый в жизни господин Случай. Он не мог не произойти. Уж слишком страстно я желала такой роли! Случай, судьба. Вчера тебя «не видели». Вчера даже посмеивались: «Что? Вот это наша героиня? Да вы что? Мы перекопаем всю страну, поставим на ноги всех. Все вверх дном перевернем. Мы такую красотку отыщем!» Я продолжу. Отыщут красотку, за которую споет певица эстрады. На общем плане станцует профессиональная танцовщица. А в конце картины, когда ее, бедную и ни в чем не повинную, вся группа возненавидит за бесталанность и — именно! — за красивую внешность, ее еще и озвучат третьей актрисой с богатым актерским нутром. Это стремление откопать, поразить, открыть приводило и приводит к провалу многие музыкальные картины, вело и ведет жанр к

вымиранию.

…Ну разве можно в нашей профессии строить планы? Только вчера я готовилась ехать к родителям в Харьков. А сегодня я стою на съемочной площадке в своем собственном костюме — вот какая производственная спешка, необходимость выполнить план. И вот я, без всяких там «нравится — не нравится», снимаюсь! Да-да. И идет полезный метраж! В картине сменился оператор. В фильм пришел такой человек, по которому, как говорится, плачет музыкальный жанр. Он нашел мой свет, ракурсы, удачные повороты. И медленно, со скрипом, меня стали признавать. Безусловно, не без «добрых душ» и язвительных реплик, но к этому надо себя готовить, будь ты хоть семи пядей во лбу. Хотя привыкнуть к этому, думаю, невозможно. Так я начала работать в фильме «Карнавальная ночь». С нее началась моя актерская жизнь, и я не могу еще раз не вернуться к этому периоду.

В этой веселой картине я встретилась с великим артистом нашей страны — Игорем Владимировичем Ильинским. Он легенда. Неужели же я, девушка с харьковским говорком, буду работать рядом с Игорем Ильинским?! Страшновато было. Так уж повелось, если вокруг человека ореол славы, ореол признанного и прочно зарегистрированного уважения, список титулов, званий и наград, то чувствуешь себя маленьким, мешающим, хочется незаметно исчезнуть. Такое положение обязывает человека быть постоянно вежливым и демократичным. Попробуй разберись, какой он и как он на самом деле к тебе относится. Позже многие журналы и газеты обращались ко мне с просьбой рассказать об Игоре Владимировиче Ильинском. Но без всяких видимых причин, сама не знаю почему, я уходила от этого. Ведь как выглядит обычное, всех удовлетворяющее интервью? «Была счастлива такому случаю…», «Мне на редкость посчастливилось…», «Это огромное событие в моей творческой жизни…», «Это незабываемая встреча…», «Подарок судьбы…». Все это — привычные официальные стереотипные фразы. Мне виделось что-то совсем другое. Виделось со своей колокольни, и слышались совсем простые фразы. Весь груз официальных почестей и популярности не обременял этого человека. Он как будто и не знал, что он великий Народный всего СССР. Тихий, скромный, никакой позы. Я смотрела на него и думала: «Эх, Игорь Владимирович, мне бы вашу славу, да я бы весь мир перевернула!» А он сидит себе в уголочке, на разбитом диванчике, прикрыв глаза… в руках сценарий, но он в него не заглядывает, что-то шепчут губы, потом он слегка улыбается… и вдруг мгновенно вскакивает и идет в кадр. Оказывается, он и «там» существует, и тут, в реальной жизни, ничего не пропускает.

Ах, как иногда резко видишь то, что память закрепила когда-то.

Теперь я думаю: а как он должен был себя вести? Он — живая легенда. По-настоящему крупные личности всегда скромны. Они потому и крупные, что поняли сердцем, талантом, интуицией — не знаю чем, — что величие именно в простоте. Вот это трудно схватить, а когда дойдет, бывает уже поздно. Великие личности скромны, потому что живут своей внутренней, интенсивной, изнурительной жизнью. Такие люди если и общаются, то на равных. Все это меня глубоко поразило в Игоре Владимировиче еще тогда, но найти слова, сформулировать попробовала только вот сейчас. Может, через время смогу удачнее, очень хочется!

В первый съемочный день я сопровождала великого артиста по длинному коридору в его знаменитом монологе директора Дома культуры Огурцова. Вернее, и.о. директора, что очень существенно, потому что таких директоров у нас нет. «Но это же квартет, Серафим Иванович». — «Ну и что же, что квартет? Добавьте еще людей, будет большой, массовый квартет». Затаив дыхание, я шла за артистом и поражалась, как от дубля к дублю оттачивается, отшлифовывается то, что только намечалось в репетиции. На моих глазах в жизни происходила трансформация. Легкий наклон головы, и, казалось, видишь, как «с трудом перекатывались мозговые шарики», а во взгляде вдруг появлялась такая внимательная тупость, что у меня даже поначалу закралась мысль, что артист… вроде как… ну, не очень того… может, он плохо себя чувствует?! Я про себя его оправдывала, потому что боялась произнести вслух слово «тупой». И только в перерыве он «отходил» и опять становился прежним Игорем Владимировичем. В зависимости от настроения он или опять сидел в кресле, прикрыв глаза, или весело общался с молодым задорным режиссером Эльдаром Рязановым, который на съемке всегда смеялся первым. Это всех здорово подхлестывало. Он тут же подхватывал и развивал малейшую деталь, если это была именно «та» деталь. Его жизнерадостность впитывалась и проникала во всех участников этого уникального, по-своему, фильма.

Однажды, когда операторская группа возилась со светом, все наши женщины собрались около артиста. Раздавались взрывы удивления и восхищения. Потом опять все замирали… И опять вдруг павильон оглашался радостными взвизгиваниями. Таких непроизвольных выкриков, когда люди радуются от души, требует режиссер на записях массовых сцен: «Ну же, радуйтесь жизни, смотрите, как весело кругом, как прекрасно живется!» Игорь Владимирович угадывал всем женщинам их возраст. Угадывал безошибочно. Только посмотрит в глаза — ив точку. Ну, думаю, уж меня-то по глазам не прочтете, собью с курса. В это время я

буду думать о самых взрослых вещах.

— Скажите, пожалуйста, а вот мне сколько дадите?

Он в упор посмотрел на меня. Какие у него пронзительные зеленые глаза! Я, аж, сжалась. А мои «взрослые» мысли разбежались во все стороны.

— Тебе… Тебе через год «очко».

— Ой, ну это ж надо такое.

— Угадал?

— Ой, Вы ж прямо как в лужу гладели.

— Ты с Украины?

— Ага, с Харькова.

— Это слышно.

Ну вот. Все слышит, все знает. Наверное, все на свете перечитал, всех переслушал, все пересмотрел и пережил. Как же мне хотелось заглянуть, проникнуть в тайные кладовые великого артиста! Но как проникнуть! С какой стороны пронаблюдать? Где и как учиться опыту, зрелости, тайнам и премудростям, которые называются таким волнующим словом — жизнь.

Как-то на съемке меня, аж, подмывало предложить ему одну «краску». Но я не знала, как он к этому отнесется. По всему тому, как развивались наши дружеские партнерские отношения, должно было быть все в порядке. Но кто знает… Дистанцию я держала всегда. Так вот, в его роли несколько раз встречался вопрос «да?» — что-то такое уточняющее, что для нормального человека ясно и без уточнений. Но он же играл человека ограниченного. Мы с мамой всегда смеялись, когда папа изображал одного харьковского интеллигента: «Голубчик вы мой! Как же вы далеки от истины, мм-ды! Вы так думаете?» «Мм-ды» — вместо «да». Это длинное «мм-ды» производило впечатление ума не простого, ума заковыристого, который в одно время может решать сразу несколько задач, как Юлий Цезарь. Когда я показала это актеру, он смеялся. А в следующем дубле вдруг слышу «мм-ды». А после дубля он мне подморгнул. На следующий же день полетело в Харьков письмо: «Дорогой папочка! Твое „мм-ды“ повторил великий артист». Игорь Ильинский был папиным любимым артистом. «Да, ета настыящий артист. Он як у цирки, без усяких там… Словум, на шармачка не пройдеть. Усе сам! Во ето артист. А цирк я больше всего ценю. Усе як на ладони. И рискують, и ножи глотають, все сами, усе честь по чести».

В небольшом просмотровом зале студии шел показ материала почти целиком снятого фильма. В зале было трое: Ильинский, Рязанов и я. Актер с режиссером перекидывались репликами, что-то уточняли, намечали, меня же заботило только то, как я выгляжу.

Когда мы вышли с актером «под часы» — на знаменитый мосфильмовский пятачок, где после съемки членов группы ждет автобус и машина, о материале Игорь Владимирович ничего не сказал. Только во время просмотра спросил: «Сама поешь?» — «Конечно, это же мой тембр, вы послушайте!» И он одобрительно мне кивнул, мол, слышу.

Вот сейчас он уедет, а мне так интересно знать его мнение. Ведь это — «его мнение». А он молчит.

— До свидания, всего Вам хорошего, Игорь Владимирович!

— До свидания. А где ты живешь?

— Та далеко, в общежитии. Это аж… ну как в Бабушкино ехать.

Он подошел к своей машине, о чем-то поговорил с шофером. «Успеем, садись». И мы поехали.

Ну, знаете… Ехать по Москве с великим артистом!.. Нет, папочка, это тебе не «хоп хрен по диревне». Меня персонально везут на место жительства! В машине! Да еще в какой — в ЗИМе! Хо-хо, шик! За всю свою жизнь где только потом ни бывала, на каких только машинах ни ездила, даже на «Роллс-ройсе»… Нет, самая лучшая и удобная машина в мире — наш советский черный ЗИМ, какой был у Игоря Ильинского!

Пылая от счастья как маков цвет, я гордо вышла из ЗИМа и направилась к главному входу студенческого общежития. Пусть все видят! На ЗИМе! В сопровождении! Да не просто в сопровождении кого-то. А рядом с самым великим, легендарным артистом! Вот так. Эх, проклятое любимое лето! В общежитии пусто. Разъехались все. Ну ничего, вся жизнь вперед"!

«Чую… После этой картины ты будешь очень популярной. Так что готовься…» — И черный ЗИМ исчез в клубах пыли.

ПРОЩАЙ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Пачки писем на столе. Пачки писем на тумбочке. Пачки писем, утрамбованные под моей койкой в четырехместной комнате общежития. Когда меня нет, письма разносятся по всем комнатам. Их с интересом читают, но вскоре на смену этому интересу приходит раздражение и неудобство от моего неспокойного соседства.

На лекции из общежития выхожу рано. Но у входа меня уже ожидают люди. Я иду в своем зелененьком пальтишке с коричневым воротником. Меня не узнают. Ждут появления звезды в черном муаровом платье с белой пушистой муфточкой. Я могу остановиться и послушать: «Говорят, ее в корсет затягивали», «Просто она ничего не ест», «А я неделю не ела, и все на месте», «Ну, наверное, веселая», «Да, говорят, своя в доску»… И я иду дальше. Самым предприимчивым иногда удается уговорить вахтера, и они стучат в нашу комнату в шесть утра. Но я же не одна. Нас четверо. Я испытываю жуткую неловкость и чувство вины.

Прихожу в институт. У входа меня дожидается почтальон. Я получаю большую пачку писем: «Ну, теперь я на вас посмотрела. На почте всем расскажу. А вы что такая бледненькая? Вы, случаем, не больны? Наверное, вас там в кино заставляют ничего не есть?» Я поспешно прячу письма, чтобы не раздражать студентов. Дохожу до раздевалки и вижу, что и там тоже ждут меня. Приглашают встретиться, выступить. Это происходит у всех на глазах. А где спрятаться? Где людей «принимать»?

Если студент снимался в картине, его лишали стипендии. За шесть месяцев съемок к зарплате привыкнуть не успела, но остались приятные воспоминания от хождений по магазинам. Ну-ка, после 26 рублей стипендии да 200 рублей зарплаты, но лучше звучит в старых ценах — две тысячи рублей! Первую зарплату тут же отослала в Харьков — папе и маме на отдых, а со второй пошла в антикварный магазин. Господи, откуда у меня эта страсть? Наверное, заговорили гены родителей моей мамы. Это же только представить: в дорогом антикварном магазине стоит часами двадцатилетняя девушка. В кармане ни гроша, а она млеет, умирает от красивых вещей. Так вот, на вторую зарплату я купила петровскую жирандоль с многочисленными бусинками, висюльками и лампочками. И, счастливая, принесла ее в общежитие. Тогда она стоила лишь 96 рублей, то есть 960. Вместо ситцевых самодельных платьиц у меня появилось несколько хороших вещей, сшитых именно той портнихой-мастером,

которая так замечательно исполнила черное платье в фильме.

Взяв свои пожитки и старинную жирандоль, которая будет вечно напоминать о веселой картине, я сняла комнату и стала жить опять же в районе площади Маяковского.

Хозяйка моя, бывшая балерина, родом из Киева, с приятным украинским говорком, оказалась оригинальным и веселым человеком. Условие у нее было одно — соблюдать тишину. Окна ее двухкомнатной квартиры выходили на улицу Горького. Мебель старинная, красного дерева: хрупкие стулья, изящные хрустальные бра, столики на кривых тонюсеньких ножках. Я восхищалась ее талантом сделать жилье таким уютным и индивидуальным. А она очень хвалила мою жирандоль. Постепенно я приобрела ее балетное хозяйство — пачки, перья, блестки и веера. Жили мы с ней весело. И все было бы прекрасно, если бы не случай, за который мне стыдно до сих пор. Из старинных вещей в моей комнате стоял один диванчик. Кровать же и стол были современными. Однажды на кухне моя хозяйка рассказывала мне какую-то очень веселую историю. Мы смеялись, пошли зачем-то в мою комнату — она была чрезвычайно щепетильной женщиной и никогда без стука или разрешения не входила ко мне. И тогда она не вошла в комнату, а только взглянула, не переставая рассказывать. И вдруг замерла на полуслове, ее лицо побледнело, она схватилась за сердце, не в силах выдавить ни звука, и только пальцем указывала мне на диванчик. На спинке диванчика подсыхало аккуратно развешенное мое… ну… как бы тут выразились французы, мое «десу». «Боже мой, какой ужас! Это же палисандровое дерево александровских времен! Ему же сто с лишним лет! Боже мой! Сушить белье на антикварной мебели!!» Все — дружба врозь. А я ведь этого не знала: у нас дома была кровать с железными шариками и пружинный диван с зеркалом и валиками. Потом мы помирились. Но диван все же перенесли к ней в комнату — «от греха подальший».

Как люди узнают номер телефона? Никому не сообщала, а звонки с утра до ночи. Хозяйка нервничает, к телефону не подходит. А звонки со всех предприятий, филармоний, фабрик, заводов. Звонят журналисты, зрители, поклонники, местком, профком, милиция. Телефон трещал сутками. Я потеряла сон. Перетащила свою кровать ближе к коридору, чтобы тут же схватить трубку и в полусонном состоянии, не соображая, куда, чего, кому, сказать сдавленным голосом: «Да, да, я согласна. Буду обязательно!» Я чувствовала, что теряю разум, силы, память… Так долго не протяну. Нужно куда-то исчезать. А ведь это только-только вышла на экраны веселая комедия. Она еще даже не

начала «набирать». А уже по первому кругу проката побила по сборам все известные рекорды. Сколько еще таких кругов у картины будет впереди!

Я выступала по три-четыре раза в день во всех концах Москвы. Вот когда я по-настоящему познакомилась с Москвой. Москва — это не улица Горького и площадь Маяковского. И не как поется в фильме «Свинарка и пастух»: «Сколько в ней площадей, переулков, мостов…» Москва — это от края и до края. И края не видать. И люди, люди, люди… И все разные, разные, разные… Еще ничего не сказала, не запела, лишь улыбнулась — и горячие аплодисменты. Хлопали только за одну улыбку. Дарили цветы, часто в горшочках, ведь это была зима 1957 года. За кулисами, когда много участников — кого-то нет, кто-то опаздывает — про меня порой забывали. На концерт привезли, цветы вручили, а что еще… И, подождав, я с горшочком выходила на улицу в тоненьких чулочках, бежала в метро. А там уже от Маяковской до моего дома метров пятьсот. О такси тогда и мысли не было. Такси было непозволительной роскошью. Вот и еще один горшок украшал комнату моей хозяйки. Я не люблю зелень в горшках. Мне как-то делается сразу грустно. Я вспоминаю папин фикус… «Ой, боже ж мой! Опять с горшком. Одни горшки, нет чтобы деньгами».

…Скорей, скорей наступайте, студенческие каникулы! И экзамены в институте, и ежедневные выступления — не выдерживаю, нет сил. И отказаться нельзя. «Что? Значит, не можете, отказываетесь, значит. Такая молодая, а уже отказываетесь выступать перед народом. Такими вещами не шутят, деточка! Вот мы напишем о вас в газету…» — «Да что вы, я приеду, я согласна. Пересдам зачет в другой раз. Я обязательно буду, что вы, я так люблю людей, выступать…»

В тот вечер я вышла на сцену очень нервная и неспокойная. Откуда, почему такая интонация, угрозы по телефону? Вот в зале сидят милые, добрые, улыбающиеся люди. Я вижу, что никто из них не способен на ту интонацию, что была по телефону…

Вы смотрите на меня с теплотой и неподдельной искренностью. Я вам верю. Я готова на все за это дыхание добра, идущее от вас из зрительного зала. Но далеко-далеко в глубине души из-за незащищенности, уколов и вот такого угрожающего звонка начинает копошиться чувство настороженности.

В тот злополучный день ко мне подошел устроитель концерта, как-то очень сосредоточенно-проверочно посмотрел мне в глаза, пожал руку и протянул благодарственное письмо в голубом конверте. Хозяйка моя была в курсе этого угрожающего звонка. «Ну, в чем там дело?» — «Да ничего вроде, как всегда, все

прошло нормально». Я грустно постояла перед ней, и мы молча разошлись по своим комнатам. Всю ночь я готовилась к экзамену, чтобы сдать его не в другой раз, а как положено для всех. Лишь бы не выделяться. Скорее бы к родителям!

Я собирала для папы письма, Почетные грамоты за выступления на заводах и предприятиях. Он ведь даже не представляет, сколько ему везу интересного. Вот будет ему радость! И вдруг: в голубом конверте вместо благодарственного письма лежат деньги. Куда звонить, кому? Как называется то место, где я была? Меня привезли и увезли. «Наконец-то догадалась. Да вы что? У меня до вас жила певица. Так она ни одного выступления бесплатно. Это же кровный труд. Веселье и развлечения идут в зал. А у меня от них два инфаркта. Я в сорок лет уже была инвалидом. Вы думаете, как мы с мужем эту кооперативную квартиру зарабатывали? Ездили по Северу с концертами. И я танцевала в холод и мороз в тоненьком трико. И что? Квартира стоит, а здоровье где? Его не купишь. Я думаю, этот дяденька сам и звонил Вам. Вы ему нужны были для сборов, а потому и отблагодарил Вас. Идите и потратьте деньги, получите удовольствие, Вы ведь так молоды, идите», — и хозяйка квартиры почему-то заплакала. Наверное, она вспомнила себя в молодости, в успехе: «Вы знаете, я шла по улице, и за мной несся шлейф „Мицуки“… Вы, конечно, этого запаха не можете знать… Я, Людмилочка, была жуткая красотка!»

Странный этот дядька. Зачем было угрожать? Сказал бы, мол, заплачу за труд, и дело с концом. Ах, какие ядовитые люди встречаются…

Мама вынула меня из поезда еле живую. Она нюхом почувствовала «тревожный сигнал ажиотажа вокруг фильма». Поэтому о моем приезде в Харьков никто не знал. Несколько дней дома я только ела и спала, ела и спала. До меня долетали заботливые перешептывания моих родителей: «Ты корми дочурку получий, як следуить быть. А то як схватить туберкулез! Тогда нам с тобой крышка. Як же ето выходить, Лель? Ребенык еле живой. Можа, хто ее обидев?? Ты подлезь до ней, выведай, ты ж ето вмеишь». — «Не говори, Марк, ерунды. Ты же видишь: ну что мы с тобой такое? Но даже нам стало неспокойно. Со всех сторон нас рассматривают, не знаешь, как себя вести…» — «А с чего ето тебе неспокойно? Ты гордися, як я. Неспокойно…» Папа долго ничего не понимал. А мама сразу оградила меня от рассматривании и праздного любопытства. После фильма у меня появилась куча родственников — ив Харькове, и по стране, о существовании которых наша семья и не подозревала. И папа серьезно разбирал поколения и родственные ответвления своей

фамилии, но концы с концами не сходились. Все молодые люди моего возраста, как оказалось, учились со мной в одной школе и даже сидели чуть ли не за одной партой. А я окончила женскую среднюю школу, и появление мальчиков на выпускных вечерах было явлением исключительным и — не скрою — «волнительным».

Слух о моем появлении в Харькове просочился и пополз по всему городу. И началось все то же самое, что и в Москве. Но за неимением телефона люди отовсюду шли прямо к нам домой, без предупреждений. И наш двухэтажный обветшалый домик (не знавший ремонта с дореволюционных лет — только однажды к 1 Мая стены его окатили мелом) — наш домик и наша маленькая полуподвальная квартирка превратились в штаб-квартиру, куда приходили и приезжали, откуда уходили и уезжали, где знакомились и договаривались. Папа был весел и счастлив. Сбылась его мечта: «Дочурку увесь мир будить знать! Ну, ще пока увесь мир не знаить, зато наша страна знаить уся. А наша страна, щитай, одна шестая часть усей Земли — так лектор говорив».

А сколько удовольствия получал мой папа, читая письма! Он их распределял на три группы, три категории: «Ответить», «Не отвечать», «Подумать». Надписи он делал на конвертах жирным красным карандашом.

«Ыть ты, якая приятная девычка! Тоже целить ув артистки. Хай вдеть с богум.» — «Ответить».

«Людочка, я, конечно, понимаю, что я Вам нужен, как архиерею гармонь. Мне 26 лет, но я еще учусь и хочу иметь образование. Кстати о гармони. Пришлите мне пять тысяч рублей на баян. Что Вам стоит? Вы же теперь миллионерша.»

— Лель, як же ето? Значить, в нашей дочурки целый миллион? А мы ей сами ув Москву деньги на комнату высылаем. — «Подумать!».

С подобной же просьбой ко мне обращались женщины, чтобы сшить себе такое платье, как у меня в фильме, или чтобы я выслала свое: «Мне так хочется такое же платье, я очень похожа на вас!»

— Лель, ничегинька не понимаю.

— Марк, котик, милый. Люди популярность прямо приравнивают к заработкам. Ты же проходил политэкономию… Ну, прости, не сердись, это я пошутила…

— Лель, а як же дочурке теперь дальший? А если больший не дадуть ще одну «Карнавальную ночь»?

— Марк, котик, будем высылать, как и высылали.

— Да ето я увсегда пожалуйста, з дорогою душою для моего кровнага ребенка…

Как-то утром, рано, раздался стук в дверь. Мы с папой притихли, а мама пошла на разведку.

— А здесь живет артистка? Нам бы хотелось на нее посмотреть.

— А кто вы?

— Это не важно. У нас большой спор возник.

— Я вас слушаю.

— Говорят, что ей сорок лет, что ее в кино просто так сделали.

— Я ее мать. Мне тридцать девять. Как же моей дочери может быть сорок?

— Во молодец мама! Як им врезаить. Пойду посмотрю, што за бабы.

Выяснилось, что кто-то приехал из Москвы и там, на студии, из достоверных источников сообщили, что мне, на самом деле, сорок лет, и много еще чего. Папа пригласил их в дом. Усадил за стол. И глазом приказал маме подать им завтрак. Поставил на стол бутылку водки и несколько бутылок пива. Себе приготовил минеральную «Березовскую». А потом к столу пригласил меня:

— А вот и моя дочурка, киноактриса.

Женщины заерзали, заулыбались. Они казались мне уже старыми, им обеим было лет по тридцать. Я им вежливо отвечала на какие-то вопросы, косилась на маму, мама на папу. А он наливая женщинам водку, советуя запивать ее пивом, произносил «за честь, за дружбу». Потом вынес баян и громко, на весь двор, заиграл. Женщины развеселились и под хмельком запели: «Зачем тебя я, милый мой, узнала…» Мама переменилась, и ста-ла подыгрывать папе. А он вдруг резко прекратил «завтрак».

— Значит, бабы, вот якое дело. Вы щас на пару выглушили поллитру и три поллитры пива. Он якеи морды красные стали. А вот моя дочурка. Она ж еще ребенык. Эх вы! Идите немедленно с глаз долов! И усем скажите, хай не несуть напраслины. А то у меня, бабы, — и он через стол протянул свой кулак, — пять братов свинцом налиты, смертю пахнуть!

— Да мы что… мы ничего… Это не мы…

— И чтобы ни звуку!

— Ну, Марк, котик, если мы так будем всех встречать, нам с тобой и трех зарплат не хватит.

— Да я лучий у трубу вылечу, а дочурку ув обиду не дам!

Как хорошо дома — защита. С папой, с мамой ничего не страшно…

Папа нас уговорил, и в харьковской филармонии были объявлены мои выступления. В первом отделении работали артисты местной филармонии, а во втором выступали мы —

вдвоем с известной харьковской пианисткой Анной Фраймович. Мама была со мной за кулисами на охране, а папа сидел в первом ряду рядом с моим педагогом по пению из музыкальной школы. Она, забыв, что я сейчас не на уроке, все время шевелила губами и дирижировала. Тут же находились наши соседи, работники Дворца пионеров, мои одноклассницы со своими родителями. Зал был переполнен. Люди сидели и на приставных стульях, и стояли… Дирекция филармонии потирала руки. План был выполнен на квартал вперед. В грим-уборной даже цветы и фруктовая вода. Выступать перед своими — дело неблагодарное. Все меня знают с детства. Когда перемены происходят на глазах в течение времени, они мало фиксируются вниманием. Все-таки за три года учебы в институте я многому научилась. И теперь я и для своих была новой. Потому что ровно через две-три песни наша харьковская непростая публика, если бы было что-то не так, дала бы мне это понять. Я передавала людям в зал чувство родственное, интимное. Вот мой родной Харьков, мои дорогие харьковчане. Я здесь родилась и выросла рядом с вами. Здесь, на Сумской, я видела первые жертвы войны. Здесь, в кинотеатре, я смотрела первые в жизни кинофильмы. Здесь проходили немцы. Здесь, в зале филармонии, я слушала известных музыкантов и певцов из Москвы. Здесь я девочкой пела на отчетных городских концертах музыкальной школы. И вот теперь я выросла. Сбылась моя мечта. Я стала актрисой. И сейчас «я дарю вам песню эту»! Ну, пожалуйста, «помиритесь те, кто в ссоре». И пусть никогда «хорошее настроение не покинет больше вас»! Мои дорогие харьковчане! Они меня не отпускали. А я уже спела все пятнадцать песен, которые были у меня в репертуаре. Я так и сказала: «Больше не подготовила. Мне говорили, что надо десять-двенадцать песен, а у меня — аж, пятнадцать! А вы приходите завтра». В зале засмеялись и зааплодировали. Пришлось три раза подряд спеть песни из веселой музыкальной кинокомедии. После концерта люди не расходились. Они выстроились вдоль лестницы с обеих сторон. И мы шли сквозь живой коридор людей. Папа вел меня под руку. Люди благодарили, жали руку, говорили очень приятные слова. Я подписывала свою фамилию и протягивала открытку папе. Он с удовольствием быстро ставил свой отработанный автограф. Папа кланялся направо, налево, иногда с кем-то здоровался, иногда информировал: «Я отец актрисы». Вот, папочка, любименький, я тебя не подвела, ты мною гордишься.

Когда его не стало, мы с мамой везде — на нотах, на книгах, даже на Машиных учебниках и тетрадях — встречали его роспись. Он везде оставлял свой знаменитый автограф и подписывал сбоку: «Отец актрисы».

На улице была свалка. Нас разрывали на части. Папе пришлось поработать локтями и даже пустить в ход совсем неуместные в такой момент идиоматические выражения. А что делать? Надо спасать дочурку! «Во люди! Ах ты ж мамыньки родные, человека не видали. Рвуть напропалую. Во ужас!»

«Марк, а ты представь теперь, как ей там одной в Москве, а?» — «Зато усех на лупаты положила. Ето ж лучий, чем ув углу сидеть, як квочка. Актриса ето актриса. Хай рвуть. Хужий, когда не рвуть…»

Больше в Харькове я не выступала никогда. В самые тяжелые дни, когда мне были нужны поддержка, сочувствие, мой родной город как-то отчужденно молчал. Но об этом впереди. Оставались редкие нити, которые со временем обрывались. А когда родители переехали в Москву, прервались почти совсем. Проезжая на юг, рано утром, когда меня никто не видит и город еще спит, я обязательно останавливаюсь и брожу по своим родным местам. Теперь сменились поколения, и меня признали те, кто посмеивался над «выскочкой» из Харькова. Давно нет никаких обид. Но уже все стало неузнаваемым, все застроилось новым. И то, старое, снесено. Нет уже того моего города, который я так помню и люблю. Пусть он останется для меня тем, что спасал и грел меня в самые прекрасные и страшные детские годы. Мой родной, неповторимый город, город моего взрослого детства, прощай!

«ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ»

Однажды в павильоне, где снималась наша «Карнавальная ночь», появилась группа странных товарищей. Хотя нашим словом «товарищ» их не назовешь. Какие-то товарищи типа иностранцев. Прислушалась — точно, говорят по-французски. Лично я иностранцев знала по кинематографу. Да и не только я. Они жили себе в своих странах, а мы в своих. Живых контактов с ними не было, но вот открылся занавес, и к нам в столицу «все флаги в гости» пожаловали. Иностранцы с интересом наблюдали за тем, что происходило в павильоне. Снимался номер: «Песенка о хорошем настроении». Подчеркиваю, что именно в этом номере у меня самое красивое платье: черное муаровое с белой муфточкой — хрустальная мечта моего военного детства. Иностранцам представили нашего молодого режиссера Эльдара Рязанова. Он тут же рассказал какую-то уморительную историю из их же жизни. Они зашлись от смеха. Настроение у всех здорово поднялось, и не хватало только звуков пробок, вылетающих из шампанского. Эльдар так свободно держался с иностранцами, как будто ежемесячно выезжал в зарубежные развлекательно-деловые командировки. Поразительно завидная легкость, коммуникабельность и сознание собственного достоинства. Деловая часть его выступления-знакомства сводилась к тому, что: «Я, действительно, еще молодой советский режиссер. Это моя первая картина, но я уверен, что она будет удачной! Спасибо, мерси, мерси боку, все может быть… Вполне возможно, что вы вскоре увидите наш фильм на ваших парижских бульварах». Наша группа только переглядывалась: во наш молодой, во дает! Фильм уже во Францию продает. «А это наша героиня. Это тоже ее первая роль. Но успех ей, как вы сами сейчас убедились, я думаю, тоже обеспечен». В общем, получалось так, что все мы советские люди и все обеспечены успехом. Иностранцы довольно кивали: мол, конечно, конечно, так и будет.

— Мадам спрашивает: вы русская?

— Я? Конечно. У меня и папа и мама совершенно русские…

— Она хочет потрогать вашу талию.

— Давай, Людмила, пусть пощупает. Не тушуйся.

— О, шарман, манифик, — седая элегантная старушка держала пальцы своих рук кольцом и всем показывала это кольцо, означающее размер моей талии.

— Они слыхали, что все женщины в России крупные, большие.

— Скажите, что большому кораблю большое плавание.

— А как это переведешь?

— Ну как… Большой стране большие женщины.

После перевода иностранные товарищи заулыбались, а старушка кокетливо погрозила нашему оператору сухоньким пальчиком, а потом направила свой пальчик на меня: мол, а это как вы объясните?

— В семье не без урода… да нет, я шучу, скажите, дитя войны… После голодовки не оправилась.

— Последнее переводить не стоит, — тихо шепнул директор картины. — Товарищи иностранцы могут понять неправильно.

И пошли иностранные делегации и на киностудию, и в наш Институт кинематографии. У нас на курсе побывали и театральный режиссер из Англии, и наипопулярнейший в то время Радж Капур с актрисой Наргис. А старший актерский курс играл перед ними. Наргис была потрясена игрой Майи Булгаковой. Расплакалась, целовала ее и подарила ей на память очень красивую брошь. Прямо так сняла с себя и с благодарным поклоном перед незаурядным талантом преподнесла! Это было прекрасно!

По Москве висели афиши, извещавшие о зарубежных гастролях джазового оркестра со знаменитым Бенни Гудманом, на других — имена певиц из Швеции и Германии, балетных трупп из Индии, Америки, Франции. Можно было понять, чего стоишь сам. Чтобы сделать рекордный прыжок в высоту, нужно знать, на какой отметке стояла планка до тебя. Варишься в собственном соку, прыгаешь, прыгаешь, ставишь рекорды, а его уже давно, оказывается, поставили и забыли. Вот и радуешься, как говорится, победе «для дома с оркестром». В искусстве отстанешь — не догонишь. Просто сходишь с круга. Как вовремя раздвинулся занавес. Только в сопоставлении, только в мирной конкуренции можно познать свои силы, почувствовать, каков твой потенциал. Тогда такие мысли мне в голову не приходили, да и не могли прийти. Было только естественное юношеское любопытство ко всему новому. Так я думаю сейчас, уже имея за спиной опыт зарубежных встреч, острых пресс-конференций, порой резко негативных выступлений, которые моим друзьям и мне приходилось парировать, — и без лозунгов, оставаясь самими собой (что важнее всего), открыто и свободно говорить о том, что так, а что не так, о том, что было и чего не было. Никто из нас не бил себя в грудь и не доказывал никаких наших преимуществ. Мы так живем и работаем. Но будем жить и работать еще плодотворнее, а как же иначе. Но брать на заметку важные замечания, проскальзывающие даже в самых недружелюбных выступлениях, нужно. Только в споре, пусть даже таком

странном, «межконтинентально-контрастном» — рождается новое, движущее вперед. Вперед, «дальший» — это главное.

В те пятидесятые на нашей эстраде ни о каких пластических передвижениях не могло быть и речи. Резче, «чем надо», выставишь ногу — «вульгарно, развязно, дурной тон». Я сама через все это прошла. Некоторые делали свои замечания вслух, а некоторые в письменном виде: «Смотрел вашу комедию. Смеялся до слез. Вы прекрасно справились со своей ответственной ролью. Но хочу сделать вам серьезное замечание: когда вы танцуете в черном платье, в танце, при повороте, у вас неприлично поднялась юбка, выше нормы. Это недостойно нашей советской девушки. Учтите на будущее». Это письмо написал молодой человек. А ведь герой фильма Огурцов что-то подобное произносит в сцене, где замечательно танцует балетная пара: «Теперь сам танец, о чем он говорит?» — «О молодости, о любви… Серафим Иванович». — «Это я понимаю, тоже женатый. Вот вы — кто по профессии?» — «Вообще то, я экономист». — «Так-ак, и много Вы встречали экономистов… в таком виде?» — «Но ведь танец так поставлен!» — «Переставьте! Короче, танец переставить, ноги изолировать…» Даже не верится, что было такое. Сейчас вспоминаешь и невольно смеешься. А ведь в начале съемок картины даже челку на моем лбу запретили — вульгарно. Зато к концу работы челочка на моем лбу победоносно загуляла. Простили и тот злополучный «кусок ноги». «Убедила», — сказали. И на студии всем делегациям показывали нашу комедию: вот, мол, как у нас поют, танцуют, шутят и острят. Правда, не всем иностранцам было понятно, кто же такой наш главный герой, что же он такое. А как объяснишь? Бюрократ? Не поймут.

Наш герой — это наш герой. Это наше, типично наше, внутреннее явление. Таких Огурцовых больше нигде в мире нет. Наверное, у них есть свои Огурцовы, которые непонятны нам, наверняка есть. Но как только доходило до музыкальных номеров или монолога «Есть ли жизнь на Марсе?» — тут уж было единодушное понимание. Как точно создатели фильма ухватили время, как точно почувствовали необходимость такой дерзкой, смелой, острой и жизнерадостной картины. А то, что она, вырастая, преодолевала барьеры непонимания и неприятия, так то же дело чисто житейское, студийное, местное. Все раны тут же зарубцевались. Все забылось, как только картина преодолела прежние запреты и вырвалась на экран. А победителей, как известно, не судят. Фильм состоялся. И это был большой праздник. Тогда я этого не понимала. Понимаю сейчас. Потому что такого глобального, устойчивого успеха добивались считанные картины. До сих пор, что бы я. ни играла, люди моего

поколения, молодость которых совпала с выходом на экраны этой веселой ленты, мечтают именно о таком фильме и желают мне и себе еще одной «Карнавальной ночи».

Весной вышла пластинка с песнями из фильма, и из открытых окон полились знакомые мелодии. В песнях сочиняли новые слова на злобу дня, оригинальные, «свои» слова, как и полагается популярным песням, полюбившимся массовому зрителю. И острили, и шутили. Все было. Популярность картины росла и росла. Девушки шили себе платья точь-в-точь как у меня в фильме, худели, затягивали талии, опускали челки на лбы, закручивали волосы колечками. Иногда я замирала, как сеттер в стойке: навстречу мне шла я сама! И только потом переводила дыхание — слава богу, меня не узнали.

Один раз пригласили меня на вечер. На предновогодний вечер одного большого предприятия. На сцене самодеятельным коллективом была разыграна вся «Карнавальная ночь». Героя спускали на веревочке откуда-то сверху, с лесов, и он, сидя на стуле, произносил знаменитый огурцовский монолог: «Товарищи, есть установка весело встретить Новый год…» Этот своеобразный спектакль шел под несмолкающий смех и аплодисменты зала. На сцене были все герои картины. Была, конечно, и Леночка Крылова. Я сидела в первом ряду и смотрела на героиню фильма, в котором сама играла. И если бы пришлось снимать картину заново, будучи на месте режиссера, я бы, конечно, выбрала ту, что была на сцене. Она так меня «делала»! Со всеми моими штучками, штампиками, ракурсами и тембром голоса, что, когда в конце представления нас вывели рядом на сцену: «Сегодня у нас в гостях…» — я решила просто поблагодарить за доставленное удовольствие. Но насчет того, чтобы спеть самой… Нет.

На встречу в ЦДРИ с французским певцом и его женой Симоной Синьоре пригласил меня один из авторов сценария нашей комедии Вл. Поляков. В этом доме работников искусства я была впервые, и сразу почувствовала на себе внимательные взгляды театральной публики. Думаю, или смотрели картину, или что-то слышали про меня. Это долгое стояние и сдерживание себя было просто мучительным, так хотелось «похлопотать» лицом, или что-то прокомментировать вслух. Когда меня своим друзьям представлял автор сценария, я скромно опускала глаза вниз и подчеркнуто густоватым голосом представлялась: «Добрый вечер, очень приятно». Тогда у меня было очередное увлечение: говорить низким голосом, выработать тембр — контральто-баритон. Несовместимая контрастность фигуры и низкого грудного голоса обязательно удивляла окружающих. Мне это нравилось. Все-таки, не как у людей. Постепенно находилось

много способов «выделиться».

В комнату, где раздевались самые именитые гости, в сопровождении дирекции ЦДРИ вошла женщина. На ней было красивое пальто, богато отделанное мехом. Сразу видно, не нашего покроя. Два широко поставленных дьявольских глаза в секунду метнули по комнате, все и всех оценили. Небольшая головка, с туго затянутыми волосами в пучок на затылке, чуть наклонилась. Большие, красивые губы улыбнулись светской, но искренней улыбкой и густой, низкий, чуть сипловатый голос произнес: «Бон суар». Ну! Или я схожу с ума? Ведь я же сейчас точно таким же голосом, и почти — ну ей богу же — почти в такой же манере произносила «добрый вечер» на русском языке. Но как я попала! Так это и есть звезда с мировым именем. Надо ее рассмотреть очень-очень подробно. Да… Безусловно, в ней что-то было магическое. Глаз не оторвать! Какая-то чудовищная тайна, неразрешимая загадка. Прямо женщина-кроссворд! Так хочется о ней все знать. Прямо как голова Медузы горгоны: знаешь, что умрешь, погибнешь и все равно посмотреть хочется. Ее спутника задержали с автографами. Он быстро вошел с извинительной улыбкой на лице, глядя только на женщину. «Бон суар», — произнес он. Помог ей раздеться, и она подняла на него свои сияющие глаза, ставшие вдруг влажными от благодарности за то, что он спешил, что он уже рядом. Неужели и меня кто-то будет так любить? И я тоже буду ждать! Ах, как хочется любить! В мужчине было все элегантно: и движения, и черный костюм. А вот лицо… простоватое какое-то. Если бы он был один, он был бы даже красив. Но с этой необыкновенной женщиной что-то в нем… не дотягивало до нее.

Женщина села в первом ряду, прямо перед авансценой. Под аплодисменты певец появился на сцене, поклонился публике, а потом, в особенно почтительном поклоне, опустил голову перед своей женой. Когда аплодисменты смолкли, он обратился к залу и сказал, что можно было бы много рассказывать, но все равно, он уже знает — все закончится исполнением песен. И поэтому, лучше сразу приступить к делу. В зале шутка была принята без перевода. Музыканты заняли свои места, и песня повела зал по Парижским бульварам. Без фокусов и сногсшибательных выкрутасов, он пел и существовал на сцене просто как дыхание. Приятный тембр голоса, такой естественный, как то, что в природе существуют мужчина и женщина. В нем была сила и мужское обаяние. А в зале сидела женщина. Я смотрела на нее. Во время исполнения песен она сидела, не глядя на него. Я близко видела ее профиль. От малейших тонких нюансов певца, по скулам у нее пробегали тени, в которых чувствовалось

взаимопонимание и еще что-то особенное. После первой же песни, она встала, послала на сцену легкий поцелуй и, чтобы не брать на себя внимания, быстро прошла за кулисы. Со сцены зазвучали «Опавшие листья». Певец как бы почувствовал себя свободней. Закончил он свое выступление «Се си бон». Это был праздник музыки и любви! Именно это исходило от талантливой пары. В конце концерта они стояли на сцене, такие одухотворенные, влюбленные в жизнь, в свою профессию, в нашу публику, которая принимала их и сердечно приветствовала. Они были влюбленные. Женщина с длинными тонкими ногами, широкими плечами и узкими бедрами, и сильный и талантливый мужчина. Их поведение было лишено жеманства, кокетничанья и фальшивой актерской лжескромности. Оно было в то время новым, именно своей простотой и чувственностью, которое не искусственно подавалось, а существовало естественно и распространялось в атмосфере зала.

Даже крупному актеру, попробуй он в то время привести любимую женщину, посадить ее перед собой в зале в первом ряду, да еще демонстративно поклониться ей — шепот в зале обеспечен, а может еще и фельетончик. Тогда они уже входили в моду. Марку Бернесу так и не удалось в песне спеть: «Самая лучшая женщина, где ты?». Само слово «женщина» — «вело». А «нужно», чтобы как говорил герой нашей музыкальной комедии: «Нужно чтобы вело, но не уводило». И Бернес спел: «Самая лучшая девушка, где ты?» Вечер в ЦДРИ не мог пройти для меня просто, как встреча с популярными мировыми звездами. Так мне хотелось вечно жить, вечно петь, вечно любить, вечно быть красивой, обнять весь мир, любить людей, всем все простить, плакать от восторга и неосознанного счастья, делать ошибки и спотыкаться. Когда я выхожу после спектакля или фильма и чувствую, что на улице плохая погода, что уже поздно, а вставать рано, а я так и не сделала то, что планировала — значит я потратила время зря. Значит, это было не искусство. Раз ничто не возбудило к жизни, не заразило — значит, была очередная мертвечина. Но если и сейчас я хочу поскорей остаться на улице одна, и, петляя из стороны в сторону, пройтись по тротуару размашистым шагом, напевая очередной любимый мотив, если тут же, придя домой, я бросаюсь к зеркалу, смотрю на себя и взвешиваю: ну как? «еще» или «уже»? Если хочется запеть «сердце в груди бьется как птица, ты хочешь знать, что ждет впереди» — значит, это было событие, которое меня подтолкнуло жить на более высоком градусе, чем вчера. Это было искусство!

Среди имен известных артистов в афише Колонного зала была объявлена и моя фамилия. Сколько раз по радио в Харькове

я слушала: «Говорит Москва. Передаем трансляцию концерта из Колонного зала Дома союзов». И вот теперь я сама выступаю в этом сказочном зале. Именно таким — огромным, светлым, легким, улетающим куда-то ввысь, в нереальность — показался мне тогда самый прекрасный зал столицы. За кулисами было известно, что в зале одна молодежь, и что все зрители ждут эту «молодую артисточку». Я сразу поняла, что «молодая артисточка» — это я. За кулисами коллеги улыбались мне кисло и вежливо. Никто не хочет на сцену идти после меня. Так вслух и говорят: «Пусть она идет после меня, я спешу. Молодая — пусть посидит, подождет. А у меня нет времени.» — «Вы подождете?» — спрашивали меня. «Конечно, конечно, пожалуйста». И сидела до самого конца. Сидишь, мучаешься за кулисами от неловкости, всем извинительно улыбаешься и чувствуешь себя без вины виноватой.

Выступали мы вдвоем с композитором Анатолием Лепиным, написавшим музыку к веселой комедии. Эти несколько концертов в Колонном зале остались одним из ярких моментов моей короткой «молодой, бурной популярности». Не успел конферансье Эмиль Радов произнести: «А сейчас на сцену выйдет наша самая молодая артистка кино…» — зал вздрогнул от аплодисментов. Концертных платьев у меня тогда и в помине не было. На сцену я вышла в своем повседневном черном бархатном платьице с беленьким воротничком в горошек. Подошла к микрофону — зал поплыл. Я абсолютно точно помню, что в тот момент мне — до крика! — больше всего на свете захотелось домой к папе и маме. Вот исполнилось то, о чем я мечтала. Но эта ноша мне не по силам, не по плечу. Для того, чтобы ее нести, соответствовать тому, что произошло со мной и чего от меня ждут, — для этого у меня нет никаких возможностей: ни моральных, ни материальных, ни физических. В самую радостную, казалось бы, минуту — апогей популярности — я почувствовала одиночество и испуг, желание спрятаться у родителей от всего, что на меня навалилось, измотало, унесло сон, покой и радость. Думаю, что это был первый звонок, интуитивно точно услышанные тревожные звуки. У меня ослабела сопротивляемость, стали путаться дни, события, числа, лица, имена, знакомства нужные, знакомства ненужные. Мне были приятны просто хорошие люди, а они оказывались «ненужными». А те люди, знакомство с которыми было для меня мучительным, как раз были «нужными». Но душевно они мне были неблизки, неприятны. И я отходила от многих знакомств, сулящих опору…

Когда живешь без компромиссов — такая радость встать

утром, вздохнуть полной грудью и не почувствовать ни в одной клеточке отголоска нечистой совести! А за то, что случалось, сама тяжко расплачивалась. Значит, судьба моя такая — жить по линии наибольшего сопротивления. Нечего завидовать другим.

То были самые высокие пики популярности, всеобщего признания и восторга. Именно так приветствовал Колонный зал. Молодежь увидела в роли девушки из комедии желанный образ. Ждали, ждали чего-то нестандартного, неординарного, ждали, не отдавая себе отчета. Образ явился на экране, и люди восторженно влюбились. Порой мне было неловко. Ну что я в картине такого сделала? Да если бы вы знали, люди, дорогие, что я еще ничего, ничегошеньки не свершила, ни на чуть-чуть! Во мне столько неизведанных сил, что я иногда сама себя боюсь. Я же не отбила для вас чечетку, я еще для вас не сыграла на аккордеоне и гитаре… А в институте, вы же знаете, — в институте я уже пробую играть драматические роли. Люди! В то время такой нестандартный облик, появившийся на экране в таком подвижно-музыкальном, вдруг возрожденном жанре, был нужен. Он возбуждал к жизни, к любви. Так писали в письмах умные люди. Я этого не понимала. Понимаю это только сейчас. Как будто то была не я.

Сейчас, через время, я себя воспринимаю шахматной фигуркой, которую переставляют на доске, она или теряет достоинство, или вдруг резко приобретает его, в зависимости от точно сделанного хода. Тогда я занимала самое высокое место на своей жизненной шахматной доске. Больше так единодушно публика меня не принимала никогда. Сцена Колонного зала была в весенних цветах. Песни исполнялись несколько раз, из зала меня выводили тайком — через ту дверь, где актеров публика не ожидает. У центрального входа собралась огромная толпа людей. Когда же я благополучно вышла на Пушкинскую улицу, кто-то крикнул: «Да вон же она!» От моего бархатного платьица с беленьким воротничком в горошек, как говорится, остались клочья. И так, с неослабевающим накалом, — целых полтора года. Достаточный срок, чтобы привыкнуть, измениться, перестроиться. 1958 год — диплом и выпускные экзамены. На «Мосфильме» запускалась в производство новая музыкальная кинокомедия «Девушка с гитарой». И роль этой девушки была написана специально для меня, с учетом моих возможностей.

Так скажите мне, уважаемые зрители, как тут не закружиться голове? Как не расслабиться сдерживающим центрам двадцатилетнего человека пятидесятых годов? О, сегодняшние двадцать — это совсем не тот наш наивный двадцатник. Ну-ка, без разминки, без проб и ошибок, взять и вскочить в другое

измерение, не задев планки! Конечно, она, головушка, закружилась. И, как выражались у нас во дворе, «очень даже не медленно, а скорее наоборот». В этом измерении неуютно, но зато это место для избранных. Именно от сознания того, что ты избранный — не такой, как все, и начинается история тяжелой и мучительной болезни, от которой нет лекарств. Назвали ее прекрасно — «звездная болезнь». Только на приеме у врача ты с готовностью назовешь другие свои болезни с глупыми названиями: свинка, ишиас, ячмень, радикулит. И умолчишь, и ни за что не признаешься, что ты болен или болел «звездной болезнью». Ей подвержены не только артисты и люди искусства. Ею частенько болеют все те, чья жизнь проходит «на виду». Сейчас я уже знаю все приметы этой болезни. Изучила ее симптомы, все ее этапы. У каждого она протекает по-своему, индивидуально — в зависимости от эмоционального склада и умственных способностей больного. Я очень жалею тех, кого она не пощадила. Восхищаюсь теми, у кого иммунитет победил эту болезнь. Сама я не прошла всех ее этапов, и не знаю, как бы распорядилась своей популярностью Но… Все по порядку.

Значит, тебя занесло в другое измерение. В нем тесно. И другие избранные нехотя выделили тебе уголок и стали ждать, что с тобой будет дальше. Идет довольно скорое привыкание к тому, что ты избранный, необыкновенный. За кулисами нашептывают: «Ай-ай-ай, какая же у вас бешеная популярность! Я ведь в своей жизни всякое повидал… продержаться бы вам вот так лет десять!» — «Что? Лет десять? Да это будет длиться вечно!» Все в порядке. Сознание своей неотразимости в тебе непоколебимо. Никаких советов и замечаний. На все есть ответ и мощный отпор: «Сами знаем. Следите за собой. За просто так люди не будут сходить с ума. А если кому-то не нравится, то на всех не угодишь». И уже не получается как раньше. Ты выходишь на сцену по-хозяйски, чуть расслабленно, как и подобает лидеру, который уверенно руководит настроением масс. От твоей фигуры исходит дорогой аромат недосягаемого величия. Ты искренне улыбаешься профессиональной, отработанной улыбкой: «Я с вами, мои родные, мои ненаглядные». И вновь успех, и вновь победа. А главное — работаешь на рискованных, запрещенных приемах — на пике, не зная, что завтра это уже не пик и не риск. Завтра это уже вчерашнее. Первыми в тебе засекают изменения тонкие люди со сверхчувствительной душой и кожей. Совсем не обязательно — люди искусства. Это люди самых разных профессий. Они впервые увидели начало твоей болезни и поспешно отошли от тебя. При встрече они здороваются с тобой как раньше. Как ни в чем не бывало. Но ведь ты тоже не лыком

шит. Кожа ведь у тебя не медвежья. Иначе какой же ты избранный?! Ты все читаешь в глазах, в фигурах. Эти люди становятся твоими первыми врагами. «Зал! Защити меня от этих врагов своими бурными, долго не смолкающими аплодисментами! Все слышали? То-то!» А на сцене все чаще и чаще сбивки во вкусе, потеря чувства меры. «Я гений, я все могу! А тут какие-то товарищи отвернулись, им, видите ли, не нравится». И с еще более излишней раскованностью выходишь к публике, думая об одном — как бы отомстить этой кучке врагов. Этот «вражеский комплекс» начинает тебя разъедать. Врагов все больше и больше. Ты ими обрастаешь. Только о них и думаешь. Теперь болезнь в разгаре. Поднимается высокая температура. Ее нельзя скрыть. И это понимает зал. Вместе с охлаждением публики угасает и имя. Другие избранные, дождавшись такого финала, очищают свои ряды. Они выталкивают тебя, ты спускаешься на землю. После «звездной болезни» редко кто вставал на ноги. Почти все актерские судьбы с громкой славой проходят через испытание горькое и неизбежное — охлаждение зрителя. Причин много. А главное — редкая возможность и счастливая судьба добиваться из роли в роль успеха. Но такие примеры исключительно редки. Благополучно переболевшие «звездной болезнью» так умны, что расчетливо обходили все опасные тропинки, петляя лабиринтами. Они запутывали ходы. И высокая температура их так и не настигла. В основном, это те, к кому популярность заслуженно приходила в более зрелом возрасте. Мое же «выздоровление» произошло… но об этом впереди.

«Я ВАМ ПЕСЕНКУ СПОЮ ПРО ПЯТЬ МИНУТ»

«Карнавальная ночь» вылетела за пределы страны и начала свое праздничное шествие по экранам мира. И вот со всех концов Земли пошли письма: пестрые, разноцветные конверты из Японии, Индии, Австралии, Чехословакии. Из африканских стран…

Иногда в письмах попадались вкладыши — небольшие проспекты нашей картины, сделанные уже там, «у них». Боже мой, вот бы эти проспекты да принести на студийный худсовет! Что там моя жалкая челка и бледный кусок ноги! «Мамыньки родные! Раздели нашу дочурку, Лель, як липку ободрали!» Все мои платья на рекламах были фасона той страны, из которой пришла реклама. Если реклама с Востока, то на голове и на шее у меня были венки из разноцветных заморских растений и почему-то розовых листьев. А если из Европы, то обязательно с оголенной спиной или декольте. И моя нога обязательно выглядывала из разреза и была той формы, которая нравилась местному художнику. Только при богатой фантазии можно было допустить, будто изображение на рекламе имеет какое-либо отношение ко мне. На одном плакате вся моя фигура была к зрителю спиной, а лицо смотрело строго анфас. Я чуть шею не свернула, все репетировала перед зеркалом — нет, не доворачивалась моя головушка. В моей комнате, в Харькове, папа устроил стенд этих реклам: «Хай усе люди видять! Целый канастас со своей дочурки сделав!» А однажды пришло огромное диковинное письмо, с каким-то приторным запахом, от заморского принца, владельца острова. К письму прилагался русский перевод, где между строк можно было понять следующее: принц видел меня в кино, я ему понравилась, родителям его — тоже. Всей семьей они мне делают предложение посетить их остров. Просьба ответить, когда я могла бы приехать. В письмо вложено несколько фотографий. Принц — с черными курчавыми длинными волосами, в блестящих одеждах. На голове у него сверкающий шлем с торчащими высокими перьями. Фотографии родителей в белых одеждах, сидящих на фоне ажурной беседки. И еще несколько фотографий с видами его владений. «Ить ты якой царек приятный! А, Лель? Ну, волос мы ему обрежем. У нас так не пройдеть… Во ето жених! А? Дочурчинка?» — папа схватил фотографии и побежал на работу. Все наши близкие и далекие, новые и старые знакомые рассматривали этого царька, все охали и ахали. Ведь в Харькове в

то время не видели ни одного человека с темной кожей. Со своими новостями и историями, письмами и фотографиями папа становился в городе изо дня в день все популярнее и популярнее.

Все новые фильмы в Харькове демонстрировались сначала в парке имени Горького, подальше от центра. Как правило, на первом сеансе даже нового фильма народу было маловато. Но только не на фильме «Девушка с гитарой». Мама рассказывала, что в девять утра зал был битком. Через одного сидели наши знакомые и друзья. Вокруг папы уже собралась компания. И мама с удовольствием отсела подальше. На нее все оглядывались, переводили взгляды на папу и перешептывались: «… на него больше похожа». В фильме «Девушка с гитарой» актер Блинников, исполняющий роль моего отца, то есть роль отца героини, смотрит на свою дочь с нежностью, радуясь ее успеху. На крупном плане актер, обведя глазами зрителей, с гордостью произносит: «Моя дочь». И вдруг на весь кинозал мой папа громко с обидой сказал: «А ты сначала попробуй воспитай. На готовое каждый скажить. Ыть ты якой. Мыя-я до-о-очь…» Зал разразился веселым смехом и одобрительными аплодисментами. «Правильно, Марк Гаврилович!» — поддержали папины дружки. Мама говорила, что от стыда чуть сквозь землю не провалилась. Что делать, папочка мой воспринимал все правильно до определенного момента. Какая же это «его дочь»? Он, Марк Гаврилович, сам и есть отец актрисы. Но мы-то с мамой знали, что это его особенная, личная игра, его вот такая внутренняя эгоцентричность. Как бы там ни было, но папочка не остался в тени. И по всему городу пошла весть, что родители были на сеансе и что роль отца якобы исполнял не актер, а сам «ее» отец. И что мать «ее» сидела в другом конце зала, что «ее» родители вроде как уже разошлись. И еще… Словом, жить «на виду» моим родителям становилось все сложнее.

Но эти радости местного масштаба были опять же из области «маленьких радостей для дома с оркестром». На самом деле ситуация с фильмом «Девушка с гитарой» была не из веселых. Во-первых, картина во многом была вторичной. Та же самодеятельность, тот же директор, только лишенный сатирических красок. Та же героиня, поющая песенки и конфликтующая с директором по пустякам. Изменилось только место действия: Дом культуры в этом фильме заменил музыкальный магазин. Очевидно, успех «Карнавальной ночи» придал уверенность и смелость работникам рекламы, и вторая комедия щедро рекламировалась еще задолго до выхода на экраны. Картину ждали с нетерпением: «Дайте чуда!» А чуда и не произошло. В чем причина? Это вечная загадка. Почему не

получилась картина в целом, если все отдельные составные части были достойными? К большому сожалению, прежняя группа навсегда распалась, и лишь авторы сценария остались прежними. Новый режиссер, оператор, звукооператор. Музыку к фильму писали Аркадий Островский и Юрий Саульский. Каждый из создателей фильма — человек удивительно талантливый, а цельного талантливого произведения не получилось: не было взаимопонимания, взаимодополнения, взаимопроникновения.

Фильм снимался накануне фестиваля молодежи и студентов — летом 1957 года. И в самый разгар съемочного периода пришло пожелание-директива: в канву фильма вплести мотив фестиваля. Пусть самодеятельный коллектив музыкального магазина адресует номера своего концерта этому важному событию. В сценарий, в диалоги немедленно были внесены изменения. И на всем протяжении съемок в картине то и дело что-то исправляли, добавляли, переписывали. Финальный концерт самодеятельности был снят совместно с иностранными коллективами почти документально. Их привозили к нам на съемку буквально на несколько часов. За это время нужно было не только с ними познакомиться, попривыкнуть, но еще выбрать из их программы подходящий номер и как-то меня в нем задействовать. А значит, мне все это приходилось осваивать немедленно. Нет, нет времени учить — бери нахально, с ходу, «дуй свое» — вот уж где я вспоминала папу добрым словом. Далее, надо быстро в тонателье записать фонограмму этого номера. Опять же скоренько перебежать в павильон. Отрепетировать номер и снять, желательно, с одного раза! За те две фестивальные недели кого мы только не встречали и не провожали. Перед нами проходил калейдоскоп лиц, национальностей, диковинных мелодий, пестрых одежд и всевозможных языков. После приказа «Мотор!», которому испуганно подчинялись все, наша группа любовалась танцем полуголых черных женщин из Африки. В это время художник по костюмам и администрация жарко спорили, решая вопрос, каким бы образом их «прикрыть». «Нет на них худсовета», — острил кто-то из группы. В конце концов ограничились одними крупными планами — лицами, опустив экзотические движения фигур танцующих. Подпрыгивала я в странном ритме в кругу с жизнерадостными болгарами. Пела вместе с французами и бледными альбиносами из Шотландии. Все было интересно, и все сулило успех. А когда картину смонтировали целиком, она разбилась на две несовместимые части. Поначалу завязывалась какая-то жизнь в музыкальном магазине, образовывался свой микроклимат. И вдруг эта жизнь прерывалась чем-то инородным.

Вместо ожидаемого концерта в финале шли вставные номера. Может, не будь всего этого, в результате появилась бы просто милая картина, не претендующая на успех своей предшественницы. Но поди знай, что да кабы.

Была и еще одна причина, по которой фильм «Девушка с гитарой», выйдя на экран, уже заранее большинством зрителей воспринимался негативно, с предубеждением. Для того, чтобы объяснить эту причину, мне придется крепко взять себя в руки и безжалостно по отношению к самой себе сделать экскурс в то время, которое прошло как период «бурной молодой популярности», когда «Девушки с гитарой» еще не было, а «Карнавальная ночь» уже побила все известные рекорды по посещаемости зрителей.

Но прежде вот о каком событии, тоже первом в жизни. Еду я в троллейбусе номер девять, который довозил до ВГИКа. Сидит рядом со мной мужчина и читает газету «Советская культура» Было это через несколько дней после выхода на экраны «Карнавальной ночи». И вдруг — в газете моя фотография с белой муфточкой! Я как икну — воздух попал не в то горло. Все: «Что с вами, девушка?» — «Да ничего, ничего», — говорю. И кашляю, не могу остановиться. А этот дяденька начинает вслух читать статью, очевидно, своим товарищам по работе. Статью, где рассказывается о фильме «Карнавальная ночь». Он произносит мою фамилию. А я на них смотрю во все глаза, давлюсь от кашля, и так хочется сказать им: «Товарищи! Так ведь это я сама!» Оказывается, один товарищ уже видел картину. Тут же включился в разговор и говорил про меня такое… Вот это была реклама! Я заглянула в газету и на всю жизнь запомнила фамилию автора статьи — Шалуновский. Ну, а теперь все по порядку…

Значит, это был именно тот период, когда у меня в Москве было в день по нескольку выступлений. В то время, когда в калейдоскопе навалившихся на меня событий я не успевала ничего сообразить. События действительные и события придуманные смешивались в непрерывном круговороте. И я порой уже не понимала, что же на самом деле произошло со мной, а что нет. Все перед глазами мелькало и пролетало. И я существовала с недоумением, да чего там с недоумением — с полнейшим отсутствием умения, этого бесценного дара, умения жить «на виду», когда необходимы дипломатический расчет, холодный ум и нечто особенное, совсем другое, несовместимое с моим внутренним устройством. При всей ограниченности и провинциальности я чувствовала, что моя натура делает частые перехлесты, неверные шаги, непоправимые ошибки… А как это рассчитать? Как избежать ошибок? К кому обратиться?

Самым сложным было то, что я не понимала: кто же я теперь? Как раньше — студентка? Не получалось. Новые обстоятельства не давали мне счастливой возможности оставаться по-прежнему той безмятежной и радостной. Своей популярностью я всех раздражала, всем мешала. Что же делать? Со стипендии снята. Да и с теперешней жизнью «на виду» не больно разгуляешься на студенческую стипендию. Мои родители, при всей любви ко мне, больше, чем на оплату комнаты, прислать не могли. Эстрадной концертной ставки у меня еще не было. Ведь я же была не актриса, а студентка. А за концерты в Колонном зале я с удивлением получила по нескольку рублей за выступление — это если в сегодняшних рублях, новых рублях. Арифметика простая. Такое бесставочное выступление ровно семь раз помещается в размере гонорара из голубого конверта. Если учесть, что такие бесставочники, как я, оплачиваются месяца через два после выступления, а голубой конверт вручается тут же, после концерта, то меня тогда эти два десятка голубых конвертов здорово поддержали. Эх, если б знать, где упадешь, — подстелил бы. Но жизнь распорядилась жестоко. И не подстелила.

Теперь я очень твердо и крепко знаю, какие концерты законные и какие концерты незаконные. Сейчас, если мне скажут: «Пожалуйста, выступите у нас. Мы вам в голубой конверт положим голубой карбункул». Э, нет… Это тогда, в те времена, девушка из Харькова, на которую свалилась оглушительная популярность, неприспособленная к столичным новшествам, обычаям, правилам и антиправилам, не сумела разобраться во всех запутанных тонкостях. Меня использовали ловкие люди, пугали статьями, приглашали и забывали где-то посередине, переставляя меня, как шахматную фигуру, делавшую погоду в данный момент на шахматной доске сборов и популярности. И по всем законам жизни это должно было рано или поздно кончиться.

Как-то раз, в один из дней съемок «Девушки с гитарой», вызвали меня в редакцию одной популярной газеты. Редактор, милый солидный дядечка, пожурил меня за эти концерты. Рассказал мне о ловких администраторах, которые на популярных именах делают деньги незаконным путем. Я ему дала честное слово, что больше это никогда не повторится. Но как же на душе было нестерпимо стыдно и тошно!

«Алло, алло, как ты себя чувствуешь, алло», — скрывая сильное волнение, задыхаясь, кричала из Харькова мама. Наверное, что-то произошло с папой. И она от меня это утаивает. Но папа рядом. Я же слышу, как они о чем-то перешептываются. Тогда почему мама не дает ему возможности говорить со мной? «Лель, дочурка не у курси… Ты скажи, як мать, пока люди не

добралися». — «Мам, я же все слышу!» — «Дочурочка, моя дорогенькая, якой позор, на увесь Харькув! Тебя ув газете прописали. Мы с Лелюю не выживем…» Значит, тот дяденька не только пожурил…

Тот редактор, который беседовал со мной, написал фельетон об артистах эстрады, получающих голубые конверты. И главной фигурой выступала «самая молодая актриса, еще студентка, но уже…» Фельетон могут прочесть не все, но что-то компрометирующее тебя, конечно же, слышали все.

Прошлое, как талантливый актер-лицедей, обожает являться в самых разнообразных обличьях, чтобы напомнить о себе. Слегка прикоснувшись, оно тем самым мешает тебе еще раз потерять голову от нынешних твоих успехов. Хотя оно и знает, что ты теперь ученый. Но все же так, на всякий случай… Иногда оно приобретает обличье приятной женщины с двусмысленной улыбкой, которая думает, что за давностью лет ты все позабыл. А чаще всего прошлое предстает в виде короткого анонимного письмеца. Но есть любители сохранять неприятные истории. Это редкая разновидность антикваров. Не так давно, во время кинофестиваля в Москве, ко мне подошел мужчина. Что-то говорил о моих последних ролях. Но где-то очень, очень далеко я почувствовала знакомые колкие нотки. Теперь у меня расслаблений не бывает…

И вот же судьба — фамилия журналиста, который написал ту добрую статью о веселой комедии, и фамилия автора этого фельетона абсолютно одинаковые. Если бы не одна-единственная буковка… Одна лишь буковка, а моя жизнь повернулась на 180 градусов. И опять, без разминки, выскочив из огня, я очутилась внутри холодного айсберга. Пошли пачками письма резкого негативного содержания. Не знаю, как у меня хватило сил — наверное, только по молодости — чтобы не упасть, не разрыдаться, не сказать: не надо так… Там, в глубине души, у меня все обрастало горькой, печальной болевой пленкой. И самое большое количество писем, и самые колкие из них шли из родного города: «Нам стыдно за вас. Вы опозорили наш город. Ваши фильмы смотреть не пойдем». Я заглядывала в лица людей, пытаясь поймать добрый взгляд. Но уж слишком раздражала всех эта моя бурная, неспокойная популярность. Я понимала, что уже никто не в силах помочь. Но как же мне нужно было тогда почувствовать рядом живое человеческое тепло!

Спасение у родителей. Ни слова, которое могло бы причинить боль. При маме папа держался. Но без нее бросался ко мне, обнимал меня: «Дочурочка, моя дорогенькая, як же ж так? А можа, ты главное недоговариваешь, а? Як же так? Мы ж з Лелюю

после войны у праздники проводили массовку. И нам, бувало, деньжаты зразу дають. А того „безлюднага“ фонда мы з Лелюю годами ждали. Што ж теперь, за ето казнить во так во…»

Родители отправили меня в Сочи к папиному другу-баянисту, чтобы я отошла, сменила обстановку… Мои дорогие наивные родители!… Я сидела на пляже. Вдруг в спину мне попал камешек. Потом второй. Потом сдавленный хохоток. Я быстро собрала свои манатки и убежала. В одном популярном кинематографическом журнале поместили на меня карикатуру. Значит, на фельетоне и еще на нескольких статьях в других газетах по тому же поводу эта история не кончилась. На карикатуре я была изображена в виде краба с многочисленными щупальцами, которые со всех сторон сгребают деньги. Только вместо головы краба художник вмонтировал лицо героини из веселого фильма, где она добро и искренне желает людям всего хорошего. Ну как после этого должны ко мне относиться, если я сама себя возненавидела! Сломалась, сломалась совершенно. Надломился хребет. А без него никакие подпорки, никакие костыли не помогут. Говорят, такие травмы только время излечивает.

Сейчас растет стойкое поколение. Поколение интересное. Если ругают фильм, спектакль — значит, надо его обязательно посмотреть и иметь свою точку зрения. Если любимого кумира задевают в статейках — его популярность пуще прежнего возрастает. Все наоборот. Сейчас таких едких фельетонов нет, но статьи все по тому же поводу — о голубых конвертах — появляются. Читаю недавно такую статейку, и вижу в ней фамилию молодого актера, с которым у меня завтра съемка. Расстроилась, не могла долго заснуть: вспомнилось то горькое время. Я готовилась к утренней встрече с этим милым актером, подбирала слова, чтобы он не был одинок, в стороне. Думала, скажу ему, мол, держись. Сделай вывод для себя, и увидишь, все пройдет, все забудется. А он пришел — бодренький. На лице ни тени. Вот сила воли. «Привет, родные мои художники! А что с вами? Вы нездоровы или у вас неприятности?» — спросил он у меня.

А осенью того же 1958 года мне пришлось выступать с другими киноактерами в одном из московских клубов. Прошло всего полгода. А я уже переродилась. Моя кожа стала так прозрачна, что даже косые взгляды, незаметные уколы вызывали ощущение катастрофы. То, как долго шептались, каким же номером меня выпустить на сцену, уже не предвещало ничего хорошего. Какую же я теперь представляю собой фигуру? Естественно, не королеву. Но и не пешку… пока. Шепчутся. Тогда

кто я? Скорей бы, скорей бы это произошло. Что-то окончательное. После всего это была первая встреча с публикой.

Теперь я смотрю на себя со стороны: на сцену, опустив голову, медленно выходит девушка с грустным лицом. Я боялась улыбнуться. Я просто боялась «тех» улыбок, «тех» песен, боялась себя «той». Романс из фильма «Девушка с гитарой». Я спела две строчки. В зале раздался робкий одинокий свист. Потом по залу пронесся гул — с самого заднего ряда до самого первого. И все смолкло. В зале была тишина гробовая. Я сказала: «Извините». И медленно пошла за кулисы. Я понимала, что теперь всю жизнь буду обливаться холодным потом, вспоминая тот краткий миг. Страшное помнится долго. Прошлое, как бы оно ни отдалялось, живет внутри.

На этом можно поставить точку. Собственно, это и есть печальный конец короткой истории. Истории, начавшейся так беззаботно и празднично, весело и эксцентрично. Можно было бы поставить точку, если бы не жизнь, которая продолжалась. Хотелось жить! Теперь меня поражает, какая же это была сила, сила, бьющая через край! Когда это разрывает тебя, ты не задумываешься, какие силы где-то там хотят растоптать твое желание радоваться жизни. И пусть между двумя волнами моей жизни лежит долгий, бесконечный отлив. Но именно эти годы долгого отлива заслуживают внимания. Именно в запутанных и извилистых уголках головного мозга, именно с того времени откладывались самые острые впечатления, переживания и сны — вперемежку с дурацкими историями, сплетнями и анекдотами. Все это пестрое богатство долго таилось и не верилось, что придет время и оно выберется на свет. Эти годы меня закалили. В них заключены начала, которым потом суждено вылиться на экране в ролях женщин, прошедших испытания жизнью.

Зато теперь я знаю, что, пройдя сквозь самое невозможное, можно перенести все. И, все перенеся, человек может быть даже счастлив! Главное — суметь не растерять остатков доброты, человечности и душевного тепла.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ВЫСШИЕ КУРСЫ

ОПЯТЬ ПРЕМЬЕРА

Завтра вечером, 26 декабря 1982 года, состоится премьера, которая в моей жизни станет не просто премьерой очередного художественного фильма, а событием совершенно особым, как бы повторяющим через двадцать шесть лет, именно в конце такого же декабря, то, о котором я рассказывала выше. А ведь ни на одной из последних картин мне и в голову не забредала подобная мысль — оглянуться в прошлое…

Начиная с февраля этого года, каждый день на съемке я встречалась с человеком, с которым все эти долгие годы нас незаметно связывала тонкая ниточка. Тогда, в молодом возрасте, нас обоих настигла шумная слава. И этот шлейф сенсационного прошлого связывал с нашими именами и восторги, ну и улыбочки, и, конечно, насмешечки. Ну-ка, а теперь как? Через четверть-то века?

Эльдар Рязанов. Постарел? Нет. Погрузнел? Ого! Что, стал крупным мастером, метром? Стал. Можно почить на лаврах и срывать цветы славы? Такую мучительную неудовлетворенность собой встречала редко.

По-прежнему жизнерадостен. Доброжелателен. Предан друзьям. Жизнелюбив. Ироничен к свой персоне. Депрессию переносит тяжело, но быстро ее побеждает. Счастлив, если вокруг атмосфера острого юмора. Таким я открыла его через двадцать шесть лет. На съемках картины «Вокзал для двоих».

Было ли у нас «на заре туманной юности» взаимопонимание? Нет. Не было. Наоборот. Было неприятие. Ему категорически не нравились мои штучки-дрючки. А мне категорически — его упрощенное, «несинкопированное» видение вещей. Я млела от чувственных джазовых гармоний. Ему нравились песенки под гитару: «Вагончик тронется, перрон останется». Антиподы? Хотя работали нормально, если не считать нескольких вспышек раздражения, которые я вызвала у режиссера своей манерностью. Работали без пылкой любви, что вполне нормально в отношениях режиссера и актера. Может, потому я никогда и не страдала, что не снималась у него. И думаю, это взаимно. Поработали и разошлись. А потом сами были удивлены, что «Карнавальная ночь» имела такой ошеломительный успех. В 1959 году в небольшой роли приняла участие в его фильме «По ту сторону радуги». В 1962 году вместе с Вячеславом Тихоновым «пробовались» в фильм «Гусарская баллада». Тихонов тогда только начинал свое прекрасное восхождение, а у меня было время… Но о нем речь впереди. Думаю, та проба была далеко не

лучшая в моей жизни. В 1974 году вместе с Андреем Мироновым еще раз «пробовались» в фильм «Ирония судьбы». Но я как-то не почувствовала, что режиссер ищет новую лирическую интонацию. И на пробе «давила бодряка». Тоже обидно, что не снималась. Но…

Но все же проба в «Гусарской балладе» мне запомнилась крепко. В те дни произошла одна маленькая кинематографическая историйка. Маленькая нелепая историйка, которая развела нас с режиссером аж до 1980 года.

В кино, когда фильм задействован, все профессии от помрежа до режиссера-постановщика — главные винты и винтики. Есть такие винтики, которые входят в доверие к рулевому и, пользуясь тем, что рулевой занят более важными проблемами, чем сплетни, интриги, испорченный телефон, в удачный момент тихонько нашептывают и подливают яду. Когда в пене, в мыле, в азарте режиссер тащит картину, любой дурацкой реплике можно придать гиперболизированное значение. Остановиться, разобраться нет сил, времени — план, люди, здоровье, актеры, студия, бессонница… Видно, чем-то я то ли не угодила, то ли была просто неприятна тому винтику. Но яд был пролит. И, как это ни обидно признать, очень талантливо. И в обе стороны. Я насупилась. А режиссер как бы вычеркнул меня из своей творческой жизни. Так и жили мы каждый в своем мире, пока лет десять назад виновник этой полузабытой истории не напомнил о себе. Видно, совесть все-таки мучила, или что другое заставило, бог его знает. Признался, вроде бы и шутя… Эх, люди, люди… Ну узнала я. А ведь десять лет-то прошло! Что ж, звонить режиссеру? Мол, привет! Все теперь прояснилось. А вдруг для него вообще все было не так? Подожду. Жизнь сама расставит свои акценты. «Терпение, терпение, мой друг…»

Весна 1980 года, ВТО. Вечер в кругу артистов. Артисты в зале, артисты на сцене. Замечательное веселое настроение. Маленький зал — битком. Сижу, тесно прижатая к чьей-то жаркой спине. Рядом очаровательная черноглазая женщина с короткой стрижкой. Мне понравилось, как добро смотрит она на все вокруг. Кажется, я ее где-то видела. Может в кино? Да вроде нет… А… я ее видела на студии. Ну да, на студии «Мосфильм». Чья-то жаркая спина потеснила меня, человек развернулся ко мне лицом, и я сказала: «Ой, Эльдар Александрович, здравствуйте!» — «Здравствуй, Люся… Познакомься, это моя жена Нина.» Мы все трое улыбнулись друг другу, словно не было обидных лет глупой размолвки. Она осталась в горьком и несправедливом прошлом. Личное счастье кинематографиста — редкое счастье. Такая встреча — кардинальный вопрос не только его судьбы, но и

главного в его жизни — творчества. Как иногда с восторгом обнаруживаешь в командировке, экспедиции или в зарубежной поездке, что человек, которого ты считала неприступным, угрюмым, заносчивым, вдруг оказывается таким сильным, милым, добрым, компанейским и открытым. Ну просто диву даешься. Почему он дома не такой? Начинаешь оправдывать — работа, усталость, заботы, неприятности. Возвращаешься домой. Приходишь в какое-то общественное место. Увидишь этого новооткрытого человека, захочешь броситься к нему и уже издали чувствуешь в нем неприступного, заносчивого, угрюмого — того самого, каким он казался поначалу. Что такое? Почему так? А, понятно… рядом близкие люди, члены семьи… Со временем смотришь его работы на экране… Куда девалась былая открытость человека, любовь к людям, широта?..

А бывают встречи прекрасные! «Ирония судьбы» — это совершенно новая, нежная нота в творчестве Эльдара Рязанова. Я была еще вдалеке от режиссера, но шестым чувством постигла, что в его жизни что-то произошло. Что-то ранее дремавшее, но очень важное сильно всколыхнуло изнутри этого художника.

И вот встреча. Как только я заговорила с той очаровательной женщиной на вечере в ВТО, я все поняла. Я почувствовала в ней покой и надежность. За этой величавой хрупкой женственностью, за нежным голосом скрывается стальная выдержка и воля. Какое у нее сильное мужское рукопожатие. Она талантливый редактор, хотя никогда не работает в картинах своего мужа-режиссера. А в «Вокзале» она была для нас троих: Рязанова, Басилашвили и меня — всем. И первым зрителем только что отснятого материала на мониторе. И покоем. И выдержкой. И стойкостью. И терпением. И нашей любовью. На съемках я все смотрела на часы — когда же кончится у нее рабочий день? Почему она задерживается?

Жаль, на бумаге трудно передать атмосферу конца марафона, ведь каждый фильм — это марафон. С первого дня в него впрягаются люди всех профессий. Каждый со своим делом тянет вперед, не имея права замешкаться. И тут уж видно все: кто сошел с дистанции, кто не справляется и кто отстал. Видно, как другие, подхватив дополнительную нагрузку, тянутся из последних сил к финишу. К концу марафона это уже не те прыткие кинематографисты, которым все ясно, сил полно, фантазия бурлит, азарт перед новой картиной захлестывает. Через несколько месяцев съемок это обессиленные, измученные люди, потому что все силы отданы тому, что на пленке. И больше топить нечем, нечем топить! А еще нет финала, важнейшей сцены в фильме.

В «Вокзале» два финала: летний финал и зимний финал-

эпилог. Первые съемки фильма начались с зимнего эпилога. А самый последний съемочный день — летний финал. Летний финал снимался в августе, на улице было + 8°.

Через всю картину в кадре два актера. Два актера? Обман зрения. За этими двумя огромная махина — Вокзал. Он главный персонаж фильма о любви. Этот «неодушевленный предмет» дышит, кипит, капризничает почище, чем самая несносная кинозвезда. У него свои планы, расписания, опоздания, свидания и расставания. И вот сейчас на этом вокзале произойдет двойное расставание — и кинематографическое в сцене, и человеческое за кадром. Все готово, и только нет поезда. Вполноги проходим мизансцену — для оператора, для техники. Большая сцена одним куском с многочисленными переходами. Люди несут в руках осветительные приборы, провода, кабели. А поезда нет и нет. Исчезло тусклое солнце. Пошел холодный мелкий дождь. Узнаем, что по каким-то причинам поезд сможет быть в кадре вместо получаса только двадцать минут. Успеем? Бьет колотун. Мы с Олегом Басилашвили, как две собаки на зимовке, которым не дают есть, чтобы не заснули перед важной дорогой, ходим туда-сюда, дрожим от холода и нервной трясучки. Последняя самая важная сцена прощания — выдержать, сыграть! Она наинакаленнейшая. А я уже не могу. Кончаются физические силы, а главное — вера в себя. Она иссякает на глазах. Еще несколько минут, и внутренний поезд моего финала промчится мимо. У меня лицо голубеет от холода и от этой нервной трясучки. Ах, как мне нужно немножко, ну совсем немножко тепла и веры. Нина, ну скажи, что веришь, что мы проскочим. Неужели мне только кажется, что я не выдержу? Почему ты так спокойна? Я смотрю на Эльдара. И вижу только абрис крупного торса, стянутое серое лицо, а в воспаленных от бессонницы глазах — боль и сопереживание. Как важна сцена, как важна! Сколько же может держать на плечах эту железную «шарманку» наш оператор Вадим Алисов? Он хоть и молодой, но сейчас совсем не тот, что был поначалу. Его прекрасные бархатные глаза, доставшиеся от красавицы-мамы, знаменитой «Бесприданницы», сузились и обесцветились. Ну что там с поездом? Еще не показался? Черт, черт, черт! Вот уже и самый терпеливый в мире партнер проявляет беспокойство. Какой интересный человек. Я бы на его месте возненавидела меня на всю жизнь за проклятое дерганье, раздражительность, придирчивость. Я бы на вашем месте, Олег Валерианович, послала бы меня далеко-далеко. А вы терпите. Интересно… работали с актером, работали, общались-общались, давились и лобызались в тесных купе в любовных сценах, но так и остались на «вы». Но уже конец. Вот только покажется поезд, и

понеслась наша последняя встреча. И вы, Олег Валерианович, не будете больше мучиться в «Стреле» между нашими съемками и спектаклями БДТ. И от меня отдохнете. А может, как-нибудь ненароком вспомните… И даже взгрустнете, что все кончилось. Да, вы знаете, я поняла одну вещь: какие бы качества и черты ни входили в понятие «интеллигентный человек» — выдержанность, как у вас, — на первом месте. Ну что же с поездом? Наша администрация с рупорами, переговорниками — все, как чапаевцы, смотрят только в одном направлении — туда, откуда должен появиться поезд. Олегу хорошо, он в пиджаке. А я в нейлоновой кофточке. От ветра в ней, как в холодильнике. А вот расслабься, убери на секунду боевую готовность — и тут уж точно «схватишь туберкулез, дочурка, енто як закон». Что? Уже показался? А! А-а-а-а!!! Ну, как ты говорил, единственный на свете? «Вжарь, як следуить быть, дочуринка, в кровину, тысячи вовков твою матку зъешь!» Вот и полегчало. Уже совсем легко, тепло, совсем тепло. «Внимание! Двинулись паровозы… первые… так… вторые… пошли люди под мостом… так… пошла массовка по мосту… так… Олег приготовился. Люся пошла — мото-о-о-ор!!!»

Как избитые, спускаемся мы с того незабываемого моста «расставания». Во всем теле такая пустота, такой тупик, что скажи повторить все сначала — нет, нет, ни за какие блага на свете! Это же самый последний день, последний. Нина, что с тобой? Бледная, слезы… Ты была так спокойна, так уверена… Прости, прости… Ох, как часто моя героиня цеплялась за твое хрупкое плечо.

Но вот и премьера. Вместо положенного одного вечернего сеанса в Большом и Белом залах московского Дома кино назначили по три сеанса в обоих. Так бывает лишь во время международных фестивалей. Никита Михалков, Нонна Мордюкова, Олег Басилашвили, Вадим Алисов, Александр Ширвиндт, художник Александр Борисов, композитор Андрей Петров, Эльдар Рязанов — хочешь-не хочешь, фыркай или принимай, но каждый в какой-то мере «пророк» отечественного искусства. Пальто лежат вповалку на перилах, на поручнях — не хватает номерков. Нет мест для группы, нет мест для уважаемых людей. Неудобства, суета, нервы, неловкость. На сцену вышел взволнованный Эльдар и как всегда откровенно сказал о том, что чувствует: «Вы знаете, сегодня до трех часов ночи не спал, нервничал. Но вы пришли, и я так рад. Приятно, когда хотят посмотреть твою картину. Спасибо.»

Премьера — это праздник. А у меня никак не получалось праздничного состояния. На радость тоже нужны силы. На экране

мелькают кадры, кадры… А за каждым из них…

За эти годы мы с режиссером стали зрелыми людьми. У нас обоих выработались новые мерки в оценке людей и друг друга. Теперь я знаю цену тем простым гитарным трезвучиям, в которых таятся корни понимания миллионной аудитории. Это особый дар — найти именно такое наисложнейшее, простое звучание. Как же нам, двум новым людям, нужно было обоюдно тонко испытать силы друг друга, слить их воедино и работать обязательно в дружбе и любви. В любви! Ведь фильм о любви. Любовь в кадре. Она должна быть в атмосфере и за кадром. Надо было быть предельно бдительным и тактичным. Нельзя было допустить намека на обидную интонацию. Бережность, бережность, уважение и терпение. И забегу вперед: взаимопонимание состоялось. С самого начала. Только поначалу робко, с заминками. А потом все круче. Все терпимее — к просчетам и ошибкам друг друга, потому что обоюдное уважение росло и крепло с каждым съемочным днем. И что самое показательное — не прекратилось после конца этой работы. Когда каждый занялся уже новым делом…

И все же история работы над ролью Веры не совсем обычная. У меня еще не выветрилось какое-то глупое детское отношение к материалу при первом прочтении роли. Оно состоит из сплошных эмоций, а реальность еще где-то далеко-далеко. Это ворох восхищенных интонаций, неосознанных обрывков чего-то услышанного. Короче, сразу одеваешься в роль, приходишь в такое возбуждение, испытываешь такой замечательный эмоциональный подъем! Ну что за профессия такая распрекрасная! А потом вдруг трезвеешь! Наступает прозрение. Это жестокая метаморфоза. И начинаешь разрываться между прежним радужным многообещающим замыслом, и тем, что обнаружила, когда окунулась в роль.

В этом фильме отрезвляющим обстоятельством явился типичный кинематографический казус. Уходила зима, а последние кадры фильма — снег. «Снежный эпилог». Итак вот, если бы не «уходящая натура», фильм снимался бы сначала, с первого кадра, а не с конца. И думаю, что это был бы уже совершенно другой фильм.

Первый, самый первый съемочный день. А снимаем последние кадры картины. Настроение — бодрячок. Шуточки, юмор, остроты, притирочки друг к другу. Веселый автобус мчит съемочную группу по снежной дороге к Люберецким карьерам. От Москвы расстояние — тьфу, а бескрайний снежный покров, как в Ледовитом океане. Повторяюсь, но для меня любая красота, где холод — это ужас, это война. Что ж, «зажав свое сердце в руке», я

делаю свое дело. Стремительно — любовным бегом перекрываем расстояние, метров в пятьдесят, с репликами типа: «Что ты собираешься делать, когда выйдешь отсюда?» — «Жить с тобой, моя дорогая!» Сняли дубль. Но решили снять еще один, а потом уже разбить тарелку на счастье. Есть такой ритуал — бить тарелку после первого отснятого кадра. Осколки берут на память. У меня много таких памятных сувениров. Снимаем второй дубль. Потом и третий… Несколько дней тому назад я еще находилась в тропической стране на всемирном кинофестивале — в Маниле, на Филиппинах. Там жара. Вода в океане горячая — моя. Организм за двенадцать дней только-только попривык к тропическому жаркому климату, а мы раз — и уже в Москве. А тут родные русские морозцы в полном разгаре, двадцать два градуса ниже нуля. После третьего дубля чувствую — дыхание ни туда ни сюда. Голова закружилась, покрываюсь испариной, подкатывает тошнота. Я начинаю тихо и безропотно умирать. Прошептала гримеру, что мне плохо. Вползаю в обледенелый автобус. Но мне уже не холодно. Или холодно — не знаю. Мне уже все равно. Сухими губами ловлю валидол. Запаха нашатыря не чувствую. Но вслушиваюсь и соображаю изо всех сил! Тянутся все жилки к жизни, преодолевают. Но так слабо, как в том надвигающемся мрачном наркозе, с которым справиться уже не в силах. Значит вот как это происходит… Внутри все притихло. Но хоть бы что-нибудь булькнуло. Гример по моему взгляду понимает, что пока не надо никому говорить. Там, за окном автобуса, кипит жизнь! Перекур. Сейчас разобьют тарелку. А во втором кадре «ребятки» (это мы с Олегом Басилашвили) побегут сначала на камеру, а потом камера будет снимать их спину. А они будут бежать долго-долго, пока не превратятся в две черные точки на белом снегу. Не хочу, не хочу превращаться в черную точку. Неужели же я вот так, без сопротивления, вот так вяло, нелепо сдамся, уйду еще дальше, перестану слышать и соображать? Неужели папе тоже приходилось вот так же исчезать? Он был на краю несколько раз, но поднимался. Папа, папочка… Захотелось плакать, участилось дыхание. Хорошо же начинаю новую роль. Эльдар говорил, что моя Вера любит героя по-настоящему. Как это «по-настоящему»? Как в первый и последний раз? Сама умрет, но его спасет? Как декабристки? Понятно, это не Офелия и не Джульетта. «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Так, что ли? Мамочка, как ты. Да, как ты! Выдержала войну, выучила меня, вырастила Машу, прожила рядом с нашим папой. Ну неужели же я с собой не справлюсь? Силы небесные, ведь это так несправедливо, неужели эти первые кадры могут быть моими последними? Это невозможно! Ой-ой-ой, сейчас, вот сию минуту я точно ощутила

это состояние, только сейчас… Я уловила единственную верную интонацию финала роли. Ах, черт, только первый день, а уже финал. Без разгона бросайся сломя голову в первый финальный кадр. Но что ж, умру вместе с Верой. Но дотяну героя, спасу его! Он не опоздает к утренней поверке. Ноги ватные, губы вякают. Глупо подморгнула гримерше. «Люся готова? Олег готов? Давайте дальше, ребятки мои милые». Ну, Эльдар, иду умирать. И пусть это будет на экране. Стыдно тебе за меня не будет. Господи, как там у Пастернака? Ну, память, память… Сейчас мне это очень нужно… «Не читки требуют с актера, а полной гибели всерьез». Гибель всерьез — вот, вот, вот оно.

Теперь я буду всю роль профильтровывать через состояние правды в финальной сцене. Теперь я не буду хвататься за возможные комедийные краски, чтобы вызвать желанную реакцию смеха. Пусть улыбка, ее предостаточно. Перестройка шла на ходу. Правда жизненных ситуаций диктовала другой стиль картины. Совсем иной, чем тот, который виделся авторам за рабочим столом вдали От вокзала с его трагическими буднями и настоящими человеческими перевоплощениями. Картина Эльдара Рязанова вырвалась в реальную жизнь. И, как гибкий художник, он услышал эту интонацию. И на ходу перестраивал картину по новому камертону. В фильме не появилось ни одной новой сцены. Но каждая сцена сценария перестраивалась изнутри. Один из авторов сценария сам режиссер — ему и карты в руки. И фильм вбирал новые и новые — самые узнаваемые краски, реплики, которые только надо было уметь отобрать из реальной жизни, что бурлила вокруг нас. При этом режиссер везде находил «плюс», приподнятость над обыденным, остроту, что так характерно для его таланта.

Премьера. Публика реагирует так, как, наверное, мечталось режиссеру. А вот и первые аплодисменты. И реплик не слышно. Ну, тут и я аплодирую. Здесь про себя забываю. Здесь сцена с Михалковым. Грандиозная идея пригласить на роль проводника Никиту Михалкова. Ну ничего общего у этого интеллигентного человека с тем быдловатым гражданином, который сейчас на экране. Но никогда не знаешь наперед, что будет делать этот неожиданный художник. Такой сиюминутный актерский дивертисмент, что только держись. Это силища редкая.

Остановки поездов дальнего следования на двадцать минут — это и есть те счастливые короткие встречи героини фильма с красавцем-проводником Андреем. Так и жила бы наша Вера, если бы однажды от поезда не отстал герой фильма Платон. Встреча с проводником происходит у него на глазах. И герой видит, как они, обнявшись, скрываются в купе вагона. Можно только

представить, что бы я наиграла в этой встрече, а потом в купе с проводником «Андрюшечкой». Как бы вошла в дуэт, и уж точно бы «луснула пополам», но все равно каким-нибудь боком, а «выделилась» бы. Но был сыгран «снежный финал». И, как ни обидно, в этой сцене сознательно веду свою партию на тормозах. Полностью отдаю любимые моменты эксцентрики талантливому партнеру. И на ходу ищу мягкую щемящую интонацию приближающегося конца этих коротких постыдных встреч. Как и тогда, в «Сибириаде», мы с партнером интуитивно находим музыкальный контрапункт.

— Все так не по-челове-е-ечески, не могу-у больше… Так хо-о-очется, чтобы ты прие-е-ехал надо-о-олго…

— Приеду, приеду, приеду.

— Чтобы мы сходи-и-или с тобой в кино-о, в па-а-арк… Как лю-ю-ди.

— Сходим, сходим, сходим.

— Погуля-а-али бы вме-е-есте ря-а-адом…

— Погуляем, погуляем, погуляем.

На экране тронулся поезд, оставив героиню на перроне, а зрительный зал Дома кино проводил аплодисментами Андрея Михалкова. Впереди меня на приставных стульях сидят Эльдар и Нина. Гладя на удаляющегося Андрея, Эльдар так искренне смеется и аплодирует, радуясь за артиста, будто бы это не он сам провожал его в кадре с командой «Мотор!». Поезд удалился, оставив героев фильма один на один. Вот зрители вроде как притерпелись к этому дуэту, к этим двум, казалось бы, абсолютно несовместимым людям. В самом деле, почему интеллигентный человек должен полюбить вокзальную официантку? Что в ней такого? Да ничего. Обыкновенная провинциальная женщина. А что такое вообще обыкновенная женщина? Может быть, та, мимо которой прошел и не заметил ее? С чего начать работу над ролью этой обыкновенной, провинциальной, вокзальной официантки? Как она выглядит? Во что одета? Какая прическа? Если бы фильм снимался лет десять назад, я бы одела ее в кримплен, на голове бы возвышалась величественная «хала». И, может, где-то еще и есть такие официантки, но меня интересовала такая женщина, которая живет сегодняшним днем, чувствует пульс времени, моды, знает, что ей к лицу, именно ей, Вере. Вера. Имя-то какое! У этой обыкновенной женщины необыкновенная душа, чем так славится русская женщина. Ты прошел мимо, не заметил ее и проиграл. А вот наш герой остановился. И всю роль Веры мы с режиссером вели к диалогу-открытию, к которому пришел герой картины. Этот диалог режиссер слушал во время съемки за кадром со слезами — первый зритель — жизнерадостный

талантливый человек. А теперь этот диалог звучит для всех в зале Дома кино:

— Будете потом вспоминать, как застряли на промежуточной станции. И подвернулась вам одна официанточка… Что вы молчите, смешно, да? Была она не так чтобы очень, но ведь дело было проездом…

— Вера, вы себе цены не знаете! В вас нет того, что я ненавижу. Ненавижу! Вы естественная, вы добрая, вы красивая, вы очаровательная… Вера, вы… прекрасны!

Долгая пауза.

— Вы знаете, мне таких слов никто никогда не говорил.

По спине, по затылку Эльдара я вижу, как он неспокоен, как напряженно вслушивается в это особенное дыхание зала. Ведь это непростой, требовательный, кинематографический зритель. За один такой просмотр можно потерять столько сил. Можно измотать все нервы. В такие минуты я почему-то представляю нервы в виде жалкого пучка желтоватых ниток, которые хозяйка мотает туда-сюда на волнистой стиральной доске.

Все происходящее доносится как бы издалека. Я сижу, погруженная в свои мысли, мне только бы продержаться. И все равно тяжелее всех ему, режиссеру. Он главный, и он обязан выжить, ведь он основной виновник. Да нет, Эльдар, смотри, у людей, хоть и кинематографистов, взгляды благодарные. Недаром ты отдал своему фильму год жизни и невосполнимую часть здоровья. А картина с сегодняшнего дня пойдет бродить по свету, по городам, по экранам мира. Пойдет к людям! Дорогой наш «Вокзал»! Пожалуйста, стань радостью не только для двоих. Прощай, прощай, прощай, дорогой «Вокзал»! Пусть от встречи с тобой у людей будет «хорошее настроение». Прощай.

Мелькали кадры из фильма… Мелькали кадры из жизни. Жизни, в которой долгие годы не было работы. Жизни, о которой никто ничего не знал…

АХ, КАК ХОТЕЛОСЬ ЛЮБИТЬ!

Кто, из решивших стать актером, не мечтает, что своим появлением в искусстве он перевернет мир? Кто из молодых не думает: вам не удалось, так этим первым буду я. Проходит время, фантазии разбиваются о реальность, и ты понимаешь, что мир не перевернулся. И по-прежнему прекрасен. Со временем приходится нащупывать свое настоящее место. Более скромное, но свое. Так начинается нормальная рабочая жизнь, естественная жизнь в искусстве, со всеми приметами, которыми так замечательна, но и трагична профессия актера. Как бы гладко и благополучно ни сложилась биография артиста, его жизнь — это всегда трагедия. Можно помягче — оптимистическая трагедия. Цветы, письма, поклонения и аплодисменты кружат голову и сшибают с ног только вначале. Со временем эти дорогие вещи становятся только милыми и желанными, но не самым главным в профессии.

Сложность моего положения была в том, что я достигла огромной популярности, так и не познав своих актерских возможностей. Не успев понять, что же сидит там, внутри, что мешает мне жить и просится в мир. И если поначалу всех очаровывали молодость, жизнерадостность, подвижность, голос, то потом популярность перехлестнула эти качества, и не стало знака равенства. Ну и что — поет, это же не какое-то феерическое бельканто. Музыкальна — а сколько музыкальных на свете. Ну, милая, способная девочка в удачной картине. Но не больше. Не больше. Надо же быть реальной. А неприятности разом оборвали мой стремительный рывок по главной дороге. И уже ни на одной самой узкой тропинке я не видела укромного уголка. Я должна была уйти от людских глаз. Надо было время, чтобы одуматься. А главное — суметь смириться. Смириться, для того, чтобы выжить.

Когда я была в девятом классе, я в первый раз побывала на море. И там, на пляже, я каждый день наблюдала за одной красивой парой. Тогда я еще не могла определять возраст, но они были еще не старые. Эта пара была как одно целое, что ли… Они и в море вместе. И смеялись одному и тому же, и тоже вместе. И книгу читали одну. И если кто раньше прочитывал страницу, не вскрикивал: «А я уже!» Вечером я видела их в парке Ривьера. Они гуляли, тесно прижавшись. Их пронизывало что-то такое, чего я тогда еще не понимала. Но аж мурашки пробегали по коже.

Это я к тому, что речь пойдет о любви. А то все говорю о невзгодах, делах, будто героиня пятидесятых годов, когда титр «Конец фильма» шел сразу после свадьбы. Ну, а дальше? А как же насчет любви? И что это такое? «Ишь, хитренькие какие», — так

сказала однажды моя дочка Маша дедушке. Ой, и об этом надо рассказать. Нет, если о любви, то с этого и надо начинать.

Была у Маши бабушка — мама Машиного отца. Женщина необыкновенная. Красоты, ума, таланта и женственности непревзойденной. Актриса и режиссер. Была она из аристократического грузинского рода. В 1959 году, когда я приехала в Тбилиси, уже заметно округлившаяся, пошли мы с ней в грузинские серные бани. По незнанию того, что серная вода такая мягкая и мылкая, я сильно шлепнулась на спину. Ах, как она испугалась! Собрала всех терщиц (есть такая в тбилисских банях профессия — терщицы — прямо шкуру сдирают) и все по-грузински с ними, по-грузински, ох да ах, и все «генацвали, генацвалики»… Я улыбалась — все обошлось.

А потом ходили мы на балет «Отелло» с неповторимым Вахтангом Чабукиани. И в антракте ей все кланялись в почтительном поклоне.

Она, казалось, не замечала моей провинциальности, невыдержанности и относилась ко мне с нежностью за открытость и доверчивость. Ах, как они со своей приятельницей тактично промолчали, когда я подряд два раза сварила им один и тот же кофе. А что, думаю, один черный, другой будет, как чай. Как в Харькове. А «чай и кофий — ето ж настыящий яд! Нада пить только молоко», — учил меня папа в пятидесятых годах. А в Москве, в семидесятых, нещадно натирал себя змеиным ядом: «Ты смотри, такое смертельное животное и якое благо организьму даеть». Была грузинская бабушка и у нас в Харькове — приезжала посмотреть внучку. Стол ломился от еды. Мама готовила с тетей Соней два дня. Была даже рыба фиш — а вдруг она «рыбу больший ценить». Своим ФЭДом папа нащелкал ворох снимков: грузинская бабушка за столом с внучкой, около моего портрета, около портретов папы с мамой в день их свадьбы и еще много разных поз.

— Лель, якая же высококультурная, приятная женщина! Только высоковата, а?

— Ну, Марк, это же аристократы все же.

— Ну понятно, не моего поля ягода — а што ж вы, симановщина, што ж вы усе разъелися, где ж ваша культура? Смотри, як человек есть — прямо загляденье — аккуратнинечко, помаленечку. Лель, а ты знаешь, она совсем не костистая. Я так за плечо ее пощупав — уполне упитанная.

— Марк, котик, ну сдержись ты — веди себя прилично, а?

— Лель, а што я такога зделав? Ты ж видишь, она довольная, уся зарозовелася, влыбается. Што ж она, не живой человек?

Больше грузинскую бабушку мы никогда не видели. Она

умерла, когда Машеньке еще и года не было. Только-только получила новую квартиру, а жить в ней так и не пришлось. Ее хоронил весь Тбилиси. «Якая чистая ангельская душа — унученьку перед смертью приехала повидать. А ты, Леля, говоришь, что бога нет! Царство ей небесное! Хай земля ей будить пухум». С тех пор дедушка, если на экранах шел грузинский фильм, обязательно водил на него Машу. А если по телевизору танцевали грузинские ансамбли, он обязательно ей объяснял: «Смотри, Машуня, ето твои родичи танцують — грузинцы. Ты же в нас мешанец, наполовину грузинка».

— Дедушка, а ты кто?

— Я? Я православной веры, чистокровный русский.

— А Леля кто?

— Леля? Леля русская. Редкой породы вредный человек. Они из столбовых дворян, а мы из батраков, но никакой разницы з собой не вижу.

— А мама кто?

— Твоя мама? Ну як же, если мы з Лелею русские, то и твоя мама русская.

Машенька молчала, задумавшись, а потом сказала дедушке: «Ишь, хитренькие какие», — мол, русскими устроились, а она, получается, мешанец какой-то. Так вот, у Машеньки была необыкновенная грузинская бабушка. А у бабушки был прекрасный единственный сын. А теперь… нет, лучше: итак, о любви.

С детства я влюблялась на всех перекрестках и во всех киногероев, если «в него были зубы як мел, вусы як у Буденага». Короче, во всех «чернявых орлов». В институте влюблялась на каждом этаже. Прошел красавец — сердце ек! Но быстро разочаровывалась. И вдруг влюбилась. Влюбилась по уши, по-настоящему. Но я помню, что временами вдруг ясно видела ту пару на пляже, которая шла по парку, тесно прижавшись. У меня еще мелькала мысль, неужели и меня будет кто-нибудь так любить? Почему же я мечтала о большем? Опять же через время все становится понятным. Расстояние позволяет многое увидеть на своих местах. Порой в невыгодной для себя мизансцене.

Конечно, с этим молодым человеком мы подходили друг другу, как поется в песне: «мы с тобой два берега у одной реки». Это с теперешней колокольни. А тогда… Несмотря на свою изысканную внешность, от которой не ждешь ничего глубокого, это был сложный человек с набором неординарных качеств — больших и малых. Все карманы его были забиты редкими книжками вперемежку с газетами и журналами. Читал все на свете. Обладал особым чувством юмора. Считал, что его личная

самокритика самая точная и оригинальная. Отличался музыкальностью, мужским обаянием. В нем для меня было недосягаемо все. И наоборот. К моей профессии он относился с иронией. Музыкальную картину-комедию считал зрелищем, далеким от искусства. Ну, а успех у публики… Когда я залезала не в свою сферу, интересовалась его сложной сценарной профессией, меня поражало, сколько иронии вызывал в нем мой прыжок из легкомысленной примитивной актерской жизни в его таинственный мир. Я еще не знала, еще не встречала таких людей. Да и где их было встречать? Да и как поймешь, изучишь, что с людьми такого склада ой как не просто рассчитать первый ход. А уступишь инициативу, сразу очутишься в зависимом положении… Теперь никогда не вступаю в игру, потому что знаю — это не мое. Тогда же глупо и рьяно сопротивлялась. Потому проигрывала. В моих аргументах моментально отыскивалась трещина. И, главное, пропадала вера в собственную позицию. Я выходила из поединка раздавленная, разбитая. И в конце концов сдавалась. Ну и ладно. Ведь подчинилась силе. Вот и будет у меня защита. И казалось — вот это надежное и вечное найдено. Только-только расслабишься и захочешь опереться на плечо, наклоняешься — ан плечика-то и нет. Он как-то талантливо умел жить рядом, будучи на своем берегу. С невероятной силой воли нужно было учиться жить в одиночестве вдвоем. А параллельно происходила моя катастрофа в работе. Я помню бесконечные походы по инстанциям, чтобы выхлопотать мне московскую прописку — тогда в Москве она была резко ограничена. После окончания института меня распределили на «Мосфильм», но без прописки на работу не брали. Более полугода прошло, пока не упросили прописать меня на три месяца домработницей. И тогда взяли на «Мосфильм». В то время он проявил столько заботы и доброты. И опять я чувствовала необыкновенную благодарность. И еще сильнее захотелось расслабиться. Неужели же появилось то, что так запечатлелось в паре, которая шла молча, тесно прижавшись друг к другу? Но теперь я уже осторожно оглянулась, чувствовала, что плеча может и не быть. И не ошиблась. Как же мне хотелось кричать на весь мир: «Люди, родные, милые! Я так хочу любить, я так хочу быть преданной и расслабиться. Любить на высшей волне, быть способной на то, что в себе и не подозреваешь». Ну что же это? А то. Объект любви не мой. Поразительно, как долго я не могла постигнуть, что начиная с головы и кончая кончиками пальцев — отсюда и досюда — человек не мой. Прекрасен, но чужой. Очень, очень трудно понять самой, а еще труднее объяснить другому, как кончаются долгие отношения. Страстно хотелось счастья, и это было мое несчастье.

Папа нашел свое счастье в маме. Она приняла и разделила его эмоциональную бурю. Мне вдруг порой ясно виделось, что быть счастливой крайне опасно. Счастье кончается, как только ты решил, что оно будет длиться вечно. К нему привыкать нельзя. Надо искать и найти применение своим эмоциональным силам. Надо найти эквивалент популярности и счастья. Я буду искать. Но избыток чувств вреден, наверное, как и нехватка. Мне ближе избыток. Вот положение, а? Взобраться к славе на такую головокружительную высоту, карабкаться к любви небывалой — и вдруг понять, что эти высоты не главное. А главное — где-то там, намного дальше, и достичь его невозможно, да и просто нет сил, ни физических, ни душевных. С чего начинать?

Время уносит, стирает и прощает многое. Многое навсегда ушло из памяти. Так было нужно. И я забыла. Кроме одного дня, который не был похож ни на один из дней. Моей дочке было полтора года. Она уже жила год у родителей, чтобы я могла работать. Ее отец еще заканчивал институт. К тому времени мы уже имели однокомнатную квартиру, казалось, все вело к счастью. Но река становилась полноводнее. А берега все дальше и дальше отдалялись друг от друга. Он мне казался очень сильным человеком, потому что про себя я была абсолютно уверена: одна, без него, не проживу ни дня. С моим папой они были антиподами. Не симпатизировали друг другу с первой минуты. Всю дипломатическую сторону отношений на себя приняла мама. И провела честно свою нелегкую миссию до конца, не отдавая предпочтения родной дочери. Но в один из дней ее дипломатия стала резко односторонней: ведь мы с девочкой оставались вдвоем. До сих пор невозможно понять и поверить, что такому умному, тонкому человеку, самому выросшему без отца, легко далась фраза: «Ну что ж, она будет расти без меня… У нее ничего от меня не будет… собственно, это уже будет не моя дочь». Испытание своей силы? Игра в мужественного супермена в двадцать шесть лет. Бесследно растворилось во времени все. Я не знаю, что такое жизнь без отца. Мой папа для меня… Неужели мой единственный ребенок будет лишен такого счастья?

Это было уже в конце. В самом конце. С Киевского вокзала мама проводила меня в Киев на пробу в новую картину. А сама уехала с Курского «у Харькув до дедушки и унученьки». Об этой картине и об этом периоде — еще впереди.

Но те слова, мизансцена, запах снега, холодный вечерний закат за окном однокомнатной квартиры на окраине Москвы… как будто это было вчера.

ЧТО ТАКОЕ ЖЕНЩИНА?

В мае 1959-го я жила у родителей в Харькове и ждала мальчика, которого хотела назвать Марком. Далеко запрятала альбомы с фотографиями из фильмов, приклеенными столярным клеем так, что теперь их можно оторвать только вместе с картонными листами. Сняла со стен весь «канастас» — папину гордость. И стала жить тихими буднями, в которых не было ничего, кроме стремления к покою. Хотелось жить, как все. Не взбрыкивать. Не фантазировать. Жить тихо и ровно.

… Проходит время. И никто точно не может сказать, что же было на самом деле. Помнят, что была какая-то история. Но какая? И раз была, то это уже не история, а «история». То же самое слово, только взятое в кавычки. Так просто…

Есть сильные люди, которые вопреки всяким «историям» выходят на сцену и заставляют поверить в свои силы, в свой талант. В этот вечер зал забывает обо всех «историях» такого сильного человека. Мощной талантливой натуре — низкий поклон. Такие люди появились сейчас. Но то время не позволяло быстро оправиться. Я помню, что даже мудрые и солидные артисты далеко не сразу становились на ноги после подобных «историй». Как же я была наивна, если думала, что смогу жить, как все. После того, как человек побывал в космосе, он уже на всю жизнь космонавт. Человек, который прошел войну, — на всю жизнь герой-ветеран. Эти люди были на таких высотах, что уже никогда не смогут быть, как все. И для окружающих они навсегда люди особенные. Жизнь артиста вся проходит на виду. А если есть еще в запасе пара «историй», тем интереснее, тем любопытнее. Я хотела быть, как все. Но даже в палате, куда меня привезли как всех (и где я долго еще пребывала в удивлении, что судьба послала девочку), меня вдруг обожгли знакомые интонации. Роженицы разбились на два лагеря: за и против меня. Победили сильнейшие. Вместо того чтобы радоваться появлению на свет девочки, я в отчаянии плакала и никуда не могла скрыться от людских глаз. Ощущения были еще острее от того, что это происходило в родном городе: «Допрыгалась? То-то.» Я думала: вот же другие рядом. И у каждой есть о чем рассказать, и радостного и горького. Ну поговорите о себе, оставьте меня. Смотрите на меня, когда я на сцене. Обсуждайте меня, когда я на съемочной площадке. Тогда я не сжимаюсь в комок, не стягиваю губы в противный узкий треугольник. Там я улыбаюсь радостно и говорю своим голосом. И говорю то, что надо. А в больнице — моя болезнь. В коридорах на приемах — мои вынужденные

прошения. В очереди у магазина — удовлетворение потребностей. Тех же, что и у всех. Я живу только в работе! Остальное время гуляю, хихикаю, притворяюсь и жду, жду, жду — когда же начну работать, когда же заживу!

В то время я обещала стать образцовой матерью. Боже мой, прижмешь к себе ребенка и чувствуешь внезапный прилив крови, головокружение. Собираешь силы на его защиту, хотя его еще не от кого защищать. У меня был такой порядок с режимом, с питанием, с пеленками, что я сама диву давалась — неужели это я? Откуда это? Это была я, но в новом качестве.

… Однажды на лекции по актерскому мастерству наш мастер задал нам такой вопрос: «Как по-вашему, что такое женщина?» На всякий случай не забудем, что в то время чаще произносили слово «девушка». Если задуматься, у каждого из нас было определение такому распространенному «явлению», идущему по улице не в брюках, а в юбке. «Ну, попытайтесь сформулировать одним словом», — подсказывал нам учитель. Господи, куда нас только не заносило.

А мне тогда вспомнилось, как еще до войны мы любили сидеть втроем на нашей кровати с железными шариками «у кучечки». Я только начала говорить. И папа меня дрессировал: "Дочурочка, покажи на папусика и скажи: «Сила-а». На маму гавари «Мола-адасть», а на себя з улыбочкую — «Красата-а». Так я и исполняла этот номер: «Сила, Молодость — и с особым удовольствием: — Класата!» Первые годы в институте я была в «зажиме», когда разговаривала со своим мастером. Сразу делалась ученицей. Я тогда еще долго не могла мыслить свободно и самостоятельно. Говорю все не по делу. И когда до меня дошла очередь, я со знанием дела сказала: «Женщина — это молодость и красота». И тут же поняла, что сморозила глупость. А если женщина немолодая, но красивая? Или наоборот? Вот черт побери с этой женщиной. «Женщина — это ваза», «Женщина — это сосуд», «Женщина — это секс» — ого какое слово! Аж в краску бросило. «Женщина — это не мужчина» — все засмеялись. А учитель стал жестким. По скулам забегали тени. Мы притихли. «Женщина, дорогие мои, это МАТЬ».

Это я поняла только тогда, когда стала матерью сама. А в институте меня это открытие разочаровало. Я думала, услышу что-нибудь потрясающее, что-нибудь этакое… Подумаешь, мать, — ходить с большим животом, позор какой. Нет, женщина — это шляпы, перья, бантики и поклонники в черных костюмах.

Материнство залечивало первые раны молодости. Оно меня смягчило и внешне, и внутренне. Того, желанного покоя все равно я не нашла. Когда в атмосфере появлялось хоть что-то похожее на

покой, первый момент был прекрасен. Но вдруг — откуда ни возьмись — на меня тянуло легким кладбищенским ветерком. Успокоившийся человек, ищущий покоя артист — это мертвый человек. Это мертвый артист. Долгое страдание вызвало вдруг внутри протест к себе такой. Говорят, время залечивает все раны. Нужно начинать жить. Передышка была. Передышка непростая. На свет появилась девочка. Нет, Женщина! Мать! — так теперь я классифицировала то распространенное «явление», которое ходит по улице не в брюках, а в юбке. Она должна гордиться своей мамой, как я горжусь своими родителями. Решение принято — надо работать. Под лежачий камень вода не течет. «Помирать, дочурка, собирайся, а поле сей…»

Конечно, этому решению была причина, был стимул. В самый неожиданный момент — телеграмма из Ленинграда. Ну кто же еще мог быть выше всяких разговоров и всяких «историй»? Кто первым понял, что мне нужно становиться в строй? «Ленфильм». Это было предложение не просто сняться, а впервые попробовать свои силы после двух музыкальных комедий в непростой драматической роли. Ну-ка, после всего реабилитировать себя, да еще в новом жанре? Только сейчас я понимаю настоящее значение этого предложения. В острых драматических ролях в кино меня никто не видел, разве кто-то знал понаслышке о курсовых работах в институте.

В Ленинград, на кинопробы, мы отправились втроем: моя Маша, мама и я. В группе не знали, что я уже мама. В первой серии фильма «Балтийское небо» моей героине Соне еще только 14-15 лет. Хорош подросточек с ребеночком. И я решила промолчать, а если утвердят, то уж тогда признаться. Режиссер фильма Владимир Яковлевич Венгеров на репетиции задал мне первый вопрос: «А как ваша Маша? — ведь она еще маленькая, кто с ней?» Я так растерялась, наверное, оттого и сцену провела более-менее естественно. После пробы я бежала со всех ног к знакомым, где остановились мама с Машей. Машенька нервничала. Да и мне самой так хотелось поскорее к ним. Я отвыкла от работы, целиком ушла в дом, в ребенка. Стою на пробе, а в голове: «Сейчас она спит, только бы в Ленинграде не простудить ребенка…» — «Мотор!» — "Ой, какой мотор? Ах, ну да, я же на съемке. Ну что ж, если не утвердят, то и ладно: «что бог ни делаить, усе к лучиму!» А если честно, очень, очень страшно было вступать в тот поток еще раз. Ведь он принес столько огорчений.

А меня утвердили. Что делать с ребенком? «Лель, вже девычке пять месяцев. Бувало, матка ще у поли, а малый брат кричить, месяц, як родився, кушить просить, я ему у рядно…» —

«Рядно?» — «Ну, ето як наша марля, хлеба з молоком надавлю, он и чмокаить. А ну, давай, Лель, налей кашу у бутылку и соску насунь. Ну? Ну што я гаварив? Ах ты ж, моя унученька, ах ты ж, моя клюкувка, усю бутылку отметелила! Давно бы так во! А то наша дочурочка ели ходить, одни кости светять. А етый пяхтерь пухнить и у вус не дуить. Усе, моя птичка, моя дочурочка. Заберем мы з Лелюю ребенка до себя у Харькув. Леля, молчи, у етый семье вже толку не будить, сердцем чую. Дочурке первонаперво нада работать. Ув обязательном порядку. Ето щас для нас усех самое главное. Што було, то було. Назад, дочурка, не оглядайсь. Допустила ляпсус — ты вже свое отболела, вже нема куда больший. Давай дальший, моя птичка. Мы з Лелюю у тибя верим и гордимся тобою. Усе пройдеть, усе наладится, никуда не денисся. Жисть есть борьба — ето ще Маркс гаварив».

ДВА ГОДА ЖИЗНИ…

Осень 1959 года встретила меня в Ленинграде кипучей и разнообразнейшей жизнью. В свободные дни я осуществляла такие грандиозные походы! Где только силы брались. С утра — если нет съемки — обязательно Эрмитаж. Однажды экскурсовод заметила, что Эрмитаж невозможно узнать ни за неделю, ни за месяц. Что для этого нужно чуть ли не три года. И тогда, в 1959-м, я поклялась, что, как только выдастся в Ленинграде свободный часок, во что бы то ни стало — в Эрмитаж. Может, за всю жизнь эти три года да наберутся? И клятве до сих пор не изменяю.

Это было время прекрасных спектаклей Большого драматического. Это было время начала моей влюбленности в балет. Это было время расцвета незабываемых ленинградских капустников. Острых и веселых, жизнерадостных и комичных. В капустниках актеры раскрывались так неожиданно, как ни в одной из ролей на сцене театра. Ведь не каждый актер может работать в капустнике. Выйдешь после веселого талантливого вечера, и ничего нигде не болит. И жизнь прекрасна и удивительна. И как верно, что смех и улыбка оздоравливают человека. Как же я могла допустить такую кощунственную мысль: если не утвердят, то это и к лучшему? Ай-ай-ай. Пройдешь в гриме по коридору студии. «Это кто? Смотри, не узнал. Давай ее пригласим на пробу?» — «Давай». Но пробы не было. Утвердили по фотографии. Тогда только начинали снимать первые фильмы для телевидения. Это был костюмный исторический фильм. Комедия «Пойманный монах» по Филдингу. В этой картине много музыки. Я исполняла два музыкальных номера. А исторические костюмы были, ну просто хоть в музей. В каждой картине встречаешься обязательно с новой ситуацией. И из каждой картины что-то берешь с собой в будущее. Но самое редкое и дорогое, если из фильма выходишь не один, а с другом.

Как только я села в гримировальное кресло Маргариты Матусовой, за ее аккуратный, чистый рабочий стол, я моментально почувствовала самое неприязненное к себе отношение. Я ей категорически не нравилась. «Ничего — сказала я себе — не привыкать.» Работа есть работа. Мы возились часа два. И как медленно, не сразу, загорелись и потемнели ее голубые глаза, зашевелились ее золотые руки. И красивая головка пошла развивать фантазии. «Нельзя быть заранее настроенным против актера. Я так не хотела тебя готовить к фотопробе. Почему-то ты мне казалась такой глупенькой и недалекой…» Да не только тебе. «… Ах, што там гаварить…» Поговорили по душам, посмеялись,

попризнавались, а потом пошли в студийный буфет. Заели «это дело» голубой сарделькой с прозрачным «черным» кофе. Теперь приезжаю на студию, сразу узнаю, где сейчас Маргарита Матусова. В Ленинграде? Ага, это значит, что можно прямо, без звонка, ехать к ней домой. Там мне все будут рады, «от чистаго сердца». Меняется вокруг все. Неизменной остается настоящая дружба, проверенная работой, общими интересами.

Где две картины, там и третья. Фотографии из телевизионного фильма увидели на студии имени Довженко. И вскоре я получила новый сценарий «з ридной Украины». В сценарии «Роман и Франческа» было все: любовь и слезы, песни и музыка, счастье и горе. Когда впереди интересная работа, нет более счастливого времени. Летела в Киев прямо из Ленинграда. И в гримерной, перед самым отъездом, повстречала свою приятельницу, актрису Татьяну Бестаеву. В ленфильмовской картине у нее был маленький эпизод, который она уже отыграла. И вот работы опять нет. «Тань, давай полетим в Киев, будь, что будет. Дорогу же оплатят. Тут в сценарии роль есть интересная. Только немного отрицательная, а? Как ты на это смотришь?» — «Какая разница, роль да и роль, подумаешь, счастье, положительная, тоже мне…» В гримерной я в очередной раз восхитилась этой необычной актрисой. Красота ее была совершенно особенная. Я бы сказала биологическая. Как красота природы, зелень травы, голубизна неба, что ли… В какую бы сторону ее ни заносило, что бы она ни говорила, ее мысли и поступки не влияли на ее красоту. Ее красота жила совершенно самостоятельно, обособленно. Невозможно было себе представить, что эту красоту может что-нибудь разрушить. О возрасте мы тогда еще не задумывались. Когда я ее видела, я почему-то немного съеживалась и легко уступала дорогу ее красоте. Боже мой, что началось на киевской студии, как только Таня Бестаева вышла, нет! — вынула свою красивую ножку из машины… Вот это был фурор. По студии шла бело-розовая высокая блондинка в сопровождении гувернантки-секретарши в сереньком платьице с беленьким воротничком. Дирекция тут же оплатила ей билет. Художник по костюмам с гримерами потирали от удовольствия руки, глядя на свой будущий объект. Женщины побежали к зеркалам приводить себя в порядок. Мужчины стали прощупывать ее семейное положение. В общем, все кончилось тем, что ее утвердили без проб. А мне назначили пробу. И ничего не оставалось, как нахально и авторитетно «дуть» на итальянском: спасло наличие слуха. Это как-то удержало меня рядом с прекрасной моей приятельницей. Она сыграла в фильме очень успешно. Ее необычная, яркая индивидуальность требовала

особого сценария, особой атмосферы. Даже своего времени. Во времена нашей молодости она могла исполнять лишь роли экстравагантных иностранок или женщин с негативными проявлениями. Потому что наши героини, все как одна, на экране были кристально чисты и нравственны. Как будто их размножали почкованием.

Ну и получила же я в прессе за свою «северную итальянку»… Разделали меня под орех. А я с таким упоением, с таким счастьем работала. Вечная загадка: снимаешься с удовольствием — тебя ругают. Мучаешься, страдаешь, считаешь дни, часы: скорее бы конец, а выходит картина на экран — пресса хвалит, все довольны! Критика критикой, а не ценить редкой возможности появиться на экране в музыкальной роли, было бы грешно. Все-таки музыкальных ролей в кино я сыграла всего четыре. Это была третья после двух музыкальных комедий.

А еще сильнее я запомнила этот фильм потому, что, мотаясь из города в город, живя в гостиницах, самолетах и поездах, я все мечтала: вот вернусь в свой дом и заживу счастливой семейной жизнью. Именно после съемок этого фильма я наконец-то оказалась у себя дома, в квартирке на окраине Москвы. Но меня уже не ждали. Все для меня было здесь чужим. Три фильма подряд. В Москве бывала редко. Что ж, такая профессия. Ну и что? Девочка у родителей в Харькове. Муж, свободный художник, в Москве. И вот после того незабываемого разговора мама и проводила меня в Киев, на новую картину студии имени Довженко «Гулящая». Это был конец 1960 года.

Первое время в фильме я жила словно в летаргическом сне. «Мамочка, приезжай скорее, побудь со мной, только не говори папе!» — кричала я беспомощно маме в трубку, понимая, что папа один с ребенком не справится. Как жить? Я так боюсь одна. Он казался мне таким сильным… Да я одна погибну, умру. Я изо всех сил сжимала челюсти на съемке, потому что проклятые слезы душили беспрерывно. Я только держалась и сдерживалась. Зато уж ночью плакала навзрыд, до изнеможения.

Ах, Киев, Киев! Ходить по твоим прекрасным улицам и радоваться. А весной, весной — ни один город на свете не может сравниться с тобой. Буйная, зеленая, ароматная весна! Сколько раз туда-обратно я исходила любимый Шевченковский бульвар. Я знаю каждый дом на улице Ленина, что поднимается параллельно тому бульвару. А какие добрые друзья жили на Пушкинской! Из гостиницы «Украина» быстренько пересечешь бульвар — и у них. А спуск от филармонии к Днепру, множество тропинок. И каждый раз я находила все новую и новую. А «Вареничная» на Крещатике! А вареники с картошкой! Было время, когда по три раза в день

стояла в очереди с подносом. Даже неудобно было смотреть в глаза кассирше: «Хороша артисточка, по шесть порций в день уплетает. А мы думали на диете сидит, талию сохраняет». А мне эти вареники с картошкой так напоминали дом, родителей и наши домашние праздники. А вкусный, пышный родной украинский хлеб! Я, русский человек, выросла на Украине и впитала в себя все украинское… В Киеве, в этом радостном, вечно весеннем городе, я существовала тогда безнадежно горько и мучительно. Лучше бы шел дождь и было пасмурно. И хмурые люди бежали бы, натягивая на нос шарфы и шляпы до бровей. И было бы им не до тебя. И тебе — не до них. А как скрыть свою боль, куда спрятать лицо, если на улице тепло. Дурманящий, опьяняющий озон прямо сшибает с ног. И влюбленные бредут, тесно слившись в одно. А старики улыбаются навстречу всем-всем. И тебе. И тебе тоже. Но ты, но я…

Я вставала утром. Ехала на студию. Сидела на гриме. Что-то говорила. Что-то играла. Как-то снималась. Слава богу, картина по роману известного украинского писателя Панаса Мирного рассказывала о трагической судьбе украинской крестьянки. На экране перед зрителем проходит вся жизнь героини от восемнадцатилетней чистой девушки, соблазненной и покинутой «молодым богатым паном», до женщины, опустившейся, прожившей бурную и страшную жизнь. И вот, в конце жизни, она приходит к своему родному порогу, в свою деревенскую хатку. Приходит, чтобы дожить свой век. Но в ее хатке живут чужие люди. И хоть на дворе лютует зимняя вьюга, «добрые люди» не открыли ей дверь. Так и замерзает она у родного порога. Страшная жизнь с таким трагическим финалом. Слабенько сыграла я эту роль. Верными на экране мне показались только те кадры, где я — то ли в силу внутреннего состояния, то ли чего-то извне — совершенно забывала, что идет съемка, существовала в созвучных мне обстоятельствах роли. Но рядом не было никого, кто бы, заметив это, напутствовал, заставил бы запомнить, зафиксировать эти краткие моменты. Ставил картину режиссер Иван Кавалеридзе, талантливый скульптор. Фильмы снимал очень редко. Тогда ему уже было за семьдесят. За кадром он вспоминал и рассказывал нам о своих красивых романах. Вспоминал свою молодую жизнь, необыкновенные истории. Он и в том возрасте был красив — такой большой, седой, мудрый красавец. И мы себе представляли, каким же он действительно был неотразимым в то время, когда происходили эти истории. Но как только входили в кадр, все менялось. В кадре во время самых страшных грехопадений героини от меня требовалась пуританская нравственность. Нужно было, как говорится, зачать

без зачатия. Вот задача! Слабо, противно сыграла эту роль. В повторе никогда этот фильм не смотрю. Сейчас бы мне такую роль… Но все придет позже.

… Через много лет, в картине «Семейная мелодрама», я буду играть женщину, покинутую мужем, но так и не сумевшую смириться с такой долей. Я ясно вижу гостиницу «Украина» в весеннем Киеве в пору своей молодости… И все будет очень похожим… Ну не могла я тогда себе представить, что это конец. Ну зачем жить, если нет правды, справедливости, с которой я пришла в любовь. Это будут самые дорогие сцены в фильме. Не придуманные и не написанные, а личные, интимные, которые случаются с каждым человеком, когда он наедине со своим горем. Поразительно, но после «Семейной мелодрамы» именно из Киева пришло письмо от врачей. Я им ответила. Они удивлялись тому, как точно был сыгран процесс сердечного приступа. «Может у вас сердце больное, откуда это вам так точно известно?» Не знаю, просто пропустила все через себя, все иголочки, не боясь уколов. Это «узнавание» через свою кровь. А на съемке осветители после дубля тихо-тихо спрашивали: «Как вы себя чувствуете? Не хотите водички, минеральной?…»

И опять меня ругали в прессе за «Гулящую». А публика меня отождествляла с героиней. Вот, мол, теперь ясно про актрису все. Я же измучилась своими личными переживаниями вконец. Еще раз что-то сильно во мне надломилось. И вдруг многое — и косые взгляды, и ругательные статьи — стала воспринимать не так остро. А даже скорее как должное. Вроде что-то атрофировалось, и стало казаться, что меня всегда должны ругать. Странные это были два года жизни. Не знаешь, чего больше было в них — то ли счастья и радости от работы, то ли горя от потери семьи. Все вместе перемешалось в один запутанный мучительный узел. И вот так я вошла в новый период долгого отлива.

МОРЕ ЛЮБВИ

В разгар триумфального шествия по стране веселой кинокомедии, летом 1957 года, сидел мой папа на нашей кровати с шариками, сложив ноги по-турецки, или — как теперь говорят любители йоги — в позе лотоса, и мучительно переваривал еще одно новое сообщение обо мне. «Это» ему сказал его «кровенный» друг. Папа должен ему верить. И не верит. Дочурка тоже его кровный ребенок. И он ее знает с рождения. А «кровенный» видел «все» своими собственными глазами. А потом, это ведь столица, брат, кого только там нет. Сколько людей разных могут сбить с толку дочурку. Нельзя ждать. «Нада ребенка ехать вызвалять. Корочий, быстро нада действовать». Первое: немедленно разбудить маму, которая здесь вот рядом спит богатырским сном. И этот сон его особенно раздражает. А что мама может с собой поделать? Чем больше происходит неприятностей и тратится нервов, тем сильней ей хочется есть и спать. «Марк, котик, у каждого это выражается по-своему». Такое никак ну никак не укладывается у него в голове. В такие минуты маминых «искренних признаний» он просто побаивается ее. Что делать, «жисть есть жисть, назад нима куда деваться». И, заглушая в себе раздражение, папа идет «дальший». Он расталкивает маму и, задыхаясь, говорит ей хриплым голосом: «Наша дочурочка вже аккынчательно гибнить, она попала у нехорошую шайку, нада немедленно лететь у Москву, вызвалять нашага единственнага, кровнага ребенка. Немедленно. А-а! Сон ваш разбив? Во симановщина! За сон усе на свети отдась! Мамыньки родныи, ну ты скажи на милысть, расскажи ей — што да як — да без разговорув. Приказую быть готовую на усе сто процентув. Щитаю до трех». И вот с первым же рейсом они уже в Москве. Уже звонят в дверь. И я слышу, как моя хозяйка заспанным голосом с кем-то приветливо здоровается. И чувствую, как что-то родное-родное входит и разрушает мой московский, столичный микромир. И мне так прекрасно тепло. И так счастливо. И именно такие минуты вспоминаешь, если вдруг задают вопрос: какие моменты в жизни, вы считаете, были особенно счастливыми? Но этого же не расскажешь зрителям.

Резко открывается дверь, так, чтобы в комнате не успели сменить мизансцену и чтобы «всех» застать врасплох и… на пороге стоят мои несчастные родители: притихшая мама и моментально потерявший свою активность, осунувшийся и постаревший папа. Ясно, что инициатором внезапного «нападения» был папа. Неспроста они приехали. И не без

причины. Но какое-то чутье подсказывает мне не делать акцента. Слишком уж они изменились в лице. Папа все равно долго не выдержит. Подожду. Интересно, даже работу бросили. Я ж знаю, что для папы значит «работа». Попили чайку, поговорили о том о сем. Мама уже выяснила вечерние рейсы на Харьков. Папа чувствует себя не в своей тарелке. Хозяйка несет ему инструменты — и кран нужно исправить, и кое-где проводку сменить… «Да, дом без хызяина — чистая сирота. Моя жена етага не ценить. Другая такого б, як я, у кармани носила». Он хвалит аккуратность моей хозяйки. Восхищается ее красивыми вещами. Рассказывает ей про «баронський замок», где видел такие красивые вещи. А потом, конечно, не выдерживает:

— Ты скажи на милысть, дочурка, я ж его кровенным другом считав, а он мне гаварить…

— Кровенным, кровенным, Марк, котик, я тебе давно на него глаза раскрыла, но ты…

— Ну ты, ты, Леличка, ты усе мне кругом пораскрывала. Я без тебя вже давно б погиб да у могили лежав, куда там… А то, што я тридцать семь лет на свети, щитай, без нее прожив, ето она у ращет не береть, ето она не… Да еще як прожив! Ого! Да я…

— Ты хочешь сказать, что я твою деревенскую жизнь разрушила, «з земелькую и з садикум»?

Мама знала, что «деревенскую тему» папа не будет развивать. А сразу уйдет в сторону. Но в какую? Он всегда умудрялся найти какой-нибудь новый неожиданный «уход». А мама каждый раз получала удовольствие от его эксцентрического «ухода», получала удовольствие от его фантазии и независимости мышления. Но в то утро папе было не до этого.

— Ну што за вредный человек, не даеть сказать, усе влезаить и влезаить… так што я гаварив? Да, вот што: я, як приеду у Харькув, ув обязательном порядку подстерегу етага друга… я з им по-своему пагаварю…

— Хи-хи-хи…

— Ну, помолчи ж ты, бога ради, не встревай. Дочурка, он мне вчера вечером, на массовки, прямо при всех людях и гаварить: «Был в Москве, видел вашу дочь в таком окружении… и вообще в Москве про нее такое говорят… Вы бы, Марк Гаврилович, прислушались, проследили, не все же вам на баянчике…» — и зразу меня на «вы» — Марк Гаврилович… што за люди! Шпильку воткнув и довольный. Да я з им одной етый водки «за честь, за дружбу» сколько папив, а он мне «вы» — аккынчательно другой человек. Во што делаить з людьми зависть. У самого сын полный атбайла. Да я завтра прямо з утра пойду у во Дворец, усех сотрудников соберу и усе честь по чести расскажу, што и як було:

«Товарищи дорогие, ще тока солнце усходить, мы з Лелюю вже у Москве. Ввалилися у хату, я увесь трясуся, готовый, ну, думаю — усе, чем такой позор терпеть, щас за один раз — на куски порежу и дочурку и Лелю. И сам с чистым сердцем добровольно пойду и сяду в ДОПР. А моя дочурочка спить себе и у вус не дуить. Закрутилася ув одеяло з головою — точно як я». Ах ты ж, моя птичка дорогенькая. Як же я за тебя душою болею. Я такой радый за тебя, такой радый, аж душа уся у тисках…"

Папа плакал горько. Мама в сторонке пережидала этот момент. Хозяйка смотрела с любопытством на нашу семью. А я прижалась к любимому, родному папочке, гладила его и утешала. И вдруг высоким-высоким дискантом он вскричал:

— Да я его, вот вам крест святой, в бога его душу, усе равно порежу на одни куски…

— Ой, Марк, котик, конечно, порежешь, обязательно порежешь… а как же… Ой, боже мой, кого мы только уже не резали, Марк, котик…

Все, что происходило со мной, рикошетом отзывалось на моих родителях, которые превратились из простых смертных в «родителей кинозвезды». Но события развивались с головокружительной быстротой. И, как в трагикомической пьесе, они, не успев выучить текст своих ролей, обжиться в атмосфере веселой комедии, попали без передышки в атмосферу развенчания и отчуждения. Папин «кровенный друг» его все-таки добил. Он доказывал папе: того, что написано пером — не вырубишь топором. «Знаешь, Марк, когда с неба сыплются звезды, хочется и землю поскоблить». Мама объясняла ему значение этой злой фразы. А папа никак не мог меня представить в роли богатой «пумещицы». «Пумещик» и «барон» — вот самые богатые люди в его представлении.

Папа сдался первым: «Не могу больший носить быян, ноги у гору не идуть, захлебаюсь аккынчательно, не могу, Лель, не могу, детка». И баян на работу стала носить мама. Об этом она мне сообщила в письме: «… А недавно вытолкнул меня спозаранку на базар — туда, где травы и всякие коренья продаются. Дал рецепт: для поднятия органов, всех членов организма и бодрости его принимать за 15 минут до еды». Корень заманихи. Хожу, спрашиваю эту «заманиху». А у нас в Харькове, ты же сама знаешь, как на базаре: «Вы еще сама заманистая…» Ну прямо смех и горе с нашим папой. Всю жизнь он перед ней был мужчина с гигантской силой. И уж если он так откровенно признался в своей беспомощности… Я этого долго не могла пережить, да даже представить. Стала реже писать, чтобы поменьше врать. Меж бодрых строчек они легко читали мое истинное состояние. А

помочь ничем не могли. Нас терзало чувство обоюдной беспомощности. И все же за все испытания и боль, которые я им причинила, они получили высшую награду. Они забрали к себе мою дочь!

И в квартирке на Клочковской они зажили втроем особенной, обновленной и радостной жизнью. Мои родители и не понимали, что это их внучка. Они были уверены, что вот на старости лет бог им послал счастье в виде маленькой хорошенькой девочки — «дочурки, клюкувки, богиньки». Ведь я улетела навсегда. Со мной все так непросто. А это существо маленькое, беззащитное. На него папиных физических и душевных сил было предостаточно. А маме было всего сорок два года. И дом, и работа, и маленький ребенок — все держалось теперь на ней. А папе важно было, чтобы у «унученьки, як у дочурки до войны, была нянька».

Как же он гонял этих нянек! Он отпрашивался у мамы с работы пораньше, чтобы, застав няньку врасплох, без мамы успеть с ней расправиться. И горе той няньке, у которой девочка ступит босой на холодный пол в нашей сырой полуподвальной квартире. Как только Машенька переехала в Харьков, папа произвел в квартире тотальную пертурбацию. Все стены он обил толстым слоем войлока. Комнаты резко уменьшились и стали похожи на забронированный блиндаж на передовой. А папа в нем главнокомандующим. И уж как ему ни нравились молодые женщины, но няньку предпочитал старую и некрасивую. Точно как умный и опытный бизнесмен, у которого секретарша и деловая, и необольстительная. Зато не отвлекает от дела. Была у них и одна молоденькая, при ней как раз Машенька и заболела сильнейшим двусторонним воспалением легких. Казалось, папа был простодушным и искренним человеком, «я увесь як на ладони», но до поры до времени. Пока дело не доходило до его кровных интересов — до мамы, до меня, до «унученьки». Но так было раньше. Постепенно диапазон его защитных владений сужался и замкнулся на маленькой девочке. И тут он был способен на такие перевоплощения, которые невозможно было предугадать. Он вдруг становился хитрым, тонким, мудрым, выдержанным и терпеливым. И не мама, а именно он докапывался до сути.

— Смотрю, ребеныk здорово кашляить. Ну, думаю, усе, дождалися — туберкулез обеспечен. Маленькая девычка, уся труситься, у пот бросаить, головка горить, як у пекли, говорить мне: «Дуся, дай мне питиньки». Пить, значит, просить. И такой на меня напал страх — гибнить на глазах ребеныk, а етый няньки — блысь, нету, след простыл — у магазин пошла! Як ей такей магазин, когда на дворе полная ночь. Ребеныk лежить, терпить,

глаза распрастер и молчить… Я ей градусник. А, мамыньки! Щитай, што чистых сорок градусов. Насилу Лелю дождавсь: скорей, скорей, тяни врача… И повезли мою клюкувку у больницу. Як же я страдав, думав, аккынчательно погибну. Не сплю, не ем, як у во сне иду на работу, а голова усе вырабатуить и вырабатуить… И тут в один момент я и змикитив — неспроста так здорово не заболеишь. Я до няньки и так и сяк — нет, не знаить. Сама, говорить, не понимаить, як такое дело выйшло. А я сердцем чую, да просто вверен, што дело нечистое. Тут вокурат якой-то праздник выпав, я ей пыдарык преподнес. Она, краля, довольная сидить, разомлявилася, пыдарык примеряить… Ну, я ей и давай, мол, ты девка красивая. Шуляты в тибя як орех. Нада тибе за хорошага парня замуж. А то так у девках и пересидишь. «Та есть, — гаварить, — у меня один на примете, очень хороший парень, тут недалеко служит, военный он». Ага, чую сердцем, попал я на нужную жилу, — да, так ты его у гости до нас зови, познакомимся, выпьем з ним по чарчинке «за честь, за дружбу». «Да неудобно как-то, Марк Гаврилович». А чево невдобно, куда ж тибе ще вести гостя, когда ты в нас живешь? «Да он сюда на горку, в сад Шевченко приходит». А иде ребенык на етый случай у тибя? «А она на травке сидит в это время, Марк Гаврилович, играется». Ето у в апрели месяцы сидить «на травке»? Ну вот етага я и добивався, ну, девка, держися!.. Щас ты взнаешь Марка Гавриловича!..

«Люся, это меня просто бог послал в тот момент. Вот тут уж наш папа точно бы „с чистым сердцем сел в ДОПР“. И это уж без шуток. Потом у него был приступ. Мне надо в больницу к Маше, тут ему „скорую“, а наша Аля в чем была убежала. Я потом ей вещи потихоньку вынесла. Так что вот так мы и живем. Пиши чаще, а лучше бы ты выбралась к нам хоть на пару дней. Папа был бы так счастлив. Все бы собрались „у кучку“, помнишь, как в детстве, когда ты была маленькая? Теперь папа тому же учит и дрессирует Машу».

Это было как раз в то лето 1960-го, когда я летела из сурового «Балтийского неба» в сочинский климат, где снималась картина из итальянской жизни. Меня отпустили в Харьков на один день проведать в больнице дочь. Съемки у меня были ежедневные. Занятость в каждой сцене. А группа не должна быть в простое. Потому на случай, если я вздумаю задержаться, со мной откомандировали ассистента режиссера, который, как только наш самолет приземлился в Харькове, взял билеты на утро в Сочи… Еще и потому эту «Франческу» не забудешь никогда.

Моя мама просто жила в больнице. Ей посоветовали ребенка держать на руках, чтобы в больном организме не образовалось

застойных явлений. И она дни и ночи напролет носила девочку на руках. Когда мы с папой появились на пороге, мама обрадовалась и расцвела. Машенька хрипло и прерывисто дышала. «Лель, хай ребеныk побудить з родною мамую», — разрешил папа. И мама с неловким сожалением оторвала от себя комок в тряпочках, пахнущих больницей и чем-то пряным. Ребенок больной-больной, а тут вдруг сразу «почуковнел» и зорко стал следить за тем, что будет «дальший». Глаза у моей дочери стали как у умного, битого жизнью щенка, которого продают на рынке новому хозяину. «Унученька ты моя дорогенькая, ето ж твоя родная мама, я ж тибе за ее гаварив». Девочка посмотрела не на меня, а куда-то в моем направлении. Слабо провела по моей щеке влажной ладонью, мол, это я знаю. А они-то, они-то куда уходят и дверь закрывают, ушли? А я? Оставили меня с этой чужой тетей, мамой… Ее лицо начинало стягиваться к середине. Глаза крепко закрылись. Подбородок подтянулся к носу. Нос провалился. И после сильного шипа из широко открытого рта вырвался неожиданно мощный хриплый крик: «Леля, Леличка, Лелюшенька, любимая, дорогая моя!!! А-а-а…» Тело ее судорожно вздрагивало и сотрясалось. Она изо всех сил колотила меня мокрыми кулачками. Двери в палату широко распахнулись. Родители вскочили. Мама выхватила у меня ребенка. Машенька обвила ее шею своими худенькими ручонками и сразу затихла. Все случилось молниеносно быстро, как будто заранее все знали, что произойдет. А я прижалась к папе.

Мой ребенок счастлив. Он купается в море любви. Так же в этом море купалась и я. Море любви — из него я вынырнула и отправилась в одинокое неизвестное плавание. Море любви — вот чего я искала. Вот чего я ждала от всех вокруг… Как часто я ощущала мучительную пустоту в душе, тоску, сама не знаю о чем. Как часто я чувствовала, что искала чего-то эфемерного, ускользающего, но необыкновенно прекрасного — самого-самого: когда летишь и хочется крикнуть на весь мир: «Я нашла, слышите? Я нашла! Я купаюсь в море любви!» Но нет, это оставалось недостижимым. В моей семье умели любить. Уметь любить, как понимаешь со временем, это редкий талант. Еще более редкий, чем талант в искусстве. Моей дочери будет так же тяжело, как и мне. Мы с ней в детстве получили большую дозу этого «моря». Только она еще больше, ведь моей маме было восемнадцать. А теперь ее бабушке — сорок два. В сорок два года к маме пришло то, чего она не понимала в молодости. И все равно, с папиным «океаном» не могло сравниться самое бескрайнее море. Ну какие же мы разные с моей дочерью! Я всю жизнь призываю: «Папочка, папусик, любимый, любименький».

Мой ребенок призывал в трудные минуты Лелю: «Леля, Леличка, любимая, дорогая моя». Как будто не слышала от дедушки слов «любименькая, Дорогенькая». Вот как интересно. В полтора года ребенок инстинктом верно почувствовал, что все жизненно важное идет от Лели. Она в семье подпольный главнокомандующий. Они с мамой одной группы крови. А мы, конечно, с моим папой.

После развода нам с дочерью досталась тринадцатиметровая комната в общей квартире на первом этаже высокого московского дома на большом проспекте. Был 1962 год. Ей уже было три года. И настала пора забрать ее у родителей. Как им это ни было тяжело они понимали, что ребенок должен жить вместе с матерью. Этот ответственный момент — «передача девычки з рук на руки» — был уже не импровизацией, а продуманным, выверенным спектаклем. Моя мама привезла дочь, якобы в гости к ее маме. Три дня мы ходили по зоопарку. Побывали в кукольном театре. И любимое мороженое покупалось в неограниченном количестве. Все исполнялось по папиной программе: «Леля ей не даеть удоволь мороженага. А ты, як истинная родная мать, дай своему ребенку столько, сколька он просить. И тогда она зразу распознаить, аде на самом деле есть истинная мать. Ты ж сама, дочурка, знаишь, что Леля человек вредный. А ты, як мать, етый вред убери з дороги. Ребенык усе чисто понимаить». В общем, приручение шло полным ходом. Но как только мама отставала, девочка тут же замедляла шаг, оглядывалась, забывая про мороженое и про меня. Ночью спала только с бабушкой — рука з руке. И вот проснулась она утром и обнаружила, что бабушки нет. «А Леля уехала в Харьков, к дедушке. Мы теперь с тобой будем жить в Москве, — говорила я. И чувствовала свою полную несостоятельность. — В Москве хорошо», — а в голове: ты еще скажи трехлетнему ребенку, что Москва — столица. Скажи, что в Харькове таких мишек нет, каких мы видели в зоопарке. Что делать, с чего начинать совместную жизнь? Дочь смотрела на меня слепыми, ничего не видящими глазами. Не нужна ей была столица с мишками и мороженым. Ее мозг лихорадочно работал и, видно, зашел в тупик. А лицо, как тогда в больнице, пошло собираться к середине. Но крика не было. Некого было звать на помощь. Начались всхлипывания, перемежающиеся с горькими стонами, как бывает у взрослого человека, несправедливо обреченного на муки. Потом она бросилась к двери. Но дверь была на замке. Тогда она стащила со своей подушки наволочку и стала судорожно складывать в нее все свои вещи — грязные и чистые, сухие и мокрые. Пряталось в наволочку все, что имело хоть какое-то отношение к ней. Потом

она надела байковую теплую пижаму, хотя на дворе стояла жара. Но ведь дедушка учил, что пар костей не ломит. Сунула ноги в сандалии — левый на правую ногу, правый на левую. При этом она что-то говорила и говорила. Всхлипывания перемежались монологом, в котором ясно слышались слова: Леля, дуся Марк, парк Горького, кот Мурат, массовка, Дворец пионеров, Клочковская. «Дай ключ», — потребовала она. Я протянула ключ. Но он ее испугал, потому что ничем не напоминал дедушкину тяжелую связку ключей, похожих на металлические детали разорвавшейся бомбы. «Открой дверь». Я открыла дверь. И моя дочь, как птица, вылетела от меня на большой двор. Запомнив дорогу, не петляя, она уверенно побежала. И понеслась по большому Московскому проспекту со своей наволочкой, из которой выглядывали бегемоты, слоны и ночные рубашки с цветочками. «Чья это девочка, товарищи? Девочка, чья ты? Где ты живешь? Кто твои папа и мама?» — «Я еду до Лели и до дедушки Марка у Харькув!» Да, самая пора забирать ребенка. Потом будет уже поздно. Вот уже и дедушкин диалект налицо.

Боролись мы долго — кто кого. До изнеможения. Несколько ночей мы почти не спали. Тупо смотрели друг другу в глаза. И молчали. Потом враз обе, обессиленные, уснули. Я в кровати. Она в кресле. Из протеста не ложилась в кровать. Ведь кровать — это все-таки этап смирения. Кровать — это уже что-то окончательное. Ранним утром я открыла глаза. На меня был устремлен чистый и ясный взор моей, ох какой, загадочной дочери: «Мамочка, я хочу питиньки».

Слава богу, думала — не выдержу. И я сразу же окунула ее в свою жизнь, свои гастроли, концерты. Пусть познает жизнь своей мамы горячим, недетским способом. И пойдут потом укрощения и притирки и ощущение страха уже не только за себя, но и за родное существо рядом. И новое ощущение материнства. И выработка личных методов воспитания, соединяющих и «море», и муштру. Это все потом.

«Ничто на земле не проходит бесследно». Стрессы и неприятности закаляют душу, но подтачивают организм. Все мои перипетии вылились в болезнь, которая полностью выбила меня из жизни. Я почувствовала сильную боль в суставах ног и рук. Сердце бешено застучало и давало сто тридцать ударов в минуту. И самое страшное — стал пропадать голос. Сначала подсипывала слегка. Это стала замечать к концу картины «Гулящая». Но в РОЛИ усталая сипотца была даже к месту. А потом голос стал совсем не мой. И однажды он исчез совершенно. Актер без голоса — все равно что машина без мотора. Как дерево без листьев. Как рояль без клавиш. Нет большей драмы для артиста, чем потеря

голоса. Пусть даже излечимая и самая кратковременная. Потеря голоса — этим все сказано. Спроси об этом у артиста, пережившего такое, и увидишь, как изменится его лицо, как моментально у него пропадет юмор. И он начнет прочищать горло — гм-гм, гм-гм. И это чисто инстинктивно, от панического страха повтора такого наваждения. Мне кажется, что артисты, перенесшие длительную потерю голоса, уже пережили в жизни своеобразную трагедию. У меня же голоса не было больше года. «У двадцать пять лет полная калека». Что делать, куда деваться? К родителям в Харьков? Жестоко обрушивать на них еще и это. Они счастливо живут себе и не ведают, что там со мной на самом деле. Обмолвлюсь кое-каким словом маме по телефону, и она ходит мучается, ничего не говорит папе.

— Лель, можа з дочуркую что неладно, а, Лель?

— Да нет, Марк, у нее все в порядке, у меня свои дела, отстань.

— Дочурка, — спрашивал он у меня, — а якеи у нее могут быть свои дела, когда мы з ею делаем усю жизнь одно общее дело на благо нашего народа. Мы делаем людям веселую жизнь, дочурка, ты ж сама знаишь. Значить, што выходить? Значить, она улюбилася. А як же иначий?

И он уже высчитывал в кого. И самое удивительное, что у него все сходилось. Все совпадало и все подтверждалось: «Когда твоя мать ездила до тибя у Москву, и етый парень з парка Горькага вокурат в етый самый мумент быв у сталице. И он тут як тут. Ну што ты на ето скажешь, а, дочурка? Ей и нима чем крыть».

Я его выслушивала, говорила, что мама была с Машенькой, не выходила из дома. Но больше всего я боялась, вдруг он заметит, что я вот-вот рассмеюсь. Дорогая моя мама! Сколько же она выдержала несправедливых обвинений из-за того, что умеет похоронить в себе тайну. Из-за того, что умеет быть настоящим другом.

Это было безжалостно, но я опять обрушилась на родителей Папа встретил беду мужественно. И сразу же приступил к действиям: "Отыскать у Харькуви врача, а лучий — «прохвесора» У меня обнаружили сильные эндокринные нарушения. Отсюда V. частый пульс. Если подлечить основную болезнь, будут уходить и боли в суставах. И родители положили меня в больницу. Я была настолько сломлена всем комплексом навалившегося на меня — одно на другое, без передышки, что могла понять сам факт происшедшего — вот я и в больнице, но не его значение — что я сильно больна. И тут, в больничной палате, у меня появилось много времени для того, чтобы видеть себя со стороны. Думать и анализировать, делать выводы. Вставать, ходить, приседать было

мукой. Говорить нечем — один сип. Так что целыми днями я лежала и молчала. Принимала лекарства и думала, думала. Вспоминала и перемалывала. Ах эта больничная зима 1961-го…

Меня постоянно преследовала мысль, что, куда я ни отправлюсь, хоть на край земли, мне все время теперь чего-то будет не хватать. И мои поиски будут безнадежными. Я часто видела ту квартирку на окраине Москвы, в которой наводила уют. В которую отовсюду привозила разные штучки. Но они не прижились. А так и остались штучками. Не прижилась и я. Стояли вещи, мои фотографии. А меня там не было. Больше я не вешаю в доме своих фотографий.

Вдруг, среди ночи, когда в палате было тихо-тихо, я просыпалась после короткого сна, потому что во сне ясно видела себя уходящей из того дома с чемоданом и с дочкой на руках. Как бежала по морозу на первый появившийся автобус. Лишь бы скорее, куда-нибудь, только подальше от дома. Твой дом там, где ты чувствуешь себя как дома. Не было больше у меня такого места. Да, случилось так. Человек красив, талантлив, оригинален, но не твой. Конечно, я любила того, кого не знала. Когда ушла острота кратковременных всепрощающих примирений, а главное, прошло время, которое позволило как-то отдышаться, вот тут-то я неожиданно начала все видеть как-то сфокусированно. Четко, но издали. И началось прозрение. Ах, какой же эмоциональный заряд был брошен на это чувство, ах, какой заряд. Как же меня в начале конца мучило ветвистое украшение на голове и пригибало к земле от стыда. А потом ничего, свыклась. Научилась сдерживать слезы, чтобы они не раздражали. Это так обидно.

… Теперь ненавижу в роли слезы. Любым путем обхожу их. Или оставляю их за кадром. Как в «Пяти вечерах», в финале. Целый день готовилась, плакала, чтобы в кадре быть опухшей от слез, но с сухими глазами. И режиссер все понял. Я читала это по его лицу.

Я лежала в палате и вспоминала. Боль удалялась все дальше и дальше. И я все яснее и яснее видела, что замок свой возводила на песке. И вот песок рассыпался, а замок рушится. Я уже не играю в пьесе, а наблюдаю со стороны как зритель. За мной оставалась расщелина, которую я принимала за райские ворота. Вот, думаю, распахну, — а там, «море любви»! Э, нет, «юная дама», прощайтесь с иллюзиями. Боль в душе утихла. И телу стало легче справляться с недугом. Несмотря на боль, я насильно ставила себя на ноги. Кажется, я не испытывала больше к объекту своего обожания ни тепла, ни уважения. Ни тем более любви. Наверное, что-то подобное пережил поэт, когда написал строчки: «Обманом сердце платит за обман». Это Лермонтов. Или все —

или ничего. Вот, пожалуй, суть моих бессмысленных поисков. Обидно. Но видеть его больше не хотелось. А в семье у нас появился термин — «отец нашей Маши».

Верно, что в поражении победа. Умерла моя любовь. Утихла моя тоска. В моем родном Харькове, в больничной палате, рядом с любимыми родителями я оздоровилась. Я поднялась над собой. Приходило исцеление, потому что умерла моя любовь. Я была счастлива! Парадокс. В душе надолго поселятся испуг и подозрительность. Около меня будут появляться милые и интересные люди. Но это будут случайные люди. Ведь одиночество прекрасно. Но не тогда, когда оно длительно.

И я, как черепаха, начну потихоньку обрастать непробиваемым панцирем запрета на искренность и нежность. Буду обогащаться новыми и новыми изощренными и гладкими фразами, которые ничего не выражают. Но и не обижают: «Ах, мы вас обожаем!», «Как вы милы!», «О, у меня нет слов», «Мы, кажется, в вас чуть-чуть того, как это по-русски… Ай лав, монамур, Баттерфляй!» А почему на «вы»? — ежеминутно помнишь: вылезешь из брони, так и схватишь щелчок по носу. Да и зачем вылезать. Именно это и имело успех. И это вместо простого «люблю».

Однажды, в роли, я искренне скажу это слово. И мой талантливый партнер почувствует, что это сказано не по-актерски. Партнер будет по-настоящему талантлив. И, как всякий талант, неожидан и необъясним. Он вдруг заинтересуется, начнет искать, сравнивать меня в жизни и в работе. И никак не выведет точную формулу: тут она в жизни, тут в роли. Он напрямую уколет меня «случайным человеком». Мол, как же это могло случиться? Такой прямой вопрос сразу насторожит. Но дальше развивать эту тему я ему не дам. Я перебью его мертвым взглядом, который меня защищает в те моменты, когда колют в больные места. Я посмотрю ему прямо в глаза. И даже сейчас я ощущаю боль, с которой сжались в карманах мои вечно мерзнущие руки. И мне будет все равно, что он подумает… Многое хотелось сказать ему. Он бы понял, но… Знаете, орлы летают в одиночку.

ГЛАВНОЕ — ПОНЯТЬ, ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО

В свободное время все стремятся за город. На чистый воздух. От людей не отстаю. Тоже стремлюсь на воздух. Прибываю на природу. Оглядываю зеленые окрестности. Полной грудью вдыхаю кислород раз десять. А на одиннадцатый начинает кружиться голова. Потом она уже в железных тисках. Но кто же на природу берет цитрамон? Когда же наконец все надышатся? Когда же всех потянет обратно в город, где жизнь бьет ключом, бурлит и пенится. Сейчас, наверное, «там» происходит самое главное, двигающее вперед, «дальший». Там работа, там… А здесь ходишь и тупо дышишь. Или лежишь до одури под солнцем. Глупо пролетает время. И мчишься в город, пахнущий милой одурманивающей гарью. И голова мгновенно проходит. Она снова чистая и ясная. А тут, в городе, все на своих местах. Ничего сверхъестественного не произошло. То был ложный страх. А на душе все равно спокойнее. Любовь к запаху бензина и выхлопным газам у меня с детства. После войны, когда в Харькове появились первые «Победы», я гоняла за ними по нашей Клочковской и жадно вдыхала такой новый едкий запах. Во всем мире он одинаковый. Он меня успокаивает.

Я сбежала из больницы в Москву. Ни больничного режима, ни даже любимых родителей выдержать больше не могла. Жизнь стремительно убегала прочь. А я вдали, где-то на периферии, от событий, от профессии. Лежу, болею. В Москве моя жизнь. В Москве мое поле битвы… И вот я вернулась. И что же? Жизнь у всех идет своим чередом. Произошли и происходят события. Но для меня — никаких новостей. Уже больше года тянется глухой простой. В Театре киноактера снята с «простойной» зарплаты. Все сроки после «Гулящей» миновали. Меня некоторое время щадили, а потом сняли с довольствия. Через время в театр придет новый директор. Увидит мое кризисное положение. В шумовом «гургуре» японского фильма я скажу фразу: «Да-да, Тасико-сан, я его позову». И меня опять на некоторое время возьмут на «простойную» зарплату.

Сцены у театра не было. Спектакли не ставились. Но они репетировались! Репетировались на самодеятельных началах. Чтобы актер не мог забыть, что он все-таки актер. В то время в коридорах и комнатах помещения Театра киноактера полным ходом шла творческая жизнь. И я ринулась в творческие коридоры. В роли Джульетты я совсем не по-девичьи, не шустро, а

медленно, преодолевая полиартритную боль, опускалась на колени перед кормилицей. Но все же опускалась и исполняла мизансцену. И пусть Джульетте не подходил мой больной сиплый голос, но я говорила ее прекрасные монологи. В тот период, когда ко мне медленно стал возвращаться голос, у меня был очень своеобразный тембр. Эдакий модный «секс-тембр». Вот бы иметь записи на память с тем голосом. Но до записей ли было тогда. И тот мой «секс-тембр» по необходимости оставался тоже маленькой домашней радостью с коридорным успехом. Но я жила, тянулась изо всех сил, репетировала в коридорах, больными пальцами играла на гитаре дома. Только в работе, только в ней, голубушке, приходило облегчение, какой бы скромной и незаметной она ни была. Работая над Джульеттой, открывала для себя мир Шекспира, проживала трагедии Гамлета, Отелло и короля Лира. Счастье училась измерять пережитыми несчастьями. И моментально запоминала те строчки, которые помогали, давали заряд. «Так погибают замыслы с размахом, вначале обещавшие успех, от долгих отлагательств». Замыслов, да еще с размахом, нет. Исчезло, как будто испарилось то свойство мозга, которое управляет способностью мечтать. Не до мечты, не до размаха. А вот об отлагательствах — это ближе. Не прозябай, не отлагай, работай в коридорах, работай в комнатах, работай дома с гитарой, работай идя по улице. И пусть еще долго не видать плодов. Человеку, для которого одно из тяжелейших испытаний есть не отсутствие семьи, не отсутствие любви, не отсутствие наличия материальных благ, а отсутствие работы, девальвация профессии, если он от этого гибнет… Ох, он должен обладать большим запасом нравственной прочности, чтобы выжить. Рядом со мной жили, трудились, работали и репетировали мои коллеги.

Студия киноактера… Здесь не спросят, зная, что ты в простое: где ты сейчас снимаешься? Такой вопрос — жестокая шутка. Здесь можно было поговорить, вспомнить, пожаловаться, можно было немножко, чуть-чуть, самую малость помечтать. Профессионально обсудить новые распоряжения студийного руководства или новый приказ из министерства, который, может быть, изменит жизнь, даст надежду. А может, откроют театр? И мы будем играть на сцене? И к нам придут зрители?… Ничего, ровным счетом ничего не зависело от этих актерских разговоров и обсуждений. Но без искры надежды жить совсем невозможно. У меня на глазах к людям, довольно молодым, приходило разочарование, которое потом сменялось апатией и покорностью судьбе. Я изо всех сил боролась сама с собой. Боролась со своим мраком и подбрасывала в себя бодрость духа, как вливают в машину бензин, когда он на

нуле, — и ни с места. В допинге, в надежде — вот в чем была нехватка.

На моей памяти не было собрания или конференции, где бы кто-то из ораторов с удивлением и сочувствием не называл мою фамилию. Как же так, актриса, зарекомендовавшая себя в жанре музыкальной комедии, а также в драматических ролях, и вот несколько лет находится в простое. Сначала мне даже льстило, что коллеги признают меня, беспокоятся, считают актрисой. А потом, от частых вариаций: актриса в расцвете сил без работы, куда же смотрят режиссеры? — появилась мода, привычка пожалеть, поохать, посочувствовать. О! Это яд. Сладкий ароматный яд. Как хорошо, когда тебе сочувствуют, когда тебя жалеют. К этому яду привыкать опасно. Можно плотно засесть в актерском буфете и слушать, и слушать, и слушать. Жалеть себя и плакаться, одурманиваться и постепенно наливаться злобой на всех и вся. Мозг ослабевает, тело расползается, лицо теряет прежние черты. И все глубже и глубже, дальше и дальше… И подняться порой человек уже не в силах. Под влиянием жизненных неудач и ударов происходит накопление физического аффекта. И этот аффект как бомба — тронули, и взорвалась. И все. Хода назад нет. Отказали слабые сдерживающие центры. От беспомощности выдвигаешь противодействие, свою злобу-броню. Тебе с ней удобно. Она удобно в тебе разместилась. А воспоминания о катастрофе ежеминутно сигнализируют: не верь, не слушай, не принимай, вспомни, сколько они принесли тебе горя. И ты уже забыл, кто это «они». Зрители? Критики? Директора? Режиссеры? Путь дурмана не для человека, который не может жить, чтобы не лицедействовать. И если это действительно актер, он вовремя сделает остановку и начинает жалеть не себя в себе, а изо всех сил станет жалеть и оберегать себя для профессии. Что такое талантливый актер, потерявший свою боевую форму? Через время самая квалифицированная экспертиза не докажет, что ты — та самая девушка, «ну, помните, та, у которой была тонкая талия, она еще пела про это».

«Товарищи, миленькие, родненькие, посмотрите, это же я! У меня была тонкая талия. У меня было милое доброе лицо, и я вам пела про хорошее настроение. Вспомнили? Нет? Не узнаете? Как же, ведь это правда я… Что же мне делать?» — «Терпи, моя детка, твое счастье упереди, хорошага человека судьба пожметь, пожметь и отпустить. Жисть есть жисть».

Что делать? Работать, репетировать, ждать и терпеть и любить людей! Помнить, что твоя профессия зависимая, требует наравне с талантом и работоспособностью терпения. Жди, пока не увидят, не отметят и не пригласят. Выжить, перемолоть,

переждать тяжкое время, которое оставляет свои шрамы и следы только в эмоциональной памяти души и сердца. И нет об этом времени никаких анкет и протоколов. И нет твоей подписи даже в платежной ведомости. А та, казалось бы, на первый взгляд бессмысленная, работа не пройдет даром. Как говорил Павел Кадочников в бессмертном детективе Бориса Барнета «Подвиг разведчика»: «Терпение, мой друг, терпение — и вы станете миллионером. Правда, это не так просто…» Ох, это не просто. Золотые слова.

Теперь, когда я много снимаюсь, те же ораторы, которые в шестидесятых мне сочувствовали, не скрывают иронической ухмылки: «Что-то ты без конца снимаешься, не много ли?» Что тут ответить? Что человек, перенесший блокаду, на всю жизнь панически боится голода. И ни за что не выбросит кусочек хлеба. Он его спрячет, превратит в сухарь, сбережет. Я боюсь выбросить кусочек хлеба. Ведь меняются люди, вкусы, время… А вдруг завтра опять затяжная блокада? Говорите, милые люди, говорите. Я буду вам кивать и поддакивать. Но работать буду. Пока есть работа и силы.

Если это так сейчас, то что было тогда, когда сил было хоть отбавляй? Энергия била через край — да так, что заглушала физическую и душевную боль.

И вот когда появилась возможность попасть в концертную бригаду, как же я была счастлива! Это были не концерты, а встречи со зрителями группы кинематографистов. В группе были и режиссеры, и сценаристы, и операторы, и художники, и, конечно же, артисты. Собрались люди разных поколений. В таких встречах, да не в Москве, я еще ни разу не выступала. С чем и как предстать вновь перед публикой? Как только я вышла на сцену, я почувствовала, что это публика из другого царства. Своим добром зрители и подсказали мне, какой мне надо теперь быть. Они меня ждали: «А мы думали-гадали, наверное, с вами что-то серьезное стряслось. Куда же, думаем, она так бесследно подевалась?» Ах ты, моя милая, дорогая публика! Стряслось, стряслось, конечно же, стряслось! Публика, публика, ты меня погубила, освистала, уничтожила… Ты же меня и воскресила, оживила. Ты влила в меня свою могучую окрыляющую силу, ты помогла, подсобила сделать первый шаг. Спасибо тебе, моя дорогая, моя мучительница, моя богинька! Я ведь тебя всегда боюсь. Но сегодня боюсь огорчить, не оправдать твоих надежд. А тогда, раньше, так нервничала, так старалась. Ну, я еще к тебе вернусь, и не раз. Мы ведь всю жизнь рядом, бок о бок.

Та наша группа подобралась из людей на редкость остроумных, замечательно ироничных, понимающих все с

полуслова и более всего уважающих в человеке оригинальное мышление и талант. С ними было интересно и многому можно было поучиться. И я старалась не пропускать ни одного слова, жеста, интонации… «Друзья, в нашей жизни главное — понять, чего делать не надо, потому что остается все, что делать можно и нужно». Хорошенький кроссворд, голову сломаешь, — чего можно, чего нельзя. И с тех памятных концертов, всякий раз приступая к роли или перед выходом к зрителю, сама ко мне залетает эта фраза: не делай того, чего делать не надо…

Среди нас была одна актриса, скажем так, еще не среднего, но уже и не молодого поколения. С первого взгляда она была красивой женщиной. Со второго взгляда появлялось ощущение: вроде все на месте, а чего-то нет. Чего? Но это уже со второго. У нас же была возможность и первого взгляда, и второго. И даже неизбежность смотреть ее на сцене неоднократно, поскольку выступать приходилось по нескольку раз в день. Через некоторое время мы уже знали все остроты и заготовленные шуточки. Все выходы и многозначительные паузы. Короче, могли заменить друг дружку. Не перед зрителем, конечно, а так, в актерском капустнике. Но интересно, что талантливый человек высказывает мысль каждый раз новыми словами. А если и повторяется, то глядит с неловкостью на нас за кулисы. Сам над собой подсмеивается, мол, ребята, а что делать? Да, подустал маленько, повторяюсь, тупой стал, мозги не варят. И мы за кулисами улыбаемся. И от этой открытости рождается ощущение какого-то особенного актерского братства. Это если человек талантливый. А если нет…

В каждой профессии есть такие слова, которые понятны изнутри и смешны, а порой глупо и двусмысленно выглядят для тех, кто далек от этой профессии и слышит эти слова впервые. В кино есть много таких слов. Например, «кинопроба». Если выступаешь перед зрителями, со словом «проба» всегда надо быть начеку. Потому с этого момента буду брать его в кавычки, на всякий случай.

Так вот, эта актриса уникально манипулировала словом «проба». «Жила я себе и жила… И вдруг — счастье! Меня попробовал Сидор Сидорович. Попробовал и утвердил!» Она называла одного известного кинорежиссера только по имени и отчеству. (Ну, допустим, Сидор Сидорович). Но зритель знал его по фамилии. По имени и отчеству его знали только кинематографисты. Кто такой Сидор Сидорович? — спрашивали зрители после концерта. После «Сидор Сидоровича» в зале всегда было очень весело. Однажды сценарист посоветовал ей подробнее рассказать о той роли, которая принесла ей успех: «Ну, скажите,

что ваша героиня — не ваша современница… Ну… скажите, что вы сидели в библиотеках. Ну… порылись в истории, что ли… в общем, подумайте. Ведь это зрителям всегда интересно». — «Что, товарищи, вам сказать о роли, которая принесла мне успех? — говорила она вечером на концерте. — Вы сами только что видели, что это женщина не наших дней, это определенная эпоха, совершенно другое время, тут предстояла работа над ролью. И я посидела в библиотеках. Я порылась в истории, ведь это же образ!..» И когда ее рассказ о роли вызывал в зале только унылое недоумение, она опять переходила к своему бойкому, затверженному, оптимистическому монологу о кинопробе.

Как только она входила в клуб, она крепко жала руку подряд всем, кто попадался на ее пути: билетерам, детям, администрации. И тут же направлялась в буфет, «к девочкам». С ходу их называла по-свойски на «ты». Целовалась с ними. Пошлепывала их детей и как бы между прочим выясняла, какой такой дефицитный товарец есть в городе. В том нашем концертном маршруте самыми крупными городами были районные центры. И женщины, польщенные таким столичным знакомством с самой киноактрисой, готовы были расшибиться, чтобы их город оставил о себе самую добрую память. И товарец находился. Все было точно отработано. Да тут просто слов не подберешь — талант, талант, и все. Где-нибудь в другой сфере, в чем-то другом она должна была найти свое место. Не знаю где. Но только не в искусстве.

Я боюсь таких людей, а еще больше актеров, у которых все всегда ровно и празднично. И душа не болит, и совесть не мучает. Никогда. И всегда все прекрасно.

… Смотришь на морскую гладь. Дети бросают камешки в пробку от шампанского. Лежишь и думаешь — ну кто же из них попадет? И саму подмывает попробовать. Дети уйдут — тогда… Но вот набегает туча, начинает накрапывать дождь, и мамы поспешно разбирают своих детей. А ночью бушует море, шторм, да такой, что взламывает бетонные пирсы и уносит лодки и навесы. Вот так и жизнь!.. Тихо-тихо, а потом — хрясь! Наутро притихшие отдыхающие в теплых кофтах и оренбургских платках ходят по пляжу, поднимают коряги, выброшенные штормом. А что это там белеет среди грязно-бурых волн? Белеет и даже подпрыгивает весело и победоносно? Пробка? Да, это вчерашняя пробка от шампанского. Ох ты черт, какая живучая — ничего ее не берет…

ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ СВЕТ

Шестидесятые годы… Экран завоевывает режиссерский кинематограф. Тонкие актерские нюансы отходят на второй план и уступают место режиссерским размышлениям в виде кинематографических гипербол, сравнений, эффектного монтажа. В моде актеры-типажи. Режиссер мог снимать актера за его прекрасную улыбку, за скульптурно правильное лицо, которое так от природы фотогенично, что безо всяких усилий выражает мировую скорбь. Актер, углубившись в себя, мог решать: «Из зарплаты в 250 рублей вычесть налог 13 процентов, это будет…» А за кадром красивый баритон вещает: «Сколько сынов здесь прошагало, сколько горя горького выпито…» И на экране — ну просто непревзойденный эффект! В лице актера от природы таилась какая-то весомая загадка. Другому же его коллеге нужно три дня не спать, биться головой об стенку, перевернуться в тройном нервном сальто, чтобы достигнуть такого эффекта. Кино не театр: в кино можно обмануть. Как хорошо, что в 80-х, в лучших картинах голос режиссера не заглушает духовные нюансы актера. У лучших режиссеров 80-х актер в его фильме — единомышленник. Сейчас в кино смешались жанры, сгустились краски. Режиссер приглашает на роль актера, внешность которого, казалось бы, далека от данного персонажа, как небо от земли. Разве об этом можно было подумать тогда, в 60-х? Теперь нужен актер. Актер — это значит, он сможет все! Наступило прекрасное время: твори, выдумывай, пробуй.

Совсем недавно мне, в который раз, задали вопрос: «В чем же главное различие театра и кино?» Никогда не могла «схватить» это «главное». Все же, присутствуя на спектакле в театре — как бы хорошо не играли актеры, как бы «железно» ни был поставлен спектакль, я смотрю куда хочу. А в кино — смотрю туда, в том направлении, куда ведет меня за собой камера. Она выбирает, на что мне смотреть. А камера — это режиссер. А если не замечаешь камеры, и идешь, как будто ты сам хочешь так идти и именно это видеть… Тогда это прекрасный режиссер, это «твой» режиссер!

Шестидесятые… Это время, когда в моду входили шуршащие плащи «болонья», пальто и куртки из кожезаменителя, синие блейзеры с золотыми пуговицами. Это время, когда знаменитую Брижит Бардо начинала затмевать слава английских «Битлз». Но у нас Брижит Бардо была еще в самом разгаре. На экранах с большим успехом прошел фильм «Бабетта идет на войну». И все женщины стали ходить с прическами «а ля Бабетта» и по возможности — с пышным бюстом. Из-за больших голов с

начесами все казались тонконогими.

И я от моды не отставала. Да ни за что на свете! Тоже немножко Бабетта, с бантиками, с волосиками, подкрашенными в модный цвет. Кто сказал, что женщине трудно одеваться модно? Я этого не понимала никогда. В самые бедные институтские времена три-четыре рубля на ситец находились всегда. А копеечные ленточки и кружевца для отделки? Ей-богу, мне все завидовали! «Ну, у нее столько нарядов!» А позже, когда не было ничего — ни зарплаты, ни работы в кино… Концертная поездка облегчит жизнь, купишь в комиссионном идиотское платье большого размера. А фантазия, фантазия-то на что! Сидишь, крутишь, вертишь, выходишь — все ахают! Где купила? Да так, говорю, случайно досталось, заморское… И все верили. А потом, через время, — хвать от него рукава, а вместо складок — юбку «дудочкой». И идешь как японская гейша, тюк-тюк-тюк каблучками. Фурор! А одно платье перешивала рекордное количество раз. Уж больно материал был занятный. И моя приятельница говорила мне по телефону: "Я так понимаю, что сегодня на тебе будет вариант номер «семь». Эти, казалось бы, мелкие радости здорово меня вдохновляли в те времена.

Шестидесятые годы… В моде песни: «Джони из зе бой фо ми», «Под крылом самолета», «Я гляжу ей вслед», «Дунай, Дунай» и прогремевшая на весь мир «Пусть всегда будет солнце». Моя Машенька с упоением пела и разучивала эти песни. Я купила ей проигрыватель и много пластинок с детскими сказками. «Послушай, дружок, сказку о Красной шапочке», — и полчаса я свободно могла заниматься своими делами. Все мои знакомые последовали моему совету и купили детям долгоиграющие сказки-пластинки. Замечательное изобретение! Дети развиваются и умственно, и музыкально, и артистично, ну — и познавательно. И у матерей развязаны руки. Очень удобно.

В те годы работы у меня не было прочно и наверняка. А времени свободного было… Да все время свободное. Даже страшно. И именно на то время падает обильное количество знакомств с людьми. С людьми разными — работающими в искусстве и вне его. Тогда я попадала в самые различные компании с необычным для меня микроклиматом, новшествами и модами. У меня была полная свобода выбора — мое это или не мое. Совершать ошибки в оценках людей и своих поступках. Переболевать обманы и человеческие перевоплощения. Делать выводы. Искать свое. Отметать чуждое.

Я познакомилась с людьми так называемого светского круга, где велась игра во взаимную вежливость: «Прошу Вас», «О, нет, прошу Вас», «Входите Вы», «Нет, входите Вы». Здесь не говорилось

ничего лишнего. Говорить лишнее — моветон. Ей-богу, честно, я им подражала и тоже подолгу молчала, только слегка кивала головой — ни в коем случае не эмоционально — нет-нет, чтобы получилось то ли да, то ли нет. Молчу, молчу изо всех сил. Но невозможно же! Ведь так вообще ничего и не произнесешь… И несмотря на то, что я скоро усвоила, что высшее благородство — в молчании, подавлять себя искусственно не могла. К сожалению или к счастью, но я принадлежу к такому типу людей — людей, очень неудобных в общежитии, — которые говорят то, что думают. А кому это понравится?

А жизнь, с бесконечным количеством свободного времени, продолжалась. Вскоре я увлеченно окуналась во что-то новое.

Попадала в компании, где вокруг одного человека пригревались многие. Этим одним обычно оказывались сын или дочь состоятельных родителей. Родители находились в постоянных разъездах и предоставляли детям полную свободу, не контролируя и не проверяя их жизнь. В такую компанию актриса с именем, пусть и нашумевшим когда-то, вполне вписывалась. И даже, на первых порах, была всем интересна. Все пригревающиеся жили своей самостоятельной жизнью забывая, что едят чужой паек. Это особая разновидность людей-паразитов, которые обладают крепкой авантюрной бессовестной натурой и держат своего кормильца-лидера в жесткой зависимости. Они виртуозно умеют перевоплощаться, угождать, в нужный момент посочувствовать. Они свободны всегда. И никто никогда толком не знал их профессии.

Заинтересовало меня загадочное искусство художников. Чистый лист бумаги, напитавшись какой-то сказочной атмосферой, вдруг дышит как живой. На нем шагают люди, распускаются розы… Фантастика! Мастерские художников размещались или в подвалах, где было серо, сыро, темно и пахло красками и плесенью. Или на крышах, в поднебесье, где ярко светило солнце и было много голубого неба. И ни одной крыши рядом. Прямо как в замке или в тереме. И в подвалах, и в поднебесье я чутко вслушивалась в незнакомые слова и определения, внимательно следила за необыкновенными мыслями талантливых людей. Они разговаривали на своем особом языке, как глухонемые на улице, когда прохожие удивляются, как же это не словом, а руками можно все абсолютно изобразить. Ох, как много я не знаю. Как о многом не ведаю. Я сидела с умным видом, кивала и… ничего не понимала. Наверное, здорово пишет Дебуфе. Но как он пишет и о чем — не знала, только кивала и поддакивала, опустив глаза. А когда увидела книжку с иллюстрациями его работ, совсем потерялась,

сникла, скисла. Ничего не поняла. А умный вид уже был продемонстрирован. И запутывалась окончательно. Тогда еще не умела честно сказать: я этого не знаю, не понимаю, это не мое. Да, я тогда и сама не знала, что мое, а что — нет. Нет, видно, не дано мне постичь тайный, интимный процесс работы художника. Когда вижу результат — хочется плакать. И я опять искала свое.

В жизни встречаются люди, которых сразу же признаешь за близких друзей. Безошибочно это бывает крайне редко. Ты им раскрываешь свою душу, потому что инстинктивно чувствуешь, что здесь тебя не предадут и не обманут. Тут уж можно довериться безо всяких опасений. И испытываешь такой восторг, когда получается, когда удается заразить человека своим азартом! И такие минуты в ажиотаже от счастья, что ты нашел долгожданный объект, бездумно говоришь вдруг невозможные вещи. Эти обильные извержения, опустошающие «набеги» были мне органически необходимы. Они наплывали на меня, когда нужна была разрядка энергии, которая копилась во мне, не находя применения. Я была беспомощна перед этой силой. Я не боялась. Она меня мотала, мучила и не выпускала из своих цепких лап. И только после опустошений эта сила отходила и давала возможность отдохнуть, одуматься, отрезветь. А потом опять начинала подкрадываться со всех сторон, опять сжимала в железных тисках.

Сейчас я понимаю, что это были своеобразные спектакли. Необходимость играть — как дышать, как пить, как есть. Я находила зрителя на всех перекрестках своего запутанного маршрута. Я наваливала на него избыток своей энергии. И порой кто-то, не умев распознать, сориентироваться, конечно, принимал меня за человека «с приветом». «Вот уж эти артисты, все-таки они придурковатые». Отсюда порой рождались сплетни, делались неверные выводы, расползались слухи и небылицы.

Теперь, когда много работаю, я экономно распределяю дорогостоящую для здоровья энергию. Держу себя, если вдруг распирает азарт «набега». Если раньше в самолете, перекрикивая рев моторов, я находила себе жертву и она меня слушала, в купе поезда до рассвета веселила попутчиков, а дома, от того что звучало пианино, в стену стучали соседи, то теперь, как войду в самолет, быстренько пристегнусь еще до того, как зажжется объявление: «Ноу смокинг. Фастен белтс». И закрою тихонько глазки. Зайду в купе поезда — тут же на полку и калачиком, лицом к стенке, чтобы остаться неузнанной. И музыка в доме на полтона, и очень редко громко, как раньше. Музыка тоже требует энергии. Соседи довольны, — наконец-то притихла эта артисточка, а раньше: «Что? Вот это ваша работа?! Что мы, не

знаем, как работают настоящие артисты? Что же это вас не снимают? Мелькнули раз — и метлой? Ха-ха!» Теперь притихла я. И притихли мои соседи. Но в самолете, закрыв глазки, но в поезде, свернувшись калачиком, вы думаете, я отдыхаю, я сплю? Нет, сплю я трудно. Все думаю, думаю… Передо мной все летят, бегут обрывки фраз, эскапады чьих-то возбужденных выступлений, вспоминающихся некстати — полная белиберда и хаос. Это меня преследует, не отпускает, трясет до головокружения, до изнеможения. Я оглушаю себя снотворным, засыпаю болезненным сном, чтобы проснуться и снова лихорадочно и тревожно существовать под гипнозом этого хаоса. И вдруг весь этот хаос выстраивается в стройную шеренгу, обрывки склеиваются в одну точно смонтированную ленту, и даже интонации чьих-то выступлений, оказывается, были неслучайными. В это время я совсем замираю, целиком ухожу внутрь себя и ничего вокруг не вижу. В эти моменты происходят самые роковые ошибки в отношениях с людьми. Они не понимают, что я болею. А я не могу им объяснить своей болезни. Она неизлечима. От нее есть лишь одно лекарство. Болезнь отходит в тот момент, когда я вхожу в кадр новой картины. Когда я становлюсь другим человеком. Эта болезнь была процессом перестройки организма на новый лад. На лад другого человека. Этот новый человек и ходит, и мыслит, и ест иначе. Существует на другой, не на твоей жизненной ступени. Следовательно, у него и пульс другой. У него иное давление и другая частота дыхания. И группа крови другая. А если иметь ввиду, что женская природа ох какой запутанный и сложный, вечно загадочный и капризный организм, то, может быть, чуть-чуть приоткроется степень тяжести этой болезни — психофизического и биологического переустройства организма. Но в период болезни я вдруг произношу фразы, которые могут обидеть человека невниманием или кажущимся потусторонним пренебрежением. Вот именно, потусторонним. В момент болезни я не рядом с ним. Через время я мучительно вспоминаю, что же я такого могла сказать? Почему человек насторожился и как бы изменился? Я вас по-прежнему очень люблю, прошу прощения. Во мне сидел недуг, но разве это объяснишь… И часто бывает, что поздно. Наверное, отсюда и тяжелый характер. Безусловно, тяжелый. Но что-то я не встречала актеров с легким характером, если, конечно, профессия владеет ими полностью. Но… задним умом всегда бываешь хорош. И сколько же должно было пройти лет, сколько случайно выброшенных фраз, сколько расстроенных отношений с людьми, чтобы все это дошло до сознания и чтобы сделать вывод: болеешь — не показывайся на глаза. Закройся — и мучайся наедине. А что

делать, если вся жизнь на глазах, на людях? Даже ночью — в поезде…

Тогда же, в те времена, в тяжелые времена безработицы, эти «недуги» были как своего рода катарсис. И иногда так тренинг, как проверка: а если в бой, вот так, с ходу, повоюешь? Да, да, дайте бой, дайте. Как говорилось в одной пьесе: «Бомба есть, запала нет, а то так бы и трахнул».

Изредка про меня вспоминали. Да нет, не изредка. Всего один раз. Пришла с бьющимся сердцем на кинопробу, посидела в гриме и костюме несколько часов. Дошла до меня очередь. А до конца смены осталось пятнадцать минут. Режиссер нежно меня обнял за плечи и очень вежливо объяснил ситуацию — мол, мы с вами бывалые, опытные, битые кинематографисты, все стерпим, не правда ли? Тут вот до вас пробовал неопытную «зелень», вот и замешкался. Извините, милая, мы вам позвоним, как только дирекция назначит время следующей кинопробы. Времени следующей кинопробы не сообщили, и, кажется, на роль утвердили неопытную «зелень». Где же ты теперь проросла, неопытная «зелень»? Проросла ли? Ну что ж, обижаться не на кого. Жизнь в кино жестокая. Режиссер делал свое дело. Он рубил свой лес для того, чтобы построить новое, интересное здание. Рубил лес. А когда лес рубят — щепки летят. И от этого никуда не денешься. Так не превращайся в щепку, в шлак. Будь сильной, стань той необходимой, драгоценной щепкой, без которой рухнет красивое здание. Не смей быть выброшенным шлаком. «Будь», «стань», «не смей» — эти повелительные формы глагола могут относиться к человеку, который в эту жестокую профессию забрел неслучайно. И пришел для того, чтобы страдать, мучиться, любить, сомневаться, гореть, гореть, гореть. Пока не сгоришь. Весь, дотла. Нет-нет, настоящий талант пробьет себе дорогу. А ежели не прорастет неопытная зелень, а ежели она зачахнет на корню — значит, это был вовсе не талант. Просто на время кого-то смог одурачить. А потом зачах. Я абсолютно сознательно жестоко говорю так об актерской профессии. О том, что без истинного призвания случайным людям в ней делать нечего. И пусть режиссер, строя свое здание, использовал лицо милой девушки из аптеки или скульптурные черты рыжеволосой красавицы из медицинского института. Режиссер на время оторвал их от профессии. И вины у него перед ними нет. А девушкам… Получила удовольствие, снялась, удовлетворила интерес к тому, как «делают кино», и обходи это кино десятой дорогой. А не оставайся обиженной на полпути, неактрисой и неаптекаршей. Пройдет время, пройдет мода на «типажи», восторжествует по праву на экране актерский труд, и прежние

открытия, новшества будут все равно что «плевок в вечность». Это выражение знаменитой актрисы Фаины Раневской стало у кинематографистов популярным. У нее спросили как-то, почему она не снимается? Это было именно в то время, когда последние раза два она снялась в серых и безнадежных картинах, а потом резко повернулась к кино спиной и быстрым шагом навсегда удалилась в театр. «Знаете, сняться в плохой картине — это все равно что сделать плевок в вечность».

Какая же была радость, когда меня вызвали летом 1963 года на Рижскую студию. Как сказали по телефону, в «веселую, спортивно-конструктивную комедию». Пробы не было. Меня вызвали, чтобы заменить опять же молодую, неопытную «зелень». А то бы не попасть мне в картину в то время, да ни за что на свете. Картина была уже на полном ходу. Все были на своих обжитых местах. Мне же нужно было еще только находить свое место. Моя героиня — конструктор велосипеда нового типа. Вот почему спортивно-конструктивная комедия. Мой велосипед нового типа укрощали сразу два героя фильма. «Укротители велосипедов» — назывался этот фильм. Она — спортсменка. Она же еще и поет. В нее влюблены сразу двое. Ну почему же я ощущаю какой-то момент собственного недовольства, а? Чем же вы неудовлетворены, милая артисточка? Да, о вас вспомнили совсем уж от безвыходного положения, ну и что ж? Да нет, нет, что вы, я довольна всем. Можно даже сказать, что я счастлива. Более того, я схватилась за эту роль с жадностью, как будто в ней я найду счастье, блаженство и мне приоткроются неведомые тайны жизни и покой. Ну разве в голову могло прийти тогда, что роль конструктора-новатора, с моей сегодняшней точки зрения, будет очередным «плевком в вечность»…

Я брожу по красивой Риге, нахожу те уголки, где мало народу. Мне нравится сидеть рядом со старушками. Слушать их пересуды и жалобы на здоровье, любоваться их старыми собачками. Ах, как мне хочется домой, к родителям, к моему папочке! Порой мне так остро этого хочется, что я чувствовала, как моя душа «сжата в тисках». То было прекрасное, теплое, редкое прибалтийское лето. Почему-то я во всех городах выискивала улицы, которые про себя отмечаю так: вот здесь похоже на Харьков, о-о, а это точно наша Сумская! Ну, а это уж прямо наша Холодная гора. Ой, а здесь родная Клочковская… А ведь уже десять лет вроде живу в Москве. Лето… Дочь у родителей в Харькове. Сейчас у них счастливое время. У всех троих. Ах, если вот скоро я нагряну к ним, то надо собираться с духом и очень тонко сыграть, опять, мол, все хорошо. Опять работаю. Суставы побаливают, но уже далеко не так, как два года

назад. Уж точно, папа перво-наперво прощупает все кости и будет прислушиваться, «нет ли у дочурки туберкулеза?» Я привезу для него гостинцы — знаменитых прибалтийских угрей. «Давай, Леля, подкорми дочурку як следуить быть. Хай поспит дома. Вот усе и у кучки, уся семья, ах ты ж, мамыньки родныи, якая ж ета радысь. Ладно, не плачь, Лель, што бог дась, главное, чтоб здоровье було! А етага брата в нее ще будить… Ще усе наши окны повыбивають! Не плачь, Лялюша, а то я и сам вже не выдержу». Мама прижимала к себе свое любимое создание — свою «унученьку», — и все мы молча думали об одном: она растет без отца.

Прошло время после картины «Укротители велосипедов». Теперь я ее люблю за то, что она принесла мне редкую возможность еще раз встретиться с большим артистом, одинаково мощно работающим во всех возможных жанрах. Что такое в моем понимании настоящий артист? Это человек, которого я ни на секунду не могу представить ни инженером, ни учителем, ни космонавтом, ни врачом… Но который может быть самым высоким профессионалом в этих профессиях… На экране и в театре, конечно. Это народный артист СССР Олег Иванович Борисов. Тогда хрупкий молодой человек. Годы мало изменили его внешне. Они только углубили его крупное драматическое нутро, его недюжинный актерский темперамент и отточили ювелирный актерский ум. Это один из редких партнеров, очень родной по духу. С ним я могу не видеться годами, но если встречаюсь на кинопробе, на репетиции или сразу на съемке — у меня возникает ощущение, что все это время мы не расставались, а жили рядом, бок о бок. Впервые нас свел в дуэте в своем фильме «Балтийское небо» Владимир Яковлевич Венгеров. Олег Борисов играл летчика Татаренко. Казалось бы, лирический герой, что тут придумаешь? Но актер сумел найти в роли такие разнообразные нюансы, что его герой не уместился в рамках, отведенных Борисову. Даже в той голубой роли было видно, что актер может сделать очень многое. В фильме «Укротители велосипедов» мы встретились в комедийном дуэте. У Олега Ивановича несколько сцен просто блестящих, каскадных. А потом «Рабочий поселок» и его знаменитая трагическая роль слепого инвалида войны. И я рядом с ним, подавая ему с земли палку, абсолютно верила, что Олег действительно ничего не видит. На мой взгляд, это одна из его самых прекрасных ролей. А потом, в небольшой роли учительницы, которая не любит детей, я подыгрывала Олегу Борисову в фильме «Дневник директора школы», где он создал свой, борисовский, глубокий, очень теплый, душевный характер директора-учителя. Еще судьба нас свела в фильме «Вторая попытка Виктора Крохина», где мы играем безысходную любовь

двух немолодых, побитых жизнью людей. Во время съемки после слова «мотор» у меня не подрагивала ни одна жилка, мне было очень спокойно и казалось, что рядом со мной такой родной, такой дорогой и знакомый человек. «Олег, сколько лет мы с тобой уже знакомы?» — спросила я его на съемках нашей последней совместной картины «Рецепт ее молодости», — где Олег танцует, поет, играя роль барона Пруса. «Знаешь, лучше этого не произносить вслух, а то прямо страшно…» Много есть хороших актеров. Меньше — прекрасных. Совсем немного — редких талантов. Но таких, как Олег Иванович Борисов…

Я ходила по рижским переулкам. Я чувствовала, что скоро кончится картина, тогда опять — неизвестность. Эта работа случайная. Случайная. Из нее не вытекало ничего. Ничего. А что же завтра?

НАЗНАЧЕНИЕ

В театр «Современник», гремевший в шестидесятых, я попала случайно. Все, что я видела в театрах, будучи студенткой и после, не уносило меня высоко. И быть на сцене во время действия хотя бы одного из виденных спектаклей мне не хотелось. А для себя, изнутри — эта самая точная оценка — с позиции: твое или не твое. Подсознательно мне хотелось со сцены услышать нормальный человеческий голос. Узнать о жизни такое, что мне очень важно. Проще: мне хотелось театр приблизить к кино, к жизни. Вроде так. Но вот сейчас, сегодня, мне хочется совершенно обратного. Хочется ярких, пестрых, выразительных, небытовых интонаций. Хочется видеть мощный, разносторонний характер-символ, далекий-далекий от невыносимых правдивых-преправдивых узнаваемых интонаций, которыми овладели все в совершенстве. А в общем, дело не в этом, а в том, как время меняет критерии, вкусы, потребности, невозможность существовать вчерашним.

На спектакль «Назначение» меня пригласила актриса, с которой мы встретились однажды на пробах. Потом, как это бывает в кино, жизнь разбросала нас, и вдруг мы встретились у метро на площади Маяковского. Я узнала, что она работает в театре, напротив которого мы стоим. На днях премьера нового спектакля, с репетиции которого она идет. И главное — вот же совпадение — она снимает ту же комнату, у той же хозяйки, где я провела время пика «моей бурной молодой популярности». У той очаровательной женщины, которая, наверное, всегда меня вспоминает, садясь на антикварный диван палисандрового дерева. Моя симпатичная приятельница не просто актриса. Она актриса Редкого взрывного темперамента. Поразительно точный собирательный образ — тип бойкой, обаятельной, с острым юмором, жизнерадостной, жизнелюбивой и жизнестойкой советской женщины. Именно современная советская актриса. Она талантливо умела сочетать полярное — трагедию и комедию. Смешивала их как лед и пламя не только в течение роли, но и в течение одного монолога, одной фразы. В блестящей трагикомической роли Нюты я и увидела ее в спектакле «Назначение».

Это был период самого расцвета театра. И расцвет творчества этой прекрасной актрисы. Актрисы Нины Дорошиной. Сейчас сменилось в театре все. Новое помещение на спокойном и «чистом» бульваре, где нет той прежней бурлящей жизни эпицентра города, когда хочешь или не хочешь, а жизнь с ее

горячей, тревожной атмосферой площади Маяковского врывалась в двери театра вместе со зрителями. Да и зритель другой. Новое руководство в театре и новая администрация. И все новые и новые актеры. Сейчас другие моды, волны и напевы. Это тоже интересно. Но почему я не могу забыть того праздничного настроения, связанного с обликом дорошинской жизнеутверждающей женщины? Ведь многое на расстоянии блекнет, меняет свои краски. Но то видение — такое выпуклое, такое неизгладимое и, кажется, такое нужное сейчас. И скажу как на духу: как актриса я не лишена моментов болезненного самолюбия, тщеславия, честолюбия. Но когда Нина Дорошина играла на сцене роль, где я ее дублировала во втором составе, — в тот день я была занята в массовых сценах, — я, стоя в толпе, смотрела на нее с таким восторгом, что изо всех сил прижимала руки к груди, чтобы не зааплодировать вместе со зрительным залом.

Осень 1963 года. Театр на 800 мест забит до отказа. А в атмосфере зала сверхпраздник, потому что в то время праздник чувствовался даже на обычных, рядовых спектаклях этого театра. «Назначение» — пьеса Александра Володина. Того самого драматурга, по пьесе которого через некоторое время будет поставлен фильм «Пять вечеров». Когда я буду работать в «Современнике», я познакомлюсь с этим талантливым драматургом из Ленинграда. Он мне сделает комплимент: «Вы лучшая из музыкальных актрис», сделав акцент на слове «музыкальных». Потому как применение ко мне слова «актриса» — в обычном понимании «драматическая актриса» — было тогда еще под большим вопросом. И этот вопрос я постоянно ощущала всей кожей. Скажи тогда этому человеку, что пройдет время и я сыграю в фильме по его пьесе… Нет, даже сильно напрягаясь, не могу представить, что стало бы на минуту с его милым интеллигентным лицом… А скажи мне, что я буду… Да нет. Нет-нет-нет, и еще раз — нет. Этого «я буду» не могло промелькнуть даже в минуты самых отчаянных фантазий. Даже шутя, мимоходом оно, это «я буду», не могло тогда коснуться моего сознания.

Кем я пришла на этот праздничный спектакль? Актрисой? Нет. Скорее зрителем. Но жаждала счастья от искусства, наверное, больше, чем все зрители. Это было питанием для моего истощенного организма. И потому, что все-таки я имела отношение к этому священному месту, на которое сейчас буду смотреть как зритель. Вот в публике, совсем рядом, кто-то прошептал мою ненавистную фамилию. Это наверняка не москвичи. Москвичи меня уже похоронили. Я, как оболочка,

потерявшая свою начинку, хожу, ем, смеюсь, даже хохочу и заливаюсь. Но здесь, сейчас, рядом с таинством — а оно чувствуется даже в бережном тихом шепоте, в отсутствии шуршания бумажек от конфет… во всеобщем затаенном дыхании… — я не могу себя ощутить реально: какая я, кто я? Это был тот момент, когда жизнь сама меня вытащила из топкого болота. Все-таки жизнь всегда припасает какой-нибудь сюрприз, неожиданный выход. Значит, момент был действительно не из лучших. Жизнь почувствовала, что пора притупить во мне боль и тоску по настоящему, высокому. Теперь я воспринимаю свое случайное появление на том необыкновенном спектакле именно как закономерность. В тот вечер я решила: если во мне есть что-то, если не все еще «прижалось» под градом неудач, то вот он — единственный путь. И я пойду по нему. Во что бы то ни стало. На этом пути не было ненавистного для меня — вялости чувств и традиционности мышления. В этом спектакле мне все показалось родным, желанным и, главное, узнаваемым. Все говорили нормально и естественно… Вот что потянуло меня выбраться на этот путь.

Ах, если бы знали те люди, то небольшое количество талантливых актеров в труппе, что я была готова на любые жертвы, готова была не есть, не пить, ходить по снегу босиком, лишиться всех земных благ, лишь бы вступить в такой актерский «орден».

С какой гордостью я приняла все маленькие эпизоды и выходы. Сколько бережного тайного удовольствия я вкладывала в несколько реплик, которые мне казались добрым предвестником нового этапа жизни, где нужно пройти такой обязательный начальный экзерсис. Я так всех любила, так распахнуто и искренне восхищалась всеми, что, наверное, казалась излишне простоватой. Иначе бы не вырвалась фраза: «Гм, какая добренькая»… Это было брошено вскользь, мимоходом, не помню, но кажется, по незначительному поводу. А почему же это я не помню? Отлично помню: я пропустила без очереди актера, когда мы получали зарплату. Я-то живу тут рядом. А ему домой — в Люблино. Вот и вся моя «добренькость». Что плохого в слове «добренькая»? Так говорят в сказках — «добренькая бабушка». Это брошено было вскользь, но здорово меня встряхнуло. Интонация иронии почти не скрывалась. Как же мне вести себя? Быть самой собой? Это значит, быть со своими порывами и восхищениями. А что мне делать? Меня выдавала радость на моем лице! Не могу же я признаться: знаете, я так счастлива, что работаю, что каждый день бегу сюда, к вам, таким особенным. Так, бывало, в детстве бежишь на любимую картину и «света божжага не видишь». Да

что там всякие сравнения. Меня жизнь в театре воскресила.

Но с каждым днем я понимала, что не могу постичь чего-то. Не схватываю какого-то важного полутона. Не могу заставить себя быть прохладной и сдержанной. И быть «в ударе» желательно в точное время. А когда это «время»? Эх, папочка ты мой любименький, вот как я унаследовала все твои отставания по дипломатическим дисциплинам. Надо учиться разговаривать умными гладкими фразами, в которых нет однозначных максималистских «плохо» или «здорово».

В дипломатии был один из моих главных провалов. Вот чему надо было учиться. Это был важный момент для существования в организме, где все колесики и шарики притерлись. Все знали свои задачи, функции и слабости. И им, как на ладони, видны были все ошибки и провалы винтика, пришедшего со стороны.

Мой показ состоял из трех отрывков: роль Джульетты, та самая, которую я репетировала в коридорах Театра-студии киноактера, и два отрывка из спектаклей театра «Современник». Выучила целую картину из спектакля «Назначение», показывалась в той самой роли, которую так блистательно играла Нина Дорошина. И еще приготовила сцену из второго акта пьесы того же Володина «Старшая сестра». Выучила я эти отрывки самостоятельно. С актерами договорилась. Текст прошли перед показом. Потому мой показ был в общем-то импровизацией. Ни танец, ни пение под гитару для меня проблемой не были, сложнее оказалось в монологах, в общении с актерами, которых я видела так непривычно близко. Но это было так интересно, так азартно. Я совершенно не помнила себя. Неслась на какой-то высокой волне, которая мне могла только присниться. Кажется, у меня в жизни до того вечера больше не было таких пиков, когда все самое невозможное находило реальное воплощение. В театр меня приняли почти единогласно. За исключением голоса одного актера, аргумент которого меня тогда сильно удивил: «А что она будет у нас играть?» Как что? Нет, очевидно, он, будучи внутри механизма, знал что-то, чего мне не дано было тогда знать. Но теперь я знаю. В театре у актера должно быть свое место. Меня взяли без места. Но ведь взяли, все справедливо. Но нет. Нельзя идти в театр, если не имеешь гарантии на место. Пусть оно будет голым плацкартом, но твое. Ты его потом обживешь, если у тебя есть что-то от бога. Нельзя в театре «проехать зайцем». Театр — это не поезд, который когда-то достигнет конечного теплого пункта. В театре долго без места не проживешь. Или потеряешь себя. Вот так. Единица для меня была, а места не было. Во втором составе я получила сразу одну большую роль. Но, как назло, роль голубую, из пьесы «Сирано де Бержерак». А уж если что-то мне не

дано играть, так это именно такие роли, типа Роксаны, героини той пьесы. Из всех швов атласного белого платья выпирал мой отнюдь не голубой характер и мое полупролетарское происхождение вместе с остатками харьковского акцента. Зато за мной прочно были закреплены выходные роли, в которых у меня не было замены. Сыграла два срочных ввода. Потом и это как-то прекратилось.

Я все явственнее начинала постигать неведомые мне тайны общения: соблюдение дистанций, неглубокие привязанности, открытые неприязненности, умение чего-то не замечать, не задавать открытых вопросов и не давать быстрых ответов. Не удивляться, если вдруг начинается разнос — и тут уже все своими именами, каждому точную его стоимость, а потом — опять как раньше… И когда уже почти ничего не поражало меня, я подумала: ну что? Пожалуй, хватит. Нет, нет, мало, еще мало. Надо вот так еще себя поломать. Мое от меня пока не уходит, оно пока при мне. Разумом я отлично понимала, что мне здесь многое неродное, но сознательно еще работала и существовала. Радость на сцене в том, как репетируют и играют талантливые люди. И в этом плане как актриса я провела в театре прекрасные минуты своей жизни.

Олег Табаков. Тогда мне казалось, что, если он будет на русском языке играть в любой стране мира, любой перевод только умалит достоинство этого большого актера. Талант международного класса. И точно. Прошло время. Он выезжает за рубеж. Играет в иностранных спектаклях на русском языке. И зарубежный зритель восторженно приветствует его. Он ставит спектакли за рубежом и как режиссер показывает зарубежным артистам, как это «по-русски» нужно играть. Мне рассказывали, что трудно повторить то, что показывает Табаков. Да и как повторить, если на сцене от удовольствия забываешь текст своего маленького эпизода, глядя на этого артиста, всегда идущего по лезвию ножа, почти на запрещенных приемах, на ходу выдумывающего, импровизирующего, перевоплощающегося так тотально, что просто щупаешь себя за нос, а может, ты во сне? И так каждый спектакль. И в такие минуты забываешь о всех своих недочетах, ошибках и провалах вне сцены. Вся кулуарная возня кажется ничтожной в сравнении с таким праздником. Пусть только на сцене счастье. Сейчас это самое главное. Пусть мой человеческий склад совершенствуется и перестраивается… если сможет.

Обожаю талантливых людей. Перед талантом млею всегда. Бездарных и претенциозных не люблю и не скрываю этого. Берись за то, чему ты сроден. И… враги тут как тут. Что ж, здравствуйте,

товарищи враги! А жизнь, в общих чертах, продолжается, черт побери, а?… И вас все больше и больше.

…Но не было ролей. Не сыграла я ни в «Назначении», ни в «Старшей сестре». Вернее, в «Старшей сестре» сыграла. Девушку из общежития. Казалось бы, вроде танцую и пою, и хотя бы этим отличаюсь. Но на сцене пели и танцевали другие, разучивая танец неделями. А на показе я его делала с ходу. Может, это нескромно, но это факт.

Нет, не нужна я этому театру. Что-то во мне их раздражает. Я не прижилась, хотя ни разу не слышала в свой адрес — бесталанна. «Слушай, сегодня сидим в гримерной, — говорила мне по телефону Таня Бестаева, — просматриваем театральную программку за неделю. Я прошу посмотреть, что там в „Современнике“. Ну, в общем, поинтересовалась тобой. Мы хохотали до слез. Сколько же ты переиграла девушек. И ни одной женщины». Я живо себе представила, как бы я сама себя прокомментировала со стороны. И что-то мне стало, ой как, невесело. А ведь два тяжелых года перевалили на третий. Пора было подводить итоги. На моих глазах голосовали судьбы многих, которых брали в театр на испытательный срок. Уж очень это больно — в одно прекрасное утро выйти на улицу и быть свободной от занимаемой должности. Еще вчера слышать дыхание зала, еще вчера быть членом талантливого коллектива, а сегодня ты от него свободна. Тебя освободили, так как ты не соответствуешь мерой дарования общему уровню этого коллектива. И тебе об этом все сказали своими словами, без всяких дипломатических витиеватостей. Жестоко? Ого! Еще как! Ну что ж… Быть прекрасной машинисткой трудно. Но научиться печатать можно. Редко встретишь водителя-профессионала высшего класса. Но машину водят многие. Научить быть на сцене интересным невозможно. Ведь на сцене все тайное становится явным. Жестокость — отправная точка в самом раннем становлении профессии актера. С первых шагов. Ты артист — и готовься ко всяким грядущим болям.

Итак, в один прекрасный день я вдруг подала заявление об уходе из театра по собственному желанию. Тихо и спокойно. Как будто это было давно решено. Хотя еще утром, идя на репетицию, об этом даже не думала. Я просто представила, что сейчас, на репетиции новой пьесы, я буду долго сидеть в ожидании своих двух реплик… И… ноги, помимо сознания — красиво или некрасиво, удобно или неудобно, раньше или позже, деликатно или нет — сами повернули в фойе направо, к главному режиссеру. И как пелось: «…Но бывает, что минута все меняет очень круто…» И от сознания своей свободы и победы стало так

легко! Победы? Я ведь не справилась, потерпела поражение, не сумела стать незаменимым винтиком. Но почему же радость облегчения била через край? Все четыре стороны света для меня свободны — выбирай любую. Ничего впереди не ждет. А я счастлива. Но ведь тогда, в Харькове, в больнице, когда во мне мучительно умирала моя любовь, я ведь была счастлива. Потому что одновременно с этим я приобретала облегчение. И где-то впереди брезжил свет. Я знаю, что выхожу из увлеченностей в работе, из самых поначалу необыкновенных увлечений, как только чувствую насилие над своим внутренним миром, о котором не расскажешь словами. Он вдруг бастует, кричит, бьется и физически направляет движение в нужное русло. Своей, только своей дорогой.

Позже я часто возвращалась к этому важному периоду жизни. Да и не было ни одного выступления, где бы зрители не интересовались причинами моего ухода из «Современника». Почему же я все-таки ушла из лучшего театра? Уязвленное самолюбие? Непризнанный талант? О, как же я изо всех сил подавляла в себе все негативное и подавила в конце концов. Тогда и стало легче. Но прежде мне нужно было научиться терпеть. А порой я думала так: первый успех пришел «вдруг», без вклада. Без труда выловила рыбку из пруда. А после была неминуемая расплата. Научиться терпеть и воспитать в себе волю. Нужна была недюжинная сила воли, чтобы пробудить прежнюю веру: «дуй свое». Без силы воли теряешь веру.

В театре я прошла прекрасную школу жизни. Научилась терпеть и не чувствовать себя обиженной. В театре я поняла, что я далеко не чудо. А главное, утроила желание трудиться, трудиться до изнеможения. После такой школы жизни уже никогда не потеряешь реального представления о себе. И уж точно никогда не заболеешь «звездизмом». И больше тебе ничего не страшно. Это я взяла с собой в будущее, но и многое оставила в этих стенах уже в прошлом. А сейчас, через время, я точно могу сказать, что свет, который брезжил, был — Музыкой!

Музыка. Меня спасла музыка. Иногда я с острым приступом тоски чувствовала, что именно музыка была ключом к моей жизни, к детству, теперь такому далекому. Музыка жила во мне вопреки тому, что я хотела стать драматической актрисой. Она тщательно скрывала свой запас, понимала, что не пригодилась мне здесь в театре, терпела, не выказывала себя, как могла… Но иногда она вырывалась на волю, как однажды, в тот день Девятого мая. В день двадцатилетия победы над фашизмом. В театре шел спектакль «Вечно живые». В середине второго акта, прямо на полуслове, в зале погас свет, и по обеим сторонам сцены

зажглись сосуды с Вечным огнем. Все артисты и зрители замерли. На авансцену вышел актер и негромко, торжественно-траурным голосом сказал: «Сегодня, в день двадцатилетия победы над фашистской Германией, почтим павших смертью храбрых минутой молчания». Зал в бесшумном порыве взлетел и затих. На целую минуту. Но какую! Я вдруг ощутила, как кровь отлила от головы. Происходит нечто такое, что не может пройти бесследно. Минута молчания. Молчал зал. Молчала сцена. Молчала страна. Молчал мир. Я думаю, в зале не было ни одного человека, который в эту минуту не испытал потрясения и кого бы эта минута не перенесла на двадцать лет назад или не заставила задать вопрос: «А что такое эта минута в твоей жизни?» После спектакля я шла домой, пересекая площадь Маяковского, забитую нарядной, праздничной толпой. Пестрая майская молодежь, учтиво уступала дорогу сорокапятилетним «старичкам» с орденами и медалями. А дома меня ждали родители. Как только папа открыл дверь, я бросилась к нему и расплакалась. У него на груди красовались две медали: «За победу над Германией» и «За взятие Берлина». Родители приехали в гости. Папа, мама, Маша и я собрались все вместе. Папа очень темпераментно, уже в какой раз рассказывал о событиях фронтовой жизни. Мы же слушали, как в первый раз. Вдруг он прервал рассказ и горько заплакал: «Выпьем за моего родного брата Мишку, хай земля ему будить пухум!» Всю ночь после минуты молчания, после нашего семейного ужина с папиными рассказами и воспоминаниями меня мучила музыка. Так наутро родилась первая моя песня «Праздник Победы». Мне хотелось, чтобы в этой песне было все то, что так всколыхнуло меня. Чтобы в ней очень просто было сказано о всех пережитых моментах.

Праздник Победы, шумит весна,
Люди на площади вышли.
Старый отец мой надел ордена,
Выпили мы за погибших.

Чтобы в ней была страница моего детства, которая пронеслась в ту минуту молчания, когда я стояла на сцене.

Вспомним мы песню военных лет
«Синенький скромный платочек».
Эту песню я девочкой пела когда-то,
Эту песню я раненым пела в палатах,
Эту песню на фронт увозили солдаты.

И чтобы в ней обязательно была Победа, несмотря ни на что, несмотря на потери. Несмотря на солдатские могилы.

В них лежат подарившие жизнь нам солдаты,
Подарившие мир и салютов раскаты…

Жаль, что на бумаге не воспроизведешь мелодии, исполнения, а лишь слова. Их по моей просьбе уложила в стихи актриса театра Людмила Иванова. После каждого из трех куплетов идет музыкальный припев без слов — вокализ, — который имеет каждый раз новую актерскую краску, особый смысл, а в конце песни вокализ этот звучит уже в мажоре. И голос исполнителя должен перекрыть оркестр. Как апофеоз, как гимн Победе! Что там говорить, я эту песню задумала с размахом. Ах, как она мне была по душе.

В то лето 1965 года в актерском доме отдыха я случайно разговорилась с певицей Москонцерта и узнала, что у нее нужда в репертуаре. Она загорелась этой песней. В Москве я с ней разучила все нюансы, остановки, замедления, а главное — мысль, и никакой внешней аффектации. В финале — апофеоз, да еще исполнила его на октаву выше! Эффект! — «та што там гаварить!» Певица Маргарита Суворова спела эту песню осенью того же года на конкурсе советской песни в Театре эстрады. В тот день я играла безмолвную девушку-манекенщицу в «Третьем желании». И о том, чтобы отпроситься на конкурс, где будут петь «мою» песню, не могло быть и речи. Потому все отзывы моих друзей оставлю в стороне — тут может быть и гиперболизация, и просто желание меня поддержать. Но в «Неделе» эту песню отметили, назвали ее удачей конкурса: «Интерпретация певицы соответствует этой сложной и необычной по построению талантливой песне». Начиная с самого 1957 года, после выхода «Карнавальной ночи», после всего-всего, это были первые радостные строчки. У меня же прямо крылья выросли. Певица пела песню на гастролях с успехом, о чем писали местные газеты, вырезки из которых мне переслали. Уже и другие запели песню. А один эстрадный певец спрашивал: "А что, если я переделаю и буду петь: « Эту песню я мальчиком пел по палатам…» Я ему осторожно заметила, что если «петь», то «…в палатах», а если «ходить», то «…по палатам». Но это его не остановило, и он «пел по палатам». Ах, какая, в конце концов, разница? Спасибо, пел мою песню!

И вот как-то усаживаюсь вечерком перед телевизором… В то время была такая музыкальная программа, где критик выступал с новостями музыкальной жизни и критикой новинок. В компании

двух композиторов, популярного в то время певца и очаровательной критикессы как раз шла речь о последнем песенном конкурсе. Я затаила дыхание… Что будет… Критикесса прочла абзац из «Недели», где говорилось о «Празднике Победы». Но уже потому, как она читала те же строчки, которые меня так осчастливили, было ясно, что сейчас меня «приложат». Я вцепилась в подлокотники кресла… Жду… «Ну что вы, это же несерьезно», «спекуляция на чувствах людей», «Девочка в палатах», «какой-то отец надел ордена и медали», разве о таком в песне поют? Ну, товарищи, ну нельзя же так!"

Как дышать, если нет воздуха? Как явиться завтра в театр? Как встретиться в лифте с соседями? Как появиться на улице? Как объяснить папе? А может, взять бюллетень? Что делать?… Нет, только не бюллетень. Только открыто. И пошла. И играла. Как ни в чем не бывало. А что там внутри, так это дело терпения и силы воли. А через некоторое время появятся другие песни, «фронтовики наденут ордена» и выяснится, что все это «поется». Несмотря на такой грустный финал истории с моей первой песней, я получила большое наслаждение, когда ее пела. И пусть она не стала широко известной, пусть это были мои маленькие, частные радости, но они были.

…Стояла теплая весна 1966 года. На голубом небе ярко светило солнце. Я вышла из театра на любимую площадь Маяковского. «Нет, жизнь не кончена в тридцать один год, вдруг окончательно и бесповоротно подумал князь Андрей». Какой еще князь Андрей? А-а-а! Андрей Болконский у Толстого. Стоп. А мне сколько сейчас? Тридцать один! Ага? Вперед! Я пошла через площадь на улицу Горького, улыбаясь прохожим. Изнутри меня заливала мелодия детства, на которой выросло мое поколение, она никогда не давала падать духом:

Нам ли стоять на месте?
В своих дерзаниях всегда мы правы…

Музыка взбунтовалась во мне, взорвалась и зазвучала, освободившись, как от рабства. Музыка! Я пошла за тобой! Посмотрим, как распорядится жизнь…

ВРЕМЯ ГРЕЗ

А жизнь распорядилась просто. Надо кормить ребенка. Надо платить за квартиру. Надо одеваться. Надо, надо, надо… И я со всем пылом нерастраченной музыкальной энергии бросилась в наитруднейшее плавание — на эстраду. Но это не эстрада с «Зеркальным театром», «Эрмитажем» и «Олимпией». Это бесконечные перелеты на маленьких подпрыгивающих самолетах. Это поездки в общих вагонах, где, тесно прижавшись друг к другу, сидят усталые люди с мешками и чемоданами. Это не роскошные номера люкс с коврами и фикусами, а комнаты на четыре койки без удобств. Это маленькие нетопленые клубики с пианино, на которых не хватает клавиш.

1966-1970 годы… Эти годы — самая длинная дорога испытаний без работы в кино. Сразу же после ухода из театра я, правда, сделала в кино еще один «плевок в вечность», снявшись в спортивно-музыкальном фильме «Нет и да». И те же стечения обстоятельств: мною опять заменили «неопытную зелень». Как прочно кинематографисты не думали обо мне и вспоминали только по суровой необходимости. Адская трудность из сегодня перебраться туда и изобразить, воскресить тогдашние мои метания.

1966-1970 годы… пожалуй, самое мятежное время в жизни, потому что оно было опять обречено, опять приговорено к свободе. А ведь мне уже за тридцать. В этом возрасте без настоящего дела свобода… Она проклятая, таинственная и загадочная. Она полна неожиданностей, соблазнов, запретного. Потому что вызывает любопытство и интерес. Она, как зло и ненависть, приемлема в небольших дозах. А перегнешь палку — и летальный исход неизбежен. Эти годы начисто лишены какой-нибудь хронологии. Здесь светлые дни сменялись черным провалом и отчаянием. Весь этот круговорот совершался по кривой, косой, корявой параболе, где невозможно задержаться, не за что зацепиться, когда вот-вот… Но, словно по таинственному взмаху волшебной палочки, свершалось чудо, и я удерживалась, пусть иногда с сильными ушибами. События происходили, а пульс стучал. Стучал, как у нормального здорового человека, который не подвержен от природы никаким недугам и аномалиям. Мой организм имел бетонный пьедестал — здоровые начала моих добрых родителей. Это меня и спасло. «Як говорили, дочурка, у гражданскую: кругом пальба, темень, хоть глаза выколи, собаки лають, а обоз идеть».

С каждым выходом на сцену, от выступления к выступлению,

я чувствовала себя крепче и увереннее. Я искала, экспериментировала. Училась на сцене мыслить, быстро и лаконично отвечать на вопросы. Ухватившись за маленькое узнаваемое событие, старалась облечь его в историю, которая имела бы свой сюжет. А главное, вывод, объясняющий мое неслучайное обращение к этой истории. Иногда в голове у меня пролетало видение, которое заставляло немедленно менять ранее принятое направление. Как однажды: выступаю. Застряла фраза той актрисы из первого выступления: «Я счастлива, скоро Сидор Сидорович…» На меня как налетел, как навалился смех… Смеюсь и ничего не могу с собой поделать. И оттого, что мне как-то нужно было оправдать перед зрителем этот смех (ведь не расскажешь истинную причину), вдруг словно с небес, сваливается сверхэксцентрическое спасительное оправдание этого смеха. И зрители уже смеются вместе со мной. Это необъяснимо, это рассказать нельзя. Наверное, очень важно заразить зрителя чем-то очень искренним, своим, пробуждая в каждом чувство смешного. Мне очень хотелось, чтобы мое пребывание на сцене и в городе, и в крае оставалось бы незабытым зрителями. И я всегда выкладывалась. Программа имела железный костяк, но вокруг главного все беспрестанно менялось и обновлялось. В концерте были и рассказы и отрывки из спектаклей, и стихи, и песни. И (чего уж совсем никто не ждал) в концерте я исполняла свои песни. Я не сразу перешла к так называемым творческим вечерам. Было боязно солировать почти два часа на сцене — публика заскучает. Но вот, после отчаянного, незабываемого эксперимента в городе Тамбове, где на сцене городского театра состоялись мои первые в жизни творческие вечера, опасения рассеялись.

Лежишь вечером в номере и фантазируешь, придумываешь, мечтаешь и вдруг дойдешь до такой восторженной фантасмагории, что заикнись об этом кому-нибудь… Словами этого и не расскажешь. От этого экспромта так хорошо на душе и на сердце. Завтра обязательно попробую на сцене что-нибудь из невероятной «фантасмагории». Интересно, что останется до утра? Ведь утром все другое. Утро отрезвляет. А вдруг вместе с утренним светом и будничными заботами, телефонами и головной болью пламенная ночная фантазия бесследно исчезнет?

Испарилось, да не все. И кое-что даже очень удалось. И публика приняла, оценила. Ах, какие то были чудесные вечера — ночи грез. Никакого одиночества. Да никто и не был нужен. Я была так переполнена внутренней жизнью, так боялась расплескать то драгоценное, что предназначалось только ему, только зрителю. И опять, после опустошающего, счастливого выступления я ложилась в своем номерочке, в счастливом

уединении, без шума, без калейдоскопа лиц. И опять, и опять погружалась в поиски.

Образ жизни артиста эстрады совершенно особый. Первое, что я сразу отметила, — это независимость и большая личная ответственность. Артисты эстрады кажутся более экстравагантными, более колкими, не прощающими самых мелких шпилек, отвечающими со сцены своими словами, а не текстом, написанным автором. Это люди, о которых ходит наибольшее количество гиперболизированных слухов и историй. Я инстинктивно чуяла, что, вырвавшись на такую свободу в искусстве, надо очень здорово себя ломать, шлифовать и обновлять, чтобы иметь право на такое место.

То была одна из моих первых поездок после ухода из театра. В Москве стояло жаркое лето, а здесь, на далеком севере, трещал мороз. С тремя пересадками пролетели почти треть земного шара. И наша группа артистов наконец-то добралась до места. Аэродром. Аэродром? Это громкое слово. Аэродромчик. Деревянный, холодный аэродромчик. Служащие стояли вокруг нас в ватниках, и по их виду было ясно, что нас никто не ждал.

— Здравствуйте, товарищи, мы — артисты!

— Здравствуйте, товарищи артисты, очень хорошо!

— Нас должны были встречать представители областной-краевой — как тут у вас? — филармонии.

Дежурный обвел глазами служителей аэродромчика и небольшую группу людей, ожидающих очередного рейса. Ни одного лица, характерного для представителей администрации. Артисты, измученные дорогой, голодные и грязные, совсем пали духом. А у дрессировщицы, прижимавшей к себе двух умных пудельков, привыкших ко всему, начались нервные всхлипывания.

— Скажите, где у вас гостиница? — спросил дежурного крепыш-акробат.

— У нас тут есть только Дом рыбака. Может, там вас и ждут?

— А-дну мину-тачку, — не унимался акробат, — люди едут к вам за тридевять земель. Везут вам, можно сказать, веселье, прогресс, а тут никто ничего не знает. Товарищи, скажите, вам хотя бы звонили?

— Товарищ, дорогой, да я пожалуйста, но я ничего такого не знаю.

— Нет, вы мне ответьте, вам звонили?

— Я дежурный! Я… делаю свое дело.

— Нет, но ва-ам зво-ни-ли???

Этот диалог я всегда вспоминаю, когда уже совсем мрак. Полнейший мрак. Все. И выхода нет и не будет. И вдруг — как это бывает в жизни — одно перевранное слово, сказанное с пафосом,

или какая-то дурацкая деталь, или неожиданная петушиная трель в голосе, а атмосфера вдруг резко меняется. И мрак уходит. Уходит через вот такой момент эксцентрики. И всегда найдется в компании человек, который сразу схватывает этот момент, быстро его «переваривает» и вносит поначалу в атмосферу разрядку, легкость, поднимается от нервного смешка к веселью — все выше и выше.

В нашей компании был такой человек. Он первый громко расхохотался. И тут же с жирной издевкой, точно копируя интонацию крепыша-акробата, спросил: «Нет, нет, товарищ, вы ответьте, но в-а-м зва-ни-ли?» Засмеялись все, а дежурный больше всех: «Вот теперь видно, что вы артисты. Здорово он его… Звонили вам, говорит, или нет? Да никто мне не звонил, говорю, а он опять свое… Зво-ни-ли? Ну мать честная… А этот вот сразу видать… артист, и все тут».

Это точно. Хотя широкой публике его имя было неизвестно: в телепередачах не появлялся. В Москве выступал редко, все больше на окраинах страны. Но человек был необыкновенный, с большим запасом внутренней деликатности. И замечательный товарищ. Много раз, когда я уж совсем падала духом, он, как тонкий, чуткий человек, мгновенно это чувствовал и одной какой-нибудь парадоксальной фразой, интонацией мог вывести из тупика. Услышав в телефонной трубке мое потерянное «здрасте» подхватывал: «А-а-а! Все ясно, все ясно, милая вы моя! Нельзя над жизнью серьезно задумываться. Надо жить легко… (Следовала красивая фраза из непереводимых слов — очень точное, на все случаи жизни идиоматическое выражение, увы, исключительно для устного пользования). Милая вы моя, если над жизнью серьезно задумываться, это же не жизнь, это же у-у-жа-ас! Завтра я опять начинаю длительные гастроли по городам Баренцева моря с принудительной прогулкой по морю наших дорогих друзей товарищей Лаптевых…» И становилось легче, ей-богу. Так смеяться редко кому было дано. Сначала как-то весело подпрыгивали его губы, а уж потом раздавался сам смех — искренний, зажигательный, здоровый, как будто вдруг вылетела на свободу долго сдерживаемая радость. Услышав однажды его смех, увидев однажды его улыбку, невольно хотелось вызвать их снова. Хотелось зажечься, распрямиться, помолодеть. Люди в него влюблялись после нескольких фраз и одной улыбки. Не верилось, что этот человек мог кого-то когда-то обидеть. Слух у него был острый и моментально реагировал на все необычное как надо. Иногда прямо в концерте, импровизационно, рождались его веселые монологи. И зрители понимали, что это именно о них, сидящих в зале. Об их городе. Об их улицах. И смеялись, и

хлопали, и кивали благодарно — так точно и метко все заметил артист. Успех его был постоянным. Я с болью задумывалась иногда, почему этот человек, очень талантливый, не достиг многого? Чего же ему не хватало? В чем была эта нехватка? Вот на Других его хватало. А на себя нет. А может, потому и не достиг, что был рабом своей многочисленной семьи, которой был предан всей душой и для которой соглашался на любую работу? Порой на такую, которая была недостойна его одаренности. Но он часто бывал на мели. А семья? Замкнутый круг. Когда человек одаренный оказывается на мели и готов на любую работу, он идет на заранее обреченное дело. И в конце концов наступает то время, когда он вынужден терпеть унижения от мелких администраторов, третьесортных гастролеров — людей, которые не заслуживают и йоты его уважения. Это понимаешь не сразу, а с течением времени, с опытом. И если для меня эта поездка была лишь началом бесконечных гастролей, то для этого человека наша короткая гастроль являлась естественным продолжением одиссеи, которая давно стала его буднями. «Что-то Париж молчит. Странно, ведь через месяц мои гастроли в Олимпии. Девчата, кто хочет со мной? Проезд и суточные из моего кармана. Развлечения, естественно, за мой счет. Прошу к завтрашнему дню заполнить личные дела», — поставленным голосом говорил нам веселый человек за кулисами. В это время работники маленького клубика онемело, в веселом любопытстве смотрели на «этих» столичных артистов. «Париж», «Олимпия». Мы не выдерживали, прыскали, открывался занавес, и веселый человек шел к зрителям. «…Добрый вечер, дорогие друзья! Никакая ненастная погода не смогла помешать нашей встрече. Так пусть сегодня в этом зале будет весело, будет…»

В Доме рыбака было холодно и пусто. В коридоре около умывальника выстроилась с кружками и стаканами вся наша труппа. Холоднющая вода текла тоненькой жалкой струйкой. Потом все, как по команде, включили свои кипятильники. И ровно через несколько минут в Доме рыбака перегорели все пробки. На весь коридор громко раздался заливистый смех веселого человека: «Добрый вечер, товарищи! Наконец-то всем все ясно. Действительно приехали настоящие артисты». В темноте залаяли два пуделя. Раздался смех их хозяйки. А потом и другие пошли подхихикивать в своих комнатах. Потом стало в самом деле весело. А уж совсем потом все сидели в маленькой прокуренной комнате нашего веселого друга перед огарком свечи, прямо как в той военной песне. Среди этих людей — разных-разных — мне стало легко. Они обладали удивительным качеством — умением увидеть себя со стороны в ироническом

фокусе. Общаясьс этим веселым человеком, я со временем стала в людях больше всего ценить жизнерадостность и остроумие. Этот веселый человек был великолепно остроумен.

Я начинаю новую жизнь. Иду, как говорится, «красной строкой». Вот когда пригодилось имя. Все-таки оно еще жило. И зрители, мои добрые зрители, меня еще не забыли. Скоро я выйду к зрителям. Сегодня надо помолчать. Разговаривать после. Без авансов. Делом, делом зарабатывать себе право «говорить».

«Друзья мои! Света нет, денег нет, тромбофлебит, жена больна, кругом паутина и сухари, никто не встретил, вокруг вечная мерзлота, концертами не пахнет… А мне нравится! Мне все нравится! Я счастлив! И пусть вечным огнем горит огарочек свечи, „горит свечи огарочек“, — подпел он поставленным тенором. — Друзья мои, жизнь прекрасна!»

А потом он всех тихонько поманил за собой в темный коридор, высоко над головой держа огарок свечи, который превращал наши закутанные фигуры в странные сказочные тени. Мы дошли до номера, где спал богатырским сном крепыш-акробат. Тук-тук-тук. «Кто там?» — «Тэ-варищ, скэжите, но ва-ам зва-ни-ли?»

Я переживала, что во время гастролей Маша оставалась со случайными людьми. Уезжаешь на неделю, а душа болит. И боишься звонить, а вдруг подружка забросила девочку, как однажды… Звоню в двенадцать ночи, хочу узнать у подружки, как там ребенок, и вдруг:

— Мам, это я, Маша.

— А почему ты не спишь? Ведь завтра вставать рано в школу?

— А не ложусь, тетю Зою жду. Ты не волнуйся, мам, я будильник завела, телевизор выключила, газ потушила.

— Как же ты там одна сидишь в темноте?

— Знаешь, мам, у меня балкон открыт, так у кого-то музыка играет, я слушаю. Мам, деньги есть, все в порядке. Учусь, ты сама знаешь как.

Да, это я хорошо знала. Но разве после такого звонка можно заснуть? Какой там сон! И все мои эксперименты и фантазии уже кажутся обвинительным приговором. Вот ты тут концертируешь. А ребенок один в пустой квартире. Двенадцать часов ночи! А ему всего восемь лет! А как я росла? Мне вообще никто не звонил и денег не оставлял. Но то была война. А сейчас время Другое. И летишь в Москву. И крутишься вокруг ребенка. И уроки с ним делаешь. И все покупаешь. И зоопарк и кино. А потом проходит время… Жить надо. И опять гастроли. И опять не с кем оставить девочку.

Мой ребенок не избалован. С шести лет она отлично

справлялась с магазинами. Все покупала, да еще и без очереди. Сначала без очереди потому, что маленькая. А в десять лет могла присочинить, что мама больная, что в больницу опаздывает. Точно как я когда-то в голодовку в Харькове. Я тогда могла сочинить про себя такую трагедию, да еще и подпустить обильную слезу, лишь бы дали кусочек хлеба. Многие удивляются — дочь киноактрисы, а поведение и запросы как у ребенка, выросшего в многодетной семье, где с детства знают цену копейке. Похоже. С детства на долю ей выпали недетские заботы — помочь маме выстоять, не потерять стержня, веры в людей, не осесть, не раствориться в суете, не плыть по течению. Она тихо жила рядом, помогая изо всех своих детских сил, и, наверное, чувствовала — об этом говорили ее печальные недетские глаза, — что жизнь может втолкнуть человека в такие тупики, загнать в такие дебри, откуда нет выхода.

Она бывала по целым дням одна. Когда ей становилось невмоготу, она звонила моим друзьям. Больше всех она любила того веселого человека: «Юрий Ми-хай-лавич! Приходите ко мне, пожалуйста, мне очень скучно! Нет-нет, мне не звонили. Скажите, товарищ, но ва-ам зво-нили?» Она точно подражала интонациям нашего доброго друга. Конечно, все взрослые были в восторге. И мне тоже было приятно где-то в глубине души. Здесь я точно как моя мама — никаких внешних восторженных проявлений. Приходя домой, я заставала целый отчет на столе, что сделала, что купила, кто звонил, что ответила.

— Звонила Бориса Марковна. Мам, я не поняла, это кто же, тетя или дядя?

— Ой, господи, Маша, это же Раиса Марковна.

— Но она же говорила мужским голосом.

— У нее голос низкий, потому что она курит. Никогда не кури, Маша, когда вырастешь.

— Но я же записала «Бориса Марковна», — вроде дядя, но в то же время и тетя…

Так у нас и осталось за той красивой женщиной имя «Бориса Марковна». Во время школьных каникул я брала дочь с собой на гастроли. Ночью мы спали с ней, тесно прижавшись друг к другу в холодной кровати очередного гостиничного номера. Днем ходили на базар, в магазины. А вечером на концерт. Она сидела за кулисами, в уголочке, закутанная и притихшая, внимательно наблюдая за жизнью на сцене и за кулисами. Она знала всех администраторов, схватывала на лету реплики, в которых чувствовалась ирония, юмор, явные или скрытые намеки. «У нас с Людой любовь и так далее». Или вдруг: «Стойте, идите сюда. Это в ваших инте-ре-сах». И попробуй не подойти, если это говорит

огромный мужчина-администратор с громовым баритоном. Голос, поставленный от природы, изысканный, хотя и не лишенный признаков потрескивания. Это потрескивание намекало на желание захмелеть и быть в ударе. В его облике была такая респектабельность и надежность, что ему доверялись многие люди. Доверилась и я. Это было «в моих инте-ре-сах». Работали мы дружно. Только администраторы, как и кинорежиссеры, люди неверные. Они там, где огонек, на который идет публика. Публика! Ведь она заполняет места в зале… Как я благодарна тем людям, которые от меня не отвернулись, которые в меня верили…

Иногда мы с Машенькой ходили гулять в парк, катались на чертовом колесе, а потом звонили нашему доброму другу.

— Маш, позвони ты, спроси: «Товарищ, ну, ва-ам зво-ни-ли?»

— Это дядя Юрий Михайлович? Скажите, ну, вам звонили? Нам очень скучно. Да нет, это мама. Лично я над жизнью серьезно не задумываюсь. Что? Ну конечно… я с вами абсолютно согласна… «Если над жизнью серьезно задумываться, это же не жизнь…» В трубке раздавался жизнерадостный смех и неизменное приглашение на огонек.

АПЛОДИСМЕНТЫ, УСПЕХ, СЛЕЗЫ И «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ»

Как туго идет у меня это продолжение. Казалось бы, ну и что веселого в голодном военном детстве? Но как легко, свободно и радостно лилось… Наплачусь, насмеюсь, опять наплачусь… Сейчас же, как только переношу себя в те годы, в душу проникает и заполняет ее не побежденная временем горечь. Удивительно, теперь, когда бывают дни, события которых не могут не радовать, — и я радуюсь, даже бываю счастлива, — но… недолго. Без всяких причин, просто как оборонительный рефлекс, на меня наваливается горечь того времени: «Хватит, хорошего понемножку. Вспомни, как было несладко, и не забывайся. А то я тебе испорчу приятный привкус жизни. Я недалеко». И когда еще в разгаре сладкий улыбчатый ажиотаж рукопожатий и поцелуйчиков, я уже меняюсь в лице и хочу только одного — поскорее исчезнуть и сразу же что-то делать, делать, делать, делать…

…Актер эстрады слышит аплодисменты публики, еще не успев дойти до кулис. Дошел до кулис: «Ну как вам мой новый номер?» И тут же получает поздравления, пожелания. Искренние, нет ли — это уже дело его интуиции — поверить или помножить услышанное на шесть, разделив на восемь.

Актер кино сыграл сцену, выскочил из кадра: «Ну, ребята, как получился дубль, а?»

Гример: «Потрясающе, ни один локон не дрогнул. Головка была просто прелесть. Мне понравилось».

Второй режиссер: «У меня лажа. На втором плане девушка вылезла не вовремя. Вылезла и стоит. Дура. Я ее сейчас выгоню. Еще дублик, а?»

Главный оператор: «Дублик? Это же режим. Ты посмотри на солнце. По свету было идеально. У меня дубль есть».

Художник по костюмам: «О, насчет солнца — это точно. Как работала ткань! Наконец-то виден силуэт костюма. Снимаете все крупно да крупно. Пошивочный цех месяц мучался над оборками и рюшами. Нет, этот дубль прелесть».

Звукооператор: «Мне показалось, что микрофон был низковат. Не мог он мелькнуть в кадре?»

А актер, трясущийся после дубля, преданно и доверчиво заглядывает всем в глаза. Но никто на его немой вопрос — как же я? — не отвечает. Его увидит, услышит и почувствует только режиссер. Какой он? Что для него главное? Интересно, что у

крепкого режиссера не видно на экране ни мелькнувшего микрофона, ни того, что девушка вылезла не вовремя. Режиссер возьмет именно этот дубль. Проведет его через самые суровые ОТК. Потому что он знает: в этом дубле актеры были на той эмоциональной волне, которую повторить нельзя. Актер на пути к зрителю, безусловно, в руках десятка талантливых нянек.

А что думает публика о киноактере, он узнает только тогда, когда выйдет на концертную площадку. Своими аплодисментами зритель укажет киноартисту на его реальное место в профессиональном строю. Публика совершенно неожиданно, по-своему, дает оценку артисту, порой парадоксально. Я поражалась тому, как распределялись зрительские симпатии. Вот артист Иванов. Сколько лет снимается. Сколько картин за плечами. И провалов не было. И с экрана надолго не исчезал. Объявили его фамилию. Раздались вполне удовлетворительные аплодисменты. Ну, так, на троечку… Не больше. А вот — Петров! Сейчас он — из картины в картину. На студии пробы сразу в нескольких фильмах, за него идут бои между режиссерами. Объявили Петрова — семь с половиной восторженных хлопков в трехтысячном зале. Черт побери, да вот только сегодня в газете о нем хвалебная рецензия. Ничего не понимаю. Ну, сейчас номер артиста Сидорова. Что тут скажешь? Жаль, что давно не снимается. Почему? А кто его знает? Держись, держись, Сидоров, милый. «Выступает артист кино — Сидоров!» И… взрыв! Бурные аплодисменты. Зрители сердечно благодарят артиста за то, что он однажды принес им радость, ворвался в их души, заразил их оптимизмом, душевной щедростью, своей природной артистичностью. Ах, как публика это настоящее чует и ценит. Я преклоняюсь перед обаянием, талантом и редкой добротой этого артиста. Я слышу его голос: «Когда весна придет, не знаю…» И чувствую, как подступают слезы. Привыкнуть бы — ведь столько раз слышала. Нет! Наверное, потому, что это настоящее, индивидуальное, нигде не позаимствованное, русское. Николай Рыбников заставляет меня приближать все такое далекое, пристально, ностальгически прикасаться к детству, к папе, к отечеству. Ах, это артист «мой». Таких прирожденных артистов конферансье эстрады может объявлять так: «А сейчас перед вами выступит артист, у которого еще нет звания, но его имя и есть его звание».

Только побывав на эстрадной площадке, актер кино поймет жизнь артиста эстрады. Сам, без нянек, он кует свой зрительский образ, оттачивает свое мастерство. А публика помогает ему шлифовать вкус.

Аплодисменты, «бис», «браво», «скандеж», ажиотаж сопровождают одного. Другой же покидает сцену под стук

собственных каблуков. Можно ли остаться ровным, доброжелательным, независливым, быть выше всего этого? О, это очень непросто. Я почти не встречала артистов, которые к приему публики, к аплодисментам относились бы не болезненно.

…Когда совсем не было приглашений с творческими вечерами и уже было не до выбора, я отправлялась на гастроли в составе больших сборных концертов. Без песен из «того» фильма на сцене лучше было и не появляться. Пробовала петь новое — «Что-то она уже не та. Давай нам ту, бойкую, веселую, молоденькую». А ведь прошло двенадцать лет после фильма. Да каких лет… Но ты, артист, всегда будь молодым. Это я усвоила еще в те годы и взяла на постоянное вооружение.

В концертах, где твоя фамилия не делает погоды, надо уметь «зажать сердце в руке» и безропотно подчиняться тому, что у тебя будет такое место в концерте, какое пожелают «главные» люди, делающие погоду, сборы и, главное, аплодисменты. Гастролер. Емкое и точное слово. Если это умный и деликатный человек, он не вмешивается в посторонние дела. Не судит артиста за более громкий, чем у него, смех или более шумный успех у местных поклонниц. Деликатный «главный» никогда не даст понять артисту, что его имя на афише закодировано в таком обидном и расплывчатом «и др.»… Такой гастролер — громкий король только на сцене. Но если «главный» с повадками звезды, с гиперболизированным сознанием своего величия… ох, как же всем приходится подстраиваться, поддакивать… Такой гастролер на концерте появляется с опозданием, в последний момент. Паника и трясучка за кулисами приятно щекочут ему нервы: «Я вас научу уважать мою фамилию», — говорят хищно раздувающиеся ноздри. Но по опыту он знает, что перегибать не следует, и тут же появившаяся обаятельная улыбка сбивает с толку: «Ребята, задергался, ну бывает…» — «Ну что ты, все в порядке», — заискивающе улыбаются те, кто понеустроеннее.

…Один из сборных эстрадных концертов, где «главный», как всегда, заставлял всех нервничать. Маленькая худенькая актриса в нелепом трико металась по закоулкам коридоров и кулис в поисках ведущего. «Гарри Павлович, миленький, дорогой, как же так? Я ведь уже давно готова, объявите меня, пожалуйста. Прибыл наш „главный“, все перемешалось. Ой, господи, каким же я теперь номером? Гарри Павлович, ну вспомните, я ведь всегда имела свои аплодисменты, а?» Ей остается всего год до пенсии. И в репертуаре, и в одежде, и в неукоснительной дисциплине она была вся «из вчера». Но природа ее таланта такова, что в полную силу она могла жить на сцене. И как хорошо, что тот концерт вел милый, деликатный человек.

— Милая вы моя, дорогая. Меня не интересует порядковый номер вашего выхода. Вы для меня всегда номер один.

— Ах, что вы, Гарик, спасибо вам, голубчик… спасибо…

Как нужны были такие слова, как нужны…

Если б в жизни встречались только добрые, веселые люди! Но это не так. И говорить, что все празднично и чудесненько, а вокруг все такие милые и доброжелательные — значит говорить неправду. 1966-1970 годы — это время встреч, знакомств с поразительно пестрой и разнообразной чередой людей. Этот период куда тяжелее того, первого, — начала шестидесятых. Тот период был первый, и этим многое объясняется. В том, что происходит впервые, всегда есть неизвестность завтрашнего, всегда есть надежда. В эти же годы я вступила, зная по прошлому, что меня ждет и что надежды мало. И все же надеялась… 1966-1970 годы — это время потери веры в людей. Порой становилось даже легче: ты сильна, потому что больше никому нет веры. Но откуда ни возьмись появляется на горизонте человек. И приобретенное чувство облегчения сменялось испугом. Неужели это тот, кто вернет веру в людей? Я пойму, что это было мое тяжкое заблуждение, и опять стану мягкой и доброй? В жизни мне всегда хотелось встретить человека, который бы хоть чем-то, хоть отдаленно напоминал моего папу. Пусть не князь и не интеллектуал, но добрый, а главное, человек не мелкий. Я знала, что такого не будет. Но все равно бросалась в дружбы и увлечения, как в убежище…

Кинусь и… Опять кручусь в «замкнутом круге». Как же меня сюда занесло? Зачем я здесь? Да ничего тут нет от моего папы. Что ж, нелегко было доходить до этого. Ведь внешне другой раз все так широко и трогательно. И только потом начинаешь понимать, что «парадным входом» управляет некий тайный кабинет, где щедроты, сюрпризы и внимание вычислены на счетном устройстве. Карьера, карьеризм, особый, сегодняшний обаятельный карьеризм. Вот, пожалуй, суть. Это была школа открытий, невероятных человеческих перевоплощений. Не прощу, что не сумела найти в себе силы пресечь все это сразу. Не прощу. Не прощу никогда!

Предательство… Что может быть тяжелее. Как бы ты себя ни уговаривала, что время залечит раны, как бы ни утешала себя, что есть люди поинтереснее, — подумаешь, кого-то тебе предпочли, — но все равно невозможно заполнить выжженные места в душе.

В концертах я часто общалась с одним интереснейшим человеком. Это эксцентричный музыкальный актер-виртуоз, мой любимец еще с детства. Теперь вот его уже нет. Он был и в кино

прекрасен, и на эстраде. Потому с горечью говорю — «он был». Сергей Мартинсон. Однажды, после очередного сильного щелчка, на душе у меня было смутно. Мы сидели в его гримуборной. Я как-то вывела его на откровение, чтобы понять — почему, как в таком более чем солидном возрасте он сумел остаться восторженным, жизнерадостным, доброжелательным, как юноша, увлекающимся и на редкость любознательным.

— Моя дорогая маде-муазель! Каждый день я обедаю в ресторане. Обязательно. Разумеется, с красным вином. Оно бодрит кровь и веселит взор. Я смотрю на людей и ощущаю импульс сегодняшнего дня. Я заглядываюсь на женщин, и некоторые из них, маде-муазель, мне даже очень нравятся. После обеда у меня всегда преотличное настроение. По любимым бульварам я иду на рандеву с моим старинным другом. Ему уже восемьдесят. Но это, маде-муазель, колосс! Мы острим, шутим, вспоминаем былые времена, говорим на французском, слушаем Баха, Вивальди, Моцарта. Иногда, под настроение, Вертинского: «Я вам сегце со сцены, как мячик, бгосаю, ну ловите, пгинцесса Иген!» Главное, никаких отрицательных эмоций. У меня было три жены. Все три — красотки. И все три ушли. Когда уходила третья, я переживал минуты две, не больше. Вторая мне доставила семь минут неприятных ощущений. Но я сразу вспомнил, как страдал после первой, кошмар — целых пятнадцать минут! Пятнадцать минут выброшено из жизни! Как я смел? Жить! Радоваться! Страдать? Болеть? Переживать? Нет! Нет! Нет! Ни за что на свете. Что? Предательство? Да вы что, маде-муазель, только что на свет родились? Вы что, хотите, чтобы простили талант? Где талант, там предательство и интриги. Нет, нет, довольно, мадам, никаких отрицательных эмоций. Послушайте прелестный анекдотец: приходит француз домой, открывает шкап, а там — кто бы вы думали? — совершенно верно, муж-чи-на. «Что вы делаете в спальне моей жены?» — «Простите, — говорит, — только один вопрос. Как там наши, Ватерлоо еще не взяли?» Ха-ха-ха…

Как часто в жизни его посещали горе и разочарования. Но вот сумел же человек выработать в себе этот оптимизм, сумел отбросить все, что сокращает самое дорогое — жизнь. Как? Через что? В какой момент? Где искать ответы, рецепты?

Когда меня предают — это как гангрена. Точит, точит, разъедает. И ведь знаю, что лучше здоровая ампутация — р-раз, и нету. А не получается. Вроде чего-то жаль. Жаль вклада. Но за добро не надо ждать добра…

В то «бескалендарное время грез» мелких и крупных разочарований было предостаточно. Из-за отсутствия стержня, главного в жизни, работы, драгоценные силы разбрасывались. А

время шло, и роли уходили. Теперь на вопрос: «Что бы вы хотели сыграть? О какой роли вы мечтаете?» — я неизменно отвечаю: «Простите, но я ни о чем не мечтаю. Я очень счастлива, что у меня сегодня есть работа, что я могу даже выбирать роль. Хочу с предельной отдачей исполнять то, что мне предлагают». Да, теперь есть дело, есть забвение в работе.

…А работать становилось все труднее и труднее. И как бы ты ни выкладывалась, а зал-то наполовину пуст. Сколько надо было в себе задавить, погасить, чтобы выйдя на сцену, не покраснеть, не побледнеть, найти нужные в такой горькой ситуации полутона. Чтобы тебя не жалели. Но и чтобы видели, что я тоже вижу эту пустоту зала. Ох, и этого я никому не желаю. Пустой зал ты чувствуешь еще за кулисами, по неестественной тишине, когда редкие зрители, сами стесняясь этого обстоятельства, говорят шепотом, как на похоронах. Пустой зал ощущается по добрым и сочувственным взглядам музыкантов! По сосредоточенному лицу администратора, который привез на гастроли «второсортный товар». И пусть на втором, третьем, четвертом выступлении людей будет все больше и больше. И пусть пойдет молва, что живу, существую, работаю, не сдаюсь… Но срок гастролей кончается. И филармония, криво усмехаясь, нехотя производит с тобой расчет, будто из своего кармана. И похлопывает тебя по плечу: «Эх, приехала бы к нам лет десять назад, во бы были сборы…» А назавтра, в другом городе, стою на сцене в платьице, в котором видно, что талия на месте, будь она неладна. На улице мороз сорок градусов. В Москве с очередной подружкой моя Машенька. В Харькове папа и мама разбираются в моих письмах — где правда, где ложь. А в зале сидят люди в пальто. И снег, что был у них на валенках, так и не растаял до конца выступления. Но я ничего не чувствую. Я хочу пробиться к людям. И, сжимая ледяной микрофон, пою, как в первый раз в жизни: «Я вам песенку спою про пять минут…».

Намерзнешься, сполна назакаляешь сопротивляемость и силу воли, а потом нужна передышка, иначе виден край. Ну, какая в Москве передышка? Опять новые знакомые. Ищешь в них утешение, взаимопонимание. Опять ошибки, ушибы…

Я помню лица артистов, которые видели, как я порхала птичкой то на Камчатке, то на Урале, то в средней полосе России, то удивленно смотрели на меня, когда я выплывала из волн Черного моря. Я понимала: они удивлялись тому, что я еще порхаю. Ведь год назад, случайно встретившись со мной во время гастролей где-то на краю света, они видели, что «перышки мои» совсем пообтрепались, лицо заострилось и горько опустились края губ… «Э, нет, долго не протянет», — читала я на их лицах. И

это меня встряхивало, я делала немыслимый прыжок и опять взлетала.

Вдруг решив, что в театре «Современник» мне не повезло и повезет в другом, я в отчаянии бросилась в другой театр, к другому режиссеру. В театр имени Ленинского комсомола, к Анатолию Васильевичу Эфросу. Вспомнив две сцены из спектаклей «Современник», уговорив актеров показаться вместе со мной, я пришла на показ ни жива ни мертва. А потом и трясучка пропала. Ну чего я боюсь? Ну что может быть страшнее того, что не возьмут? Да ничего. Но уж очень нужно было себе доказать, что я еще существую. И я начала показ. Что? Реакция? Да где? Именно в тех самых местах, когда думаешь, что этого уж точно никто не отметит. О-о! Какие это дорогие секунды в жизни! Вот и еще ответ на вопрос: какие мгновения в своей жизни вы считаете самими счастливыми? Нет, не счастливыми, а живительными. Как самое дорогое лекарство! Ты уже не играешь. Ты полновластный хозяин своего послушного сложного агрегата, дышишь в полную мощь первый раз за последнее время и на ходу придумываешь и осуществляешь. Все то, о чем могла только фантазировать, лежа в неуютных гостиничных кроватях. Вот оно, живое воплощение мечты, воплощение наяву! И это видно, слышно, материально! Рассмотрели, приняли, поверили, отреагировали, взяли в театр! Я в небе! Но только две недели. Изменились события. Главный режиссер стал работать уже в другом театре. Тут уже не до меня…

И опять с неба на землю. И опять «по морям, по волнам». И опять: «Я вам песенку спою…» И опять полупустые залы, кривые улыбки филармонии. И опять случайные подруги и друзья. И опять фальшивые письма к любимым родителям и страх услышать: «Доченька, ты жива?»

И вдруг, как это со мной бывает «вдруг», я поехала с московским мюзик-холлом в зарубежные гастроли. Искали в программу свежую певицу. Кто-то из артистов видел меня на гастролях, где я пела свои песни. Чем черт не шутит, послушайте, отказать никогда не поздно. И на прослушивании я спела свою песню «Мария».

…Шла по телевизору захватывающая передача. Ну, не сыграешь такое, не придумаешь и не срежиссируешь. В мире есть закон: каждый час в течение трех минут можно передавать сигнал тревоги и бедствия. И только. Это закон SOS! И вдруг однажды вместо сигнала тревоги на весь мир пронеслось: «Мария, я люблю тебя!!!» Сама жизнь ворвалась к людям в дома. На экране телевизора было лицо той самой Марии — прекрасное счастливое лицо любящей и любимой женщины. Я не отрывалась от экрана.

Даже моя Маша завороженная, не по-детски смотрела на него. Ах, как же хотелось жить, работать, творить! Ну что ж, пусть, пусть я уже давно существую как отрезанный ломоть, но… но! «Раз мыслю, я живу!» Я уже знала, что это будет песня, и знала, что называться будет «Мария», и знала, что в припеве будет неоднократное повторение слова «люблю». Наутро я бежала к знакомому конферансье эстрады Эмилю Радову, который был не только артистом и добрым, внимательным человеком, но и автором многих популярных песен и куплетов на эстраде. А главное, мне казалось, что он в меня верит. А на период жизни это было главное.

Три минуты в течение часа
Корабли молчат в океанах,
Сигналит лишь тот, кто в беде оказался.
И однажды сигнал раздался:
Мария, ты слышишь — я люблю!
Мария, ты помни — я люблю!
Мария, ты знай, что я люблю, Мария, Мария,
Пусть мир наполнен будет именем Мария,
Пусть над миром льется песня о Марии,
Я люблю — ты слышишь, я люблю, Мария!

Честное слово, песня получилась. Ее пела не только сама, но и у разных исполнителей, она, со стабильным приемом публики, была в репертуаре. Что ж, такая тема, которая не допускает равнодушия, написанная единым духом песня не оставляла никого спокойным. Это было в незабываемом 1968 году, когда все вокруг меня было на точке нуля. Эта песня тогда меня прямо-таки спасла.

…Исполнив «Марию» на показе комиссии, которая комплектовала группу солистов мюзик-холла, вскоре в один прекрасный летний день я оказалась в поезде «Москва-Варшава». Как интересно все в жизни. Дома плачу без роли, а за рубеж еду как музыкальная кинозвезда! Мы выступали в городах Польши, Румынии, Болгарии. За рубежом, в братских странах, еще помнили и любили ту веселую комедию и тоже иногда крутили под Новый год. Волновалась я здорово. Но меня выручала неизменно моя «Мария», которую красиво оркестровали. Она зазвучала полнокровно и темпераментно. И была понятна без перевода. Но как же не воспользоваться возможностью сказать несколько фраз на РОДНОМ для публики языке? Все-таки я актриса, и сам бог велел поиграть: друзья мои, какой бы мы ни были национальности и вероисповедания, но любовь для всех…

это… ах! — короче, любовь есть любовь. Улыбаются за рубежом быстро и с готовностью. А если еще ироничный взгляд на свою персону. Мол, тоже подвержена этому, черт бы его побрал, чувствую, ах, ах, ах. Я пела «Марию», и мне мерещился какой-то несуществующий цельный и добрый объект любви. И так не хотелось спускаться на землю. Ведь такого объекта у меня на земле не было. Я ездила, выступала, наблюдала, впитывала новшества зарубежной жизни, старалась сохранить веселый нрав и душевное равновесие. И вспоминать, и копаться, и переживать здесь казалось просто глупым и неуместным. Но, к большому сожалению, я принадлежу к той категории русских людей, которые начинают болеть ностальгией, еще не выехав за пределы родной земли. Я люблю в жизни только свое — дом, близких, город, землю, даже злых соседей и «доброжелателей». Люблю с удесятеренной силой, как только вижу вокруг красивое, порой прекрасное, но не родное. Дома природу не замечаю. За кордоном же от одного понятия «средняя полоса России» могу прийти в состояние наивысшего душевного подъема. «Та што там гаварить», это уж точно, мне будет самый едкий «дым отечества и сладок и приятен». Ходи, живи, впитывай, радуйся неожиданному просвету. Нет, домой! Ну что тебе дома?

Ничего ведь дома тебя не ждет. Сейчас твоя работа здесь — работай! Нет, хочу домой! Примитивная натура. Ну и ладно. Ну и пусть. Зато внутри никакого насилия. «Хай усе у твоей жизни будить свое, кровное, усе во етими своими руками. На чужое не зарсь, будь гордою, як твой папусик».

…И еще раз я решила приподняться и попробовать свои силы в театре. Схватилась за эту спасительную идею, потому что речь шла о Театре сатиры. Я почти на сто процентов поверила, что работа для меня найдется — казалось, все мои способности как нельзя более в стиле этого театра. Опять договорилась с актерами «Современника». И опять обновила в памяти те же два отрывка из спектаклей «Старшая сестра» и «В день свадьбы». В них для показа было все: и жанр комедии, и юмор, и пение, и гитара, и танец. Жюри в самом что ни на есть полном составе — целых три ряда! Начался показ… Чувствую десятым чувством в аудитории неестественную, напряженную тишину. У Анатолия Эфроса в том просто драматическом театре были неожиданные горячие актерские реакции, и даже смех, которые актеру, играющему перед актером же, дают понять, что они на верном пути. Тут же штиль, гробовик. Играть смешное в гробовой тишине? Чувствуешь себя голым и абсолютно бездарным. Ну что же делать? А показ идет. Я играю, рассуждает во мне кто-то там другой. А может, сама судьба, бог его знает. Чувствовала, что тону, что

«захлебываюсь аккынчательно», но хватаюсь за слабенькую и глупую обнадеживающую мысль: ведь это не юмор, а сама беспощадная госпожа сатира… А в голове что-то школьное про сатиру из Салтыкова-Щедрина, перемежающееся с Кукрыниксами военного времени… И про сатиру больше — ни бум-бум… На ходу сползаю с субтона, с нюансов, именно тех, что имели успех на том показе. И начинаю все раскрашивать, педалировать, наседать. Может, думаю, в Театре сатиры надо укрупнять мазки? Перестаю делать паузы, потому что на первой же остановке у меня так застучало сердце — испугалась, что его услышат в первом ряду и я выдам себя, — так трястись — непрофессионально. Кто-то справа хохотнул и тут же осекся. Создалось впечатление, что решение не брать меня в театр было принято заранее. А значит, естественно, не реагировать. Удивительно, но даже самый молодой член худсовета Андрей Миронов сидел с видом скучающего профессора. И скажи ему, что через несколько лет мы с ним затанцуем и запоем в веселых дуэтах… Но все это — потом. А тогда на показе… Дошло дело до гитары. Я стала перебирать аккорды… Будто так надо… А сама переводила дыхание и лихорадочно соображала, как достойно выйти из этой игры? Я видела растерянные глаза своих партнеров, которые мучились вместе со мной… Почему я терплю? Ведь тут уже все решено. И точно так, как и тогда, перед тем как выйти на площадь Маяковского из того театра, на меня навалилось знакомое состояние внутренней убежденности, что я иду странным, но каким-то своим путем, где не может быть насилия над собой. Да, остановить показ — непрофессионально. А какое это имеет значение, если всем все ясно? Профессионально или непрофессионально, хорошо или плохо, мило или бездарно, да будь оно все неладно! Я хочу домой, к пианино, к ребенку, к своему окну, к песням…

— Извините, я чувствую, что все это не имеет смысла…

— Ну что вы, что вы…

Долгая пауза.

— Может, вы нам споете что-нибудь? — обратился ко мне по-дружески приятный голос.

Я села к роялю и спела «Марию».

— Ну, что-нибудь еще, — через вязкую паузу обратился ко мне тот же голос.

Подвела меня на этот раз моя «Мария»

Не так давно в ВТО коллектив Театра сатиры отмечал присуждение звания одному из актеров. Случайно встретились в раздевалке. Атмосфера была удивительно теплая и какая-то искренне-нежно-доброжелательная. Все-таки как интересно все в

жизни! Удивительно! Оказывается, я просто рождена для Театра сатиры. Как жаль, что в то время проводилась в театре какая-то линия «демократизма», что ли… И вот решили общим демократическим собранием, что на тот период театру я не нужна. Чего-то я не поняла до конца, но линия «демократизма» запомнилась. Да и какое это теперь имеет значение7 Нет никаких сожалений. Это все пошло на пользу, как одна из глав высших курсов жизни. В трех театрах мне не повезло. На том и кончились мои прыжки в жизнь с репетициями, спектаклями, жестким режимом.

Но почему все-таки я желала именно такой дисциплинирующей работы? Было много свободного времени, и инстинкт самосохранения порой бил в тревожный колокольчик: трудиться, работать, постоянно, ежедневно, не от разу до разу, организовывать свой образ жизни, свой рабочий день, свой драгоценный день жизни. Надо, но где? Надо, но как? Надо, но для чего? В минуты отчаяния не верилось совершенно, что придет время, что все еще впереди. Что-то от меня улетало, уходило, убегало. Но в том, чтобы изменить профессию… Такая мысль ни разу не мелькала в голове. Иначе в минуты отчаяния я зацепилась бы за такую спасительную идею. Начала бы ее укреплять, тщательно лелеять. И она проросла бы и дала свои плоды.

Но нет, меня неудержимо тянуло к людям искусства…

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ

«Дочурка, если ты проснулася поздно, як твоя мать, когда на дворе вже полный день, — не лежи, увставай зразу, а то у голову полезить такое усякое, пойдеть такая выработка…» Нет, папочка, не важно, в каком часу от меня отлетел сон. Важно, в каком состоянии я была, когда этот сон ко мне вчера пришел.

К вечеру тревожные мысли удается приглушить. В темноте они умолкают. Но зато утром они просыпаются с новыми силами и беспощадно заявляют о себе.

Еще не представляешь, с чего начинать этот бесконечный день, но уже точно знаешь одно — день будет бесконечным. От этого начинаешь сначала испытывать бессилие, потом легкое беспокойство… Постепенно оно усиливается, да так, что вдруг начинаешь слышать удары собственного сердца.

Что там на улице? Все то же. Вылезать из постели холодно. И зачем? Никто не ждет. Никто не звонит. Работы нет. Вот и проснулась.

Стремление держаться в хорошей форме — это все-таки стремление. В самом этом слове есть движение, цель, направленность. И все же непонятно зачем, просто инстинктом чуя, где «жизнь», я веду почти аскетический образ жизни. Щажу лицо. И на ночь не пью ни воды, ни чая. А потом наступает отчаяние. Сцепив в бешенстве зубы, я неистово начинаю делать зарядку. Или тупо бегать. Но, быстро выдохшись, я понимаю, что мой бег, моя зарядка — это не способ ожить, распрямиться, улыбнуться. Это потуги в отчаянии. Не выдыхаются люди физически сильные. Здоровье, талант, красота — это все-таки дар природы. А мой небольшой запас здоровья напрасно уходит на внезапные порывы, переходы от апатии к действиям без промежуточных стадий.

А вчера? Что было вчера? Вчера… вчера я была в своей роли — веселила компанию. Попала туда случайно. Но, не совсем случайно. Кто-то сказал, что я, мол, истории разные рассказываю и вообще чудная. Я уже привыкла быть объектом простодушных шуточек и не могла, даже и не желала отказываться от роли клоунессы. Ведь это все-таки где-то моя профессия. Я не обижалась, когда меня не вовлекали в «серьезные» разговоры: меня так прямолинейно воспринимали до смешного. Кто знал, что за моей болтающей, суетящейся маской «развлекательницы» беспрерывно, как часы — тик-так, тик-так — работает мозг. Кто знал, что он запечатлял в подробностях детали, интонации, мизансцены, запахи, атмосферу… Он готовил, запасал, оснащал

мой организм на будущее. Я благодарна таким вечерам, когда я хоть и клоуном, пусть и ненадолго, но была в центре внимания. А со временем, оглядываясь назад, понимаешь, что чье-то невежество и нетонкость даже способствуют твоей скромности. Уж точно, в кино теперь никаких ролей стесняться не буду.

…А пока я лежу. Снотворное еще где-то там бродит. Мысли во сне отдыхают? Мне это недоступно. Переход ко сну превратился для меня в длинный однообразный тоннель, где нужно терпение и терпение. Наизусть знаю все щели в потолке и на стенах. Но все равно смотрю и стараюсь увидеть там контуры животных и Мефистофелей. Резко встаю. А ведь только что думала — подожду до десяти часов и начну день со звонка моей подруге. Зимой темно. И я включаю настольную лампу. Резкий свет бьет в лицо и напоминает мне свет «дигов» на съемочной площадке. И я тут же включаю свет. Пульс резко учащается, к горлу подкатывает знакомая боль. Звук собственного голоса в притихшей квартире меня окончательно приводит в действительность. В другой комнате моя Маша. Учиться не надо — сейчас каникулы. Она уже, наверное, поела и читает или рисует профили на листочках, ставя автограф, точь-в-точь как у дедушки.

«Мамочка, ты будешь пить чай? Хлеба мало, но тебе хватит. Потом я сбегаю в магазин». Ей не нужно заглядывать мне в глаза. Мое настроение она чует на расстоянии. Потому ни «доброго утра», ни «как ты себя чувствуешь?» — сразу к делу. Запомнила, как говорю своей подруге по телефону: «Я верю только фактам». И ее учила — делом, делом. Потому между нами — ничего лишнего, все просто и естественно. Но чаю не хочется. Свет лампы меня расстроил. Ведь сколько раз зажигала, и ничего. А вот и прорвалась тоска, тоска по кино. Мельком еще раз проверяю список знакомых, написанный жутким Машиным почерком. Кто же звонил мне вчера вечером?

…Недавно, переезжая на новую квартиру, наткнулась на записную книжку того времени. Листая ее страницы, я поразилась, сколько же у меня тогда было знакомых и друзей! Где же вы теперь? Я хваталась. За меня хватались. Встречались, смеялись, сходились, расходились, сочувствовали, клялись в дружбе. И… исчезали. Теперь нет и сотой доли прежнего. Время отсеяло многих, Как в решете с крупными ячейками, сквозь которое проскакивает все без задержки. На поверхности осталось только несколько крупных, но самых дорогих, бесценных.

Уже десять часов. Целый час бессмысленно пролежала в ванной, читая Камю. От его экзистенциализма на душе еще муторнее. Очень талантливо, но как-то совсем беспросветно. Ведь

есть же и другое одиночество. Есть Пушкин, Твардовский. «Ах, какой вы все, ребята, замечательный народ!» Отбрасываю Камю, беру Пушкина — и сразу хочется чаю! Ни с того ни с сего хватаю Мавпу. Целую ее, тискаю, подстригаю ногти, челку. Говорю ей, что, когда она вырастет, мы ей будем обязательно подкрашивать волосы и выщипывать брови. Она реагирует осуждающе. В школе за это как раз ругают девочек из старших классов. Я ей говорю, что это мы будем делать после школы, когда она выйдет замуж. Она опять не скрывает своего осуждения и говорит — чем жить так со своим мужем, как тетя Зоя, она лучше поедет «до дедушки Марка и до Лели у Харькув». Я замолкаю, безразлично мурлыкаю первую попавшуюся мелодию. А про себя отмечаю, что она права. Надо будет не так открыто разговаривать со своей приятельницей. А то всем сердцем участвуешь в ее горе, а ребенок, будучи в центре событий, невольно все мотает на ус. И делает не те выводы.

О вы, которые любовью не горели,
Взгляните на нее — узнаете любовь.
О вы, которые уж сердцем охладели,
Взгляните на нее — полюбите вы вновь.

В каком это году? Конечно, в девятнадцать лет… А в тридцать?

Бродячие ночлеги
И проказы старины
Позабыл для сельской неги
И домашней тишины.

Но теперь, когда мне столько, сколько тебе было тогда, когда ты написал: «На свете счастья нет, но есть покой и воля…» Ах, если бы ты, Александр Сергеевич, знал, как меня спасают эти слова! Я приходила к выводу, что течет время, меняются моды, уходят люди, поколения сменяют поколения — изменяются условия жизни. Но внутренняя, духовная жизнь, переживания и победы людей всегда низменны. «Есть покой и воля». Воля, свобода, выдержка, понятно. Но покой… Как найти покой?…

Машенька пошла с подружкой в кино. Она всегда чувствует, когда мне нужно побыть одной. Я звоню своей подруге. Я ей звоню часто. Каждый день. Она сидит в большой комнате, в каком-то КБ. Телефон один. На столике их начальника. Самое удачное время для разговора, когда его нет на месте. Но

попробуй подгадай это время. Наш разговор почти всегда одинаков — мои монологи и ее лаконичные ответы: «Да. Нет. Понимаю. Конечно. Безусловно. Еще бы. Только фактам». И никогда: «Мне жаль. Сочувствую. Бедная. Не звонили». Вокруг нее любопытные коллеги. И все знают наверняка, что она разговаривает со мной. Мой тембр голоса им хорошо знаком. И когда я прошу ее, слышу, как голос подчеркнуто произносит: «Это опять тебя». Я всегда вижу у стола главного инженера свою подругу, переминающуюся с ноги на ногу, сосредоточенную на том, чтобы не проскользнуло мое имя, не то слово. А в конце разговора слышу «приезжай обязательно». И я злюсь на себя за то, что звоню ей в рабочее время, что у нее могут быть неприятности. Почему она не отругает меня? Я бы ей не звонила больше. Нет, я позвоню. Когда меня совсем выбрасывало на мель, то, кроме нее, никому не могла рассказать, что было на душе. Она меня не подводила. Сколько раз обжигалась, выкладывая душу, казалось бы, хорошим людям, а ко мне все возвращалось потом в искаженном виде. Сколько раз проклинала себя за болтовню и откровение. Может, другой человек в моих обстоятельствах мог бы просто наплевать. Пробовала. У меня не получилось.

Уже три часа. Впереди еще огромный день. В доме все чисто. Гладить не хочется. Новое платье надела вчера, едва вынув наметку. На женщин оно произвело впечатление. «Премилое платьице», — сказала хозяйка дома, красивая брюнетка. Но там я больше не появлюсь. Красивая женщина — как правило, властная. Она уж точно уберет из своих владений другую женщину. Даже если она ей не соперница. Ну, а я ведь привлекала внимание компании. Значит, можно быть уверенной, что мне этого не забудут.

Быстро одеваюсь и иду к кинотеатру «Москва» встретить Машу. Я ведь мать. Есть у меня обязательства. Выхожу на площадь Маяковского — кипит, шумит, бурлит жизнь. На улице я уже забываю, куда намеревалась идти. Ключи у Маши свои. И вообще, она бы удивилась тому, что я ее встречаю. С чего это вдруг? У нас с ней суровые отношения. Я, не задумываясь, иду куда глаза глядят. Предоставляю чему-то там внутри выбирать переулки, чередовать их безмолвие с шумной улицей Горького. Люди спешат. Лица у всех озабоченные. Всех ждет работа… А сколько вокруг объявлений. И все требуются, требуются, требуются… А я свободна, как птица! «Птица, которая хочет трудиться». Но мой труд особый. Он и дефицит, он и… а что "и" — не знаю… Знаю, что мне вот неловко остановить спешащего в театр на репетицию бывшего коллегу. О чем спросить? Ведь разговор будет не на равных. И я опускаю глаза, сдвигаю брови,

образовав на лбу озабоченность, и тоже спешу! И оба, увидев друг друга, отлично играем, что не узнали. Но и в эту минуту сожаления об уходе из театра никакого. И на его месте я не хотела бы быть. Удивительно, но от этого становится легче. Все же иду, иду каким-то своим путем. Такие мимолетные встречи вызывают освежающие толчки, которые приободряют и встряхивают. Это как иногда кажется, что ты больна, что у тебя жар. А смеришь температуру — она 36, 6°. Значит, ты здорова. А это — главное.

Я боялась казаться жалкой неудачницей. Казалось бы, что тут бояться? Неудача, временная потеря везения. Но однажды я была свидетелем, как здоровый красивый человек в исступленной истерике кричал своей жене — в то время популярной актрисе: «Я неудачник! Понимаешь ты такое, ты, звезда, ты этого не можешь понять, ты, ты, ты… я, я, я…» О, себя он, видно, обожал. Красивый, здоровый, молодой человек — и неудачник. Не увязывались в нем эти две вещи. Будь на его месте хиленький, болезненный, так его и пожалеешь, и не задумаешься над понятием «неудачник». Не выходил у меня из головы тот энергичный неудачник. А может, дело в том, что пошел не по той дорожке? Про себя трудно сказать: занялся я, ребята, не своим делом. Нет, человек, выбравший правильный путь, с руками, ногами и здоровой головой, не может быть неудачником.

Еще было страшно превратиться в человека одержимого, который говорит всегда одно и то же, ну, слово в слово. Вчера ему все сопереживали. А сегодня его боятся и избегают. Он, бедный, ходит и ходит по заколдованному кругу. Хочет изменить траекторию. Но опять и опять выходит на свое наболевшее…

…Стою в очереди. В галантерейном магазине красивые коробочки с импортным туалетным мылом. Глаза рассматривают пол магазина, на котором жижа от грязного снега и следы от разнообразной обуви. Боюсь поднять глаза и встретиться с чьим-нибудь взглядом. Ведь они, глаза проклятые, сами кричат: «Товарищи! Это я! Неужели же я так изменилась?» И у человека вдруг во взгляде что-то вздрогнет. Мол, что это с дамочкой? Или — где я ее видел?… Или просто кивнет, как дальней и забытой соседке. Или узнает… Но узнавали редко. Узнавали те, у кого была редкая зрительная память и музыкальность души. А если и заговаривали со мной, то — отмечу как феноменальный факт — все, без единого исключения, задавали один и тот же вопрос: «Почему вы не снимаетесь?»

…Бог с ним, с этим заморским мылом. Я люблю наше, Машино — «Детское». Хотелось для разнообразия. Но вот так безнадежно стоять в очереди, будь оно неладно. Выбралась, иду…

Мысли, одна перебивает другую… И… ни одной спасительной. Завтра и послезавтра… Будет одно и то же. В скверике сажусь на лавочку. Тупо смотрю на заиндевелые деревья. «Посмотрите, какие сосульки прелестные, сломайте мне одну, вы такой высокий, гражданин». Я вглядываюсь в эту женщину, которую так восхищает сосулька. Нет, хорошо сейчас мудрому медведю. Наелся себе за лето. Залез в берлогу. И — привет, товарищи, до встречи в новом году!

Если ты на скамейке сидишь одна, значит, это не просто так. Ведь на скамейке должны сидеть двое. Как пелось в «Кубанских казаках»: «Ворон с Галочкой сидит на скамейке рядом».

— Ох, присяду с вами. Не возражаете? — Ворон тут как тут. — Что-то вы не очень того…

— Чего того?

— Ну, эта…

— Что эта?

— Ну эта, неразговорчивая…

— А что я вам должна сказать, дорогой товарищ?

— Ну вот, сразу обижаете — «дорогой товарищ»… Я вас вежливо спросил: не возражаете… ну, в смысле моего приседания…

— Вы же уже присели, не дожидаясь моего согласия на ваше приседание.

— У-у, какая вы…

— Не ваше дело…

И бегу. И самой стыдно за свою грубость. Ну присел, да, присел… Нервы не выдержали…

Я бегу по улице Горького, прокладывая себе дорогу между людьми, спешащими навстречу. В такие минуты всегда преследовала мысль: а ведь они когда-то видели тот нашумевший фильм. Многие из них, вот сейчас спешащих навстречу, писали мне письма… А теперь у них другое увлечение, дела, события и радости. И для меня в их жизни уже нет места. Ах, как в такие минуты больно ощущать, что все проходит. Надо жить только будущим. Потому я не люблю «вчера». И, наверное, потому мне так тяжело продолжать это повествование тех бескалендарных лет…

Уже пять часов пополудни. Впереди еще семь часов жизни. В витрине овощного магазина увидела апельсины. И вмиг появилась цель! Как будто целый день только о них я и мечтала. Взяла сразу три килограмма — на всю жизнь! Это с войны. Кажется, что завтра уже апельсинов не будет. Иду и ем, на ходу сбрасывая очистки в урны. Апельсины переносят меня в жаркие страны, в которых никогда не была. Но их отлично заменяют

видения Нового Афона. Там росли мандарины. И там снимали «итальянскую натуру» к фильму «Роман и Франческа». Такой невинный оранжевый фрукт вдруг опять принес тоску по кино.

Висят афиши нового фильма. Его обязательно посмотрю. Есть талантливые люди, которые, как точный прибор, своим творчеством определяют, мне кажется, пульс времени. К ним стремишься. К ним зависть самая белая. К ним завистливая боль от восторга. Они, сами того не зная, меня поддерживали. Они не давали мне отстать от жизни. С ними я проигрывала экранные роли. Спорила в одиночку. Задавала себе от их лица вопросы. И сама, ставя себе преграды, получала пространный ответ. Сама себе ставила оценки за ответы. Незаметно порой выстраивались свои теории, которые и в слова-то не облечешь. Как важен пример, как важен. У меня постоянно присутствовала потребность преклоняться перед талантом. Особенно остро я ощущала эту потребность, когда намечался избыток внутренних сил. Тогда, ломая себя, я отдавала эту силу талантливым людям, порой тем, с которыми так и не пришлось близко познакомиться, чтобы сказать: «Знаете, что вы в моей жизни?»…

— Никто не звонил?

— Нет, я недавно пришла, мамочка, наверное, звонили, — и в Машином тоне я слышу извинительные нотки. Ребенок, а все понимает. Читать нет настроения. А читать для того, чтобы быть на волне… Я уже не стыдилась сказать: «Нет, не читала, не видела, не знаю». Как вспомнишь: «Ах, это шедевр!», «Только не начинайте с отпетых вещей!», «Ну, это совсем тривиально!», «Вы не читали? Ну это же конец света!» — аж мороз по коже! С этим этапом дешевой полусветской показухи покончено. Вранья меньше. Но жить по правде еще трудней. Спрашивается: как жить?

Звонок. Обе бежим к телефону. Берет трубку Маша: я ведь не стремлюсь к разговорам, я ведь смертельно устала от предложений, от ролей, от концертов. Это играется в доме как отработанный аттракцион.

— Алло, кого? А куда вы звоните? Нет, это не тот номер…

Обе расходимся. Она к телевизору, я в свою комнату. Долго стою у окна. Дом напротив растет не по дням, а по часам. Скоро его увидишь, лежа в постели. Проснешься утром, а домик тебе: «Шлю вам привет, люблю балет». Ах, балет, балет… В те годы я не пропускала ни одного балета. «Кармен-сюиту» смотрела пятнадцать раз. Пластинку Бизе-Щедрина приобрела, как только она появилась. Эти праздничные балетные вечера как искры вспыхивают в памяти, как детские праздники в Новый год. Именно детские, когда все впереди, нет никакой грусти и никаких

невзгод. Когда на сцене талант, он отдает тебе частицу себя и заполняет именно те места, которые болят и ждут помощи. И потому идешь наполненная, счастливая и свободная — как ребенок!

Вечером у меня музыка. Музыки у меня много. Музыка разная. Сейчас у меня долгое и счастливое увлечение джазовыми пианистами. С изумлением слушаю Билла Эванса. Он мне наиболее близок. Ах, как жадно слушала я музыку Цфасмана и оркестр Варламова на пластинках сразу после войны. Но откуда у меня, русского человека, выросшего рядом с папой-баянистом, частушками, маршами и русскими народными песнями, такая любовь к джазу? Почему я так замирала в музыкальной школе, когда слушала Рахманинова и Мусоргского? Я сходила с ума от арии — «Как во городе было во Казани». Какая интонация, вроде традиционно русская — и нет, не традиционная. Где появляются в мире новые течения, новые гармонии и ритмы? Почему я так тянусь к ним? Теперь я думаю, что это Время. Оно заставляло прислушаться к новому. И если у тебя душа начинает вибрировать от счастья, ты не сможешь не открыться этому новому. И не важно, в какой стране живет талант. Он несет радость людям за тридевять земель. Джазовых пианистов Билла Эванса и Эррола Гарнера уже нет в живых. А их музыка звучит и радует. Вот Билл Эванс играет импровизацию на тему Джорджа Гершвина «Порги и Бесс». Когда я еще училась в институте, в Москве были гастроли театра из Америки. И я слушала эту оперу. А на занятиях по зарубежному кино мы смотрели музыкальный фильм «Голубая рапсодия в стиле блюз» с музыкой Гершвина. А потом, в Сочи, я бежала на концерт пианиста и композитора Александра Цфасмана, где он играл ту же «Голубую рапсодию» в переполненном летнем сочинском зале. Значит, не я одна — вон сколько восторженных лиц. Как все переплелось: Гершвин, Цфасман, Америка, Россия и музыка, музыка, музыка. Как необыкновенно выходит Эванс из основной темы в импровизацию. Интересно следить за его длинной музыкальной фразой, которую я чувствую и понимаю без перевода. Эти джазовые импровизации учили меня смелости, учили не бояться, пробовать, рисковать, уходить от буквального, расширять диапазон роли, из ролишки строить роль, из материальчика выстраивать материал.

Уже восемь часов. Прожить еще четыре часа, а там «утро вечера мудренее». Музыка кончилась. Перебрала свои забавные наряды, а в голове зрел очередной наряд к Новому году. Но поскольку до последней минуты не знаешь, где ты его будешь встречать (а вдруг туалет там будет некстати), фантазия затихает.

Я смотрю в зеркало: да нет, еще терпимо. Не «Карнавальная ночь», конечно, но ее и не надо. Сейчас я даже получше. Вот так бы продержаться еще лет, лет… Ну ведь буду же я когда-нибудь, ну… через несколько лет сниматься, в конце концов?! «Ведь другие снимаются, а ты что, хуже всех?» Где я слышала эти слова? Кто мне задавал этот вопрос? Ну как же, это было летом. Это было летом 1968 года. Я шла по аллее сочинского парка. Внизу бушевало море. Бушевали страсти, знакомства, влюбленности. Знойный юг был в знойном разгаре. Быть на людях, когда на душе мрак, тяжело. Я так устала прикидываться, наигрывать… Жизнь все никак не выбрасывала меня на поверхность из мнимого убежища. Я в ту пору еще крутилась по «замкнутому кругу». «Объект» в веселой компании на пляже играл в карты — в ажиотаже успеха задал мне именно тот вопрос. И я даже подыграла и развлекала еще раз компанию. А потом незаметно исчезла.

— Да, никак, ты…

Я не успела перестроить выражение лица. Оно так и осталось растерянным.

— А я тебя узнала. Смотрю, идет красивая баба, вся в белом, в моднющих брюках. И вдруг ты! А что с тобой?

Я совершенно не знаю этой женщины. Возможно, где-то видела ее, возможно, мы и общались, но не так тесно, чтобы позволить застать себя вот так врасплох.

— Да ты, никак, не узнаешь меня? — Говор вроде не харьковский.

— Ну, а как Маша? Ей уже должно быть лет восимь-девить? Или десить? Смотри, а талия все та же, — и сразу вспыхнуло…

Мы с ней когда-то снимали в одной квартире по комнате. Моя была смежной с кухней. И она на кухню попадала «через меня». Это же она меня и пугала, что талия после рождения ребенка пропадет. И она заговорила очень быстро, отрывисто, очень громко, очень взволнованно и очень-очень темпераментно:

— Ты что, ты что такая? Я тебя не п'нимаю. Ты крысивая, мылыдая, пыпулярная, модная, да мне бы такое, я бы весь свет перевернула. А она? Нет, я тебя не п'нимаю. Нет, ты посмотри, море — прилисть, солнце — прилисть, люди — прилисть. Сочи — прилисть, а ты знаэшь, ты знаэшь, ты знаэшь, када мне плохо, знаэшь, что я делыю? Я… Я оденусь, накрашусь, п'смотрюсь в зеркало… Умоюсь и, и… и… ложусь спать! П'няла?

Может, так и сделать? А может, позвонить ей и узнать еще какой-нибудь рецепт для «успокоения»?

Ни одного звонка. Ну отзовитесь же кто-нибудь! Ну вспомните про меня! Мне еще до конца дня несколько часов! Ну

позвоните, ну постучите, ну не забывайте, ну пожалуйста!

«Что бы вы хотели себе пожелать?» Он улыбнулся: «Чтобы звонить по телефону не переставали. Хуже нет, когда ты никому не нужен». Ну что ж, есть все основания надеяться, что такого с популярным актером не случится" — из интервью с актером театра имени Моссовета.

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ

Последние десять лет живу словно в горячке. Несусь, несусь, наверстываю, наверстываю… И вот, когда пришел такой счастливый 1982 год — интереснейшие работы, впереди музыкальная роль… Осуществилось! — я почувствовала такую слабость, какую чувствует человек после очень трудного, непосильного пути.

Ночь ехала в «Красной стреле». Спала плохо. Привезли прямо на студию. Костюм, грим, чай в гримерной. Вокруг добрые и любимые. Это «Ленфильм». Эпизодическая роль в «Магистрали». Снимаем в просторных коридорах райкома партии Смольненского района. Сняли быстро. Так всегда у режиссера Трегубовича. Ночью опять на «Стреле» в Москву. До поезда устроили в «Астории». Провалилась в мертвый сон. Проснулась от необычной тишины — где я? Темные обои, бархат, бронза… А! Милая, дорогая моя «Астория». А я думала, ты навсегда изменила — все иностранцы, иностранцы… Да разве кто-то по-настоящему может оценить твою красоту, твой покой? А? То-то. Как ты затаила дыхание. Почувствовала «свое»… «Астория», Ленинград, начало моей жизни в кино. Как это было давно… Меня охватило, сжало в объятиях такое пронзительное чувство счастья… Да вот же о каких слезах просил меня режиссер в «Сибириаде». Нет, тогда не «схватила». Он тогда еще сказал: «Ладно, пусть будет так». А я спросила: «А как?» Да вот так, как сейчас. Но уже все — кадр снят, поезд ту-ту… Пошли, судьба, еще раз такую возможность!…

Лежу и с ужасом смотрю на телефон. Хоть бы не зазвонил. Я задыхаюсь от перегрузки. Нет сил на разговоры, встречи, улыбки. Я боюсь телефона. Боюсь, когда он молчит. Боюсь. Когда бесконечно звонит. Если человек живет один, и у него есть телефон — он не должен считать себя одиноким. Если в доме есть эта пластмассовая штука, она с утра врывается в жизнь, смешивает все в обдуманном дне и преподносит, преподносит… А потом, довольная, молчит. Когда гоняются за «модерновым» телефоном, я отмечаю: что-то там у этого человека еще не созрело. Аппарат телефонной связи, как часы и машина в наше время — необходимость. По мне — пусть они будут простые и добротные. И незаметные.

Тихо-тихо. Ни звука. Вечереет. В окне напротив красивая площадь. В центре памятник царю. Знаю точно, что не Николаю II и не Александру, который преследовал Пушкина. Лежу. А ведь в Ленинграде грех так проводить время. Перед глазами поплыли залы Эрмитажа. Сколько раз в Эрмитаже проделала я путь, что

прошли в семнадцатом первые бойцы революции. Среди них мог быть и мой папа. И я всегда старалась смотреть на эти залы, коридоры, на эти лестницы его глазами. Однажды мы ходили с папой по этому пути, аж до белой столовой. «Ну, братва наша, наверна, здесь духу дала! И як тока ета усе у кучу пособрали? Якеи люди ети художники… Усе честь по чести стоит на местах, блистить… Тока царя нима. Теперь мы з дочуркую ходим… Якое ж тута богатство… Ета ж мамыньки родные…»

А в Александровском каждый раз пристроюсь к какой-нибудь группе, чтобы еще раз услышать: «В этом зале бывал Александр Сергеевич Пушкин». После этих слов любая, самая усталая и задерганная, экскурсоводша становилась молодой и прекрасной, потому что — ни одна! — не говорила эти слова скороговоркой. Обязательно обводила всех взглядом и через паузу произносила: «Пушкин». И обязательно после фамилии поэта проносился странный, святой вздох…

…По телевизору — ленинградские новости. По экрану пронесся непривычно маленький трамвайчик с одним вагончиком. Наверное, снимают что-нибудь из жизни начала века. Но почему-то из окон трамвайчика выглядывают люди в современных вязаных шапочках и дубленках. Прислушалась. Оказалось, что этот отреставрированный трамвайчик будет ходить по историческим местам Ленинграда. И ведет его красивая русская женщина, грудь в орденах. Сорок лет она на этом месте. И только один год была в простое. В год блокады Ленинграда. Вот вагончик делает остановку на красивом мосту. Позади заснеженная Нева. На остановке толпа людей аплодирует трамвайчику и его водительнице. И вдруг из середины толпы выделились три старушки. Они запрыгали как дети, протягивая свои сухонькие ручки к вагончику. Они помнят его с юности. Сколько силы жизни и радости в этих старых женщинах! Я вскочила как от толчка. Лежать, щадить себя, уходить в себя? Бежать, бежать по Ленинграду! Смотреть, смотреть, восхищаться и плакать.

…Я лежу и тупо смотрю телевизор. За окном щебечут птицы. Жара. Любимое лето. В Москве со мной стали жить мои любимые папа и мама. В первые дни мы, счастливые, сидели, тесно прижавшись друг к другу. У меня рядом появилось надежное, теплое, родное. Мама вошла в хозяйство и Машину учебу. А папа сидел со мной с утра до вечера, чтобы я не скучала. Бдительно следил, чтобы дома я была ровно в одиннадцать вечера. Но годы, проведенные врозь и в разных жизненных обстоятельствах, все же разобщили нас. И как это ни больно, но порой я и папа не знали, о чем говорить! В Харькове многих новых сотрудников из Дворца

пионеров я уже не знала. А он никого не знал в Москве, и поначалу в новой жизни вообще ничего не понимал. Первое, что он решил, «…немедленно иттить до самага главнага начальника по всей кинематографии и изложить, якой капитал он добровольно выпускать з рук».

— Ты ему, Марк, котик, не забудь про «концертик у диревни» и как ты на «маленьких гармоньках выступал перед самим Рокосовським…» Или все-таки перед Жуковым, а, Марк?

— Выступал перед тем, кому надо було. А начальству усе чисто про дочурку изложу. А хто ж, Леличка, нашага кровнага ребенка выручить, када не мы з тобою?

Еле-еле отговорила его от этого похода. Но очень скоро он сориентировался и понял, что прошлое нужно оставить в прошлом. А вот реальность: Москва, дочь без постоянной работы, внучка без алиментов, маме пять лет до пенсии. «И што выходить на дели? Немедленно нада иттить работать, кров из носу». И пошел, не постеснялся отбросить былую славу доброго баяниста и стать простым сторожем. А мама еще долго отрывалась от Харькова, мучилась и переживала прошлое. Интересно, что главным тормозом в их переезде была мама. Казалось, папа старше, ему труднее все оставить и улететь из обжитого гнезда. Так нет, он прямо рвался в Москву. Ни за что не хотел умирать в Харькове. При жизни уже планировал себе памятник «штоб такого ни в каго ще не було, во як!» Втайне от мамы он ходил в мастерские по мрамору, говорил с художниками, предлагал им свои проекты. Но как только заикнулся маме насчет цены… Моей маме представить, что человек в полном здравии, уважаемый на работе, абсолютно серьезно при жизни готовит себе памятник… К чему только она за долгую жизнь с папой не привыкла, но к подобному… Об этом мама рассказала нам совсем недавно. Она аж задыхалась от смеха и удивления, вспоминая про памятник:

— Так что ты думаешь, огромную глыбу белого мрамора он все-таки на грузовике привез. Говорит, мастера подвыпили и уступили по дешевке. Ну, как такое в голову пришло? Что за человек… А полтонны клена на баяны? Это же на тысячу баянов… А десять чемоданов инструментов… Говорит: «Не возьмем усе ета у Москву, я у столицу ни ногой». Ужас с этим папой. Странный, ему обязательно нужно было попасть в историю, хоть памятником…

А еще через некоторое время мои родители, как и Маша, почувствовали, что лучше иногда оставлять меня одну, все равно ничем не поможешь.

— Сегодня, дочурка, не сиди дома, сходи у гости. Друзей у тебе во скока. Не сиди, не вырабатуй, иди у народ. Я и Лели

усегда гаварю — не вырабатуй, лучше якую новую игру или шараду дитям разучи. Двигайсь, не сиди, як квочка. Главное, от людей не отрывайсь. Ничего, моя птичка, твое щастя упереди. Вже скоро, вже вот-вот, усем сердцем чую. Харошага человека судьба пожметь, пожметь и отпустить. Ну, а я пойду до своей старухи, «к Елене Александровне», ух, якой характер вредный… каждый день усе хужий и хужий… Слышь, дочурка, никак не можить успокоиться — усе за Харьковом плачить. А я так думаю, што ета неспроста. Наверна, у ней там хто-та быв… А? Ета што ж выходить? Я вже аккынчательно успокоивсь, а она усе: «Как же так, мы оставили квартиру, работу, друзей, сарай, палисадник» — во як — и сарай з палисадником помнить. А скока крови у меня выпила за етый сарай, мамыньки родные! А за етый палисадник, а за виноград… А якой виноград! Она мне усе розы простить не можить. Што я три куста роз заменив на виноград. А я своего добився! Свое вино було, да якое! Як уезжали у Москву до тибя, пособрав увесь двор! Усе понапилися, Сонька з Розкою плакали, усе целовали Марка Гавриловича. И усе остались пьяные и довольные. Ты ж своего папусика знаешь, он никого не обидить… Ну ладно, загаварись, а в тебя свои дела. Пошов, закрывай дверь на усе замки. Если куда пойдешь… а лучий побудь дома. Сегодня по телевизору будить етый, як его, Леля знаить… Ну, поеть у кино. В него имя як мое, етый…

— Бернес?

— Во-во, як же ж мы его на фронти любили.

— Наверное, «Два бойца»?

— Дочурка, а ты з им устречалась, гаварила з им? Як он?

— Что?

— Ну, як человек?

Я люблю тебя, жизнь,
Что само по себе и не ново.
Я люблю тебя, жизнь,
Я люблю тебя снова и снова…

«Як человек?»… Человек, папочка, он был замечательно-непростой. Со всеми плюсами и запятыми, как и у всех живых людей. Но ведь он был артистом, художником. И потому обычные человеческие проявления у него были острее, ярче и крупнее.

…Как только осенью 1959 года я поселилась на девятом этаже углового дома на Садовом кольце, снимая очередную комнату у очередной хозяйки, через неделю в подъезде появилась жирная надпись мелом: Бернес + Гурченко = любовь! Я

обомлела. Откуда? Я его еще сроду в глаза не видела, а уже «любовь». Связывали меня и с Игорем Ильинским, с Юрием Беловым, с Эльда-ром Рязановым, с Эдди Рознером — тут понятно. Все-таки вместе работали. Но я и Марк Бернес! Ну что ты скажешь! Оказалось, что Бернес жил в этом же доме на пятом этаже. С тех пор, поднимаясь на свой девятый этаж, я со страхом и тайной надеждой ждала остановки на пятом этаже; а вдруг откроется дверь и мужской знакомый голос спросит: «Вам какой этаж?»

Заканчивался фильм «Девушка с гитарой». Я возвращалась после какой-то муторной съемки, вошла в лифт и сказала: «Девятый, пожалуйста». Лифт задрожал и с грохотом пошел наверх. Человек в лифте стоял намеренно отвернувшись, как будто опасался ненужного знакомства. Я смотрела в глухую стену, исписанную разными короткими словами. А он смотрел в дверь лифта, да так хитро, что даже если захочешь, то и профиля не разгладишь. Лифт остановился, но человек еще постоял, потом развернулся ко мне всем корпусом, приблизил свое лицо и сказал неприятным голосом: «Я бы… плюса… не поставил». Лифт захлопнулся, и в нем остался легкий запах лаванды. Это был сам Бернес! Ну и встреча. У-у, какой вредный дядька. А как он меня узнал? Ведь стоял спиной. И о каком плюсе речь? И отчего бы он его не поставил? И где этот плюс должен стоять? Плюс, плюс, плюс… Нет, чтобы в ответ сказать что-нибудь из интеллигентных выражений в духе моей мамы: «Позвольце, в чем дзело, товарищ?» Или: «Позвольте, я вас не совсем пэнимаю». А еще лучше бы сделать вид, что вообще не узнала популярного артиста. А я сразу вспыхнула… И вдруг дошло: ведь Саша + Маша = любовь? Вот тебе и плюс! Ишь, как он меня уничтожил. Он бы, видите ли, плюса не поставил. Ах ты ж боже ж ты мой! Ну, подождите, товарищ артист, уж в следующий раз я вам не спущу!

А «следующий раз» был во время международного фестиваля в июле 1959 года. Тогда к нам со всех стран приехало кинозвезд видимо-невидимо. Москва бурлила и веселилась. Самым популярным тогда было французское кино, из Франции на фестиваль прибыло сразу несколько звезд первой величины. И вот такую интересную делегацию должны были принять на киностудии «Мосфильм» наши советские артисты и весь коллектив прославленной студии. Для гостей сочинили приветственную песню:

С вами давно мы по фильмам знакомы,
И вы, наверное, нас узнали, узнали?
Встрече мы рады, так будьте как дома

На московском фестивале!

Киноэкраны как окна в мир горят!
Народы, страны с экраном говорят,
Знакомятся друг с другом и лучше узнают,
Радушно в гости людей к себе зовут.

Эту песню мы должны были петь с Марком Бернесом. Репетицию назначили в его доме. Я уже снимала другую комнату. Машеньке было только два месяца. Ребенок занял меня целиком. И я давно забыла про все плюсы. Времени было в обрез… И вот тот самый дом на Садовом кольце. Поднимаюсь на пятый этаж в квартиру к прославленному артисту. В парадном и лифте уже новые, более свежие надписи. И почему-то повеяло грустью. Жаль, что та, первая встреча была какой-то нелепой. Прежде чем позвонить в дверь, я собралась и приказала себе: не сморозь глупости, не хихикай, только «да» и «нет», помни — если образовывается пауза, не встревай с болтовней из боязни, что человеку станет скучно. Не поддакивай и не кивай. Ну, давай, звони, «з богум, дочурка!» Просторная двухкомнатная квартира, обставленная со вкусом, от хозяина — легкий запах лаванды… Вот жизнь! Неужели и у меня так когда-то будет? Композитора, автора песни, еще не было. Тихо звучала самая модная в то время мелодия — «Анастасия» — в исполнении Пэта Буна. Ах, если бы не музыка, я бы следовала своим наставлениям. Но полились звуки, я разомлела, растаяла. Как давно я не ощущала такого блаженства. Мои неприятности, болезни, ожидание ребенка, пеленки, бессонница, заботы, безденежье… Я стала подпевать. Потом прошлась в танце, вздымая кверху руки, не обращая внимания на хозяина… Я полетела! Простите меня, я забылась… а ведь меня ждет дома маленькая девочка. Нет, я не мать. Я танцевала под чарующую мелодию, и казалось, все мое запутанное существование расправлялось, оживало и уверенно твердило: еще вся жизнь впереди!

Композитор, появившись, растянул в усмешке губы, красноречиво улыбнулся хозяин: принял меня за поклонницу. Но, наткнувшись на его взгляд, посерьезнел и тут же расплылся в самой искренней улыбке. Он заиграл мелодию, я «отрезвела» и мгновенно включилась в любимую работу. Через десять минут я уже бежала домой. Бернес уважительно проводил меня и попрощался тепло и дружелюбно. Я отметила, что никакой усмешки на мой счет на этот раз не было.

А когда на студии «Мосфильм» мы встречали и провожали

гостей фестиваля, я ощущала на себе его взгляд, беспощадный, простреливающий насквозь.

— Знаешь, а ведь ты дура! С твоими данными ты можешь много. Ты хорошо слышишь — это редко. Много суеты, суеты много. Много дешевки. Харьковские штучки брось. Сразу тяжело, по себе знаю. Существуй шире, слушай мир. В мире живи. Понимаешь — в мире! Простись с шелухой. Дороже, дороже все, не мельчи. Скорее выбирайся на дорогу. Зеленая ты еще и дурная… Ну, рад с тобой познакомиться.

— Ой, большое вам спасибо! Я учту это.

— Учти.

В его короткой крепкой шее, в его голосе, в спокойном взгляде без суеты я чувствовала и слышала нечто гораздо более важное — он говорил со мной на равных. Мы стали друзьями.

Никто почему-то до конца не верит в дружбу между мужчиной и женщиной. За этим всегда кроется какая-то двусмысленность. Наша дружба была самая мужская и верная. Она длилась долго. До самой его смерти — господи, как же он ее боялся. «Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно», — пел он искренне веря, что будет жить, жить, жить… Любил жизнь, а со страхом прислушивался к каждому тревожному удару сердца. Если у него в первом отделении перед выходом на сцену пульс был ненормальный, он выходил во втором. В конце жизни выходил на сцену с трудом, постоянно прислушиваясь к себе. Жаловался на сердце, а умер от неизлечимой болезни легких. Загадочной болезни, которая безжалостно косит людей в наш век.

Такое заглядывание внутрь себя, постоянный страх перед смертью мне знакомы с детства. В этом Бернес сильно напоминал мне моего папу. Недаром их обоих звали прекрасным мужским именем — Марк. Папа по три раза в день мог измерять пульс после малейшего дуновения ветерка. А когда я на свою голову сообщила ему, что по-гречески «Марк» означает «увядающий» — боже мой! В какое он пришел возбуждение! Он в этом увидел рок, «руку судьбы»:

— Во откуда в меня усе болезни. Во як они усе на меня навалилися ув одну кучу, прямо руками разгребай… Знаешь, Лель, я так думаю, наш поп у нашей деревни здорово разозлився на матку з батькую и назвав меня Марком им ув отместку за што-то, а ты як думаешь? Ну ета ж прямо хоть караул кричи… усе болезни да на одного благароднага человека…

…Иногда судьба сводила нас с Бернесом в одном концерте. Я обязательно стояла на протяжении всего его выступления за кулисами и ждала «Темную ночь». Марк Бернес — это драгоценная часть моей жизни, моего военного детства. А-ах! А

как аплодировал ему зал, когда он начинал петь:

Не осуждай меня, Прасковья,
Что я пришел к тебе такой.
Хотел я выпить за здоровье,
А пить пришлось за упокой…

Кто еще так чувствовал свой репертуар? Кто еще так мог найти свою песню? Он носился с темой песни, мучился ею, мучил композитора, поэта, себя… И песня обязательно становилась популярной. Это был могучий певец с тихим голосом. Певец с умом, вкусом и чутьем, своей личной, властной атмосферой, которую публика горячо принимала. Было у него еще одно, довольно редкое на сегодняшний день качество — мужское обаяние. Под его обаяние попадали не только женщины, но и мужчины. Ни у одного из певцов на концерте не было столько мужчин с цветами!

Когда он шел навстречу, все невольно расступались. Какое-то величие было в этом человеке. Он никогда не торопился, говорил весомо, иногда резко, с иронией. В руках ничего не носил и не заглядывал в записные книжки. Он все держал в своей умной голове. Теперь молодой артист шустренько торопится куда-то, а в руке обязательно портфель или «дипломат». Вот интересно, что артисту прятать в большом портфеле? Оглянешься вокруг, невольно вспомнишь Марка Бернеса. И с грустью споешь из Александра Вертинского:

Измельчал современный мужчина,
Стал таким заурядным и пресным…

Марк Бернес пользовался особым успехом у женщин. У него был вкус изысканный. После смерти его жены никакая женщина не могла удержаться с ним рядом. Он был капризным. Ему трудно было угодить. «Знаешь, не могу. Все вижу. Все — как ест, как говорит, как слушает, понимаешь — слу-ша-ет! Кажется, все проверил, но что-то точит. Смотришь, ага, а тут-то и не разглядел — чуть не влип. Не-ет, в это дело, я тебе скажу, надо нырять в двадцать лет, когда в голове пусто. А теперь начинаешь думать: а вдруг у нее в роду кто-то в десятом поколении болел энцефалитом? А что там у нее за непорядок с правым коренным? И… делаешь соскок». Очень трудно записать речь Бернеса. Я знала трех артистов, речь которых такая личная, такая индивидуальная, такая… роскошная, что никакая бумага ее не

выдержит: Фаина Раневская, Сергей Филиппов, Марк Бернес.

В 1960 году в Киеве были объявлены гастроли Марка Бернеса. А я снималась в «Гулящей». Вдруг сталкиваемся с ним в гостинице «Украина». Он изменился, помолодел, веселый какой-то. НУ словно подменили человека.

— Приходи сегодня вечером ко мне. Нашел! Запиши телефон. Есть на что посмотреть. Какая кость! Какая кость! Только помолчи, присмотрись. Сразу хавало не раскрывай.

У меня был выходной, и я обедала в ресторане. Смотрю, входит Марк Наумович с женщиной.

— А-а, вот где мы сядем! Знакомьтесь, я про тебя Лиле уже рассказывал.

Так и подмывает спросить: а что он про меня рассказывал? Но сижу, только слушаю и смотрю. Как договорились, «хавало» не раскрываю. Наконец-то рядом с Бернесом сидела достойная дама. Женщина высокая, тонкая, с пепельными волосами, красивым вздернутым носиком и голубыми глазами. Сидела прямо. Глядела просто и весело. Одета в серый костюм в мелкую черную клеточку и мягкую черную кофту. Все в ней говорило: «Да, я та, что нужна ему. Я его кость». С тех пор я всегда встречала его рядом с ней. Они были счастливы. «Есть любовь у меня, жизнь, ты знаешь, что это такое».

Об этом и еще о многом другом я недавно рассказала на вечере памяти Марка Бернеса, очень многое, что пролетело у меня перед глазами, невозможно было ни рассказать со сцены, ни тем более описать. Ведь это Бернес. На сцене Дома кино стоял портрет артиста. А на экране шла хроникальная лента его жизни. Вот он молодой и худенький в «Истребителях»: «В далекий край товарищ улетает…» Вот он в войну, рядом с Борисом Андреевым в «Двух бойцах»: «Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится…» А вот и послевоенные кадры выступлений: «Как это все случилось, в какие вечера, три года ты мне снилась, а встретилась вчера…» Вот и последние кадры при жизни… «А превратились в белых журавлей…» Но вот он уже совсем замер. Навсегда. «Я люблю тебя, жизнь».

«Ах, Марк, как ты любил жизнь! — прошептала рядом со мной красивая женщина с голубыми глазами. — Спасибо, что ты пришла. Марк тебя так нежно любил!»

В последний раз выступали мы с Марком Наумовичем Бернесом зимой 1969 года в зале «Октябрьский» в Ленинграде. Артист был в великолепной форме, но исправно мерил давление. И оно было нормальным. Публика жаждала видеть его на сцене, а артисты рукоплескали ему за кулисами. В тот вечер я все время

была с ним рядом. Музыкант из его ансамбля размахивал руками и все повторял: башли, башли… («башли» — означает «деньги» на музыкальном жаргоне).

— С башлями я сам разберусь, — властно сказал Бернес. — Сейчас надо идти на сцену.

— Да нет, хватит, Марк Наумович, эта сандуновская система не пройдет, пусть динамо не крутят, я уже не мальчик, хватит. В этой жизни, Марк Наумович, главное — башли. Все начинается с башлей!

Бернес посмотрел на него в упор, а потом резко отвернулся и пошел прочь.

Сцена была устроена так, что в середине ее ехала дорожка, как в метро. Эта дорожка вывозила на сцену весь ансамбль, рояль и певца. Песня начиналась с соло на трубе. Оно звучало еще за кулисами, а дорожка пока не двигалась. Мы стояли вокруг Бернеса, вместе с залом слушая первые слова песни: «С чего начинается Родина…» О-о! Что началось! Аплодисменты, овация! Дорожка легко качнула артистов и плавно поехала в яркие лучи света. Но это был бы не Марк Бернес, если бы просто так, без шутки, без укола, без остроты, он уехал от артистов. Ведь они от него ждут чего-то такого неординарного, что может только он. Перед самой сценой артист смерил взглядом «того» музыканта с головы до ног, отвел от лица микрофон и, саркастически улыбаясь, спросил: "С чего все начинается в жизни? Мальчик, слушай внимательно: «С картинки в твоем букваре…» — и полетел к людям.

Вот такой он, папочка, был «як человек». А ведь это ты тогда назвал его имя!

Август 1969 года. Это конец всяким возможным силам воли, терпениям и надеждам. Вот уже почти месяц я не выходила на улицу. И только из угла в угол по комнате — туда и обратно. Когда только выхожу из своей комнаты, родители бросаются в кухню. И я понимаю, что это мое хождение ими прослушивается. От этого становится совсем тошно. Я перестаю ходить. Начинаю смотреть в окно, на своих Мефистофелей в трещинах стен и потолков, пальцем водить по строчкам книги, слепыми глазами впиваться в умные утешительные слова великих людей. И никогда ни к кому не обращалась за помощью, только к родителям. Но сейчас, первый раз в жизни, от их немых, беспомощных, сочувственных взглядов хочется бежать на край света. И папа такой растерянный и слабый. Это был кризис. Это был конец. Что-то должно было случиться…

Начинался очередной нескончаемый день. Руки сами придвинули запылившийся телефон. Пальцы вяло закрутили

диск. А чужой, потерянный голос произнес: «Марк Наумович, это Люся. Я умираю».

— Приезжай немедленно.

Тот же дом. То же парадное. Тот же лифт. Но я ни во что не вчитываюсь. Полное безразличие, перед глазами — одно мутное пятно. Бернес держал мои холодные безвольные руки в своих больших теплых ладонях и внимательно слушал мои вялые бессвязные слова. Он меня не перебивал, не кивал, не сочувствовал, а все смотрел и смотрел, как будто вынимал мою боль. Я была перед ним жалкой и беспомощной. Сужаемый временем круг доверия сомкнулся на нем одном. «О каких единицах может идти речь, — говорил он кому-то по телефону. — Гибнет талантливый человек. Что? Хорошо, я этим сам займусь. Да, здесь, рядом, ничего, не имеет значения. Милый, ее уже ничем не испугаешь. Есть, до встречи».

Неужели же я не буду больше отращивать хвосты неделям и часам, августам, декабрям и апрелям?!

— Ты не видела мою новую пластинку? — Он подошел к тому месту, откуда когда-то раздавались звуки нежной мелодии, поставил диск своей новой пластинки. И тихий, мощный голос запел: «Я люблю тебя, жизнь…»

НЕ БЫЛО ТАКОГО ИМЕНИ

Начало семидесятых… думаю, что это — интереснейшая пора в жизни актера. Это пора, когда время заставило увеличить амплитуду актерских возможностей. Уже недостаточно было больших драматических способностей, правдивого проживания роли вполголоса, красивой монументальной внешности и обворожительной улыбки. К этому теперь необходимо было прибавить активную внутреннюю подвижность, острую характерность, музыкальность, пластичность, чтобы в результате такого смешения актер одинаково легко мог работать в комедии, драме, водевиле, мюзикле, бурлеске. Верно, что новое — это хорошо забытое старое. Был и Таиров, и Мейерхольд, и Протазанов, и Александров. Но времена менялись. Острое сглаживалось, уступая, усредняясь. Время семидесятых потребовало вспомнить, возродить наше старое, подстроить его под камертон нового времени и сегодняшние темпоритмы. И преобразившееся старое, преодолевая сопротивление скептиков, вырвалось в мир. В театре, на телевидении, на киноэкранах стали появляться спектакли, зрелища, фильмы — результат таких смелых и рискованных поисков. В моду вошли артисты небольшого роста, «антигерои». Темпераментные, подвижные, с внутренней эксцентрикой, с гитарами в руках, поющие и танцующие. Запели и затанцевали те, кто раньше и не подозревал в себе таких наклонностей. И даже те, кто считал их «застольными увеселительными» качествами актеришек второго сорта. На эстраде остроумный конферансье родил популярную репризу: «Сейчас все поют». Ну что ж, все запели и затанцевали. Так мне и карты в руки, пришло мое время. И то, что всех во мне раздражало и так долго не находило применения, вдруг стало даже интересным. Вот сколько надо было ждать, терпеть и отчаиваться!

Вот же как… Сначала ушла от бездействия из кино в театр. Потом разочаровалась, видите ли, в прекрасном московском театре. Потом — здрасьте, примите, пожалуйста, в отчий дом. Что это означало? Не справилась, потерпела поражение? Кому объяснишь какую-то там свою правильную внутреннюю дорогу, когда она для меня самой была ускользающей и неясной. Ну, а уж когда стало мне не до мнений и пересудов, когда припекло, заикнулась было о возвращении в Театр киноактера, поставили условие: примут обратно, но только если буду играть роль. И только на студии «Мосфильм». И роль непременно главную. А на то время это было из области мистики.

Думаю, появившаяся единица для моего возвращения в Театр киноактера отчасти объяснялась тем, что киноактеры наконец-то получили свою долгожданную сцену. И театру понадобилась актриса музыкального жанра. Нашлась единица. А главное, нашлось место!

С первых же дней прихода в новый театр срочным вводом я влилась в мюзикл «Целуй меня, Кэт!» Уходя в 1963 году из студии, я покидала коридоры, где репетировали энтузиасты, не желающие согнуться под ударами безролья. Я покидала контору с телефонами, вокруг которых сидели в ожидании от четырех до восьми после полудня артисты кино — будут ли вызовы на завтра. Теперь я пришла в театр. Сразу в глаза бросилась дистанция между режимом и дисциплиной театра, где провела «изгнанником три года незаметных», и между устанавливающейся атмосферой нового, хрупкого организма. Но как бы этот талантливый организм ни креп, он всегда будет ни на кого не похож, единственным в своем роде. Для театрального артиста жизнь в театре есть генеральная линия его жизни. Театр — его крепость. Для артиста кино, то есть актера Центральной студии киноактера, такой генеральной крепостью является кино. Выход на сцену — в свободное от съемок время. Ты можешь играть на сцене театра, даже преуспевать, но если ты не занят в «кинопроизводстве», как говорят в административной части, тебя по необходимости могут перебрасывать из спектакля в концерты, из концертов в спектакли. Потому в спектаклях, как правило, нет постоянного, стабильного, сыгранного ансамбля. Срочные вводы, текучесть, несколько исполнителей на роль, разный профессиональный уровень вводящихся актеров — это ЧП в ином театре — здесь нормальные условия жизни труппы. Самое главное — быть занятой в кинопроизводстве, чтобы не попасть в список простойников. Чтобы тебя не перебазировали туда, где пусто. Жаль, что порой, тасуя колоду карт, забывали, что в ней тузы и королевы, временно попавшие в простой. Это публика думает, что мы главные тузы и недоступные королевы. Пусть так. Пусть зрители думают, что киножизнь — это страна сладких грез.

Конечно, театральная труппа в сорок-пятьдесят человек — это не труппа из трехсот киноактеров, мигрирующих по всем студиям страны, по концертам, по временным частым гастролям. Ведь этот театр живет на самоокупаемости, без государственной дотации. Насколько же огромно стремление артиста выйти на долгожданную сцену, если он прямо с гастролей или со съемки, не заезжая домой, невыспавшийся и неотдохнувший, прибегал в театр прямо на грим, распрямлял свои плечи и — «отдыхал» на сцене! С каким счастьем актеры рвались на этот освещенный

пятачок, чтобы открыть себя зрителям!

Спектакль «Целуй меня, Кэт!» имел у зрителей успех долгий и прочный. В нем был наиболее стабильно задействован постоянный состав исполнителей. Слаженный ансамбль, оригинальная хореография, высокий темп, талантливые исполнители, жизнерадостность и озорство ставили этот спектакль в ряд лучших тогда в Москве. На этот праздник киноактеров жаждали попасть не только приезжие, заметившие на афише имена киноактеров, но и многие москвичи-театралы. Этот спектакль наиболее ярко выражал тогда всеобщую радость от появления в жизни артиста кино возможности уйти от бездействия, простоев, всех этих вынужденных «отпусков», деморализующее действие которых словами не расскажешь. Сколько нераскрытых, таящихся, спящих возможностей выявила сцена! О, сколько нужно любви к артисту, понимания его сложного, зависимого положения, вечного ожидания… Возродить его, вести дальше, а не бросать на полпути, вдохнуть в него веру в себя! Актер — это человек, но человек особый. Потому что он живет, существует, зарабатывает себе на жизнь своими нервами, здоровьем, своей кровью. «Приходите к нам, выступите у нас, отдохните». А ведь это не так. Для артиста это будет работа. И потому обидно бывает, когда актеру указывают на материальную сторону его жизни, считая это «меркантильным», несовместимым с духовностью. Но ведь это есть его единственный способ зарабатывать на жизнь! Такую тонкую вроде бы вызывающую неловкость деталь жизни артиста надо почувствовать, понять. Да нет, актера надо — любить!

Ах, как же мне хотелось наконец-то заявить о себе, дать своей изголодавшейся душе закричать, запеть, затанцевать! Слышать дыхание зала! Слышать аплодисменты, исполнять мелодичные арии своей роли в прекрасных аранжировках! — это ли не радость после затяжного ожидания?

На спектакль, взявшись за руки, меня провожали папа с. Машенькой. На углу у театра мы целовались, папа незаметно меня крестил: «Ну, птичка моя, с богум. Вже и началось. Мало-помалу пойдеть, куда денисся. Ще увесь мир тебя будить знать. Я ж тибе ще когда ты маленькая, у Харькиви, только родилася, так предсказував. Ну, помахай мами своей ручкою, Машуня. Дочурка, ты там вжарь, як следуить быть. А мы тебя опосля усею семьею устретим». А если папа приходил на спектакль, то хлопал так, что когда общие аплодисменты затихали, я четко различала его единичные хлопки, призывающие присоединиться к нему. «Граждане, дорогие! Ето ж мой кровный ребеныk. Она ж сидела у доми и горько плакала — нема було чего делать. А щас вы усе

радые и довольные. Она ж вам даеть самое главное у жизни — здоровье и радысь! Народ, братва! Ще крепчий устретим мою дочурку, мою богиньку, мою клюкувку ненаглядную!» Ах, за эти его красноречивые хлопки, за эти провожания не расплатишься в жизни ничем. Все это стоит перед глазами, звучит в душе, налетает в самое неподходящее время, наворачивает на глаза слезы, перехватывает горло и заставляет больше ценить, ни на минуту не забывать, дорожить неповторимыми минутами любви и веры.

Каким теплым и сердечным может показаться театр поначалу, и каким грустным одиночеством он может обернуться. Это я уже знала по своему недолгому театральному опыту. Какой бы ни был, но театр — есть театр, со всеми его атрибутами: больным самолюбием, тщеславием, завистью, группировками, мнениями, вкусами… Преодолевай как хочешь. Из всех чувств самые губительные — зависть и ревность. Становишься неуправляемым. Талант вдруг тускнеет от зависти. Пусть горе, слезы, потери — они даже придают оттенок благородства, терпения… Но злоба завистливая! Она проклятая, как тьма в глазах, обесцвечивает все вокруг. А женщину она старит, уродует, иссушает. Чтобы дать ей, злобе, разрушить посланный богом дар радоваться жизни? Да ни за что на свете! На это — все оставшиеся силы! На успех можно надеяться только преодолев это наваждение.

В театре состоялась премьера спектакля Лопе де Вега «Дурочка». Репетировался он долго. На главную роль было назначено несколько исполнительниц, но выпускали спектакль с одной актрисой. Актрисой с именем, мной всегда очень уважаемой. Я к этому спектаклю не имела никакого отношения, пьесы не знала. Про Лопе де Вега не знала ничего, кроме того, что он испанский драматург, автор «Овечьего источника». Абрам Роом когда-то посоветовал мне присмотреть в этой пьесе для себя роль. Но так и не присмотрела. Жила я своей новой жизнью, которая вертелась, в основном, вокруг «Целуй меня, Кэт!», уроков по вокалу в театре и редких концертных выступлений от Бюро кинопропаганды. В кино по-прежнему не светило ничего. Вдруг меня вызывают в дирекцию, ще начальство театра предлагает мне срочно, за десять дней, войти в уже поставленный спектакль. Ого! Шутка ли, за десять дней выучить пьесу в стихах с песнями и танцами. Роль наиглавнейшую — саму Дурочку — на сцене весь вечер без продыху. Оказалось, исполнительнице главной роли предстояло ехать за рубеж. Спектакль свежий, публика ждет, и замена, как мне объяснили, должна быть равноценной. То есть у дублерши должна быть более-менее звучная актерская фамилия.

Это потом спектакль пойдет с неизменным успехом с молодыми неизвестными исполнительницами: пьеса здорово «закручена» и режиссерски решена интересно. А на тот период становления нового театра ввод предложили мне. Все логично. Сама не напрашивалась. Отказываться от интересной роли глупо. И режиссер-постановщик «Дурочки» Евгений Радомысленский вводит меня в своей спектакль. И дело даже не в том, что актрисе надо выезжать за рубеж. В следующий раз она может быть просто занята в кинопроизводстве. Делаю рывок, не сплю, не ем — через десять дней играю генеральный прогон. Он проходит в знакомом напряженном молчании. Те же, кто меня уговаривал ввестись в роль, те, кто меня уверял, что это необходимо театру, сейчас сидят и рассеянно смотрят по сторонам. Ну, а в этих обстоятельствах прыгать и изображать дурочку-девочку довольно… позорновато. Но, памятуя свой провал в Сатире, довожу все до конца четко, профессионально. Без вдохновения и взлета. Я не знала, что актриса уже вернулась из-за границы и сидит во время прогона на балконе. «Ну что ж, работа проделана… да… вот такие дела… ну, остальное потом». Вот и все. Так, наверное, бывает у спортсмена, которого вдруг неожиданно на самой середине сняли с дистанции, а он не слышит и продолжает бежать быстрее и быстрее — до финиша. Так и я: взяла дыхание на долгую работу, а меня вдруг сняли с дистанции. А я все еще по инерции бежала. Я носилась по кабинетам театра в поисках объяснений. Но кабинеты были закрыты. Я бежала по лестницам театра за директором, но он бежал от меня еще быстрее, и догнать его было невозможно. А потом замерла. Когда боль ложится точно на наболевшее место, которое ты уже вроде как подлечил, то ощущаешь, что становится опять больно, да еще как!

Пришло время, выпустили меня на сцену. Сыграла я эту безрадостную роль. И актриса сидела уже не на балконе, а во втором ряду, в самой середине, чтобы мы хорошо друг друга видели. Только мне было все равно. Я бежала уже по мысли роли. Я «научивалась» жить. Да, театр есть театр. И это была интересная жизнь. Не было того розового миража театральной гладкой многообещающей жизни. И я была среди людей. Правильно, папочка, ты учил маму и меня не отрываться от людей, «иттить у народ». А народ-то какой талантливый и разнообразный! Вдруг видишь поразительное преображение человека от малейшего успеха. Вчера сер и мрачен. Сегодня молод и прекрасен. Вчера с приступами отчаяния и тоски, с мучительными пароксизмами разочарования и неверия в себя. А сегодня мир кажется простым и ясным. Ты нужен! Неожиданная

удача принесла праздник душе. Мир оборачивается новой стороной. И… молниеносно рубцуются раны для того, чтобы перенести следующий удар, неминуемый спад. Ведь ты артист… И опять начинаешь рассуждать, читать себе наставления: «Простой» — это отпуск. Сделай этот период школой, высшими курсами жизни, университетами — читай, смотри, изучай, знакомься — все это счастливо аукнется в густом лесу профессии. И это «ау» выведет тебя на дорогу, где засветит солнце, и впереди ты увидишь «белую хатку, из трубы валит дым. Хозяева добры и приветливы. И главное, там тепло». Так в войну маме виделась райская жизнь. Теперь почему-то часто это вспоминаю.

Работая на сцене, я все равно мечтала о съемочной площадке с ее специфическим запахом свежих досок и столярного клея. Все реальнее было ощущение, что театр и эстрада для меня полноценный праздник тогда, когда есть работа в кино. На худсоветах киностудии режиссерам стали предлагать мою кандидатуру. Теперь уже как артистку Театра-студии киноактера. Но… Устарело, заскорузло мое имя. У режиссеров кривился рот, как будто от моей фамилии исходило «кислозвездное» мерцание. Потом один режиссер предложил мне сняться в окружении главной героини: «Текста нет, но мы с вами по ходу что-то придумаем. Вы же человек опытный. Эх, на тебя саму писать и писать. Не понимаю, о чем они все думают?» Но в окружение не пошла. Потом еще один известный режиссер вызвал меня на переговоры. Я побежала с тайной надеждой. Небольшой танцевальный эпизод. Но так талантливо рассказал, что я прямо загорелась от восторга. Стали репетировать. Оказалось, что это танец — дуэт. Пришла вторая исполнительница, очень странная, «нетанцевальная» женщина и не актриса. Просто яркий типаж. Оказалось, что я буду контрастно оттенять по принципу «толстый и тонкий». Репетицию я довела, кусая губы, чтобы не заплакать. Но в этой группе больше не появилась.

Потом в театре у меня состоялся еще одни ввод, последний. Это была роль Матильды де ля Моль в постановке «Красное и черное» по Стендалю. Только три ввода я сыграла в театре. Как только пришло время выхода на сцену в роли Матильды, меня тут же перебазировали с гастролями в Свердловск — ведь я не занята в кинопроизводстве. Я все же играла Матильду недолго — это одна из неудачных моих ролей. А потом, через некоторое время, в театре начнется новое веяние — «омоложение» составов: станут вводить на роли молодых исполнителей. И, неловко ссутулившись, чтобы исчезнуть как можно незаметнее, не дать удару прийтись еще раз по наболевшему месту, я тихонько закрою дверь театра с обратной стороны.

Почему я отказалась от окружения? Действительно, можно было что-то придумать. Испугалась, фамилия известная, неудобно? А почему не танцевала в дуэте? Стыдно оттенять? А Николаю Черкасову не стыдно было в «Пате и Паташоне»? И этот короткий фильм-шутка вошел в золотой фонд. Звучная фамилия без безмолвного эпизодика? А не было такой фамилии! Вот так, не было, и все! И пусть обидно, если не узнают или делают вид. И пусть неприятно бьет, что ты так мало значишь для других. Пусть. Без вздрючек, без толчков извне пришло такое решение. Пришло само, вошло в сознание и в жизнь: не было ничего. Ничего. Ни «Карнавальной ночи», ни популярности. Не было такого имени. Я его слышу впервые. Не гнушаться никакими безмолвными эпизодами, памятуя театральный опыт с безмолвными девушками. Никаких обид и претензий. Большое самолюбие — отболей, тщеславие — заглохни. Но не дай себе раствориться, не стань бесхребетной, не потеряйся после стольких лет стойкости. Будь ровной, терпимой и доброй. Все начать с нуля. Вот такая программа.

От такого решения стало легче, и не страшили меня воспоминания о бегах по лестнице за директором. Справедливыми виделись установки на «омоложение». Сознательно заглушала аплодисменты после сольного номера в «Целуй меня, Кэт!» Когда я так решила, вылезла из своей раковины, шире, добрее взглянула вокруг, я стала меньше удивляться своей кочкообразной дороге в жизни.

Значит, соглашаться на любую работу. Искать подробно биографию, костюм, нюансы поведения героини. Если она на экране даже в течение минуты. Не слышать своей фамилии. Лучше бы ее совсем сменить, но она папина. Не обращать внимания на письма, если в них: «Вчера смотрела фильм „Один из нас“. Мелькнули вы в самом начале — и след простыл. Как же вам не стыдно? Что вам, есть нечего? И это после Леночки Крыловой, после Франчески?» (Донецк). «Теперь вы все в ресторанчиках поете. „Взорванный ад“ смотрел — там вы в немецком ресторане, а в „Неуловимых“ — во французском. Наша семья в вас разочаровалась. А ведь „Карнавальная ночь“ — наша молодость…» (Челябинск).

А я буду, буду играть! Играть в окружении, петь в ресторанчиках! Мне нужно выбирать, набирать, приучать зрителя к себе разной: жалкой, победоносной, неприятной, легкомысленной, некрасивой, разной, разной… Мне нужен опыт, пусть такой разрозненный, разбросанный в ручейках, далекий от большой реки, но я должна его набрать! И опять же что-то внутри мне подсказывало, что я на верном пути.

Первой удачной работой в моей новой программе была роль Шуры Соловьевой в фильме Адольфа Бергункера «Дорога на Рюбецаль».

На съемку я приехала с абсолютным знанием текста, пройдя подробно биографию своей героини. И от этого на душе был покой. Группа прекрасная, режиссер фильма — человек добрый, мягкий, интеллигентный. На эту непростую роль он меня утвердил без проб. Это было важным событием. Потому я и чувствовала особую ответственность. Потому так и готовилась. Художник по костюму Виля Рахматулина. У нас с ней за плечами работа в «Балтийском небе» и «Рабочем поселке». Костюм, который мне предложила талантливая художница, не требовал поправок, перешивок, уточнений — все было в характере героини. Костюм — полдела в кармане. Грим… Что такое грим для этой роли? Лицо бледное, глаза «утренние», губы треугольником, чуть тронутые бордовой помадой, на голове косынка чалмой, как носили в войну. Короче, грим без грима. В группе снимали добротно, но медленно. Я влетела в кадр, металась по съемочному пространству, и мне его так хотелось охватить — целиком! В длинном монологе я все не видела возможности остановиться, чтобы перевести дыхание и продолжить его в другом кадре. Меня несло все выше и выше, к душевному подвигу этой, на первый взгляд негативной, женщины. Бились, бились и сняли сцену одним куском. Войдя во вкус, в тот же день сняли еще и режимный кадр. За один день группа выполнила четырехдневный план. А я — утром приехала, вечером могла уезжать. А ведь у меня была командировка от театра на пять съемочных дней. Целых пять оплачиваемых дней плюс репетиции. Я же отработала все в одну смену и, счастливая, отправилась восвояси. Спрашивается, к чему спешка, зачем все в один день? Но зато какой день! Такие дни помнишь всю жизнь! До чего же не меркантильная наша семья. Ждали, что подработаю, — ведь я главный добытчик-кормилец. Но, увидев меня такой счастливой, никакого оттенка сожаления, ни-ни.

Пошли кинопробы, кинопробы на «Ленфильме». Кинопробы в больших ролях пока так и оставались пробами. Но ведь они начались! Значит, лед тронулся! Начались съемки в небольших эпизодических музыкальных ролях, где я купалась, как в живительном источнике. Начались драматические ролишки, где на выручку приходило близкое, знакомое, уже пережитое. Да и зрители уже вроде не так беспощадно меня уничтожали. А кто-то внимательно следил за мной, отмечая в письмах, что видит, как я «набираю». И круг насмешливых взглядов сужался. Откровенно недвусмысленные гримасы сменили заинтересованные взгляды.

Ну, что вы ко мне присматриваетесь? Чего вы от меня ждете? Молчите? Ну и ладно. Я ведь теперь работаю, набираюсь опыта. А разве может что-нибудь сравниться с самым великим таинством — процессом рождения роли? Эх, если бы вы знали, если бы вы только знали, как я боюсь хоть на один день вернуться туда, в то время…

Конец лета 1971 года. Мы получили журнал «Советский экран» N 17. Фильм «Дорога на Рюбецаль» вышел на экраны, и вот на него в журнале рецензия. Рецензий впереди будет много, но эту… «я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза…» Она — первая за долгие годы девальвации и забвения. Ведь это именно те слова, которые мне были так нужны для того, чтобы убедиться, что избрала верный путь.

Думаю, что редко кто может похвастать такой торжественно-траурной параболой внимания прессы. Она отражала всю мою жизнь в кино, с тех самых первых «карнавальных» шагов. Меня прославили, захвалили, уничтожили, забыли, припомнили, стали жалеть, удивились. Начали отдавать должное. Стали писать хорошо. Потом — очень хорошо. И еще позже — в превосходной степени и очень часто. В какой-то момент я почувствовала, что надо наивежливейшими словами отказываться от еще и еще одного интервью, чтобы не вызвать раздражения у зрителей. Ведь частое мелькание в прессе — это девальвация. Ведь когда-то же кто-то первый начнет: «Сколько же можно, в конце концов, хорошо да хорошо!» И интуиция не обманула. «…И снова игра Л. Г., ее порой почти неуловимые характеристики, неистощимое чувство юмора, которым неизменно наделяет она своих благородных и чистых, вместе с тем очень разных героинь, убеждают в жизнестойкости образов, дают пищу зрительскому воображению, будят мысли…»

Ей-богу, это приятно читать. И что юмор не истреблен, и что героини «о-чень раз-ные». Передохнула, мысленно поблагодарила журналиста, а ровно через десять строчек: «…Думаю, что и саму Л. Г. не может не беспокоить при всей их разности сходство героинь последнего времени». А, ну вот это и есть самое главное! И разборы такие «разных» героинь («Старые стены», «Пять вечеров», «Двадцать дней без войны», «Любимая женщина механика Гаврилова») — это все была лишь уважительная преамбула. Как только прочла впервые произнесенное вслух, жду: кто следующий? На этот раз журналист берет интервью у моего партнера по фильму «Вокзал для двоих». «…Все мы любим талант Л. Г., радуемся ее успеху, возвращению на экран. Но не кажется ли вам, что режиссеры вновь начинают эксплуатировать ее новые типажные качества? Вот и создавая яркий образ Веры, она

начинает повторять то, что, мне кажется, уже использовано ею в предыдущих работах».

Защитил меня мой партнер. Он ведь был внутри того жаркого процесса, и вопрос журналиста, наверное, расшевелил в нем воспоминания о нашей, ох, какой нелегкой жизни в то лето и зиму восемьдесят второго года. Спасибо тебе, Олег Валерианович Басилашвили! Значит, не забыл. Значит, недаром мы с тобой встретились на нашем жизненном «вокзале». А как ты относишься к тому, что я новый типаж? «Типаж новый». Так долго не снимали, потому что не смогла пристроиться ни к одному типажу. А в зрелых годах попала в типаж, да еще в новый. Ну да ладно, важно, что автор отметил: «Мы радуемся ее успеху и возвращению на экран». А ты? Ты рад? Можешь не отвечать. Я тебе верю.

К сожалению, редко чувствуешь у человека по профессии критик ту располагающую интонацию, когда хочется распустить натянутые струны, все ему выложить, забросать историями, восхищением талантливыми людьми или поделиться своим тайным, о котором порой и близким-то не расскажешь. Но такие люди есть. Когда я читаю, что много ролей-ретро и я в долгу перед зрителями, что надо сыграть женщину сегодняшнего дня — это точный намек-перспектива. И пусть никто не даст мне адреса, где лежит и ждет меня такой сценарий. Но если уж попадется мне — этот своевременный намек заставит меня совсем по-другому начать подготовку к роли, осмотреться: из чего же состоит женщина именно сегодняшнего дня, даже если мне придется пройти через конфликт с режиссером. Я только поняла одно: отношения актера и журналиста очень во многом напоминают отношения актера и режиссера. Если нет взаимопонимания и любви, нелегко.

А чего это я так долго о прессе? Да просто наболело за долгие годы «полузабвения», как красиво определили журналисты мое время безработицы в кино, те мои годы «иллюзий и грез»…

…На столе стояла бутылка шампанского и фруктовая вода для папы с Машенькой. Б той статье все, что касалось меня, было жирно подчеркнуто красным карандашом, а на полях стояло несколько крючкообразных старомодных папиных автографов. Аж сердце щемит, когда гляжу на этот старый, драгоценный пожелтевший номер. Папа читал статью уже в десятый раз. Теперь читал ее вслух.

— Так, слушайте, уся моя семья, про дочурку з усем сердцем. «Только эпизод». — Ето название. — «Что запоминается в этом фильме? По-моему несколько эпизодов. И прежде всего отличная

эпизодическая роль Людмилы Гурченко». — Ето, дочурка, означаить, што золото и в… блистить. Тут я з им целиком согласный, а куда против правды денисся? Читаю дальший: — «Велика ли роль, если отпущено актрисе всего два эпизода? Актриса сумела много рассказать о „такой войне“ за эти несколько минут на экране. В двух сценах она сумела развернуть целый характер — от низшей границы отчаяния до взлета благородства и решимости. Такая актерская щедрость и убедительность о многом говорят. Во всяком случае, с обидной повторяемостью „голубой певицы“ для Людмилы Гурченко, я уверен, покончено». — Хочу от чистага сердца выпить за писателя, товарища Вадима Соколова, якой про мою дочурку написал правду и у самое яблочко. Спасибо тебе, дорогой товарищ, жизнь тебя за ето отблагодарить, ето як закон. Ну, за честь, за дружбу!

ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ ДЕЛОВОЙ И АКТРИСЫ

Баку — Терскол, Таллинн — Новгород, Одесса — Рязань, Краснодар — Минводы и, конечно, Москва — Ленинград. «Красная стрела». Это маршруты и места съемок моих картин. Ого, сколько появилось сил и энергии! И сон был, и никаких снотворных. Организм как будто сидел в засаде, в долгой спячке, готовился к прыжку и вскочил! Роли в фильмах: «Белый взрыв», «Мой добрый папа», «Дорога на Рюбецаль», «Дверь без замка», «Цирк зажигает огни», «Табачный капитан», «Тень», «Летние сны». И пробы, пробы… Время началось боевое. А главное, было легко от принятого решения «начать с нуля». Ну и что же, что не утвердили? Чем я лучше? Эх, папа, папа, зачем ты мне с детства внушил, что я особенная? Видишь, как я долго шла к простой мысли — отдавай все и не жди никакого чуда и никакого «сверх». Это труд. Порой серый, будничный. И лепи, лепи роль, не бойся, что повторишься. Вон сколько людей, и все разные. Поменьше проблем вокруг — «я и моя популярность», «я и мой авторитет». Убрать слова «индивидуальность», «личность» и всякие «в своем творчестве я стараюсь»… Все для меня открывалось более простым и будничным, заключенным в слове «труд». Я наконец-то тружусь. Так слава же труду!

Обидно, что самое простое приходит поздновато. И удивляешься тому, как серенько это простое выглядит рядом с предыдущими твоими прожектами, мудреными идеями и ракурсами. Вот оно, простое. Оно и есть самое верное, ибо в нем правда, в нем пережитое. Постоянная нужда полезна. Она заставляет работать и работать. Но с другой стороны, нужда опасна — становишься менее разборчивым. Но всегда ведь хорош задним умом… и на это время, естественно, пришлись ошибки, перегибы — результаты слишком горячечного броска в материал, где не всегда умела влиться в общую партитуру картины. Иногда в оркестре только начиналось «крещендо», я же влетала со своим никому не нужным «форте», да еще с «до» третьей октавы. Мне почему-то слышалось звучание оркестра совсем в другой, более высокой «температуре». Нет чтобы прислушаться, подстроиться, дождаться своего соло, не вылезать. Но что поделаешь, когда истрепаны нервы от ежеминутной готовности вступить в бой. Она, эта боевая готовность, невольно ищет себе выхода. Снято, и ничего не исправишь. Стыдно за какие-то эпизоды, интонации, за некоторые, в фильмах этого времени, сцены. Я пополняла свой

опыт, еще во многом работая вслепую, инстинктивно. Несмотря на то что я в то время набирала внутрь очень интенсивно, внешне, по инерции, еще долго «ломала Ваньку», кривлялась и часто вела себя несолидно. Ах, думаю, умный ведь поймет, что это я так… от профессиональной радости. Некуда силы девать, вот я и несусь… Если говорить по высокому счету, мои радости и успехи были как буря в стакане воды. Это были мои «радостишки» и «победки» — радость «для дома с оркестром». Роль, роль, большая, крупная, масштабная, где ты? Не минуй меня стороной! Столкнись со мной где-нибудь!

Это были не масштабные, но значительные роли с непрямыми и негладкими судьбами — речки с затонами, топями и завитками. А новые партнеры? А встречи с режиссерами? «Открытая книга» Владимира Фетина. Красавица Глафира, прошедшая дозволенным и недозволенным манером огонь и воду в достижении главного — жить роскошно в ореоле всеобщего восхищения и поклонения. Позднее — прозрение, совершение подвига. От этой избалованной жизнью женщины не ждешь, что она одним махом выбьет у себя из-под ног почву и повиснет в воздухе… Но повиснет — разобьется о холодный мрамор мрачного подъезда. Роль? Да! Судьба? О! Есть что играть? Безусловно. Как кропотливо Владимир Фетин выстраивал ту тяжелую сцену перед самоубийством. Странное поведение Глафиры ни в коем разе не должно было предварить страшного финала.

Я не помню, как вышла из «Красной стрелы», как добралась домой, в мираже, через пелену слышала испуганный шепот моих родителей:

— Лель, што ето з ею, а? Я етага режиссера поеду у Ленинград на куски порежу, от тебе крест… До чего дочурку довев!

— Марк, котик, ты почитай сценарий, там же смерть…

— Так што ж, теперь усем умирать? Ну тихо себе притворилася, брык об землю и тихо лежи, глаза заплющи и молчок. А режиссер хай себе знимаить…

А через несколько дней опять вижу солнце, чувствую запахи, хочу жить! Несколько прекрасных писем после «Открытой книги» храню. Они мне дороги. Зрители так чутко разобрали переливы души героини — почувствовали даже то, что я пыталась, но так и не смогла сыграть до конца. Это дорогие письма. Большинство же ругали Глафиру: «Натура не цельная, брать пример с нее нельзя».

«Дети Ванюшина»… Роль Клавдии — самой старшей и некрасивой дочери Ванюшина, женщины расчетливой, скупой и сварливой, не пришлась мне по душе. Хоть и невозможно было представить в то время, что я могу отказаться от роли, но я была

близка к этому. А режиссер Евгений Ташков настоял на встрече. Она все и решила. И очень скоро. Евгений Ташков. «Адъютант его превосходительства», а еще раньше — «Приходите завтра» с непревзойденной Екатериной Савиновой в главной роли. Вот он какой… Он артист, это видно сразу. Артист в каждом жесте, в каждой интонации, в живом, нервном блеске серых глаз, в неспокойных руках. Он сразу отменил в Клавдии некрасивость и физическое уродство — чего я, кстати, и не боялась, — просто уж очень какую-то тоску вызывала эта роль. А он мне так ее проиграл, что я эту Клавдию увидела чуть ли не самой интересной во всем сценарии. В роли он нашел и элементы драмы, и трагедии, и даже комедии. И я вошла в картину. Вошла осмысленно и работала с удовольствием. Потому что была под надзором талантливого человека. А это так важно.

В фильме произошла долгожданная встреча с актрисой, с образом которой еще с детства, с войны, связано самое светлое и что-то хрупкое и женственное. В фильме она играла небольшую роль, и наше общение было недолгим. Валентина Серова. Она Для меня была идеалом женской красоты и нежности. Глядя на нее, мне всегда хотелось плакать, не знаю почему, может, от счастья видеть ее красоту. Она уже была немолодой. Но осталась тоненькой, как девочка, с прозрачной кожей, голубыми жилками на висках. В каждом слове было много важного для меня. В синих огромных глазах было так много грусти, терпения и боли. Я бежала на работу, чтобы увидеть, как она входит в гримерную, как мягко и естественно здоровается, как спокойно, даже равнодушно смотрит на себя в зеркало. Как от крошечного прикосновения гримера меняется ее лицо. Как светится вокруг ее головы нимб тонких золотистых волос. У нее был самый редкий талант актрисы — быть на экране женщиной. Недаром ее любили великие и отважные. Это так понятно. Я не могла, не могла оторвать глаз от этого неземного существа. И, будучи уже взрослой, я понимала то, что поразило меня тогда, в детстве, когда я смотрела «Сердца четырех», «Девушку с характером», «Жди меня». «Жди меня»? Да, я люблю эту картину. «Знаете, самое главное в жизни иметь голову на плечах, всегда… и стойкость. А я… Я… нет. Не смогла. Сама. Только сама…» Через несколько лет этой необыкновенной женщины не стало.

Этими двумя ролями начинался 1973 год. Съемки, концерты, спектакли, дом. Дома меня всегда ждали. И к каждому возвращению папа и мама с гордостью демонстрировали новое стихотворение в исполнении моей Машеньки. Одиннадцатилетняя дылда забиралась на стул, «руки назад», «глаза широко распростерты», точно как я в детстве. Дедушка

сиял от своей режиссуры. Только теперь он обучал свою «унученьку» стихотворениям «исключительно на патриотическую тематику». И моя стесняющаяся дочка под восхищенными взглядами дедушки и бабушки читала:

Был трудный бой, все нынче как спросонку,
И только не могу себе простить:
Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку,
Но как зовут — забыл его спросить…

И жизнь текла хорошо, и раны подживали. Дедушка чувствовал себя в ответе за всех. За меня, за маму. А для Маши был всем на свете: дедом, отцом, самим господом богом.

И вот… Как-то февральским, а может, мартовским вечерочком, все того же 1973-го, я играю в театре все ту же безрадостную «Дурочку». В антракте за кулисы ко мне влетает второй режиссер с «Ленфильма» — человек живой, артистичный, с острым умом, легкий в общении, мгновенно ориентирующийся в любой обстановке. В общем, образ стопроцентного, незаменимого кинематографиста. И фамилия красноречивая — Беглов, Геннадий Беглов.

— Мадам, привет! Лихо пляшете, народ ликует… м-да… Скоро пожалуйте на родную студию-с? О! Это хорошо, хорошо… м-да… Мадам, а вы не хотели бы сыграть в фильме о-у лу-ю-бви?

И в моей голове с ходу засела мелодия из фильма «Мужчина и женщина». И вот я уже танцую с каким-то загадочным мужчиной в усах и бакенбардах. Вокруг тесно прижавшиеся пары. Плывет сладкая музыка. Все млеет и слабеет под напором любви, моря, шампанского и одурманивающего зноя… Ну кто же не мечтает сыграть в фильме о любви? Наивный вопрос. «Ген, оставь сценарий». Он как-то странно засуетился, еще раз недвусмысленно бросил взгляд на мою коротенькую юбочку девочки-дурочки: «О, мадам!» Что-то потрогал на моем столике с гримерными штучками, попрыгал на месте, попел мелодию дурочки, только что слышанную в зале… «М-да… Вот когда придешь в „Открытую книжку“… будет тебе и сценарий. Роль — на унос! Публика будет рыдать и плакать! Целую, мадам!» И он исчез. Не давать волю фантазии до наступления ясности, что шлагбаум открыт! Мелодия любви смолкла. И я пошла во второй акт перевоплощаться из дурочки в хитромудрую девицу.

«Для этой сцены я тебе еще больше разведу глаза, пусть они падают по бокам, а? И брови домиком, здесь же у нее горечь, которую ты скрываешь, ты веселая, а эта деталь в контрасте, это хорошо, так… — говорила гример Людмила Елисеева. — Да, да

наперекор привычной выдержке и веселью пусть в лице сквозит намек на гримасу душевного страдания. Это то, что надо». В такие минуты для нее на свете ничего не существовало — ни дома, ни любимейшего сыночка Павлушеньки, ни самых интересных событий в жизни студии. Вот гример! Работала она тоже не по традиции. Иногда начинала с прически, иногда с глаз. А иногда «сделает пол-лица», посмотрит на разные половинки и начинает вторую часть подстраивать под первую. Такие самобытные, талантливые люди — как возбуждают они желание жить, работать! В фильме «Открытая книга» у меня один из самых интересных гримов, который во многом продиктовал именно это решение характера и поведения Глафиры.

У меня было «готово пол-лица», и я в который раз с удивлением отмечала, какие они разные, эти половинки. В гримерную вскочил Геннадий Беглов, сунул как-то смущенно сценарий, сказал, что проба завтра. О времени созвонимся. И все скороговоркой, как-то не гладя в глаза. И выскочил. Потом опять открыл дверь и сказал: «Мадам, советую вам нашему режиссеру про дурочку… ну, лучше совсем не надо. Лады?» Как, наверное, глупо я выглядела в коротеньком платьице в роли девочки. Видно, он не остался на второй акт, не увидел моего «повзросления». Ну да ладно, режиссеру я и не собиралась докладывать про дурочку. Да и зачем он меня предупредил? Теперь в голову это будет лезть. И я погрузилась в чтение сценария.

Все так! Юг. Берег моря. Сладкая музыка. Зной. «Белое танго! Дамы приглашают кавалеров!» Но героиня никого не приглашает. Молодец, я бы тоже этого не сделала. Если она чего-нибудь стоит, к ней сами подойдут. О! А вот и он. Хорошо, очень хорошо. Он ей издали вопросики, она ответики. Рекогносцировочка… Знакомо, проходили. Но вот они удаляются подальше от танцующих, ближе к Черному морю — так быстро? Вот он берет ее за талию, на руках переносит через препятствие. У-у… Как их зовут и кто они — еще не знаем. Ну и не надо. Главное, что подул сухой горячий воздух и вспыхнула обоюдная страсть. А значит, есть что играть. Страсть получает свое развитие за кадром. Вполне достаточно, она ведь в кадре зажглась. А дальше, чего уж, это же фильм не для детей. На рассвете она уже поднимается по лестнице высоко-высоко. А вот и ее шикарный номер — э, наверное, она тетенька непростая… Или чья-нибудь неудовлетворенная жена. Или сама важная птица. А тогда как же быть со страстью? Но не будем гадать. Какая страница? Седьмая. Только седьмая страница, а событий-то, событий… Ну сценарист, ну закрутил, аж дух замирает. Ну дальше, дальше. Так. Утро, солярий, все загорают.

Герой ее разыскивает. Она вроде как увиливает. Вот и в столовой она смотрит на него спокойно и даже равнодушно. Занятная тетка. Вот она ему говорит: «Не ищите меня». А он: «Все равно найду, Аня, тебя»… Она, значит, Аня. «Переверну, — говорит, — чуть ли не весь свет». Во какой! Всем женщинам понравится. Но она уехала. Это на десятой странице. А на одиннадцатой по коридору какой-то фабрики идет какая-то женщина. Все с ней почтительно здороваются. Но, видно, эта положительная героиня, не моя. Мне давай «Глафиру», ту, что была на юге. А эта пусть себе шагает деловой походкой по длинному фабричному коридору. «Директор Анна Георгиевна Смирнова». Директор? Во мешанина! Море, любовь, «Глафира», белое танго, фабрика, директор. Ну, Гребнев, ну Анатолий Борисович, — что же это? Вы же блестящий сценарист! «А ты думаешь, это мне пришло в голову считать выполнение плана по фактически реализованной продукции? А у нас ведь никогда не поймешь, реализована она или нет…» У-у-у… Это на двенадцатой странице говорит та же, что шла деловой походкой по коридору, Анна Георгиевна Смирнова. Анна Георгиевна? А мою южную «Глафиру» герой тоже назвал Аней… Судорожно перелистываю сценарий. Глафиры и след простыл. Вот Анна Георгиевна проводит пятиминутку с начальниками цехов. Вот она в гремящем ткацком цеху. Вот разговор со взрослой дочерью в доме. Опять цех, прием работниц фабрики, конфликты с главным инженером… Кругом она, она и она. Она и есть «Глафира»? Интересно. То-то Беглов так меня оглядывал и топтался. Теперь все понятно. Поначалу я даже не обратила внимания на название сценария. Ну, стены себе и стены. Да еще старые. Кому нужны старые стены, когда все хотят иметь квартиру новую? Был когда-то, правда, прекрасный фильм «У стен Малапаги», но ведь он из другой жизни… Да-а, вот тебе и фильм «о-у лу-ю-бви». Не знаю, чего у меня тогда было больше на душе — огорчения или недоумения. Но в единственном я была уверена на сто процентов: что это ошибка, что эта роль не моя, что это блажь режиссера.

Первая же встреча с режиссером была абсолютно несовместима с капризным понятием «блажь». Передо мной стоял красивый русский голубоглазый богатырь. В глазах бегали смешинки. Эти глаза словно бы удерживали вокруг атмосферу всеобщего интереса, возбуждения — самую творческую атмосферу. Виктор Иванович Трегубович — один из самых неоднозначных, самых непредсказуемых режиссеров, с какими мне приходилось встречаться. Казалось, вот уже все знаешь, ко всему приладилась, привыкла — ничего подобного! Он преподносит, преподносит, удивляет, загоняет в тупик, кричит,

хохочет, обожает, не разговаривает, приглашает на роль и не утверждает.

«Вы простите меня великодушно, товарищ режиссер, но я это играть не могу. Для всех это будет прекрасным поводом посмеяться. Представьте себе: моя фамилия тире директор. Представили. И можно получить приз „армянского радио“ за самый короткий анекдот».

Так хохотать может только Трегубович. «Слава богу, что вы сомневаетесь. Мне это нравится. Люблю, когда сомневаются. Я только что видел вас на пробах у Авербаха в „Монологе“, мне понравилось. Давайте, давайте сосредоточьтесь, будем репетировать».

Теперь-то что, когда сломлены барьеры амплуа! А тогда на репетиции? Сижу как притихший бобик. Ни одной знакомой интонации, ни одного жеста, ухватиться не за что. Губки ни к селу ни к городу кокетливо вздрагивают. Ну хоть ты умри, такая пустота. Где же вы, мои «нераскрытые» возможности? Я — красивый стопроцентный нуль. И, как назло, репетируем именно текст: «А ты думаешь, мне пришло в голову считать выполнение плана по фактически реализованной продукции…» Да эта «реализованная продукция» тогда, ах, еще как далеко от меня… Начну и остановлюсь. Начну и засмеюсь над собой. Ничего более неестественного нельзя придумать. Потом уже злилась. Потом ругала себя вслух папиными словами, не видя режиссера от беспомощности и бешенства. Уже смеялся режиссер: «Будем, будем пробоваться, идите в костюмерную. — И вышел, напевая: — Сама тощая, как гнида, но зато пальто из твида». Это же про меня! Это у меня пальто из твида. Тихо. Не будем реагировать. Спокойно. Найдите актрису по своему вкусу, товарищ режиссер… И, точно как у чеховской Душечки, навалились все обиды и несправедливости моей непутевой жизни. И я как расплачусь… с удовольствием, всласть, когда не нужно утешений. Когда это как необходимое облегчение. Поплакала — поплакала, да и побежала в костюмерную.

Одели меня в простой костюм, какие продаются в наших магазинах. Сделали гладкую прическу. На ноги надели туфли на небольшом каблучке. И… куда девалась артисточка в мини-юбочке, в модных туфлях на платформе, с игривой челочкой по самые глаза. Я смотрела на себя в зеркало и об этой женщине не знала ничего. Ничего.

«Ставили» свет, готовились к съемке… осветители, рабочие, гримеры, пиротехники, костюмеры, администраторы — все проверяли свою готовность, прочищали свои перышки перед командой «Мотор!»…

Когда нечего терять, кроме своих цепей, наступает недолгое расслабление, безразличие к тому, что ты и как ты со стороны. Наступает вроде как покой. Кажущийся покой. В этом состоянии все мозговые клетки задерживаются на одной мысли — той, что победит. Именно она покажет выход. А если уж не выскочит такая сильная спасительная мыслишка — тогда, «дочурка, пиши пропало».

Важный диалог директора с главным инженером. Молодой инженер берет под сомнение святое понятие «энтузиазм», обрушиваясь на старого мастера цеха Колесова, который готов для выполнения плана работать без выходных. «Недавно, знаете, старые стены фабрики ломали, так взрывников пришлось вызывать, вот какие стены». Вот откуда стены. Это ведь старые и новые традиции. Понятно.

Я выросла в трудовой семье. Многое в роли должно быть мне знакомо. Разве не на моих глазах родители для общего дела могли не спать, не есть на благо коллективу, стране? Так что же? Может, занесли меня роли другого амплуа в иной мир и «я забыл свой кров родной»? А может, это тот случай, когда не пользуешься какой-то вещью и она пылится в забвении?.. Или это — как ноги, которые затекли от сидячей профессии и их надо усиленно тренировать? Как оживить или вынуть на поверхность важный пласт моего истинного существа, который поможет мне стать самой собой? А потом все в роли ляжет на меня? Или мое сольется с ролью? Как? С чего начать?

Ручки взмахивают, изгибаются, ножки все наровят устроиться привычной восьмерочкой. Все, проклятое, не оттуда. Да и спасительная мыслишка выпрыгнет и ускользнет — мол, я тебе пусть подсказала, а там уж давай сама. И пальто проклятое из твида ненавижу, надо его убрать с глаз. «А вы ведь тоже небось не барские детки?» Откуда это? Во занесло! Откуда-то залетела мысль и закопалась в памяти… Нет, не вспоминаю, только четко слышу знакомый голос. Нет, ну причем тут барские детки, если я сейчас должна быть мудрым сорокапятилетним директором? Господи, сформулировала это и покраснела от невозможности такого сочетания: я — и директор.

И вспомнила! Это голос Бориса Чиркова. Про барских детей он говорил на репетиции артистам в фильме «Глинка», где исполнял роль гениального русского композитора. Ведь это была первая русская опера — «Иван Сусанин». До того в России ставились только иностранные оперы. И у русских артистов был тот, иностранный навык, жесты, акцент, мизансцены, которые они и перенесли на русскую оперу. Так же заламывая руки, как и в итальянской арии, Антонида пела: «Были враги у нас, взяли отца

сейчас». А Иван Сусанин в самой роскошной позе пел знаменитую арию: «Чуют правду». Обидное зрелище, когда русские актеры, выходцы из крепостных, забыли свое родное. Смешно, но именно об этих крепостных русских артистах я думала тогда на пробе перед командой «Мотор!». Менее всего мне хотелось произвести впечатление. И это точно было со мной осознанно в первый раз. И, может, я совершенно стушевалась и ушла внутрь, чтобы не соврать, тоже по-настоящему впервые. И уж точно впервые сознательно задумалась о своих корнях. Тогда, наверное, и началась пора зрелости. Может, у других она начинается раньше и при других обстоятельствах. Меня же к этому привела роль.

На худсовете мнения разделились. «Она актриса эпизода, короткой дистанции, спринтер, такую роль не протянет. Тут нужен стайер», — говорили одни. Другие вспоминали опять же «Карнавальную ночь». Это не по правилам — вспоминать. А какие в актерской профессии есть правила? Главное правило одно: хорошо играть. Безусловно, в выборе меня на эту роль был все же риск. Потому даже самые доброжелательные члены худсовета приняли волевое решение Трегубовича осторожно, думаю — в силу опять-таки этой новизны. Никому ничего не ясно, только одному ему слышится запах «завтра».

Для меня же на пороге этой неведомой жизни был спрятан глубокий долгожданный щемящий смысл уже моей личной жизни, переплетающейся с этой недоступной и долгожданной ролью. И кто знает, если б не чутье режиссера…

Часто снимают фильмы о том, как снимается фильм. Но ни разу профессиональный работник кино, глядя на экран, не сказал: «Да, уж это точно про нас». Наоборот: «Да что они придумывают, ерунда все это, да ничего подобного». А какой восторг, если похоже! Почему так? Откуда такие загадочные сложности? Одним примером, правилом всего не объяснишь. Это целый свод неписанных законов, в которых кинематографист плавает, как рыба в воде. Несведущий же петляет, как в сказочном лабиринте, возмущается, теряется, страдает. Жизнь в кино идет по правилам и одновременно против правил. Это искусство, где бок о бок работают две несовместимые силы: лед и пламя — искусство и административный аппарат. Искусство со своими нюансами, настроениями, резкой сменой температур отношений, непрограммированными капризами и спорами, пиршеством импровизаций и побед. Все эти «штучки» патрулируются четкой сметой, планом выработанного в смену метража, количеством израсходованной пленки, лимитом, нормированным днем для рабочих и ненормированным — для творческих работников и т.д. Какое дело администрации, если у актера «не пошло». Должно

пойти. Группа должна выполнить план, получить сто процентов зарплаты, желательно плюс премиальные. В общем, математика и балет.

С картиной про директора у меня вышел типичный кинематографический казус. Который опять же понятен человеку из кино и может возмутить несведущего в жизни и неписанных правилах на «фабрике иллюзий и грез».

Для этого надо перенестись в то время, когда еще неизвестны были результаты худсовета по фильму Виктора Трегубовича. А я, «попробовавшись», поплакав, посомневавшись, с тайным облегчением закрыла «директорскую» страничку и заканчивала объект «квартира Глафиры» в фильме «Открытая книга».

Допустим, сегодня вечером заканчиваю съемки этого объекта. И сегодня же уезжаю в Москву вечерней «Стрелой». Сегодня к вечеру закончится худсовет по картине Трегубовича. Сегодня вечером в ленинградском Доме кино будут показывать нашумевший иностранный фильм. И все сегодня, в один и тот же вечер. Брожу по фойе Дома кино в поисках хоть одного лица из группы Трегубовича. Киваю знакомым, что-то отвечаю. А внутри… Ну неужели же до сих пор решают? На пробе «он» был доволен… Или «он» сыграл? Или я схожу с ума?.. Ну наконец-то! Идет редактор. Уж она-то точно была на худсовете. Вот она остановилась. Специально маячу у нее перед глазами: «Здравствуй, ты моя талантливая девочка, какая же ты молодец… Хорошо сыграла сцену с Колесовым… Тоже хочешь посмотреть картину?» Проанализируем. Что означают ее слова? Если утвердили, то почему не поздравила. Скорее всего, жалеет меня. Отсюда и «талантливая девочка», которую в очередной раз прокатили. Но что-то внутри приказало: «Жди!» В такие минуты я даже бога вспомнила: «Милый бог, если ты есть, сделай так, чтобы справедливость восторжествовала». Или рьяно верю приметам — поплюю три раза: пронеситесь все несчастья. Или стою и жду: если первой войдет женщина, значит, сбудется, если мужчина — с приветом, Дуся! О! Вошел мужчина. И кто! Сам Трегубович! Увидел меня, как-то сурово кивнул и сосредоточенной походкой — одно плечо выше, другое ниже — прошел в зал. Ну, теперь все. Можно тоже идти, поискать свободное место. А народу-то, а жужжит-то как все вокруг, как все смеются и острят… Уже не выдерживая этой игры, не могу притворяться, хочу крикнуть: «Люди добрые, братья мои и сестры! Скажите же кто-нибудь резкое „нет“, и станет легче. Я перестану быть в подвешенном состоянии и стойко приземлюсь на холодный мрамор. Ну же! Молчите…» Ладно, «пошли дальший». Противный у меня характер, но одно качество спасает всегда. Мне

всегда важно было знать все о себе с самой невыгодной стороны. Подбирая точные крепкие слова, хихикнув над собой, могла встряхнуться и резко пойти против течения. Я с вызовом посмотрела в зал, как можно ослепительнее улыбнулась, подражая кинозвездам моего детства, и приземлилась среди любимых гримеров: «Приди ко мне, я вся в г… и сс-страсть кэ-пит во мнэ-э!» — «Ой, какая же ты веселая, вот молодец, вот держишься». Как только меня похвалили, нестерпимо захотелось говорить. У-у, как я набросилась на моих дорогих слушателей! Я извергала на них такой поток информации, шаржей, анекдотов, да на такой предельной скорости, как будто за мной гнались стаи гончих. А нервишки-то не выдерживают.

— Ну… дорогая Людмила Марковна…

— С каких это пор по отчеству?

— Теперь ты у нас Людмила Марковна, теперь все…

— 0-у, старость, как известно, не радость, дорогие мои «девчонки»… — болтанула отпетую банальщину, но и это уже было в «струю». Ведь иногда важна интонация — все видавшей прокуренной гражданки, например.

— Да нет, послушайте, теперь Вы, Людмила Марковна, у нас товарищ директор.

— Хо-хо, Москва — «Динамо» наш худсовет. Ничего, ребята, прорвемся, как говорил мой папа: «Твое щасте упереди, ну, а согнесся… хе-хе». — Ну, тут пословица проверена, реакция обеспечена.

— Люсь, да ты что? Тебя же утвердили! — сказала девушка — помреж по имени Валечка. Помреж Валечка Каргазерова сообщила мне эту важную весть. Она была смущена тем, что я этого не знала. Сама засмущалась: а может, передумали? — «Света Пономаренко! Ведь Люсю утвердили?» — переспросила она у редактора, что назвала меня «талантливой девочкой». Света ей утвердительно кивнула головой, а мне послала воздушный поцелуй… Медленно стал меркнуть свет… На экране появились первые кадры черно-белой заезженной копии иностранного фильма. Названия его я не вспомню никогда.

Я осторожно выбралась из зала. Тихо ступая, прошла по фойе, боясь услышать одинокий стук своих каблуков. Этими перепадами от надежды до отчаяния, от моторного веселья до полуосознанной радости я была абсолютно выпотрошена и не чувствовала ничего. Состояние большого счастья приходилось наживать сначала.

Вот вам одна из нетипичных, но естественных ситуаций в кипучей жизни кинематографических событий. Нет-нет, никто не забыл про меня. Все рады тому, что меня утвердили на роль. Но

жизнь в группе «Старые стены» шла до того вечера своим чередом. Для них я в Москве, как и все, кто пробовался в этой картине. Кто знает, что я здесь, в Ленинграде, заканчиваю «Открытую книгу» — это как на другом острове, — что я жду, надеюсь. Люди закончили свой беспокойный день, не пообедав и не заскочив домой, после худсовета побежали в Дом кино. А вот завтра… Так вот, я уже прихожусь на завтра. На следующий день мне придет поздравительная телеграмма. На студию придет сообщение, что такая-то артистка худсоветом «Ленфильма» утверждена на главную роль. Количество съемочных дней такое-то, сроки съемки такие-то. С уважением — подпись директора картины. Иногда подпись и режиссера. Конечно, в этой истории можно найти момент невнимания. Но это не так. Этот факт объясняется одним словом, и человек, который давно работает в кино, догадается, что это за слово, и, может, даже улыбнется ему: «киностудия». И все.

На улице была мартовская слякоть. Я пошла к гостинице «Октябрьская» по улице, что налево от Дома кино идет параллельно Невскому. Более всего в тот момент хотелось быть одной на всем белом свете. Наступило расслабление. И заиграла фантазия, зашевелились мыслишки. А в них обозначились всякие соображения по поводу моего «директора». И тут же попробовала деловую походочку. И вроде ничего — не стала себе смешной. И, опершись на металлические перила моста, что около цирка, глядя в мутную воду с плавающими черными льдинами, говорила кому-то по телефону доверительным тоном: «Э-эх, милый мой, а ты думаешь, что это мне в голову пришло считать выполнение плана по фактически реализованной продукции…» И… тоже звучит. Звучит! Как прекрасно жить! Какой солнечный и зеленый этот вечер! Как будет счастлив папа!

Вот и кончилось время разрозненных опытов. Сейчас все, что столько лет копилось, сольется воедино и начнет работать на большую и ответственную стройку. Сколько лет я ремонтировала квартиры и клеила обои! Сколько лет мечтала и готовилась к такому капитальному строительству!

Моя энергия несла меня вперед, азарт захлестывал. А внутри что-то шептало: мало, не то. Придумай что-нибудь эдакое, экстраординарное, не «як у людей. Хай усе будуть як люди, а ты як черт на блюди». Не могу, не могу, не могу ничего придумать! Хочу сказать, закричать, поделиться наконец-то радостью — ведь это уж точно, уже не передумают… Это роль — моя… Вот идет маленький милиционер, он сейчас самый близкий: «Добрый вечер! Простите, вы не беспокойтесь, ничего нигде не произошло. „Карнавальную ночь“ смотрели? Это я там была… Не узнали?..

Ну, не в этом дело, у меня сегодня… Сегодня у меня, понимаете, ах… очень счастливый день!»

1973-й…

Наверное, у каждого человека есть такой период, такой отрезок времени, в течение которого происходит нечто… ну… фатальное, такое, что нельзя не расценить как неизбежное, неотвратимое. У меня это 1973 год. В нем все — работа, смерть, любовь.

Ранняя теплая весна и три разнообразнейших роли. Спала в поездах, самолетах, калачиком на задних сиденьях в «киносъемочных» машинах. Домой вообще не попадала. Здоровье распределило главные силы на съемку. Все остальное вчетверть ноги, вполголоса. С тех пор сама собой стала выстраиваться теория экономии физических сил.

Несмотря на то что я была утверждена, роль директора все еще оставалась для меня как дверь, от которой нет ключа. Я еще далека была от героини и так беспомощна, что руки сами тянулись к сценарию, как к спасению. И я поставила себе задачу — читать сценарий Гребнева «Старые стены» два раза в день. Интересно, но каждый раз я открывала для себя новые, еще буквально утром пропущенные детали. И мало-помалу, по чуть-чуть, по зернышку внутри стал выстраиваться каркас будущего здания. Но совсем не типовой. «Хочу приттить до своего директора з душой нараспашку». Здесь папа прав. «Нараспашку»? Значит, никакого начальственного, директорского тона, властных интонаций. Так: вышла из низов, на родной фабрике прошла все службы, выросла от ткачихи до директора. Она не из «барских деток». Откуда же могут взяться властные и приказные интонации? Тише, все тише, скромнее, глубже и человечнее.

Мое лицо, фигура и походка сами собой изменялись, перестраивались, перерождались. И порой ощущала раздвоенность между той — в мини-юбочке, не отстающей от модных веяний, какой я была в жизни, и той — в простом костюме, в удобных туфлях, с гладкой прической, какой я была в роли.

И, пожалуй, впервые я пришла к мысли, что самое сложное в актерском деле — сыграть роль современника. Я не знаю, какими были люди сто, двести, триста лет назад. Автор запечатлел свое время в диалогах, ремарках, замечаниях, иногда в заметках, обращенных к актерам. Актеры могут здорово это почувствовать, особенно талантливые. Но это все равно будет правдоподобием — ведь узнаваемость никак и ничем проверить нельзя. А все, что окружает, — мебель, костюмы, реквизит — ведь всего этого остается все меньше, и меньше, и меньше. Это уходит вместе со

временем, оставляя очаровательный запах прошлого, чего-то прекрасного, наверняка лучшего во всех отношениях, чем то, что сохранилось на сегодня. Короче, роль современную играть страшно и опасно, по] ому как персонажи на экране — это люди, сидящие в зале. Узнаваемость, узнаваемость, сиюминутная, ответственнейшая узнаваемость. «Неправда, — говорят ткачихи, глядя на актрису, суетящуюся у ткацкого станка, — я не такая, да и никто из девчат нашего цеха не похож на эту артисточку, врете!» Вот и приговор. А если еще и директор, да еще и в моем исполнении, да еще и с моей «трюллялистической» биографией? В каком состоянии я была тогда, на пороге новой жизни в профессии? Его трудно зафиксировать в точных словах. Но сейчас знаю — те сложности, о которых я могла догадываться, были лишь легким облачком по сравнению с давшими знать о себе сразу, как только началась работа.

Сцену разговора с дочерью снимали прямо в жилой квартире. Гостеприимная семья предоставила для любимого кино свое уютное жилье. Соседи по дому открыто завидовали, и все наперебой приглашали нашу администрацию посмотреть свои апартаменты. Но только поначалу. Когда же, через этажи, люди в промасленных комбинезонах потянули толстые провода, кабели, электрические приборы, штативы, тележки, «бэбики» и реквизит; когда обитателей квартиры выселили на кухню и обязали не очень-то шуметь и поменьше разговаривать по телефону; когда ненужная для съемки мебель была вынесена на лестничную клетку и на балкон, а в передней, ванной и коридорах скромно расположилась половина группы, человек двадцать, — все соседи прикрыли свои двери и только в щель, через цепочку, с любопытством наблюдали: кино… как же это происходит? И когда же, наконец, появятся актеры? На такой случай есть точное кинематографическое выражение: «Там, где студия пройдет, трава три года не растет».

«Не понимаю, — говорит мать-директор, — хороший парень, без пяти минут инженер, ну что же еще нужно?» Это место в диалоге с дочерью, где мы добираемся до проблем ее личной жизни. Все было нормально. Шла себе репетиция и шла. Но на меня как накатилась вдруг тяжесть — ноша не по плечу, ну просто тупик, и мое бессмысленное пребывание вот здесь, в этой квартире, в этом костюме, рядом с молодой актрисой, которая должна быть моей взрослой дочерью. А я — сама ни черта не смыслящая в этой жизни — должна ее поучать с высоты своего жизненного «директорского» опыта и авторитета. Чушь все, вранье! Стыдно. Не могу! Я всем существом воспротивилась произносить этот монолог и сказала об этом режиссеру. У него

побелело лицо: «Мне абсолютно безразлично, что вам лично этот текст, эти слова несвойственны. У себя дома вы будете говорить как хотите и о чем хотите. А героиня фильма Анна Георгиевна — не вы, понимаете? Не вы! Она человек другого поколения, другой судьбы, она выросла в стенах этой гремящей фабрики и — уж извините — трюллялизмом никогда не увлекалась. Ее действительно интересует выполнение плана, прогрессивки и обрывность нити. Это она, а не вы». Уж лучше бы он кричал. Можно было бы ответить. А то говорит холодным, ледяным тоном, ой как жутко. «Не буду говорить этот текст». «Перерыв десять минут», — крикнул режиссер. И, чтобы снять неприятную атмосферу, стал что-то весело и возбужденно рассказывать. Как будто ему плевать на меня. Сижу за столом на кухне, соображаю, за что бы схватиться, чтобы не расплакаться. По углам кухни, стараясь быть незаметными, сидели хозяева квартиры. И тоже молчали. Как тянется время. Минута длиной в год. «Может, вам чайку?» — тихо предлагает хозяйка. Что делать? Жила себе худобедно, снималась, ну и ладно. Куда занесло, куда полезла, дура… Директор!.. О, какая мука внутри. Не подчинюсь, не буду произносить то, чего не чувствую. Могу обмануть, в конце концов, наиграть. Но это не выход. Да лучше в форточку вылечу, чем выйду, и после того уничтожающего тона «заиграю». «Трюллялизм»?! А ты попробуй поставь картину с «трюллялизмом». Ну что же делать, что делать? Сейчас уже нельзя сказать «не буду». Уже прошло время. Надо было сразу хлопнуть дверью или что-то ответить умное.

А ведь даже наедине с собой не хочу, боюсь сама себе признаться в главном. У героини в тексте: «Он без пяти минут инженер». А все в том же разнесчастном фильме «Карнавальная ночь», в запетой-перепетой песне про «пять минут», я пою: «…Вот сидит паренек, без пяти минут он мастер». Для того чтобы объяснить режиссеру это «без пяти», мне нужно переворошить, приподнять так много… Может, отчасти и прояснилось бы, почему я так боюсь этих слов. Наверное, он бы понял. Но нет, я ему не объясню. Мы слишком далеки от такого откровения. Пусть это будет «каприз актрисы». Ах, если б это была другая роль, я бы переступила через эти «минуты». А режиссер как будто и не слышит, и не чувствует, и ни с чем не ассоциирует эти «пять минут». Я для него вроде как самый настоящий директор. «Боже ты мой, какая же у вас тяжелая жизнь. Я все смотрю на вас, смотрю. Как же вы нервничаете, как кипите. Ну-у нет, теперь кино буду по-другому смотреть. И что, всегда так?» — «Что? Да нет, всегда по-разному». — "Не переживайте, мы все вас так любим, так любим в «Карнавальной ночи».

Анна Георгиевна Смирнова — ткачиха, мастер цеха, директор. Она могла, даже не один раз, видеть ту же «Карнавальную ночь». И точно так же, как хозяйка этой квартиры сейчас, могла мне актрисе, сказать где-нибудь за круглым столом, после моего выступления на этой же фабрике: "А знаете, сколько раз мы с девчатами бегали на «Карнавальную ночь». Спойте нам, пожалуйста, про «пять минут». Режиссер прав. Но я уже «сижу в бутылке по самое горлышко». Тяжело, очень тяжело играть в таком противном состоянии… А я вот как сделаю. О, прекрасно! Сейчас, назло ему, сыграю изо всех сил. Завтра же официально откажусь играть эту роль. Напишу заявление, мол, извиняюсь, но роль не моя, товарищи из худсовета были правы. И ту-ту домой, к папочке. Уж он-то поймет. Прощай, товарищ директор! Добровольно отдаю все более достойной актрисе. «Усе, шо бог не делаить, усе к лучиму». А то потом позора и насмешек не оберешься. «Актрису в кадр, пожалуйста». Ко мне подошел второй режиссер Аркадий Тигай и очень душевно, с пониманием ситуации, сказал: «Людмила Марковна, пойдемте».

О! Такой тишины не помню ни в одном зрительном зале. Ни в самой глухомани, в самую кромешную темную ночь. Аж в ушах зазвенело, и сразу в обоих. По сто стрекоз в каждом. Только бы не расплакаться! «Мотор!» Дубль я провела с ощущением, что это в последний раз. «Сто-о-о-ап!!! — вскричал Трегубович, подпрыгнул на полметра, сдавил мою руку. — Молодец, снято! Смену закончили». И пошел, напевая очередную свою прибаутку: «Очень соблазнительна Наташенька Левитина». Он в чем-то похож на моего папу. И очень, но просто очень понравился моей маме. Когда, будучи в Москве, звонит нам, он громко и весело с ней разговаривает: «Это Леля? Привет. Как дела?» Мама вся рдеет и, улыбаясь своей довольной улыбкой, раз десять мне говорит: «Звонил Виктор Иванович, и все мне Леля, Леля… Он очень… забавный, очень непростой, правда?» Моя мама его хорошо могла наблюдать на съемках фильма «Обратная связь», куда мы ездили с ней вдвоем. Нет, втроем. Я, мама и мои костыли. В фильме «Мама» я сломала ногу, а в 1977-м, зимой, я начну сниматься у Трегубовича — совсем больной и беспомощной. Но он будет со мной работать, не обращая внимания на мое состояние, как ни в чем не бывало. Он мне даст почувствовать, что жизнь продолжается, что я действую, работаю, живу. Конфликтов у нас больше не будет никогда. Он умный и сильный. Я ему доверяюсь. Он для меня из тех режиссеров, за которым пойду, не читая сценария. Когда зрители спрашивают, какая моя роль самая любимая, перед глазами у меня проходит так много… Я вижу и «пробу», и ленинградский Дом кино, и на мгновение пронизывает

холод того конфликта, и заливает такое тепло к этому человеку, который через много лет оживил во мне то, что уже все похоронили. И еще многое, многое вижу, что случилось в том же 1973 году. Я думаю, что надо быть благодарной тому случаю, той роли — всему, что помогло на экране стать самой собой. Несмотря на то, что эта роль внешне так далека от меня, она — моя. Она моя по человеческим и чисто женским нюансам. Вот что оказалось самым странным и удивительным. Вот какие открытия для меня принесла с собой эта роль. В ней мне жилось тревожно и счастливо. "Думаю, что моя любимая роль в фильме «Старые стены», — и всегда этот ответ зрители тепло приветствовали.

Съемки были в разгаре. Худсовет перестал придирчиво следить за моим исполнением роли директора. Приближался самый ответственный для меня «объект» — кабинет директора. Мы его снимали в настоящем директорском кабинете одной из ткацких фабрик Ногинска. Эта сцена, когда я провожу с начальниками цехов утреннюю пятиминутку. Знаю, что у меня на фабрике будет план. Знаю, что энтузиасты в моем коллективе есть. И они моя опора. За длинным столом моего директорского кабинета, вперемежку с актерами, сидели настоящие начальники цехов. Но мысль о том, чтобы я после смены спела им что-нибудь из «Карнавальной ночи», даже не обозначилась в атмосфере. Мы только сфотографировались на память, но без подчеркивания «ненастоящести» происходящего. Все отнеслись с уважительным вниманием ко мне, как будто я и в самом деле — ну, не директор, конечно, но какой-то все же начальник. Это были самые замечательные съемки. Для души!

17 июня 1973 года. Был жаркий летний день. Июнь — самый любимый волнующий зеленый месяц. В этом месяце идеальное состояние природы для влюбленности. И этого месяца я почему-то ждала уже в тридцать восьмой раз с тайными надеждами. В этом прелестном ногинском июле я только работала и любила свою семью. И больше ничего. Во Дворце культуры снимали свадьбу молодоженов. Снимали ночью, потому что днем во Дворце своя запланированная культурная жизнь. Закончили работу в четыре утра, быстро в машину — ив Москву. Короткий сон, а в девять утра у дома «киносъемочная» со студии «Мосфильм». Еду на съемку к Ташкову, где снимается главная декорация — «квартира Ванюшиных». В 17.30 у студии стоит такси из Ногинска. Снимается режимный кадр: директор Анна Георгиевна Смирнова приходит к работницам в старые казармы-общежитие. Эх, сцена! Снимались сами работницы фабрики и только две актрисы. Все эти женщины годами стоят в очереди на квартиру, кому же, как не им, по-настоящему известно, что это

такое. Они забыли про съемку, они обступили меня со всех сторон, они так пытливо всматривались: обманет или доведет дело до конца… Ах, я бы им все-все отдала, всем-всем квартиры, через все невозможные пути, ходы, просьбы, прошения — так на меня, актрису, играющую их директора, смотрели люди, не актеры, у которых актерская задача была их насущнейшей жизненной потребностью. Это одна из самых сильных и достоверных сцен в фильме Виктора Трегубовича. Режим кончился. И опять ногинское такси повезло меня в Москву. Мертвая, прямо в гриме и одежде, повалилась на кровать. Было начало девятого. Звонок. Ах, надо выдернуть штепсель.

— Дочурка, ето папусик! Як ты? Вже пять дней тибя не видев, моя ластушка, мой труженичек. Ты ж не забывай себя так, а то ты… Ты як я. Не могу сидеть без дела. Мы ж з тобою не што и она. Ей усе спать и есть, во порода, ты скажи на милысть.

— Папочка, как ты, как чувствуешь себя?

— Наверна, скоро помру, а она все не верить. З утра, знаешь, дочурка, так серце прихватило, ну, думаю, все, девки, война и смерть моя. Потом понапивсь разных лекарств, вроде полегчало. Пошли з Машую и з Лелюю на выборы. Ну, честь по чести исполнили священный долг. Пообедали. Знаешь, дочурка, она як захочить, усе зможеить — такой справила укусный борщ — я сам змолов полных две тарелки. А каклеты полинилася. Каклеты есть отказавсь наотрез — хай ценить мужа. Дочурка, я тибя як отец прошу, ат чистага серца, поговори з Эдикум! Тут кала меня усе мои друзья — и Чугун, и Партизан, ты их знаешь, я тибе за их гаварив, дочурка, будь ласка, поговори з Эдикум!

«Поговорить с Эдиком». Что это значит? Собака — карликовый пинчер, черный, с рыжими подпалинами. Для нас с мамой — Федя, для папы — Эдик. Этот пинчер — профессор, соображающий феномен — был приучен папой разговаривать по телефону. Мама, Маша или я на одном конце провода кричим: Фэ-э-дю-у-у-у-у-шшш! — на другом конце провода, где бы этот второй конец ни находился, наш умный «мальчик» отвечал песенными руладами, перемежающимися с коротким отрывистым лаем: понял, эту интонацию исчерпал, жду следующего вопроса. Трюк? Безусловно. Вы идете по улице и натыкаетесь на толпу заинтригованных людей. Протискиваетесь ближе к будке и видите, как человек со счастливым лицом держит голенькую черненькую собачку, просит ее поговорить с какой-то «Люсюю», и собачка, припав ухом к черной телефонной трубке, вылезая из кожи поет, кричит, говорит: «Бов, бов, бо-о-оррр, вав!» Кто же там его слушает? Кто объект? Собака, человек? «Ну форменный идиотизм, Марк, котик», — возмущалась довольная мама. Да,

папочка уже не мог, как раньше, крутиться, вертеться, развлекать, «быянчик — чечеточка». Ему было уже 75 лет и два инфаркта. Но он был не тот человек, чтобы притихнуть, заскучать, опустить руки, поддаться унынию. Это было одно из его новых московских развлечений, и многие его на улице знали: «Это тот добрый человек, у которого собачка разговаривает по телефону? У него еще дочь вроде актриса…» Обо мне он давал всем — хотели того люди или не хотели — самую подробную информацию с демонстрацией моих фотографий. Про свою дочурку «З усем серцем у самую первую очередь». Редко за последние месяцы нам приходилось быть вдвоем. И у меня болела душа. Но зато, когда выдавался день, мама говорила: «Пусть папа приедет к тебе, мы вам мешать не будем».

— Поговори с Эдикум, дочурка, милостью прошу, я вже тут людей пособрав.

— Папочка, милый, не могу. Я еле живая. Я же ночь работала, спала три часа, сейчас ничего не соображаю. За день сжевала три пирожка — поесть некогда, а ты со своим Эдиком. Ну нельзя же так, пап, зачем тебе людей собирать, скажут, что мы ненормальные какие-то…

— Да нет, они хлопцы хорошие, Эдика усе любять. Хотев людей уважить… Ну, усе, ладно, прости, прости меня, дочурка…

Это было в начале девятого, а в десять вечера я стояла в маленькой комнате, которую родители выменяли на нашу харьковскую квартиру. На тахте лежал мой папа и чему-то счастливо улыбался. На груди у него стоял ощетинившийся, ощеренный Эдик и никого не подпускал к папе и близко. Так мы и стояли: мама, я и Эдик. А папа лежал и улыбался. Умер наш папа. А подойти к нему мы не можем. Эдик был такой воин, такой защитник, такой друг. В людях, которые не чтут собак, есть незнание ощущения, что тебя не предадут никогда. Эдик чувствовал, что случилось непоправимое. Когда же мама исхитрилась и кое-как ухватила его, Федечка вдруг на наших глазах обмяк, сник, стал тяжелым-тяжелым и покорно лег на свое место, глядя на нас пустыми, равнодушными глазами. Да и вообще, он больше никого не любил. Исполнял свои сторожевые обязанности исправно, иногда «говорил по телефону», но недолго и безо всякого удовольствия. Зарабатывал себе на жизнь и все. А потом и он ушел вслед за своим любимым хозяином.

Безусловно, требуется время, чтобы разобраться в происшедшем, в своих эмоциях, в себе. Просто удивительно, какое же количество второстепенных, ненужных мыслей проскальзывает в час трагедии. Именно в тот момент, когда весь организм сотрясается горем. Ведь потрясение, казалось бы,

должно придавить все мелкое и постороннее. Ничего подобного… Почему они закрыли крышку гроба? Подумаешь, законы: стоит автобус — открываем, поехали — закрываем. Скорее бы расстаться с этим автобусом. Зря эта тетка надела голубое платье — все в темном, какая бестактная, неужели она нравилась папе? А я сама, тоже вырядилась — во все черное, и все со штучками, оборочками, все непросто, как будто на чужих похоронах замуж собралась милая вдовушка. Правильно папочка говорил: «Поший себе хоть одну солидную вещь…» Пошью, теперь пошью, даю тебе слово, папочка, теперь у меня все будет солидное… Не забыть бы тропинку, что ведет к могиле. Завтра одна приду сюда, поплачу, поговорю… Какая погода, как назло. Что? Троица? Да, да, папа говорил, что бог на Троицу призывает к себе всех лучших людей. Но мне от этого не легче. Почему я не плачу? Ведь надо плакать… Да, надо вот с этими молодыми могильщиками расплатиться пощедрее, а то скажут, работали у артистки, что снималась в «Карнавальной ночи», а она пожмотничала. А-а! Бросать землю. Так положено? Да-да, помню. Значит, фотографию, где мы все на коленях у папы, я положила, крестик положила, платок моей школьной подруги «Милашки» с ее инициалами положила… Вот папин сын, мой родной брат Володя произнес нужные по такому случаю слова. Папа столько раз их говорил: «Хай земля ему будить пухум…» Ну, все идет пока как у людей. А завтра я все, что у меня есть, — раздарю. Деньги раздам друзьям на угощение, этим старичкам, что стоят у церкви, — пусть помолятся за усопшего раба Марка. Папа будет доволен. А послезавтра он воскреснет и снова будет с нами. И в это я верила абсолютно. Да кто же тогда на этом свете должен жить, если такого чистого, моего доброго папы не будет! Нет, в тот момент у меня даже мысли не было, что это навсегда.

А назавтра я блуждала-блуждала по кладбищу, искала-искала дорожки и, казалось бы, неизвилистые тропинки… Не помню. Ничего не помню. Стемнело. Кладбище вечером пугает. В голову лезут страшные детские сказки. Ухожу по главной аллее кладбищенского парка, все оглядываясь и проверяя, где же я сбилась… Навстречу идут подхмелевшие вчерашние могильщики — спросить бы, но по их настроению чувствую неуместность своего вопроса. У них похоронный рабочий день кончился, началась светлая земная жизнь. Сама, сама отыщу своего папу! Накануне всю ночь шел дождь. Свежая могилка была размыта дождем. Цветы завяли. Тихо. Холодно. Мертво. Да нет его здесь, нет! Моего папы здесь никогда не будет! Здесь пусто, а он — жизнь! Он свет! Он оптимизм! Нечего мне здесь искать. Папа во мне. Папа в нас! Он хотел, чтобы я работала, чтобы я несла

людям радость. Он хотел гордиться мною. Он хотел, чтобы я была счастлива! Я буду работать, ты будешь мною гордиться, я буду счастлива!

…А на следующий день я стояла перед камерой. Три дня отпуска в связи с «непредвиденными обстоятельствами» кончились. И хорошо. Какое коварное изобретение — кинокамера. Она способна куда с большей пронзительностью, безжалостной точностью, чем литература и самое прекрасное фото, зафиксировать переливы и вибрацию души! Когда я смотрю те кадры, после свежей раны… Не-ет, не сыграешь, не загримируешь, не срежиссируешь. Сокровенное идет из глубины — оно и есть подлинное.

Больше всего в то время я боялась оставаться одна, наедине со своими мыслями.

В «Старых стенах» предстояло озвучание. «Дети Ванюшина» были уже позади. Кончится озвучание «Стен», а что дальше? Ну хоть бы не было свободного времени. Я же не выдержу. Ну подвернись какая-нибудь работенка! Несколько раз на встречах со зрителями я робко говорила про роль директора. Мой рассказ так и повисал в воздухе, все кончалось «Хорошим настроением». Со стороны мои метания, мое наэлектризованное состояние на двести вольт — лишь бы не грусть, и не дай бог тишина — мало были похожи на страдания преданной дочери. Ну, да ладно — люди есть люди; как говорит моя любимая героиня Анна Георгиевна Смирнова. Мне бы дышать без остановок. Ну когда же я перестану дергаться? Когда же у меня появится хоть какой-нибудь островок покоя? Есть же у других актрис семья, заботы. Их встречают, провожают, в кассах берут билет на «Стрелу». Кто-то им открывает двери, спрашивает, что нужно купить, а может, подарить… А мне не надо ничего покупать и дарить, ничего не надо. Я сама себе подарю. Мне бы только на кого-то положиться, в конце концов. Только и всего. Наверное, что-то не так во мне самой. Скорее всего…

Этот молодой человек — музыкант. Я его не замечала, хотя в концертах он играл в оркестре на сцене, рядом со мной. Но тогда, в те дни, ничего не видела. Я неслась. У меня умер папа, кончилась прошлая жизнь. И уже не для кого было расшибаться в лепешку и лезть из кожи вон.

Для человека, а для женщины особенно, пусть она и актриса, безусловно, главное в жизни — найти свою половину. У одних эта половина появляется в юности, у других — в зрелости. Счастье? Да, если ты искренен, расслаблен, понимаешь, что «половина» примет тебя и поймет в любом «неконцертном» и непраздничном состоянии. С того времени, как не стало папы, потребность в

такой понимающей и преданной «половине» выросла до невероятных размеров. И я абсолютно верю, что этого скромного и доброго человека — моего мужа — послал папа. Ведь папа знал, что для меня главное — верность. Случайно мы очутились за одним многолюдным столом, но ровно через «пять минут» я подумала: неужели — тот самый? Если он исчезнет из моей жизни… А это главное, чтобы человек постоянно был рядом. Это самое главное. Главнее, чем страсть, вздохи и восторги любви.

Так кончился этот особый в моей жизни год. Отныне я буду не одна. Рядом со мной моя любимая семья, которая будет помогать мне жить и работать. И работа впереди будет — за все незабываемые годы терпения и ожидания. Именно с 1973 года начнется моя вторая жизнь. И будет казаться, что все улеглось, утихло и уравновесилось. А на самом деле ничто не уравновесилось и не утихло. Оно кричит, мучается, сомневается, болеет.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ХАРАКТЕР ПОРТИТСЯ

ГЛАВНАЯ ПРОФЕССИЯ

Литературный сценарий — это, как правило, история, событие, которое читаешь как повесть, как рассказ. В режиссерском сценарии явно проступает личность режиссера, который увидел это событие, эту историю по-своему. Для меня главное в режиссерском сценарии — проследить основную мысль режиссера и максимально приспособить его видение к своему.

В режиссерском сценарии можно прочесть очень многое. От того, что режиссер акцентирует, как поворачивает мысль, быстро ли обнаруживает идею или подводит к ней исподволь, что предпочитает: эффектные «штучки» или без внешнего лоска ближе к главному, — можно понять порой, даже какой он человек. С того самого времени, когда я стала досконально изучать режиссерский сценарий, я почти ни разу не ошиблась в том, что меня ждет впереди. Почти. Но иногда тревожило ощущение будущей несовместимости с режиссером, с его видением, вкусами. И если я самонадеянно заглушала в себе эти тревожные предзнаменования, то потом получала по заслугам. Подчиняться и соглашаться вопреки своему разуму — это нестерпимая мука.

Изучение режиссерского сценария стало моим правилом. Уже знаю все наизусть. И все равно читаю. Читаю со всеми ремарками режиссера слева: «она села на диван, широко раскинув платье, и оценивала произведенный эффект» — до технических примечаний режиссера справа: «наплыв длительностью полтора метра; черно-белая соляризация (контур); мультипликация (впечатка)». И пусть в конечном результате не все так получится, как записано у режиссера слева. Пусть я сяду не на диван и не на стул и не раскину широко платье — с костюмом и гримом все впереди — костюм может продиктовать другую мизансцену. А вот то, что «она оценивала произведенный эффект» — это уже от характера, это — в дело.

Кинорежиссер, на мой взгляд, самая трудная, самая интересная, самая главная профессия в кино. Можно быть эмоциональным или рациональным актером — режиссеру просто рациональным или эмоциональным быть нельзя. Режиссер должен быть и умным, и эмоциональным, и рациональным, и эрудированным, и терпеливым, и музыкальным, и дипломатичным, и чувственным, влюбляющимся в людей, и сдерживающимся от гнева и грубости; он должен быть и директором, и администратором и экономистом; он должен понимать и операторские тонкости и знать законы монтажа и

работу художника; режиссер должен быть и «авантюристом» (А как же? Вести корабль неизведанным курсом, столько раз идти напролом — и чтобы ни один мускул не дрогнул, ведь в тебя верят), и продюсером; режиссер обязан быть широко образованным человеком. Наверняка я пропустила еще многие качества, которые должны быть свойственны этой «штучной» профессии.

Режиссер и актер. О, это связь самая тонкая и деликатная, похожая на сложные, странные семейные отношения. В картине режиссеру с актером приходится разрешать и распутывать такие тонкие и грубые, открытые и тайные человеческие проявления, что подслушай человек со стороны такой разговор — полный подтекстов, намеков, откровений, слезных признаний и сокровенных тайн — у-у-у. скажет, да ведь это не совсем нормальные люди.

А как же люди снимают кино? Начищенные и напомаженные, налакированные и набриолиненные? Как в гости приходят? Так ведь это и самим зрителям неинтересно. Интересно все то, что предшествует празднику. Один режиссер признался, что не любит съемочного процесса, поскольку артисты на съемке разбивают то, что было в его воображении. Такой режиссер в работе необаятелен, а порой просто неприятен. Он в кадре не расцветает. Я боюсь режиссеров, не любящих актера, считающих его рабочим материалом, который надо подмять и подчинить. Это ясно с первой репетиции. Не ухватил актер чего-то с ходу, тут же — неудовольствие на лице. Возможны и комплименты, типа «колода, сапог». А что актер, собственно, должен ухватить, если режиссер: "…Показать не могу, рассказать не умею, но тут мне сделайте как написано в сценарии: «подобие улыбки раздвинуло ее губы». И начинаются съемки под лозунгом: «Вам рэпэпыцыя нужна? Мэни не-э… Мото-ор!» Вот что у всех здорово выходит, так это команда «Мотор!»

Если с режиссером не налаживается особого человеческого контакта, это вовсе не означает, что в картине нельзя работать нормально. Очень часто работаешь без привязанности. И многим актерам так даже привычнее и удобнее. Мне же почему-то так важен этот момент, так важен, прямо до болезненности. Мне необходимо, чтобы перед началом съемочного периода режиссер дал возможность полностью раскрепоститься, поднаиграть, даже покривляться. Это мои «пристройки», они помогают подойти к главному и тем самым дать возможность режиссеру заглянуть вглубь, туда, где я прячу свои тайны, фонды. Фонд — это живо реагирующий и трепетный, пульсирующий и взрывающийся материал наблюдений и прожитого, который невозможно взять в

руки, вычислить или взвесить. Это аппарат из области духовных сил, которые подвержены изменению, отставанию от жизни, от событий. Это «трагичный» аппарат. Он всю жизнь мучает! Ну присмотритесь, режиссеры, попристальнее, почеловечнее! — А!!! Поздно. Уже не справляешься. Отстаешь. Уже не чувствуешь интонации времени… неужели подползает творческая старость? Остановись, время! Вспомни: в пятидесятые годы, да и в шестидесятые, даже в семидесятые тебя еще хвалили… Было ведь! Ушло время, ушло. Эта так называемая творческая «старость», конечно же, не старость в буквальном смысле. Ведь старым бывает порой и сорокалетний и даже тридцатипятилетний, в то время как восьмидесятилетний может быть самым интересным, самым увлекающим, самым современным. Ножницы, ножницы времени. Приходит опыт, мастерство, но уходит внешность, здоровье, понимание «сегодня»… И многие роли уходят навсегда. Ах, ах… Такие недуги подбираются не только к актерам. Они знакомы всем, кто занимается искусством. Но самое опасное и обидное, когда творческое «отставание» подкрадывается к лидеру, главному человеку в кино — режиссеру. Ну что он тогда может сказать актерам, группе? Ведь их надо вести за собой, но куда, как? Снималась я и в таких условиях, когда во мне видели только безотказного донора. В конце такой картины выползешь, пощупаешь себя — вроде жив, ну и слава богу! Милый, дорогой актер — зависимая профессия, а ведь именно режиссер может подарить тебе импульс сегодняшней жизни, вытащить тебя из когорты забытых артистов вчерашнего дня.

Как важно, чтобы режиссер мог создать такую обстановку в работе, где бы актер, не сжимаясь в комок, свободно паря, мог целиком отдать себя делу. Когда режиссер ни на йоту не отступает от того, что задумал (а сценарий создавался год назад, а то и больше), работать очень не просто. Что такое сегодня год? Да за этот год произошло столько видимых и невидимых изменений, что господи ты боже мой! За этот год актер, режиссер, да и все вокруг претерпело изменения… Но нет: «Я так задумал, так и будет». Самый большой враг делу — это претенциозная ограниченность, которая обязательно снижает уровень картин даже талантливых людей.

Я убедилась, что мощной личности не страшны отходы от «моего». Ну что такое гибкая, творческая режиссура? «Пять вечеров». Это единственная в моей жизни картина, полностью срепетированная до начала съемочного процесса. Когда вместе с режиссером выстроена точная схема роли. И температура всех сцен известна заранее. И, казалось, не могло и не может быть

никаких новшеств, изменений, и все же…

В съемочное время я уже полностью существовала в микроклимате героини, входила в мельчайшие подробности обстоятельств той незавидной жизни, когда уже не видишь, не чувствуешь, что и лицо подвяло и деформировалось, и глазки уже несмышленые, и голос потускнел. А как же «ей» было не подзачахнуть, когда целых семнадцать лет от того сорок первого года только госпиталь — фабрика — дом — племянник — книги. И все. Ни о каких женских качествах — кокетство, улыбки, хи-хи-хи, ха-ха-ха — нет, об этом речи быть не "может! Как женщина она… ну как бы это… давно уже потеряла «квалификацию».

…На съемку приходишь с «перевернутым» лицом:

— Простите, я вам хочу сказать одно, очень важное…

— Что случилось?

— Вы понимаете… Она не будет в «Третьем вечере» с ним целоваться. Не будет. Она просто… ну, не может она, и все. Она… ну, она уже…

Режиссер пронизывающе смотрел в мой лоб и угадывал, что там в голове ворочается… Женская природа… Капризная и загадочная вещь. В женских ролях порой существуют такие ювелирные микрофлюиды, что ни один самый тонкий режиссер-психолог не докопается. Ведь он мужчина. Тут надо только доверять женщине-актрисе. Тогда я в воздухе уловила, что он почуял: туда, туда!

— Что, она этого не хочет?

— Хочет, хочет, очень хочет, но… она не знает… не понимает, нет, не помнит — вот! Ну, в ней все это умерло… не знаю. Она не может… еще…

Опять напряженное молчание… А рядом люди из группы, у режиссера важные дела. Я его отвлекла. Ну просто я не могла не высказаться!"

— Ну так и скажи в кадре: «Не могу…»

— Ой, ой, спасибо вам, Никитушка Сергеевич, родненький! Она его поцелует обязательно! Года через полтора после конца фильма!

А вот как записана в режиссерском сценарии эта сцена: «И еще раз он ее поцеловал. И тогда — раз ему так уж нужно — она решилась. Сделала стыдное — раскрыла губы, и вдруг выражение страдания и счастья появилось на ее лице. И было то, что прежде, бесстыднее, чем прежде…» Так мы и репетировали «Третий вечер». Такие искренние, подлинно человечески чувственные сцены встречаются не в каждой картине. Вот, думала, рвану! А как начала идти по скупому, однообразному жизненному пути героини фильма да пропускать через себя все ее семнадцать лет

вплоть до «Третьего вечера», — концы с концами не сошлись.

А ведь снимаешься, как правило, «с кондачка». Перед съемкой репетиция. Это в самом лучшем случае. А так, если как часто бывает… Ну, вот не так давно… Конец картины. Усталость на усталость, бессонница на бессонницу… Но рабочий день есть рабочий день. У меня правило: не работаю, только если — «скорая помощь», только. Встаю утром с невыносимой головной болью, никакие таблетки не помогают… В тумане проходят грим, костюм. Бреду в павильон, как во сне, улыбаюсь: «Привет, доброе утро…» Жду, может, пройдет. А сцене нужна совсем другая голова, лицо, состояние, то есть, все наоборот. А чем? Откуда? Но верю в чудо, и никакого чуда не происходит. Вот я уже в кадре, а в голове — тук-тук-тук, а в глазах все прыгает в такт этому жуткому стуку. И я прибегаю к своей уловке, вернее, способу выйти из безвыходного положения, когда нет помощи со стороны, когда нельзя рассказать, что с тобой происходит, режиссеру это просто не интересно, не до тебя, и т.д… Ты одна! Я научилась использовать свое состояние «не в форме», мои неприятности извне, настроение партнера, раздражение режиссера — все негативное переваривать в нужное новое ощущение. Одиночество и непонимание в работе, как это ни парадоксально, научили меня не рыдать, не жаловаться, не паниковать, а тихо, молча все пропустить через себя и выдать «на-гора» новое качество. Способ верный. На экране это почти всегда самые точные кадры, потому что так смотрела внутрь, что не помнила, что было с лицом, почему «пошла» или «не пошла» рука и зачем я это сказала так. Знаю, что на озвучании этого «так» повторить не смогу, потому что «это» рождалось в кадре. Точно так и поступила, когда была головная боль, взяла ее на вооружение, расслабилась, растворилась в ней, не взбадривала «вздор». И на экране не стыдно. И режиссер сказал — «снято». И все. Он не знал, как пойдет сцена. Работали «с ходу». Интересно. Все очень интересно.

К счастью, с лучшими из режиссеров всегда находила общий язык. Что для меня такое «лучший из них»? Это тот, который без всякого болезненного самолюбия готов выслушать мнение актера, редактора, художника, а порой и просто наблюдательного человека из группы, далекого от непосредственного участия в кадре, — рабочего сцены, костюмера и т. д. Такому «лучшему» режиссеру интересно всё и все. Хоть больше всего люблю сниматься у режиссера-диктатора — умного, талантливого, сильного, — который точно приведет меня к тому, чего хочет сам. А мое — всегда при мне…

В последние годы мне везло. С некоторыми режиссерами сложились добрые отношения. У многих других снималась

вполне нормально. Но когда отношения добрые или нормальные, то и работается прекрасно и хорошо. А вот тяжело пришлось трижды. У талантливых, очень разных режиссеров. Это три фильма разных периодов жизни. Здесь разные уровни моего актерского соображения и опыта. Три хороших урока профессии. Между тремя фильмами — десять лет — две пятилетки. Можно сделать самоанализ: «К чему актриса пришла за десять лет? Как выполнила план? Как менялся ее характер и уровень профессионализма?»

1970 год. Картина «Белый взрыв». Значит, до этого фильма я не была на съемочной площадке лет пять, не считая одного-двух дней 1968 года в фильме «Взорванный ад». Это было время, когда решила начать с нуля и готова была мыть горшки и играть безмолвные роли (и буду их потом играть в огромном количестве и с удовольствием), а тут откуда ни возьмись — приглашение на «пробы» в Одессу на большую роль. В фильме «Белый взрыв» шесть героев — пять мужчин и одна женщина. Суть истории в том, что во время войны шести альпинистам предстояло взорвать снежную лавину, тем самым преградив путь фашистам. И вот, через смерти, срывы в пропасть и перестрелки, до высоты добираются двое — молоденький солдат и медсестра Вера. Они-то и выполняют боевой приказ, совершают подвиг! Когда я прочла сценарий, безумно захотелось «снежного подвига, белого взрыва», а какая она, эта медсестра, — это потом. Вот это «безумно» меня и погубило. Бездумная поспешность обязательно приводит в результате к ошибке. Переполненная нетерпением играть, я отважно двинулась в Терскол, готовая по первому зову режиссера лезть в гору. В группе был полный штиль. Шла акклиматизация. Никто никуда не торопился. Группа тихо обживалась на новых местах. Иногда кто-то невысоко поднимался, «пробовал высоту». А один актер пожил с недельку, пожил и сказал: «Нет, ребята, у меня здоровье уже не то, вы тут сами по горам давайте, без меня». О, как я его про себя отчихвостила. Ну уж я-то не сдамся вам, милые горы, «… на которых еще не была». Ну, так побываю! И тут же надписала фотографию режиссеру с призывами «Вперед! Никаких отступлений!» Что-то в этом духе. Режиссер — красивый спортивный человек, замечательный рассказчик, с отличным чувством юмора. В номере у него играла прекрасная музыка. Он поставил мою фотографию с призывами у себя на столике — и я еще больше расправила свои неспортивные плечи. Сегодня пасмурно, не снимаем. Вчера не было актера. Назавтра — еще чего-то нет. Но вот опять сегодня — солнце светит и актеры на месте. Но опять не снимаем. Вдруг решили снимать завтра. Ура! Будем снимать финал — самые драматические и сильные сцены

картины — тот самый белый взрыв! А до этого взрыва произошло столько трагических событий. И чтобы сыграть в начале съемок такой финал, нужно прожить весь путь, все отношения, все потери и драмы. Нужно было так чувствовать градус каждой сцены, что ночью проснись — и будь готов сыграть любую из любого места сценария. Но умение выстроить температурный график роли пришло ко мне много позже. Ах, если бы в те годы я хоть изредка могла заметить свои ошибки на экране. А тогда… Распирающие силы сослужили дурную услугу. Темперамент, фантазии — и вновь красивый очередной «плевок в вечность». Но намекни мне тогда, перед съемкой, что эта роль будет опять «плевок»… Вскочив до восхода солнца, счастливая, что наконец-то в бой, подрумянилась, забыв, что это финал картины, что моя героиня вконец измученный человек. Не преминула подкрутить «завлекалочки» около ушей — крик моды начала семидесятых — и скорей на вершину! «Привет васюкинцам!» Я на горе! Ровно через пятнадцать минут, в шерстяном спортивном костюме военного образца, околела и превратилась в немую сосульку. Но господи ты боже мой, чего же мне стоило выдержать это испытание и не подать виду целых полчаса. Что играть? Какой я должна быть на этом последнем этапе роли, картины? Мои завлекалочки и румянец, мои глупо обтянутые, как в балете, ноги на снегу! Внутри такой ледяной раздрызг, такой позор, ах-ах — ужас! Бежать, бежать! Куда? Вниз? Под нами четыре тысячи метров! Такси не возьмешь, только головой в пропасть. Но жаль себя… а вдруг? Но никаких «вдруг» в таких случаях не бывает. Первый дубль: тык-мык, тык-мык — мимо. А ведь в меня режиссер верил, говорил, что помнит «Рабочий поселок». Ай-ай-ай! Сейчас режиссер на меня смотрит холодно, равнодушно, отстранение, сложив узкий рот в презрительной гримасе:

— Ну еще раз попробуйте…

— Ну а как?

— Ну как-нибудь по-другому.

Сняли восемь дублей, но ни одного просвета внутри — ни единого. Спустились вниз. Я влетела в свой номер в отчаянии от стыда и беспомощности. Я ничего сделать не могла. Ничего. Когда проявили материал, режиссер сказал мне, что уже поздно менять актрису, но он постарается меня аккуратно вырезать из картины, в крайнем случае оставит на экране мою спину. Жестоко по форме, но справедливо по содержанию. Когда я просеиваю в памяти самые тяжелые минуты жизни в профессии, эта роль перекрывает все глубины моих актерских падений и выбирается на одно из первых мест.

В 1980 году режиссер «Белого взрыва» предложил мне роль. Я

растерялась, и стало стыдно-стыдно — ведь я его тогда так подвела… А он верил в меня… Как только раздался стук в мой номер в одесской гостинице и я спросила «кто там?», мне отозвался человек, от голоса которого у меня в душе скользнуло неспокойное, вызвавшее полузабытое, но болезненное: где, где это было? Почему так щемит душа? От его голоса всплыло мое горе — то, ничем не восполнимое горе беспомощности в профессии, которое я оплакивала среди снежных гор, в комнате на третьем этаже.

Может быть, я сыграла бы предложенную роль, и, может быть, режиссер остался даже мною доволен… Но в то время было много работы…

…1975 года. «Двадцать дней без войны». За пять лет — около десяти второплановых ролей, пять эпизодов, несколько вполне крупных ролей и директор в «Старых стенах». Можно считать, что в этой моей пятилетке разрушенное хозяйство восстановилось, и даже с избытком, с наградой в виде «Старых стен». Итак, 1975 год. Мне предложили прочесть сценарий по повести Константина Симонова «Записки Лопатина». Сценарий под названием «Двадцать дней без войны». Режиссер Алексей Герман. Полный молодой человек за тридцать, с детским лицом и еще более детской улыбкой, с ямочками на щеках. Суровость и жестокий реализм событий сценария никак не вязался с внешностью режиссера: вот уж к кому подходит поговорка «внешность обманчива». Моя проба в его картине на роль Нины Николаевны была последней. В это время уже полным ходом снаряжалась экспедиция в снежный Джамбул. До меня претенденток на роль было три. И все три — первоклассные актрисы. Но актриса "А" по каким-то соображениям не устраивала автора сценария. А актриса "Б" недостаточно фотогенична. А актриса "С" предпочла сниматься в другой картине, в новом для нее жанре. И выбор пал на меня, не оттого что я желанна, а просто по суровой необходимости. Когда прибыли в далекий Джамбул, в первый же съемочный день режиссер мне искренне об этом и сказал: "Ну, вы нормальная драматическая актриса, тут никаких открытий не будет. Жаль, мне видится только актриса "А". Но автору она не по душе… Ну ничего, все будем строить вокруг Ю. В. (Ю. В. — Юрий Владимирович Никулин). С тобой будет работать наш второй режиссер, он отлично это умеет. Проба у тебя так себе. Я там подрезал, кое-что подсобрал". А после этих слов надо идти в кадр. В первый кадр моей роли. Исчезнуть, раствориться захотелось сразу же.

— Вы смотрели английский фильм «Работник по найму»? — спросил меня второй режиссер. Именно этот фильм я смотрела

накануне вылета сюда, в Казахстан, на неделе английских фильмов.

— Вы помните, как прекрасно, замечательно уродливо рыдает Сара Майлз?

— Ну.

— Хорошо бы вот так и вам зарыдать в этой сцене.

Это самое начало роли. А как и чем потом оправдать такое рыдание? Если она рыдает от того, что ее отец в госпитале для безнадежных, то, наверное, это другое качество рыданий. Во всяком случае, не первичное. Она уже это пережила… Если же это рыдание от одиночества, то как-то неудобно рыдать в коридоре вагона. В тамбур мог выйти мужчина, как это и происходит в фильме, и тогда эмоции и рыдания приобретают совсем иной оттенок… Но никому мои рассуждения в то время не были интересны. Будьте любезны — рыдайте! Да и не смогла бы я тогда доказать свою точку зрения. Кстати, это рыдание — единственное, что выбивается из моей роли. Просто эпизод идет в начале фильма, и другие, более важные события поглощают его. Итак, первая съемка. Про себя, то есть про отношение к себе, я уже все знаю. В узком коридоре вагона минимум света, камера, оператор, режиссер-постановщик, второй режиссер, ассистент режисера и ассистент оператора. Остальные давятся в купе и тамбуре. Обстановка напряженнейшая. Замечательная обстановка! Только я здесь никому не родная и еще не вижу фантастической документальной точности, — все так, как и было в войну. А уж сколько мы с мамой поездили по таким вот холоднющим вагонам! Ведь это мое детство — стартовая площадка моей жизни. Нет, не могу, никак не могу «уродливо» зарыдать, черт побери, все внутри сопротивляется.

— Вот видите, не можете простого… Давайте в кадр Ю. В., а с вами завтра попробуем еще раз.

Я заперлась в купе и смотрела-смотрела, как мелькают однообразные столбы на бескрайней снежной степи. Столбы разные, то высокие, то вместе с проводами резко уходят к земле, то опять устремляются ввысь. Это белое поле — моя жизнь. А эти неровные разновысокие столбы — мои годы, роли. Если сейчас будет три одинаковых столба, я эту роль сделаю вопреки всему. Нет столбов одинаковых. Но есть дух и что-то в запасниках, до которых пока не добирались обстоятельства. А поезд ползет тридцать километров туда — остановка, открыли шлагбаум, — и тридцать километров обратно. И так всю ночь и весь день. Ну, что будем делать? Да и что, в конце концов за драма? Разве для меня новость, что меня не принимают? Почему я должна быть всем мила и симпатична? Я же не серебряный полтинник, чтобы

просто так всем нравиться? А! Вы так любите? Так заработайте. Да и не самое тяжкое это из всего, что было в жизни. Ну вспомните то, что, может быть, мало кто в группе пережил… Ну, ну, поднапрягитесь… Война, голод, немцы, трупы, виселицы, расстрелы, моя молодая мама и оптимизм в ее глазах в самые, казалось бы, гибельные минуты. Ну?.. Наконец-то вытащим на свет божий этот ценный груз, и сколько ролей — женщин войны — оживут на экране… А сейчас надо говорить так: «Милый Алеша! Спасибо, что меня вспомнил и пригласил на пробу. И пусть она не из удачных, пусть я тебе не желанна. Но я здесь, на съемочной площадке, — это главное. Ну, не могу, ей богу не могу зарыдать так прекрасно-уродливо, как это делает Сара Майлз. Ну что тут поделаешь, ее бы в мои условия, она тоже бы подсуетилась… Но я понимаю, что в том английском фильме так потрясло — неординарность актрисы, ее экстремизм, ну что-то из этого ряда. Не могу точнее. Но знаю, в искусстве меня всегда притягивало нечто такое взрывчатое, такое, ну, „не як у людей“, а где было это пробовать, где выражать? Ты же сам знаешь, Алеша, какими были мои дела…»

Наутро следующего дня, кроме лаконично-вежливого «доброе утро», «спасибо», «пожалуйста» — никому ни слова не сказала. Но та ночь решила все. Я не сомкнула глаз и огромным усилием воли перекроила себя навыворот. Обидные мучения в душе загасила холодной водой, и если бы надо было пройти по горячим углям босиком — прошла бы и ничего не почувствовала. Вечером того же дня я опять стояла на том же месте, прикуривала от керосиновой лампочки, для чего приподнималась на носки так, чтобы видна была штопка на чулке, ну, а потом… рыдала.

Алексей Герман. Но сначала вопрос: страдала, что больше не снималась у него? Нет. Уж очень мы разные. Интересен этот художник? Это совершенно особый режиссер. Он не подходит ни под одну мерку. И, как каждый особенно одаренный человек, он особенный. Как он сумел досконально, художественно-документально возродить атмосферу прошлого! Равных ему в этом, пожалуй, нет. Во всяком случае, в тот, 1975 год в нашем кино это отметили все. Всю массовку он готовил и просматривал непременно сам, всех знал в лицо, каждому подбирал индивидуальный костюм. Иногда от лица, которое его чем-то поражало, мог перестроить эпизод или придумать новый. Когда он искал костюм особенно полюбившемуся человеку из массовки, его детское лицо с ямочками на щеках становилось счастливо-суровым. Я тайком любовалась его внутренним свечением. Я его уже нежно любила, хотя ни в откровения, ни в дружбу не бросалась никогда. Я постоянно помнила: никаких расслаблении.

Никаких распростертых объятий. Сыграть роль вопреки всем ожиданиям. Не ждут — сыграть. Но если в роли что-то удалось, то прежде всего оттого, что в той «германовской» атмосфере нельзя было не заиграть.

Оригинально проходили съемки. Тоже не как у всех. Они тянулись долго, бесконечно, и непонятно было, сколько же вот так «это» протянется. А режиссер как будто чего-то ждал, прислушивался к себе, к чему-то там своему внутри. Вроде у него там что-то никак не вскипит. Порой он говорил вслух монотонно и неразборчиво, просто сам с собой… Голова Ю. В. под тяжестью век клонилась на мое плечо, я уже забывала текст сцены… А режиссер ничего этого не видел — он как будто наливался, созревал. Как беременная женщина — вон какой живот, вроде давно пора родить, а она, простите, говорит, еще срок не вышел. А потом, но опять же не вдруг, а через уточнения, дополнения — бац — начиналась съемка. Теперь не хватало машины, которая бы проехала рядом с героями. Но вот она уже в кадре и мчится как бешеная, обрызгивая их грязью, — война, не до «этикета». И в этом особенная, щемящая краска короткой, несвоевременной военной любви героев фильма. Уж если режиссер созревал к съемке, то актеры, уж точно, находились в такой обжитой атмосфере, что не «зажить» в этом «празднике» мог только… ну… наверное, для этого надо быть особенно одаренной бездарностью.

…Выходят из кинотеатра счастливые люди, щелкают семечки, которые здесь же продает безногий Миша (один из любимых персонажей Германа) — точно, как в войну у нас в Харькове на Благовещенском базаре. У кинотеатра, в темном закоулке, голодные, счастливые девочки в довоенном тряпье с упоением танцуют под шипящую пластинку. Наверняка там была бы и я. Ведь я так и росла. Именно в те сороковые. Ах, Алеша, ну откуда ты знаешь, что мы росли так? Ведь ты тогда еще только-только родился. Талант? Талант! Разве можно дать единственную точную формулировку этому понятию? Когда я слышу: «Алексей Герман», я вижу сквозь замерзшее окно моего купе, как далеко-далеко от нашего военного поезда по снежному полю ходит человек в тулупе. Рядом с ним собака Боря — черный лохматый терьер. Человек ходит долго-долго, вот уже и темнеет… Он весь в картине, весь в своем материале. Он сейчас в сорок втором году. Просвисти рядом снаряд — режиссер даже бровью не поведет. Кого в войну можно было удивить воем снаряда? Это было как «доброе утро». Это ходит большой художник. Говорится иногда: «У нас незаменимых нет». Есть. Алексей Герман.

Фильм «Двадцать дней без войны» — это моя любовь и нежность к Ю. В. Ни за что бы не выдержать моих этих «молчать»,

«не раскрывать объятий» — не такой уж я сильный человек, — если бы не Ю. В., милый Юрий Владимирович Никулин. Нас намеренно поместили рядом, купе к купе, чтобы мы привыкали друг к другу. Ведь мы же играем любовь, да еще какую! Ни в одной своей роли Ю. В. на экране любовь не изображал, и Это ему предстояло впервые. Ровно через неделю нашего купейного соседства я уже знала все повадки и привычки своего необычного партнера. Утро начиналось с громкого затяжного кашля. Если судить по тому, что он любит есть, то он очень дешевый артист. Самое любимое блюдо — макароны по-флотски. Еще котлеты и растворимый кофе. За стенкой я слушала его любимые песни с патриотической тематикой или песни, которые под гитару исполняют барды:

Помнишь этот город, вписанный квадратик в небо,
Как белый островок на синем,
И странные углы косые,
Ах, как жаль, что я там был, как будто не был.

Это песня о Пскове Евгения Клячкина. Когда Ю. В. притихал, значит, отходил ко сну. А когда появлялся легкий мелодичный присвист, значит, наступал сон. Когда-то Герман, то ли в шутку, то ли всерьез, объявил, что любовную сцену артисты будут играть в полураздетом виде, мол, сейчас во всем мире так, а нам чего стесняться. На следующее же утро в купе постучался Ю. В., и я увидела при тусклом свете лампочки меж обледенелых окон узкого коридора, как он стоит в трусах и майке с полотенцем через плечо: «Здравствуйте! Чтобы не было неожиданностей, начнем приучать друг друга к нашему телу. Я первый». Как нам удалась любовь на экране — судить зрителям и критикам. Но в жизни дружба у нас получилась пресердечная. С того первого съемочного дня и моего неудавшегося «уродливого рыдания» жилось мне одиноко. А тут рядом в купе человек, которого вроде можно было не бояться. Даже наоборот, которому можно было довериться. С утра до вечера к нему стучали люди: помогите, посоветуйте, одолжите, выступите, распишитесь, повеселите… И… спасибо, спасибо… спасибо… Какое-то время я все выжидала, присматривалась, прислушивалась, а потом чувствую — можно! Попробую постучать и я. А через время… не знаю, как бы это высказать… Ну-у, в общем, после смерти моего папы так хотелось произносить это слово… Ну, не могла жить без того, чтобы не говорить «папа, папа, папочка»… Долго я готовилась и однажды попросила разрешения у Ю. В. называть его «папой». Вечером, когда не было съемки, мы с Ю. В. начинали вспоминать военные

песни, но такие, которые были неизвестны широкому кругу людей. Все-таки точная, воссозданная режиссером атмосфера делала свое. Наши разговоры все чаще и чаще клонились к военному времени, времени моего детства и боевой молодости Ю. В. Однажды мы обрадовались, что оба — только мы, и больше никто — знаем редкую военную песню. Мне ее прислал папа в письме с фронта, а Ю. В. как раз там, на фронте, ее пел:

Спит деревушка, только старушка
Ждет не дождется сынка.
Старой не спится, тонкие спицы
Тихо дрожат в руках.
Глянешь на сына разок, другой —
Летная курточка и бровь дугой,
Ты улыбнешься, к сыну прижмешься —
Не пропадет, мол, такой.

В 1980 году я ее спела в музыкальном телефильме «Песни войны».

А сколько я услышала веселых историй и остроумных анекдотов! Эх, Ю. В., Ю. В… Как точно он выбрал свою профессию циркового клоуна. Все явления жизни он умеет процедить через сито своего жизнестойкого здорового юмора. Ни разу я его не видела в плохом настроении. Он, пожалуй, самый большой оптимист, которого я встречала в жизни. Даже на репетиции любовной сцены (будь она неладна), когда я ему шепчу: «обними меня, у тебя такие крепкие руки…» — Ю. В., метнув хитрый глаз в сторону «созревающего» режиссера, прошептал мне в гиперболизированно-трепетной неге: «О, а если бы ты знала, какие у меня ноги!» Конечно, я тут же выпала у него из рук. Мы оба хохотали как безумные. А Герман на нас внимательно смотрел — с чего это мы? Что смешного в этой сцене? Потом уже смеялся и он, и вся группа. И самое ужасное, как дойдем до реплики «обними меня…» так и не выдерживаем… Потом уже говорила эти слова в сторону, лишь бы только не глядеть на Ю. В. За стеной моего купе Юрий Владимирович Никулин писал свою книгу «Почти серьезно». Это очень «его» название. Умный, тонкий человек никогда не выставлял напоказ своего ума, мудрости. С ним его острый юмор, и поэтому он всегда имеет при себе это уникальное «почти».

В этой картине я испытала рядом с Ю. В. много минут добра. Теперь работа, поездки, гастроли. Видимся реже. И вдруг праздник, как недавно, и звонит телефон: «А это папа! Я никуда не делся!» И так хорошо сделается на душе, так хорошо…

1980 год. «Любимая женщина механика Гаврилова». От 1975 года прошли самые интересные пять лет жизни. За это время — 15 картин. Девять главных ролей, музыкальные работы на телевидении. Можно считать, что на утрамбованном базисе я надстраивала, экспериментировала, пробовала, рисковала. Но за это время случилось самое противное — начал портиться у меня характер, вот какое дело. К своему несчастью, стала кое-что понимать. Понимать больше, чем требуется в моей зависимой профессии.

Раньше в фильме видела только свою роль. Она мне казалась небольшим заливом, который врезается в сушу со стороны океана. И я думала, что мой залив живет сам по себе. И вот с какой-то поры я ощутила, что моя роль — это часть огромного бассейна. И самое главное — она подвержена законам и капризам жизни океана — то есть фильма в целом. Это ощущение появляется, когда играешь большие роли. Играешь «не выходя из кадра». Когда шаг за шагом чувствуешь, что движение роли — это движение фильма. И теперь от этого ощущения мучаюсь. Мучаюсь, когда нет должного взаимопонимания с постановщиком. Странно, но сейчас мне не жаль расставаться с дорогими сценами, если это на благо картины. Не то что раньше.

Что такое «сценарий написан на актера»? Это значит, что он написан на актера "А", а не актера "Б". В этом сценарии учтены все возможности актера "А". Это я к тому, что сценарий «Любимая женщина механика Гаврилова» считался написанным на меня. Сценариста Сергея Бодрова я не видела до своего первого съемочного дня. Режиссер фильма Петр Ефимович Тодоровский держал со мной редкую связь только по телефону. Накануне съемок короткий разговор-знакомство на студии, скомканная быстрая кинопроба, когда в нервной, неопределенной сумятице ничего не разберешь. Когда" думаешь, что потом все уладится. Но на тот раз закралось легкое чувство беспокойства. И завыло тревожной сиреной сразу же, как только начался съемочный период. Сколько мы ни говорили «про нашу Риту», я еще и еще раз понимала, что режиссер сделал большую ошибку, пригласив на эту роль меня. Ему виделась другая женщина, «красивая и независимая, которая постоянно фонтанирует», чуть растрепанная и вибрирующая. По его рассказам мне представлялась женщина типа фильмов неореализма, что ли. Это монороль, и полтора часа на экране в одиночку «фонтанировать» — ой, как точно надо «распределить» струю. А ведь режиссер знал про героиню все. Он сам ее придумал, полюбил, и сыграй эту роль актриса, которая бы пошла по его видению, картина, получилась бы оригинальнее, теплее, темпераментнее. Но на роль

он пригласил меня. Это была его ошибка и наше обоюдное несчастье. Если когда-то я мучилась от отсутствия текста в роли, то теперь наоборот… Мне нравилась эта роль тем, что давала возможность играть не словами, а проживать все то же самое внутри. Можно было говорить глазами, фигурой, поворотом головы — то есть кинематографично.

…Уже не первый съемочный день, но снимается одна из первых сцен фильма. Мы еще ничего о героине не знаем, кроме того, что она в красивом платье со своими близкими подъезжает к ЗАГСу, но жених запаздывает. Еще нет на горизонте никаких туч. И вот первая встреча ее с мужчиной, которого зрители по правилам игры должны принять за того самого. Но только до тех пор, пока не начинается их диалог. И вот на этой сцене наши разногласия стали явными. Что конкретно я просила и чего конкретно добивалась? Лучше фактом. Сцена-диалог из режиссерского сценария:

"…Это был хорошо одетый мужчина. Даже чересчур. Когда мужчина слишком много внимания уделяет своей внешности, есть в этом что-то смешное.

— Рита, я идиот, — улыбается во весь рот ее знакомый, — не поверишь — еду сегодня и думаю: ну, почему я тебя так долго не видел? А ты помолодела лет на десять… Будь что будет… я сегодня опоздаю на работу, уважительная причина. Мы немедленно садимся в машину.

— Зачем?

— И едем прямо к тебе. Танька в школе?

— А ты не поумнел за это время, Слава, — сказала Рита.

— Слушай… — сообразил наконец Слава, оглядывая ее, — ты здесь… неужели?..

— Да!

— Вот она, ваша любовь. Стоит два-три месяца не зайти и… Кто же он?

— Гаврилов.

— Просто Гаврилов?

— Нет, не просто. Гаврилов Лев.

— О-оо! Я вижу — ты влюблена?

— Я не влюблена. Я люблю… — серьезно и с достоинством сказала Рита.

— Больше, чем меня? — пошутил Слава.

— Ну ладно, отойди, а то могут подумать, что я с тобой знакома, — все еще в хорошем настроении сказала Рита и прошла мимо него. Слава пошел за ней.

— Да потому, что я с тобой всегда чувствовала себя девкой, — не выдержала Рита. — Каждый раз клялась, что не

пущу тебя на порог…

— И поэтому звонила и упрашивала приехать.

Рита обернулась, расшаркалась перед ним.

— За каждый звонок, за каждое слово стыдно!.. — Рита снова развернулась и уже быстро направилась в сторону ЗАГСа.

— Ну хоть в этом отношении я тебя устраивал? — невозмутимо улыбнулся Слава, следуя сзади Риты. — По-моему, ты не жаловалась.

Рита вздохнула, взяла себя в руки и с чувством собственного достоинства сказала:

— Благодари бога, что мой Гаврилов опаздывает".

Режиссерский сценарий я получила перед выездом в экспедицию. Диалог в литературном сценарии выглядел по-другому. Иначе бы я обратила внимание на «…чувствовала себя девкой», «…я тебя устраивал…» и т. п. Что-то меня оттолкнуло от героини. И я начала ее защищать. А раз защищать, значит жизнь в картине будет не гладкой.

Слава богу, что к тому, восьмидесятому, году я уже не боялась рисковать, идти против течения. Удары, сплетни подтачивают, конечно, ранят. Но когда ясно видишь свою линию роли, ничего… Актер Анатолий Васильев лишился большого диалога, но выиграл. Недосказанность дает волю зрительскому воображению, рождает перспективу, держит интерес, напряжение. Ну, а что хорошего, если о герое узнаешь все сразу с первого кадра. В результате диалог на экране выглядит так:

— Рита, я идиот, еду сегодня и думаю: ну почему я тебя так долго не видел? О? А ты помолодела лет на десять… (Это важно). Ну, я сегодня опоздаю на работу… Танька в школе? (Ясно, что он не случайный гость в ее доме). Слушай, ты здесь… (подразумевается, около ЗАГСа) неужели?.. Кто же он?

— Гаврилов (это первая ее реплика).

— Просто Гаврилов?

— Лев.

— О-оо! Я вижу, ты влюблена…

— Я люблю.

— М-м, больше, чем меня?

Долгие взгляды героини и героя, в которых все подробности того, что написано в большом диалоге режиссерского сценария. Позже зритель поймет, что Слава — человек несвободный. Он — ее горькое прошлое.

Ну что мне было делать, если я видела и чувствовала эту женщину сегодняшнего дня по-другому. Я ее должна была — очень хотела — перебросить даже в завтра. Мне было важно, как она одета, как она в этот свой звездный день преображается, как

меняется ее походка, лицо, взгляды, вкусы. Все-все меняет в ее жизни этот день, за который она пережила столько жизней! Это такой день, когда к черту все бытовые подробности. «Может ли она на свою зарплату купить модное платье?» Это чисто мужской вопрос. Надо знать женщину в счастье или в крайней степени отчаяния. Она тогда может все, все! Потом она будет тихо плакать и называть себя дурой. Это потом она будет выплачивать долги и сидеть на сухомятке. Но в тот день! И я «дула свое». Мои костюмы вызывали раздражение режиссера: "Это не моя Рита. Это «Графиня из Гонконга». Действительно, где у нас среди бела дня увидишь женщину в золотых туфлях, в замысловатом платье с высокими плечами, женщину из журнала мод? Да вы что? Согласна. Но тут и был риск. Гипербола. Именно сценарий меня на это и натолкнул. Когда героиня отдает беременной девочке свое свадебное платье — все равно Гаврилов не явился, пусть хоть юное создание с матросиком будут счастливы — Рита остается в смешном полудетском платье и бредет в парикмахерскую к своей подруге. Приятельницы решают начать новую жизнь — вспомнить прогулки в молодости, когда все мужчины «штабелями падали».

«…Прямые, с гордо поднятыми головами, они шагают под звуки военных труб, и осенние листья кружатся у них под ногами. Глаза шальные, в груди клокочут страсти. Рита была уже в третьем за сегодняшний день наряде. В простом, но элегантном. Соблазнительная женщина!» — так написано в режиссерском сценарии.

Ну что ж, мне как говорится, и карты в руки. Но по сценарию я надеваю платье своей подруги, которое у нее якобы случайно оказалось в парикмахерской, в тесном шкафчике. Если вспомнить, что подруга с утра, на свадьбу Риты, надела свое, наверное, лучшее платье, то откуда у нее здесь оказалось еще одно «элегантное платье»? А если взглянуть на очаровательную Наташу Назарову, которая играла мою подругу, ясно, что одолжить платье моей героине она не могла: я почти на голову ниже. Подробно останавливаюсь на мелких деталях, но именно из них складывается роль. Я рассуждала так: что такое парикмахерская вообще, а в портовом городе, как Одесса, в частности? Чтобы кто-то кому-то чего-то не предлагал купить, продать, достать? Чтобы в парикмахерской не раздавались такие типичные женские реплики: «А вот на ней было…», «А сейчас уже не модно…», «…А вы видели, какой каблук…»

Сцена в парикмахерской снималась в начале съемочного периода. И мы с режиссером тогда еще были в нормальных отношениях. Я была рада, что он принял мою версию: «Пусть какая-нибудь полная дама предложит моей подруге заграничный

костюм, который на нее „не лезет“. Костюм красивый, фирменный, ведь это Одесса, тут корабли…» Подруга, желая хоть как-нибудь облегчить мое горе, посоветует взять этот костюм. Но я его не схвачу, а так… равнодушно потрогаю, ведь мне сейчас явно не до этого. Зато в следующем кадре — я совсем другая. Загнав свое горе глубоко-глубоко, я иду в роскошном золотистом костюме, рядом со своей красивой подругой. Мы идем начинать новую жизнь. Да, иду как «Графиня из Гонконга» (так называется фильм Чарли Чаплина, где главную роль исполняла Софи Лорен). Вот именно такого я и хотела! Я глубоко уверена, что любая женщина может быть такой, окружи ее вниманием, лаской, любовью, одень ее в красивый, элегантный наряд. Это и была моя цель. Цель! Потому что на следующий день после предательства Гаврилова героиня увянет, превратится опять в ту серую мышку-норушку, которой она была до тех пор, пока к ней не пришли долгожданная любовь и вера в Гаврилова. Мне понадобилось много терпения, чтобы не замечать выражения лица режиссера, с которым он смотрел на мой костюм. Что поделаешь, мы не понимали друг друга. Но актеру — лицу подневольному — очень трудно отвоевать право на свое видение. Режиссер — главный, с ним группа… Ну что ж, я в одиночестве вела свою линию. Режиссеру казалось, что я играю слишком драматично, все же это комедия. А мне ничего смешного в том, что женщина оказывается обманутой, не виделось. Вот когда ее боль перемежалась комедийными разрядками, жизнью, которая бурлит вокруг, и она, как человек жизнестойкий, веселый, вливалась в эти события — не задумываясь, даже забыв в это время о Гаврилове, — вот это мне было понятно и интересно.

Всю картину Рита ждет Гаврилова. Она его «сыграла». И его появление в финале очень опасно. Если зритель скажет: «И вот из-за него-то весь сыр-бор? Тю-ю…» И как ни играй сама, картина — провал? Для актера, появившегося в финале в роли Гаврилова, это должно быть попадание обязательно в десятку, и не меньше.

«Рита видит… пустую площадь, оцепленную двумя рядами милиции. На площади стоит санитарная машина. Санитары распахивают задние двери, осторожно вытаскивают из глубины машины инвалидное кресло на колесиках, ставят его на асфальт и осторожно катят к витрине фотоателье. Рита еще ничего не понимает. Она беспомощно опускает руки в предчувствии еще каких-то неприятностей… Наконец кресло останавливается напротив Риты. В нем сидит Гаврилов. Правая рука перевязана, и из нес торчит букетик цветов. Левая нога в гипсе. Он смотрит на Риту. Плечи у него развернуты, сам небольшой, но крепко сбитый. Ему идут усы — он похож на партизана Дениса Давыдова.

Но вид у него все же был виноватый… — понимал, что пришлось пережить Рите вчера, на углу маленькой площади, — но в то же время решительный и дерзкий. Ведь действительно только очень важная причина могла ему помешать прийти на встречу с любимой женщиной. А сегодня он все-таки сидит перед витриной, и будьте уверены — на него может положиться такая женщина, как Рита. Рита смотрела на Гаврилова спокойно и чуть даже разочарованно. Гаврилов смотрел на Риту серьезно, без каких-либо колебаний. Рита повернулась и посмотрела на Пашу — это ее сослуживец, преданный и беззаветно влюбленный в нее вот уже семь лет. Паша застыл, поставив ногу с завернутой штаниной на табуретку. Паша был действительно хороший человек, и уйти от него сейчас было несправедливо. Этот Гаврилов появился совсем некстати. Рита снова обернулась к Гаврилову. Он смотрел на Риту, и была в его глазах железная твердость, каменная надежность и неотразимая мужская любовь. И с этим ничего нельзя было поделать. Кресло с Гавриловым медленно катилось по площади. Рита шла рядом. Гаврилов что-то горячо рассказывал ей, рассказывал, размахивая в воздухе здоровой рукой, и торчащий мальчишеский хохолок дергался над спинкой кресла. Рита шла, слушала, смеялась, плакала. Послышался перебор гитары, и приятный мужской голос запел: „Возвращаясь к тебе, дорогая, к твоим милым и легким словам, на пороге меня обнимая…“, задрав голову он смотрит на нее. Одной рукой Рита толкает коляску, в другой зажат букетик полевых цветов. Она смотрит в пространство, и ее удивлению нет конца…»

Таков, по сценарию был конец фильма. И вначале, пока вплотную не вошла в роль, такой финал у меня сопротивлений не вызывал. А потом, с каждым съемочным днем, внутри все больше и больше накатывал протест. Ждешь-ждешь, ищешь-ищешь какого-то необыкновенного, ни на кого не похожего, отвергаешь троих вполне приличных «товарищей»… И вдруг появляется герой в инвалидной коляске, весь перебитый и в гипсе. И мы ничего не видим, кроме «усов партизана Дениса Давыдова». А что играть актеру в этом трехминутном появлении? Да и что это за герой, которого «сломали» двое-трое людей опять же «кавказского происхождения»? (С самого начала фильма к ЗАГСу подъезжают несколько молодых людей «кавказского происхождения». День героини в ожидании Гаврилова проходит на их глазах. К концу фильма они умыкают невесту от жениха-растяпы). Приехал в Одессу актер Сергей Шакуров. Мне нравится этот темпераментный острый артист. В нем течет татарская кровь — он Сергей Каюмович. И в ярости, в заводе он красив? Ходил-ходил он дня два, смотрел-смотрел на наши съемки —

притирался.

Мы сидим в машине: сценарист Сергей Бодров, Шакуров, режиссер и я. Режиссер говорит Шакурову, что наконец-то приехала «свежая струя». Ничего, я переживу свою несвежесть, в данный момент не это главное. Атмосфера была густая и напряженнейшая. Сейчас все решится — или я повезу инвалидную коляску, которая стоит на углу. Или ко мне вырвется из милицейской машины самый лучший на свете, тот единственный, который тоже прошел свой ад за эти длинные сутки. Интересно, как созревает актер к действию. Заходили скулы, побелело лицо, глаза стали прозрачными, нервно постукивают пальцы по стеклу машины, бумажка, скомканная в тугой шарик, щелчком летит на другую сторону тротуара — точный жест Гаврилова…

— Это значит, баба его ждет… можно сказать… мечется. Красивая баба… Это… нет, ребята, что-то это… тут должен быть… да нет, она ждет настоящего мужика, моряка, который сам черт, не дьявол… и что? Ей вывозят на тачке какое-то фуфло, замотанное в какую-то хламиду? Нет, ребята, не пойдет…

Мне кажется, Шакуров сыграл в трех минутах все! Он появился на экране таким, каким ждали его зрители. Таким, какого ждала и любила Рита. Недавно я прочла интервью Шакурова «Жить на всю катушку…»

Вопрос: Всякая ли драматургия терпит импровизацию?

Ответ: Если в драматургии есть внутренняя тема и четкое настроение, а не только трескучие фразы и сюжет, расползающийся от любого вмешательства, то она позволяет любые вариации, не боясь потерять главного. Так мы снимали фильм «Любимая женщина механика Гаврилова». По сценарию мой герой должен был появиться перед невестой в гипсе, в инвалидной коляске. Гипс не нравился мне, это какие-то «итальянцы в России» получались. И я решил сделать сцену на несколько градусов выше. И тут придумалась милицейская машина, ребята, которые держат меня за руки, ну и сделал вот такого горячего Гаврилова. Хотя сейчас кажется, что можно было пойти еще дальше, благо предлагаемые обстоятельства позволяли. Надо было бы обязательно взять Гурченко за руку, даже если для этого пришлось разбить витрину. Это было бы очень точно по выражению накала чувств наших героев. Вот такое живое отношение актера к материалу и есть, по-моему, настоящее кино".

Каждое утро я молча садилась в автобус, ехала на съемку, а вечером крестиком отмечала — вот и еще один день позади. А как могло бы быть хорошо… (Как вначале фантазируешь, мол,

будем в содружестве сплетать, придумывать, «лепить» новое! Но нет, нет…) Хотя… был у нас один открытый диалог.

То была даже не сцена, а проход спиной от камеры. Но какой проход!.. Героиня, скрываясь от мужчины своего грустного прошлого (Славы), идет в дом к своему товарищу по работе (Паше), который давно и безнадежно ее любит. Она это знает…

— Скажите, она с Пашей могла быть в близких отношениях?

— Нет, ни в коем случае.

— Так… А в доме она у него бывала?

— Ну, может, как-нибудь на дне рождения…

— Ну, это трудно сыграть… Простите, я мучительно думаю, как это передать… убегаю от одного, скрываюсь у ненужного второго, а жду и люблю третьего… это же надо сыграть спиной…

— Не морочте голову. Это простой кадр, вы идете спиной от камеры. Будет тут еще выяснять, а есть ли у нее ключи, еще доберемся до замочной скважины. Идите себе спиной в парадное, и все. Простой кадр. Мотор!

На красивом Одесском бульваре золотая осень. Ноябрь, плюс семь градусов. Веревками отгорожена часть бульвара. Здесь проходят съемки. Посередине съемочной площадки двое людей возбужденно разговаривают. Видно, что между ними нет симпатии. Зажигается «диг», к актрисе подбегает женщина в ватнике, снимает с нее пальто, кофту. Актриса остается в легком золотистом костюме не по погоде. С другой стороны к ней подбегает мужчина, засовывает актрисе под мышку большой эмалированный таз. Это ее реквизит, (По ходу фильма героиня, на нервной почве, покупает ненужную вещь). Актриса, продолжая разговаривать, нагибается, чтобы надеть золотые туфельки. А диалог между человеком в синей куртке и женщиной в золотистом костюме все напряженней и острей — это уже видно и слышно. Вот у нее на плече заблестела золотая сумочка… Очевидно, человек в синей куртке здесь главный, вот он махнул женщине — мол, хватит… Она обхватила лицо руками… «Мотор!» И вдруг! Таз летит на землю, туфли разбросаны по земле, а женщина босиком быстро-быстро бежит, пересекая отгороженную площадку, перепрыгивая через веревку, — и вскакивает в автобус.

Вы знаете, это была я. Стыдно, наверное, было глядеть со стороны на женщину в золотистом костюме, но это была я. И хоть жгите, режьте, уничтожьте… но жить мне в тот момент не хотелось. Сухие рыдания без слез сотрясали меня, как самая жгучая тропическая лихорадка. Ну зачем я так глубоко влезаю в роль! Да черт с ней, в конце концов, с этой сжатой спиной! Да живи и работай полегче! Приехала, погуляла по красивому

городу, походила по компанейкам, послушала комплиментики, попела песенки под гитару, рассказала свеженькие анекдотики и историйки, прошлась себе в «легком кадрике» с тазиком, спиной от камеры — и «всем по привету», поехала домой. Так нет же, не сплю, лезу во все возможные и невозможные лазейки роли, раздражаю режиссера, переворачиваю характер героини… Зачем, зачем на меня это свалилось? Что это? Ответственность, зрелость, характер, опыт — «сын ошибок трудных»? Ну ответьте мне, помогите, невозможно же так!

…В автобус вскочил режиссер. У него такая же трудная жизнь и несовместимость со мной. Каждый прав по-своему. У нас происходит пронзительный диалог, где мы извергаем все, что бурлит внутри каждого из нас в течение всей экспедиции. Только звон стоял в пустом холодном автобусе от наших возбужденных голосов.

…Двое людей кричат, размахивают руками у самого лица друг друга. Потом женщина замолчала. Говорит только он. И его жесты становятся все менее резкими. Потом она опускает голову, о чем-то думает. А он совсем перестал жестикулировать. Потом пауза, оба молчат. Потом опять оба говорят, но уже как-то вяло. Она разводит руками. Но вот его рука берет ее руку, вот они пожимают руки друг другу… И вдруг они уже… обнимаются… И тут же от неловкости отворачиваются друг от друга. Но на лицах у обоих неуверенная улыбка. Вот они выходят вместе из автобуса, он помогает ей сойти с высокой ступеньки автобуса (первый раз за время съемок). Женщина в ватнике помогает надеть актрисе золотые туфельки, а мужчина-реквизитор засовывает ей под мышку все тот же эмалированный таз. Человек в синей куртке, сразу помолодев, сверкнул глазами и сказал негромко: «Мо-тор».

И я шла от камеры спиной, и было так уютно. И моя спина сжалась в горький комок. Но я не забывала, что героиня — женщина не жалкая. И фалды моего платья при горькой спине кокетливо ходили из стороны в сторону. А вечером того же дня мы с актером Толей Васильевым были приглашены к режиссеру на «рюмку чая». Во всем ощущалась тихая радость примирения. Я же была первый раз за всю экспедицию спокойна и счастлива. Хозяин был обаятелен, играл на гитаре, нас угощал.

В Москве — режиссер опять не видел меня в упор. Произошло что-то похожее на то, о чем я уже говорила, когда после совместной работы идешь с улыбкой навстречу «новооткрытому» человеку, а натыкаешься на того, прежнего, которого ты сторонился ранее. Вот и все. Жаль. Очень жаль. Очевидно, не простил себе той минутной искренности в автобусе. А для меня он тогда так вырос. За ту одну минуту он стал для меня таким

большим и сильным, и я с облегчением взвалила на себя всю тяжесть нашего непонимания. На премьере режиссер говорил обо мне хорошо. Очевидно, у него не было причин говорить во всеуслышание иначе. Я жила только картиной, и это — мой единственный настоящий грех. На премьере я не была.

После картины было много неприятных разговоров о моем зазнайстве, невыносимом характере, влезании в дела режиссера. «Хорошо бы ее поставить на место». «Что-то ты слишком режиссеров критикуешь. Смотри, а то они вообще перестанут тебя снимать». Это сказали мне там, куда приходит только готовая продукция. Значит, и туда донеслось. Что такое «перестанут снимать» — это я хорошо знаю.

Но я сделала еще один для себя вывод. Если впереди монороль — у кого бы ты ни снималась — обязательно перед работой каким-нибудь образом ближе познакомься с режиссером, пойми, какие «остановки» в его жизненном маршруте главные, что для него дружба, любовь, коллеги, талант, актер, любит ли съемочный процесс? Что не приемлет, и многое, многое другое… Главное же, хоть ненадолго, но растревожить друг друга. И если не сойдешься, то лучше играть небольшую роль, видеть свой заливчик, чтобы он, по возможности, украшал фильм. Так я и сделала. В 1981 году отошла от главных ролей и снялась в двух небольших ролях-красках, ролях, оттеняющих главных героев. Ада Петровна — скромная роль переводчицы в фильме «Отпуск за свой счет» у режиссера Виктора Титова. И небольшая роль в фильме «Полеты во сне и наяву» Романа Балояна. Роман Балоян рожден кинорежиссером. Он все видит через конкретный кадр. Всего несколько раз я была в Киеве на съемках, уж очень короткая роль. Но ее мне достаточно. Недостаточно было общения с Романом Балояном. На съемках все делал шутя, играючи, а какая получилась глубокая картина. А какой там Олег Янковский!

Воспоминания об одесской экспедиции были свежи и отзывались болью даже через два года, когда я получила сценарий от Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих». Я перескочила через события, рассказав о «Вокзале» ранее. А пришла я в этот фильм. очень настороженной, не забывая, чем кончаются самостоятельные поиски. Только теперь, перелистав время, можно отстраниться от робости, от боязни опять ощутить несовместимость.

Я пришла к Рязанову с твердым решением делать все, как он скажет. Первое время на репетициях, в разговорах, на пробе слушала, сплетала и приспосабливала «свое» к «его». С большим вниманием осваивала его правила игры: «Ребята, вы не молчите. Что мешает, сейчас перестроим, перепишем». Вдруг услышав ту

пронзительную, драгоценную ноту в общем гуле, которая и есть интонация «сегодня» — самое трудное и ценное на экране — Рязанов весело, легко, на ходу менял свой сценарий.

Рязанов заставил меня вновь поверить в то, что риск — как говорил мой папа — «благороднае дело». Ведь в роль по крупицам вносишь живое, узнаваемое, то, что находишь и обживаешь заново. Разве это не риск? Как же я боялась и чуть было не уверовала в то, что и в самом деле несносна. Ну что ж, буду и впредь «дуть свое»!

СИРЕНЕВЫЕ СУМЕРКИ

И опять я «дую свое». И опять себя ругаю. И опять не сплю. И опять себя ненавижу.

Годы-то летят. «Пять вечеров» и «Старые стены» можно осилить, скажем, лет еще и через пять-семь. А вот музыкальные роли, для которых я и пришла в кино, безвозвратно и навсегда уходят. Даже страшно, если вдуматься — «навсегда».

Хороший режиссер музыкального жанра — дефицит. В кино я так и не встретилась в настоящим музыкальным режиссером. Кто-то начинал в музыкальном, но, встретившись с трудностями жанра, потихоньку уходил в «обычное кино»… Наверное, из-за отсутствия музыкальной режиссуры я постоянно подавляла в себе музыкальные мечты, не позволяла себе фантазировать.

И вот, впервые в жизни, решила за себя похлопотать и обратилась с просьбой-письмом к нашему кинематографическому начальству.

«…Все музыкальные работы последних лет я сыграла на телевидении у талантливого режиссера Евгения Александровича Гинзбурга. Этот режиссер обладает мобильной работоспособностью, умеет заразить весь коллектив: актеров, балет, оркестр, композитора, балетмейстера и даже директора картины — своей идеей, а главное — верен музыкальному жанру. От всей души прошу Вашего содействия помочь снять на студии „Мосфильм“ музыкальную картину, где бы я сыграла роль, а режиссер Е. Гинзбург был бы на время съемок фильма освобожден от работы в музыкальной редакции телевидения… С уважением, Ваша актриса такая-то»…

«Рецепт ее молодости» — мюзикл по пьесе Карела Чапека «Средство Макропулоса».

Литературный сценарий написан Александром Адабашьяном. Мы были в кадре актерами в «Пяти вечерах» и в «Полетах во сне и наяву». А быть в кадре — самая верная проверка-знакомство. И, наверное, потому в его литературном сценарии я просто увидела себя! Говорит героиня вроде словами Чапека, а я слышу себя.

Этот сценарий дал последнюю в жизни возможность быть на экране молодой, не стесняясь своего настоящего возраста. Ей тридцать — говорят о ней в фильме, а может, и меньше — сомневаются другие. И я бесстрашно пошла на одоление этой почти двадцатилетней разницы. Таково условие игры. Ведь к концу картины героиня скажет: «Мне триста тридцать восемь!»

…Сейчас происходит замечательная процедура. И я внутри уже заранее примолкла — ни смешков, ни выкриков, ни-ни.

Сейчас я сижу в кресле художника-гримера Тамары Сергеевны Гайдуковой. Мои руки, привыкшие вспрыгивать к лицу и прическе, тихо лежат на коленях. Можно закрыть глаза и ничего не проверять. И так полтора часа. Характер этой женщины я изучила еще на картине «Сибириада». Потому до конца расслабляться не следует. Настроение может измениться в одно мгновение. Сейчас главное — не помешать ее работе ни внешним поведением, ни, что самое непростое, внутренним волнением, которое моментально передается и ей. Она редкий человек, который говорит в глаза все, что ты заслуживаешь, как бы это и ни было порой неприятно. Зато все о себе знаешь.

«Искать образ» — это выражение бытовало на студии, когда я только делала первые шаги. Сейчас его произнесла Тамара Сергеевна. Оно мне даже показалось старомодным. Да, да, ведь раньше-то сколько было поисков грима, черточек, теней, бровей. «Первая фотопроба», «фотопроба N 3» — написано на обратной стороне фотографии. Значит, была еще и вторая. Теперь зачастую грим не грим — просто тончик, реснички, причесочка.

Деревни я досконально не знаю, какой должна была быть Тая Соломина в «Сибириаде» — не представляла. «Сделайте химию, — категоричным тоном распорядилась Тамара Сергеевна, — здесь нужна ваша голова с химией». Что делать, думаю, неприятно ходить бараном и всем объяснять, что, мол, это для съемок. Ну уж ладно, подчинюсь. Вон как режиссер ее почтительно выслушивает и ценит! Скрепя сердце сделала химию. А эта прическа возьми да и войди в моду. И я тут же запела другую песню: «Дурацкая мода. Но что поделаешь — от жизни, друзья, отставать никак нельзя». Пришла я «бараном» на грим. Гример берет пористую губку, ту самую, что продают в аптеках, и без всякого тона, макнув ее в дорожную пыль, наносит на мое «благароднае лицо ету грязь», да еще и улыбается. Да так, что просто залюбуешься ее мгновенно озарившимся лицом: «Карандашиком — веснушки, а теперь глаза свои мазюкайте, как вы в жизни делаете. Для этой роли подойдет. На грим будете приходить за двадцать минут до съемки». В зеркале на меня смотрела женщина с нахальноватыми глазами, пожившая на этой земле несладко, с опаленным, обветренным лицом. «От Салехарда до Сочи… это совсем в другую сторону…» — пролетело в голове из роли Таи. По морям, по волнам, по ветрам, по степям… аж до Салехарда помотало. Это не городская кралечка. «Искать образ»… Моя фигура, мой голос, походка — все стало стремительно подстраиваться под мое новое лицо. Из гримировального автобуса я пошла на первую съемку Таей Соломиной. Теперь Тамара Сергеевна смеется, когда я делаю дружеский шарж на

тему: "Поиски образа героини из народа в фильме «Сибириада». Я беру со стола что попадает под руку, тщательно собираю с пола гримерной грязь и в упоении делаю вид, что наношу все «это» на свое «благароднае» лицо. «Не так, ну все не так…» — слабо сопротивляется Тамара Сергеевна. Но такой она бывает нечасто. И всегда перед тем, как открыть дверь гримерной, я напускаю на себя самое сосредоточенное выражение. В «Рецепте ее молодости» она нашла совсем другой «образ». Мне в этой роли хотелось каким-то способом уйти от подвижности лица, усмирить мимику. Хотелось странного неподвижного взгляда, за сотни лет отвыкшего уже чему-нибудь удивляться.

— Мы уничтожим ваши брови.

— Как уничтожите?

— Как класс.

— Вообще ходить без бровей?

— Это во-первых. Во-вторых, на грим будете приходить только с утренним лицом.

Это значит, что до грима лицо нельзя тронуть ни кисточкой, ни щеточкой, ни пудрой, ни карандашиком. Боже мой, когда я предстала перед моим гримером без бровей, да с утренним личиком! Какое было удовольствие, какая радость! Какой она может быть красивой и нежной. А голос… от суровых, мрачных, резких и категоричных интонаций вдруг, после точного мазка в поиске «образа» — к нежным, переливистым, необыкновенно женственным ноткам… «Ах, какое личико чистое, на нем писать и писать…» Да скорей, думаю, напишите на нем что-нибудь, а то бежишь по коридору, глаза в пол, чтобы не узнали… Как вчера. Зашел в гримерную режиссер Самсон Самсонов — у него пробы в картине «Одиноким предоставляется общежитие». А это, спрашивает, кто? «Кто? Это? Да не может быть». Подошел ко мне близко, посмотрел, поздоровался и даже улыбнулся. Но, как ни старался, улыбка получилась вымученной. Зато после грима я прошла мимо него бодреньким шагом, улыбнулась и поздоровалась еще раз, а за спиной слышу: «Это кто? Кто? Это? Да не может быть». Может, может быть. Ведь мы же нашли «образ». И каждый день бегу как на праздник! К концу «Рецепта…» грим — мои самые счастливые минуты. Так сложилось…

И вот именно в этой картине меня впервые заинтересовала проблема возраста. Что такое — возраст? Что уходит от человека с годами навсегда и что приходит на смену? Меня интересовали странности, парадоксы этого явления.

— …Девочки, где мне сесть? Спасибо. У меня большая просьба: сделайте меня лет на шестьдесят, но не больше, умоляю

вас, а то моей подружке семьдесят.

— А вам сколько?

— Восемьдесят четыре.

Гримерная замерла в гробовом молчании. Старушка? Нет. Пожилая женщина? Поздновато… Пожилая леди — вот самое правильное. Эта восьмидесятичетырехлетняя женщина целый съемочный день проходила в корсете, поглядывая на себя в увеличительное зеркальце. Ни разу не пожаловалась на жару и дым в павильоне. На то, что нельзя присесть до самого перерыва. На то, что в буфете есть чай, но нет крепкого черного кофе. Все мое свободное время я с нее не спускала глаз. О, пожилая леди мне очень нужна. Обязательно надо будет использовать это зеркальце. В фильме «Рецепт…» героиня встречает своего бывшего возлюбленного — когда-то молодого красавца. Но с тех пор прошло пятьдесят лет, и он уже стар. А она, из-за своего чудодейственного средства — эликсира молодости, все та же. «Не ты ли огнем опалила мои молодые годы?» Но он ее не узнал. Похожа, но не она! И вот, в музыкальном номере «Память» я, в окружении старушек, которые прошли со мной по пути многовековой пестрой жизни актрисы (тут я могу ошибаться в определении этого особого мира, его в литературном сценарии не было. Это фантазия режиссера), внимательно рассматриваем себя в маленькие зеркальца, как та необычная пожилая леди. И героиня фильма Эмилия Марти поет:

…Вы поняли, меня не узнают!
Я та же и не та, где ж волшебство?
Что странного — но я его узнала,
А он со мной был там и встретил тут —
И не узнал… есть в этом грусть финала.

Так роль Эмилии Марти «пошла по ниточкам» плестись с той самой восьмидесятичетырехлетней женщиной, пожелавшей стать шестидесятилетней!

Сейчас картина в съемочном периоде. Я смотрю вокруг и вижу только пожилых и старых людей. И опять фигура моего папы, чем дальше летит время, тем вырастает все крупнее и весомее. Как же он трагически расставался со своей бурной силой. Сначала ее безжалостно разбрасывал. А потом дрожал над остатками, терпел и не расходовал себя. И… опять буйствовал — не мог представить, что это происходит с ним, именно с ним. В шестьдесят пять лет полез в дружескую схватку с сыном своего друга — двадцатилетним парнем. Ни я, ни мама не могли его остановить. Он задыхался и пыхтел, ругался и призывал всех

богов. И уложил все-таки растерявшегося парнишку «на лупаты», но сказал маме: «Ето, Лель, усе. Мне вже блин. Старысть, дочурка, ето когда человек аккынчательно выдохсь… и вже никакими средствами. Старысть — ето усталысть». И опять сидел перед зеркалом, изучал себя, водрузив на нос очки, и свои и мамины.

— А Лели — ей хоп хрен по диревни, рази ж я у пятьдесят лет во так во себя довев?! У ней же самой, щитай, почти што чистых сто кило, мамыньки радныи.

Действительно, мама — ни в одно зеркало, никаких возрастных переживаний, причитаний. Ее «это» словно и не коснулось. Папа же так искал свой эликсир, желанный рецепт молодости, что моя роль трехсотлетней героини опять с невероятной силой вернула меня к папе. Когда мама читала сценарий, она говорила: «Вот бы нашему папе такой рецептик… Да он бы за такое дело уж точно с церкви спрыгнул».

Сейчас меня интересует время от послеполудня до вечера. Сумерки. Замечательно красивое слово су-мерки. Си-рень. Мамина любимая сирень. Сиреневый бульвар, сиреневые сумерки. И быть в сумеречном возрасте совсем не обидно. Это время, к которому я приближаюсь… Да нет, я уже в нем. Рассвет и закат. Дети и старики. Старики! Как я люблю вас! Раньше я об этом не задумывалась, это было так естественно — старый человек. Это несправедливо! Это больно и обидно! Как прийти к согласию с внутренним протестом? Ведь так я не сыграю роли. Надо смириться с неизбежностью. А как с этим смириться, когда такой разгул природы, как мой отец, пришел к закату. Я прослеживаю в памяти, как он перестраивался к «вечеру», я вспоминаю его пестрые сумерки и вижу, что в конце жизни он стал мудрым, выдержанным, терпеливым. Все эти качества абсолютно отсутствовали в его «утре» и «слепом жарком дне». Значит в «вечере» есть прелесть. И он неизбежен. А значит, в конце картины это надо донести до зрителя:

Да, старость неизбежна, ну и что ж?
Осталась грусть, но страха больше нет.
Хоть спета наша песня, но зато
Чем тише, тем бесстрашнее куплет!
Смотри, смотри на этот мир,
до опьяненья, до восторга!
Смотри, смотри на этот мир!
Смотри, он твой, и он ничей!
Когда пора уйти, уходим, как ни горько,
но лишь запомнив все до мелочей!
Смотри, смотри на этот мир!

До опьяненья, до восторга!

Одна редкая, очень мудрая и прекрасная женщина накануне своего восьмидесятилетия сказала: «Знаете, я себя все время проверяю, что я еще могу, а чего уже, увы, нет». Как суметь почувствовать точное мгновение, когда мучительные «правды» необходимо облекать в простые трезвые слова. К этому время подводит каждую женщину. Моей героине триста тридцать восемь лет! За эти годы она переезжала из страны в страну, меняла имена и национальности. Она родилась гречанкой Элиной Макропулос на острове Крит. Шестнадцатилетней девушкой приняла эликсир своего отца, лейб-медика Макропулоса — средство, чтобы прожить триста лет, не старея! За эти времена она была и Эльзой Мюллер, и Екатериной Мышкиной, и Эллен Мак-Грегор, и цыганкой Эугенией Монтес, и «еще черт знает кем… Ну согласитесь, нельзя же под одним именем прожить триста лет!!!» — признается она.

Большая костюмерная телевидения. Я слышу, как между собой переговариваются старушки. Я не дышу, так мне интересно.

— Взяла с собой бриллианты и жемчуг на съемку, так меня сделали дворником. С моим-то лицом… Этот режиссер никогда ничего путного не поставит… А на Свердловской студии я была фрейлиной. Режиссер сходил с ума от моего профиля… А этот… да разве он видел настоящую интеллигенцию? Да ему элементарно недостает культуры отношений… Меня сделать дворником! Ах, если бы это мог слышать мой покойный Прокоп Алдакимыч…

— Какие у вас хорошие ноги, совсем без мозолей!

— Да, ноги лучше, чем лицо…

— А у меня наоборот, вы не находите? Разве теперь врачи? Вот раньше были врачи. У меня дочь и последний муж тоже были врачами, так что я кое-что повидала…

— А я из-за зуба болела пятнадцать лет. Говорят, что после гриппа… тройничный нерв, представьте себе…

— Нет, я к врачам не ходок!

— А вам сколько?

— А как вы думаете?

— Ну-у-у… лет… шестьдесят пять…

— Х-ха-ха-ха-ха-ха, — рассмеялась моя пожилая леди и громко крикнула: — Мне восемьдесят четыре!!!

Точно так же я отвечу на этот вопрос в картине.

Эти женщины особой закалки. Они даже друг перед другом не смеют показать своей усталости и возраста. Эти кокетливые

старушки — профессиональные артистки массовых сцен. Многих встречаешь из картины в картину, в телевизионных фильмах. Они терпеливы и собраны. Поражаешься, откуда это у семидесятивосьмидесятилетних людей? Любовь к жизни, к искусству, к кино?!

Я вижу, как с возрастом жизнь теряет свои первоначальные краски и пестроту. Любишь только пастельные тона. А потом вдруг наваливается очень бурная, пестрая осень. «Еще листва, но это осень, осень», — поет Эмилия Марти. А потом вдруг все вокруг постепенно приобретает все более серые и мрачные тона. Как же героиня переносит свое внутреннее увядание? Ведь от своего долголетия Эмилия Марти получает удары-открытия. Молодая героиня Кристина поражена феерической виртуозностью и мастерством Эмилии Марти. Но она первая замечает, что актрисе на сцене «как-то… скучно… холодно». И циник Прус, на близость с которым Эмилия Марти решилась ради того, чтобы заполучить рецепт молодости, выносит ей приговор: «Я будто мертвую обнимал… я вообще не уверен, женщина ли вы…»

Придя в поисках рецепта в дом, где она, будучи Элен Мак-Грегор, лет восемьдесят назад испытала самую большую любовь в жизни к некоему Пепе, от которого у нее был сын — Грегор, она встречает в молодом человеке, Альберте Мак-Грегоре (с которым тут же по привычке готова завести любовную интрижку), своего правнука!

Она прабабушка! На сцене ей холодно и скучно! В любви она мертва! Вот расплата за долголетие. Значит, кокетство, женственность, влюбленность, чувственность — проявления актерские, чисто внешние, отработанные.

И здесь для меня как исполнительницы роли был тупик. Мюзикл без музыки, без пластики, без зажигательного темперамента, без соединения всех компонентов этого жанра — не мюзикл. Как при этом соблюдать внутренний холод и мертвость? Поначалу просто сломала голову. А потом… ведь Карел Чапек такой умный, загадочный и парадоксальный автор. Ведь не зря же в пьесе он оставил за кадром выступления Эмилии Марти на сцене. Наверное, он понимал, что сыграть гениальность, виртуозное мастерство, при этом внутри быть холодной и мертвой — невозможно. Так же точно, за кадром, он оставил и сцену любви с Прусом, начиная ее уже с результата — с открытия «мертвости» героини. Пусть это и в роли будет за кадром. А в кадре буду живым человеком, но с долей какого-то такого неуловимого отклонения, чтобы в конце фильма зрители вообще-то были готовы к тому, что с этой женщиной что-то «не так». Ах, вот оно что! Ей триста тридцать восемь лет. Интересно. Такого не

бывает, конечно, да и нужно ли? Вот главный вывод роли. Мне хотелось с экрана сказать: «Не тлеть, а жить. Пусть коротко, но ярко, с полной отдачей жизни людям, миру!»

Ах, как все хорошо и гладко в теории. Но ведь никогда так, как «мрияв», не будет. (Украинское «мрияв» сильнее русского «мечтал». Нельзя фантазировать в отрыве от реальности.

Меня отрезвляет мой голос:

Готовит смерть разбой, но если был собой,

То стоит ли жалеть, что все прошло… — а за голосом и мыслью всплывал Гаранян, Георгий Арутюнович Гаранян, талантливый современный музыкант, композитор и аранжировщик. Он великолепно умен, на лету «сечет» все, а главное — мысль. Это ведь его саксофон сопровождает жизнь Эмилии Марти, и я, играя эту «необыкновенную звезду всех времен и народов», — ну где еще проживешь триста тридцать восемь лет? Только в кино! — вижу себя шестнадцатилетней девушкой, с тоненькими косичками и большим лбом, и так реально ощущаю боль от туфель, которые всегда жали, потому что не было в магазинах моего размера — он шел нарасхват. И мы с подружкой, счастливые, обнявшись, в упоении танцевали:

Расскажи, о чем тоскует саксофон,
Голосом своим терзает душу он.
Я верю, милый друг, тепло сплетенных рук
Мы пронесем сквозь тысячи разлук.

Ах как много в роли мне дает этот саксофон. Моя Эмилия Марти примет опять эликсир молодости, и перед ней вновь «замелькают людские лица, хороводы праздников, весен и бурь…». А у меня… Ведь тоже, по-своему, были бури: и война, и бури личные, и жизнь без работы, и хороводы праздников: премьер, влюбленностей, восхищенностей, преклонений. Многое для меня в роли Эмилии родное, очень многое. Актерская жизнь — ведь это жизнь сотен людей, через которые проходит актер и которые проходят через актера:

Что плакать о себе, когда в одной судьбе
Сто жизней умещается подчас.
И ты хоть малый срок, так вольно жил, что смог
Постичь и глупость слов, и мудрость глаз…

И об этом мне хотелось сказать в фильме. И это родное. А разве с каждым днем не сужается круг, разве не приходят на

смену новые молодые, дерзкие и умные?

Ах, девочка, лишь ты сказала мне,
Что нет великой Марти на земле.
Что ж, мой завет:
Как я когда-то, мучайся, твори,
Да укрепятся верой дни твои.
Живи же триста лет.

Ну, а пока, моя дорогая, я отлично чувствую свое преимущество, ибо на сегодняшний день:

Ты выглядишь всего лишь мило,
Котенок с бантиком в хвосте,
Не плакала, не хоронила,
Откуда ж взяться красоте?..
Когда людская красота
Скорее знание, чем сила.
Беда, конечно, поправима…

Мы замечательно работали с Юрием Ряшенцевым. Сначала встречались, потом — прямо по телефону. Один из моих крупных недостатков — категоричность и максимализм. Сколько раз я ни пробовала идти усредненным путем, никакие попытки не увенчались успехом. Я теряла свою индивидуальность и превращалась в среднее арифметическое. У меня две скоропалительные характеристики: или гений, или не гений. В тот момент, когда до меня доходит очередь давать оценку тому или другому событию, я, несмотря ни на что, выкрикиваю одно из двух: или — или… Когда Юрий Ряшенцев мне читал по телефону в стихах именно то, что я просила его уложить, ну, именно ту мысль, какую я хотела провести, я кричала ему в трубку: «Юра — вы гений!» — «Я не гений. Я профессионал».

Профессионал. В этой картине меня окружали профессионалы высокого уровня.

Звучит мой голос… Звучит, как мне кажется, необычно. В маленькой мосфильмовской кабине, в наушниках, отгороженная от всего мира, я прекрасно жила. Я и музыка. Какая огромная дорога от «Карнавальной ночи», когда Виктор Зорин впервые мудрил, чтобы записать мена отдельно от оркестра. Тогда это было чудо. Теперь — повседневность.

За пультом сидит огромный человек с типично русским открытым лицом. Это звукорежиссер Владимир Виноградов.

Когда я впервые увидела его в телестудии на записи, я даже как-то расстроилась. Звукорежиссеры, как правило, на вид хрупкие, болезненные. А этот… Голос у него громкий, резкий — «аграмадина» голос, и сам такой же. Ну прямо махина — добрый молодец, эдакий Микула Селянинович. Да еще и говорит мне: «Мы с вашим творчеством знакомы-с. Мы вас в институте проходили-с». Как вам это нравится? Они «меня-с проходили-с в институте-с». Сколько ж ему лет? А, ну да, лет на пять моложе. А на первой же записи, еще в 1974 году, — «Старые слова», музыка Оскара Фельцмана, стихи Роберта Рождественского — все стало ясно про этого богатыря. Ухо, вкус, чувство меры, ум и безмерная музыкальность — все при нем. А потом открылось и еще многое — остроумный рассказчик и самый жизнерадостный человек в группе. Да, в этой группе работали высокие профессионалы.

Сейчас, в разгар съемок, я льну и льну к старичкам. Моя роль незримыми вкраплениями обогащается от общения с ними.

Объявили перерыв. Все бросились в буфет. Раньше я тоже любила пробежаться по коридорам студии — в гриме, в красивом костюме, покрутиться в буфете, познакомиться и произвести впечатление. Теперь уже никуда не бегаю. У меня всегда с собой завтрак и термос с чаем.

Около павильона, в уголке, расположилась небольшая группа — актеры-старички в белых смокингах и манишках. У каждого шея обернута куском марли, чтобы гримом не запачкать белоснежный воротничок. На пыльном подоконнике постелена чистая газета, и черные цилиндры выстроены в ряд. Это — старые профессионалы. Они знают, что такое беречь костюм. Они — радость для костюмеров. Снимать их сегодня уже точно не будут. Изменились планы. И эпизод снимается в другом порядке. Но отпустить их никто не решается. А вдруг? Что «вдруг»? Вдруг понадобятся. Кинематографическое «а вдруг», оно уже давно прописалось на студии и никого не возмущало. Старички отыграли уже в морской бой. Сейчас решали кроссворд: «Ядовитая змея из пяти букв?»

Во время съемок массовых сцен, после долгого вынужденного кинематографического ожидания между людьми образуются коллективчики и компании со своим микроклиматом и со своим лидером — душой общества.

Душой общества старичков был актер, которого я часто видела на экране в детстве. Когда-то рыжий, а теперь лысенький, когда-то глаза голубые, теперь водянистые, густые рыжие брови и крупный, с горбинкой, нос в веснушках. Постарел, но остался узнаваем. Он играл небольшие отрицательные роли. Играл ярко, но с ходу назвать фильм с его участием было трудно… У него

накопился запас анекдотов на все случаи жизни. Рядом с ним — еще один старый актер, сохранивший следы былого обаяния. Сколько раз я видела, как он заходил к гримерам-друзьям «подкрепиться». А сейчас совсем худ и жилист, и голос сипит от «подкреплений». Все стареет и меняется. До неузнаваемости. Рыжий, лысенький развлекал свой коллектив «киношными» историями и воспоминаниями о женщинах…

— Эх, Лидка! В сорок третьем мы снимали в Ташкенте… Сошел с ума!!! Ноги — во! Шея — во! Глаза — незабудки… Ц!!! Умерла. Но какая фигура! Куда всем этим… — он кивал, кривя рот, в сторону девушек из массовки, суетящихся перед молодыми людьми. Когда он говорил про ноги, ладонь его касалась подбородка. А расстояние в тридцать сантиметров между двумя пальцами обеих рук означало длину шеи.

— Как ты думаешь, чем они занимаются там, на своих вечеринках? Как тебе кажется, они уже…

— М-м-м, судя по некоторым фразам, думаю, да.

— Ну и время! Как вспомнишь… Приходишь домой под утро, лезешь через окно… Тихо, крадучись, не дай бог разбудить родителей.

— Ну что ты сравниваешь, они и мы? Какой разговор? Разве они знают, что такое ухаживать за дамой?! Стихи, духи, цветы, сюрпризы. Ах, сюрприз для любимой девушки…

— Да-а, красивая женщина — это все равно что бомба замедленного действия — рано или поздно взорвется.

— Ты про кого?

— Да так, вспомнил…

— Интересно, а Зойка жива?

— Зойка? Да мы с ней вместе на пенсию уходили. Она — прелесть, в прекрасной форме. А ведь ей уже семьдесят с гаком. С большим гаком. Ну, я же ее помню в тридцатые, ноги — во! Шея — во! Глаза — незабудки!

Мимо пробегали милые красивые девушки с длинными ногами и красивыми шеями, но чего-то им действительно недоставало.

Полушепотом прозвучал очередной анекдот, раздался взрыв смеха, закурили, покашляли:

Без женщины мужчина
Как без паров машина,
Как без прицела пистолет
И как без клапана кларнет.

Сейчас крутится машина — идет съемочный период — так

будь добра, вертись, успевай, будь здоровой, бодрой и красивой. Вот что от тебя требуется. Как ты достигаешь этого — твое дело. Работай! Когда в детстве смотришь на экран, то менее всего к лучезарному видению применимо такое прозаическое слово «рабо-та». А этот труд — самая настоящая черная работа. Идешь по улице (во время съемки) в атласном желтом пальто, в черной шляпе с перьями, обернутая трехметровой лисой, а в гостинице чистишься и отмываешься от пыли, грима и грязи, как заправский кочегар. Так это же еще самая «чистая» роль. А бывает… Сейчас зрители стали понимать, что такое актерский труд. Реже слышишь: «…Ну-ка, что-нибудь веселенькое из вашей жизни», или «Пару свеженьких анекдотиков». Зрителей интересует многое из того, что составляет предмет сложной внутренней жизни актера. Это очень дорого. Но встречается и обидное отсутствие такта, непонимание актерского труда, какое-то праздное любопытство. Около съемочной площадки народу видимо-невидимо. Никто никуда не спешит, стоят часами, как будто в городе вечный праздник. У меня даже в простых, казалось бы, проходах своя особая сложность: пройтись по улице в прошлом времени. Как бы это точнее?.. Это ведь самое начало картины, и я должна быть вся в том мире, где живет моя загадочная трехсотлетняя героиня. Это никак не играется внешне, это все внутри. Потому сегодняшние «Жигули», девочки в джинсах с мальчишескими стрижками, мальчики с длинными волосами и с бусами на шее, а главное, болельщики-энтузиасты — это все выбивает из внутреннего мира.

— Подойдите к нам поближе, мы на вас посмотрим!..

— Скажите нам, что вы едите?

— Ой, а сколько вам уже лет?

— Боже ж мой, какая вы худая!

— Люда-ачка, прывет от наших!

А у меня внутри борьба: не выбиться «оттуда», не отойти «от той», не дать себя увлечь в сегодня. А в гостинице свалишься на кровать и думаешь: ну что сегодня было такого уж сложного, отчего же ты такая дохлая? От внутренней работы, борьбы. Чтобы потом, в монтаже роли, ни один кадрик не выдал и не выкрикнул на экран: «Э! А это уже не Эмилия Марти!» Но… нашего труда на экране не должно быть видно. Труд должен быть за кадром, а зритель должен смотреть на экран как в детстве.

Вот кончится жестокий съемочный период, будет озвучание, и по теории должно прийти облегчение. Но легче будет только от того, что теперь забудешь о своем лице. В озвучании принимают участие память, сообразительность, гибкость интонации, музыкальная синхронность. И я буду искать новые; странные обертона в голосе героини, ведь ей триста лет. И она — это не я и

ничуть не один из тех персонажей, что стоят за моей спиной. А потом первые просмотры и «шу, шу, шу»… Сначала по студии, потом по Москве, а потом появятся первые статьи, и о картине сложится определенное представление. Я уже заранее чувствую, как фильм беззащитного музыкального жанра попадет под обстрел журналистов, а мне летит первое письмо: «Уважаемая товарищ артистка! Вы меня просто разочаровали. Зачем вам надо было после столь уважаемых ролей опять петь, крутиться, плясать и кривляться? Как-то все до этого было у вас прилично… Если хотите, послушайте моего совета…» Будут советы, будут свои мнения… В общем, начнется новая жизнь, и все то, чем ты жила в роли, останется лишь с тобой.

Кончаются мои прыжки в высоту с приземленнями в других широтах. Туманы и миражи «утра» рассеялись. Я вижу ясное небо, солнце и траву. По-прежнему ошибаюсь в людях, ибо не могу жить без любви. Я их люблю. Это условие жизни моей и жизни моей профессии. В работе мне на помощь приходят мои ошибки «утра». Они врастают в ткань роли, делают ее узнаваемой для зрителя. А мои личные сегодняшние «сумерки» подытоживают как бы со стороны жизнь персонажа и делают его объемным. Не все, не все уходит с молодостью, но сколько бы прекрасного ни пряталось в «утре», оно там и должно остаться. Если душу «гнетет боль воспоминаний», нельзя двигаться. Нельзя «иттить уперед, дальший». Сейчас мои сумерки. Самое сиреневое время. Самое интересное!

НА РАБОТУ!

Утром встаю и еду на «Мосфильм». Сегодня у меня «проба» — точнее, репетиция — режиссер взял на роль без проб. Внутри идет срочная перестройка из трехсотлетней актрисы в нашу сегодняшнюю дамочку-разлучницу в фильме «Любовь и голуби». Опять ролишка заковыристая — «Что подумают о вас люди?» — летит первое письмо от постоянной корреспондентки. Но роль мне нравится. И режиссер Владимир Меньшов пока недоверчиво относится ко мне. Уже интересно! Опять все заново. Опять доказывать! Опять искать, копать, проваливаться и делать шаг вперед! В общем, жизнь продолжается!

Вчера, перед сном, я уцепилась за какое-то интересное открытие. Не забыть, не забыть! А оно выскользнуло: «Отпусти меня, я еще не та золотая рыбка. Но и я тебе пригожусь». Значит это еще — не главная правда. Это только ее частица. И еще частица, и еще частица… Кажется, для постижения всей правды не хватит и жизни.

Я искала свою правду в военном детстве и военных песнях, в своих скоропалительных решениях, ошибках, заблуждениях и начинаниях с нуля… Свою правду я ищу в своих героинях. Через их судьбы. Ирония судьбы, но почти все мои героини одиночки. Даже нежная коза в жизнерадостном детском мюзикле «Мама». В их мире нет хозяина. Одиночка. Это слово появилось после войны. Раньше, по книгам и кино, как-то больше солдатка. А теперь — одинокая, одиночка…

Сколько случаев одиночества мне выпало на долю в ролях. Мои героини ищут счастья. Почти все достигают его, а если и теряют, то становятся сильными, как героиня в фильме Евгения Матвеева «Особо важное задание». Удивительно, но сильными делает их одиночество. Не на кого опереться, невозможно расслабиться. Какая нелегкая судьба. Хотела бы я постичь психологию благополучной женщины, опиравшейся на сильную руку? Нет. Может, это знамение времени? Но ведь я живу в этом времени? Может, ему, этому времени, должна соответствовать именно такая героиня? Не знаю. Но мои роли не истощают меня. Они меня питают, обновляют. И я иду навстречу новой роли опять сильная, свежая, как птица феникс, возрождающаяся из пепла. И коварная мысль о поворотах, страхи «новых типажей» не приходят мне в голову. Я кручусь в сценарии, задыхаюсь в роли до тех пор, пока не зашипит кислород правды и не забьется спокойно сердце.

…Войдя на «Мосфильм», я сразу поверну налево, в обход. «Не

появляйся от нечего делать на студии. Болей, терпи, жди. Знай, если ты понадобишься студии, — тебя найдут на краю земли. И самолет приземлится в твоем дворе». Лишний раз я и сейчас на студии не появляюсь.

«Мосфильм», «Мосфильм»… люблю я тебя и боюсь. Ощущаю тебя как нечто живое, обладающее желанной славой, как кипящей лавой, и бросающее в ледяную воду. Остывает лава быстро, но годами не можешь сковырнуть с себя «славное» прошлое. «Мосфильм», «Мосфильм», открыватель моего славного начала! Теперь уже мало осталось тех, кто трудился в те годы. Одни постарели, другие ушли на отдых. Многие ушли навсегда. Я люблю своих сверстников, мое поколение. Мы начинали вместе. И, хотя теперь это уже не Инна Хлопьева — администратор на площадке «Карнавальной ночи», а начальник планового отдела киностудии «Мосфильм» Инна Михайловна Хлопьева, но когда я прохожу мимо ее кабинета, моя рука сама тянется открыть эту дверь: я хочу ее увидеть — умную голубоглазую женщину. Все ту же Инну Хлопьеву. И у нас всегда есть о чем поговорить и, конечно же, есть что вспомнить. И как бы ни трясла свое объединение темпераментная Нина Урвачева, она для меня не только директор Второго объединения студии — она начало моей жизни. А я — ее. Наши судьбы в студийной жизни нерасторжимы.

Сколько же в кино профессий, с которыми знакомишься поздно. Так поздно, что становится стыдно — ведь думала, что постигала главное и вглубь, а оказывается, лишь плавала по поверхности. Это очень похоже на то, в каком порядке начинаешь изучать в детстве титры картины. Вначале смотришь на название фильма и ждешь титры с любимыми артистами. И если фильм музыкальный, ну уж ладно, читаешь и фамилию композитора. Но вот смотрю как-то, раз двадцатый или двадцать пятый, фильм «Подвиг разведчика»: тогда фильмов было мало, и этот мы смотрели до одури. Да сейчас задай человеку моего поколения вопрос: «Скажите, у вас продается славянский шкаф?» Немедленно последует ответ: «Шкаф продан, могу предложить никелированную кровать». Вот, значит, смотрю, закрыв глаза, «Подвиг разведчика». Идут титры. Это никому не интересно. Слушаю закадровую музыку. И так нехотя вскидываю взгляд на экран: «О, шо такое, товарищи, Барнет же уже там, в самом начале, был написан? Шо такое, чего это он уже два раза, а наш любимый Кадочников один?» Так, совершенно случайно, поняла, что Барнет и режиссер фильма, и сам в нем играет как актер. Стала запоминать фамилии режиссеров. Мама проводила городские елки и получала деньги по ведомости как режиссер-

устроитель. Так, думаю, с этим делом все ясно. Это дело авантюрное и ответственное. Когда начала учиться в институте, мое лицо студенты-операторы «крутили» и так и сяк — в поисках подходящего света и ракурса. Я стала зорко следить и запоминать — какой же свет был, когда снималась именно эта фотография. Эх ты, папочка, лесовичок мой «дорогенький», а ведь ты говорил: «Там тебя, дочурка, заграмирують, як следуить быть, и ты в меня будишь у в кино самую красивую павую». Так «пава» через свои собственные недостатки стала запоминать в титрах фамилии операторов. Потом очередь дошла и до автора сценария. Но иногда вызывало неприятное удивление то, что рядом с автором романа «примазывалась» фамилия обработчика совершенного произведения, которое не нуждалось ни в какой переработке. И только потом-потом, совсем потом, поняла, что огромную информацию романа в емкую форму киносценария может уложить только профессиональный киносценарист. По нескольким фильмам я поняла, что помимо работы прекрасных режиссеров, актеров, операторов, композиторов есть еще важный-преважный, необходимый компонент, благодаря которому смотрит глаз, а душа поет — работа художника картины. Как поздно я созрела, как поздно… А теперь меня интересует профессия с таким протокольно-канцелярским названием — редактор картины. С этим словом у меня ассоциировался гоголевский персонаж в засаленном сером мундире, в очках, с пером и саблей в руке. Что не так — бац, отрубил! Что не по «его» — бзык, переделал!

С каких-то времен врезалась в память фраза, смысл которой дошел до меня не так давно: «Редактор надувает чужие паруса». Красивая фраза. Но тогда мне понравилось «надувает паруса». «Белеет парус одинокий»… А главное слово — «чужие» — неромантичное, и пролетело мимо меня.

С этой женщиной, работающей на «Мосфильме» редактором, я познакомилась несколько лет тому назад. Нас свела работа. Работа жаркая, неспокойная, словом, работа. 1980 год. «Любимая женщина механика Гаврилова». Одесса. Выходной день. Конфликт с режиссером в разгаре. Звонок: «Здравствуйте, я редактор картины, хотела бы с вами поговорить». А я знаю, что редактор целую неделю живет в Одессе, со всеми актерами уже перезнакомилась. Со всеми, кроме меня. Получается, будто я в этом фильме и не снимаюсь. Но целую неделю я и виду не показывала, что знаю о приезде редактора в Одессу. Во как все меня обходят стороной. Ну и штучка же я…

В Одессе было прохладно, но в гостинице еще не топили. И в выходной день в теплой кофте и шерстяных носках залегла себе с

книжкой под двумя одеялами. Решила к приходу редактора не переодеваться: буду как есть. С независимым видом открываю дверь… Ну, здравствуйте, вот мы с вами и встретились. Теперь давайте обрабатывайте меня. Я буду помалкивать, но все равно… буду «дуть свое».

Она сказала, что сама из Харькова. Вот этого она могла и не говорить. Наш говорок — это наш говорок. Проскользнуло несколько родных словечек, интонация пропела мелодию, уходящую в вопрос, и — все ясно — здравствуй, Харьков! Мы говорили о военной поре, о разных, но и одинаковых — хоть был в блокаде, хоть в оккупации, хоть в эвакуации — судьбах людей.

Она мне рассказывала о себе, связанное с войной. А на главную тему так и не выходила. Сижу, слушаю, киваю, а мысли бегут одна за другой: ну как ей объяснить, что я и так знаю: режиссер — человек талантливый, его профессия — главная, моя — второстепенная. Но играть роль так, как видит ее режиссер, — не могу. Мы оба страдаем от того, что такие разные, что ошиблись друг в друге. «Вы знаете, в материале то, что вы делаете, в общем неплохо, но ведь это что-то другое. Как вы видите эту женщину? В сценарии — это все точно выписано. Как же вы собираетесь сводить концы с концами? Ведь они не сходятся. Нужно многое менять…» Значит, мы думали об одном и том же. Я стала что-то бормотать — очень вяло и не очень связно… Думаю, что с самого начала редактора обезоружил мой вид. Так она мне потом и сказала: ожидала увидеть меня какой угодно, но только не тем потерянным и измученным человеком, который сидел перед нею — бледный, закутанный в одеяло, на узкой койке в небольшом номерочке, с чайком — при помощи кипятильника. Зрелище, мало соответствующее понятию «кинозвезда»… Очевидно, у меня самой появилась потребность вслух провести, проиграть линию роли, заново почувствовать верность изменения характера — не того, что в режиссерском сценарии, а того, что проникал все глубже и приживался внутри. И присутствие профессионала меня к этому подтолкнуло. А иначе — да ни за что бы мне так не оживиться в тот холодный и серый день. Редактор меня слушала, не перебивая, внимательно, включаясь в мои ответвления — примеры из виденного, слышанного, прожитого. В общем, пришла ко мне редактор картины в одиннадцать утра, а расстались мы в восемь вечера. Мне показалось, что она меня поняла, хотя не сказала ни «да», ни «нет». С режиссером они были давними друзьями, работали вместе и раньше, а момент нашего взаимопонимания и общения требовал времени и еще чего-то из области такта… В процессе оставшейся работы редактору все труднее и труднее было

оставаться нейтральной. Но одна из сложностей редакторской профессии и заключается в этом тонком дипломатическом балансировании… Почувствовав правоту одного, редактор незаметно убеждает другого создателя картины. И все — на благо картины.

Редактор начинает картину с работы над сценарием. Живет в картине бурно весь период ее создания — пробы актеров, просмотр материала, съемки и пересъемки, заключения по каждому отснятому объекту. Редактор заканчивает картину: озвучание, титры, сдача фильма — переделки, перетонировка. А чуть что не так — «А где был редактор?» Я поняла, как в этой профессии много сложностей. «Знаете, есть такая закономерность: чем талантливее режиссер, чем больше он прислушивается к мнению редактора. Иногда предлагаешь ведь от души, для картины, а воспринимается как личная обида. Порой бывает… ах, да ладно».

Фильм выходит на экраны. Читаем титры: сценарист, режиссер, оператор, актеры, художник, композитор… и только о работе редактора зритель имеет весьма приблизительное представление. А ведь если редактор — мастер, его работа настолько «растворяется» в фильме, насколько в лучших картинах режиссер «растворяется» в актерах.

Не знаю, удастся ли мне дойти до сути, наложив сегодняшнее на прошедшее? Только тогда я смогла бы ответить людям на вопросы: «Как вы смогли найти в себе силы, чтобы выбраться из глубокого колодца?», «Чем вы жили те годы, когда не снимались?», «Что вы делали все те годы? Откуда вы черпали силы?» Это главные вопросы из многих, многих других. Мне дороги вопросы тех зрителей, кто в паузах, в молчании, видит то, чего не заметишь, если следишь только за взлетами и блеском. Зрителей интересует долгое сидение перед прыжком: «Какими витаминами себя питать, чтобы вскарабкаться на горку?»

Знаете, дорогие зрители, когда на моем пути встречались добро и милосердие, у меня, как чудо, находился выход из безвыходного положения.

Наверное, из-за невзгод с какого-то времени я стала жить двойной жизнью. Сознательно я это поняла лет в тридцать. Внутри меня постоянно сидел другой человек — трезво и реально соображающий. Я не завидовала тем, у кого это счастливо сплеталось. Во мне это держалось всегда раздельно. Но от этого два человека — внешний и внутренний — только взаимно крепли. Я их и теперь редко соединяю. Вот сейчас мне хорошо — одна, пишу себе, никого не стесняюсь и никого не боюсь.

Потому, когда я встречаю человека и ощущаю, что это

человек «мой» — о! — это самый редкий в жизни праздник! «Мой» — это тот человек, который почувствовал, раскусил и принял эту мою двойственность. По-настоящему это всегда понимала только моя мама. Не до конца — несколько близких друзей. Потому так непросто сходиться с людьми. В кино, пожалуй, тоньше всех меня понял режиссер Никита Сергеевич Михалков. Он незаметно раздвинул пестрый эклектичный внешний занавес и стал общаться с тем человеком, что сидел у меня внутри. Тот человек обрадовался, что наконец-то им заинтересовались, взял да и с удовольствием подчинился. И стало так спокойно — нигде ничто не бунтовало. Удивительное добро я ощутила от всех членов семьи Михалковых. Это происходило в самые неожиданные моменты и в ту пору, когда у меня уже была работа, на том этапе, когда — если со стороны — все прекрасно, когда не нуждалась в помощи. Но, как научила жизнь — не только тот друг, что плачет с тобой рядом, если тебе плохо, а и тот, кто радуется и дает, подсказывает то, чего не хватает для полноты ощущения праздника души, профессии. А ведь, в сущности, эти люди мне не близкие, не родственники, просто люди, каких, казалось бы, должно быть много. АН нет!

Что у меня было в запасе до того 1976 года, когда Михалков стал писать для меня по Чехову генеральшу из «Неоконченной пьесы для механического пианино»? Ну опять же «Карнавальная ночь», «Старые стены», «Двадцать дней без войны», «Соломенная шляпка» — далековато от Чехова. Каким же чутьем он тогда уловил, что я могу это играть? Ведь писать на актера — это значит на роль его не пробовать… Чехов для меня внутри был закрыт всегда — так сложилась моя жизнь в профессии. Как этот молодой человек понял, что Тамара Васильевна из «Пяти вечеров» — это есть я сама — только сумей раздвинуть занавес и вывести на свет того, второго человека? Ведь она столько лет ждала Сашеньку, а я столько лет ждала Работы. Ведь ее монолог — иносказательно монолог моей жизни: «Работа, милая, я знала, я знала, что ты придешь, я знала… Знаешь, я здесь хорошо жила, у меня было в жизни много счастья, дай бог каждому, и потом, я никогда не падаю духом, никогда. А теперь будет все иначе…» Разве это не мое? А ведь еще с шестидесятых, еще с «Современника» все это было для меня наглухо закрыто. Да я только после «Сибириады» уверенно почувствовала, что если захочу — буду красивой! Как это сумел внушить мне режиссер? И сейчас я расправила плечи и играю даже то, что мне уже, казалось бы, не по «карману». А зритель — точный барометр — ничего, не протестует… пока. Откуда режиссер «Сибириады» мог понять, что я способна написать книгу? Да у меня в школьных сочинениях

учителем было написано: «Сильно сказывается влияние учебника». А чего было стесняться? В то время мы все имели одно мнение. Это теперь пишут сочинения на вольные темы. А тогда возьмешь да и честно спишешь. Лучше и лаконичнее, чем в учебнике, все равно не скажешь. Прибавишь от себя: «мне так кажется», «думаю, что…» или «лично мое мнение» — и все. И главное, ни единой ошибки. А то сморозишь какую-нибудь глупость от себя, вроде: «Печорин был не плохой, но и не хороший человек». — «Садитесь, два». Многие вещи в то время, в середине семидесятых, были еще закрыты для меня. И только уникальные, доброжелательные люди с обостренным сверхчутьем смогли распознать во мне то, что спало, дремало, о чем сама не ведала. И вот я сыграла «Пять вечеров», сыграла так и не сыгранную мною на экране генеральшу в «Механическом пианино», написала «Мое взрослое детство».

Был теплый осенний вечер 1979 года. Никита Михалков пригласил меня на чтение пьесы. В узком кругу знакомых людей свою пьесу читал Сергей Владимирович.

— Пап, я хочу тебе дать прочесть одну рукопись…

— Никит, прошу тебя, без дополнительных нагрузок… Я залился чужими рукописями… у меня э-эт-того чтива… — услышала я в перерыве между актами пьесы.

Пьесу прочли, обговорили. Настроение было веселым, без спадов и глубокомысленных молчанок. У меня на душе было легко и спокойно. Никакого зажима. Никита отошел в угол и стал копаться в стопке белых листов. За километр я бы могла узнать свою истерзанную и измученную рукопись. Всю мою семью с полным правом можно было бы назвать первопечатниками. Взяли напрокат пишущую машинку «Москва» без двух букв. Переругались, перессорились, пока получилось то, что сейчас листает Никита Михалков. Господи, как же бьется сердце, какой позор, зачем я взялась не за свое дело, сейчас будут ухмылочки, незаметная кривизна в уголках губ… Только бы не потерять сознание от жуткого сердцебиения… что там бомбежки, тригонометрия, премьеры и все вместе взятые «моторы»!.. Вот что значит — человек занялся не своим делом.

— Люся, прочти…

— Не могу, нет, Никита, не могу… боюсь, ты сам, лучше ты…

Я вижу, он выбрал главу — «Папа вернулся». Именно с нее 8 августа 1978 года я начала «Мое детство»…

Никита неточно передавал речь моего папы, но реакция сразу была очень веселой и непосредственной. Вокруг все очень доброжелательны. Я не обманываюсь. Это придало мне сил, и я продолжала читать сама. «Еще что-нибудь про-о-чти», — сказал

Сергей Владимирович. Я набрала побольше воздуху, рванула подряд три главы «Деревня»… И моя рукопись улетела к добрым людям в журнал «Наш современник». Не знаю, как бы сложилась судьба «Моего взрослого детства», если бы не тот вечер.

Делать добро! Разве это не говорит о широте души, о безграничности таланта, когда ничто и никто не ущемляет твоего "я"? Того вечера я не забуду никогда! Забывать о добре — грех. После таких минут опять летишь, и опять рискуешь, и опять не унимаешься!

Недавно я прочла у А. В. Луначарского: «Не все мы похожи на Маркса, который говорил, что поэты нуждаются в большой ласке. Не все мы это понимаем, и не все мы понимали, что иногда ничего так не нужно, как душевное слово». Это было сказано в годовщину смерти поэта Маяковского.

Новая роль, новая картина, новый режиссер. Впереди полгода новой жизни. Полгода. Ну что ж… Делаю сильный вздох, и вдруг пронзает знакомая боль: а что если через эти полгода вновь наступит бескалендарное «время грез»? Помнишь, не забыла? Смотри, не забывай. Уйди, уйди, милая горечь. Это несправедливо, не надо так. Ну хочешь потом, потом потолкуем. Пойми, мне сейчас нужно готовить себя к новой жизни, к новой роли… Сажусь в кресло к новому гримеру. Сердце — стук-стук…

Что? Меня к телефону? Забыла позвонить домой, ведь надо было. Надо было, надо было… Ах ты… Как только переступаю порог проходной студии — все из головы вон — дом, семья…

Однажды на встрече со зрителями Никита Михалков сказал, что есть актрисы, которые семью, ребенка не променяют на хорошую роль, и, покосившись в мою сторону, сказал, что «она» за хорошую роль может поджечь свой дом, сама принесет керосин, — потом будет раскаяние, суд, но роль она сыграет. Я тогда, аж, сжалась вся. Да нет, не подожгла бы я дом, конечно. И все же это правда. Все мои недуги в работе излечиваются. Но если что-то не так в работе — дом меня не излечит.

Дом, мой дорогой дом, прости. Прости меня, любимая семья, за то, что ты в жизни для меня не главное. Но вы, мои драгоценные, уже свыклись и никогда не в обиде. Мы тихо и мирно живем. У нас по-прежнему в доме кот и собака. У нас все по-старому, все как прежде, но без папы. Без папы.

5 июня, в день рождения Маши, к нам в дом забрел маленький серый облезший котенок. Маша прижала его к сердцу и умоляющими глазами посмотрела на Лелю.

— Не нужен он нам, он не пушистый, и «Лицо» у него треугольником.

— Ах ты, Леличка, ах ты миленькая какая… Вот дедушка

никогда бы не выгнал такого маленького, беззащитного… да еще в мой день рождения, ведь он сам пришел…

И кот остался. Назвали его Серый. Никто ничего умнее не смог придумать. У Маши дедушкина доброта и любовь к животным. Семья наша разрослась. Теперь у нас в доме Маша + Саша. Саша Королев — красивый, сероглазый, самостоятельный молодой человек. Учились вместе в школе, так что никаких «сюрпризов» от Маши ему не будет. Друг друга «знают як следуить быть».

А 22 сентября 1982 года я пришла с озвучания «Вокзала». Было очень холодно. Я, точно как мой папа, полезла в кипяток — согреваться. Я ни о чем конкретном не думала, просто тупо и устало смотрела в потолок… Сколько раз потом я ни представляла себе тот момент, не могла воспроизвести, что же было до того… как залаял наш пес, длинношерстный тойтерьер со странным для мальчика именем — Бабочка; как нервно хлопнула наша входная дверь, и потрясенный, неузнаваемый голос моего мужа возвестил: «Мальчик! Мальчик! У Маши мальчик!»

Бывают минуты, когда в течение часа испытываешь жуткое ощущение, страсти — и, наверное, проживаешь не один час — бесконечность часов! В такой стрессовый час время исчисляется не минутами, а захлебывающимися ударами сердца. В один момент я увидела себя в зеленом платье, в красных мушкетерских туфлях, идущей по Арбату! Ну-ка скажи мне тогда: ты будешь бабушкой! — Вы что, дорогие товарищи! Я — бабушка?!

Сбылась моя тайная мечта — мальчик! Никто не знал, как мне самой хотелось иметь мальчика! Я мечтала назвать его самым красивым на свете именем — Марк! Но родилась, добрая, хорошая Машенька. Когда до отчаяния сознаю, что я плохая мать, — начинаю впопыхах наверстывать упущенное, подлизываться и угождать. Но в этой профессии потери не наверстаешь. Мать — это всегда. Ежеминутно, постоянно. И природа, обойдя меня, наградила мою дочь талантом — быть матерью. Вот она — настоящая, прекрасная мама. Я ей завидую. У нее сын Марк. Марк!

— Мам, интересно, будет у него что-нибудь от нашего дедушки, как ты думаешь?

— А что бы ты хотела?

— Ой, мам, ну… чтобы он был сильным, как наш дед… ну, добрым… чтобы любил людей…

— Рыб, на ночь коляску ко мне в комнату завези. А сама поспи, отдохни. Ты знаешь, Люся, казалось бы, крошка, а мы с ним так друг друга понимаем…

— А он у тебя пока не спрашивает: прабабушка Леля, как вы себя чувствуете в этом качестве?

— Ох, не напоминайте мне… Я на него смотрю, как будто это — ты, маленькая, или Маша. У меня ведь мальчиков не было, одни девочки, одни вы… Э-эх, глупые вы, ничего-то вы не понимаете…

Мама улыбнулась чему-то своему, тайному, так, как бывало в моем детстве на Первое мая… На глазах у нее блестели слезы… Она повернула к нам свою большую теплую спину и тихо пошла к себе в комнату.

«Ничего-то вы не понимаете… я ведь опять рядом с Марком».

ЧАСТЬ ПЯТАЯ. БАЛЕТ ЖИЗНИ

ИНТЕРЕСНО. ВСЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО.

Льется легкий вечерний снежок
Голубые мерцают огни.
Мы бежали вдвоем на каток

На мерцающий лед голубой… — раздавалось из металлического репродуктора. Стояла ранняя весна. И снежок порошил, точно как в этой песне. А я шла на первые в жизни выборы. Это были очередные выборы местного значения. Было из кого выбирать, потому что в бюллетенях значилось несколько фамилий. Жаль, что не видно моего нового платья. Его скрывало старое харьковское пальтишко с капюшоном — таким, какой был у Миледи в фильме «Три мушкетера». Но вдохновение от капюшона Миледи уже давно прошло, новизна улетучилась. А вот ощущение нового, только что с иголки платья — рыжего, атласного, с черным бархатным поясом — рождало во мне чувство какой-то особой, личной новизны. От принадлежности к взрослому миру, нового платья, весны, первых в жизни выборов — от всего вместе у меня, наверное, очень загадочно светилось лицо. Так хотелось, чтобы все обращали на меня внимание. Но люди спешили по своим делам. Ну и пусть спешат. А я все равно счастлива. И жизнь моя прекрасна. Сейчас я, точно так же, как вон тот дяденька, со своим бюллетенем зайду в кабину. Немного постою. Подумаю. Вобщем-то, все равно, кто из депутатов победит. Я их никого не знаю. Знаю только одно: если их выбирают — значит, они все настоящие люди. Умные, благородные, образованные — лучшие люди нашего государства. Наверное, двух кандидатов — первого и третьего — вычеркну. А среднего оставлю. И выйду из кабины «з чистым сердцем, з исполненным перед Родиною долгом, и усе будить честь по чести».

«Вы куда, девушка? Зачем вам в кабину? Давайте, скоренько вычеркивайте, и в урну. Видите сколько народу, и всех надо обслужить… И что там еще думать?…» — последнее было сказано не мне, а так, между прочим. Я была никому не интересна.

«Догони, догони, ты лукаво кричишь мне вослед…» Певица еще не допела свою песню, а мои выборы уже и кончились. Дважды голосовала в своей жизни. После того, первого выборного похода, прошло много времени. Да и из кого было выбирать? Всегда фигурировала одна фамилия. Так для чего идти? Портить настроение?

И только спустя много времени, несколько лет назад, я пошла голосовать еще раз. Появилась вдруг возможность выбора. Но чтобы в кабину?! Не-е-т. Прямо тут же, при всех — смотрите, кому это интересно, — разложила на столе свой бюллетенчик.

Ей-богу, мне не нужно было перестраиваться. Я такого ждала, хоть и не верила, что придется «жить в эту пору прекрасную». И все же немного удивительно, что я, пронизанная семидесятилетней идеологией, сквозь которую, казалось, невозможно было пробиться ничему своему, присущему только тебе, оказалась совершенно готовой к такому неожиданному перестроечному взрыву. Ведь непросто сформироваться, получая удар по голове за каждый самостоятельный шаг. Ведь пробовала ранее на экране быть раскованной, живой. Грешной, в конце концов: если ты живой, значит — грешный. А что получала в ответ? «Дурной вкус», «дешевка», «пошлость». А теперь вот оказывается, что это-то и были лучшие куски ролей. Но на сегодня «того» уже мало. Сейчас можно и модно такое, что только и успевай переключать сдерживающие центры самоконтроля. Ведь как тут важно не оказаться смешным, не потерять в погоне за тем, чтобы все время быть «на плаву», своего лица. А, с другой стороны, проработать годы в одиночку, так, практически, и не проявив себя в полную силу?! Но ведь вот же — наступило такое время — твори, выдумывай, пробуй!…

Мы расстались с вами, дорогие читатели (или милые зрители), в 1983 году, когда перестройкой еще и не пахло. В моей книге был оптимистический конец, как и полагалось в духе соцреализма. Меня ждала новая работа в комедии «Любовь и голуби». Казалось, что в жизни наступило небывалое «перемирие», прекрасное затишье, где был и нужный внутренний покой, и желанный успех. И все вместе в этой жизни сигналило: мгновение, остановись! Ведь это мой личный рекорд. Установилась планка, к которой так долго шла неосознанно. Безо всякой надежды. На ходу решая проблемы. Приятно радуясь удачным стечениям обстоятельств. Прошумел «Вокзал», затронув раненые души. Пожалели и посмеялись над героями комедии «Любовь и голуби». После фильма «Рецепт ее молодости» женщины задумались над тем, где бы достать такой рецепт, чтобы прожить триста лет, а выглядеть на тридцать. И еще ничто, ничто не предвещало недоброго. Но весь мой организм беспричинно ощетинился и стал ощущать приближение какого-то очень-очень знакомого состояния: душа заныла в предвкушении мрачных перспектив. Предвидение это преследовало меня всегда и всегда сбывалось — иногда значительно опережая события, иногда отставая от них — тогда оно не могло затуманить вдруг

взорвавшуюся атмосферу счастья и солнца. Но потом мрак побеждал и потихоньку сковывал с головы до ног. Сидишь во мраке и многое передумываешь. Ну что такое успех? Тем более успех, случающийся не впервые? Приходящий тогда, когда ты уже знаешь свои силы, на что способен? Такой вторичный успех лишь жестче подчеркивает твое одиночество — и никто тебе этого успеха не простит. И чем больше успех, чем больше ты известен, тем больше людей против. Этот феноменальный момент — чисто наш, советский. Трезво вспоминаешь, что все это однажды с тобой уже было. Эта трезвость и безжалостность к себе, я думаю, не возрастом объясняется, а биографией. Судьбой.

Уже будучи в предощущении мрака, я снялась в «Аплодисментах». Безвольно уступила настояниям режиссера, пережив несколько болезненных закулисных интриг. К сожалению, сценарий писался на меня. К сожалению — потому, что от меня ничего там не было. И назывался он «Актриса прошлых лет». «Каких лет? — спрашивали артисты массовки, — это что, из жизни восемнадцатого или девятнадцатого века?» Так же безвольно отдала фильму и название книги «Аплодисменты». Что была для меня тогда эта картина? Инстинкт сигналил: впереди может быть повторение «пройденного». Страшновато. Значит — либо вообще отказаться от всякой попытки что-то делать, либо сознательно идти на неудачу. Неудача все же оставляет надежду на какой-то выход. «А вдруг?» Как в революции — либо ждать благоприятного момента, либо действовать вопреки ему. Безумие? Конечно. Но то политика. А в кино вся наша жизнь в повседневных революциях. Победило это безумное «а вдруг». О, сколько в картине осталось сил и разочарований… Неудача. Но парадокс: за рубежом, где вообще ничего про меня не знают, эти «Аплодисменты» принесли мне самые неожиданные горячие и серьезные аплодисменты. На вопрос, как картину смотрели зрители у нас, отвечала честно: очень вяло. Потом я часто возвращалась к причине этой неудачи. В любимой профессии я впервые столкнулась с особым моментом. Самое грустное дело, оказывается, когда в середине работы ты ощущаешь, что она тебя вообще больше не интересует. А ведь еще нужно дотянуть воз до конца. Что ж, в конце концов неудачи и провалы постепенно рождают ощущение того, что в жизни должны быть новые старты — «а вдруг?»

Короче, перестройке на первых порах я не понадобилась. И хотя считала, что давно жила по ее законам, непросто было столкнуться с организацией нового толка, структурными ломками, новыми модами и течениями. Не понадобилась — значит, опять — терпение. Опять ждать, не меняясь.

Подстраиваться, обслуживать — невозможно. Старые ориентиры исчезают. Новые не появляются. Такое бездорожье, так неуютно, не дай бог впасть в панику: заблудишься, уйдешь от себя — и психический срыв обеспечен. Как я прошла по краю? Не знаю. Хотя точно, как у В.Высоцкого: была «на краю». Разве можно безболезненно перенестись из одного времени в другое? Насилие над собственным духом еще более жестоко, чем самое большое преодоление боли в своем теле. Заливала тоска по пространству времени, которое прошло и проходит напрасно. Но к этому моменту у меня уже накопился большой опыт выживания. Как-то, на третьем, или на втором году перестройки позвонил мне один замечательный кинематографист: «А, неистребимая, привет!» Неистребимая. Такое слово неслучайно. Я научилась проигрывать, оставаясь в абсолютном меньшинстве, и знала, что драма одиночества в нашем искусстве — это почти всегда, к большому сожалению, коллективный труд многих, порою очень небездарных людей. В то время я себя чувствовала, как в любимой военной песне: «Похоронен был дважды заживо». И свою жизнь я продолжала в концертах. Во встречах с людьми. В песнях. В экспериментах на эстраде. И вдруг почувствовала, что выплываю. Тихо, незаметно. Но выплываю. И впереди вижу слабый свет. Пять интересных главных ролей и запись первой в жизни авторской пластинки на «Мелодии» за один 1991 год. Разве это не счастливый подарок судьбы за ожидание и терпение? О!!!

Не удались мне все мои страстные желания участвовать в фондах и клубах. Когда отдаешь себя до самого конца, до корней, проникаешь за поверхность, то видишь все без прикрас. Все как есть на самом деле. В коллектив я не верила давно, в коллективе компромисс неизбежен. Но где та грань, которая отделяет компромисс от предательства? И если создавалась ситуация, где мой компромисс мог перерасти в предательство, я всегда исчезала из коллектива. В профсоюз не верила тем более. Только всю жизнь исправно платила взносы. (После катастрофы на съемке, когда чуть не потеряла ногу, позвонили из родного профсоюза маме: «Мы можем выделить триста рублей. Ну, что она? Допрыгалась?» Жаль было маму.) В партию не вступала. Звание получила без этого, в недавнем прошлом столь необходимого момента. За последние годы у нас в стране случилось не одно стихийное бедствие. Многие артисты выступали в благотворительных концертах. Несколько таких концертов после очередного южного землетрясения дала и я. Телевидение зафиксировало это обстоятельство. Зафиксировало, ну и ладно, главное, что деньги пошли на дело. Я была счастлива от чувства исполненного долга. И что же я вдруг услышала в

одной из государственных организаций? «Нам деньги не нужны. Нам важен факт, т.е. „галочка“, то обстоятельство, что благотворительная акция зафиксирована ТВ…» Подобного рода обиды оставляют в сердце шрамы и являются по-моему, одной из главных причин отчуждения человека от общественных дел. И тогда поневоле ищешь свой индивидуальный фронт. Хотя и трудно говорить правду — ведь с ней всегда вступаешь в напряженные отношения с окружающими — но выход есть. Есть выход. Это особенно ясно, когда встречаешься со зрителями. "Сейчас я им все выскажу. Все спою. Все «сплачу». Этот выход, это психологическое состояние дает сильнейший внутренний импульс. Возникает четкое ощущение неизбежности эмоционального выброса, выплеска радости, боли, того и другого смешанного, и еще, и еще чего-то. Как будто это действует адреналин или наркотик, или водка. И тогда ты начинаешь ощущать, верить в то, во что еще вчера, да и сегодня, до выхода на сцену, нельзя было поверить: нет, нет, никому и ни за что не удастся уничтожить тебя духовно. «Та што там гаварить! Артист, дочурка — это як молния! Молния вдарила в дерево, а дерево — брык, об землю, и затрусилося. Так и артист: выйшов на сцену, вдарив в зал — тут, люди и заплакали, и засмеялися, и ближий друг к другу притулилися, и завлыбались, и разомлявилися». Выходишь к зрителю и знаешь: ты, актер, сильнее врачей, всяких экстрасенсов и терапевтов! Это ли не истинное ощущение счастья?!

В двадцать лет, когда зашумела веселая картина, мне сказали впервые: жаль, что родилась я не в той стране. Потом я это слышала неоднократно, и меня это сильно ранило. Что значит «не в той стране»? Но с течением своей качелеобразной биографии, я все больше и больше понимала, что, конечно, родись я в другой стране, моя судьба сложилась бы совсем по-другому… А вот уехать в другую страну… Впрочем, это все отвлеченные, абстрактные рассуждения. Хотя в своеобразную, пусть и миниэмиграцию, я уже переживала — тогда, когда впервые уехала из родной семьи, родного города. Когда улетела в новый чужой мир, где хотя и не было языкового барьера, но ведь все остальное-то было: и новое место, и новые люди, и необходимость утверждаться. Эмиграция, пусть даже такая небольшая, как моя, есть драма. И я эту драму по-своему пережила, переварила. И, кроме того, она, как и безработица, как твоя никому «ненужность» — есть большая школа смирения. Это я понимаю сейчас, хотя раньше мне казалось, что эмиграцией можно считать только жизнь в чужой стране. И еще. Я думаю, что невозможно жить тамг, где может пропасть надежда, что тебя

выслушают. Ведь твой язык, твой личный образ мыслей и словообразований — это твое лицо. Но разве, попади я даже в любые роскошные условия жизни личной, смогу я как актриса, как профессионал сказать что-то свободно на чужом языке и понять тонкость языка, прелесть его… Ну, фразу, допустим, Феди Протасова: «Вы меня простите, князь, но я встал в такое положение в обществе, что малое и давнишнее знакомство с вами не дает мне право на ваше посещение, если у вас до меня нет дела… В чем оно?» Так что тот человек, который сказал мне ту фразу в мои двадцать лет, был прав. Если желать иной судьбы, надо было родиться не в этой стране. Точнее, я бы сказала по-другому: надо было родиться не в этом государстве. Ведь государство — это еще не моя милая Родина. Однако родилась я именно здесь, именно в этом государстве. И я терплю все его недостатки. Терплю периодически пустые прилавки. Нехватку товаров для женщин — даже считаю, что нехватка будоражит фантазию, рождая новые, никому прежде не ведомые, наряды и фасоны. Очень люблю еще существующих широких и бескорыстных людей — думаю, что на мой век их хватит. И рада, что не увижу изменившихся русских, тех, о которых княгиня Мещерская, отвечая на вопрос: «Изменились ли русские за рубежом?» — сказала: «Все русские стали очень жадными и скупыми. Совершенно офранцузились». Рада, что мой папа ушел из жизни необманутый, в полной уверенности, что честно служил и защищал свою страну, «где так вольно дышит человек».

Один очень умный, очень тонкий человек — короче, один академик, прочитав «Аплодисменты», сказал мне: «И все же тут что-то не так. Были, думаю, причины более глубокие. Тогда у вас был такой мощный взлет, такой мощный… и вдруг вы совершенно исчезли… Нет… должно было присутствовать насилие. А?» Это проницательное — «насилие» — молниеносно проникло в притихшую тайну души. И так ее взбудоражило. Так ее разбередило… Представьте, я даже не изменила выражения лица, не убрала улыбки. Но руки мои засуетились. Начали переставлять ненужные предметы. А мозги сообразили: такой человек, конечно, приметит и суетливость рук. Я так и не овладела с годами изощренностью обмана, когда врут и смотрят при этом прямо в глаза. Но если бы довелось ему тогда заглянуть в мои глаза, академик сразу бы ощутил: собеседница недоговорила что-то важное. Не досказала. На большее тогда меня не хватило. Да и не было тогда подходящего, «революционного» момента. Попробую договорить сейчас. Вчера это было еще невозможно. Завтра уже совсем будет тошно от всяческих откровений… «выносов на свет». А сегодня… Ну, может

быть, какой-то человек — с тонкой душой, интересующийся людьми с причудливыми судьбами, с даром необычайной выживаемости — захочет узнать то, что по причине жестких законов времени было недосказано. Так что попробую…

Я еще написала эту «Прекрасную и удивительную жизнь» потому, что меня взяло зло! Зло! В Америке хотели издать «Аплодисменты». Но там, в Америке, нужна, как водится, предварительная реклама. Желательно острая статья. Американка, устроитель издания, уверила меня, что остроты хватит: мои близкие друзья-кинематографисты в Москве рассказали ей, что я десять лет не снималась потому, что лечилась от алкоголизма… Ну, что тут прикажете делать? Молча дослушать, пожать плечами, собрать свои «манатки» и уйти? А дома уж, наедине с валидолом и снотворным выживать, перетерпевать, замыкаться, перерабатывать? А лучше поплакать. Горько, всласть! Да только слез нет. Совсем нет. А те, что в тайниках, — они только для ролей. А значит, только для вас, милые мои зрители. Только для вас.

САД ЭРМИТАЖ

Ах, как бы мне хотелось написать историю об одной актрисе, которая жила в некотором царстве, в некотором государстве. Написать историю с фантастическими ситуациями и захватывающими переживаниями. Но этого я, увы, не смогу. Не сумею. Хотя история эта случилась со мной на самом деле. И не в некотором царстве. А в моем родном советском государстве…

Случилось это вскоре после выхода на экраны все той же «Карнавальной ночи». Я говорю «все той же» как в том анекдоте про одного крупного начальника, которому здорово надоел своими звонками подчиненный. Подчиненный это почувствовал, он был не дурак, обладал чувством юмора и решил обратиться к начальнику так: «Уважаемый товарищ Иванов! С вами говорит трижды надоевший Петров». Начальник рассмеялся и выслушал. Так что, извините, уважаемые зрители. К вам со своим небольшим рассказом обращается трижды надоевшая актриса из трижды надоевшей веселой комедии, которая вынесла ее на гребень волны, а вскоре безжалостно выбросила на пустой берег. Впрочем, и это вы тоже слышали трижды. Но вот — еще вам не известное.

В Зеленом театре сада «Эрмитаж» давали программу с участием артистов, в то время очень дружественных нам социалистических стран. От нашей страны было мое участие. Я любила красивый деревянный узорчатый зал сада «Эрмитаж». И пела в нем с удовольствием. Нравились мне все музыканты нашего оркестра. А я нравилась им. Меня любили все зрители в зале. После песен из фильма, «на бис» — спела песню Анатолия Ленина «Московские бульвары».

Жизнь иногда устраивает также пируэты… Надо же было Никите Михалкову, подбирая музыку к титрам в фильме «Пять вечеров», напасть в архивах радио именно на эти «Бульвары»:

На бульварах московских зеленых
Так чудесны закат и рассвет.
Для студентов, детей и влюбленных
Лучше места, наверное, нет…

Эта невинная песня каждый раз переносит меня в то особое время. А я уже заметила: если в самые неподходящие минуты жизни из памяти извлекается одно и то же событие, то оно и есть суть, завязка многого последующего. Исполнив «Бульвары», я

влетела за кулисы к обожаемым коллегам. Опытные артисты знали, что такие молниеносные успехи так же молниеносно и проходят. Потому смотрели на меня тепло и немножко грустно. А молодые вглядывались: что же в ней такого особенного? Почему она вдруг в такой моде. Это было так. Я была в моде. Меня никто не наставлял. Никто не выстраивал. Я взяла эту моду из воздуха времени. Только тогда я ничего этого не понимала. Это я сейчас такая умная.

Среди всех знакомых и незнакомых лиц я сразу увидела лицо редкой красоты. Как говорили у нас, в Харькове, настоящее «дорогое лицо». Это выражение, кстати, и принадлежало тому «дорогому лицу», которое я сразу увидела и которое резко отличалось от остальных милых, обаятельных и привлекательных. Это был харьковчанин. Наш истинный харьковчанин. Ведь говорят же «одессит». А харьковчанин? Это тоже особый взгляд на ординарную ситуацию, особый юмор, особый настрой души.

В семью пришли гости. Пришли без звонка. Где гости, там и угощение. Жена поспешно берет авоську, бежит к двери и там демонстративно останавливается. Пауза длится более чем нужно. Муж поворачивает к ней голову. Гости вслед за ним тоже поворачивают свои головы. Жена скромно стоит в дверях. «Что? Мы еще здесь? Гости в доме, а мы стоим и думаем?»

«Дорогой мой Ленечка! Но ведь еще не коммунизм».

"Ах! — Он бьет себя по лбу. — Я дурак! — и лезет в карман за деньгами.

"Дурак? — говорит жена — Идиот! Когда я тебе доверяла хоть одну копейку? — и, помахивая в воздухе кошельком, со смехом убегает в магазин.

Господи, неужели было такое время, когда верили, что будет коммунизм? Что он не за горами. А главное, что мы все будем при нем жить. И самое фантастическое, что при коммунизме не будет денег?!!

Сейчас передо мной, за кулисами сада «Эрмитаж» стоял особый истинный харьковчанин, любимец города Харькова — Миша Гулько! Поверьте, первому красавцу Голливуда Роберту Тейлору нечего было бы делать рядом с нашим Мишей Гулько. А для тех, кто не знает Роберта, ну… может, отчасти, Ален Делон. И то, когда он только начинал, и еще не был продюсером. И не играл полицейских детективов. Когда еще не появилось то, деловое, ничем не скрываемое на лице — как бы ни любил на экране, как бы ни был нежен. Миша Гулько. В роскошной улыбке блистал ряд крупных жемчужных зубов. Матовая кожа лица с легким румянцем на скулах. Карие, с поволокой глаза. Голова совершенной формы, иссиня-черные волосы. Много позже я

увидела, что Мишины волосы редеют. Черт, наверное для красивого мужчины встречать возраст тяжелее, чем для красивой женщины. Но Миша не был бы крупной личностью из Харькова, с моей улицы Клочковской, если бы придавал этому серьезное значение. А ирония? А самоирония? А юмор? А головной убор, в конце концов? Красивая шляпа придает особый шик «дорогому лицу»… У меня в руках американская газета — в Америке у меня было несколько выступлений в фонд Армении — и об этом статья. А на последней странице портрет Миши Гулько в роскошной шляпе: «Ресторан „Приморский“. Наш ресторан давно завоевал популярность у широкой публики. О нем писали такие престижные издания, как „Нью-Йорк Таймс“, „Таймс“ и др.» У нас самый широкий выбор блюд кавказской кухни и самые вкусные и обильные порции всевозможных блюд на шампурах. Шеф-повар и хозяин ресторана — виртуоз гриля Буба Котовели. Для гостей играет оркестр «Аллилуйя» под управлением Хаима Ковнатора. В будние дни выступает популярный исполнитель жанровых песен, известный по многочисленным пластинкам и кассетам — Миша Гулько".

В то время, Миша, будучи в Москве, увидел афишу с моим именем, зашел на концерт, желая познакомиться с восходящей харьковчанкой.

Он галантно представился. Сказал, что тоже из Харькова. Очень рад, что и я из нашего необыкновенного города. Что он тоже поет и играет на аккордеоне. Что вышел из институтской самодеятельности. Инженером не стал. Победила любовь к музыке. В общем, он мне представляется!… А я? Что я? Да нет слов! Онемела. Гулько! Миша Гулько! Сам Миша Гулько стоит со мною рядом. О, по Мише вздыхали все! Все девушки. Прошу прощения за слово «девушки». Но так было. «Не пахло» тогда «старухами», «чувихами», «путанами» и «герлами». И все мы, девушки, были в него влюблены. Потому что он был опасен. Да, да. Вы все правильно поняли. От него исходило то запретное, редкое и чувственное, что называется, как я потом узнала, «мужским началом». Это «начало» — оно как деньги, как талант: или они есть, или их нет. Очень, очень, очень хотелось безумно полюбить человека с «дорогим лицом»! И, ей-богу, не знаю, что бы было, если бы я в то время уже не была влюблена в будущего отца моей дочери. Тоже красивого человека. И тоже с очень «дорогим лицом», о котором Миша первым сказал несколько очень точных проницательных слов.

А между тем знакомством в «Эрмитаже» и фотографией в американской газете… О, сколько у нас было странных, неожиданных встреч.

Проходит жизнь, проходит жизнь
как ветерок по полю ржи —

раздается замечательная песня в исполнении Татьяны и Сергея Никитиных. Мы — прекрасный пианист и композитор Борис Рычков, блистательный контрабасист Валерий Куцынский, нежно обнимающий свой «шкаф», как на музыкантском языке прозвали его инструмент, и я со своим маленьким чемоданчиком — спускаемся с трапа самолета. 1970 год.

Лишь пустота в твоем зажатом кулачке.
Проходит жизнь, не уходи, не уходи.

Музыка звучит из магнитофона. Его держит в руках человек с «дорогим лицом», а его приятный сипловатый голос произносит: «Дорогие столичные гастролеры! Вас приветствуют скромные артисты великого города Петропавловск-на-Камчатке — надежного бастиона Дальнего Востока нашей необъятной Родины. Привет от харьковчан!» — и Миша Гулько дарит мне цветы. «Приглашаем вас на наш концерт отдохнуть после вашего». Вечера в ресторане, во всех концах страны, где и когда бы в них ни работал Миша Гулько — это всегда особые, срежиссированные спектакли, не забывающие запросов и пожеланий публики. Я слушала его и в Сочи, и в Москве, и в Петропавловске-на-Камчатке.

«Дорогие труженики моря! Добрый вечер! Проходите, усаживайтесь. Вижу среди вас дорогих Сашу и Валю. О, сегодня вы в прекрасной компании. Тем разнообразнее, тем веселее».

— Миша, ты их действительно хорошо знаешь? — спрашиваю его после концерта.

— Первый раз вижу.

— А почему ты уверен, что они Саша и Валя?

— Проверено. Обязательно есть Валя и Саша. Ну, или я просто ошибаюсь. Но людям приятно, когда их встречают. Для моих друзей Наташи и Володи, скрепленных узами брака уже далеко не вчера, исполняется песня: «Зачем тебя я, милый мой, узнала».

Зал переполнен. На улице выстраивается очередь в ресторан. Там сегодня поет харьковчанин Миша. Миша же, похорошевший и преобразившийся, как настоящий артист, подморгнув нашему столику, шепчет:

— Ну, погнали тюльку. — На морском жаргоне это означает «улов начался».

"По заказу компании наших прославленных врачей, которые сохраняют нашу с вами единственную жизнь и которую надо прожить так, чтобы не было мучительно больно, в сопровождении ансамбля звучит песня «Если я заболею, к врачам обращаться не стану». За жизнь! За жизнь, друзья, наш постоянный тост. За жизнь, хоть она и коротка, как детская сорочка. В честь жизни звучит «Танго смерти».

— Миша, что ты мне посоветуешь купить на память об этом прекрасном городе?

— Это не Африка и не Стамбул. Но у нас есть то, чего у них нет. Крабов навалом. Икры — залейся. Сиди в горячем источнике — не хочу. Купи одну дорогую вещь, пока рыжуха не подскочила. Как, не знаешь, что такое рыжуха? Ха-ха, рыжуха — это золото.

И я себе купила колечко из высокопробной «рыжухи».

… Куда-то меня, как всегда, занесло. Зашевелилась память. Понесло. Разговорилась… Недавно в одной картине моя партнерша подавала поучительную реплику из Фейхтвангера: «Человеку нужно два года, чтобы научиться говорить, и шестьдесят лет — чтобы научиться держать язык за зубами».

И мы увиделись. В сентябре 91 года. На 5-ой Авеню. А дело было так. Начав ньюйоркский концерт, сквозь пронизывающие любопытные разглядывания, я сразу почувствовала обжигающее тепло и нежность. Даже сбилась с дыхания. И сделала шаг. Шаг навстречу этому теплу. Перешагнула свет рампы: «Миша, это ты?» Конечно, это был Миша. Он слегка кивнул и послал рукой слабый незаметный привет. А после концерта провели прекрасный вечер! Миша был с женой — умной, деликатной женщиной. Я его всегда уважала за то, что дур и «станков» рядом не держал. Во всяком случае, с ними не знакомился. Ужинали в китайском ресторане. Миша блистал остроумием! Он перемежал богатый русский язык невероятными идеоматическими выражениями, в сравнении с которыми shit и fuck — детский сад. Ясли. Когда его темперамент выходил за пределы, все разбросанные по залу, понимающие русский, взрывались восторгом, аплодировали за умение неординарно построить фразу, вывернуть ситуацию, просчитав ее на сто ходов вперед, и ее запить. Но как! Как только умеет такое делать один Миша Гулько. Я видела, как этот дивертисмент пытались изображать другие остроумные гусары. Слабо! Ясли. Не так долго и раскатисто она булькает в горле, родимая «Столичная». Ах, Миша! А ты изменился. Стал еще красивее! В мудрых глазах и юмор, и драма, и на миг в них появляется такой трагический взгляд куда-то внутрь себя… Этот взгляд я уловила, когда ты пел у себя в «Приморском» ресторане. Я пришла туда с друзьями без предупреждения. Ты пел про Харьков, про нашу

улицу Клочковскую, про себя, про нас, разбросанных, оставшихся, уцелевших и полуживых. Слушая тебя, каждый человек открывал свежесть и прелесть самых обыкновенных, самых простых естественных человеческих чувств и истин. В нашей профессии это самое трудное дело. Это я знаю теперь.

Когда ты отправлял меня из Нью-Йорка в Филадельфию, когда в ночную жизнь отовсюду выходили и выпрыгивали люди, они тебя все знали, кланялись и здоровались. «Я их всех люблю, родненьких. Через меня же все проходит. Все знаю: кто кому платит, кого будут брать, кого мочить… Смотри — чтоб я так жил — этот из Питера. Заблудшего интеллигента вижу по походке. Проверим? Мужик, стой! Ты откуда? Ну! Что я сказал? Здесь я стал настоящим инженером человеческих душ… Старик! Назови число!» — обратился он к пьяному с желтым пакетом.

— Десять! — ответил тот.

— На, держи! — и Миша протянул ему 10 долларов. — Живи долго, папаша. Пей и ничего не бойся! Эти фрукты ей на дорогу.

Невозможно болела душа. Мой друг стоял среди дороги, загруженной машинами и черными целлофановыми мешками для мусора. Он посылал прощальный привет. Очень трагично. Мне было так одиноко. Хоть рядом стоял, казалось бы, близкий человек. Конечно, близкий. С того самого 73-го, сколько вместо отъезжено, прожито и спето. Но с недавних пор мой отвратительный инстинкт сообщал мне, что я нахожусь в тесных объятиях изощреннейшего предательства. Это точно, что непознаваем до конца самый близкий человек. Так и не знаешь, кто живет с тобой рядом. Жутко…

Ах, Миша, прощай, или до следующей встречи… Миша, пустыня, вокруг пустыня…

Итак, Эрмитаж, концерт, «Бульвары», «дорогое лицо», которое заставило улететь мысль в архивы памяти и, которое, уже — как грустно — не встречу ни в саду «Эрмитаж», ни на Маяковской. А, может, увидимся на 5-ой Авеню, когда буду на гастролях в Америке? А тогда я еще долго беседовала с кумиром своего детства — он мне говорил что-то о моих родителях, о Клочковской, о школе, о тембре голоса, о тонкой талии — а я уже настойчиво следила за двумя фигурами, которые по узкой аллее сада медленно приближались к открытым дверям актерских кулис. Неужели опять? Внутри разливался незнакомый испуг. Моя открытая душа поспешно застегивалась на все пуговицы. Может быть, оттуда из тех мгновений, и берут начало приступы мрачных моих тупиков, депрессий, когда смысл жизни теряет свои реальные контуры и очертания?

«Людмила Марковна! — так меня еще никто не называл,

разве что учителя, когда знакомились первый раз с классом. — Какой успех! Поздравляем, поздравляем… Мы вас проводим».

«Конечно. Спасибо. С удовольствием». Когда на меня идут вот так, внаглую, я, все отлично понимая, глупо улыбаюсь, киваю, и, как бы, подставляю себя. Словом, веду себя, как дура. Именно, как дура. Меня многие в жизни считали дурой. Все те, кто не узнавал ближе. Слава богу, я сейчас все реже и реже бываю в этой роли. Но бываю. Тогда же я, как истинная, восходящая молодая дура, начала еще пуще хихикать, кокетничать и показывать на Мишу Гулько.

«Вас что, этот молодой человек провожает?»

Как я теперь понимаю, инстинкт самосохранения у Миши был всегда развит чрезвычайно остро. Может, он меня и проводил бы. Но тогда быстро, и как-то особенно на английский манер исчез.

«Да вы не беспокойтесь, отсюда до общежития так далеко, я на метро, я сама, спасибо».

«Как же, как же, Людмила? Вы ведь теперь совсем рядом, на улице Горького…»

«Ой, забыла, я там живу всего два дня, еще не привыкла».

«И телефончик теперь у вас есть».

«Ага, и телефон… Знаете, так интересно звонить… У нас в Харькове никогда не было телефона. А в общежитии всегда около телефона много народа. И вообще, я так редко разговаривала по телефону. Еще к нему не привыкла».

«Вот мы вам и позвоним. Не возражаете?»

«Нет, что вы, что вы, с удовольствием, пожалуйста».

«Ах, какой успех! Удивительный успех. Конечно, вы звезда, Людмила — вы звезда».

О, какой мне «варили шоколад». Как мне вливали этот сладкий яд. Ах, этот бешеный успех. Ах, эти бурные аплодисменты. И ведь подчиняешься. И тянет тебя куда-то, во что-то. Во что-то такое безумное, что и хочется потрогать, и нельзя. И подступает предчувствие чего-то мрачного. Но тут же отступает. И сразу делается так блаженно-сладко. А вдруг у тебя это отберут? И ты будешь рыдать, метаться и искать, как ищут инъекции для наркотического счастливого ухода? Я зависима. От кого? От чего? Да нет, ерунда. Я независима. Я свободна!

Мои спутники провожали меня с двух сторон. Счастливая, я с улыбкой направо и налево раздавала автографы. «Ну что ж, Людмила, до свидания. До скорой встречи».

Так закончилась наша вторая встреча. А первая…

УТРЕННИЙ ВИЗИТ

«До скорой встречи. До скорой встречи… Только желательно, чтобы о наших встречах никто не знал». Так было сказано. Мягко говоря, велено. Не зря же я хотела уйти из общежития. Хотела скрыться… Помогайте, дорогие папа и мама! Мне нужно снять комнату.

Папа и мама. «У нашей семье, дочурка, можна сказать собралася у в одну кучу уся советская власть, а можа даже з у сим плюсум электрификацией усиеий нашей страны». Говорят, чистая кровь, когда нет смешений. Когда в семье все одной национальности. Не знаю. Мои чисто русские папа с мамой — это такая невозможная смесь противоположностей, что… Только недавно поняла я истинный смысл слов моей бабушки, маминой мамы, над которыми смеялась в детстве.

«Ничего, ничего! Мы, гниленькие, мелкие людишки еще себя покажем. Россия еще не склонилась перед провокаторами».

И что же вы думаете? Как-то на третьем, или на четвертом году нашей Великой Перестройки, в один из читательских запоев, вижу: «Что делать этим маленьким, гниленьким людям в стране, где с невероятным усилием действует молодой хозяин, рабочий класс, выдвигая из среды своей умных, талантливых строителей социалистического общества, в стране, где создается новая индивидуальность». (М. Горький, 12 декабря 1931 года.)

«И вот, дочурка, вокурать у тех годах було такое поветрие: усех талантливых хлопцев з народа высовывать прямо ув интеллигенцию. Ну и меня, як талантливого человека, высунули. Я ж на быяне ще играл. Так меня прямо з шахты и послали на высшее образование. Прямо у Харьковский муздраминститут по классу быяна».

Так вот оно что за «поветрие». Папа всю жизнь мечтал о земле и садике, а стал «новой индивидуальностью». А может, останься простым крестьянином, он, зная землю, как свои «пять братов», выращивал бы небывалые урожаи. И может, они перекрывали бы достижения тринадцатого года?

А мама… Ей не надо было учиться шестьдесят лет держать язык за зубами. Она замолчала очень рано. Молча писала, что «из рабочих», с опаской оглядываясь на бабушку, чтобы та спрятала свой «гниленький» столбовой язычок. «Мы — столбовые дворяне, записаны в книге. Нас всех наперечет знают».

Потом мама боялась графы «был ли в оккупации». Потом боялась, как я там одна в столице. И всю жизнь боялась за папу. Часто, не разобравшись в обстановке, он, ни к селу ни к городу,

мог принять «силовое» решение. А она расхлебывай потом. Мама знала, что его сила была не в знаниях и не в опыте. Свои промахи папа быстро и легко забывал. И потому их повторял снова и снова. Эх, в удивительном сплаве страстной, жестокой, озорной и нежной, отходчивой и мудрой Души была его главная сила. Мама его любила, прощала, понимала. А то бы сбежала от этой загадочной русской души, куда глаза глядят. Я редко встречала таких людей, как моя мама. Только новое время, только сегодняшние открытые тайники дали мне эту бесценную возможность оценить и понять все по-новому. Я в ней увидела человека с чертами, принесенными из другого мира, из мира других людей. Она нигде не обучалась особой дипломатии. Но ее можно «пускать» в любую обстановку, в любую страну. И она никогда не будет в униженном положении. Скоро будет знать язык. Будет контактной и легкой в общении. Не сделает ни одной промашки. Вот они, мои папа и мама, и родили меня — типично советскую полукровку. «Совок» — точное определение на жаргоне. Ну, может быть, полусовок. Голубую жилу папа перебил. Крестьянско-пролетарской мама помешала. Правда, для меня здесь кроется своя выгода. В моей профессии нужно чувствовать и «гниленькое» и «красненькое». Главное, что я выросла человеком, страстно влюбленным в свою страну. Этой преданностью и патриотизмом руководил мой папа. А мама только помалкивала. Я, как и все вокруг, стоя по стойке «смирно» в почетном карауле на школьной сцене, плакала у портрета вождя. И как все люди вокруг, была уверена, что жить без него мы не сможем.

У каждого свое время. У каждого своя семья. А время и семью не выбираешь. Одного человека при рождении встречает икона. Другого портрет вождя. Иконы висели в темном уголке комнаты моей бабушки. Портретами вождя были завешаны все улицы, площади и учреждения. В детском саду висел портрет — вождь держал девочку на руках. И под портретом было написано: «Вин узяв на рукы Гэлю и згадав про всих дитэй». Мне лично тоже очень хотелось посидеть у вождя на руках. Очень, очень хотелось быть Гэлей. Выросла среди пустых стен и случайной мебели. И, как теперь понимаю, у нас не было ничего. Абсолютно ничего такого, что называется благосостоянием… Недавно добрались до высоких антресолей. Туда, после смерти папы, мы боялись заглядывать. Там лежал папин баян в клеенчатом чехле, пионерский бубен, с которым работала мама и который недавно снимался в фильме «Моя морячка». Я там играю мамину профессию — массовика. И еще там лежала… кислородная подушка. Вот и весь капитал, нажитый моими родителями за всю жизнь. Но парадокс, загадка времени — жили весело, дружно и

счастливо! Я пробежала детскую и юношескую дистанции бедная, гордая и счастливая.

«До скорой встречи. До скорой встречи. Только желательно, чтобы о наших встречах никто не знал». Так было сказано, мягко говоря, велено.

«Ну что, кылхозник, будете опять возделывать свои кылхозы? Что там говорят ваши лапытники?»

«Борис, ну што ты, на самом дели, я ж у диревни давно не бував, я ж у городи щитай аж з тридцать третьяга года, здесь, у Харькови, з Лелюю, да ты ж сам усе знаешь».

«Знаю, кылхозник, „усе“ знаю, голубчик».

Мой дядя Боря. Один из шести маминых братьев. Это он возглавил борьбу за ее освобождение от мужечонки-лапытника. Но то были рассказы папы. А сейчас, после войны, я его увидела первый раз. Папа прав: «Росточка небольшога, як и уся симановщина». Наполеоновский комплекс подкреплял барскими манерами и приказами.

«Так-с, так-с… Так-с, так-с… Лола! У матери давно была? Что Татьяна Ивановна? Уже полностью в ладу с режимом? Что? Ха-ха-ха! Так-с, так-с… Уборщицей на велосипедном заводе? Недурственно, забавно, очень забавно. А манеры, а воспитание куда же? А-а-а! Научили, научили вас спинки гнуть-с. А как же любимец Николашка? Не вспоминает-с?»

Тогда мне показалось, что дядя Боря выдал секрет. Значит, дедушка ушел от бабушки из-за того, что она влюбилась в какого-то Николашку.

«Луса! (Это мне). Ну-ка, принеси мне спички, в моей шинели, в правом кармане. Ну-ка, чиркани… Дымок от папиросы, дымок голубоватый…» — фальшиво запел дядя Боря. Как же я его не любила за своего папу. Мои руки тряслись. И спички, как назло, не зажигались.

— Ах, спички шведские, головушки советские, сначала вонь, потом огонь. Не слыхала такую песенку? А какие же слыхала? Ну, что ты молчишь? Ты говорить умеешь? Ну, какие песенки вы поете с папулей? «На просторах Родины чудесной…» — такую знаешь? А-а-а, знаешь. Молодцом.

Такую песню я знала. В школьном хоре ее дружно пели: «Мы сложили радостную песню, о великом друге и вожде».

— Борис, хватит! — повысила голос мама.

— Но, но, Лола. И откуда такие нервы? Да, ты слыхала, говорят, скоро будет реформа. У меня есть преинтереснейшая идейка. Одни люди есть на примете. Мозги невелики, но где их сегодня взять, эти мозги? Возвращались из Воркуты, так ты представляешь, Марк, деньги мешками везли! Дымок от

папиросы… Та-а-к… палочка, нолек, нолек, нолек, палочка — дымок голубоватый, нолек, нолек, и… опять нолек — на сегодняшний день это изрядный капиталец.

— Послушай, Нолек, — и с тех пор дядю Борю в нашей семье звали только «Нольком». — Ты сперва собою займись. В тебя ж у во рту ни одного зуба нима. А тебе ще тока сорок.

— Цынга, Марк.

— Ето як, ето?

— Болезнь такая, Марк.

— И што и усе там так?

— Усе, милый кылхозник, усе.

— Борис, я сказала хватит! Хочешь неприятностей?

— Лель, ты не встревай. Не нада наседать. Человек свое отстрадал. Борис, ты ж хороший парень. Давай мы тебе зубы вставим, чтоб ты был як человек. Женим тебя. И баба у меня одна есть на примете. — И шепотом, чтоб не слышала мама: — Здоровая, чернявая, крепкая, як орех. Лель, да ты ее знаешь! — Громко на кухню, маме. — Продавщица у нашей хлебной. Она тебя, Борис, и покормит, и комната в нее есть. А пока живи в нас.

— Палочка, нолек, нолек, и опять нолек — ну, если это удастся!

— Нолек, я ж до тибя гаварю. Эх, Барис, усех денег не заработаешь. Запомни: у гробу карманов нет.

— Кылхозник! Где деньги, там и жизнь! Деньги не пахнут! А гроб… Это навевает тоску. «И монисто бренчало, и цыганка плясала, и визжала заре о любви. Я сидел у окна, в переполненном…»

— Борис, Марк! Сколько можно? Идите на базар, совсем нет картошки!

— Лель, ну на самом дели! Як же з вами можна по ласке? Во, мамыньки родные. Во, порода! Во, симановщина! До него ж по добру, по-здоровому, от чистага сердца, а он все одно — гнет свою песню: палочка — нолек, палочка — нолек, палочка — нолек…

Дядя Боря достал из зеленого вещмешка металлическую коробочку. Разложил на столе иглы, шприц, ампулы. Мы с папой с любопытством следили за его действиями.

— Видишь ли, Марк, мы теперь имеем небольшой диабет-с. Недавно у меня случился инсулиновый шок. Пренеприятнейшая, доложу я вам, штука… Дымок голубоватый… — и он легко всадил себе в руку иглу.

— Ну ты, ну ты, Барис… Як же ты здорово наловчився, сам себе такое, ето ж мамыньки родни.

— Да, Марк, войны не нюхал, не нюхал… но вдыхал другие

кое-какие запахи, которые, я вам скажу…

— Борис, здесь дети!

— Лола, плесни в стакан воды своему братцу!

— Да пошел ты, — тихо сказала мама и скрылась на кухне.

— Ну и черт с вами!.. Ах, огурчики, да помидорчики, а Сталин Кирова убил да в коридорчике…

Ужас! Вот это ужас! Волосы дыбом. Такого я никогда в жизни не слышала. О дяде Боре всегда молчали. Теперь понятно, почему. Он был против самого Сталина.

«До скорой встречи. Только желательно, чтобы о встречах никто не знал».

Еще до подъема на занятия в дверь комнаты общежития осторожно постучали. Моя кровать стояла у входа. Все мне подсказывало, что стук связан со мной — после выхода картины у нашего общежития все время появлялись толпы любопытных. Я открыла дверь. Передо мной, как близнецы-братья, стояли двое молодых людей в темных костюмах, в светлых рубашках, с галстуками. С добрыми открытыми русскими лицами. Так рано в общежитие никого не пускали. Я в ситцевом халатике стояла напротив незнакомцев и ощущала нечто неведомое, но мобилизующее и заставляющее повиноваться.

— Людмила, вы можете быстро одеться? Мы вас подождем.

— Да, да, конечно, — ужасно стесняясь своего «незвездинского» вида, прошептала я. Верите, мне даже в голову не пришло спросить, кто они такие. Откуда они и зачем я им понадобилась так рано. А о том, что меня могут куда-то завезти, изнасиловать, убить… Это первое, что пришло бы мне в голову сегодня, в 1991 году. А тогда — нет. Нет. Такая мысль была невозможна. Преступления и всякого рода шантажи происходили только там, на далеком Западе.

— Вы наденьте пальто. Мы проедем. Тут недалеко.

— Как проедем? У меня же занятия.

— Не волнуйтесь, это мы берем на себя. — И опять улыбнулись тепло и доброжелательно.

В общежитии еще все спали. А мы поехали в черной машине, в центр, по нынешнему проспекту Мира. По обе стороны будущего проспекта стояли маленькие деревянные домишки, сарайчики, утопающие в зелени. А от Лесной улицы, через весь проспект, аж до самого института шел Пятый трамвай. По дороге велись общие разговоры об учебе, о картине, которую они смотрели, и очень смеялись. Мои незатейливые ответы слушали внимательно. Шофер тоже милый, с приветливым лицом. Только, к сожалению, глухонемой. Ни «да», ни «нет». Даже ни одного взгляда на модную артистку. Около гостиницы «Москва» машина

остановилась. Мы прошли в огромный холл и направились к лифту. Седьмой этаж. Горничная тоже глухонемая. Номер без кроватей. Никакого жилого запаха. И опять недолгий, «ниочемный» разговор, из которого действительно ничего, ну абсолютно ничего не произрастало.

Я пытливо и открыто заглядывала им в глаза. Что же происходит? Зачем я им нужна? Вся моя фигура была напряжена, а душа сжата в твердый комок. И вполне возможно, что именно с тех пор, когда я потом говорила с людьми, которые настораживали неопределенностью, ускользающими и обтекаемыми фразами, я старалась все же незаметно подсмотреть их глаза, соображая, что человеку от меня нужно, врет или не врет.

В институт, на занятия я возвращалась на метро и трамвае. Так что же это было? Когда тебе ничего не говорят, поневоле приходится строить догадки. Знакомство с артисткой? Почему такое неестественно раннее? В гостинице, в номере, где никто не живет? Прощупывание? А что у меня можно прощупать? Я живу в общежитии. А мои родители в Харькове. Только, пожалуй, од но. Они уже знали, что скоро я еду в составе молодежной делегации города Москвы в Берлин. В институте мне только намекнули, что поездка может состояться, а они это уже знали точно. А вдруг они ищут кого-то таким оригинальным способом на роль? И я им, похоже, не приглянулась. Иначе бы они меня проводили. Что-то здесь не так, не так. В образцовском театре, в пьесе «Под шорох твоих ресниц» было такое вот название то ли песни, то ли фильма: «Фиалки пахнут не тем». Пора, пора бежать из общежития. От богатых сынков с иностранными машинами. От этих странных утренних визитов. Надо скрыться. Только почему напоследок: «Желательно, чтобы о нашей встрече никто не знал». Никто?

ЛИДА

Постарела и поредела симановщина. Все мамины братья ушли из жизни. До конца так и не перестроившись. Дядя Боря бунтовал, ссорился, нарывался. Потом на время притих. Женил его все-таки папа на чернявой продавщице. И зубы вставил. И дядя Боря начал работать. И даже по специальности. Инженером, правда, послали его в небольшой городок. Но хватило дяди Бори ненадолго. Наверное, выступил, высказался, разъяснил рабочим, что почем. А может, его бунтарский характер, вечные насмешки и веселое безразличие к жизни выкинули с ним что-то из ряда вон? Может, взял да спел с трибуны того заводика «Ах, огурчики, да помидорчики…» И исчез наш Нолек бесследно. Бабушка, похоронив свое сокровенное, выживала. Молча следила за «успехами народа». И от души приняла лишь моего папу — «деликатного и добрейшего из людей». Приняла со всей искренностью и теплом. На которое только была способна ее скупая на сантименты натура.

Сейчас из всей «симановщины» остались лишь два человека, две сестры — моя мама и тетя Лида. Когда-то мне очень хотелось сыграть Лидину судьбу на экране. Все Симоновы — рассказчики оригинальные. Их характерная харьковская напевная интонация и мягкое "г" делает особенным их личностный русский язык.

Перед самой войной Лида училась в медицинском институте. Училась блестяще. Однажды она принесла из института настоящий человеческий череп. Мне было очень страшно. А папа с необыкновенным интересом его рассматривал и заставлял Лиду как можно больше рассказывать про медицину. Все выспрашивал и выспрашивал, «что там на лекциях студентам говорит наша профессура». Когда в Харьков вступили немцы, Лида часто бывала у нас.

«Ой, ребенок, помнишь? Ты прибежала ко мне и кричишь: Лидка, давай быстрей ведро. Там немцы с коровы перуски снимают. Знаешь, сколько крови и мяса. Там детей уже много. Давай ведро, я принесу. Очень кушать хочется».

Хорошая у меня память. Но корову не помню. Коров я увидела уже в пионерском лагере. А так… Вроде шапчонка у меня пушистая была — помню. И шубку, в которой в садик ходила. Мне ее папа купил до войны. А вот коровы не помню. Наверное, это все-таки была лошадь. В первые дни оккупации их было много. Раненые и полумертвые лошади лежали на улицах. А позже их всех съели.

Но однажды Лида исчезла. Ее угнали в Германию, и мы

ничего о ней не слышали аж до осени 1945 года. Уже и папа мой вернулся. И я после уроков летела домой. Не дай бог, не застать его! Боялась, чтоб он без меня не ушел куда-нибудь к друзьям. Или на базар. Или устраиваться на работу. И вдруг за нашим столом сидит очень симпатичная молодая женщина с коротко остриженными волосами. На ней рыжеватое платье в белый горошек не нашего покроя. А глаза такие знакомые… И смеются.

«Лида! Лидочка!» — Я бросилась к ней на шею. Мама и папа плакали. Наша Лида жива!

Их везли в Германию в вагонах для скота. Через единственное решетчатое окно они прощались с Родиной. В Германии работали на подземном военном заводе. С утра до ночи под землей. Ночевали в лагерных бараках. Кто заболевал, не тянул, хирел — те исчезали. Благодаря своему мощному «симановскому» породистому организму Лида выжила в подземной сырости на баланде.

«Леля, Марк, я знала, я вернусь домой. Я так была в этом уверена, так уверена».

… Лида была всегда опрятна. Два раза ей ничего не надо было объяснять. Еще со школы отлично знала немецкий язык. Через какое-то время на заводе, в цеху у девушек стала появляться жена начальника. Ходила между ними, приглядывалась, внимательно рассматривала их лица. Ей нужна была пара приличных русских «швайн» для черной работы на кухне и по дому. «Лидию» хозяйка скоро отметила. И стала поручать ей более чистые дела. Перевела ее в гладильную. Белье блестело! Хозяйка не представляла, что в грязной России могут быть такие чистые и умные женщины. В гладильную к Лиде стали наведываться три девочки. Три дочки хозяйки. А самая маленькая так пристрастилась к Лидии, что однажды заявила, что без Лидии есть не будет. Хозяйка подарила Лидии цивильную одежду. И первый раз не пустила ночевать в барак. Выделила ей чуланчик с кроватью, столиком и шкафчиком. Маленькая девочка приходила в комнату к Лидии, и та рассказывала ей русские сказки и всякие истории из жизни нашей семьи. Потом девочка решительно сказала матери, что без Лидии не будет спать и молиться на ночь. И Лидии впервые разрешили переступить порог хозяйских покоев. Разрешили зайти в детскую и стоять рядом с кроватью маленькой девочки.

«Леля, Марк, если бы вы знали, как я по ночам плакала, как мне снился Харьков, бабушка, вся наша непутевая семья. Иногда плакала целыми ночами напролет. Хозяйка спрашивала, почему я плачу, может, мне чего-то не хватает, надо все честно рассказать. Я попросила разрешения хоть иногда бывать у своих подруг в

лагере».

— О, конечно, я понимаю, Лидия, вам хочется говорить по-русски.

И меня стали раз в неделю отпускать к своим.

Леля, Марк, и тут мне пришла в голову одна рискованная идея. Когда в доме не было хозяев, я искала по приемнику передачи из Москвы. Что ж там на Родине происходит? Ведь никакой же информации столько лет, никакой! В лагере не знали ни дат, ни чисел, ниоткуда ни весточки, сходили с ума! Под землей по десять часов! Работа… одно и то же, одно и то же с утра до вечера. Я стала потихоньку записывать в блокнот сводки Информбюро. И вдруг однажды, за обедом, маленькая девочка говорит родителям, что они с Лидией слушали «Москау». Я похолодела на кухне. Это было, когда наши уже освободили Польшу.

Представляете, какая была обстановка в Германии? У меня сразу же был сделан обыск. Какая же дура! Хранить свои записи под матрасом. Ну, тут же гестапо, и прощай моя жизнь. Попала я уже совсем в другой лагерь. Ужас! Тот подземный завод и бараки показались довоенным летним курортом. Работали в каменоломнях. Таскали камни. И все «Шнеллер, шнеллер, шнеллер»… Упадешь — били. Но это даже лучше. Только бы не «шнеллер». От этого слова и сейчас могу сойти с ума. Нет, Леля, того не забыть. Не излечить душу и память, понимаешь? Не излечить… И вот как-то утром нет ни криков, ни собак. Нас никто не выстраивает. Будто все вымерли. Тишина. Сидим закрытые. Ни воды, ни еды — ничего. А бомбят чаще и чаще. А потом слышим дальнобойные орудия. А потом все ближе и ближе. А потом, Леля, Марк, открылись ворота и нас освободили. Мы свободны! А войска ушли дальше. А нам что делать? Наш лагерь был в том месте, который был потом английской зоной. Но главное, мы вырвались на волю. Решили пробираться к востоку. Шли наши, немцы, поляки, чехи, французы — все, все. Все стриженные, худые, в лагерных одеждах. Сразу всем было ясно, кто мы, и откуда. Группы двигались в разные концы — кто куда. Все пробирались ближе к своей стране. Мы же приближались к границам своей любимой Родины. Потом пошел слух, что группами ходить не нужно. Особенно одним женщинам. Начались грабежи, насилия, убийства. И накакой защиты. Никакой. Ничейная земля. Ужас. Страх. А мы вот уже рядом. Совсем рядом. А вот и наш родимый солдатик. Да мы ж его не видели пять лет! Леля, Марк, какое это счастье! Вот сейчас, через несколько минут, упасть на родную землю! Лежать на ней. И целовать. И нюхать. И трогать. Ее, милую, родную, единственную! Нет, Леля, это счастье

ни с чем не сравнимое. А солдатик нам: «А ну назад! Стрелять буду! Откуда пришли, туда и идите. Много сброду разного. Наших кормить нечем, а тут еще… А ну, сказал, назад, б…, стрелять буду!» В то время был отдан приказ о прекращении мародерства и грабежей среди немецкого населения. Короче, Леля, парадокс! Если бы мы были немками, то нас без разговоров пропустили бы через границу. Ой, тогда многие испугались, отсеялись, кто куда. А я, как чумная, хочу домой! Остались несколько женщин. Из мужского лагеря для военнопленных к нам присоединились двое. Пошли мы по немецким провинциям. К лагерникам жители относились сочувственно. Все слышали о газовых камерах. Собрали для нас кое-какую одежонку. Я вот и сейчас в том платье. И представляете себе, Леля, Марк, я говорила с нашим же офицером на немецком языке. Я ему объясняла, что нам, немцам, пострадавшим от гитлеровского режима, необходимо перейти границу. Здесь, недалеко наши семьи. А в душе жгли слезы.

Думаю: миленький, солдатик ненаглядный, как же мы вас ждали! Ах, как же мы вас ждали! Нас пропустили, Леля, Марк, остальное пустяки. Я дома, Леля! Я дома! Я дома, Марк! Я такая счастливая. Я самый счастливый человек на свете!"

Наша Лида была опять той прежней Лидкой. Самою жизнерадостной, оптимистичной. Самою «образованнью и интеллигентнью».

Но на работу ее никуда не брали. О продолжении учебы в институте не могло быть и речи — интернированная. Мытарствовала она долго. И на разгрузке угля, дров. И чернорабочей на вокзале. Иногда приходила к нам. Отогревалась. И хоть в 1946 году был «ужас, якой голод», но кусок хлеба и стакан горячей воды с солью для нее был всегда. Интересно, у моего папы, что ни воспоминание, то обязательно «голод». «У 33-м году — голод. У в войну — голод. У 46-м — ужас, якой голод». Хорошо, что он не дожил до сегодняшней неразберихи…

Но однажды Лида пришла к нам радостная. Ей предложили место рабочей в одной артели. «Леля, но только…»

— Что только? — спросила мама.

— Там работают одни глухонемые.

— А, это, чтобы ты ни с кем не могла общаться…

— Наверное. Мое бедное личное дело два месяца ходило по инстанциям.

Через полгода Лида освоила язык глухонемых, как свои пять пальцев. А через год была переведена из рабочих в переводчики.

«Во, симановщина! Во, талантливая порода! Уже усех обскакала. Бери пример, Леля, з своей сестры. Живеть весело.

Работаить честно и споро, а якое горе перенесла».

Теперь Лида живет в Харькове. На самой его окраине. В домике около леса. У нее много животных. И домашних и лесных. Две ее дочери замужем. Муж глухонемой. Когда она приезжает к нам в Москву на побывку, когда они садятся с моей мамой за стол или в маминой постели жмутся друг к другу — о! Тогда, как говорили у нас в Харькове, «они имеют такой дуэт!» Во всем им видится смешное, оптимистичное. Хихикают, насмехаются друг над другом, над окружающей, изменившейся жизнью. А мне особенно радостно, когда я слышу: «А вот Марк бы точно сказал, а вот Марк бы их послал, а вот Марк бы помог, а вот Марк бы посоветовал».

— Лида, хочешь чаю?

— Нет, Леля. Я сегодня выпила свою норму, хватит. Надо сегодня сделать разрядку.

— Ну сделай, Лидочка, сделай. Главное, что ты знаешь свою норму.

— Ой, Леля, что это такое?

— Это, Лидочка, такой брелок со свистком. Ключики потеряешь, свистнешь — они тебе и отзовутся. Свистни, Лидочка, давай. Нет, посильнее, посильнее…

— Ой, Леля! Ого! Точно, свистит. Видишь, как умно люди придумали, батюшки мои. А ну ты, Леля, свистни ты.

— Нет, Лидочка, я уже свое отсвистела.

— Собачка, тебе мяса дать? Хочешь мяса? Пойди к Леле и скажи: «Леля, дай мне мяса». Она тебе даст. Собаке надо мяса. Когда был жив Марк, он в первую очередь собаку кормил, помнишь, Леля?

— Еще бы: все лучшие куски ему собираешь, а он — собаке, на черта она мне нужна.

— Мам, у тебя собака целый день будет голодная.

— А вот Лидочка приехала. Она всех накормит и всех напоит. Она же такая «гигиеничная, настыящая хозяйка». Хи-хи-хи…

— Леля, Люся сейчас стала так похожа на Марка, ну что возьми лоб, нос, глаза. А нога — ну ни дать ни взять, типичная сулдыга, как у Марка.

— Лидка, а ты помнишь, когда Люся родилась, мы с Марком в подвале комнату снимали у Шурки, помнишь? Так вот. Приходит наш папочка от своих «кровенных», еле на ногах держится. Марк, что с тобой? — спрашиваю. «У меня — говорит — большое горе. Моя богинька, моя клюкувка ненаглядная сказався не мой родной ребенык. Я вже ето горе со вчерашнего дня переживаю. Я, Леля, исправно вже усе подсчитав. Так вот. Воккурат у тое самое время, як я честно за тобою убивавсь, и той

Шурка в нас здесь жил. Було? Було. А опасля — шлык — и нима. Нима Шурки. Зъехав з квартиры. Ну, што ты, як верная жена, на ето возразишь?» Так ведь он же женился, говорю, и к жене переехал. «Э, не, Леля, по моим подсчетам дело вже було сделано». Ты знаешь, Лида, я так растерялась. Не знаю, что и сказать, прямо ужас обуял. Дура ведь была, восемнадцать лет…

— Ой, Леля, как интересно, расскажи, что дальше было.

— Ну что, что было. Говорю, ты посмотри, у девочки глаза синие, как у тебя. Говорит: «И в Шурки синие». И уши твои. «Уши, ще перерастуть». Да улыбка твоя, Марк-котик. «Дети все, Леличка, приятно влыбаются». Марк, да ты посмотри на ее ноги, посмотри. «Ноги?! Ну, ноги мои. Таких сулдыг ни у кого нема. Ноги на усе сто процентов мои. Это як закон. Ах ты ж, моя дорогенькая дочурочка, ты ж у меня як вырастишь, ты же ув обязательном порядку актрисую будишь. Тебя увесь мир будить знать, а женихи усе окны повыбивають. Прости меня, моя жена ненаглядная, прости немедленно, пока я увесь сдаюсь, увесь виноватый. Щас могу на колени перед тобой стать. А лучий не надо. Ты ж знаешь, могу усе передумать. Да, корочий, обнимай мужа немедленно, пока я такой добрый».

— Во страсти, Леля, ужасть какие страсти. Да, тогда это был бы не Марк Гаврилович. Это ж сколько бы ему сейчас было б? Родился 23 апреля 98 года, а сейчас 91 год. Сейчас ему было 93 года. Да, генерация уже уходит, Лелечка, уже уходит.

— Уходит генерация, Лидочка, уходит.

— Люся, знаешь, когда я нервируюсь, я двигаюсь. Я вообще много двигаюсь. Я все делаю, кручусь, мотаюсь. Я стираю руками. Машиной не стираю. Раз, два, три и все! У меня раньше руки болели. А теперь руки не болят. И спина не болит. Человеческий организм, видишь ли, какое дело… Нервы. А я стараюсь не нервничать… Да, на этой ноге у тебя все порвано. Это еще тогда в семьдесят шестом, на картине? Настоящий артроз. Но соли тебе не угрожают. Для соли почва — жир.

— Ты об этом Леле скажи.

— Не убивай в моей сестре единственную радость жизни.

— Мам, ну ты рада, что Лидка приехала?

— Видишь ли, Люся, она ведь связывает меня еще как-то с моей семьей… Мама, папа. При всем при том меня только с ней и связывают какие-то вещи…

— Лидка молодец, за собой следит, подтянутая, спортивная.

— Да, Люся, я спортивная. Мне аэробику делать не надо. Я иду по воду. Мне, чтобы набрать ведро воды, нужно сделать сорок качков. Один качок — полтора метра. И каждый день два ведра.

— Ну и что ты, Лидочка, от вашей источниковой воды такая

здоровая?

— Да причем тут вода? Клянусь тебе богом, меня ничто не берет. Если я чуть поправлюсь, знаешь что я делаю? Я беру велосипед и мотаюсь три дня. Иначе я могу задыхаться — начинает же сердечная сумка жиреть. А потом живот. Я не могу выносить живот. Вечером еду снимаю. Ем последний раз в шесть вечера. Люся, не кивай не Лелю. Это надо чувствовать. А ты не заметила, что я уже не седая? Я же была белая вся. А теперь я тебе даю торжественное слово: я к тебе приеду на день рождения с зубами.

— Лидочка, только пожалуйста, не делай железные. Это же страшно. Ты помнишь, те твои харьковские знакомые железными зубами клацкали, прямо как роботы.

— Нет, Леля, я думаю сильное напыление сделать.

— Какое напыление, Лида? Никакого напыления нет. Золотое напыление? Ну тогда так и скажи: хочу вставить золотые зубы.

— Ладно, Леля, какие будут, такие и будут. Ой, Люся, что я тебе скажу за это золото. Когда я ушла на пенсию, наш председатель цехкома говорит: «Лидия Александровна, вы так хорошо нам помогали по общественной линии, что мы хотим вам сделать что-нибудь хорошее». Собрался цехком и решил: отдать Симоновой талон на золото. Боже сохрани, говорю, отдайте его кому-нибудь: на черта мне то золото. Я сроду ничего золотого не покупала. Проходит время. У нас там есть один начальник техотдела. «Симонова — говорит, — по цеху ходит разговор, что ты от золота отказалась. Все бьются, очередь им не дают. Тебе дали, ты отказалась. А я тебя считал за умного человека». Я говорю, зачем мне золото? Мне завод выделил 160 рублей. Я купила телевизор. Этот, как его, «Березку». У меня ж телевизора не было. А потом до меня дошло, что то золото по четыре или пять рублей за грамм. Нет, Люся, это не низкое золото. На производстве дают талоны по первичной цене. Это как награда. Настоящее золото. И пробы что надо. Вот я себе и зубы вставлю по довоенной стоимости. Я никогда талонов не видела на золото. Ну, думала, цепочки, кольца. Но чтобы талоны на зубы… Ой, Леля, у вас совершенно другой хлеб. У нас в Харькове такой страшный хлеб, в рот брать невозможно. Раньше был хоть серый хлеб. Я вообще люблю серый хлеб. Я очень люблю серый хлеб. Люблю и батоны. И люблю серый хлеб. А серый хлеб печь не стали. Не знаю, почему. Ну, батоны есть батоны, а серый! Эх, серый… Ой, Леля, я вчера зашла на Пушкинскую площадь — там митинг. Подошла к молодому человеку и спрашиваю: дорогой товарищ, за что вы сейчас боретесь? — «За свободу, за демократию». — Ясно, говорю, за это уже мы боролись, а вы-то

сейчас, сейчас за что? Леля, он не нашелся.

— Лидка, тебе обязательно везде нужно сунуть свой нос. Вот возьмут тебя за одно место… А паляныци в Харькове еще есть?

— Какие паляныци, Леля, о чем ты говоришь! Хлеб, конечно, из Москвы брать не буду, но макарон и вермишели наберу обязательно.

— А что, в Харькове нет?

— Харьковская вермишель… Я тебе сейчас, Люся, объясню. Она синяя. Вот ты ее завариваешь — вообще передать нельзя… Синяя, расплывается, и, извините, конечно, но она, как сопли.

— Но ведь вы живете на Украине, житнице.

— Да, Люся, Украина — житница. И все Герои Социалистического труда. У нас Герои — все. Все абсолютно.

— Ну так что же, Лида, ничего хорошего в Харькове нет? Ну хоть что-нибудь сдвинулось?

— Метро! — выпалила мама. — Люся, в Харькове прекрасное метро.

— Да, метро. Метро хорошее, ничего не могу сказать.

— Лида, какая станция тебе больше всего нравится?

— Где, в Харькове?

— Лида, а про что мы говорим? Мне вообще «Пушкинская» очень понравилась.

— А мне «Дзержинская».

— Да, и «Дзержинская».

— Что-то, Леля, сейчас здорово взялись за Сталина. Все уже теперь знают о предсмертной ленинской записке съезду. Нам Нолек, ты помнишь, еще тогда говорил. К черту. Знаешь, мне кажется так: раз уж случилось, нечего об этом болтать. Все. Ну что? Легче от этого стало? Нет?

— Люди должны знать. Нельзя же так.

— Ну как, ну как, Люся, ну давай. Культ личности Сталина. Хорошо. Терпим. Дальше. Брежневщина.

— Хрущевщину забыла.

— Да, забыла. Перетерпели. Дальше брежневщина. Ладно. Ну и что? Все. Дошли до нуля. Обокрали все государство. Обокрали народ. Обманули людей. Куда дальше, куда? — Она перешла на шепот: — Общество, которое построено, социалистическим назвать нельзя. Ни в какие рамки не укладывается. Оно уже от ленинизма на тысячи… ушло давным-давно. Оно должно было иначе идти, совершенно… Что сказал Ленин? Я, Леля, тридцать лет учила марксизм-ленинизм. Вот сколько работала, столько и учила его в политшколе. И знаешь, что я себе толком вынесла? Что оставила из всех ленинских трудов? Единственное изречение Ленина. Когда совершилась революция, Ленин сказал:

«Деревенскую прослойку ни в коем случае не допускать к руководящим постам». Какие бы ни были деревенские люди — у них остались мелкособственнические пережитки. И уйдут, испарятся они не раньше, чем через сто лет. Можно выдвигать на руководящую работу или квалифицированного рабочего от станка или интеллигента. Наконец-то вспомнили интеллигента. Когда его уже нет. Его уже снесли. Основы ж нет. Нет основы, Леля. Так о какой чести говорить? О каком достоинстве говорить? Где его видеть, интеллигента? Видеть негде, Люся, а я-то помню. Я-то училась, ты этого уже не застала. Я училась у царских учителей. Царские учителя. Что они нам прививали? Они прививали нам чувство собственного человеческого достоинства. Это достоинство должно было быть нам выше всего. Выше денег, благ, выше всего, всего. Никакого унижения личности. Ты посмотри, нас в третьем классе называли на «Вы». Тебе смешно? Не-е-т, это не смешно. «Лидочка, пройдите сюда. Войдите пожалуйста в класс!» Детей, нас всех детей — на «Вы». Тебя на «Вы» — и ты себя, понимаешь, ты себя, Люся, тоже. Ты шел и поднимался! Ты рос! В своих глазах ты рос, понимаешь? Ты шел и поднимался. Ты рос. Ты рос в своих глазах. Ведь тебя сам учитель называет на «Вы». Ты идешь к доске, и не можешь, не смеешь, не имеешь права не выучить. Срамота! Ведь тебя, ребенка, сам учитель называет на «Вы». А сейчас? «Пошла из класса вон, дура!»

— Лида, ах, как ты сейчас похожа на бабушку.

— А если еще кок «чеховский» сделать…

— Ах, как похоже.

— Ну, а как же… «Подлые, недоброкачественные ух-ух-ух-мужичонки неграмотные власть захватили». Все прошло. Пролетело время, да какое… Люся, смотри, это ж сколько поколений? Бабушка Татьяна Ивановна, Марк, мы с Лелей, ты, потом Маша, потом Марик. Семь колен, считай прошло. Лелька, а мы еще дрыгаем! Вот. А ты говоришь… Надо же. Ах, ничего. Подожди, шеинка, еще наступит хорошее время, матушка моя. Я еще надеюсь. Все может быть. Хоть и жизнь сейчас такая малохольная Люся, эти поколения уже не будут так. Они уже отпали. Вы с Костей тоже отпали. Маша и Саша колеблются. А вот Марик, Капошная Леночка — они сделают другой строй. Сейчас все пошатнулось. И другое поколение рассуждает: если вы были дураками, то мы дураками не будем. Люся, сейчас нормальному человеку трудно войти в обстановку. Нормальный человек не знает как быть: говорят одно, думают другое, а хотят третьего. Не с этого начали. Не с этого. Не с этого надо было начинать. Что сказал Форд? «Если бы ваши рабочие работали так, как мои, то у вас безработных было бы вдвое, а может, и втрое больше. У вас

никто не выдержит того темпа, который выдерживает американский рабочий». Все наши рабочие работают спустя рукава. И все они знают, что начальники воруют. Воруют все. И мясокомбинаты, и кондитерские, и даже там, где есть ткани. Люся, ведь они же там все озолачиваются, и их уже не интересует ни план, ни вал, ни черт, ни дьявол. Их только интересует, сколько они с рулона будут иметь. Имеет и директор, и начальник цеха, и лекальщик. О, от лекальщика зависит много. От него идет крой. Все видят, что крой косой. Почему, когда купишь пальто, попадаешь в нем под дождь, оно р-раз — и перекосилось все. Да потому что крой косой. Его тянут, тянут, тянут, кто сколько может! Тянут во все стороны. Тянут, чтобы вытянуть как можно больше. Люся, я тебе говорю, что придут, придут к выводу — только хозяин! Только хозяин сможет держать свое хозяйство. А начальник никогда не удержит. Потому что это хозяйство не его. Значит, нужна новая система. Совершенно другая система хозяйства. Все уже давно поняли, что колхозы — пшик! Начались теперь семейные подряды. Вот спросили дядю Устима: «Когда ты работал в колхозе, Устим, то надаивал по 17 литров молока от одной коровы. А когда ты сам коров кормишь, стал давать по 27 литров от каждой коровы. Почему? Объясни, Устим, почему?»

— Лида, ты немецкий не забыла?

— Шеинка моя, да как же это можно забыть? Это моя вторая страшная жизнь.

— Лида, это молитва, переведи, пожалуйста.

— Давайте. Это отче наш. Земля твоя, небеса… Мне нельзя было молиться по-русски. А девочка, ей было три года, она все равно: «Лидия, зер комен! Зер комен, Лидия!» И Лидия должна была стоять рядом. Стою, руки прижала. Они все обязательно молятся на ночь. Дети лежат в постельках. Вот так крестом складывают руки. И на молитву приходят и отец, и мать, ну и все, кто в доме. Абсолютно все. А маленькая кричит: «Зер комен, Лидия! Лидия, зер комен!» И все молились. Они о своем. Ну, а я, конечно, о своем… Люся, у нашей хозяйки была страсть — шляпки. Сама она их не носила никогда. Женщина она была некрасивая. В очках с большой диоптрией. Муж обязательно привозил ей из всех командировок в подарок шляпку. Люся, каких только не было! И с вуалетками, и с перышками, и с цветами.

Эти с детства запомнившиеся рассказы о шляпках, каменоломнях, эшелонах, молитвах и подземных заводах, так спрессовались в моей детской голове, что… ну, как вы думаете, куда я отправилась в первый же день, оказавшись в Германии? Вы

верно догадались. Я долго-долго стояла у красочного, сказочного, пестрого шляпного магазина. Мне виделись кареты с необыкновенными, в шляпах из трофейных фильмов, женщинами. Я была и Карлой Доннер из «Большого вальса», и Диной Дурбин, и Марикой Рекк. По моему лицу текли счастливые, никогда больше неповторимые слезы. Раздался звонок. Открылись двери шляпного магазина. И на пороге появилась опрятная седая старушка. «Вас волен зи, фройлен?» Я с ходу ткнула пальцем в самую роскошную, царственную шляпку. Мысль о том, за сколько я ее куплю, в какое общество можно в ней идти — такие мысли мне не приходили в голову. В этом магазинчике меня приняли прекрасно. И варенье желтое, и почему-то темное печенье, ни разу не виденное мной в жизни. С ума сойти! Я им пела немецкие песни. Когда они узнали, откуда я, русская девушка, знаю эти песни — загрустили. Подбавляли еще и джема. Говорили, что с такими воспоминаниями мне буден нелегко жить. А потом втроем запели самую популярную песню времен войны «Лили Марлен». Купила я себе две шляпки, которые в Москве так никогда и не надела. А потом они в разное время были подарены двум замечательным женщинам. А третью, ту самую красивую и царственную, они мне подарили на память. Я ее назвала «Лили Марлен».

ЧИСТЫЕ ПРУДЫ

В кинотеатре «Колизей», на Чистых Прудах, где теперь театр «Современник», шел детский фильм «Белеет парус одинокий». Дети столпились у ларька за газировкой и мороженым. До начала сеанса оставалось пятнадцать минут. На моих самых модных часах-крабах, которые я купила на гонорар от трижды надоевшего, было девять часов сорок пять минут утра. Была я одета так, как в моем представлении должны были одеваться кинозвезды. И белые перчатки в горошек. И лаковая черная сумочка в черный горошек в форме ведерочка. И белые клипсы-тарелки. И красные клеенчатые босоножки под цвет сатинового в оборочках платья. Я его не любила за то, что оно мнется. Старалась как можно меньше в нем садиться. Но это все был лишь гарнир к моей белой с вуалетками и двумя розами шляпе «Лили Марлен». Прохожие оглядывались. Девушки немели. Молодые люди сникали — «не по зубам». Но разве не мы об этом мечтали с папочкой? Сегодня у меня важное свидание на той скамейке, что через пруд. Второй, если идти от метро «Кировская». Свидание с главным начальником или в кинематографии, или по делам кинематографии. Вот первыми появились знакомые улыбающиеся близнецы. Ровно в десять ноль-ноль подъехала машина. Из нее вышел человек — еще не старый, но уже и не молодой — лет сорока, с седыми висками, в сером костюме. Человек вполне соответствующий слову «начальник». Прежде чем поздороваться со мной за руку, он чуть излишне долго меня оценивал. Наверное, одним из проявлений дипломатии есть умение выждать, когда все вокруг подталкивает к спешке. Моя рука уже несколько раз вспархивала для рукопожатия и опускалась, вспархивала и опускалась. Ну сколько же можно держать паузу? Я понимаю, что я «явление неординарное». Это слово мне уже говорили. Я его запомнила. Но такая пауза… Да, он, наверное, действительно главный начальник. Как только он жестом пригласил меня сесть на скамейку, близнецы незаметно скрылись за деревом. «Я залюбовался вашей шляпой. Какая прелестная вещица». Он попал в точку. Он выбрал самую точную струну. И она зазвенела. Она ему прозвенела и про Берлин. И про гостиницу «Адлон», где якобы останавливался Гитлер. И что немцы — это совсем не страшно. И что они добрые и гостеприимные. И что было в опере. И что была на концерте. И весь зал подпевал солисту, обнявшись и раскачиваясь из стороны в сторону. Так пели немецкие солдаты в нашем школьном дворе в Харькове. И даже спела последний шлягер. Его пели на каждом

углу Берлина: «Их вайс вас, их вайс вас, их вайс вас дир фельд. Айн ман дер дир каине мерщен эр цельт». И, конечно, красочно и проникновенно поведала историю со шляпкой, которую назвала «Лили Марлен».

— Вот вы и будете у нас «Лили Марлен». Чудесно. Решено.

Мой рассказ ему понравился. Сначала он его слушал сдержанно. Потом улыбался. А потом уже и смеялся, и подпевал, и подхохатывал. Близнецы видели, что хозяин доволен.

— Эй, парубки, слышите как оригинально — Лили Марлен! Это тебе не Светы и не Греты. Гали да Раи — остроумно и что-то ностальгическое. Ведь забываем, забываем, какую войну выиграли.

А мне очень понравилось: парубки. Близнецы-парубки. И сразу вспомнилась школьная «Энеида» Котляревского: «Эней був парубок моторный и хлопець хоч куды козак. Узявсь на всэе злэ проворный завзятиший од всих бурлак». Тут же хотелось спросить, не знает ли товарищ начальник украинского языка. Но инстинкт подсказал: спрашивать не надо.

— А почему я буду Лили Марлен?

— Ну, а какое женское имя вам нравится?

— Я свое имя не люблю. Это папе понравилось. Так звали героиню в американском фильме «Алан и Люси». Но если бы вот сейчас предложили сменить свое имя, эх, я бы выбрала, как у Чехова в «Трех сестрах» — Ирина.

— Да, Ирина — это очень женственно. Я знал одну Ирину. Чудо, как была хороша.

— А я на днях была во МХАТе. Послушайте, какая прелесть. Как звучит: «Перед нами длинный, длинный ряд дней, полных моей любви к вам, Ирина». Ну прямо до слез! Длинный, длинный ряд дней — как звучит, ах, как звучит.

— Согласен. Ирина — это тоже прекрасно. Главное, суть от этого не меняется. Что, парубки, давайте немного прогуляемся? Засиделись. Ну да все не без пользы.

Мы вчетвером прогулочным шагом пересекли дорогу. И вошли в серый дом. Он стоял за нашими спинами. И опять жизнь продолжает свой балет. В этом доме живут хорошие друзья. У них часто бываем. Да только кому расскажешь? Сама про себя вспомнишь, сами собой сдвинутся брови.

Мы поднялись на третий этаж. Вошли в полупустую нежилую квартиру. Окна не мытые с зимы. Стол. Несколько стульев. Пыльный оранжевый диван. На тумбочке что-то вроде большого радиоприемника. Парубки скрылись на кухне. Мои локаторы, мои нетренированные для подобных «встреч» сосуды и мышцы напряглись до такой степени, что тут же, перебрав в голове все,

что говорила до этого, и не найдя криминала, быстро сдала себе экзамен. Это был первый экзамен в моей жизни после того, как она перестала принадлежать мне. Экзамен из той жизни, которая будет теперь проходить на виду. После все той же веселой, прекрасной и трижды надоевшей картины. Итак: «Я никогда не скажу „да“, если мое сердце говорит „нет“. Я не вижу причин чего-либо бояться. Прятаться, прячась от самой себя. Я люблю своих родителей. Люблю свою страну. Могу отдать за нее всю жизнь». Я могу сказать, что с тех самых пор мое нравственное ядро внутри не умирало никогда. Оно, правда, замирало от страха и беззащитности. Но, даже в три погибели согнувшись, терпя и ожидая, достоинство я сохраняла всегда.

Что-то щелкнуло незнакомым звуком. Один из «парубков» мимо тумбочки прошел к окну, чтобы открыть форточку. Когда тумбочка открылась, в большом радиоприемнике уже горел зеленый огонек. Значит, это магнитофон. Срочный экзамен: не говори слов, которые выдают твое настоящее состояние. Пусть эти слова не обманывают, но лучше их не говорить. Сиди и слушай.

— Итак, скоро грядет Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Для нашей страны это событие огромное, первое за долгие годы и потому чрезвычайно ответственное. Со всех концов мира к нам пожалует молодежь и, естественно, не только молодежь. Будет много друзей и не только, как вы догадываетесь…

— Вы думаете, что и враги приедут?

— Видите ли, в нашей стране очень и очень многое всех будет интересовать. Будут приемы. И в Кремле, и в Большом, и в Колонном зале… И, конечно, всем будут интересны наши популярные люди. Мы намерены широко демонстрировать вашу картину. А такие девушки, как вы, будут замечательным украшением праздничных вечеров. Нужно и поговорить с гостями, и показать столицу, и увлечь нашими красотами. И попеть. И станцевать, а что? У нас есть и сила, и красота, и голова на плечах.

«Голова на плечах» мне сразу напомнила, что я сижу на шляпе. И все же я не такая безнадежная дура, чтобы надеть ее просто так. Был в этом свой, очень личный, тайный необъяснимый резон. Может быть, мне хотелось быть взрослой, официальной. Может, шляпа-то, по идее, и должна была для меня же самой ставить меня на свое место и уводить — прости меня, папочка — уводить от твоей доверчивости. Не могу объяснить, но после его слов о голове на плечах, я стала ощущать как живую часть своей головы ее, едва ли ни единственную спасительную

соломинку, мою красавицу «Лили Марлен».

— Понимаете, сейчас вы очень популярны в стране. Все, кому иностранцы зададут такой вопрос, назовут ваше имя. Они будут вами интересоваться.

— Знаете, я получаю по триста писем в день. Всем так хочется сказать спасибо, спасибо, спасибо! Такие добрые люди.

— У вас ведь квартиры нет? Будет квартира. И гостей можно будет пригласить. И с обстановкой, и с машиной не будет проблем. Какой язык вы знаете?

— С пятого в школе учила английский. А в институте уже два года французским занимаюсь.

— Без постоянной практики дело не идет. Нужно разговаривать. Будет хороший педагог.

— Ну, за что же мне такое?

— А вот представьте: такой, как я, подходит к толстому иностранному дяде и начинает с ним про погоду, про столицу, про наших милых скромных девушек… Вот и вы смеетесь. А если этот разговор, милую беседу проведет такая юная и нежная, как вы, — это ведь совсем другой, как говорится, коленкор. Вы согласны со мной? Верно говорю, парубки? Ну, ладно, шутки шутками, а теперь пора бросать якорь. Нужно вам присвоить номер. Какой, хлопцы, у нас там последний? Но можно выбрать и покрасивее.

Все! Я в ловушке и сейчас она захлопнется. Ну, что же ты молчишь, Ирина? Что «затрусилася»? Или сейчас же все-все выложить — (Как ты поняла. Все своими словами.) — как мой папа, не умеющий вести игры, штучки, далеко идущие интриги. Или как? Ну, что делать? Что делать?

И вдруг моя шляпа сказала: стоп!

— Я могу вам позвонить? — Я не узнала своего нового голоса.

— Вас предупреждали, чтобы ни с кем ни слова?

— Я хочу сама подумать, простите.

О, как это не понравилось начальнику! Каким же он стал сразу неприятным. У меня очень долго стояло в глазах его брезгливое выражение лица. Я просыпалась даже ночью — оттого, что это выражение показывало мне истинное отношение ко мне, выражение отвращения. И мое настоящее место в жизни. Так что триста писем в день, мои милые, родные и несведущие зрители… Ах, зрители! Когда потом я буду кланяться вам, а вы будете аплодировать, я ни на минуту не забуду, что я такое. И что я на самом деле значу для своего государства. Оно тогда начало меня ломать, уничтожать и убирать с дороги. Чтобы наши с вами пути не перехлестнулись в любви и доверии. И это скоро случилось.

Возвращалась я по любимой Сретенке. Каким глупым и никчемным мне показался мой вид! Куда спрятаться от себя? Передо мной проходила вереница лиц. Разных-разных. И знакомых кинематографических. И родных школьных учителей. И харьковских подруг. И продавцов мороженого. И цветочниц. Всех, всех, кто шел мне навстречу. Знакомо ли им такое?

На раздумье три дня. Эх, вы, три дня… Куда ни пойду — всюду чудятся два «парубка», ожидающие положительного ответа. Иначе будет, ах, как нехорошо. Именно нехорошо. Это было мне понятно абсолютно. Игры, комплименты и пристройки кончились. Лицо, презрительное лицо начальника постоянно напоминало мне об этом. К телефону подойти боюсь. Иду по улице, оглядываюсь. На лекциях смотрю только на дверь. А вдруг она откроется? И меня попросят выйти, потому что ко мне пришли важные люди. Они такие важные, что могут на себя взять все пропуски моих занятий. И декан будет тоже молчать. А меня опять посадят в черную машину и повезут в гостиницу «Москва» на седьмой этаж, или в квартиру на Чистых Прудах. «Не буду». «Будете».

Нет, не буду. Не могу выносить повелительного наклонения — будете, должны. Да ничего я никому не должна. Работаю всю жизнь, как лошадь. А вот все же вбилось в голову: перед Родиной в вечном долгу. И в душу все же вросло, что я своей Родине вечно чего-то не додаю. А чего — не знаю. И никогда не было у меня обиды на то, что первая же трижды надоевшая картина принесла ей баснословные прибыли. Хотя, как я теперь понимаю, не Родине, а государству. Не говорю об остальных менее удачных и просто неплохих картинах, приносивших тоже немалый доход. А я десять лет после фильма снимала углы и комнаты. А чтобы имела право жить и работать в Москве, добрые люди прописали к себе на девять месяцев домработницей. Кинозвезда — домработница. Да это целый многосерийный советский трагикомический фарс!

Через три дня я, как и положено, позвонила по данному телефону. Подошел один из парубков. «Простите, — говорю, — все обдумала. Не могу. У меня другая профессия». И повесила трубку. И меня оставили. А вскоре я об этом почти забыла. Жизнь была так насыщена новым, интересным, ежеминутно меняющимся. В бурном потоке столичной суеты я поплыла по новым волнам, по площадям, по улицам, спускаясь в метро, поднимаясь к Университету на Ленинских горах. Я знакомилась с необыкновенными талантливыми людьми. У них были прекрасные добрые лица. Иногда я искала в толпе тех двоих. Но нет. Черты их лиц совсем расплылись. Короче, парубков больше

не встречала никогда. А вот с тем главным начальником жизнь столкнула. И эта история тоже из серии «Балет жизни».

Не знаю, как и чем закончилась его карьера по делам кино. Его фамилию я, конечно, запомнила навсегда. Она то исчезала совсем. То опять появлялась на каком-то посту. Эти посты, хоть и далеки были от руководства, но все же где-то, как-то и чем-то были связаны с кино. Однажды, далеко от Москвы, мы чуть не столкнулись в одном клубе. У него только кончилась лекция. А у меня должна была начаться встреча со зрителем. Когда я услышала фамилию лектора, все внутри похолодело. И полезли проклятые мысли и воспоминания. От меня ждали веселья и оптимизма. А в концерте появились неожиданные нотки горечи. Он тогда ездил от бюро пропаганды советского кино с лекциями о Чаплине. А в 1983 году возглавлял нашу делегацию кинематографистов на ФЕСТе. Я его не видела с тех самых Чистых прудов. Приехал на такси. Свой чемодан принес сам. Никаких парубков рядом. Я знала, что он нас возглавляет. А он знал состав своей делегации. Интересно. Все очень интересно. Конечно, он изменился. Старый, растерянный человек. В дороге суетился и старался быть остроумным. Хотел не отставать от членов делегации, которая состояла из молодых кинематографистов совсем новой волны. Работал он в новом оригинальном учреждении. Это учреждение прогнозирует количество зрителей еще до выхода фильма на экраны. «Вокзалу для двоих» нагадал что-то около 70 миллионов. В этой поездке я была излишне беспечна и гиперболизированно весела. А ночами видела то, другое его лицо, которое не скрывало отвращения ко мне. Кинематографистам же молодого поколения его фамилия абсолютно ни о чем не говорила. Они весело иронизировали над старым человеком. Особенно после того, как он в первый же день, с энтузиазмом созвал всех на просмотр сладострастного эротического фильма "Девушка "О". В зале я смотрела на его профиль, на его счастливое лицо с полуоткрытым ртом. Боже мой, и этот человек, который сейчас сидит рядом, походя, просто так, не задумываясь, скрутил мою жизнь. Принес мне столько… И забыл, выбросил из жизни, как только почувствовал ко мне отвращение за неподчинение. Прошло столько времени. Что я думала во время фильма, когда "Девушку "О" на экране заставляли делать то, что так противоестественно нежной женской природе? Я думала: ах, как трудно сопротивляться. Ах, как трудно выносить такой натиск. Ах, как трудно возражать, когда ты целиком во власти. Но можно. «А знаете, — сказал мне мой старый знакомый, — я бы о вас написал бы чудную монографию». И, поскольку мы играли в игру «какое приятное это

наше первое знакомство», то я только улыбнулась и сказала: «Да, конечно». И подумала, что может, и написал бы. Только не было бы в этой монографии ни слова о моей роскошной шляпе «Лили Марлен».

«ИНДЕПЕНДЕНС»

Вся наша страна готовилась к Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Москве. На студии «Мосфильм» срочно заканчивались съемки фильма «Девушка с гитарой», будь он неладен. По приказу министра в фильме должен был быть задействован этот фестиваль. И он был задействован. Сценарий изменяли на ходу. Во время съемки ко мне подошел директор картины и сказал, что в обеденный перерыв за мной приедет машина из Министерства культуры. После первого успешного, трижды надоевшего, всю группу вызывал к себе сам министр культуры. Он хвалил фильм и советовал тем же составом снять еще одну такую же удачную комедию. Я и подумала, что разговор будет касаться этой темы. В тот день я снималась в премилом платьице. Решила в нем и поехать к министру. И прическа хорошая. И реснички длинненькие, модные по тем временам. Поеду новой, неузнаваемой. Опять будут хвалить. Жизнь прекрасна! Завтра напишу письмо домой, что меня вызывал сам министр. А папа всем будет говорить, что «без моей дочурки министр — ето ж якая величина — як без рук». А может, пошлют меня далеко-далеко за границу. Согласитесь, это обидно — сняться в главной роли, в успешном фильме, но так ни разу за границей с ним и не побывать. Подъезжаю к министерству, что находилось на красивой улице Куйбышева. Вхожу в здание. Меня уже встречают. Но проводят не в кабинет министра, где уже была наша группа, а в кабинет с надписью «Зам. министра по радиовещанию». Сижу. Жду. Появляются сразу оба — и министр, и зам. И сразу в атаку. Да в какую! Что, мол, я себе позволяю? Такое позорище! Танцы, вертлявые западные штучки-дрючки. И это наша комсомолка! Слово «вертлявые», с грассирующим "р", я и сейчас слышу. Я приметила это "р", когда министр наш еще не был министром культуры, а был секретарем ЦК комсомола. Я онемела от страха и абсолютнейшей неожиданности. А зам. по радиовещанию говорил, что у него растет сын. Что они с женой всю жизнь прожили в чистой и морально устойчивой атмосфере. Так и сына своего воспитывают. И очень, очень, крайне нежелательно, чтобы их мальчик, вообще, наши дети формировались на таких буржуазных образцах. И вообще, чтобы в советской школе, в нашей стране — и ни капли высокого патриотизма?… Ого! С чего это? На патриотизм я как-то не обратила сразу внимание. А вот буржуазные образцы… Может, это про то, что недавно с оркестром спела и тут же сымпровизировала танец? Так весь оркестр Эдди Рознера

аплодировал. Ведь у нас такого еще никто не делал на эстраде. И в зале прошло на «ура»! И сюда, значит, дошло. И сюда, значит, передали. А что здесь такого? После первого фильма уже прошло время. Уже пошло разделение на «принимающих» и «не». Чопорные дамы объединились и выступили дружным фронтом против вертлявой попрыгуньи. Но вы же министры, вы же не дамы. Вы же понимаете, что время не стоит на месте. В фильме вы вместе со всеми смеялись над косностью и обывательщиной. Вы же сами просили сделать еще один такой же смешной фильм. Нет, нет, что-то не то. И вдруг моя длинная модная ресничка — хрясь! — и предательски наполовину отвалилась. А горячие слезы как из ведра полились по лицу. И ничего не могу с собой поделать. Голова, что могла бы подсказать выход, пуста. Безвольные руки. И нечем «взять себя в руки». «Полный труп», как сказал бы папа. Пошли меня мочалить за левые концерты. Но ведь в них участвовали какие имена и звания — не мне чета. А в заказной статье их имена только указаны. На мне же сделан главный акцент. Выживай, держись Люси-Ирена-Марлен!

«С лица земли сотрем! Имени такого не будет!» — это слова министра. И это не сегодняшние демократические денечки, когда говори, что хошь, всем до фонаря. То было жестокое время. И то был настоящий приговор. И очень скоро такой фамилии не стало. Очень скоро. Долго надо мной будут витать: «однодневка», «несерьезно», «не советуем», «не следует», «не желательно». Перестали снимать в столице. Перестали снимать на других студиях. Забыли. Предали забвению. Тихо похоронили. Забальзамировали. Вот тогда у меня появилась возможность свободно размышлять о моем патриотизме. И привели меня эти раздумья на Чистые Пруды. К той гримасе отвращения. «Не захотели послужить Родине…» Что ж, «Не хотите кушать хлеб с маслом, будете кушать г…» И я его кушала. Кушала много лет.

Но как парадоксальна актерская природа! Вы даже представить себе не можете, о чем я думала в тот жуткий час. Это трудно представить. Я думала о своей реснице. Что мне с ней делать? Если ее снять — значит, раскрыть секрет, что она приклеена. Это стыдно и неловко. Нахально же снять обе ресницы, этого я просто не могла. Нахальство мне было несвойственно. Можно было получить вслед пару анекдотов: «Пришла к министру культуры с наклеенными ресницами, а они возьми и отклейся». А может, и того хлеще: «Пришла артисточка к самому министру культуры и для начала сняла с себя ресницы». Важна ведь только одна деталь. А дальше пошло и поехало. Глупые мысли. Но именно они меня в тот момент занимали. В этой глупой простоте и была будущая драма. Вызывали меня на

всякие общественные ковры еще и еще раз. И стояла я около министра, опустив голову, на одной из тогдашних коллегий министерства. На этих коллегиях присутствовали все самые ведущие наши великие кинематографисты. Сидел и мой учитель. И директор студии «Мосфильм», который и открыл меня в кино. Все сидели, опустив головы. Та коллегия была по поводу поведения артистов, перечисленных в статье. Меня поставили в центр зала. У министерского стола. Чтобы была видна всем. А я думала: только бы не заплакать. Наверное, надо было привыкать. Рушились иллюзии. Начинали бродить сомнения. А подлинно жизненные драмы и начинаются с крушения иллюзий. С разочарования. Взяла себе за правило — никогда не ходить ни на какие приемы в иностранные посольства. Несколько исключений сделала в последнее перестроечное время. Но все как-то неловко, хочется скорее домой. Самое интересное, что вынесла из этого, давнего фестиваля молодежи и студентов — слова молодого лидера, совсем мальчишки. Он мне показался человеком не из моей жизни. Из жизни другой. Незнакомой, неродной и пугающей. Когда его спросили, что для вас главное в жизни? Он спокойно и твердо сказал: «Индепенденс». Этого слова мы в школе не проходили. Слово это я запомнила и прочла в словаре: «Независимость». И еще больше удивилась. А зачем она ему, эта независимость? Вот мне она совсем не нужна…

С крушений иллюзий, с разочарования началась моя борьба за свою независимость. За свой «индепенденс» я борюсь всю жизнь. Я так устроила свою жизнь, и личную, и профессиональную, что никогда не была в подчинении. Только по Любви. Только по Уважению. Только преклоняясь перед талантом. Это воспиталось и пришло не само собой — это пришло оттуда, из тех лет. И не случись бы в моей судьбе тех перипетий, кто знает, как бы оно и что бы… И вообще, какой бы я стала. Да и заиграла бы я драматические роли? И вообще, имела бы право занимать этим рассказом ваше внимание, милые, уважаемые зрители? Просто я понимаю состояние тех людей, кто живет, имея в душе тайную тяжесть. Как ни прекрасна жизнь и красоты вокруг, все они очень мало стоят, если есть тяжесть внутри. В самой высокой точке радости, когда жаждешь: остановись, мгновение! — эта тяжесть берет свое и определяет истинное отношение человека ко всем и всему вокруг.

В общем, итак, наконец… Что еще говорят в таких случаях? Короче, к чему весь этот балет? Мой слабый эзоповский язык десятилетней давности, когда вышли «Аплодисменты» со второй частью «Здравствуй, Москва!», нашел лишь беспомощные слова: «Какие-то силы, где-то там, хотят растоптать…» Все было так

зашифровано. Только я одна, наедине с собой, понимала, о каких силах шла речь. Время меняется, многое разрешает и многое оставляет позади. Но все равно ту фразу изменить не смогла. Да и не желала. «Хотелось жить! Теперь меня поражает, какая же это была сила, бьющая через край! Когда это разрывает тебя — ты не задумываешься, какие силы где-то там хотят растоптать твое желание радоваться жизни».